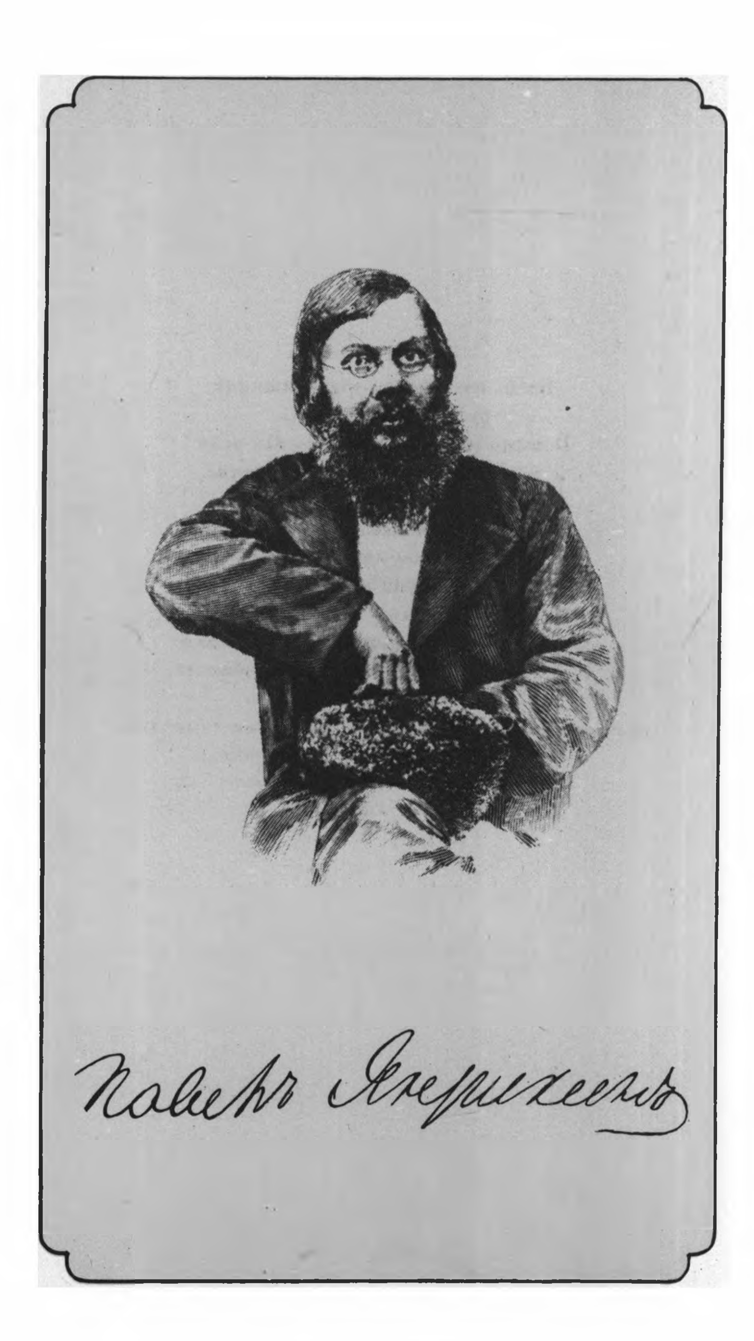


П. И.
ЯКУШКИН



Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».
(В. И. Ленин о литературе и искусстве,
6-е изд. М., 1979, с. 699)


Павелъ Якушкинъ

—•• ИЗ НАСЛЕДИЯ ••—

П. И.
ЯКУШКИН

Сочинения

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1986

Р1
Я49

Составление,
вступительная статья
и комментарии
З. И. Власовой

Рецензент
В. И. Безъязычный

Якушкин П. И.

Я49 Сочинения/Вступ. статья и коммент. З. И. Власовой.— М.: Современник, 1986.— 591 с., портр.— («Из наследия»).

Павел Иванович Якушкин (1822—1872) — яркая и своеобразная фигура в русской общественно-литературной и культурной жизни 1840—1860-х годов. Более всего он известен как фольклорист-этнограф, однако он был и талантливым писателем-демократом.

В настоящий сборник П. И. Якушкина вошли его «Путевые письма», очерки и рассказы «Велик бог земли русской», «Прежняя рекрутчина и солдатская жизнь», «Мужицкий год», «Небывальщина», «Бунты на Руси» и др.

$Я\frac{4702010100-070}{М106(03)-86}9-85$ ББК84Р7 Р1

П. И. Якушкин как писатель

Имя Павла Ивановича Якушкина известно в наше время лишь специалистам и наиболее сведущим читателям. В 1860-е годы его знала вся читающая Россия. Как писатель и как собиратель устной народной поэзии он занимает особое место в истории русской литературы и русской фольклорно-этнографической науки. Не ограничиваясь записью традиционных текстов, как было тогда принято, собиратель обратил внимание на современный ему антикрепостнический фольклор, широко используя его в своем творчестве.

Один из первых исследователей наследия Якушкина В. Г. Базанов отметил, что Якушкин создал «особый тип фольклоризованной беллетристики... Результаты его работы и, главное, самый характер ее были для своего времени чем-то принципиально новым, неразрывно связанным с развитием революционно-демократических идей»[1]

А. М. Горький высоко ценил творчество и собирательскую деятельность Якушкина: «Я сравнивал Слепцова как наблюдателя с Якушкиным, противопоставляя их Рыбникову, Киреевскому, Сахарову и другим, которые собирали материал фольклора — песни от помещичьих хоров, т. е. материал, цензурованный помещиками, искаженный. Якушкин черпал его непосредственно из уст народа, на сельских ярмарках, на базарах»[2]. О том же писал он И. Груздеву: «Хорошим собирателем был Якушкин, записывавший по избам, по артелям, у плотников»[3].

Способ пешего хождения по крепостным деревням и народным промыслам, избранный писателем с юности, и особый по своей подлинности материал определили впоследствии своеобразие писательской ма-

[1] Базанов В. Г. Павел Иванович Якушкин. Орел, 1950, с. 26.

[2] Горький А. М. О Василии Слепцове.— Литературное наследство, М., 1932, т. 3, с. 177.

[3] Горький А. М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1955, т. 30, с. 124.

неры. Он на всю жизнь остался писателем-путешественником, пешеходцем, а крепостная Россия, едва начавшая освобождаться от вросших в ее сознание и быт цепей рабства, «эта неофициальная Россия с ее бесчисленными монастырями, чайными, кабаками и черными избами, становится до конца жизни Якушкина его отчим домом, предметом его постоянных размышлений, главной темой его творчества»[1].

Н. А. Некрасов запечатлел образ Якушкина в поэме «Кому на Руси жить хорошо», изменив лишь его фамилию:

...Был тут человек,
Павлуша Веретенников.
Какого рода, звания —
Не знали мужики,
Однако звали «барином».
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддевочку суконную,
Смазные сапоги;
Пел складно песни русские
И слушать их любил.
Его видали многие
На постоялых двориках,
В харчевнях, в кабаках...

Н. С. Лесков отразил некоторые внешние черты Якушкина в образе Василия Богословского (повесть «Овцебык»), что убедительно показал В. Г. Базанов в своих работах о Якушкине.

Современники называли писателя «первым народником», «родоначальником народничества»[2]: он задолго до возникновения этого общественного революционно-демократического движения пошел в народ, изучал его быт, его воззрения, стремления, идеалы.

Судьба Якушкина в значительной мере типична для эпохи 1860-х годов. Как многие писатели-шестидесятники, он избрал целью служение народу, закрепощенному, бесправному, потом обманутому крестьянской реформой. Писатель своевременно понял свое призвание, не пожалел для него жизни, отказавшись от соблазнов карьеры и личного счастья, семь лет провел в ссыльных скитаниях и умер 49 лет.

В его жизненной позиции, в самой его судьбе есть мгновения, восхищающие и сейчас, события, исключительные по своей общественной и гражданской значимости, оставившие прочную память в истории литературной, общественной и научной жизни; главное в нем — цельность характера, верность призванию, бескомпромиссное служение идее, деятельная любовь к народу.

[1] Базанов В. Г. Павел Иванович Якушкин, с. 24

[2] Шелгунов Н. В. Народник Якушкин.— Дело, 1883, № 12, с. 20—30.

* * *

Павел Иванович Якушкин (1822—1872) был сыном крепостной девушки и богатого помещика. Он родился в имении своего отца — с. Сабурово Малоархангельского уезда Орловской губернии (теперь Покровский район Орловской области). Брак родителей был официально утвержден через восемь лет, старшие дети, и в их числе Павел, считались незаконными, не имели права на наследство, были приписаны к мещанам. Рано овдовевшая мать Прасковья Фалеевна заботилась об их образовании: все они учились в гимназии, поступали в высшие учебные заведения: старший Александр окончил Московский университет, младший Виктор — Военно-хирургическую академию. Павел Иванович получил образование по тем временам превосходное: окончил Орловскую гимназию, где неплохо учился, и Московский университет в тот замечательный его период, который принято называть эпохой 40-х годов, когда пробуждался интерес к изучению истории народа, его поэзии, возникали различные кружки, славились лекции Т. Н. Грановского. Якушкин сблизился с кружком Аполлона Григорьева, где бывали А. Н. Островский, молодой Т. И. Филиппов, П. М. Садовский и другие. Поступив на математический факультет, он на третьем курсе проявил интерес к истории и поэзии народа. Знакомство с М. П. Погодиным и, в особенности, П. В. Киреевским оказало решающее влияние на всю его дальнейшую судьбу. Петр Васильевич Киреевский был одним из замечательных людей той эпохи. Им восхищались А. И. Герцен и И. С. Тургенев, он был близким другом поэта Н. М. Языкова. Историк и публицист, переводчик, он задумал собрать и издать народные песни. Под влиянием разговора об этом с А. С. Пушкиным Киреевский придает необычайный размах делу их собирания. Сам Пушкин подарил ему пятьдесят песен собственной записи, записывали песни Н. В. Гоголь, В. И. Даль, А. В. Кольцов, Н. М. Языков с братьями и племянником Д. Н. Валуевым, профессора Московского университета М. П. Погодин и С. П. Шевырев, учителя гимназий, студенты и многие другие представители образованной части общества[1].

Якушкин присоединился к многочисленным корреспондентам Киреевского и занялся систематическим собиранием фольклора. В летнее отпускное время он записал в родном Малоархангельском уезде более двухсот песен и множество рассказов о разбойниках, кладах, колдунах, лечебных травах. Погодин опубликовал часть их в своем журнале «Москвитянин». С двадцати трех лет Якушкин по нескольку раз в год совершает походы в «недальние от Москвы губернии»: Калужскую, Туль-

---

[1] Подробнее об этом см.: Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание песен народных. Л., 1971.

скую, Костромскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую. Сначала под видом коробейника, по совету Погодина, потом одетый в простой крестьянский костюм с узелком, где тетради, карандаш да пара чистого белья, он ходит по деревням, что в условиях крепостной действительности и полного человеческого бесправия было совсем не легко и не просто. Как и П. В. Киреевский, Якушкин был одержим идеей «показать историю нашего народа в песнях», рожденных в народе и сберегаемых веками. Расставаясь с Москвой, которую любил больше родного Орла, он замечает в дневнике: «Я полнее чувствую обязательства Петру Васильевичу, без него бы я не с такими чувствами расстался бы с Москвой, имея в кармане четвертак, а впереди 360 верст пути». В селе Андроновском он записывает песни и сказки в течение месяца. «Хочется очень уйти отсюда, но одному страшно»,— отмечает он; а вот другая запись: «Меня здесь подозревают. Здешняя помещица присылала узнать обиняком, зачем мне песни. Угостил приличным образом посланного. Хотелось мне пробыть воскресенье — опасно»[1].

В путешествиях за песнями Якушкину приходилось испытывать притеснения и неприятности от уездного и полицейского начальства. Он сам с юмором рассказал несколько таких случаев в очерке «Небывальщина»: то неграмотный сотский вел его к становому, то исправнику казалось, что под видом коробейника скрывается опасный преступник, поскольку не берет денег за свой товар. Его вещи и записи неоднократно подвергались полицейскому досмотру, часть тетрадей с записями при этом исчезала.

Были немалые бытовые трудности: немереные версты российских дорог обрекали на многочасовую ходьбу без еды и питья. Случалось ночевать в поле, проваливаться по пояс в ледяную воду, ходить лесом, где видали волков. В деревнях нельзя было найти ни сносной еды, ни удобного ночлега, ни медицинской помощи. Во время одного из походов Павел Иванович заразился оспой и свалился в какой-то деревенской избе. Несмотря на неблагоприятные условия, молодой организм справился с болезнью, но лицо было изуродовано оспой. Он отпустил бороду и волосы, как крестьянин. К такому виду более всего шел именно крестьянский костюм. Якушкин стал и в городе носить поддевку, сапоги, рубашку с косым воротом. Только очки указывали наблюдательному человеку на его происхождение, но они-то и вызывали подозрение, из-за очков ему приходилось терпеть немало неприятностей, ибо они были неслыханной роскошью для крестьянина.

«Выход Якушкина, надо помнить, был новый; никто до него таковых

---

[1] Цит. по кн.: Собрание народных песен П. В. Киреевского. Записи П. И. Якушкина. Л., 1983, т. 1, с. 124, 152.

путей не прокладывал. Приемам учиться было негде; никто еще не дерзал на такие смелые шаги и на дерзостные поступки — встречи с глазу на глаз с народом. По духу того времени затею Якушкина можно считать положительным безумием, которое находило себе оправдание лишь в увлечениях молодости. Тогда с мужиками водилась только литература»,— писал близкий друг Якушкина писатель С. В. Максимов[1].

Якушкин имел очень скудные средства на свои путешествия. Сначала его снабжал скромными суммами Киреевский, помогал его друг, богатый и образованный помещик, поэт и музыкант М. А. Стахович; небольшую сумму получил Якушкин от своей матери[2]. Зная обстановку нищей крепостной деревни, он сознательно воспитывал в себе аскетизм: в еде довольствовался тем, что дадут; спать привык на голом полу или лавке, положив под голову свой узелок. Он всю жизнь сохранял суровые привычки странника, что давало повод к всевозможным анекдотам на его счет. Останавливаясь у друзей, он спал на полу. «Отчего вы легли не на диване?» — спрашивали его. «Чтобы привычки не терять, не баловаться»,— отвечал он и вспоминал, что раз «с месяц жил по-дворянски» у М. А. Стаховича, так «как потом пришлось лечь на голых полатях — просто смерть! Недели, я думаю, две прошло, пока наново освоился».

Во имя чего обрек себя на такую жизнь обладавший незаурядными способностями выпускник Московского императорского университета? Вполне ли он сознавал трудность взятой им тогда на себя задачи — показать общественную и историческую ценность, нравственную и поэтическую красоту устной поэзии крестьянства и тем, может быть, как-то содействовать освобождению народа из ярма крепостной зависимости?

Понимание общественного и гражданского значения взятого на себя дела приходило и формировалось постепенно, сначала под влиянием бесед с Киреевским и Стаховичем, убежденными противниками крепостного права, потом под влиянием собственного жизненного опыта, который давался не дешево. Надо было обречь себя на непредвиденные трудности, непонимание окружающих (даже свой брат литератор, вроде Лейкина, счи-

---

[1] Максимов С. В. Павел Иванович Якушкин: Биографический очерк. Сочинения П. И. Якушкина с портретом автора, его биографией С. В. Максимова и товарищескими о нем воспоминаниями П. Д. Боборыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф. Горбунова, А. Ф. Иванова, Н. С. Курочкина, Н. А. Лейкина, Н. С. Лескова, Д. Д. Минаева, В. Н. Никитина, В. О. Португалова и С. И. Турбина. Спб., 1884. Далее ссылки на это издание даны в тексте статьи с указанием страниц.

[2] Н. А. Лейкин, известный фельетонист, сообщал в своих воспоминаниях, что Якушкин действительно получил «по окончании своего образования какой-то небольшой капиталец от матери, но в несколько месяцев блудно растратил его, угощая во время своих путешествий мужиков и щедро платя им за песни, которые записывал от них (с. LXIX).

тал систематическое хождение по деревням «блудным»), на неудобства и лишения — словом, совершить по тем временам подвиг. Киреевский называл отношение Якушкина ко всем лишениям и трудностям «неутомимой благородной ревностью к делу» и писал, что «в своей любви к русской народности он находил силы бороться со всеми трудностями и препятствиями». Он становится главным помощником Киреевского, помогает ему копировать и комментировать тексты.

С 1849 года, видимо уступая настояниям матери, огорчавшейся, что сын «не служит», Якушкин становится учителем: преподает историю и географию в городах Обояни и Богодухове, русскую грамматику в Харьковском уездном училище. Демократический образ мыслей, независимость и прямота характера приводили к столкновениям с начальством, а походы за песнями в соседние деревни вызывали подозрение в его «благонадежности»: более чем странно для учителя искать постоянно общества мужиков! В мае 1856 года, прослужив около семи лет на педагогическом поприще, после неоднократных столкновений с начальством Якушкин вышел в отставку в чине губернского секретаря.

Осенью 1856 года тяжело заболел и скончался П. В. Киреевский, завещав Якушкину подготовку своего собрания песен к печати. Во время болезни Киреевского Якушкин не находил себе места. Потеря старшего друга и наставника надолго выбила его из нормальной колеи. Он простудился, заболел воспалением легких, и больше месяца провел в постели. После выздоровления Павел Иванович с чувством большой ответственности и долга перед памятью Киреевского принялся за подготовку песен к изданию. Он с любовью составил опись всего материала, дал проверить ее сводным братьям Киреевского Елагиным и Стаховичу, и они все четверо подписались под ней. Начало его работы над собранием песен отметили передовые ученые того времени, и среди них А. А. Котляревский, приветствовавший подготовку песен к изданию в газете «Молва».

Приступив к работе в конце января 1857 года, Якушкин за десять месяцев подготовил к печати большой сборник былин и исторических песен. Разрозненные части сборника обнаружены советским фольклористом П. Д. Уховым в 1960-х годах в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея. Составитель повез свой сборник в Москву, чтобы показать его ведущим ученым и специалистам и учесть их пожелания и советы в процессе дальнейшей работы. «Я показывал исторические песни П. А. Бессонову, И. Д. и И. В. Беляевым, К. С. Аксакову, Ф. И. Буслаеву, И. Е. Забелину, Т. И. Филиппову, А. Н. Островскому, В. М. Ундольскому, А. С. Хомякову, И. В. Павлову, и — представьте мое великое удивление: ни от одного из этих господ я не слыхал ничего, кроме похвал, ни одного замечания! Другими словами,

все они одобрили мои работы по изданию русских песен»,— писал он позднее[1].

Считая издание песенного собрания Киреевского делом большого культурно-национального значения, Якушкин решил для полноты материала использовать записи Русского географического общества. Родные Киреевского увидели в этом ущерб «для дела Петра». Возникшие разногласия обострились под влиянием П. А. Бессонова. Мало сведущий славист, известный изданием сборника «Болгарские песни» и публикациями в журнале М. П. Погодина «Москвитянин», Бессонов настойчиво добивался участия в издании. Осенью 1857 года Елагины отдали сборник Якушкина на рецензию Бессонову. Письменный отзыв его неизвестен, но следствием было все более отрицательное отношение к составителю. Особенно негодовала мать Киреевского, известная в литературных кругах Москвы Авдотья Петровна Елагина, которую возмущала инициатива Якушкина относительно песен Русского географического общества. Она писала Елагиным: «Я сказала этому четвероглазому, что песни Географического Общества и другие не могут входить в издание, собранное Петром, и что Вася (сводный брат Киреевского Василий Алексеевич Елагин.— *З. В.*) будет издавать только Петрушины труды, а вовсе не может быть издателем всех народных песен»[2]. Якушкин и не собирался издавать все народные песни, он хотел использовать материалы для полноты комментария, чтобы учесть возможно большее количество вариантов, но ему уже не доверяли. Составитель был отстранен от работы над собранием, вопреки воле покойного Киреевского. Работа была остановлена на два года. В 1860 году материалы Киреевского были переданы Обществу любителей российской словесности при Московском университете, которое создало особую комиссию, куда Якушкин не вошел, но вошел Бессонов. Ему и было поручено издание песен. Как установил П. Д. Ухов, Бессонов воспользовался почти готовой работой Якушкина и сравнительно быстро подготовил десять выпусков, ухудшив состав сборника своими добавлениями сказок, псалмов, сомнительными в научном отношении комментариями и примечаниями, необычайно многословными, подвергая тексты произвольной правке. Духовные стихи из собрания Киреевского он использовал для своего сборника «Калики перехожие»[3], изданного в шести выпусках по подписке, включив в него сводные тексты собственного производства, составленные по материалам того же собрания. Якушкин выступил с резкой статьей, подвергнув уничтожающей

---

[1] Якушкин П. И. Кое-что об изданиях г. Бессоновым народных стихов и песен.— Сочинения П. И. Якушкина, с. 463.

[2] ГБЛ, ф. 99, оп. 1, ед. хр. 40

[3] Калики перехожие: Сборник стихов и исследования П. А. Бессонова. Вып. 1—6. М., 1861—1863.

критике принципы издания, обвинив Бессонова в невежественности, небрежном обращении с текстами, в неуважении к памяти и трудам Киреевского. Хорошо зная состав собрания, он справедливо указал на фальсификацию материала и присвоение Бессоновым чужого труда. Блестящая по форме статья Якушкина стала событием в истории науки. В ней впервые сформулированы научные принципы подготовки фольклорных текстов к изданию, принципы их публикации и комментирования. Бессонову пришлось оправдываться перед читателями в печати и учесть многие замечания Якушкина при подготовке следующего сборника по материалам Киреевского — «Белорусские песни» (М., 1871). Частично использовал он записи детского фольклора из собрания Киреевского в своем сборнике «Детские песни» (М., 1868). В остальном богатейшее собрание Киреевского (свадебные обрядовые песни, хороводные, игровые, святочные и лирические песни с описаниями обрядов и игр) осталось неизданным. Хищнически обращаясь с материалами Киреевского, Бессонов разрушил якушкинскую классификацию. Больше половины материалов собрания Бессонов присвоил и увез с собой в Харьков, где работал последние годы жизни. Его архив был куплен известным коллекционером П. С. Щукиным, привезен в Москву и поступил в Государственный Исторический музей. Часть материалов оказалась утраченной. Исчезла подаренная Пушкиным тетрадь с песнями, значительная часть записей Языковых (сохранился лишь список песен), часть дневников и записей Якушкина и многое другое.

Многолетние труды Якушкина, отданные собранию, пропали. Он получил «удар в самую чувствительную сторону сердца: у него отнято было право редакции песен Киреевского, на которые он положил всю душу, истратил много здоровья и свежих молодых сил. У него только и было заветного, свято чтимого, и мы нисколько не преувеличим, если скажем, что в этом была его жизнь»,— писал С. В. Максимов (с. X).

Из семейной переписки Елагиных видно, что они опасались, как бы Якушкин не потребовал свои записи. Из уважения к памяти Киреевского собиратель не потребовал ничего. При поддержке друзей из кружка А. Н. Островского и М. А. Стаховича он начинает готовить к печати собственный сборник песен и у себя на родине в Сабурове возобновляет записи. Подготовка собственного сборника и щедрость друзей, подаривших ему свои записи, помогла Якушкину пережить это тяжелое время.

В 1858 году И. С. Аксаков, поэт и публицист, сын известного писателя С. Т. Аксакова, предложил Якушкину путешествие по Новгородской губернии в качестве корреспондента журнала «Русская беседа», который он редактировал. Период с ноября по январь писатель провел в путешествии по новгородским краям. Появившиеся через полгода в печати «Путевые письма из Новгородской губернии» стали литературным дебютом

будущего писателя. Аксаков был очень доволен меткостью наблюдений, живостью изложения, рекомендовал читать Якушкина своим знакомым и друзьям.

Летом 1859 года начинающий корреспондент и писатель отправился с новым заданием от журнала в поездку по Псковской губернии. В Пскове он был арестован за крестьянский костюм, не соответствовавший его званию губернского секретаря. Хотя арестованный «со всею возможною учтивостью» объяснил, что такой костюм необходим ему по роду занятий, частный пристав, *сидевший за присутственным столом в белой рубашке и халате нараспашку* (курсив мой.— *З. В.*), сделал ему внушение и объявил, что все представленные им бумаги фильшивые. Не проверяя документов и не наводя справок, по одному подозрению, писателя продержали в полиции шесть дней, заставив ночевать в арестантской камере для простонародья, где условия были невозможные: грязь, зловоние, вши.

Историю своего ареста Якушкин изложил в обстоятельном письме к редактору «Русской беседы». Его письмо под названием «Проницательность и усердие губернской полиции» И. С. Аксаков полностью опубликовал. Оно было перепечатано многими газетами и журналами и вызвало в обществе взрыв негодования. Это было первое выступление в печати против царящего в стране полицейского произвола. До Якушкина о нем писал только А. И. Герцен в «Колоколе» (1857, 1 ноября) по поводу избиения полицией московских студентов. Нелегальная пресса, к которой принадлежал «Колокол», была доступна немногим, а протест Якушкина читать могли все, кто только умел читать. Псковский полицмейстер Гемпель вынужден был опубликовать объяснение, в котором пытался очернить Якушкина. Писатель возражал через газеты. На полемику откликнулась вся периодическая печать. В Пскове было произведено официальное следствие, и тюремное ведомство обратило внимание на «состояние мест заключения», ярко охарактеризованное в письме Якушкина. В печати встал вопрос о правах личности и ее неприкосновенности, появились статьи, заметки, даже стихи о псковской истории с Якушкиным. Министерство внутренних дел приняло специальное постановление «О порядке отправления учеными обществами лиц для собирания нужных им сведений». Оно было внесено в Свод законов Российской империи и запрещало редакторам газет и журналов посылать на места своих корреспондентов. Герцен высмеял это постановление в специальной заметке. Н. С. Курочкин, брат известного поэта и издателя журнала «Искра», вспоминал: «Имя П. И. Якушкина, употребленное во всех падежах во множестве газетных листков, с блеском и треском пронеслось и прогремело по всей России. Рассказ о его злоключениях передавался и комментировался на тысячу ладов десятками тысяч уст во всевозможных местностях

России, что и обусловило сразу его громадную известность и придало ему чуть ли не легендарное значение» (с. XXXVIII).

Когда писатель появился затем в Петербурге, ему не надо было особых рекомендаций, чтобы завязать знакомство в литературных кругах и начать сотрудничать в лучших журналах. Песенный сборник его по частям печатается в «Отечественных записках»; его путевые письма и очерки публикуются в «Современнике», «Искре», «Основе», «Библиотеке для чтения», «Иллюстрации» и др. Писатель знакомится с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Некрасовым, сближается с братьями Курочкиными и людьми, близкими к кружку А. И. Герцена. Знакомство с Т. Г. Шевченко переходит в дружбу. После смерти Т. Г. Шевченко Якушкин организовал в Орле прощание с телом покойного поэта и поместил корреспонденцию об этом в газетах. Он поддерживает самые широкие литературные знакомства в различных кругах и с людьми разных политических убеждений. После его смерти некоторые из его знакомых стремились доказать, что Якушкин был человек аполитичный (П. Д. Боборыкин). Они создали в своих воспоминаниях искаженный портрет писателя, преувеличивая его рассеянность, безалаберность, делая упор на его «слабости к вину» (об этом будет сказано далее), отмечая небрежность в одежде и т. п. Воспоминания эти вызвали протест и возмущение некоторых товарищей Якушкина по Московскому университету. Н. И. Колюпанов писал, что в основном припоминались смешные случаи с Якушкиным, «точно собирались анекдоты о шуте Балакиреве», а смысл литературной деятельности и общественная позиция писателя полностью игнорировались.

Советские исследователи, которым стали доступны материалы полицейских архивов, восстановили подлинный облик Якушкина, талантливого писателя-демократа, убежденного агитатора и пропагандиста, подлинного энтузиаста в изучении народного быта, неутомимого собирателя устной поэзии народа. Работы В. Г. Базанова, П. Д. Ухова, Н. М. Чернова, А. И. Баландина, уточняющие биографию писателя, обогатившие наше представление о нем новыми документальными фактами, внесли много нового и в изучение его творческого наследия.

После псковской истории за писателем был установлен секретный полицейский надзор. С 1859 года регулярно поступают агентурные сведения. Он «громко говорит в выражениях нескромных и неприличных о крестьянском деле, о наделе земли и отношении дворовых слуг к господам»,— сообщалось в донесении из Орла. Сенатор К. Н. Лебедев писал о Якушкине в своих «Записках»: «В Петербурге, я это знаю... а вероятно и в Москве, дворянская (крепостная) партия считает его эмиссаром народной (едва ли не республиканской) пропаганды»[1]. В мае 1862 года поступило донесение шефу жандармов, что Якушкин с неизвестным студентом

[1] Русский архив, 1900, кн. 3, вып. 10, с. 262—263.

распространял в Тульской губернии печатные возмутительные воззвания. Тульскому жандармскому управлению было поручено расследовать дело. «О распространении воззваний Якушкиным не открыто ничего»,— гласит справка в деле III Отделения. Между тем в донесении московского оберполицмейстера Г. К. Крейца сообщалось: «На днях князь Евгений Черкасский встретился на станции между Москвою и Тулою с Якушкиным (известным по полемике с псковским полицмейстером) и одним студентом, которые предлагали ему печатные воззвания, присовокупляя, что таковых у них много». Позднее полиция установила, что спутником Якушкина был студент Николай фон Болль, у которого при обыске были найдены выписки из «Колокола» Герцена. А. И. Баландин полагает, что Николай фон Болль впоследствии был членом общества «Земля и воля»[1].

Н. С. Лесков, также отрицавший интерес Якушкина к политике, вынужден был признать: «Социальные симпатии Якушкина были все на стороне рабочих людей — особенно батраков, фабричных и вообще всей подобной «голытьбы», которую, по его словам, «хозяева заморить готовы и могут заморить, если те сами в свой разум не придут и не узнают, как они нужны». И в разговорах с народом, по свидетельству Лескова, подпускалось «горяченькое»: «Что вы, дескать, не понимаете, что купец один, а вас во сколько! Вы купцу нужнее, чем он вам. Ему без вас ни чихнуть, ни головой мотнуть».

Свидетельства разных лиц достаточно убедительно рисуют Якушкина активным и сознательным пропагандистом, умеющим в обществе боборыкиных и лейкиных умалчивать о своих убеждениях, действиях и поступках, поскольку здесь они не были подходящей темой для бесед.

По словам лиц, посещавших литературные вечера «Современника», Якушкин встречался с Чернышевским. 19 мая 1864 года на Мытнинской площади состоялась гражданская казнь над Чернышевским. «Находящийся в числе зрителей г. Якушкин изъявил желание проститься с преступником»,— доносил полковник С. Дурново шефу жандармов. Этот факт подтверждают и мемуары очевидцев.

«П. И. Якушкин в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, заправленных в простые смазные сапоги, в крестьянском армяке из грубого коричневого сукна с плисовой оторочкой и в золотых очках вдруг быстро проскочил мимо городовых и жандармов и направился к эшафоту. Городовые и конные жандармы бросились за ним и остановили. Он стал горячо объяснять, что Чернышевский близкий ему человек и что он желает с ним проститься... Жандармский офицер, дойдя до Якушкина, стал убеждать его: «Павел Иванович, Павел Иванович, это невозможно». Он обещал дать свидание с Николаем Гавриловичем после»[2].

---

[1] См.: Баландин А. И. Якушкин П. И. М., 1969, с. 211.

[2] Сажин М. П. Воспоминания. М., 1925, с. 17.

Когда молоденькая девушка (М. П. Михаэлис) бросила первая букет к ногам Чернышевского и ее арестовали. Якушкин пошел с ней и квартальным в канцелярию обер-полицмейстера и там уверял, что цветы бросил он. Квартальные показали обратное. Позже Якушкин организовал депутацию из литераторов и студентов к военному генерал-губернатору Петербурга А. А. Суворову с требованием освободить девушку из-под ареста, причем дерзко доказывал, что «букет брошен жандармом»,— сообщалось в очередной справке III Отделения.

В 1861 году брат Якушкина — уездный врач Виктор Иванович ездил за границу и был в Лондоне у Герцена, по предположениям полицейских агентов. В 1864 году у Павла Ивановича найдено черновое письмо к Герцену, незаконченное и без даты. Оно начиналось словами: «Я хотел, Александр Иванович, и это письмо послать прямо к вам». Начало показывало, что письмо не первое. В это время в Петербурге работала следственная комиссия, выяснявшая круг лиц, связанных с лондонскими пропагандистами; ей пришлось подвергнуть допросам сотни людей. Несколько человек умерли в процессе следствия, многие были сосланы без суда. «Процесс 32-х» был первым большим политическим процессом 1860-х годов. Количество лиц, так или иначе подозреваемых в связях с лондонскими пропагандистами, было так велико, что комиссия постаралась многих отсеять, подвергнув административной ссылке. Полиции было известно, что Виктор Иванович Якушкин, женатый на племяннице декабриста, жил за границей для изучения достижений зарубежной медицины и подружился с Артуром Бенни, политическим пропагандистом из близких Герцену людей, также привлекавшимся по «Процессу 32-х». О Викторе в полицейском донесении говорилось: «Весьма вероятно, что находился в сношениях с иностранными революционерами».

Имя Павла Ивановича Якушкина также неоднократно упоминалось на страницах нелегальной герценовской печати: и в связи с псковской историей, и по поводу запрещения корреспондентам путешествовать по стране, и в связи с гражданской казнью Чернышевского. Но и Якушкину были известны статьи Герцена. Намек на выступления «Колокола», обличающие орловских крепостников, есть в очерке «Велик бог земли русской».

Обнаружив письмо к Герцену, III Отделение намеревалось задержать Якушкина, но писатель к тому времени уехал в Нижний Новгород изучать нравы на Макарьевской ярмарке. Там он был арестован и выслан в Петербург, где полицейский врач нашел необходимым поместить его в больницу. Вопрос о причинах болезни Якушкина, вызванной употреблением спиртного, сложен. Уже в первых экспедициях ему пришлось убедиться, что для крестьян, чтобы они пели, необходимо «угощение». Песни записывались не под диктовку, а с «голоса», то есть в процессе пения,— только при этом условии песня сохраняет точное

словесное выражение и деление на строфы. Трудно и чаще невозможно было, оторвав крестьян от их дел и забот, упросить их петь без «поощрения». Но, угощая певцов, нельзя было оставаться в стороне самому. Примеров тому достаточно в путевых письмах и очерках собирателя. Щедрый по натуре, Якушкин обычно не скупился на угощение. Поначалу молодой и здоровый организм легко справлялся с этим испытанием. С годами возникла пагубная и опасная привычка, разрушавшая здоровье. Мемуаристы отмечают, что, обедая в ресторанах, он любил заказать «рюмочку посурьезнее». У петербургских половых, как тогда называли официантов, возник даже особый термин — «якушкинская рюмка». Но было бы неверно «видеть в якушкинском кабачестве исключительно проявление врожденной склонности к вину»,— справедливо заметил В. Г. Базанов. Это было следствием тех сложных жизненных обстоятельств, в которых оказался писатель, и, более того,— общественной атмосферы. На глубокие социальные причины пьянства в среде писателей-шестидесятников указывал Г. И. Успенский: «Мои товарищи — люди старше меня лет на десять — почти без всякого исключения погибали в моих глазах, так как пьянство было почти чем-то неизбежным для тогдашнего талантливого человека. ...Спившихся с кругу талантливых людей было множество, начиная с такой потрясающей в этом отношении фигуры, как П. И. Якушкин»[1].

Писатель пытался бороться с собой, предпочитал работать в каморке у М. Я. Свириденко, приказчика книжного магазина Д. Е. Кожанчикова, увлеченного социалистическими идеями, работавшего одно время среди крестьян и хорошо известного в прогрессивных литературных кругах Петербурга. Известна очень высокая оценка Свириденко, данная Н. Г. Чернышевским.

Когда Н. А. Лейкин приглашал Якушкина поработать у него, писатель ответил: «Нет, я лучше к Свириденке... Свириденко меня и от водки удержит» (с. LXXII).

Произведения Якушкина последних лет показывают, что борьба с собой не всегда была тщетной. В трудных условиях ссылки он сохранил способность работать, сострадать народу и бороться за его интересы, до конца жизни сохранял присущую ему отзывчивость и доброту души, а также свойственное ему чувство юмора. Но бывали и срывы, особенно когда обстоятельства складывались для него невыносимым образом.

В апреле 1865 года последовало распоряжение о высылке Якушкина в имение матери — Сабурово. Это был для писателя двойной удар: не только по нему, но и по его родным. Павел Иванович мучительно страдал от мысли, что близкие будут потрясены его появлением в сопро-

---

[1] Успенский Г. И. Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1957, т. 9, с. 184.

вождении жандармов и сочтут опасным преступником. Он писал Погодину: «Из Нижнего меня привезли в Петербург, из Петербурга к моей матери с жандармами. За что привезли — я моей матери не мог сказать, а мать моя... одна из самых почтенных женщин. Может ли быть больше наказание, как поссорить с семьей, с матерью?» Отношения действительно сложились трудные. В ответ на увещания Погодина писатель с горечью замечает: «Нельзя не пить, надо пить...»

Мучительность его положения усугублялась невозможностью работать. Писатель задыхался без дела, без книг. В письмах Н. А. Некрасову, А. Н. Островскому, М. А. Маркович (Марко Вовчок) он просит присылать ему книги и журналы. Когда удалось добиться разрешения на двадцать дней вырваться к брату Виктору в Мценский уезд, он начинает работать над пьесой, пишет очерки и в орловской больнице.

Через три года после многократных писем и просьб, поддержанных даже орловским губернатором, считавшим опасным пребывание Якушкина в его губернии, ему было назначено новое место ссылки — Астраханская губерния и бессрочный полицейский надзор. В Красном Яре, куда отправили Якушкина по распоряжению астраханского губернатора, он чувствует себя очень плохо. Камышовые джунгли волжской дельты, жара и сырость вызвали приступы лихорадки. Здоровье было подорвано еще в фольклорных экспедициях. За лихорадкой последовала цинга. Начинаются новые просьбы о переводе. Он попадает в Енотаевск, но условия мало изменились — и снова больница. Несмотря на тяжелые условия, писатель работает. В астраханской ссылке он написал наиболее замечательные из своих путевых писем, один из лучших очерков «Бунт в с. Никольском», опубликованный через семь лет после его смерти. Его произведения подолгу задерживаются в канцелярии губернатора, подвергаются местной цензуре. Посылаемые в печать материалы доходят в Петербург с большим опозданием, а заметки в местной периодической печати безжалостно сокращаются, и писатель страдает от безденежья, так как прожить на содержание ссыльного практически было невозможно.

После трех мучительных лет астраханской ссылки Якушкина переводят в Самарскую губернию. Глубокой осенью 1871 года поздним вечером он появляется в Самаре, насквозь промокший от дождя. Здесь оказались его давние друзья: известный актер М. И. Писарев, врач В. О. Португалов, сам только что возвратившийся из пермской ссылки и заведовавший отделением в местной больнице. Они приняли горячее участие в судьбе Якушкина, обратились с ходатайством к губернатору, чтобы оставить больного писателя в Самаре, а не высылать в назначенный ему Бузулук. Португалов взял Якушкина в свое отделение. Отдохнув и поздоровев, Якушкин начинает выходить, заводит новые знакомства.

«Он любил рассказывать эпизоды из своих похождений,— вспоминал Португалов.— Думаю, что не впаду в преувеличение, если скажу, что Павел Иванович первый понял необходимость узнать, что желает собственно народ сам и что желают за него другие. Он, как Колумб, первый проложил путь в народ для тщательного его изучения и ознакомления с его заветными думами. В этом отношении пальма первенства бесспорно принадлежит ему, и он по праву может считаться родоначальником настоящих народников. ...Мы не видели в жизни человека, настолько чуждого суетности, настолько чуждого стремления к личному счастью, заботливости о приобретении личного состояния, каким всегда перед нами являлся Якушкин. Человек чистой идеи — и больше ничего» (с. XCIV].

В конце ноября Павел Иванович заразился в больнице «возвратной горячкой» (по другим сведениям — тифом) и скончался 8 января 1872 года, не дожив одну неделю до своего пятидесятилетия. «Он был погребен с редкими в провинции изъявлениями сочувствия и уважения. В Самаре в первый раз хоронили частного человека с музыкой. Но мы хоронили Якушкина»,— писал Португалов. Якушкин был похоронен на Всесвятском кладбище Самары. Могила его, существовавшая еще в начале XX века, но уже заброшенная, к настоящему времени не сохранилась.

* * *

Художественное наследие Якушкина невелико. Это путевые письма, очерки, две критические статьи об издании П. А. Бессоновым народных песен из собрания Киреевского, неопубликованная до настоящего времени пьеса и несколько газетных заметок.

Путевые письма возникли из дневников, которые писатель начал вести во время первых своих путешествий. Эти жанры не были новыми в литературе. Описания путешествий — один из самых распространенных жанров со времен «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, которые, в свою очередь, имели за собой большую литературную традицию. Заметки о своих поездках публиковали профессора Московского университета М. П. Погодин («Псков. Из дорожных заметок») и С. П. Шевырев («Письма из Рима»), заслуженный профессор и академик Э. Эйхвальд («Замечания во время путешествия по озеру Ильменю и окрестностям Старой Руссы») и многие другие. Описания различных

поездок и путешествий постоянно публиковались в журналах, столичных и губернских газетах[1].

В этом потоке литературы путешествий путевые письма Якушкина не потонули. Они не остались незамеченными, а привлекли к себе особое внимание умением наблюдать, понимать и объяснять народную жизнь, чуждую читателям из привилегированных сословий, начавших тем не менее интересоваться ею в переломную предреформенную эпоху.

В описаниях, дорожных заметках, иногда написанных талантливо, иногда довольно бесцветных, преобладали две темы: либо описания русских святынь и связанных с ними исторических событий с благочестивыми размышлениями по этому случаю (у Погодина, например, дано описание крестного хода в Пскове, монастырей и часовен, размышления о благочестии князя Всеволода и доказательства этого благочестия), либо авторские впечатления и размышления по поводу виденного, при этом в центре повествования всегда оказывался сам путешественник с его взглядами и вкусами. В этом отношении письма Якушкина имели существенные отличия и потому выделялись среди литературы путешествий прежде всего своим демократизмом. Писатель также посещает монастыри, заглядывает и в церкви, и в монастырские библиотеки, и в ризницы, но не только ради их исторического и религиозного значения, а главным образом для того, чтобы наблюдать и изучать народ в лице его страждущих и жаждущих утешения нищенствующих представителей. Здесь также обнажаются занимающие всех больные и острые вопросы времени, и главный из них — нетерпеливо ожидаемая «воля».

Наряду со строгим отбором социально острых явлений и фактов читатель найдет в произведениях Якушкина приметы эпохи: подлинные крестьянские типы и характеры, быт полукрепостных деревень, жизнь и распорядок рыболовных артелей, порядки монастырских гостиниц, описание частных и казенных дилижансов, трактиров, харчевен — из его писем встает образ России 1860-х годов, возникает живое ощущение прошлого нашей родины.

В. Г. Базанов заметил, что путевые письма этого писателя не похожи на обычный тип дворянских сентиментальных путешествий, где в центре повествования сам автор с его переживаниями. Все внимание Якушкина направлено именно на народную жизнь, народный быт, на проявления народного мировоззрения. Сам автор не в центре, но он при-

---

[1] См., напр.: Отто Н. Поездка в Псков и его окрестности.— Северная пчела, 1861, № 162—175; Масальский К. Воспоминания путешественника.— Сын отечества, 1859, № 5—6; Мацкевич А. Путевые заметки.— Литературные прибавления к Журналу министерства народного просвещения, 1851, кн. 2; Словский. Записки русского туриста.— Библиотека для чтения, 1861, № 9, 10, и др.

сутствует. Его отношение к описываемому, скупо обозначенное, бросает определенный свет на лица и события. Читатель оказывается во власти его оценок, юмора, иронии — он сопереживает, и в этом сила нравственного воздействия автора, которое возникает только при талантливом изображении. Мягкий юмор (солдат «довольно сильно оказывал свое присутствие», квартальный допускал «энергические выражения») сочетается с иронией при обрисовке отрицательных явлений. Якушкин не упускает случая направить иронию и на себя: рассказывает, как его принимают за мужика, как он неловко перебирался с лодки на баржу, как он нечаянно нарушил правила сельского этикета на вечеринке и пр. Он относится к собственным промахам с присущим ему добродушием и тем вызывает сочувствие читателя. В незначительных на первый взгляд фактах заключен определенный социальный подтекст. Так, шинкарка догадалась, что он не крестьянин, только потому, что писатель заказал себе яичницу: «Мужики этого не едят». Тому, что едят мужики, писатель уделяет особое внимание, подробно описывая, как приготовляются пустые серые щи или жидкая кашица из недозревшей, еще зеленой ржи, когда во всей округе нет ни у кого хлеба, а от эпидемии вымер весь домашний скот.

Путевые письма Якушкина отличаются географической точностью названий, топографической подлинностью описаний и имеют также интерес фольклорно-этнографический. Приметы быта, вид села, особенности надворных построек, внутреннее убранство изб, одежда и манера речи, качество окружающего леса и луга — все живо интересует писателя, но главный интерес представляют люди. Открытая и доверчивая манера обращения сразу располагает к путешественнику. Он незаметно наводит разговор на интересующие его темы, узнает исторические легенды, предания, местные суеверия. Не выходя за пределы жанра путевых заметок, автор насыщает этот жанр большой и социально значимой информацией. Среди преданий о разбойниках отобраны те, где говорится о защите бедных от богатых, где торжествует, пусть иллюзорно, справедливость. Предания о древних временах Новгорода и Пскова «любопытны тем, что показывают народный взгляд на Грозного, который далеко не так светел, как уверяют наши историки»,— писал рецензент «Отечественных записок».

Стремясь к возможно большей полноте сведений о народной жизни, писатель сохраняет некоторые характерные особенности диалекта, говора той или иной местности, подробно характеризует манеру пения и точно передает песенный текст со всеми его диалектными особенностями.

Отдельное издание «Путевых писем из Новгородской и Псковской губерний» 1860 года привлекло внимание передовых журналов, сразу откликнувшихся на их появление. «Современник» писал, что «в книге

г. Якушкина читатель встретит немало любопытных заметок, касающихся народного быта» и указывал на рассказы об аракчеевщине, об архимандрите Фотии, предания о княгине Ольге. Рецензент «Библиотеки для чтения» писал: «Г. Якушкин, до сих пор известный нам только как неутомимый собиратель русских песен, в письмах своих является писателем-путешественником, делающим честь сословию путешественников и писателей»,— и замечал далее, что «надо беречь людей, так умно умеющих ходить по России, так хорошо понимающих трудное дело беседовать с людьми и так увлекательно передающих в печати результаты своих наблюдений... Как образчик чисто русских путевых заметок книга Якушкина необыкновенно замечательна»[1].

Отзывы рецензентов — свидетельства того, насколько новы были для читателей сведения о жизни народа, о русской деревне и русской провинции. Якушкин один из первых начал «знакомить русских с родной Русью», не парадной, официальной, а народной — в этом историческое значение его путевых писем.

С конца 1850-х до 1860-х и начала 1870 годов образ автора постепенно менялся. Сначала это любознательный корреспондент «Русской беседы». Его интересует преломление исторического прошлого в народном сознании, он интересуется предметами глубокой древности, старинными рукописями, церковными и монастырскими ценностями. Но прошлое не поглощает целиком автора. Он успевает заметить, что с проведением железной дороги значительно упала торговля в ближайших к Москве городах, что новгородские церкви пустуют, что появляется новый тип подрядчика, считающего, что выгоднее хорошо кормить рабочих, чем морить их голодом. Правда, рабочие делают из этого несколько неожиданный вывод, коренящийся в исконном недоверии к хозяевам: «Хорошо кормит, хорошо платит — плутует, значит».

В путевых письмах из Астраханской губернии перед читателем — ссыльный писатель, едущий в сопровождении жандармов (он называет их «попутчиками») в свою последнюю ссылку. Якушкин с поразительным хладнокровием, пользуясь невежеством жандармов, расспрашивает донских казаков о Разине, Пугачеве, Ермаке и получает исчерпывающую фольклорную информацию. Во всех контактах со встречными писатель проявляет остроту социальной ориентации: чутко реагирует на моменты сословной неприязни между казаками и мужиками, с сочувствием относится к возвращающейся из Сибири ссыльной семье, с иронией описывает чванливого, самодовольного и жестокого жандарма. В своих последних письмах Якушкин — подлинный представитель революционно-демократического направления русской литературы.

---

[1] Библиотека для чтения, 1860, т. 161, № 10, с. 12—21.

На рубеже 1860-х годов в художественной литературе произошли значительные изменения, имеющие принципиальное значение для ее дальнейшего развития. Продолжая гоголевские традиции, она обратилась к изображению жизни народа в лице составляющих его социальных групп. Появляются новые жанровые формы в виде очерковых циклов, рассказов и повестей с героями из социальных низов. Жанр очерка из народной жизни, возникший в конце 1840-х годов, завоевывал все более широкое признание. Выдвинулась целая плеяда писателей-шестидесятников, обратившихся к жизни разных слоев простонародья. Ф. М. Решетников показал жизнь уральских рабочих, Г. И. Успенский — «мастеровщину», А. И. Левитов — столичные трущобы и степную деревню, Н. Г. Помяловский — образованного разночинца, Н. В. Успенский — деревенскую нищету и бесправие, резко подчеркнув рутинные элементы сознания у крестьянства, порожденные социальными условиями их существования. С сочувствием рисовал положение народа в столицах и провинции ученик Н. Г. Чернышевского М. А. Воронов. С очерковыми циклами выступил В. А. Слепцов: «Владимирка и Клязьма», «Письма об Осташкове», «Сцены в больнице», «Уличные сцены» и др. Редакция «Современника» поддерживала новое направление.

В русле этой демократической литературы выступил и Якушкин и сумел занять в ней своими очерками и рассказами особое место.

Главное достоинство его произведений — подлинность описываемых событий и фактов, бесхитростная правдивость повествования, почти полное отсутствие так называемой беллетризации. У него нет ни придуманной фабулы, ни сочиненных персонажей, ни навеянных воображением пейзажей. Как автор он не считал себя способным к такого рода сочинениям. «Мне, право, жаль, что я не умею составить картину, имея под руками все: и содержание, и краски»,— замечал он. Критик и журналист А. М. Скабичевский писал, что его произведения представляют «ряд фотографий, целиком снятых с действительности». Отмечая умение писателя «заглядывать в сердце мужика», критик заметил, что он «не идет далее конкретных фактов, случайно подмеченных им в его странствиях по земле русской». Если критик прав относительно подлинности фактов, то нельзя согласиться с ним относительно случайного характера наблюдений. Факты, имеющие, по мнению Скабичевского, характер случайный, на самом деле отобраны писателем продуманно. В их отборе как раз и проявляется его революционный демократизм, гуманизм, его проверенные жизнью убеждения.

Писатель видит народную жизнь не с одной только внешней стороны, а изнутри, вглядывается в нее заинтересованно и с любовью — и люди раскрываются перед ним в глубинной правде их отношений. Они восхищают его нравственной высотой души, прирожденным благородством харак-

теров, особой деликатностью. Красавица Анна Петровна (очерк «Небывальщина») поразила когда-то В. Г. Короленко правдой редкого по красоте человеческого характера. Якушкин подмечает душевную щедрость и доброту людей из народа. Крестьянки разных губерний одинаково считают грехом брать деньги со странствующего человека за ночлег и еду. Незнакомая женщина целую ночь ухаживает за больным Якушкиным из чувства сострадания. Но писатель не идеализирует крестьян, не скрывает их недостатков: известного консерватизма взглядов и привычек, патриархальности и косности, но умеет подметить и проблески устремлений к новому, способность критически оценить настоящее и веру в будущее. Из многочисленных встреч его с людьми складывается образ народа, образ русского крестьянства; показаны главные черты характера русского человека, добродушного и лукавого, храброго на войне и теряющегося перед начальством, умного, доброго и простоватого, безоглядного в гневе и терпеливого, битого, обманутого, притесняемого.

Люди из народа написаны с неизменной авторской симпатией. Представители привилегированных социальных групп и сословий отмечены явной или скрытой иронией и насмешкой. При их изображении свойственный писателю мягкий юмор переходит временами в довольно злую сатиру, особенно при изображении глупого и спесивого жандарма, жадных чиновников, неумных помещиков.

Рассказы и очерки Якушкина имели для своего времени большое общественное значение, поскольку раскрывали те стороны народной жизни, которые в эпоху готовящейся отмены крепостного права интересовали всех: отношение крестьян к «воле», новые тяготы в их положении, роль в жизни крестьян новых установлений, новый тип отношений с помещиками. Сократили срок крестьянской службы — и Якушкин живо откликается на это событие в очерке «Прежняя солдатчина и рекрутская жизнь», пользуясь возможностью показать, какой жестокой трагедией для крестьянской семьи был рекрутский набор. Родные оплакивали рекрута как покойника. Мало кто возвращался домой после двадцатипятилетней службы. Очерк был наполовину сокращен цензурой. Он был написан по материалам народных песен и устных рассказов солдат о порядках в старой армии. Видимо, именно устные рассказы были изъяты. Но и в сокращенном виде рассказ производил неизгладимое впечатление подлинностью фактов. Земляк Якушкина Сергей Иванович Турбин при встрече с ним начал горячо хвалить очерк: «Прелесть, правда!» Писатель с горечью прервал его: «Какая же это правда — половинкина дочь! Плевать на такую правду!»

Из-за цензурных притеснений писатель часто вынужден был прибегать к «фигуре умолчания», ограничиваться намеками. В очерке о Крымской войне он привел слухи, слышанные от раненых солдат в харьковском

госпитале, о девушке, которая во время осады Севастополя доставила целый транспорт с ранеными в Харьков и заботилась о них так, что они говорили: «Матери родной — и той бы так не угодить. Ундерам всем руки прижала...» При этом она сберегла значительную сумму казенных денег. Генерал-губернатор, получая оставшиеся деньги, ахнул: «Он, зная справочные цены, никак не думал, чтобы так дешево можно было довезти больных до Харькова». Этот эпизод напоминал читателям совсем другие факты: широко известные хищения крупных денежных сумм при военных поставках и снабжении армии вызвали после окончания Крымской войны ряд судебных процессов.

В очерке «Чисти зубы, а то мужиком назовут» (название иронично) писатель обратил внимание на чудовищный факт крепостнических отношений — обычай «чистки зубов», то есть рукоприкладства, вошедшего в систему во всех областях жизни. Крестьян избивали большие и маленькие начальники: исправник, становой, староста, даже учитель (для последнего это способ вымогать с родителей какую-нибудь мзду). Якушкин останавливается на этом и в письмах из Орловской губернии: «Придешь к начальнику; тот, как выйдет — прямо тебе в зубы, а там еще, еще... А как натешится, тогда только спросит: «Какое твое дело?»

Некоторые очерки заключают в себе элементы публицистики. Впоследствии эту особенность писательской манеры Якушкина творчески использовал Г. И. Успенский, в молодые годы знакомый с его братьями, друживший со старшим Александром и хорошо знавший произведения Павла Ивановича. В очерках Якушкина, как позднее и у Г. И. Успенского, показана целая галерея народных «мироедов»: помещики, живущие всю жизнь за границей на крестьянские деньги, чиновники, неделями пребывающие в деревне по казенным делам или для собственного удовольствия и не желающие платить за продукты; управляющие и старосты, становые и исправники — вся сельская полиция и, наконец, вся система судопроизводства, направленная против крестьян. Не случайно Якушкин неоднократно вспоминает в очерках «Записки охотника» Тургенева. Антикрепостническая направленность сближала его очерки со знаменитым циклом рассказов Тургенева. Крепостное право в течение веков воздвигло степу между народом и господствующими классами. Разрушить ее сразу не могла никакая реформа. Мужика не считали за человека, его заботы и нужды никого не трогали. В замечательном рассказе «Бунты на Руси» писатель показал, с какой легкостью уездное начальство объявляет бунтом любое выражение справедливого несогласия со стороны крестьян. Его не волнует могущая произойти трагедия для крестьянских судеб. Зато в перспективе возможность получить награды за подавление мнимого бунта.

Глубокая пропасть непонимания существует между народом и приви-

легированными представителями дворянства и чиновничества, присяжными, защищающими интересы купечества, даже либерально настроенными деятелями крестьянской реформы. «Мы очень любим народ,— иронически замечает Якушкин,— только не хотим изучать его нужд, а сидя в кабинете, сочиняем его истинные потребности; народ, в свою очередь, не понимая наших гуманных начал, смотрит на нас недоверчиво. Еще надо прибавить, что мы даем всему вид таинственности и все скрываем от народа, даже то, что напечатано в газетах; поэтому народ верит всему, что ему скажет какой-нибудь пройдоха-подьячий, беглый солдат, и ничему не верит, что ему скажет помещик или какой-нибудь начальник».

Наибольший интерес читателей и специальное внимание исследователей вызвал рассказ «Велик бог земли русской», где показано отношение крестьян и помещиков к готовящейся реформе по отмене крепостного права. Рассказ сначала назывался «Воля», потом «Освобождение». Н. А. Лейкин в своих воспоминаниях писал, что название дали в редакции «Современника». «...Кажется, если не ошибаюсь, даже сам Некрасов»,— добавлял он. Но это вряд ли так. С названием рассказа согласован эпиграф, вместе они выражают столь свойственную манере Якушкина иронию. «Никем же враги гонимы, только властиею божиею; мудрость бо плотская что содеяла?» — говорится в эпиграфе. Из небольших сцен и очерков, составляющих рассказ, можно убедиться, что реформу и ее осуществление «мудрость плотская» содеяла плохо. Обнародование манифеста 19 февраля 1861 года, написанного непонятным для крестьян языком, было организовано и проведено неудовлетворительно, начиная с рассылки текста и кончая его чтением и толкованием. Разные объяснения получал у критиков смысл названия рассказа. В основе его заключена древнейшая пословичная формула «Велик бог». Еще киевский князь Владимир, у которого, по летописному преданию, прошла болезнь глаз при крещении в христианскую веру, воскликнул: «Велик бог христианский!» Позднее эту формулу как пословицу употреблял и Владимир Мономах. В течение веков она наполнялась различным историческим содержанием. Так, в апокрифическом рассказе «Чудо святого Николы о половчине» (половец был отпущен из плена за поручительством иконы св. Николая, и чудотворец трижды является, напоминая о необходимости внести выкуп) половцы удивляются тому, «яко велик бог русский и дивны чудеса творит».

Якушкин использует эту популярную пословичную формулу, чтобы подчеркнуть историческую значимость свершившегося факта уничтожения крепостного права: народ избавился от тяжкого ига, сковывавшего его в течение пяти столетий. Но в названии скрыта и известная доля иронии, ибо, как верно заметил любимый Якушкиным Н. А. Некрасов, «на место цепей крепостных люди придумают много иных». Освобождение крестьян

растянулось на годы, помимо выкупа долго существовала барщина в форме трехденки. По воспоминаниям Лейкина, Некрасову очень понравился этот рассказ. «Прелестная вещь, батенька»,— говорил он. Хвалил его и В. С. Курочкин: «Славные рассказы и ловко сгруппированы» (с. LXXIII). Рассказ был написан в каморке М. Я. Свириденко, но отдельные эпизоды, вошедшие в него, писатель рассказывал друзьям задолго до написания.

Писательская деятельность П. И. Якушкина продолжалась немногим более десяти лет Шесть из них приходятся на период ссыльных скитаний. Многое из написанного им пропало бесследно: наброски терялись во время странствий, исчезали при пересылке. Но и то, что дошло до нас, имеет историческую, познавательную и нравственную ценность. Его произведения — единственные в своем роде документы эпохи. При жизни писателя его сочинения вышли дважды отдельными изданиями: «Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний» (Спб., 1980) и «Бывалое и небывальщина» (Спб., 1867). В последнюю книгу не вошли лучшие рассказы: «Велик бог земли русской» и «Бунты на Руси», а также очерк «Бунт в с. Никольском». В связи с ужесточившимся цензурным режимом эти рассказы были запрещены. Напрасно издатель В. Е. Генкель хлопотал о разрешении. Только отдельные эпизоды из первого рассказа вошли в сборник под названием «Отрывки без конца и начала». Не включил Генкель и путевые письма.

После смерти писателя его сочинения издавались дважды: в 1884 году однотомником под редакцией В. О. Михневича, куда вошли также биография, написанная С. В. Максимовым, и воспоминания, и в 1895 году — избранные, в издательстве А. С. Суворина.

В советское время сочинения П. И. Якушкина издаются впервые. Они отражают уровень народной культуры, без вымыслов и художественных преувеличений рисуют подлинную народную жизнь в ее разнообразных формах и написаны человеком, глубоко любящим, понимающим народ и сострадающим ему. В этом их непреходящий для нас интерес.

Путевые письма

I. Из Новгородской губернии

Тверь, 29 ноября 1858 года.

Вчера я приехал в Тверь с тяжелым поездом; дорога была скучная, от нечего делать я подсел к мужикам; разговорились о Кокореве; кто-то похвалил дом его в Москве близь Покровки.

— Небось, целковых шесть стоит,— заметил один из мужиков.

— Бывают дома и дешевле,— ответил на это другой.

— Как, дешевле шести целковых? — сказал я.

— Много дешевле.

— Какие же такие дома?

— А вот что одна-то лошадь домов по двадцати возит!

— В этих домах всякому жить придется,— заметил седой старик, покачав головою,— называются только они гробами, а то та же домовина, стало быть, дом!

В моем вагоне везли кондукторов, которые от нечего делать перепились и поминутно ссорились между собою. Один из них, старый отставной ундер, сильно негодовал на молодежь; так называл он своих товарищей, тоже отставных ундеров с седыми усами.

— Молодежь эта,— говорил он,— не умеет служить богу и великому государю, не умеет... Тоже служит, говорит; да как служит, спрошу я,— не по-нашему; я служил, служу... буду служить не по-ихнему. До гробовой доски буду служить! В наше время служили не по-нынешнему. Вот хоть, к примеру, взять: были мы под Варною, когда с турком война была, а в ту пору я служил в Преображенском.

Вышел приказ такой: со всей гвардии вызвать сто двадцать человек охотников, так куда тебе сто двадцать — двенадцать тысяч вызвалось! Начальники и велели жеребий трясти. Стали трясти: вышел жеребий мне. Фельдфебель был у нас Петров; тот давал мне пятьдесят, сто рублей, только пусти его с моим жеребьем, да я не взял! А был тогда еще рядовым!

Много он и еще рассказывал, но, как он на каждой станции прохлаждался, то язык его выговаривал все невнятней и невнятней, а наконец и совсем отказался служить.

Приехав в Тверь, я пошел в трактир ужинать, где ко мне подошел один господин храброй наружности. Мы с ним разговорились, и сей господин оказался, сверх моего ожидания, каким-то чиновником или писцом при комитете по крестьянскому делу. Между прочим, он говорил мне, что комитет решил печатать все свои протоколы, чем писец был сильно недоволен: «Для чего, кому надо знать? Прикажут, когда придет время!»

Сегодня поутру я пошел отыскивать Рж⟨евского⟩ и Р⟨убцова⟩; в Твери я был в первый раз; Рж⟨евский⟩, по просьбе М. П. Погодина, мог указать мне, на что особенно надо взглянуть, а Р⟨убцов⟩ как секретарь губернского правления мог при пешеходном моем путешествии по Тверской губернии оказать большую помощь: я знаю по опыту, как трудно растолковать некоторым особам, особливо становым с братиею, цель моих походов, а секретарю, да еще губернского правления, не то что нашему брату, во всем поверят. Но, к моему великому горю, я ни того, ни другого не нашел в Твери; они оба уехали в Москву. За розысками их я опоздал к обедне в собор, который мне очень хотелось видеть. От нечего делать я отправился в трактир «чаевать» и там напал на купцов, пришедших туда тоже чайку попить. Не могу вам сказать, как у нас зашел разговор; кажется, один из нас попросил газету у другого. Мы разговорились и сели за один стол. Перекинув несколько слов, я спросил их, как идет торговля после открытия чугунки: сильнее или упала? Вероятно, значительно увеличилась?

— Увеличилась!.. Какое, увеличилась! не в пример туже пошла!

— Отчего же?

— Как отчего? Москва стала ближе. Теперь кому что на-

до купить, заплатил один рубль пятнадцать копеек, да и в Москву; а там он хоть и не дешевле купит, да думает: во ста местах побываю. Теперь ни одна свадьба не бывает без поездки в Москву! Сперва этим товаром, так сказать по-нашему, красным, на два миллиона в розницу Тверь торговала, а теперь на двести тысяч! На два миллиона, то есть в розницу, торговала на ассигнации, а двести тысяч серебром, все-таки это выходит семьсот тысяч: а остальные-то где взять?

— Вы говорите про торговлю красным товаром, а как же у вас идет хлебная торговля?

— То же и с хлебом! Хлеба везут по Волге много, из Твери еще больше, да только хлеб насквозь проходит: в одну заставу ввезут, в другую вывезут; с Волги на железную дорогу — да и вся недолга! Вот Новгород сперва как горевал, что железная пойдет мимо; а теперь железная дорога так отрезала, что вся та сторона к нему потянула! Вся сторона: Псков, Курляндия, Лифляндия, Швеция! Теперь в Новгороде то и дело что строятся; вот недавно купец... купец... забыл, как прозывается... вот как по Волхову пойдешь, так на углу будет... забыл! Так этот купец поставил дом во сто тысяч, да тысяч серебром! А у нас нонече сильных людей, богачей нет. Ты знаешь, Михайло Яковлевич,— сказал он, обращаясь к своему товарищу,— старицкого купца Ивана Дементьева?

— Беспопового-то*, что в прошлом году умер? Знаю.

— Что за сила была! Один всей здесь торговлей ворочал: в Старице жил сам, а в Твери никакого хлеба без него не покупали!

— А умер собакой! — отозвался какой-то господин в чуйке, тоже из купцов. Мои товарищи примолкли.

— Отчего же собакою? — сказал я.

— Да вот видите, сударь ты мой,— продолжал господин в чуйке,— умирает он, совсем умирает; знает: умрет без святых тайн — всю родню его засудят, так и приобщился, а похорон справлять не велел; позвали только восемь попов, а ни архиерея, ни архимандрита — никого не позвали, да так похороны и справили! И тех бы не справили, коли б можно было — тем и кончили!

* Беспоповый, то есть раскольник беспоповщинского толку, «филипповщина есть»,— как мне сказал один здешний мещанин. (*Пояснения к тексту, принадлежащие автору, далее не оговариваются.*)

— У них, верно, старых книг много? — спросил я.

— Много. Умер отец моего тестя — он был из таких же, — так он оставил пудов тридцать старинных книг! Да я все их во Ржев спустил, там до этого охотники!

— Да и я охотник; коли есть у вас еще, я куплю, — сказал я.

— А на что же вам? У вас, как кажется, борода стриженая? — спросил он меня. Я ему сказал, для чего мне нужны старые книги и рукописи. Купец смекнул.

— Понимаем! Если хотите достать, то сходите к Т. Б. у него два прозвища; он живет у старой аптеки; у него своя лавка там есть. Да еще сходите к Ж., а этот живет во второй улице; у них много книг, может быть, они и продадут вам. На Ж. сильно гораздо не надейтесь, он сам старой веры; а у Т. Б., если он еще не все растранжирил, купите, да и задешево купите, отец его был человек крепкий, любил, покойник, старые книги, а, как старик-то помер, достались эти старые книги сынкам, они и пустили их в ход: сперва поделили, а потом наперегонки во Ржев. Во Ржеве это заприметили: за рубль десять копеек платили. Коли осталось — и вам продадут их с удовольствием.

Собеседник мой Михайло Яковлевич Барсуков, обязательно предложив мне свои услуги, пригласил меня к себе вечером на чай. Узнав, что я из Орла, он много расспрашивал об орловском пожаре. Разговорившись о пожаре, один из собеседников рассказал мне случай, бывший в Твери.

— Был в Твери пожар, и какой-то мужичонко один-одинешенек отстоял дом, да не один дом; загорись тот дом — много б города сгорело! Взлез этот мужичонко на крышу, подают ему воду, воды недостало — стали давать квас, так и не дал дому загореться. На низу против ветру было жарко стоять, а по ветру еще хуже! Да еще сказать: на верху духу больше, коли ж еще к тому сказать, что на его сторону ветер был — просто быть нельзя! Ему кричат снизу: «Слезь, слезь! Пропадешь по-напрасному! Слезь!» А тот знай свое дело делает: поливает крышу то водой, то квасом — так и не слез! И уж как он там стоял, бог его знает! Так-то этот мужичонко и отстоял дом; не сам отстоял — так ему бог дал! Ну, когда бог помиловал, хозяин и дает ему серенькую, пятьдесят рублей бумажку, значит, так мужичонко... а и мужичонку всему-то грош цена — так му-

жичонко не берет! «Не я, говорит, отстоял твой дом: отстояла твой дом мать пречистая богородица Владимирская, так ты ей, матушке Владимирской богородице, и помолись, да ее, матушку, и поблагодари». Так и не взял.

Тверь, 30 ноября.

Михайло Яковлевич Барсуков, церковный староста Тверской Знаменской церкви, рассказал мне, что у них в церкви есть восковой образ Владимирской богородицы, по всей Твери считающийся за явленный и чудотворный, и что его носить по домам не разрешено.

Мне рассказывала здешняя баба про эту икону следующее. «Явилась она лет за пятьдесят, может, и больше; явилась она портомойке. Жила женщина благочестивая в работницах у одного тверского купца; ее дело было поутру пораньше встать, горницу прибрать, воды наносить, обед сготовить, после обеда всех уложить, а там самовар поставить, чаем напоить, ужин приготовить. Сказать правду: день-ночь работай на хозяина, спи на себя. Пошла эта благочестивая женщина на Волгу белье, рубашки мыть. Видит она, моя матушка, женщина благочестивая, видит, что волной что-то к ней прибивает, смотрит — воск плывет. Взяла она тот кусок, бережнехонько положила да отнесла домой. Хозяин был строгий: всяк день надевал чистые рубашки; не то что по субботам или к празднику там, а всяк день, как сказано. Белья было, стало быть, много. Наутро эта женщина благочестивая опять пошла на Волгу белье мыть. Стала она белье мыть — к ней плывет еще кусок воску; она и этот кусок взяла домой. Принесла домой, сложила эти два куска, они и срослись, видит — образ Пречистой богородицы Владимирской. Только она сложила эти два куска неровно — так и теперь, по сю пору, рубчик остался посреди».

— Эту икону запрещают брать на дом.

— Да все-таки берут,— говорит Барсуков,— не хочется с попом ссориться!

— Зачем же с попом ссориться, из-за чего? В Москве Иверскую берут на дом. Пусть берут и вашу Владимирскую. Ваше дело.

— Да ведь иконы-то берут в других местах не по-нашему. Иверскую, как вы, к примеру, взяли, везут в карете, с

честию; благочиние соблюдено, а нашу матушку под полу — да и пошел! Крадучись — вот что нехорошо! А как, видя большую заступу от иконы, не пустить ее в дом? Несовершенное дело!

Еще Барсуков рассказывал мне, что он видел камень, найденный при нивелировке улицы, с надписью: «Здесь лежит Микола поп», дальше он не помнит.

По указанию Барсукова я ездил к Ж. за речку Тьмагу, но ничего не нашел. Впрочем, Барсуков мне обещал поискать и, буде найдет что, меня уведомить. Возвратившись от Ж., я понес в лавку к Барсукову статью М. П. Погодина и «Путь севастопольцев» Кокорева, за что был приглашен Барсуковым в трактир чайку попить. К нам подсел еще один господин в чуйке, его товарищ. Мой новый собеседник стал рассказывать о раскольниках. Догматов их он не знал, знал только одно, что они беспоповые да еще что они всем *мирщат**. Так, муж женой мирщит, жена мужем.

— Уж на что мальчишки, и те туда же! Раз я ездил за Тверцу. Та сторона за Тверцой так и называется Азия. Азияты настоящие, все беспоповые. Стоит этак чашечка, я и возьми ее, водицы хотел испить; как закричит мальчишка этак лет семи, а то шести, как закричит: «Чашку мою мирщит, чашку мирщит!» Отец молчит. Я ему: «Ну, и жена чашку мирщит?» — «И жена чашку мирщит».— Ну, а спать вместе, это не мирщит?» — Это нужда, стало, не мирщит». Поди с ними! А то вот было дело: были два брата; один был головой, а другой был празднинский**; голова-то был православный, а празднинский — беспоповый; жили они врозь, то есть в отделе. Голова-то и приезжает к брату, к беспоповому-то, на праздник. У них был престольный праздник; надо садиться обедать, беспоповый и говорит: «Вы погодите садиться». А кроме головы еще были православные. «Мы пообедаем сначала, а вы после. Нам с вами мирщит». Голова ничего. «Обедайте,— говорит,— мы

---

* Старообрядцы, особенно беспоповщинские, называют православных мирскими. Всякое общенье с мирскими называется мирщеньем. Мирщить вещь — значит поганить ее. «Жена мужем мирщит», то есть попрекает его в мирщенье, а потому и брезгает им. Должно заметить, что все раскольники, какого бы толку ни были,— не миряне и потому друг другом не мирщат.

** Рассказчик мне это слово объяснил, что он был праздным, то есть не па службе; это неверно: праздницкими называются — у кого престольный праздник.

хоть и после». Отобедали они; ну осталось у них в чашке сколько там щей, каши, что ли; только они, не сполоснувши чашки, подлей туда еще, да и поставь на стол. Как схватит голова чашку, да в лицо брату: «Вам от нас мирщит, а нам от вас, думаешь, не мирщит? И нам мирщит!» Как пошла у них драка, весь праздник дуром свернули, после в суд; уж судили-судили, а чем порешили — этого я не знаю наверно.

Поутру ходил к обедне, к Знаменью; церковь не очень старинная и небольшая. Ее испортили пристройкой: к совершенно круглой церкви приделали коридор, и как внизу нельзя было сделать в этом узком коридоре ни одного придела, то придумали устроить хоры, а на хорах два придела. Из церкви вместе со мной пошел один здешний купец (он мне не сказал своей фамилии). Мы с ним разговорились, и он мне плакался на княгиню Б.

— Я,— говорил он,— торговал железным товаром и по Твери был одним из сильных людей, торговцев. Дела вел с княгинею большие, да еще и не с ней, а с ее батюшком-покойником все время вели дела. Только приходит время платить ей, а тут мой должник обанкрутился, да не то что вправду, а так, притаился. Я к княгине: «Потерпи, матушка, хоть недельку, еще с батюшкой торговали», а со мной она торговала лет сорок. Мне теперь лет семьдесят, да и в ту пору было лет шестьдесят. «С батюшкой торговали,— говорит моя княгиня,— батюшка деньги и брал; а я с тобой тороговалась, мне ты и платишь; перестал платить — в острог!» Куда тебе! Все продали с аукциона: было товару на пятьсот тысяч — продали на двести. С аукциона продавали — еле-еле с процентами расплатился, а продавай-ка сам — не ходил бы по миру!

Чудовская станция, 2 декабря.

Вчера вечером выехал из Твери и ничего не могу сказать про нее; кажется, она сильно сбивается на так много любимый мною славный город Харьков. Да и сами жители говорят про свои родные города одно и то же; в Харькове я слышал поговорку: «Харьков-городок — Петербурга уголок». В Твери тоже говорят, что «Тверь — Петербургская сторона»! «По плану перестроена» — вот единственная похвала Твери, которую мне удалось слышать от тверитя-

нина*. Про Тверь старую, про Тверь богатую, как она осталась в песнях, и то не тверских, и помину нет; кой-где промелькнет старое название улицы, церкви, но все-таки главная улица в Твери — Миллионная. В два дня, которые я пробыл в ней, мне не удалось видеть ни одного тверского женского наряда: все в немецких платьях.

Не Тверь старую, не ту Тверь, которая последняя стояла за уделы, а часть Петербурга, по-петербургски благоденствующую, я видел в Твери. Это не то что Ярославль. Когда мне привелось лет двенадцать — тринадцать назад быть в Ярославле, я сказал одному ярославскому посадскому, что Москва лучше Ярославля; посмотрели бы вы, как горячо вступился он за батюшку Ярославль-город! Когда я напомнил ему про святыни московские, он сказал:

— Да, это правда! Да Москва-то на крови стоит, а на Ярославле ни капли крови человеческой нет!

Из Твери поезд (тяжелый) выходит в десять часов вечера, а я забрался туда в конце девятого, не знавши, что в Твери поезд стоит целый час. При мне одна старуха просила всех кондукторов и офицеров взять ее с собой, потому что у ней денег нет ни копейки — все потратила в Твери; она солдатка, так ей надобно было из кантонистов детей выписывать, и надобно было ей всего-то ехать до Волочка, а там в сторону. Плакала старуха, кланялась в ноги, но все начальствующие ей отказали: не имеем, говорят, права. Признаться вам сказать, меня удивляла эта брутовская стойкость, это «чувство законности» даже при таких обстоятельствах!

На чугунке в вагоне два какие-то юноши свели коллежского асессора из немцев и русака-мужика, обоих пьяных; станции две или три поили их еще: они то целовались, то бранились, наконец кондуктор должен был принять меры, чтоб драма не перешла в мимическое представление, и развел их. По уходе своего врага-приятеля коллежский асессор стал бранить русскую полицию, русский народ, и много-много он говорил, пока один из самых простодушнейших мужиков не пообещал поколотить его, если он не замолчит.

---

* Одна из лучших улиц — Набережная, все дома — каменные и все до одного по правую сторону от Проломной улицы — совершенные казармы.

— Да молчи же ты! Ступай, куда хочешь: кроме России земель много! — крикнул мужик, и немец замолчал.

В Вышний Волочок мы приехали в три часа пополуночи, где я и остался. Когда поезд двинулся, я пошел к извозчикам, которые, зная час прихода поездов, приезжают к этому времени. У самой станции на снегу лежало мужиков человек пятнадцать.

— Что вы, братцы, тут делаете? — спросил я.

— Машины, ваше степенство, ждем; да холодно гораздо. Сам смотри: часа два ждем, а еще до утра далече; ведь в Москву машина отойдет утром. Невтерпеж пришло: хоть по копейке или там сколько за ночлег заплатили бы, да негде — кругом жилья нет!

Я им посоветовал идти в контору, как они называли станционный дом, и уехал. Не знаю, пустили ли их туда, а то в самом деле им, бедным, пришлось невтерпеж: на дворе было морозно да и ветер был порядочный. Приехав в Вышний Волочок, я сейчас же лег, а на другой день пошел посмотреть город. Волочок довольно хорошо выстроен, но показался мне как-то неприветным. А кажется, там чего-чего нет: и клуб, и кофейная; в кофейную собираются господа шоколад, кофе кушать; в клубе назначены вечера карточные, вечера танцевальные — только на улицах народу нет. Впрочем, и дурное время выбрал я для осмотра Волочка, надо приехать летом, во время судоходства.

Мне захотелось посмотреть здешний канал и шлюз, хотя, правду сказать, зимою не много увидишь. Там стоял какой-то старик, с которым мы разговорились. Я у него спросил, что сделала им железная дорога: поднялась ли торговля от чугунки?

— Да, кажись, друг любезный, ни поднялась, ни опустилась; как была, так и есть. Вот только овес пошел шибче, прошлый год со всех местов к Волочку потянули: и сухопутьем, и на судах, а отсюда на чугунку — да и в Питер; особливо зимой сильно овес идет.

— Да отчего же по воде не отправляют овса в Питер? Здесь есть пароходы.

— И по воде отправляют, только пароходов здесь нет. Да и на что они, от них проку никакого. Вот нынче развелись пароходы в Твери: стерляди были нипочем!

— Ты говоришь, рыбу распугали; как же так всю рыбу

распугали — а этим летом в Твери стерляди-то были нипочем?

— А вот видишь ты: рыбу распугали из своих местов, она и бросилась все врозь; теперь-то ее много да во́ду-то ей больше не будет.

Как-то, проходя вдоль чугунки, подошел я к одной будке и, закурив папироску, спросил у солдата, что он здесь делает.

— Да ничего,— отвечал он,— начальство велело, как идет поезд, палкой честь отдавать, караул делать; только сорвется поезд с дороги, с рельсов — за хвост не удержишь.

Новгород, 4 декабря.

Воля ваша, а наш век — век «блага и пользы». Мы все хлопочем нынче о пользе ближнему; взгляните на любое объявление об издании журнала, для чего он издается? «Наши дамы сознали, что женщины... образование... только с этой целью мы решились для общей пользы издавать журнал». В другом читаем: «Давно чувствовалась потребность в газете, которая бы за дешевую цену распространяла в народе сведения, знания... поэтому мы для общей пользы...» Одно только забывают господа, заботящиеся об общественной пользе, забывают спросить самих себя: сумеют ли они сделать какую-нибудь пользу? А то, пожалуй, вместо пользы и вред выйдет! Это мне пришло в голову больному, а болен-то я сделался от «пользы», которую мне навязали! Дело вот в чем: из Чудовской станции до Новгорода ходят ежедневно дилижансы: один казенный, другой графский, графа Г. В. казенном мне ехать не хотелось — он неудобно устроен: внутри кареты сиденье не поперек, как в обыкновенных, а вдоль, влезают сзади и садятся затылком к окну; мне кажется, что в продолжение семидесятиверстной дороги ветер сильно надует в затылок. Я стал расспрашивать про частные дилижансы, а казенный между тем уехал, и я пошел отыскивать кондуктора графского дилижанса, но его нигде не оказывалось. С помощью гривенника я только мог узнать, что кондуктор пьян и решительно к делу неспособен. Делать было нечего, я стал терпеливо ждать минуты отъезда и пошел обедать в гостиницу, которая здесь очень чисто содержится. За обедом хозяин говорил мне, что этот дили-

жанс «не для аферы устроен, а, собственно, для того, чтоб проезжающим было хорошо: ведь ямщик запросит с вас и бог знает какую цену, а нечего делать — дадите!» Вот и устроили этот дилижанс по таксе, значит, «для пользы», и действительно, дилижанс отправляется очень аккуратно, тотчас по приходе поезда железной дороги. Как только приехал поезд, я с одной стороны, пьяный кондуктор с другой бросились к дилижансу.

— Есть место?

— Есть, извольте садиться! Влезаю; не успел еще сесть, за мной еще господин, еще и еще.

— Есть место? — проговорил женский голос.

— Есть!

— Ну как те не грех,— проговорил один из ямщиков, которых здесь много стоит на тройках, парах, в одиночку — как не грех отбивать у нас работу? И добро бы для себя хлопотал, а то черт знает для кого!

Но, несмотря на эту рацею, барыня все-таки влезла в карету.

— Есть место? Есть место? — слышалось отовсюду, но кондуктор, восчувствовав весь грех отбивать работу, закричал: «Пошел! Места нет!» — вспolз кое-как на козлы, и мы поехали.

На ходу мы стали размещаться; оказалось, что всех мест семь, а нас было пятеро, чему мы, конечно, порадовались — просторнее! Едва мы уселись — о ужас! — мы заметили, что дверец в карете не имеется. Вместо дверец висел какой-то клок кожи, клок, который ни справа, ни слева, в одном месте на вершок, в другом на четверть не закрывал отверстия. Я погоревал об этом вслух; барин, сидевший тут (как после оказалось, член комитета по крестьянскому делу), смеясь, проговорил: «И ты, мужичок, этим огорчаешься? Нехорошо! Ха, ха, ха! Каково! Мужичок вошел в карету, нашел недостатки. Прошу покорно»*. Я его назвал «вашим благородием» и сказал, что он в качестве барина должен заступиться за мужичка: «Ведь мужичок заплатил деньги, так надо, чтоб мужичок даром денег не платил». Пока мы так приятно беседовали, мы заметили, что нет одного стекла в окнах кареты; еще немного проехали — свечи стали валиться в фонарях; в обыкновен-

* Надо заметить, что я был в полушубке и с бородой.

ный фонарь вставили свечку, она, разумеется, от тряски нерессорного экипажа никак не могла держаться; мы остановились, зажгли снова фонарь, но через пять минут та же история; мы бросили. В темноте мы сделали открытие: крыша кареты во многих местах отстала, так что в щель проходил палец. Надо заметить, что эти кареты еще очень недавно ходят.

Можете судить о моем горестном положении: я ехал в вагоне по чугунке, одеваться тепло было не для чего, сел в карету — тоже; но после оказалось, что я сижу на механически устроенном сквозном ветру. Приехали на станцию, я упросил одного пассажира наружного места поменяться со мной, и он (о, несчастный!) согласился. На этой же станции барин, назвавший меня мужичком, извинялся, и, хоть я его уверял, что единственное мое желание походить на мужика и что я очень рад, что могу казаться мужиком, он все-таки не мог поверить, что он меня нимало не обидел. Вторую станцию я проехал хорошо: ночь светлая, хоть ветер, да не сквозной, а внутри кареты темно и ветер чувствительнее; да к тому же на козлах сидел мальчик, кажется, сын ямщика; я его перетащил к себе, а он в благодарность целую дорогу пел мне песни: «Кончен, кончен дальний путь», «Во пустынюшку, мальчик, удаляюсь» и тому подобные. Да одну песню про Ярославль-город. Ярославль-город и здесь, на битой дороге, не потерялся. Песню, которую пел мне мальчик, я знал прежде, она сложена про пожар Ярославля; но я его заставил пропеть два раза, мне хотелось прислушаться к выговору. Так он выговаривал *ёму* вместо ему, *загоряеться* вместо загорается, полторы *вёрсты* вместо полторы версты, *ру́чей, погля́дишь*... Еще в этой песне поется:

Загоралася одна лавочка
С черными соболями,
С писаными картами...

На следующей станции нас не пустили в станционный дом. Почему? Мы не знаем: ехали мы, кажется, в дилижансе и на почтовых лошадях. Здесь же потеряли мы одного пассажира; он пошел в ямскую избу закурить папироску да и пообогреться немножко, а как здесь не подают сигналов и пьяный кондуктор не смотрит, все ли пассажиры, то он с папироской во рту вышел из избы в ту минуту, когда экипаж уже тронулся. И этому господину предоставили удо-

вольствие бежать версты две и кричать сколько ему угодно: наш дилижанс так стучал и дребезжал, что ничего не было слышно. Несчастный господин, имея полное право бежать еще далее, воротился, однако, на станцию, размышляя так: догнать не догоню, а назад идти будет дальше. Приехали в Новгород в четвертом часу, хоть и обещались привезти в первом. «Извольте выходить!»

Мы все выскочили, кондуктор стал стучаться в гостиницу. Гостиницу отперли, и мы услышали голос: «Нумеров нет!»

— Пойдем в новую гостиницу,— предложил кондуктор,— там гостиница того же хозяина. Мы туда, там тоже услышали «нумеров нет!».

— Теперь, господа,— сказал кондуктор,— извольте идти куда хотите, нумеров нет, здесь ночевать негде!

Представьте себе мое бедственное положение: в незнакомом городе, в четыре часа ночи, на улице, с кучею вещей. Что бы вы стали делать? Подумав немного, я приказал кондуктору везти себя к графу Г., то есть содержателю полезного заведения дилижансов. Это немножко удивило кондуктора.

— Да вы знакомы с ним? — спросил он меня.

— Нет, не знаком.

— Так зачем же ночью идти к нему?

— Как зачем — ночевать!

— Ночевать в конторе можно.

— Можно? Так отчего же ты меня прямо не провел в контору?

— Помилуйте, я вам предлагал, да вы не хотели...

И солгал кондуктор, вовсе и не предлагал, а всячески старался спровадить с рук поскорее. Приходим в контору: прекрасный номер, где решительно ничего не напоминает конторы, а просто нанятой номер для проезжающих. На другой день в контору пришел наш забытый путник, взял вещи, рассказал про свое горе и ушел.

Из этой повести можно вывести следующее нравоучение: если хочешь сделать пользу, делай сам; если увидишь, что в этом деле, за которое взялся, ты дурак,— брось: и тебе будет дурно, и другим плохо; сам будешь работать да будешь знать толк в деле — будет хорошо; заставить же пьяного холопа делать добро для спасения барской души — довольно трудно.

Новгород, 5 декабря.

Познакомился с И. К. Куприяновым и Н. К. Отто, учителями гимназии, и с Отто ездил вчера по Новгороду. Город по плану выстроен! Новгород чрезвычайно похож на кладбище, усеянное памятниками. Умерла воля новгородская, остались одни памятники, да и те по возможности испорчены. Не стану вам говорить о новгородских древностях, вы найдете много описаний; но расскажу вам, что я чувствовал при осмотре их. Сперва мы поехали в здешний кремль. Рядом с святой Софиею стоят присутственные места известной казенной постройки, а между ними стоит что-то вроде трех верстовых столбов, которые торчат на шоссе под Москвой. Это, изволите видеть, «памятник». Что должен напоминать этот памятник — право, не знаю, спросить даже не хотелось. После уже я узнал, что этот памятник поставлен за двенадцатый год дворянами. Из Софиевского собора мы пошли в Грановитую палату. Трудно вообразить себе что-нибудь светлее, радостнее этой палаты. Эта палата — палата пиршеств новгородцев у своего епископа. Но образованные люди и ее не оставили в покое: переделали ее на церковь и, иконостасом отгородивши часть, как бы отрезали кусок от целого, да и украсили по-своему. «Сперва она была расписана попроще,— сказал мне провожавший монах,— а теперь разукрасили получше». Но все-таки не могли испортить, как ни старались!

Еще мне понравился рассказ священника в Никольском соборе про очень древний образ Николая Чудотворца.

— Эта икона как стоит, так и должна стоять; принять ее никак невозможно: печать консисторская к ней приложена. Сия икона много чудес делает, да власти не дозволяют. Раскрылась рука господня, и Новгород должен пасть! Вы, верно, знаете, что когда расписывали Софийскую церковь, то писцы, написавши Христа с благословляющей рукой, увидели на другой день поутру руку сжатую; писцы поправили — на другое утро то же. Наконец они услыхали голос: «Писцы, не пишите меня с благословляющей рукой, напишите со сжатой дланью; в этой руке я держу Новгород; когда раскроется рука — падет Новгород». Это предание мне рассказал один здешний мещанин и прибавил: «Ручка уже стала разжиматься, больше половины разжалась...» Часто случается, что в церкви, кроме

попа да дьячка, народу нет, но в Великом Новегороде этого не хотелось бы видеть. Мы, ездивши по церквам во время вечерен, находили все церкви пустыми, а в одной из самых древних церквей, церкви Спаса, и попа не нашли: поп пошел, кажется, в острог служить; видите, этот поп служит и здесь, и к острогу *прикомандирован.*

Спасо-Пископец, 8 декабря.

Вчера я выехал из Новгорода на биржевом извозчике с И.М.М., который проводил меня до Ракомы*. Приехав в Ракому, извозчик остановил лошадь у своего знакомого мужика, а сам пошел с нами на по́сидки.

— Войдете, господа, богу помолитесь,— предупредил он нас на пути в избу, в которой были по́сидки.

Мы вошли, изба была просторна, в ней не было ни одного стола; близ переднего угла горел светец с лучиною, кругом стен по лавкам сидели девки, до двадцати пяти, и все за пряжей. Девки были одеты в сарафаны и повязаны пестрыми бумажными платками по-московски: свернув платок косынкою и подвязав под подбородком.

— Здравствуйте, красные девушки! — сказали мы, помолясь богу.

— Здравствуйте, молодцы хороши! — отозвались в ответ одни из них.

— Милости просим! — проговорили другие, продолжая прясть.

— Надо девушкам свечей купить,— сказал вполголоса извозчик.

— Сколько? — спросили мы.

— Да сколько хотите: какая девушка понравится, той и зато́пите.

— Нам все нравятся, можно всем затопить?

— Это еще лучше: значит, вся по́сидка понравилась.

Мы дали нашему наставнику три рубля и велели купить пять фунтов свечей шестерику. Он побежал.

— Садитесь, молодцы хороши, к нашим девушкам! — сказала одна девка побойчей других.

* Ракома — очень старинная деревня: там был двор Ярослава I, в летописях о ней в первый раз упоминается по случаю избиения Ярославом новгородцев.

— Позволь мне около тебя сесть! — проговорил я, подойдя к одной девушке.

— Садитесь, родненький, садитесь! — отвечала она, немного подвигаясь, чтоб дать мне место. Между тем наш извозчик принес свечей.

— Нате вам свечи и сдачу,— сказал он, подавая мне то и другое.

— Свечи пять фунтов стоят целковый, вот вам два рубля.

— Затопляй свечи! — отвечал я, принимая сдачу. Тот подошел к светцу, в котором горела лучина, зажег пук свечей и, подходя к девушкам, перед каждой ставил по свечке между льном и личинкою*.

— Вам почтение сделали,— тихонько проговорила моя соседка.

— Какое почтение? — спросил я.

— А как же: с вас взяли целковый за пять фунтов свечей; много брали, оттого и уважили.

— А с вас сколько же берут?

— Мы не покупаем; покупают наши мóлодцы, да покупают они не фунтами, а по свечке, по две; так с них-то берут за кажинную свечку четыре копейки, почесть четвертак фунт-то обойдется.

В избу стали входить молодцы хороши, по одному, по два и больше. Каждый из них, перекрестясь перед иконой, говорил: «Здравствуйте, красные девушки!» — и получал в ответ приветливое: «Здравствуйте, молодец хороший!» Многие из них затопляли свечи, ставили за личинки девушкам, те отвечали им поклоном: «Спасибо, добрый молодец!» — не прерывая работы; а коли пелась песня, одним поклоном, не прерывая и песни. Затем молодцы садились около девушек, только когда место не было занято другим; в последнем случае молодец, поставив свечку, отходил в сторону или садился около другой. У многих девушек горело уже по две свечи. Девушки вполголоса разговаривали с молодцами.

— Что ж вы, девушки, не поете? — проговорил кто-то из толпы молодцев без мест, то есть числа тех, которые стояли около дверей.

— Да попоемте песенок, попоемте песенок наших! —

* Здесь не употребляют гребня, а личинку, к которой привязывают лен.

отозвалось несколько девушек из тех, как я заметил, около которых не было молодцев хороших. Девушки запели:

Не сиди-тко, Дунюшка, Дунюшка, поздно с вечира*,
Ты не жги ль, Дунюшка, огня до билова дня,
Что до билинькаго до денечка, до краснова солнышка.
Что до утренней-то зари Дуня притомилася,
На тесовенькую кровать спать Дуня ложилася.
Что повиделся Дунюшке сон нерадостян.
Ни про батюшку Дунюшки сон, ни про рóдную матушку,
Что повидился** Дуни сон про мила дружка,
Про миляныкаго дружка Дуни, только про Иванушка.
Вот сказали только про нево — во далях живя***,
Да не в Питере живя, ни в славной Москве,
Что работат мой милой в Нöвегороде,
Да работу работать, родненькой мой, не тяжелую,
Не в работниках живя, милянькой, да он не в приказчиках.
Ён живет, мой милой, сам хозяином,
Ставит милянькой, ставит домы каменны.

— Славная песня! — сказал я своей соседке.

В самом деле, эта песня мне понравилась: ложилась Дунюшка не на простую кровать, а на тесовенькую; живет мой милой не в работничках, не в приказчиках — сам хозяином; да и не пустым делом милой занимается: ставит дома каменны!

— Славная песня, девушки! Нет ли у вас еще? Спойте!

— Как не быть у нас песенок хороших! — отвечала моя соседка,— послушай наших песенок хороших!

Девушки запели еще песни, но, на мою беду, не совсем хорошие. Желая показать, что они девушки полированные, затянули романсы. Впрочем, надо правду сказать, довольно трудно было узнать эти романсы: так были переделаны слова и, в особенности, голоса. Кстати прибавлю, что здесь поют превосходно; здешние певицы поют своими голосами и не насилуют их, как в других местах, например в Орле, Туле, Тамбове, Воронеже: там и женщины, и девушки стараются петь потолще, то есть по возможности контральтом. Еще прибавлю, что здешние голоса хоровых песен не испорчены солдатскими приемами. Верно, вам случалось слыхать хор солдат, фабричных и т. п., припомните: запевает запевало; казалось бы, что все будет и в самой разгульной

* Я записал ее с соблюдением местного выговора и ударения.

** Я заставлял эту песню пропеть несколько раз, и каждый раз пели в 6-м стихе *повиделся*, в 8-м — *повидился*.

*** То есть живет в далеких местах.

песне мирно и светло. Не тут-то было! Вдруг, по команде, все судорожно подхватывают; за этим подхватом песня опять пойдет своим чередом, но этот перерыв вас неприятно поражает. А случается, что песня и оканчивается тоже вдруг по команде! Михайло Александрович Стахович, которого мы так неожиданно лишились и от которого мы многого могли ожидать, говорил мне, что под команду стали у нас петь со времен Суворова. Насколько это справедливо — я не берусь решать; могу только сказать, что в деревнях по-солдатски не поют; да к тому, коли еще бывалые, случается, затягивают:

Граф Пашкевич, предводитель,
Громким голосом вскричал...

Но от женщин мне не случалось слышать таких песен, хотя и они поют солдатские, только не эти; мне часто попадалась, особенно в последнее время, следующая песня:

Как сказали другу —
Да на царскую службу!
Плакала, рыдала,
Слезы утирала,
Всеё ночь не спала...

Эту песню я слышал в Орловской губернии, и в Новгородской, и от солдат, и от женщин. В солдатских хорах запевает один, а перед третьим стихом, то есть перед словами «плакала, рыдала», как будто бросаются на песню, врываются в нее. Певицы же пристают к песне; тоже одна запевает, а остальные начинают петь, когда которой вздумается: одна со слова «царскую», другая — с «рыдала», третья — с «ночь не спала», как придется. Песня идет свободно, легко, видно, что песня поется, а не служба справляется. Моя соседка разговаривала со мной, но продолжая в то же время участвовать в песне; бросив мне несколько слов, начинала петь, разумеется, с того слова или даже слога, который тогда пелся.

— Походимте, девушки, походим, повеселим молодцев! — заговорили некоторые.

— Походим, походим!

— Ну, молодцы хороши, ходите кто-нибудь!

Не вставая с мест и продолжая прясть, они запели:

Как по первой по пороше,
Как по первой по пороше
Ходил молодец хорошей.

При начале этой песни вышел один молодец хороший с платком и стал ходить около певиц; при словах песни:

Он кидает, он бросает
Шелковый платочек,
Шелковой-то он платочек
Девке на колени...—

он бросил платок девке на колени; та взяла, не спеша погасила свои свечи и поставила прялку* на лавке к стороне и вышла на средину. Песня, по обыкновению всех хороводных (или, как здесь называют,— короводных), оканчивалась поцелуем. После чего, когда молодец сел, стала ходить девушка и бросила «Шелковый платочек / Парню на колени». Парень вышел при конце песни, поцеловал девку и начал ходить под ту же песню. Когда дело дошло до шелкового платочка, он бросил его на колени моей соседке, а когда ей пришлось бросить этот платочек, она бросила на колени мне. Дошла очередь и мне выбирать: желая за любезность соседки, выбравшей меня, отплатить ей такою же любезностью, я вызвал ее же.

— Родненький, послушай, что я тебе скажу,— сказала соседка, садясь около меня,— у нас так не водится: я тебе кинула шелковый платочек, а ты ту ж пору и мне. Так-то будет зазорно.

— Да отчего же зазорно? — спросил я.

— Да уж так у нас не повелось,— отвечала она.— Пожалуста, родненький, теперь на первый раз возьми другую девушку, а на другой раз хоть и меня!

С час продолжался хоровод, потом опять начали петь простые песни; часу до первого ночи продолжались посидки, я не дождался окончания и ушел, не помолясь на иконы и не простясь.

— Куда тут молиться! — сказал мне мой наставник, выходя вместе со мною,— как кончится посидка, всяк дружень схватит друженицу да и пойдет куда нужно!

— Как, при всех? — спросил я.

— А что ж, коли б одну, а то ведь всех потащат!

— Ну, а если у которой нет дружня?

— А солдаты на что?

— Что ж ты не хватал? — спросил я его.

— Бока берег, барин,— отвечал он,— тут у кажинной

* Прялкой называют здесь донце с личинкой, а настоящую прялку — самопрялкой.

девки есть дружень, так она уж с ним и водит дружбу. А посторонний сунься-ка: все ребята, не то что один дружень, все на тебя кинутся, да так вздуют!

— А как же солдаты-то? — спросил я.

— Хоро́ша и девка, коли между своими дружня не найдет! Коли девка между своими парнями дружня не нашла — значит, отпетая!

Здесь должно прибавить, что не все девушки заходят далеко с своими дружнями; большею частию дружень берет за себя дружницу совершенно целомудренную. Разумеется, не обходится без греха; и хотя незаконное рождение ребенка считается позорным, но не исключает девушку-мать из общества; они выходят замуж чаще не за дружня, а на посидках и в хороводах участвуют наравне с другими девушками.

Из Ракомы я пошел к Спасо-Пископцу (Спас-Епископец). На пути около Самокражи мне попался спасо-пископский крестьянин, ехавший на лошади в санях.

— Не по пути ли, ваше степенство? — спросил он меня.— Коли по пути, подвезть можно.

— Я иду, почтеннейший, в Спасо-Пископец,— отвечал я ему.

— Садись со мной! — сказал он,— на лошади в санях все лучше, чем своими работать.

Я сел на сани, и мы доехали до Спасо-Пископца. Узнавши, что здесь есть харчевня, где и чай найдется, я предложил Леонтию Ивановичу (так звали крестьянина) пойти со мной чайку напиться, на что он согласился.

— Пойду, только лошадь на место поставлю,— сказал он,— сейчас приду. Я вошел в харчевню, которая помещалась в двух комнатах и кухне и в которой никого не было, кроме хозяина да полового мальчика. Я велел подать себе чаю.

— На сколько человек прикажете? — спросил меня хозяин.

— На двух,— отвечал я.

— Чаю на двух, молодцы! — пропел хозяин.

Через пять минут пришел Леонтий Иванович, а через десять подали нам чай, до того дурной, что я, при всем моем уважении ко всякому чаю, не мог выпить и одного стакана.

— Вода, видно, не хороша? — сказал я Леонтию Ивановичу.

— Нет, кажись, ничего,— отвечал он. Я с этим никак не мог согласиться и спросил хозяина, какую он воду налил?

— Вода-то у нас не совсем хороша,— отвечал мне хозяин,— для чаю вовсе не годится. А если к тому еще прибавить прикажете, коли воды возьмешь из куба, поленишься самовар поставить, совсем пить нельзя: рыбой сильно отзывает.

— А ты какой налил?

— А для скорости из кубика,— отвечал он.

— А можно самоварчик поставить?

— Да я не знал, что вам не покажется; вот этим,— указал он на моего собеседника,— что хочешь подай — все выпьют! А вам сейчас самовар нагрею.

— А что будет стоить? — спросил я.

— Цена та же: десять копеек с двух, у нас лишнего не берут.

Самовар был поставлен. Леонтий Иванович между тем занимался чайком, не обращая никакого внимания на наш разговор даже и тогда, когда до него речь коснулась. Я у него спросил, чем он занимается.

— Мы ловцы,— отвечал он.— Я просто езжу, а мой брат ватáманом. Меньшим ватáманом,— прибавил он,— в двóйниках; а захоти — сам двóйник наберет.

Я стал спрашивать у него об их промыслах.

— Про наши промыслы сказать, кроме хорошего, нечего; сами апостолы были рыбарями, по-нашему сказать, ловцами. Наши промыслы легкие, веселые, особливо зимой, гораздо хороши!

— А зимой у вас рыбу не так ловят, как летом? — спросил я, чтоб как-нибудь вызвать его на разговор.

— Зимний лов, само собою разумей, не летний,— начал Леонтий Иванович,— зимой скопляются тридцать два человека, а летом в двойнике бывает всего-навсе только двадцать.

Я как самовидец мог поверить его рассказы в настоящее время только про зимний лов, потому и стал спрашивать: как они зимой рыбу ловят.

— Настоящие ловцы зимние, я говорю, в два невода ловят: это двойники, — начал рассказывать Леонтий Иванович, от времени до времени прихлебывая чаек,— вот соберется народ, человек двадцать ловцов или там тридцать, у кажинного ловца шестнадцать сажен сетей, а у кажинных двух

ловцов есть по лошади с санями, со всею снастию, как запречь надлежит. Соберутся ловцы человек двадцать, а больше станут собирать, до тридцати одного ловца. Наберутся скоро — на это дело охотников много у нас! Послей того скопятся да и спросят: «Кому быть вата́маном?» Положат на кого: на Ивана ли Петрова, на Федора ли Васильева — все к тому Федору Васильеву и идут. А коли случится тут Федор Васильев, то тут же ему и объявятся, коли же нет его на ту пору с ними, идут к нему на дом. И выбирают они вата́маном ловца ловкого да знамого: надо кне́и (мотня, матка), снасти (веревки) в долг взять. Ловцы сети сами вяжут, а то и купить недорого: шестнадцать сажен сетей можно взять за десять целковых; ну, а кнею всегда покупают в городе; за пару кней надо дать триста рублей ассигнациями, а дорога пенька — все сто целковых отдашь да за снасти целковых пятьдесят. По этому самому и выбирают ватамана знамого, чтоб ему все что надо в городе в долг дали. Приходят к нему на дом в избу... А тот Федор Васильев сидит, будто ничего и не знает. «Что вам надо, ребята? — скажет он, да скажет он так сурово.— Зачем пришли?» А те ему в ответ: «Так и так: нас скопилось тридцать один человек с сетьми и лошадьми: будь нашим большим вата́маном!» А коли нет тридцати одного ловца, то скажут: «Нас собралось двадцать там, что ль, человек али двадцать пять, остальных сам набери. Будь нам вата́маном большим, без тебя нам в двойниках ходить не приходится». Тот, по обычаю, сперва-наперво поломается: начнет говорит, что «у меня-де на то и разума не хватит, а без большого разума как я за такое дело возьмусь?» Да это он так только разговоры разговаривает, поговорит и станет у них большим ватаманом. Тут большой ватаман спросит: «Кого же мы, ловцы, поставим малым ватаманом?» Ну и те положат, к примеру сказать, хоть на тебя али там на меня, али еще на кого; тот тоже отговаривается, да только поменьше, да и гораздо поменьше, пойдет в малые ватаманы. Там больший ватаман скажет: «Кому рельщиком быть?» Рельщик ватаману подручный, тоже большой человек — без рельщика ватаман водки не пьет. Выберут двух рельщиков, кажинному ватаману по рельщику и кажинному рельщику по пехарю, да еще четыре воротильщика, что ворот ворочают, а остальные просто ловцы. Ну а когда не наберется тридцать два ловца, у кого

есть сети да лошадь, нанимают рублей за десять серебром в зиму казаков — так у нас зовут бездомных работников. Как только всех выберут, затопят (затеплят) богу свечку, помолятся богу, поцелуют образ — икону. Помолясь, ни один уже ловец не отойдет в другой двойник, не моги до поры до времени слова сказать! Помолясь богу, и отстать нельзя: недаром бога целовали! Помолясь богу, сядут за стол, выпьют винца (вино это и обед большой ватаман покупает, а после с добычи вычитают). За стол посадят большого ватамана в передний угол, а малый ватаман угощает.

— А жена большого ватамана? — перебил я.

— Той когда же? — отвечал Леонтий Иванович,— той впору успеть подавать! Вот и скажет большой ватаман: «Ну, ребята, собираться тогда-то, а пока надо невода, баламуты справить». Все уже и слушают. Как прикажет ватаман, так и скопится к нему вся братия невода сшивать. Кажинный принесет с собою свою сеть шестнадцать сажен, сошьют в четыре крыла: по два крыла на невод. А больший ватаман, человек бывалый, выбирает день легкий, гла́за, да и дурного дела боится. Случается, ватаман и сам на те дела ходок, тот сам перехитрит; если же плох — дожидается, пока главные дельцы на озеро поедут; а то так сделает: будешь с ним бок о бок ловить — у него тоня в триста рублей и больше, а ты — на рубль серебра! А то и того хуже: грязи захватишь, весь день провозишься, бывает, пробьешься и двое суток.

— Скажи, пожалуйста, Леонтий Иванович,— спросил я,— как это грязи захватишь?

— А эта грязь бывает, ваше степенство, когда лед неблагополучно станет: в большие ветра станет озеро, делаются бугры на льду снизу и борют невода, так бывает, что невода ночуют подо льдом: назад вытягивают, а то сперва вытянут одно крыло, а после другое.

— Ну, а выбравши день, у кого собираются? — спросил я.— Да и когда же день тот назначают?

— А назначают тот день у нас зимние ловцы, как только озеро станет,— продолжал Леонтий Иванович.— Все сходятся к большому ватаману, затопят свечу, выпьют винца, пообедают все тем же порядком, как и прежде, и с того часу ватаман большой — полный хозяин, хоть до полусмерти

убьет кого — никто до поры до времени не смей слова сказать. Пообедают и поедут на озеро. В этот день они только одну тоню и сделают: своего счастья попытать; да и рыбу ту не продают, сами съедят. После того уж ватаман скажет день, в который скопляться на настоящий лов. Соберутся и поедут. Закинут тоню, вынут. Большой ватаман, сказано, всему хозяин: вынут тоню — он и скажет мокряку, за сколько ее рыбакам отдавать; мокряк и не смеет ее дешевле спустить.

— Мокряк кто такой? — спросил я моего рассказчика.

— А мокряк из них же бывает, по очереди,— отвечал он.— Нынче один мокряк, завтра другой — все бывают, кроме ватаманов и рельщиков; для того, нельзя им у себя денег держать. Как скажет ватаман мокряку цену, тот дешевле не может продать, дороже — лучше для всей братии, дороже — продавай. А коли рыбаки ватáманской цены не дадут, мокряк ночь ночуй, не дадут на другой день — другую; на третий день только с озера можно рыбу свезти. Сам ватаман не может, оттого что... ну да это после. Вот как мокряк продаст рыбу, деньги возьмет у рыбаков и пойдет к братии на другую тоню. Другую тоню, если бывает, он же продает; сколько тонь закинут в тот день — во всех он мокряк и все деньги себе под сохран берет. Ватаман себе ни гроша не оставляет. Даром хоть отдавай всю, пока ватаманом — никто слова сказать не скажет, только денег брать не может.

— Да как же так? Ну он сойдется с каким-нибудь обманщиком, будет говорить, что даром отдает, а с него будет деньги брать? — спросил я.

— Этого на братии сделать нельзя,— убедительно сказал Леонтий Иванович, а почему этого на братии сделать нельзя — не стал он и разговаривать об таком, по его мнению, невозможном деле.

— Как скопится у ловцов много денег, большой ватаман и велит расправе быть. Скопятся. Большой ватаман сядет за стол, а все ловцы стоят. Большой ватаман и скажет: «У тебя столько-то денег!» А тот ловец, к которому те слова были, ему подаст деньги. Там у другого спросит, возьмет и тоже положит на стол. Оберет у всех, кто в мокряках был, и все деньги те на столе лежат. Ватаман при всех пересчитает деньги. Всех денег, к примеру, двести рублей; из этих денег за кнеи можно отложить сто, что ль, рублей,

на церковь божию столько-то, за прогулы* столько, на водку, если лов был хорош. И никто ему на то ни слова не скажет, хоть все деньги пропить велит! Отложив сколько надо, ватаман делит всем ловцам: на ловца с лошадью две части, а на пешего одну — и отдает те деньги кажинному ловцу сам в руки, и себе оставляет равную часть. Такие-то расправы бывают во всю зиму до четверга, пятницы или субботы на масленой. Тогда ватаман велит быть большой расправе. Большая расправа бывает такая же, как малая, только большой ватаман отсчитывает на той большой расправе деньги, коли остались, что до этого и не бывает, за кнеи да за снасти, а на водку не откладывает, а после скажет: «Надо на церковь божию отложить!» Если хорош был в ту зиму лов — отложат больше, бывает рублей пятнадцать, а бывает, и по рублю, и те деньги отдают попу на святой неделе на церковь. И на то ему никто не говорит ни слова; разве какой из другого прихода так скажет: «Дай мне, ватаман, мою часть, не хочу я своей церкви обижать!» Ватаман и отдает ему часть, а тот отнесет деньги эти в свою церковь, а спорить не смеет. Как только кончится расправа, ватаман встанет да и спросит: «Хотите ли, братцы, на тот год со мною рыбу ловить?» Если он не хорошо им служил, всяк ему правду свою выскажет, разберут невод, всяк свою сеть, кнею, снасти продадут, деньги разделят и разойдутся. Коли ж все было ладно, ловцы ватамана поят водкой, а ватаман подносит всей братии. Гульба пойдет такая, что и боже мой! На тот пир никому, кроме той братии, и прийти нельзя; разве когда большой ватаман позовет... Пройдет масленица — в понедельник на первой неделе зубы полоскать; да так наполощутся, что и во вторник, а то и в среду опохмеляться надо! Кончится гульба, ватаман скажет: опять выезжать. Опять выедут на озеро и ловят, пока забереги пойдут**, с тем же ватаманом, коли хорошо служил, а нет, так с новым, которому обещались на зиму. Пойдут забереги, и разойдутся до зимы, а зимой уже приходят к ватаману своему.

Простившись с Леонтием Ивановичем, я хотел ехать на озеро, посмотреть ловцов на месте, да в субботу был Николин день, вчера воскресенье, нынче не поехали.

---

* На общие прогулы, на угощенья у большого ватамана.

** Забереги, то есть когда вода покажется около берегов.

— Заворожка вышла,— говорили мне,— так, братец ты мой, отделают, что на десять целковых во всю неделю не наловишь; знамое дело, ловца тоня кормит, так один другова и боится; вот и положили ехать завтра; все и остались, да и гуляют.

В самом деле, гульба идет страшная! Человек более полутораста на улице поют песни и ездят на ловецких лошадях.

Спасо-Пископец, 9 ноября.

Накануне я нанял лошадь с проводником-ловцом, который чуть свет разбудил меня, и мы вышли с ним на улицу.

Почти перед самым солнцем съехались на улице в Спасо-Пископце три двойника. Каждый двойник стоял отдельно от другого, и я стал около одного из них, именно того, к которому принадлежал мой провожатый. Большой ватаман подъехал, посмотрел на всю братию и не спеша, степенно спросил: «Все наши здесь?» Ловцы переглянулись друг на друга и тоже не спеша ответили ему голосов в шесть-семь: «Все!»

— Ну, с богом! — сказал ватаман, снял шапку, а за ним и вся братия перекрестилась несколько раз на восток, сели и поехали. Большой ватаман впереди, малый за ним, там два рельщика, и у каждого из них по пехарю, а за ними на четырех лошадях ворота с воротильщиками, на двух лошадях с кругами (толстыми веревками, сложенными в круги на шести лошадях невода. В одно время с ними отправились и другие двойники, в таком же порядке, как и первый.

По отъезде ловцов я с своим товарищем пошел пить чай, и на этот раз сам хозяин попросил меня подождать самоварчика: из кубика-де вода будет не так-то хороша.

— Скажи, пожалуйста,— спросил я своего проводника за чаем,— издалека приехали эти ловцы?

— Да изволишь видеть, ваше степенство, все поозёры: кто ловцом, то есть кто рыбу ловит, кто рыбаком — кто рыбу покупает; только все в озере, все озером живут. А зимние двойники на этом берегу от Юрьева до Ретли*, а над

* Эти селения следующие: Спас-Пископец, Лука, Погост, где живут крылошане, Самокража, Ондвор, Козынево, Бабки, Морино, другое Морино, Ракома, Троица, Юрьево, Медвежья голова, Росшиб, Три отроки, Лесья горка, Милославское (Милёславьсько), Моисеевица, Егорий, Васильевское, Лукиншино, Сдринага, Картоно-Донец, другой Донец, Верховье, Хотин, Либоежа, Гвоздец, Липица, Заболотье, Курицкая, Наволок, Еровица, Ероново, Ямок, Островок, Сергова, Завола.

всеми ими Спасо-Пископец: сюда все рыбаки скопляются.

Напившись чаю, мы поехали на озеро. Ильмень в полую воду подходит к самому Спасо-Пископцу, а сильною водою и берега подмывает; в последние двадцать лет около Спасо-Пископца отмыло сажен на двадцать. Старики помнят берег на версту дальше нынешнего. Когда вода сойдет — до озера версты две. Зимой нельзя заметить, где начинается озеро — так пологи берега.

— А какая вода лучше для ловцов? — спросил я своего спутника,— сильная или малая?

— Как можно! — отвечал он,— в малую воду рыба лучше ловится: реки мелеют, рыба и сваливается в озеро; а в сильную — вся по рекам разойдется да в реках, почитай, все лето и живет; для нас, зимних двойников, все едино, а для летних гораздо, гораздо хуже.

Выехав на озеро, мы взяли несколько на восток от дороги на Ужин и, проехавши версты две-три, увидали до восьмисот саней с седоками; в санях непременно седок, хотя бы мальчик или даже девочка.

— Зачем столько народу собралось? — спросил я у своего проводника.

— А рыбу покупать у двойников-ловцов,— отвечал он,— это все рыбаки. Сюда приезжают верст за пятнадцать, а то и больше.

Шум был страшный между рыбаками; но очень немногие, не более сотни, толковали о деле, прочие же разговаривали кой о чем; дети играли. Из толковавших о деле на первом плане стоял мужик с окладистой бородой, в новом дубленом полушубке, сверх которого был надет нараспашку тулуп, тоже дубленый.

— Все двойники на озере? — спросил он громким зычным голосом.

— Теперь все выехали! — проговорили некоторые.

— Ну, слушай! — крикнул первый.— Отступнова рыбакам — на кажинную дугу по гривеннику!

— Как можно по гривеннику! — зашумели в толпе,— теперь лов хороший! Не грех прибавить! Рубль пять надо дать! Три гривенника!

— Еще что там врать! — вскрикнул опять дубленый тулуп,— сказано, по гривеннику, и будет!

В толпе еще раздавалось:

— Три гривенника! Четвертак! Хоть пятиалтынный бы

дать! — но тулуп стал толковать с своими, то есть с деловыми.

— Ну, давай расчет делать: сколько рыбаков надо оставить,— начал тулуп,— к Спасо-Пископским на двух по восемь, да Егору Степанову семь; на Самокражу к Семенову шесть да Ивану Петровичу восемь...

— К Петру Семенычу можно прибавить,— сказали в толпе.

— Будет и шести! — заспорили другие.

— Будет и шести! — сказал тулуп,— на Ретлю пять*: он прошлую неделю плохо ловил, рыбаки за ним даром проездили!..

Таким образом, иногда немного поспорив, иногда настаивая, иногда уступая, он рассчитал на десять двойников шестьдесят восемь человек рыбаков.

— Кто на озере останется? — спросил он после расчета,— отходи!

В сторону отошло человек до восьмидесяти; сосчитали, бросили жеребий — кому отходить; потом сосчитали, сколько дуг осталось, и оставшиеся рыбаки на всякую дугу дали по гривеннику. С каждой дугой, то есть запряженной лошадью, должен быть кто-нибудь, хоть маленькая девочка; в противном случае дуга лишается права на отступной гривенник. Я сел в сани и поехал на тоню.

— Скажи, пожалуйста,— спросил я своего проводника,— за что же рыбаки платят отступного всем, кто приедет на озеро?

— Такой закон, ваше степенство,— отвечал мне мой проводник,— все рыбаки, сколько ни на есть от Юрьева до Ретли, все приезжают, а чтоб даром не ездить, получают, значит, по гривеннику. Да и всем дают, кто на озере случится; коли хотите, подходите — и вам дадут,— прибавил он, усмехаясь.

— Нет, за это спасибо,— сказал я,— а скажи, пожалуйста, зачем закон такой положен? Ведь их подвод с лишком семьсот осталось, по гривеннику выходит с лишком семьдесят рублей — эти деньги с ловцов же выручают.

— Без этого нельзя,— отвечал он,— им тоже хлеб надо

* На всем озере десять больших ватаманов-двойников; все они живут на западном берегу: в Спасо-Пископце три, в Самокраже — два, в Милославьсько два, у Егорья один, с Малого Бору (Борку) и с Ретли один. Есть еще один с Трех островов, у того в двойнике восемь человек.

дать, оттого такой закон испокон веку и положен: мы за этим не гонимся! Да и правду сказать, не всегда столько народу и скопляется, другой раз приедет дуг пятьсот, не больше.

Мне говорил мой проводник, что он за себя поставил казака на этот день, чтобы ехать со мною.

— Сколько ты заплатил за день казаку? — спросил я его.

— Да заплатил дорого, пятнадцать копеек,— отвечал он,— случается, дешевле нанимаем.

— Как же так: ты нанял работать за пятнадцать копеек, а те даром получают почти по стольку же?

— Да он без лошади!

— Но все же мне кажется, что казаку супротив рыбаков дали мало.

— Да казаку-то заплатил я один,— говорил мне проводник,— а рыбакам мир платит, оно и легко. Ваше степенство говоришь: с нас, с ловцов, рыбакам деньги сходят. Слушай: всех двойников десять, в кажинном двойнике тридцать два человека — это выходит всех триста двадцать человек; да с Трех островов Тарас Ивлов — у того восемь человек — им и легко платить; а я один отдавай деньги своему казаку!

Против этой логики я спорить не мог.

— Скажи, пожалуйста,— спросил я, немного помолчав,— я хочу купить у ловцов рыбы.

— Сперва, когда жеребей трясли,— отвечал он,— можно б было: не достало бы жеребья — купил, а теперь ни за какие деньги тебе ловец не продаст: нельзя, всю рыбу продавай рыбакам, что по жеребью достались.

— Ну, коли дешево дадут?

— Два дни все-таки не смей с озера свозить, а на третий день вези куда хочешь; только это уж плохо: поволочится по льду, лицо и сдаст, да и прогул к тому же!

— Как же рыбаки покупают у ловцов,— допрашивал я проводника,— один перед другим цену набивают или столкуются прежде?

— Как можно набивать цену! — отвечал проводник,— этак в задор войдешь и невесть что наделаешь! Рыбаки тоже покупают рыбу скопом: ты говоришь — покупаю, торгую на рубль, я говорю на два, тот на три; так и делят всю рыбу.

— А если я скажу, что всю рыбу оставляю за собой,— сказал я, не понимая в чем дело,— тогда как же другие-то?

— Да не то,— проговорил он мне с досадою, видя мою непонятливость,— не то: сколько у кого капиталу, тот против капиталу и берет часть.

— А если я скажу, что у меня капиталу сто тысяч, а у меня их нет?

— Мир не обманешь! — отвечал он мне, и я не стал больше возражать.

Проехавши версты полторы-две по озеру, мы увидели ловцов, которые, вынувши одну тоню, ехали на другую.

— Отчего у большого ватамана лошадь-то хуже всех? — спросил я у проводника.

— Так случилось,— отвечал он мне,— эта лошадь не ватаманская, ватаманская вон под кругами.

— Отчего же он на своей лошади не ездит?

— Случается, ездит и на своей, когда очередь достанется,— отвечал он,— лошадей запрягают по очереди; ватаман свою лошадь отдает на братию для того, что на лошади работа не ровна: запас тяжело возить, рельщика легче.

— А если лошадь пропадет?

— Случается, падет или в щель угодит* — миром с добычи покупают.

Калякая со своим товарищем, мы проехали за ловцами, ехавшими в прежнем порядке, еще версты полторы или две; потом большой ватаман взял несколько вправо, а малый влево, каждый с своим неводом, рельщиками, пехарями и проч. Когда ватаманы разъехались на полверсты или немного менее, большой ватаман показал место *сливалом* — так, с сеткой лопата, как мне еще прежде объяснили.

— Становись здесь! — сказал ватаман.

— Значит, нашел место, где задорку быть, то есть поддавке,— вполголоса проговорил мне мой провожатый,— сейчас пехаря... ишь, как пхут пехаря пешнями!

В самом деле, пехаря молодецки работали своими пешнями (лом с рукояткой) и разом пропехали задорок или поддавку, то есть прорубили пролубь в квадратный аршин.

* В большие морозы на Ильмень-озере лед трескается во всю длину или ширину от берега до берега и дает щели, в оттепель лед сдвигается и, разумеется, сходится не по-прежнему, а находит одна льдина на другую и образует гряду, которую на дорогах пробивают. Щели ловцы тоже считают своею обязанностью на дороге заделывать, что очень нетрудно: отколют льдину и подвинут к трещине.

— Здесь не пропхнуть в задорок рель-то (шест), рель-то десять сажен печатных,— продолжал мой товарищ,— здесь место мелкое.

В самом деле, ватаман приказал прибавить еще пролубь аршина на два в длину и на четверть в ширину, так что эта пролубь имела форму лопаты. Потом спустил в задорок свою рель, к которой была привязана веревка в палец толщиною, потом рельщик опустил свою. Пехаря, расходясь под тупым углом, чтоб распустить невод почти во всю его длину, пробивали для ватамана и рельщика углы, то есть дырья в четверть кругом; ватаман пошел правою стороною, а рельщик левой, оба с кутой*, которою, опуская ее в углы, ловили рель и гнали вперед; случалось, что рель не попадала в угол, тогда ватаман или рельщик, как случится, сяком** щупали рель и проводили к углу; иногда рель зацеплялась подо льдом, рельщик наваливался на куту, рель спускалась ниже и проходила. Углы пехаря рубили один от другого на расстоянии сажен девяти, а когда вышли тонкие веревки, к ним привязали круги, то есть толстые веревки, за которые тянут невод. Тонкие веревки *спускают* руками, а толстые *тянут вóротами****. Малый ватаман в то же время делал то же самое, только стоял не с правой стороны, а с левой, то есть против большого ватамана, а его рельщик против рельщика большого ватамана. Когда они подошли один к другому на половину или немного больше, они стали суживать невод. Когда ватаманы сошлись, пехаря пробили вы́сох — пролубь аршина в два в длину и четверти три шириной.

— Кольца! — сказал большой ватаман.

Пехаря, не говоря ни слова, в одну минуту пробили четыре дыры, тоже в четверть кругом, отступя от высоха на аршин.

— Это для чего? — спросил я у товарища своего, с которым мы подошли к высоху.

---

* Кута делается из деревянной палки толщиной пальца в два с половиной и длиною аршина два с половиной; к одному концу приделываются вилочки, которыми захватывают рель и гонят вперед, а к другому очень пологую дугу в ширину груди; когда рель зацепит за лед, на эту дугу налягут, рель спустится ниже, и ее легко гнать вперед.

** Сяк — деревянный шест с загибиной.

*** Вóрот: утверждают вертикально на санях ось, на которую надевают бочку, на бочку же наворачивают канат, а чтобы сани не двигались, к ним привязывают топор, который вбивают в лед.

— А вон, видишь, кольца — для них,— отвечал он, указывая на четыре шеста, длиною аршина три, на концах которых были крепко-накрепко приделаны железные кольца, вершка два с половиною в диаметре.

— А эти кольца для чего?

— Нижнюю тетиву в земле прижимать, не то вся рыба вниз уйдет, станут невод вытягивать — вытянут близко к высоху, невод-то и привздынется, а как кольцами-то навалятся, рыбе-то в них уйти и нельзя, а коли выскочит из одного невода — в другой сигнет; все тут останется.

Стали показываться крылья невода.

— Держи кольца! — громко сказал большой ватаман, становясь с сливалом против вы́соха. Колечники опустили в колечные дыры свои кольца и сильно на них навалились.

Стали вытаскивать невод; по мере того как вынимали из воды, его укладывали на сани. Ловцы в кожаных передниках и в тягухах (рукавицах, что воды не боятся) подошли, стали в два ряда и начали тянуть невод; в это время колечники сильно напирали на нижнюю тетиву своими кольцами, воротильщики воротами тянули канат.

— Зазевался! — крикнул большой ватаман на одного колечника, который, повернувшись на мгновение, дал приподняться на четверть своему крылу.

Большой ватаман весело посматривал, с каким-то достоинством выбрасывая сливалом мед из высоха, притащенный неводом.

— Это-то и есть грязь,— вполголоса сказал мне мой товарищ. Еще далеко было до кнеи, а в крыльях уже много попадалось рыбы и вцепившихся раков, но ловцы на рыбу не обращали никакого внимания; она оставалась на тех же крыльях, только мальчишки, которых было здесь десятка полтора, увидав крупную рыбину*, бросались за нею. Большею частью на мальчишек не обращали внимания; только крикнет кто-нибудь из ловцов, коли ему мешают: «Куда ты, малец!.. Э, пострел!» На что малец-пострел тоже с своей стороны решительно не обращал никакого внимания, лез за другой рыбиной, на что тот же ловец не говорил ему ни слова. Но возгласы были очень редки, и ловцы молча сильно тянули невод; во всем было видно какое-то удивительное спокойствие, величавость.

* Рыбиной называется одна рыба; рыба — имя собирательное.

— Эко, сколько этой дряни — раков набралось,— сказал мой проводник.

— Отчего же дряни? — спросил я.

— Да ведь рак вцепится в невод, его и не отцепишь,— отвечал он,— случится, весь невод стянут; так мы их ногами мнем... руками ничего не сделаешь.

— А вы раков не продаете?

— Кому на озере продашь! А в город везти нельзя: рак морозу боится.

На крыльях больше и больше показывалось рыбы, мальчишки чаще и чаще бросались за большой рыбиной.

— Матка близко! — крикнул большак. Все ловцы, тянувшие невод, дружно встряхнули крылья невода, и вся рыба, взлетев на сажень кверху, свалилась в высоху.

— Разом! Разом! — опять крикнул ватаман. И опять ловцы встряхнули рыбу к матке.

— Матка показалась,— сказал ловец.

— Кольца отнимай! — отдал приказ большой ватаман. Стали вытаскивать матню. Рыба в ней заполоскалась, забилась. Вытащив матню, отнесли ее от высоха сажени на две и высыпали рыбу на лед. Большой ватаман подошел к рыбе; к высоху подошел малый ватаман; и его ловцы стали вытаскивать свой невод, тем же порядком, только без колечников: кольца были вынуты в одно время с первыми. Большой ватаман *сливалом* стал отбрасывать большую рыбу в сторону, а рыбаки, наскоблив топором снегу, стали им пересыпать рыбу, чтоб не смерзлась. Вынули матню малого ватамана, а рыбу высыпали отдельно; большой ватаман и там отбрасывал большую рыбу; рыбаки тоже пересыпали снегом. Большой ватаман что-то шепнул одному ловцу, на тот раз бывшему мокряком, и все отошли, и рыбаки, и ловцы, в сторону.

— Теперь, ваше степенство,— учил меня проводник,— коли хотите, можно попотчевать ватаманов.

Я изъявил на это свое согласие.

— Петр Егорович, Алексей Семенович! — стал он звать ватаманов,— подойдите сюда: вот его степенство хочет вас попотчевать.

К нам подошли четыре мужика: два ватамана и два рельщика, в крепких тулупах, в осташковских сапогах.

— Здравствуйте, ваше степенство! — сказал мне большой ватаман, сняв шапку, поклонился мне и тотчас же надел;

он сознавал, что такому человеку, как большой ватаман, непристойно стоять без шапки ни перед каким лицом. Все мне поклонились и тоже надели шапки; я им тоже поклонился.

— Что, ваше степенство,— начал большак,— приехали поглядеть на наши промыслы?

— Да, приехал полюбоваться,— отвечал я.

— На наши промыслы много народу ездит взглянуть,— степенно сказал ватаман.

Мой проводник между тем достал два полуштофа водки, один сунул, ни слова не говоря, рельщику, а другой откупорил.

— Забыл, беда, стаканчик захватить,— торопливо проговорил он,— да и закусить не взял. Большой ватаман, дай рукавицу!

— У нас и закусить найдется,— сказал ватаман, подавая рукавицу.— Горячего нет, а рыбничек* у всякого за пазухой; без того нельзя: целый день не евши нельзя; варить на озере негде, так хоть сухова пожуешь.

Мой проводник налил в рукавицу водки и поднес большому ватаману.

— Подноси его степенству,— сказал он, отстраняя рукавицу и указывая на меня.

— Я не хочу,— отвечал я ему,— я привез водку вас попотчевать.

— Нам без вас пить не приходится,— проговорили и ватаманы и рельщики,— без хозяина какое питье! Без хозяина питья не бывает.

Я хлебнул. Мне подали начатый рыбник. Мой проводник долил и подал большому ватаману.

— Будь здоров! — сказал он мне и полегоньку выпил.

Проводник, поднеся другому ватаману, откупорил другой полуштоф, дал рельщику рукавицу, исправлявшую должность рюмки, налил в нее водки, встряхнул, посмотрел на полуштоф, еще подлил и отрывисто сказал: «Пей!» Тот выпил; напоследок он вылил остальное и подал другому рельщику.

— Ну, ваше степенство, возьми у нас рыбки,— сказал мне большой ватаман.

— Сделай одолжение, продай!

* Пирог с рыбой.

— А много ли вашему степенству надо? — спросил меня большой ватаман.

— Да на уху только,— отвечал я.

— Об этом тебе с нами нечего разговаривать! Семен,— сказал он, обращаясь к моему проводнику,— отбери его степенству рыбки получше на ушку да лещика два-три побольше — зажарить!

Мне не хотелось даром брать у них ни рыбки на ушку, ни лещика зажарить; но мой Семен выбрал рыбу что ни есть лучшую, завязал в платок и положил в сани. Делать было нечего. Я, сказавши «спасибо», получил в ответ: «Не на чем» — и поехал к другой тоне.

— Грязи хватили! — сказал мне мой Семен, еще далеко не доезжая до другого двойника.— Вишь, ватаман больший у пешни лежит.

Я не велел останавливаться, и мы проехали мимо ватамана, который угрюмо лежал около неоконченного угла, в котором торчала пешня. Мы отправились в Спасо-Пископец; на третью тоню ехать не хотелось: я прозяб, да к тому же мой Семен уверял, что мы подаренную рыбу живую довезем домой. «А из живой рыбы, сравнить нельзя, хороша уха!» Он положил рыбу под полу, и мы в самом деле ели уху из живой рыбы.

— Вот когда *пат* бывает,— говорил мне за ухой мой хозяин,— ватаман весел бывает.

— А что такое *пат*? — спросил я.

— А это значит: тоню большую вытащит,— отвечал он,— бывает, матку и не вынуть, так ватаман сливалом рыбу-то вычерпывает, пока матка не полегчает.

В Спасо-Пископце я познакомился с тамошним дьячком, который мне подарил *запись о вкладах*. Он ездил долго искать их и очень издержался, поэтому обрадовался, избавившись от соблазна. Я привожу ее здесь потому, что у нас не было, кажется, нигде напечатано ни одной записи. Вот она в точной копии, с сохранением всех неправильностей языка, бессмыслиц и приписок, сделанных рукою дьячка.

Запись о вкладах

1. У Богатырских ворот на юрке котел серебра и меди.

2. Там же против больших песков под орешником котел.

3. Там же в бору найдешь черный пень и близ того пня огневище старинное, то под огневищем котел артельный.

4. Там же в бору найдешь каменный крест на сопке, вышина креста два аршина, то под ним сундук в кресте медном и вырезано у сего города поклажа.

5. Не доходя промежицы набито на камне два следа. И подле второго камня красного, то под ним подголовок золота.

6. ...* мост, лежит плоской камень, то над ним крест, то за дорогой котел серебра.

7. Близ церковища в лесу под горой засыпано два котла.

8. За мшариной на дороге под самым церковищем — вынят в погребу.

9. Под церковью в погребу 12 бочек серебра и церковной утвари.

10. Там же против алтаря по старинной дороге сундук с серебром и серебряной посудой.

11. Не доходя Флора и Лавра сажень 10, там лежит камень белый, приметами на нем выбит поднос, то под ним котел.

12. У Меньщиковых погреб потайной, а ход в него с заднего погреба направо в углу за щекотуркою, и он весь под двором, и в нем шесть бочек серебра.

В поле кладов

1. Близ Нарвы на 25 верст, близ почты, на нем же лежит камень, а на камне набит крест, и отмерь на полдень 7 сажен... найдешь три сундука с деньгами.

2. За Варламьевыми воротами близ красной сосны отмерь четыре сажени и там котел. Там же еще на восход 17 сажень отмерь от того места, и тут есть клад.

3. На прудах старокаменная часовня и тут под порогом котел с деньгами.

4. Там же возле ручья лежит камень, набит с приметами утка, сабля и то оберти около носа уткина, то там шесть котелков.

---

* В подлиннике затерто это место.

5. Близ старинных заводов кирпичных на ручью котел. Плита есть, выбито два котла, на полдень отмерь либо одну сажень, либо 10 и копай.

6. Из Зябкова или из Зядкова Бредней (?) на берегу найдешь две сопки, как сенные кучи, то между ними отмерь по сажени, то найдешь в обеих сторонах по бочке денег.

7. Там же сад выискать и под оным садом три сундука.

8. У Поспова Корыта выше близ часовни стоит (*—не разобрать*)* примет — рябина, отмерь шаг и там копай — котел.

9. Близь пожни есть речка Поспова и речка Медновка. У последней возле часовни стоит крест без головы и то супротив его сугорок недалеко, каменный, то под ним сундук зарыт костьми и каменьями.

10. В Азбаране в ручью два котла между ракитником в луговине, с деньгами.

11. Близ башни под стеною сундук, примета под ним — красный камень, на камне назначено, сундук не велик, котел с деньгами, копай.

12. На речке Поддасевке найдешь красный камень на бору и на нем набита повареда, а оттуда хвостом выбит, то там котел с деньгами.

13. На том же бору найдешь — роги набиты на камне, то и отмерь 12 шагов от камня на восток, то там котел.

14. На бойнице найдешь малую рель на островке, под сею релью в корню котел.

15. И там же близ ключов найдешь два камня, на них набито по кресту, то между них деньги опущены.

16. За Великой рекой близ Покровской церкви во святых воротах. (*Уже вынято*).

17. На столобце близ Мшары есть ключ обросши травой, то в нем три ствола ружейных опущено червонцев.

18. У Владьемского моста под четвертой (*не разобрать*) под столбом сундук.

19. Там же есть приметы норы — в поры в одну между широкою в углу кубок серебра.

20. В городе Трех Святителей монастырь, пред алтарем сажен восемь — бочка сороковая денег.

* Напечатанное в скобках курсивом означает пометы самого дьячка.

21. За Потетниным в песку, супротив Молошной горки, в песку сундук.

22. Близ кирпичного завода на межнике выбит (*не разобрать*) котел, то на полдень отмерь сажень, и там котел.

23. На зимней дороге, не доходя Поклонной горки, близ кривой сосны в березнике же между сопок есть полубочек с деньгами.

24. На старинной Порховской дороге за вторым домом гродней (?) по левую сторону забору найдешь две сопки, как сенные копны, то между их две бочки медных пятаков.

25. Там же есть, две сопки станут против Горнева, что староверов кладут, котел с деньгами.

26. Там же есть на Ручью каменный выклад, то под ним сундук серебра.

27. Не доходя речки Кеби на дороге на камне след человеческий; на полдень отмерь ⟨от него⟩ сажень — котел с деньгами.

28. По одну сторону Ханского шляха в сопках ящик с червонцами.

29. За перевозом между двух горок в гору впущена фура (*не разобрано*) с Литовским королем.

30. Идти в Радынку есть восточный ручей, близ того ручья на гору, между двух вересин две сумы переметны с деньгами.

31. Еще близ того восточного ручья есть на реке островок, на нем камень, то есть под ним котел.

32. На спуске на перевозе есть мосток дубовый, сажень, то под ним три котла: в двух серебро, а в третьем серебряная посуда, 12-ти братиями по 30-ть фу...

33. У Пателеймона за порогом котел в старой часовне.

34. В воротах пивной котел серебра.

35. Против алтаря в бору или в гору, смотря по месту, за 25 ⟨шагов от⟩ дороги или сзади дороги, близ ивова куста дверь в погреб и то в погребу 4 бочки со всякими деньгами. Конец.

Писано со старинной бумаги, нечаянным манером найденной. Желаю всякому.

Я пригласил этого дьячка ехать с собою на озеро, на что тот согласился, даже взял довольно сходную цену за свою лошадь и захватил для меня тулуп, а как на мне был только один полушубок, то этот тулуп спас меня от многих бед. На ту пору на дворе была сильная стужа, да к тому же и с

ветром. Проездив с этим товарищем по озеру, мы очутились на южном берегу Ильменя около древнего села Ужи́на*. Мне не хотелось возвращаться назад, и мы поехали на Ужи́н. Мой товарищ привез меня на постоялый двор, где сперва мы вошли в общую избу, а после, вероятно по рекомендации дьячка, меня попросили войти в другую, чистую избу, чему, признаться, я был рад, пробыв на морозе более шести часов. Там нашел я юнкера, квартировавшего в этой избе. Мы с ним разговорились, и он мне рассказал очень много любопытного про свою армейскую жизнь. Выслушав его, вы, верно, согласились бы, что самая несчастная жизнь — это жизнь юнкера на *вольных квартирах*. Юнкеру обыкновенно отводят лучшую избу в деревне, но он должен жить вместе с хозяином, а хозяин смотрит на этого бедного постояльца как на самого заклятого своего врага; поставь к нему солдата — солдат и дров нарубит, и воды принесет, и делается как будто семьянином: он со всей семьей делит хлеб-соль да делит и труд; а барин, поставленный на квартиру, остается хоть поганеньким, но все-таки барином, и хозяин, не смея явно его бранить и делать ему неприятности, старается насолить этому барину сколько может. Разговорившись о житье-бытье юнкерском, я услыхал от него следующее: «Был я постоем на Терёхе,— начал он рассказывать,— пришли на село под вечер, мне отвели, разумеется как юнкеру, квартиру хорошую, у богатого мужика. Немножко осмотрясь, я велел хозяйке давать ужинать. Хозяйка не дает час, не дает другой. Я и прикрикнул на нее. Гляжу, несет моя хозяйка мне ужин: какую-то похлебку, щи ли — не знаю, только *в черепке*. Ну, думаю, верно, здесь раскольники, верно, всем мирщат, поем и из черепка... Хозяйка поставила на стол черепок, а черепок этот года два не мыт; я, грешный человек, взбесился и отвесил хозяйке пощечину одну, другую... Хозяйка только взвизгнула — да на улицу... А там у них такой колокольчик прилажен; она в тот колокольчик и давай набат бить; сейчас же собрался народ; моя хозяйка и пожалуйся им на меня: «Приколотил меня, говорит, и сама не знаю за что». Мужики потолковали меж собой, потом отделились от сходки человека четыре (сходка же оставалась на месте) и пришли ко мне. «За что,— говорят,— прибил ты, твое здоровье, свою хозяйку?» Я им

* Первый раз упоминается в истории при Иване III.

рассказал все дело, как было. «Правда?» — спросили они хозяйку. Та молчит. Мужики посмотрели, посмотрели на нее и говорят ей: «Пойдем же с нами». Мужики пошли вперед, баба за ними, прямо на сходку, там рассказали миру про все, да такую ей встрепку задали!..»

Мы проговорили с этим господином до вечера, по-деревенски довольно позднего: часов до девяти. В это время вошли в избу извозчики и полезли на печь греться.

— Плохо, брат, сделали,— проговорил один из них, ворочаясь на печи.

— Да что сделаем хорошо-то? — отозвался другой.

— А как замерзнет?

Я спросил у них, о чем они горюют.

— Да вот видишь ли, друг любезный,— стал говорить один из них,— ехали мы семь человек, у каждого человека по три лошади. Мятель, падора ты видишь какая на дворе, а на озере просто быть нельзя... У нашего товарища лошади и притомились, нейдут. Мы было все скопом и порешили ждать на озере, пока бог простит. Так вишь нельзя: в ногах товарищ валяется; «Ступайте, братцы, вам, говорит, из-за меня не пропадать!» Мы так и сяк, туда и сюда: просит малый... Мы и поехали.

Легли спать. Мне не спалось, да и извозчикам тоже; на рассвете приехал отсталый извозчик на одной лошади, а двух лошадей, отпрягши, привязал к саням да и бросил. Извозчики вскочили, достали где-то полштофа водки и сунули в руки приезжему товарищу. Тот приложил его к губам и до тех пор не отнимал, пока всего полштофа не высушил; после того его положили на печь, накрыли полушубком или, кажется, двумя, дали ему вздремнуть часа два и разбудили. Метель была страшная, на улицу и днем страшно было выйти.

— Ободняло,— сказал будивший,— поедем за возами; я возьму свою лошадь, да он дает свою, да вот он с нами на своей едет.

Тот зевнул, перекрестился и стал не спеша одеваться.

— А далеко ваш товарищ оставил свои возы? — спросил я.

— Экой ты, ваше степенство, простой человек: в ту самую падору хочешь версты знать! Ильмень от Ужина до Пископца двадцать три версты, а теперь и дороги нет; может, и за Взвад заехали!

— Ну а как возы разобьют?

— Этого сделать нельзя,— утвердительно сказал один из извозчиков.

— Отчего же?

— Здесь озеро кругом!

Извозчики отправились, а мы с юнкером сели за чай. Спустя полчаса вернулись провожавшие, я пригласил одного из них на чашку чаю.

— Проводили своего товарища? — спросил я.

— Проводили, ваше степенство.

— Спрашивали про возы, видели их?

— Встретился обоз, говорит, один воз разбит; да соврал: тому быть нельзя.

— Отчего же?

— Здесь озеро кругом.

И в самом деле: часа в три приехали эти извозчики с возами, которые все оказались целы.

Старая Русса, 13 декабря.

Добрался я наконец до Старой Руссы. Военные поселения, так сказать, заслонили собою память о старине. Пользуясь досугом, спешу записать кое-какие собранные мною сведения о торговле.

По Ильменю, Ловати и Полести суда, которые преимущественно строятся в Холме, доходят до Старой Руссы; летом ходит сюда раз в неделю пассажирский пароход и буксирует суда, в особенности *самины*, очень тяжелые на ходу; они строятся длиной от семи до десяти сажен, шириною от полутора до двух сажен, глубиною от двух до трех аршин; самина называется также *голубятницею*; на саминах клади кладут от четырехсот до двух тысяч пудов дров, овса больше, сена меньше: сено парусит, и при большом противном ветре самина с сеном должна стоять; на самине только три человека рабочих, а потому на ней дешевле провоз. За медленностию хода пассажиров на самине не возят. Пассажиров и легкий товар возят в *лодках* извозницких, которые тоже плоскодонны, длиною от трех до четырех сажен, шириною в одну сажень; они делаются с палубою на носу, и у передней части палубы две мачты, парус ставят косой, *латинский*, как выразился купец С. Из плоскодонных судов были прежде *семерки*, в семь сажен длиною,

глубиною от четырех до пяти аршин, с двумя мачтами; также *водовики*, которые еще больше *семерок* и того же устройства; но, за мелководьем рек и озера, их заменили саминами. *Рушинка*, или *руська лодка*, иначе называемая *сойма*, вошла в употребление не больше десяти — пятнадцати лет; строится с килем длиною три сажени, шириною одна сажень, глубиною полтора аршина; она сшивается кореньями и потом сбивается железными скобами; на ней редко возят товары, а больше пассажиров; это судно называется *рейным*, может реять, то есть лавировать. *Полулодок* — та же сойма, только гораздо шире и несколько длиннее, а потому и на ходу не так легка. На полулодке рабочих бывает от четырех до восьми человек; но как она может поднять до восьми тысяч пудов легкого товара и до шести тысяч пудов сена, то провоз на ней обходится дешевле, чем на других судах. Все лодки делаются с двумя мачтами и почти все с палубами. *Сенные барки* — крытые, на которые кладут от семи до восьми тысяч пудов сена. Она на месте сто́ит до трехсот рублей, на ней восемь человек рабочих, идет до Питера девять недель, а случается, и все лето. Коли нет своей барки, то нанимают и платят за провоз с пуда семь-восемь копеек. При каждом судне бывает непременно маленькая лодка, которая здесь называется *павозка*. На этих судах идет товар в Петербург. Главный товар: сено, дрова, овес и лен; не в большом количестве: кожи, говядина, тряпье, рожь, яблоки. От устья Шелони до устья Ловати, с берегов Ильменя, с Осташкова, Демьянска, Холма, Старой Руссы, Сольцы, Порхова, Острова и Пскова через Ильмень проходит товара в Питер, по рассказам здешних старожилов, на сумму до четырех миллионов трехсот тысяч рублей серебром. Из одной Старой Руссы в этот год отправлено льну до семидесяти тысяч пудов ценою около трех рублей шестидесяти копеек серебром за пуд. Кроме того, отправляли много кудели или *изгребы* и пакли. Паклей называют очески от льна при чистке, самые грубые, когда снимут со льна паклю, при дальнейшей его очистке идет изгреба. За провоз льна берут копеек по шести от Старой Руссы до Питера. Овса по цене до трех рублей двадцати копеек серебром идет до ста тысяч четвертей; овес бывает до двух рублей серебром, а нынче был дорог. Сено берут прямо с пожней (с покосов) по рекам Полисти и Ловати, а вообще по берегам Ильменя. Лучшим же

сеном считается Бронницкое, которое идет ко Двору. Дрова больше берут с Ловати.

Вся вообще торговля по озеру Ильменю с Новгородом и Питером с основания военных поселений значительно упала. Так, например: из одной Старой Руссы отправлялось, по рассказам купцов, одного льна до двухсот пятидесяти тысяч пудов, а теперь лучшая цифра не превышает нынешней, то есть семидесяти тысяч пудов. Вообще военные поселения расстроили хозяйство народное, в особенности в первые годы: когда мужики ходили на ученья, им не до работы было; а теперь при обращении поселенцев в государственных крестьян, вероятно, положение их улучшится, но пока оно еще не устроилось.

В Старой Руссе бывают следующие гулянья, которые здесь называются праздницкими: праздницкое Жен Мироносиц у церкви Успения, Троицкое у церкви Троицы, Духовское у церкви Святого Духа, Преображенское против церкви Спаса Преображения за рекой, Кузьмо-Демьянское против бывшего монастыря, говорят, очень древнего, уничтоженного Аракчеевым при постройке для военных поселений *провиантского и соляного магазинов*; праздницкое еще бывает тоже против бывшего монастыря на другом берегу, близ слободы Перхина или Пéрина, Егорьевское — весной, Никольщина — весной и зимой, Дмитриевщина, Веденщина — у приходских церквей. Ивановщина теперь празднуется не по-прежнему; сперва, до Аракчеева, накануне Ивана Купала за ворота ставили выкопанный куст дедовника (репейника?), который и стоял тут, пока совсем не завянет, а вечером, тоже накануне, на улицах раскладывали кучи жигучей крапивы, через которые перепрыгивали парни и девушки. Теперь этот обычай вывелся; только на праздницких *хороводы играют.*

Старая Русса, 14 декабря.

Я познакомился с А. А. С. Он занимается много русской историей. У него написаны огромные три тетради, в которых между прочим есть вещи и хорошие; он отыскивает места около Руссы, упоминаемые в летописях. Он мне рассказал замечательную историю о бывшем здесь архиве. Когда Аракчеев стал устраивать солдатский «за-

вод», все дела, находившиеся в архиве, велено было передать военному начальству. Начальство распорядилось так: все дела и бумаги допетровские выбросить на улицу. С. говорит, что он с такого выброшенного подлинника списал опись Старой Руссы, составленную при Михаиле Федоровиче после сдачи шведами Новгорода. Была и другая опись Руссы и опись пожней, составленная при Алексее Михайловиче, но тоже утрачена. У С. я видел хронограф прекрасного письма, в лист, на семисот сорока листах, оканчивающийся 1613 годом; шлем, найденный в кургане Киевской губернии, и псалтирь, печатанную, кажется, при Грозном. Потом ходили мы по городу: город как город, все наши города на *славный Питер-город* сбиваются: улицы прямые, широкие и хорошо выстроенные, с магазинами мод, водок и прочим, набережные очень красивы отделаны, лавок около двухсот. На постройку позволено брать из городских сумм деньги по пять процентов с уплатою при займе части суммы и процентов, но берут очень неохотно. До уничтожения солдатских поселений в думе городской председательствовали господа офицеры, которые и распоряжались постройками. А было когда-то время и Старой Руссы: в 1467 году в мор умерло двадцать восемь попов, тысяча пятьсот монахов да народу мелкого, христиан православных девять тысяч, да от Ивана III бежавшие девять тысяч утонули в Ильмене: народу выбыло немало! А все-таки при Иване Грозном с одних соловарень старорусских сходило в царскую казну восемнадцать тысяч тогдашних рублей; при Михаиле Федоровиче в Старой Руссе было четыреста соловарень и триста лавок около теперешних ванн.

С. мне говорил, что до аракчеевщины в Старой Руссе было восемнадцать первогильдейских капиталов. Теперь еще указывают на всю набережную, застроенную купеческими домами, которым только и дело было, что соль варить; но переулки, в которых прежде жили работники-соловары и *трепцы*, теперь опустели. Трепцов, то есть тех, которые лен трепали, сперва было до двух тысяч, а теперь не доходит и до тысячи.

С. повел меня на соловарни; они только недавно стали отдаваться в арендное содержание за пятнадцать тысяч рублей серебром, а прежде состояли в казенном управлении. Вы не можете вообразить, какое странное впечатление де-

лает вид разрушающихся домов, в которых помещались чиновники, казенные управляющие, соляное управление, соляная полиция и тому подобное... Эти соловарни отобраны от горожан и устроены казенным образом при Екатерине II. Мой чичероне повел меня на одну городильню на самый верх по полуразрушенной, частию без перил и покрытой гололёдкою лестнице. На мой вопрос: «Зачем туда идти?» — он только сказал: «Увидите», и я, покоряясь ему, кой-как карабкался за ним. Наконец он привел меня на какой-то полуразвалившийся балкон. «Здесь,— сказал он,— сидела мать отечества Екатерина Вторая Великая!» Я его поблагодарил и просил повести меня еще к ваннам. Ванны очень красиво, европейски устроены. Соляное маленькое озеро не замерзает, и не дорожки, а крытые галереи кругом.

Нынче хотел уйти из Руссы, да сказал мне С., что у фон З., постоянно здесь живущего, есть много книг, рукописей и вещей. Я сей же час послал к нему просить дозволения посмотреть его кабинет и получил от него разрешение на завтрашний день в четыре часа. Еще могу сказать одно, что собор здешний, по словам С., очень древний; этот собор был некрасив. Граф Аракчеев как человек образованный не захотел его так оставить; а как новый собор было дорого строить, то он только украсил древний: приделал к нему много хороших украшений, дурные вещи сломал, и вышел *Собор военных поселений* — хоть куда! В этих же видах он сломал церковь Иоанна Предтечи, где теперь стоит часовня. Когда рыли фундамент для этих пристроек, отрыли кладбище. Многие скелеты нашли перевернутыми, и в них по забитому осиновому колу. Вы, верно, знаете, что умершим колдунам, чтобы они не пугали мир православный, вбивают, коли они ходят покойниками по миру, перевернувши ничком, осиновый кол в спину, да и опять закапывают. Кстати, вот несколько названий трав, записанных мною со слов здешнего мужика Григория Абрамова.

Сорокоприточная: «От сорока приток; впадаёт от сорока приток; владаёт по сухим местам; плетется в середке, как прутчичек (шнурок), а по бокам, как копеечка».

Мядушник: «От грудей пьют; по мокрым местам шапкой ростет, розовенькой копеечкой; помогает от многих болезней».

Суконник: «Точно как белое сукно; как идете по бору, так на бору ростет».
Заячья кислица: «Она и скусом кислая, а сама такая гладкая. Когда женщине *разрежаться* — так та трава».

В Новегороде на Крещенье многие купаются в пролуби, а в Старой Руссе этим суевериям не верят.

Старая Русса, 15 декабря.

Нынче поутру ходил к г. фон З. У него кабинет набит его работою: тонко вырезанные из кости разные вещицы, картонные коробочки и тому подобное — все показывает его нежную душу. Раз ездил он на охоту, и у него расковалась лошадь. Он заехал в кузницу подковать ее и нашел там две кольчуги: одну двойчатую, другую простую; первая прекрасно сохранилась и отличной отделки: каждое колечко украшено маленькою пуговкою. Шлем, у которого один только наушник оторвался, одиннадцать стрел длиною до пяти четвертей, дерево совершенно смотрит новым; стрелы эти оканчиваются железным копьецом, вбитым в стрелу, которая после, должно быть, струной связана, а с другой стороны на четверть с четырех сторон перена, то есть в стрелу вделана гривка пера; нагрудник, у которого нижняя часть сдвижная; два меча, один русский, другой рыцарский. Он расспросил кузнеца, где тот нашел, что дал и что хочет с ними делать. Кузнец отвечал, что купил у мужика, а тот, пахавши землю, выкопал из земли (на месте Шелонской битвы), купил за рубль серебром, а теперь думает перековать на поделку. Г. фон З. был великодушен: он предложил кузнецу рубль серебром и два пуда железа; кузнец охотно согласился, и г. фон З. сделался владельцем этих вещей. Кроме того, у него же я видел перстень, на котором вырезан дракон или что-то подобное; крест в вершок, на котором превосходно сохранились изображения: посреди — Спаса, наверху — ангела, а по бокам и внизу — по два евангелиста; эти две вещи серебряные. Далее: две серьги серебряные, на каждой серьге два подвеска, украшенные камнями; эти серьги толщиною почти в ржаную соломину; ружье венецианское с вычурным замком, который заводится ключом: кремень падает на быстро вертящееся огниво, которое находится среди замка; это ружье прекрасно отделано мозаикой, украшено арабесками и так далее; пистолет

с двумя стволами, стреляющими в одно время, с ножом посреди, с медной ложей. Замечательно, что все эти вещи найдены на месте Шелонской битвы...

Когда я предложил г. фон З. уступить мне вещи, он запросил за двойчатую кольчугу, шлем, четыре стрелы и нагрудник сто пятьдесят рублей серебром, за два меча — десять рублей серебром. При этом был С. и стал его уговаривать не продавать: пропадут, дескать. Г. фон З. на это равнодушно отвечал, что ежели ему дадут деньги, то ему все равно — пропадут ли они или нет. «Я охотник, страстный охотник,— прибавил он немецко-русским языком,— а дадут деньги — пусть пропал!» От него мы пошли в городское училище, в котором два класса и два учителя в военных мундирах (из унтер-офицеров, теперь коллежские регистраторы, кажется) и один священник; в этом училище учат закону божию, арифметике до десятичных дробей да грамматике, первую часть. Учащихся мальчиков и девочек до восьмидесяти пяти. Для такого города, как Старая Русса, довольствоваться этим училищем слишком мало, а потому две мадамы завели пансионы: у одной мадамы восемь девочек, а у другой до пятнадцати девочек и мальчиков. В один из них я заходил: учат девиц сама содержательница, да сестра, да племянница, да священник — других учителей нет, да и достать негде.

Село Ужи́н, 26 декабря.

Вчера около двенадцати часов вышел из Руссы. Русса хоть и не та Русса, которая была до Аракчеева, все-таки очень торговый городок: в уездном городе больше ста лавок открытых; это хоть бы другому и губернскому! Лавки все большею частию с крестьянским товаром — это тоже хорошо! Стало быть, этот город строен не для Питера, а для жителей. Пройдя с версту от города, я сошелся с мужиком из Бологижа. Он слышал, что в Старой Руссе будут продавать водку задешево, и пошел в город к обедне, но слух оказался ложным, и он проходил даром. Дорогой он разговорился и рассказал про аракчеевщину. Приехал Аракчеев и стал всех брить, только стариков за шестьдесят лет оставил. Стал Аракчеев деревни *в связи ставить:* Звоз, Мозольчино, Лозьево, Дубки-Бабки, Гущино — все перевел в Дубовицу. Вот другой год, как им свободу дали, они и стали

переходить на старые места. Гущино уже все перешло. Мой спутник зазвал меня к себе обедать. Мужики живут вообще очень богато, земли у них довольно; на душу высевают десять мер ржи и двадцать — овса, кроме пожней. Одним они обижаются: сперва брали у них по мерке с души, а теперь отобрали у них с тридцати душ одну десятину и заставляют ее обрабатывать. Этим они вообще недовольны. Не знаю, правду ли он говорил, что Аракчеев завел такой порядок: мальчика, как подрастет, требовали в училище, где учили грамоте, а кроме того, маршировке, а как войдет в лета, то отправляли в полевые полки. Три сына есть — трех возьмут, один — и одному не спускают. Только такой порядок был недолго: года через два дали *кафтанчики форменные*, велели всем бороду сбрить, голову стричь да начальства много понаделали, с тем и оставили. «А теперь другой год пошел, как и начальство отбросили, оставили одних своих. С тех пор мы и обросли»,— прибавил рассказчик. И в самом деле обросли: теперь трудно найти бывшего поселянина бритого или стриженого. Здесь в Бологиже во время обеда (мы опоздали к обеду и обедали вдвоем) мальчик лет десяти, сын хозяйский, принес кучу костей. Они собирают кости и продают *булыням* за самую безделицу: у одной девочки было набрано костей до трех с половиной фунтов, да тряпья комок, и об ней как об счастливице говорят, что она получила три копейки серебром. Редко случается, чтобы эти вещи, тряпье и кости, продавались за деньги, большею частию за кренделек, сережку и так далее.

При самом выходе из Бологижа мне попались тверские крестьяне. Они были в Ростове (Ярославской губернии), набрали там огородных семян и скипидару и ехали на Чудовскую станцию. Их было шесть подвод, на каждой подводе хозяин и работник, которому хозяин платит до весны от этой поры, то есть всего недель за двенадцать по десять рублей серебром. У каждого *семянщика*, как они здесь называются, есть свои знакомые. Каждый хозяин зарабатывает за всеми расходами от сорока пяти до шестидесяти рублей серебром. Когда я встретился с этими семянщиками и просил их подвезти меня, то они, как народ торговый, не соглашались, как только же я объявил, что «около кабака будет привал», они все бросились на возы и просили сесть. Проезжая через Чернец, Большо Учно, мои

попутчики сходились вместе, шли пешком и пели песни. У одного из них был замечательный голос, только манера его не хороша: походила очень на тургеневского рядчика. Этот господин жил в Питере и там *образовался*. Они и теперь каждое лето ездят в Питер и там торгуют, а на зиму приезжают домой, пробудут дома недели две, три в Тверской губернии, а после *заезжают* в Ростов, берут семена и едут по своим знакомым. Распродавши за пятьсот верст от дома свои товары, они часто продают и лошадей, и сани, а сами великим постом возвращаются домой по чугунке.

Нынче на улице собрались парни и *девицы* и ходили в хороводе. Здесь хоровод водят так: по одну сторону стоят в линию девицы, а по другую тоже в линию парни. Поют песни, не хороводные, а какие попало; первый парень подходит к девице, поклонится ей, возьмет ее за руку и проведет ее по всему ряду, опять поклонятся друг другу и станут сзади всех, девушка к девицам, а парень к молодцам; потом другая пара таким же порядком, потом третья, четвертая, сколько найдется. Там опять первая, вторая и так далее. Наконец остановятся и пойдут таким же образом в другую сторону. Пробывши на улице часа три, я сам пошел в хоровод, да и случилась беда: я не знал, что надо девушке поклониться, они и осмеяли; но после все обошлось хорошо. Как расходится хоровод, парни закричат: «О! о! ура! о! о!» И нечего греха таить: большею частию парни девушек «кто в овин, кто под тын» — как рассказывал мне старик-крестьянин.

Шимской перевоз, 2 января 1859 года.

Новый год, сколько я ни ходил по улицам в Ям-Мшаге, встретил не так, как мне хотелось; посидок не было: под праздник грех собираться на посидки. По улицам народу было мало; метель дула страшная, и в Ям-Мшаге у меня никого не было из знакомых. А в этот вечер, говорят, хорошо бывает: девушки сходятся по три, по четыре и льют олово, ходят на ручей, отгребают камушки и по ним судят, каков будет жених: коли камушек гладкий — и жених будет гладкий, коли шершавый — то и жених шершавый; петуха меж кучек с овсом пускают. Поутру пошел к обедне, а после обедни, познакомившись с священником, осматривал

церковную библиотеку. В ней я нашел: Цветную Триодь, напечатанную при Иоанне и Петре; обличение Никитино, написанное при Алексее Михайловиче; синодик, в котором из царей Петр упоминается почти последним, и то приписано другою рукою. Замечательно, что он назван Великим, но после это название замарано, потом написан Петр III совершенно другой рукой и новейшим почерком, а весь синодик полууставом. В этом синодике упоминаются роды Сергиевых, Ушаковых, Скворцовых, Ямских-Охотниковых, Устиновых, Черeменецких, Володимеровых, Щербаковых. В настоящее время Скворцовых, Ямских-Охотниковых, Череменецких, Володимеровых и в окружности нет. Здесь же видел образ — Собор Богородицы. Церковный староста, здешний крестьянин Василий Васильевич Часный, рассказывал мне, что этот образ украден раскольниками в 1823 году из Базловки. Этот образ пишется так: Богородица наверху, а собор апостолов внизу. Раскольники, отрезавши нижнюю часть, верхнюю бросили в пролубь в реку Мшагу, где и была она найдена, а нижнюю и по сию пору не нашли. После обедни мы отправились к священнику, куда скоро пришел В. В. Часный, а потом содержатель станции, того же села крестьянин. Они много говорили о названии местностей; я им дал погодинскую брошюру и просил узнать, какие из названий сохранились до сих пор. Вот что между прочим они мне рассказали: в Свинорте стоит обыденная церковь Ивана Богослова. Царь Иван Грозный, проезжая через Свинорт в день своих именин, приказал ее выстроить; она вся сделана из плиты, а не из кирпича. В этой церкви, говорят они, есть чаша деревянная, дар Грозного в день освящения. После пошли мы с В. В. к содержателю почтовых станций. Он, как сам говорит, старовер, но у него все на дворянскую ногу: диваны, кресла, зеркала, закуска дворянская и в заключение муфта, которую носит его жена. Одно только напоминает православный дом: в обоих углах образа. Из его окон я видел *окрутников*. Несколько парней, человек пять-шесть, окрутились (нарядились) *рыцарями*. Из рубах женских, из юбок, шалей сделали курточки, коротенькие юбки, на голову намотали шали, соломы, и вышло что-то вроде шеломов, потом завернули тоже шалями лица до носа. В таком наряде окрутники ездят только на Новый год, от обеда до вечера, разумеется, как подобает рыцарям, — верхами. Пробывши здесь полчаса или несколь-

ко больше, я поехал с В. В. к нему, и у него остался довольно долго, слушая его рассказы.

Жители Ям-Мшаги все хлебопашцы, у них, как и у всех здесь, земля разделяется на выти, на каждую выть полагается двенадцать душ, на каждую выть высевают двенадцать четвериков. Случаются урожаи сам-десять, а средние сам-четыре, сам-пять. Кроме того, занимаются ловлей рыбы: ловить мережами начинают с полного разлива до Николы, а потом со Спаса — пока вода станет. Рыба водится следующая: щука, язь, окунь, сопа, плотняк (плотва), «у самую Миколу лещ с икрой», налим, изредка судак и сиги. Весною по реке ставят заколы: на двадцати верстах заколов пятнадцать ставится. А на заводях у устья заколы эти ставят поперек реки, выбирая, где мельче, из лучинок, то есть из досочек пальца два-три толщиною. Эти лучины перепутывают мочалой из старых кулей или чем придется. Лучины привязывают одна к другой как можно ближе, чтобы рыба не могла пройти, когда же вода станет сбывать, рыба начнет сваливаться книзу, к самому заколу.

Тоже один из главнейших здесь промыслов составляет извозничество. Во время последней войны здешние извозчики выезжали на четырехстах и более подводах (по три подводы на человека, стало быть более ста извозчиков). Другими ремеслами они стыдятся заниматься: топор взять в руки — ни за что! В последнее время выучились человек восемнадцать портняжничать, а прежде ездили сюда портные ярославские. Долго я сидел у почтенного Василия Васильевича. Надо правду сказать, что редко отыщется такой крестьянин: он образован, и я видел у него «Историю» Карамзина и Энциклопедический лексикон. Он их читает толком и при всем том любит свое крестьянство и живет, как он выразился, «по закону божию, как бог велел». Когда я ему объявил, зачем я хожу,— он сразу понял и обещал помогать. От него я пошел домой. У моего хозяина, который и беднее и грубее Василия Васильевича, были гости — его племянница, изволите видеть, отдана замуж за немца. Так эта пара пожаловала к «дяденьке», и они все трое пировали и кутили. Не вдруг смекнув, в чем дело, и не зная гостей, я присел к ним. Барыня сейчас со мной заговорила:

— Как здесь дурно проводят святки; никаких таких хо-

роших удовольствий не делают. Вот у нас в Сольце это можно чести приписать! Сделают вам лодку!..

— Врешь, дура, лодку как есть, и с мачтой поставят на полоза! — отозвался дяденька русской немки.

— Ну и выходит, сделают! Запрягут лошадей да так и катают! А в Новгороде!..

Я оставил их, заметил в книжку все слышанное и виденное, да и лег спать. Я думал, что день мой кончился; нет: только что я заснул, пришел от станового пристава рассыльный, разбудил меня и просил, впрочем очень вежливо, пожаловать к становому. Я подумал-подумал и пошел: он от меня стоял через несколько дворов. Прихожу. Этот почтенный господин сидит в халате и пьет пунш с каким-то торговым мужиком (как после я узнал, отцом той, которая вышла за немца).

— Почему вы, милостивый государь, не явились ко мне сейчас по прибытии в Ям-Мшагу?

— Да, ежели позволите вам сказать откровенно,— отвечал я,— не имел ни желания, ни охоты, ни надобности.

— Я все-таки начальник, а к начальнику всегда должно являться; этого, наконец, вежливость требует.

Я видел, что начальнику не угодно было меня посадить, взял стул и подсел к столику; это его немного озадачило.

— Позвольте узнать, зачем вы сюда прибыли?

Я стал ему рассказывать, он не понимает, я ему показал письмо ко мне от редакции «Русской беседы» на бланке с печатью — он пришел в недоумение; но надо было видеть ужас «начальника», когда я ему сказал, что Географическое общество, состоящее под председательством великого князя Константина Николаевича, посылает многих для этой же цели.

— А у вас есть какая-нибудь бумага от него?

— Меня не Общество отправило, но я все-таки имею от него предложение собирать песни, сказки и тому подобное (я в самом деле получил такую бумагу от Общества по ходатайству В. И. Даля).

— И подписана она Обществом?

— Нет, одним генерал-адъютантом Литке.

— Сделайте одолжение, доставьте мне ваши бумаги завтра поутру.

На другой день поутру часов в восемь ко мне приходит рассыльный за бумагами. Я отослал. Жду час, жду

другой; надо идти, а нельзя: бумаги не возвращены!.. Наконец я посылаю хозяина. Он, возвратясь, и говорит, что становой сам идет. Ну, думаю, хочет меня вежливости учить: знать, с визитом идет. Входит становой и экс-становой, которого я видал прежде.

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуйте, батюшка; прошу покорно садиться,— сказал я ему, указывая на стул.

— Все-то у вас бумаги, все-то бумаги,— сказал он, усаживаясь.— Да, никак, у вас хозяина дома нет?

— Да, кажется.

— Прекрасный человек ваш хозяин!.. А я вас выпустить не могу-с!

— Это почему?

— А так-с! Позвольте-с! Позвольте осмотреть ваши вещи!

— С большим удовольствием: извольте...

— Нет, милостивый государь, один я не стану... Эй, сюда! — с этими словами в комнату ввалилось человек десять или больше народу.— А вот что: по посидкам ходите, ко мне не явились! Это понятые. Где ваши вещи?

Я ему указал на портфель: у меня только и было вещей, а остальные я оставил в Новегороде. Становой, спросив у хозяйских: все ли? — стал рассматривать бумаги и читать их вполголоса: «самина... рушинка...» и засмеялся, а за ним и все понятые. Добрался он до песен: «Скоро Дунюшка...» Отставной становой не утерпел, засмеялся и во все горло запел: «Дунюшка, Дунюшка притомилася!..»

— Да кто ж эту песню не знает? — говорили понятые, смеясь из угождения становому,— у нас любую девку спроси — споет! Долго б эта история еще продолжалась, если бы становой не отыскал писем ко мне. Он хотел их читать вслух, но я решительно не позволил. Тут было между другими письмо от Куприянова и мое заготовленное письмо к Ч.; первый ездил по Новгородской губернии с предписанием от губернатора, поэтому становой его знал, а к Ч. я писал накануне и, по счастию, с полным титулом на конверте. Это меня спасло от дальнейших бед. Становой сконфузился и стал отдавать назад мои вещи. Но, каюсь, я рассердился и требовал, чтобы он дал мне какую-нибудь бумагу, по которой я мог бы на него жаловаться. Он сперва не хотел, но так как я настаивал, то он объявил,

что может составить акт. Пошли мы к нему в канцелярию, вещи мои понесли за ним, там составили какой-то глупейший акт; при этом еще случилось маленькое несчастие: украли у меня несколько тетрадок при переноске вещей в канцелярию. Верно, соблазнился какой-нибудь понятой: мужики папиросы делают из всякой бумаги; думаю, и мои тетради пошли тоже на папиросы.

От станового я прямо пошел в Шимское. Уже начинало смеркаться, и погода была не совсем хорошая. Народ здесь донельзя приветливый: мне попался водовоз и предлагал стать на дровни за бочкой, и я насилу отговорился только тем, что мог замочить полушубок. Подходя к Шимскому уже довольно поздно, я встретил мужика.

— Куда же ты, родной,— сказал он,— ты пережди до завтра в Шимском, а завтра, бог даст, найдешь обратных — доедешь!

Я поблагодарил его за совет, мы разошлись, и он запел: «Спаси, господи, люди твоя...»

Новгород, 6 января.

Нынче ходил на водоосвящение. Я стоял у самой Иордани. Со мной рядом было несколько мужиков, один из них с совершенною уверенностию говорил: «Вот как погрузят в воду крест, вода выступит». И точно: едва крест был погружен, вода выступила — от народа, хлынувшего к пролуби, сделанной в нескольких шагах от Иордани, чтоб умываться и пить священную воду. Двое молодцов, раздевшись (когда они успели, бог их знает!) бросились в пролубь! Несчастный будочник закричал запрет, да уж поздно. Купальщики окунулись три раза, вылезли из пролуби и стали одеваться, не торопясь оделись и пошли потихоньку, как будто после сытного обеда. Полицейский солдат постоял с полчаса около пролуби и ушел. Едва он ушел, опять стали купаться: один за другим человек до пятидесяти перекупалось. Я слышал, как один из выкупавшихся, идя не спеша, говорил: «После купанья легче делается...» Девушки тоже купаются. Собирается их несколько, становятся кругом пролуби, чтоб покрыть раздевающуюся, и потом некоторые из них купаются; не умеющие же плавать как мужчины, так и женщины кидаются в реку на кушаке или взявшись за палку.

В Новгороде на стенной колокольне показывают колокол, про который мне рассказывали следующее: ехал Грозный царь с Торговой стороны на Софийскую. Въехал он на большой мост (его теперь нет). В то время ударили в колокол, под Иваном конь пал на колена. Грозный велел у колокола отрубить уши. Теперь этот колокол перелит. В Пскове есть такое же предание, там тоже показывают колокол без ушей, он лежит на колокольне на плахах, и в него звонить нельзя.

Был в Новгородском уездном училище. Когда я шел туда, никак не думал найти то, что нашел. Мне все казалось, что Новгородское училище должно быть похоже на Обоянское, Богодуховское, Харьковское и все училища, какие мне бог привел видеть, а их было не мало. Я имел случай испытать все счастие быть учителем в уездных училищах и в уездных, и в губернских городах. Один раз я шел по улицам просвещаемого мною города, навстречу мне попался ученик. Тот мне поклонился, я велел ему надеть шапку, стал с ним разговаривать и шутить. Поговорив минуты две, мы с мальчиком разошлись. Увидала это какая-то старуха и замечательно оригинально выразила свое неудовольствие: «Вот так учитель! Нечего сказать! Нет, сперва учителя не таковы были, бывало, ученик увидит учителя — за версту бежит; а попался под руку — так отпотчует, что на-поди! Сиди дома! А это что за учитель — ученик перед ним в шапке стоит!» При входе в Новгородское уездное училище я вспомнил эту старуху: то-то бы она, горькая, сердилась! Ученики не только на улицах не бегают от учителей, да и в классах-то смотрят по-человечески. Я прошел в третий класс и, по просьбе учителя, спрашивал учеников. Вопросы были не совсем для детей легкие, например, я спросил у одного ученика: когда история в первый раз упоминает о Новгороде и что он знает об этом городе еще? Мальчик, подумав с минуту, стал рассказывать чрезвычайно толково; видно было, что он соображал и говорил свое, а не заученное на память, как говорится, назубок. Других я спрашивал из географии, грамматики — то же! Смотритель подал мне какую-то ученическую тетрадку. Я думал, что это неизменный разбор: *Стол* — имя существительное мужеского рода и так далее — и не спешил взглянуть на нее. Но представьте себе, что я нашел в этой тетрадке: ученические сочинения, и не на обыкновенные темы: «Учение

полезно, добродетель приятна»... Нет, здесь не было ни одного сочинения о *высоких предметах:* один рассказывает, как его захватила буря на Ильмень-озере, другой тоже какую-то обыденную для него вещь. Но видно, что он сам рассказывает языком довольно правильным и замечательно ясным. Про правописание я не могу ничего сказать, кроме того, что я прочитал целое сочинение и нашел одну ошибку, да и ту надо приписать описке, потому что запятые, *яти* и *ести* и тому подобные хитрости поставлены правильно. Вспомнил я еще одного профессора университета, который говаривал студентам, отвечающим на экзамене своими словами, а не по тетрадке: «Лучше автора не скажете, а потому советую отвечать, как у вас записано». А тут в уездном училище приказывают отвечать «не слово в слово, а толково». Еще последняя заметка об этом прекрасном училище. Все ученики ходят всякий в своем платье, прическу носят тоже свою: кто в скобку, кто по-немецки,— а в Харьковском учебном округе — все в мундирах и острижены по форме.

Зашел я в трактир напиться чаю, разговорился с одним господином, он мне сказал, что у него есть библия, написанная на коже, и еще книга старая, да он не знает какая. Я распорядился, чтобы он доставил эти книги к К⟨уприянову⟩ для Погодина.

Юрьев монастырь, 10 января.

Нынче, часов в двенадцать, отправился я к Юрьеву правым берегом Волхова. Для меня это была совершенно новая и оригинальная картина: на полном зимнем пейзаже — быстротекущая река. Все кругом сковано зимой, один только Волхов остается вольным новгородцем! Ударят сильные морозы — и он поддается: ничто сделаешь! — присмиреет и он, покроется льдом, да ненадолго; опять сломит ледяные оковы и понесется быстро, вольно!

На самом Волхове заколов не делают, нельзя: суда ходят, да и Волхов глубок; а заколывают *озéрки,* то есть заливы волховские, которые иногда летом и пересыхают. Когда весной вода в маленьких речках и озерках войдет в берега, тогда начинают заколы. Заколывают таким образом: вбивают поперек всей реки или устья озерка два ряда кольев, так чтобы колья одного ряда не были против

кольев другого, а наискось; потом между этими рядами вбивают *лучину* — тонкие дощечки в руку или в два-три пальца шириною, а длиною смотря по глубине, так чтобы лучина выходила из воды. Лучина вбивается одна от другой близко, только чтобы вода проходила. К кольям привязывают перекладины, а к перекладинам привязывают лучину. Иногда заколывают с лодок, а иногда, когда мелко, идут в воду по пояс, не больше. Когда закольщики надевают *штаны*, то есть широкие кожаные штаны, с сапогами вместе сшитые, доходящие до полгруди, запрятывая туда и полушубок. Чтоб узнать, годны ли для работ на заколах штаны, их дополна наливают дегтем: не пройдет деготь — и вода не пройдет; пройдет деготь — мастеру штаны назад отдают.

Г. Зарубин мне говорил, что закольщики, надевая такие штаны, наливают их теплою водою и тогда идут в воду. это он видел на Взваде (большая деревня). В других местах этого не делают, а просто начистоту: надевают штаны, а коли мелко, то и просто сапоги, да и в воду. Сделавши закол, ждут, когда вода станет сбывать. Рыба, как известно, весной идет в гору; когда же вода начнет сбывать, рыба вместе с водой идет вниз и, подойдя к заколу, там остается — пройти негде, тогда ее очень легко брать; а как часто озерки совершенно высыхают, то ни одной рыбины в заколе не оставят, всю возьмут; разве какая выше в яме останется, рыбин десятка полтора. На речках делают несколько заколов, всяк себе; а на озерках и ручьях — один; озерки отдаются на откуп*. Около самого Новагорода есть закол на озерке, который, говорят, ходит до четырех тысяч рублей серебром.

Дорогой к Юрьеву мне не попался ни один попутчик; были только встречные; меня всегда поражают *поозёры* своею приветливостью. Это не робкая вежливость человека, забитого холопством; нет, этот с вами вежлив, но советую и вам быть с ним тоже. Всякий, встретивший вас, непременно скажет вам: «Здравствуй, молодец хороший» или «Здравствуйте, ваше степенство!» В Юрьев монастырь, или, как здесь выговаривают, *морастырь* или *номастырь*, я при-

* Говорят, что сперва в откупных местах позволялось ловить рыбу удочками; есть и пословица: *«На уду запрету нет»*. Теперь же откупщик обязывает тех, кто в его заколе ловит удочкой, продавать ему рыбу за условленную прежде цену.

шел до вечерен. Около летнего большого собора три могилы монахов, из которых самый замечательный, кажется, тем, что был духовником благодетельницы монастыря, как сказано на памятнике — графини А. А. Орловой, другой — брат его, третий — Шилкин или Шишкин, не помню. Три брата Орловых: Алексей, Григорий и Феодор, как я после узнал, похоронены в самом соборе. Монахи все заняты своими делами, и я насилу добился, где будет служба, и то не от монаха, а от мальчика штатного, который приходит сюда ежедневно из Юрьевской слободы. Про богатство иконостасов монастырских церквей нечего и говорить: всем известно, что графиня Орлова большую часть всего своего имения отдала этому монастырю чрез руки Фотия, бывшего Юрьевским архимандритом. Рассказывают, что в этом монастыре при Фотии из ризницы пропало разных вещей и камней на восемьсот тысяч рублей (ассигнациями или серебром — не знаю). Из Петербурга приехали производить следствие. Фотий отправился к Орловой (она жила в нескольких десятках сажен от монастыря), сказал ей, что она дала в монастырь камни, верно, не добром отцом ее нажитые, и что, верно, богу не угодно принять такой дар. Орлова сделала все пропавшие вещи лучше прежних и упросила в Петербурге не производить следствия. Иконостас поэтому очень богат, утварь тоже, но я был удивлен тем, что в церкви народу было довольно, а перед иконами горела всего одна грошовая свеча, поставленная каким-то горемыкою. Даже лампады не все были зажжены. Служба шла очень долго: до семи с половиною часов. Стемнело совершенно, идти было некуда; я спросил у одного монаха, могу ли я переночевать в монастыре. Но тот, верно обрадовавшись, что вырвался из церкви, только глянул на меня и пробежал мимо; я к другому — то же. Наконец один послушник мне сказал, чтоб я шел за народом из монастыря. «Тамо-тко и гостиница монастырская». Вышедши из монастыря, я пошел за толпою, но оказалось — не в ту сторону: надо было идти направо, а я пошел налево; я вернулся и, к счастию, попал на богомольца, который довел меня в гостиницу, куда бы я один ни за что не попал. Надо было обойти кругом весь монастырь, пройти бани, разные службы и прочее.

Гостиница состоит из двух половин: мужской и женской. Мужская — довольно большая комната, с чугунною и русскою печью; кругом широкие лавки, у переднего угла стол,

посреди висит ночник; перегородкой отгорожен небольшой чулан-келья повара. Когда мы вошли в гостиницу, там было человек десять — двенадцать богомольцев и богомолок, или, как здесь говорят, *странных и странниц*. После почти четырехчасовой службы все устали и сидели молча около десяти минут. Потом разговорились. Повар, парень лет двадцати пяти, в подряснике и монашеской шапке, обратясь ко мне, спросил: «Откуда, раб божий?»

— Из Москвы, почтеннейший.

— Доброе дело, раб божий, задумал, доброе дело! А ты, раб божий, откуда? — спросил он другого.

— Я-то?

— Ну да, ты откуда?

— Мы дальние.

— А сколь далеко?

— Да из-за Чудова Новгородской губернии.

— Ну, это еще не гораздо далеко, верст семьдесят!

— А, долбежники,— подхватил тверской мещанин,— долбежники!

— Отчего же долбежники? — спросил я.

— Как отчего? Может быть, ты слышал: еще за наших дедов был царем Иван Васильевич Грозный, слышал?

— Слыхал.

— Ну так вот этот самый Иван Васильевич Грозный долбешкой гонял новгородцев в Волхов топить!

— За что же он их топил?

— А этого я тебе сказать не могу. Верно, какую ни на есть огрубость сделали.

— А ты откуда? — спросил московский мещанин, приведший меня в гостиницу, очень благообразный мужик лет под пятьдесят.— Ты откуда? — спросил он отставного солдата.

— Мы недальние: всего верст за двадцать отсюда.

— Богу пришел потрудиться? — продолжал москвич.

— Нет, не хочу грешить: дело есть в Новегороде, так я нонче переночую в морастыре, завтра пораньше сбегаю в город, подам просьбу, а к обеду опять в морастырь.

— Какую просьбу?

— Да вот какую: мы сперва-наперво были люди господские. Господа отдали меня, и служил я, мои родненьки, богу и великому государю ровно двадцать семь годочков. А как пошел на службу, осталась у меня жена (годок только с ней

и пожил), осталась жена да грудной мальчик. Прихожу в чистую, а сын преж меня приходил по желтому билету* и опять ушел: его тоже в солдаты отдали, остались и у него двое деточек. Чем кормиться, чем питаться?

Все на него жалобно взглянули, послышались в разных углах вздохи. Многие перекрестились со словами: «Господи боже мой! Господи помилуй!» Пока мы балякали, повар, надевши фартук, поставил на стол ведро квасу, к которому и стали подходить: сперва один, несколько погодя — другой. Повар поставил ближе к переднему углу чашку щей. Все, помолясь богу и умывши руки из висевшего тут же рукомойника, сели за стол: мужчины в переднем углу, женщины с краю. Повар поставил корзинку с ложками, всяк стал брать себе ложку. Замечу мимоходом: богомольцы брали какую попало, только москвич одну ложку взял с ряду, а другую выбрал и подал мне; странницы же стали выбирать и сперва шепотом, потом громче и громче, а наконец и громким криком изъявлять свое неудовольствие: ложек не было хороших! Повар стоял, усмехался и с самою добродушною улыбкою поддразнивал их. Наконец все угомонилось, все примолкли.

— Дадут нам хлеба? — спросил я шепотом своего соседа, москвича.

— Тут сухарики накрошены,— отвечал он мне тоже тихо. Я попробовал щей, ничего, есть можно: с рыбой, хоть и из серой капусты. Под конец блюда этого повар роздал всякому по ломтю хлеба. Кончивши щи, после предложения «подлить еще», от чего все отказались, нам подали кашицу с конопляным маслом. Кашица была даже и очень хороша. Повар всех угощал очень радушно. Поужинали, встали из-за стола, помолились богу и начали опять говорить.

— При графине было не то,— пропищала скороговоркой одна странница,— при графине подавали всегда три блюда, три блюда хорошие: сперва подадут щи хорошие с рыбой, а там кашу крутую с маслом, а там по праздникам пироги с кашей; а на передний угол, хоть и второй руки, а все-таки из пшеничной муки.

— Да нынче, родненькая, суббота,— проговорил сперва не замеченный мною мужичок юродивый. Он был небольшого роста, волосы черные с сильною проседью; видно было,

---

* То есть в бессрочный отпуск.

что он редко причесывался, но волосы его сами собою сложились в чудные кольца. Лицом он был худощав, глаза голубые и как будто испуганные; но это ничуть не мешало ему быть прекрасным: такого добросердечия, простоты, искренности не часто случается видеть. После как я ни старался заговаривать с ним, он, улыбаясь, только говорил: «Да, да, да».

— А вы откуда? — спросил москвич повара.

— Мы из Демьянска.

— Что ж, монашествуете?

— Да послух справляем.

— А давно монашествуете?

— Двух год нету: в мае два будет.

— Врет! Из мужиков,— проговорил отставной солдат вполголоса,— по найму!

В комнате было тихо, а потому нельзя было не слыхать этих слов; однако повар не слыхал или не хотел слышать и ничего не отвечал. Изволите видеть: повару захотелось почваниться, все-таки монашеский сан выше крестьянского!

— А много у вас монашествующей братии? — опять спросил москвич повара.

— Да девяносто три человека,— отвечал тот,— только не все здесь живут.

— А где же?

— С версту, а не то версты полторы будет, там скит у нас есть, какой монашек запьется, так того в скит и сошлют. Вот отец П., хороший монах, да раз грех попутал: напился, ну, это бы еще ничего, а вот куда сатана дернул: уехал в город баловаться, а там его поймали да к отцу архимандриту и привели. Тот уже его исчунял, исчунял... Ну из монастыря в скит не послал, для того что первый раз; про отца П. кого хочешь спроси, ни он к кому в келью, ни к нему кто — никогда! Монах чистый, монах честный, постник какой; а вот бог же попустил лукавого искусить... Ну а другого какого заметит отец архимандрит, сейчас в скит, а отца П. не захотел срамить.

Во время этого разговора богомолки все ушли в женское отделение, а богомольцы стали укладываться на ночь спать. Я и москвич были одеты лучше всех; нас обоих величали все (кроме повара, который всех называл рабами божиими) «ваше степенство». Все ложились, оставались мы только

двое, не выбравшие места для ночлега. Как вы думаете, какие места нам достались, самые худшие? Далеко ошиблись! Самые лучшие! Москвич поспешил занять худшее из двух оставшихся мест.

Монастырская прислуга ходит каждый день, кроме пятницы и субботы; прислужники шьют, воду носят и другие работы исправляют на монахов.

Едва только мы разместились, как повар заметил, что у многих, в том числе и у нас, нечего было постлать, ни положить в головы; он сейчас пошел за свою перегородку, принес несколько войлоков, обшитых тиком, и подушек. Я выпросил у него свечку и стал перебирать свои дневники. Едва все уснули, как кто-то застучал в окно. Москвич встал, вышел на крыльцо.

— Спрашивают, где в Ракому проехать,— сказал он и опять лег спать. Я забыл сказать, что здесь был нищий мальчик лет десяти. Я его уговаривал лечь на лавке, но он лег вместе с юродивым почти на голом полу, чему я после позавидовал: не успел я лечь, как на меня напали клопы, так что я целую ночь не мог уснуть, зажег свечу — и опять за дневник.

С. Юрьино, 11 января.

Поутру я проснулся поздно, когда уже пришли богомольцы от ранней обедни. Богомолки засуетелись, выпросили у повара самовар и унесли в свою половину. Одна принесла келейнику босовики.

— Спасибо, спасибо, мой дорогой, спасибо, что поберег мои ноженьки,— говорила она.

— Мне спасибо не надо,— говорил он шутя,— а ты мне рубль серебром дай!

Та засмеялась и ушла. Я спросил, какие босовики она ему принесла.

— Да вот ее башмачонки сохли, так я ей свои босовики давал,— отвечал он.

Народу против вчерашнего прибавилось. Кто-то проговорил:

— Страдницы без чаю быть не могут!

— Да не могут! А дома, чай, и перекусить нечего,— отозвался другой.

— Всякие бывают; бывают и такие, срамничают, а не

страдничают! Вот было, рабы божии,— проговорил повар,— вот смеху-то было! На той неделе приходит сюда страдница. «Я,— говорит,— дворянка!» Полковницкой дочкой сказывается. Ну, полковницкой дочке отвел я особую келью. Только вижу, полковницкая дочь *головата* гораздо*: того дай, другого принеси... Я прихожу к ней да и говорю — надоела крепко — говорю: «Матушка, если ты дворянка, покажи вид».— «Как ты смеешь требовать?» — «Требовать я не требую,— говорю я,— а если не покажешь, иди в общую братскую». Та схватила мешочек свой да из монастыря бежать. А тут случился сотский, к ней: «Покажи вид!» Та туда, сюда... «Я сотский,— говорит,— покажи, не пущу; к становому представлю! Как показала она вид-то... То-то смеху было... солдатская дочь!..

— Богомолок простых не бывает,— проговорил кто-то,— все дворянки!

— Не угодно ли кому кипяточку? — спросила вбежавшая богомолка. Несколько мгновений никто не отвечал, а потом все в один голос проговорили: «Благодарим покорно, никому не нужно!»

Заблаговестили к обедне, я пошел в церковь. Та же бедность освещения, что и вчера: несколько грошовых свечей поставили богомольцы, и только! По окончании обедни я попросил монаха, как после оказалось, отца П., показать мне ризницу и библиотеку монастырские. В библиотеку он вызвался меня повести после обеда; о ризнице сказал, что не может ее сам показать, а ризничий уехал. Я пошел в гостиницу, там народу было гораздо больше вчерашнего: человек около пятидесяти. Мне ужасно хотелось курить; в общей братской я не знал, можно ли. Я вчера выходил на крыльцо, теперь пошел на Волхов. Выкурив папироску, вернулся в гостиницу; там уже садились за стол. Та же история с ложками, те же блюда, все то же; даже опять та же богомолка спрашивала пирогов; повар-келейник тоже отвечал, что нет. Только как народу было много, то обедали за двумя столами: за верхним сидели мужчины, а за нижним женщины и ребятишки. Во время обеда пришла нищая, преразбитная баба. С ней зашучивал келейник, просил у нее денег.

— А ты думаешь, нет у ней денег? — сказал один бо-

* То есть в голове много выдумок.

гомолец.— Там около нас есть нищая, такая же. В третьем году у ней украли семьсот рублев да вот месяц тому назад еще триста двадцать рублев!

— Да это Алена? — спросили некоторые.

— Она, приходила она к нам, там говорила, что еще и золотых с сотню наберет. Воров нашли, да только денег-то осталось тридцать пять рублев; они признались, что деньги *ейные* (ее).

После обеда я пошел отыскивать П. Он встретил меня в коридоре, и мы прямо пошли в библиотеку, не заходя к нему в келью. Про библиотеку я не стану ничего говорить: Погодин был здесь и видел, что Фотий привел ее в порядок, она и помещается в его летней келье, разумеется, исправленная и *очищенная*. Фотий был благочинным во всех новгородских монастырях, а потому занялся во всех *очисткою* библиотек. Он, как мне сказывали крестьяне Юрьевской слободы, выбрал из всех монастырских библиотек *вредные* книги, привез их в Юрьев монастырь, разложил костер и приказал их при себе сжечь. Один крестьянин украл книжку, которую выпросил у него какой-то солдат. Да, я забыл сказать, что до осмотра библиотеки я подошел к одному монаху, сидевшему за оградой монастырской, под благословение.

— Господь благословит,— проговорил он,— я простой монах.

Как ни старался я с ним заговорить, но монах не поддавался.

— Ловите ли вы рыбу? — спросил я его.

— Нет-с! Господи спаси и помилуй!

В это время другой монах (как я после узнал, сам ловец), внакидку ряска, клобук набок, но не от щегольства, а так, самой свирепой наружности, покупал рыбу у рыбака. Не сторговались.

— Ишь, проклятый,— сказал он, подходя к моему монаху,— двадцать рублей просит!

— Серебром, батюшка? — спросил я.

— А ты еще на ассигнации считаешь?

— А много ли рыбы?

— А не считал.

— Сколько же вы давали?

— Ты бы слушал, если хотел знать.— Повернулся он да и пошел.

— Отец А., — сказал мой монах, — что ж ты свечи мне?

— Да ведь ты взял!

— Да ей-богу же, не брал! Взял бы, к чему же еще просить!

— Врешь, взял!

— Да леший ты этакой... (я не берусь сказать, на кого походил отец А....)

— Ну занесся! — равнодушно проговорил отец А.

— Этакого лешего и свет не видал, — возражал изо всех сил мой монах.

— Приходи — дам; ведь от тебя не отвяжешься: взял — не взял, нужно дать.

После этой сцены я пошел к отцу П. для осмотра библиотеки. Штатный служка проводил меня к нему и дорогой сказал, что отец А. давал за рыбу (а рыба была одни язи) по два рубля пятьдесят копеек серебром за пуд.

Новгород, 16 января.

Из Юрьева монастыря я пошел опять к Ильменю, не рассчитывая на успех работы, а с единою целию себя повеселить. Желал бы я, чтоб кто-нибудь, видя Ильмень-озеро не как декорацию, а Ильмень с жителями, с духом Новагорода Великого, остался к нему равнодушным!

Не так сделалось, как я хотел! А все-таки, слава богу, сделалось к лучшему. Пройдя с версту по левому берегу Волхова, под Юрьевскою слободою увидал старика-рыболова, починивавшего свои мерёжи. Я к нему подошел, и он вскоре пригласил меня ехать вместе на мерёжи. Я, разумеется, отправился с ним.

— Ты, дядя, всегда один ездишь на мерёжи? — спросил я, садясь в лодку.

— Коли тихая погода, — отвечал старик, — да старухе недосуг — один езжу; ну, а коли ветры, лодку будет сносить, одному ехать нельзя, возьму старуху. Я вынимаю, она лодкой поправляет. У нас все так делается: летом, зимой ли — все выезжают на озеро вдвоем, муж с женой. Теперь ты возьмешь весло, как стану мерёжу кидать.

— Весло-то я возьму, да навряд помогу: не знаю, что надо делать.

— Поможешь! Глянь-ко, глянь, — проговорил он, указывая на Юрьев монастырь, — что твои звездочки горят гла-

вы-то на номастыре. Графиня, дай ей господи царство небесное, золотила главы что ни на есть самым чистым золотом*.

— А ты знавал графиню?

— Как не знавать! Душа была у ней чистая; как жила графиня, *хорошо было: хоть пей-ешь рот-ухо!*** Бывало, Фотий кого побьет, напишет записку, да и пошлет к графине, а та ту ж пору золотой и выдаст.

— А Фотия ты знал?

— Как не знать! Я пришел раз к обедне, Фотий служил, отошла обедня, я к Фотию под благословение и тес***.— «Приди ко мне»,— говорит он мне. Я пришел, он дал записку: «Отнеси,— говорит,— графине». Я только подал записку, не самой графине, лакею, что ль, какому, мне и выдали золотой. У графини все деньги были золотые, к ней возили в бочонках.

Приехали мы на мерёжи, и когда мне старик передал весло, я оказался не совсем способным; но как ветру не было, то старик и без моей помощи поставил мерёжи, а вынимать их и помощь моя не нужна была. В мерёжах попалось очень много раков (мы привезли их до двухсот пятидесяти) и десятка три или четыре небольших налимов, от пяти до семи вершков. Пока старик ставил и вынимал мерёжи и рассказывал про ветры на Ильмене, я вынул свою записную книжку и записал следующее от слова до слова.

1. *Крестóвый запад:* возьмется, скрестится против сиверика, крестит Волхов; нет хитрее ветра.

2. *Подсúверный запад:* все одно дурак: пойдет катать... Милосердный господи, пыхнуть не даст.

3. *Сиверúк*: он хоть задует когда, да прямо — все легче.

4. *Востóк:* этот легче ветер.

5. *Зимня́к:* прямо в Зубки (деревня); эти два ветра с крыш не рвут; это не ветер, коли я еду, куда хочу; а то ветер, коли с берега ехать некуда.

6. *Озернúк:* от Старой Руссы; самый чудесный! Если придет божья половина — ау!

7. *Чистый полу́денник:* прямо пойдет с Ужúна к Пите-

---

* Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.

** Так!

*** Это слово, без определенного, кажется, смысла, употреблено здесь стариком, чтобы выразить, как он скоро попал под благословение, сунулся. Он сопровождал это движением руки, подносимой под благословение.

ру — славно! Озерник да полуденник для ловцов — господь хлеба дает!..

8. *Шело́ник:* у нас называется, когда по Шелони идет.

9. *Мокря́к:* когда дует на Юрьево от Рако́мы.

10. *Па́дира:* самая страшная буря.

Для проходящих барок что ни лучшие — шелоник да мокряк, для ловцов — озерник-полуденник, да шелоник, да зимняк самые лучшие — рыбы понагонит.

— Написал? — спросил меня старик, когда я закрывал записную книжку.

— Написал,— отвечал я ему.

— Прочитай.

Я прочитал.

— Все верно.

Мой старик стал вынимать мерёжи, вытряхивать из них раков и налимов, и у нас на несколько минут прекратился разговор.

— Какой это столб стоит? — спросил я старика, указывая на столб, очень похожий на верстовой, хотя большой дороги и не было. Мы в это время были под самым скитом Юрьевским, известным в народе под именем Перюньского*.

— А вот видишь ты, какое дело было,— начал рассказчик,— был зверь-змияка, этот зверь-змияка жил на этом самом месте, вот где теперь скит святой стоит, Перюньской. Кажинную ночь этот зверь-змияка ходил спать в Ильмень-озеро с волховскою коровницею. Перешел змияка жить в самый Новгород; а на ту пору и народился Володимер, князь в Киеве; тот самый Володимер-князь, что привел Руссею в веру крещёную. Сказал Володимер-князь: «Всей земле русской — креститься». Ну и Новгороду тож. Новгород окрестился. Черту с богом не жить: Новый город схватил змияку Перюна да и бросил в Волхов. Чёрт силен: поплыл не вниз по реке, а в гору — к Ильмень-озеру; подплыл к старому своему жилью — да и на берег! Володимер-князь велел на том месте церковь рубить, а дьявола опять в воду. Срубили церковь: Перюну и ходу нет! Оттого эта церковь назвалась Перюньскою; да и скит тоже Перюньский.

— А столб-то какой!

---

* Это не совсем Перюньский и не совсем Перунский, а звук какой-то средний между *у*, *ю* и *ы*. В книгах монастырь называется Перынь.

— Да на то и поставлен: место, где, значит, Перюн из Волхова выскочил. В Новегороде, я помню, ставили столобочек, ставили с царем, так там солдаты в барабаны били, в музыку играли, честь отдавали, попы молебен пели. А здесь принесли солдатики стóлбушек, вкопали, да и ушли. Да только не сказали народушку, какой-такой, с чего зародился той столбик. А ехали-то из Грузина: от Новагорода до Грузина считается девяносто верст, девяносто верст ехать с *столобом* и поставили столоб.

После я узнал, что этот «столобочек-памятник» не что иное, как верстовой стоб, поставленный водяною коммуникациею.

Причалили мы к тому месту, откуда поехали; мой дядя задним концом весла достал кнейку, то есть сетку, навязанную на обручи, и стал перекладывать рыбу из лодки в кнею, потом вынул тем же веслом другую кнею и туда переложил раков. Я хотел купить у него раков, но он не продал, пригласил к себе и, когда я согласился, достал опять обе кнеи, из одной отобрал налимов с десяток, а из другой раков с сотню, положил в шапку, и мы отправились к нему в дом.

— Попробуй, брат, нашей рыбки, попробуй: из Волхова рыба слаще озерной: там греха много, кажинный ватаман с нечистою силою знается.

Пришли. Хозяин отдал хозяйке и рыбу, и раков варить, а я послал за водкой.

— При покойнике Фотии все было лучше: вот кабак и тот был, умер Фотий — кабак снесли.

Принесли водки, уха поспела, и мы сели обедать втроем: хозяин с хозяйкой да я. После обеда старуха начала рассказывать про чудеса.

— Вот у моего хозяина,— говорила он,— есть сестра, и теперь жива, выдали ее замуж да на свадьбе-то их и испортили. Покажись молодому, будто молодая до него гуляла, он ее и поколотил. Ну ничего, отошла свадьба, стали жить вдвоем. Как только муж придет домой обедать, жена кричать, а муж ее бить. Кажинный день жена кричала, а муж ее бил. Спасибо, пришел добрый человек, в три дня все покончил: над дверьми было ввернуто петунье перо*, в полу (а пол был из барочного лесу) вынули из дырки — гвоздем

* То есть петушье (петушиное).

было заколочено — волосья, уголь и соль. Выкинул он эту дрянь да не велел мужу жену колотить, все и прошло. Жена первый день покричала-таки, на другой поменьше, а на третий и кричать перестала.

Пообедав, я пошел к Волхову; попавшегося мне ловца я попросил перевезти меня на ту сторону.

— Отчего у вас Волхов не мерзнет? — спросил я своего перевозчика.

— А вот отчего, — стал говорить тот, перестав грести веслом. — Еще за наших дедов, еще Питер был не под нашим владением, был царь Грозный Иван Васильевич. Приехал Грозный в Новгород, пошел к Софии к обедне. Стоит царь Иван, богу молится; только глядит: за иконой бумага видится. Он взял ту бумагу и распалился гневом! А ту бумагу положили по *насердкам* духовники, а какая та была бумага — никто не знает. Как распалился Грозный царь — и велел народ *рыть* в Волхов; царь Иван стал на башню, что на берегу налево, как от сада идешь на ту сторону; стал Грозный на башню, стали народ в Волхов рыть: возьмут двух, сложат спина с спиной, руки свяжут да так в воду и бросят; как в воду — так и на дно. Нарыли народу на двенадцать верст; там народ остановился, нейдет дальше, нельзя Грозному народу больше рыть! Послал он посмотреть за двенадцать верст вершников — отчего мертвый народ вниз нейдет. Прибежали вершники назад, говорят царю: «Мертвый народ стеной стал». — «Как тому быть! — закричал царь, — давай коня!» Подали царю коня; царь сел на-конь и поскакал за двенадцать верст. Смотрит: мертвый народ стоит стеной, дальше нейдет. В то самое времечко стало царя огнем палить: стал огонь из земли кругом Грозного выступать. Поскакал царь Иван Васильевич прочь, огонь за ним; он скачет дальше, огонь все кругом!.. Царь соскочил с коня да на коленочки стал, богу молиться: «Господи, прости мое согрешение». Огонь и пропал. Приезжает царь в Новгород; там через сколько-то времени пришел к митрополиту обедать в постный день. Митрополит поставил на стол редьчину*, а царю кажется — голова кобылья!

«Чем ты меня потчуешь, митрополит? — говорит царь, —

---

* *Редьчина,* как и *рыбина,* означает *одну* редьку или рыбу, а *редька* и *рыба* у народа имена собирательные.

теперь пост, а ты поставил мясо, да еще какое — кобылью голову, что есть и в скоромный день грех большой!» Митрополит усмехнулся да и говорит: «Есть кобылью голову грех, а народ губить — святое дело!» Благословил митрополит ту редьчину, царю и показалась редьчина редьчиной. С тех пор Волхов и не мерзнет на том месте, где Грозный царь народ рыл: со дна Волхова тот народ пышет... А где народ становился за двенадцать верст, там Хутынский монастырь царь поставил...

II. Из Псковской губернии

15 августа 1859 года.

Я приехал в Псков рано поутру, 10 августа и, немного отдохнув, пошел ходить по городу. Псков невелик, но как-то правильно и красиво стоит на холмах. Благодаря тому, что этот город в стороне, он и не тронут: улицы небольшие и идут как-то причудливо: то повернут вправо, потом влево, то разделится иная на две. Церкви большею частию очень маленькие и довольно старинные. Я входил в некоторые, однако ж не видал, может быть и случайно, старых икон; те же, на которые мне указывали как на старинные, сильно подновлены и, к сожалению, довольно неискусно; но я уверен, что Подключникову была бы здесь работа. Подойдя к Кремлю, стены которого почти разрушены, встретил я старого дьячка, пригласившего меня в собор, который в настоящее время белят и поновляют в нем иконы. В этом соборе почивают мощи святых князей Гавриила-Всеволода и Довмонта и Христа-ради юродивого Николы. Провожатый показывал мечи св. князей: Довмонта небольшой, а Гавриила-Всеволода длинный с гербом и надписью на рукоятке: honorem meum nemini dabo (чести своей никому не отдам). К нам подошли еще два дьячка, и мы целой толпой пошли в склеп, где похоронены какие-то княжеские дети и пять епископов. Первый из похороненных здесь епископов, Симон, умерший в 1755 году, очень уважаем здешними жителями: многие приходят к нему с молитвою и получают, говорят, облегчение. Отсюда я полез наверх и, когда подошел под самую крышу, мне предлагали взойти на нее, но я отказался и довольствовался видом из

окна. Вид оттуда великолепный: под самыми ногами река Великая, которая, извиваясь, показывается в нескольких местах, вдали чуть виднеется Талабское озеро; по ту сторону, как раз напротив, какая-то деревенька, а немного поправей стоит очень уединенно женский монастырь; и все это на совершенно ровном месте, так что и конца не видно!

— Этот собор строен царем Петром I,— сказал мне проводник, выходя из церкви,— а когда освящали этот собор, сам царь приехал на освящение и сам апостола читал.

Потом показывали мне какие-то *покои:* маленький одноэтажный каменный дом, построенный на месте сломанной для этого церкви.

Возвратясь из собора, я подговорил плыть с собою здешнего мещанина Алексея Федоровича Полякова; он достал челнок, и мы отправились с ним на веслах вниз по Великой. Едва успели мы отплыть версту, нагнали *будару.*

— Бударка-то *порозня,*— сказал Алексей Федорович,— так мы свою лодочку привяжем к бударке, нам и полегче будет.

— Будару тянут бичевой, так нам и не позволят привязать,— заметил я ему.

— Наш корабль небольшой, тяготы не сделает,— отвечал он,— да к тому же мне все тут знакомы: лет каких сорок с лишком бегал на своей ладейке со Опскова на Юрьев; теперь только стал стар, так этим летом и продал свою будару, да скучно — куплю осенью: осенью ладьи дешевы, а весной ранней можно большие деньги заработать.

Мы повернули к плывшей бударе, и в самом деле Алекс⟨ей⟩ Фед⟨орович⟩ был знаком с хозяином этой будары.

— Иван Иванович, ты? — спросил он, привязывая свою лодку к бударе около руля.

— А! Алексей Федорович! Куда бог несет? — отвечал тот, приподняв шапку.

— Вот с добрым человеком по Талабску озеру покататься хотим.

— Доброе дело, доброе дело! — проговорил он и запел довольно нескладно:

Млад чиновник возвращался
К отцу, к матери домой.

— Малый молодой, а ловкий,— сказал мне Алекс⟨ей⟩ Федор⟨ович⟩,— и богатый: каких-нибудь от роду тридцать лет, а свою будару справил: тысячу восемьсот заплатил.

— Серебром? — спросил я.

— Да, серебром... Да ты посмотри, какая бударина-то, так скажешь, что дешево.

— А можно влезть на будару?

— Отчего же? Можно... Эй, Иван Иваныч! — крикнул он.— Человек хочет на будару к тебе лезть!

— Милости просим, милости просим! — отвечал хозяин будары.

Я довольно неловко полез на будару, наш челнок вертелся при малейшем движении, а надо было стать на край челнока, потом перепрыгнуть четверти на три или на целый аршин вверх на лесенку и после по лесенке, совершенно прямо стоящей, перебраться еще аршина на три вверх, наконец, ухватившись за край (борт) будары, переползти в будару. Процедура этой лазни доставила немало добродушного смеха как Ивану Ивановичу, так и моему доброму Алексею Федоровичу. Кончилось, однако, все благополучно, и я был в бударе.

— Не знаю, как тебя по имени-отчеству величать,— проговорил, смеясь, мой новый хозяин,— а лазить ты не большой мастак!

— Да вот как видишь...— отвечал я, едва переводя дух.

Кое-как перелез я на палубу и сел на парус, свернутый копной впереди мачты.

— Ты из коих мест? — спросил меня хозяин, оставаясь около руля.

Я ему сказал.

— Тяни! — крикнул хозяин двум работникам, тянувшим *бечеву*.

— Куда идешь? — спросил я, когда Иван Иваныч, поработав рулем, успокоился.

— А в Устье-погост, в Назимовское село, коли знаешь,— отвечал тот,— купил лебастр в деревне Дубнике близ Изборска, да купил-то я задешево, лебастр был копейки по три пуд, а много-много три с половиной; только прослышал я, что в Питере купец откупает весь лебастр в нашем краю; хочет, знаешь, добрый человек, цену поднять... Я и купи шестнадцать тысяч пудов по четыре копейки. Купец

стал давать всем кто только ломает, по шесть копеек, а то и по семь за пуд; мои-то мужики, *наламамши* мне лебастру, передали тому купцу, а я, приехамши грузить — да и стой! Я к окружному в Опсков, говорю: так и так, не погуби; моя благодарность сколько сил хватит... «Мне,— говорит,— твоя благодарность не нужна; об этом и не помысли, а что надо по закону — сделаю». Сейчас послал за мужиком, тот было туда-сюда, да как зуботычин сколько скушал — признался! «Ну,— говорит окружный,— хочешь — лебастр давай, хочешь — семьсот рублей штрафу, а не хочешь — все продам, а удовлетворю; все продам, а взыщу — вперед не мошенничай! Вот тебе сроку до завтра!» А мужик-то тышчник*... думал-думал — взялся доставить лебастру... А лебастр ныне в цене: в Лифляндии много берут для земли: вздымает — назему класть не надобно!

— А там почем? — спросил я.

— Что бог даст!

После я спросил у Алексея Федоровича о лифляндских ценах на алебастр.

— Да хозяин за провоз берет пять копеек с пуда, а свой товар лучше; ты и считай!

Наконец мы приехали в Устье; работники перешли на ладью, бросили якорь, закинули канат на берег, и все пошли в шакшу (каюту) с кафельной печью около руля, куда пришел и мой дед Алексей Федорович.

— Хозяина надо попотчевать было чаем, да ребята будут обижаться: они чаю не любят, а к водке привычны; так как скажешь, Павел Иванович?

И, не дожидаясь моего ответа, дед приказал одному работнику, Ивану, греть чайник, другого, Леву, послал за штофом, а мы перебрались в *хозяйскую шакшу* (без печи) на нос.

Напившись чаю, поужинав ухой, мы легли спать.

Часов в шесть поутру мой дед разбудил меня:

— Чай готов.

Втроем: хозяин будары, Алексей Федорович и я в хозяйской сели за чай.

— Ты думаешь, легкое дело ладьей править,— стал мне говорить Алексей Федорович,— дело трудное, будара по дну двенадцать сажен и от носу до кормы четырнадцать, а по

* То есть тысячник.

бокам так семнадцать, да от краю до днища две сажени печатных; так, стало, в воде-то она сидит при полном грузе восемь пядь, два аршина, значит; так хозяин должон знать, где ход в реке, трахт то есть, а то и немного *сопцем* (рулем) свихнешься, ладье мало-мало пристать надо... здесь в реке дно мягкое... пристань будара ко дну — часа четыре провозишься, а то и сутки промаешься, пока судно назад стянешь... а там, глядишь, *поветрь* (попутный ветер) пройдет... так ты сколько простоишь: против ветер пойдет, судам ходу нет — ты и стой! Мне раз пришлось на самом этом месте девять ден простоять, да и не по своей вине, а так, от сердца... У нас, знаешь, парус круглый*, в двенадцать сажен так делается: к нижней *раине*** по концам пристегнут, а к верхней в частую... так четверти две привязка от привязки... привяжут, да и вздынут на *перыши**** на самый верх на *стырь* (мачту), так при ветре сила большая: небывалому и не справиться. Так еду я в прошлом, нет, в запрошлом году об эту пору, еду я в Юрьев и вот в самой Головы**** попадается мне Ванька Сутугин, из наших же... сопцом угодил не туда, да и засел. Знамое дело, не оставить человека в напасти... а поветрь, поветрь... душа *картит* (болит), что не выехал! Провозился я с Ванькой часа четыре, поветрь и прошла, и простоял я девять суточек, ровно девять суток. А работникам ты все-таки плати.

— А почем хозяин платит работникам? — спросил я.

— Да не ровно: за *сход* (то есть сходить в один конец от Опскова до Юрьева или от Юрьева до Опскова) за сход хорошему работнику десять целковых, а на лето платят, смотря по человеку, и сорок и тридцать пять, а то и все пятьдесят надо дать. Да к тому прибавь два становых якоря по восемь, а то и по двенадцать пудов, да два якоря завозных по пуду положить, да *вытяг* (якорь, на котором становятся в реках) полтора пуда, да четыре каната; *здымница*, что канат поднимают; *ростуги* (канаты, сдерживающие мачту), бичевы сто двадцать сажен; тянутся, коли пóветри

* Круглый — квадратный.

** Раины — бревна с небольшим двенадцать сажен, к концам стесанные, нижняя раина не поднимается.

*** Вертикальный ворот.

**** Место, где начинается озеро; в Голове довольно мелко, четвертей пять глубины, суда при переходе этого места скидают часть груза.

нет, паруса ставить нельзя; *крясы* зелезные*... Сочти все: хозяину дорого стоит...

— Во сколько времени можно доехать до Юрьева?

— Как бог даст: коли хорошая поветрь, в неделю добежишь.

— А на будару много положишь?

— Да на какую будару? Есть будары, что двенадцать тысяч пудов положишь, только редко, а на эту будару больше шести тысяч не положишь.

— Теперь положу только четыре,— проговорил хозяин,— *в Головы́* обгружаться** не буду.

— Стало, получишь двести рублей за сход? — спросил я Ивана Ивановича.

— Что бог даст,— отвечал он,— а почем чай брали? — спросил он меня.

Я видел, что Ивану Ивановичу не хотелось посвящать меня в свои счеты, которые были, кажется, ясны,— и не стал его больше расспрашивать.

Немного погодя я съехал на берег. При этом, кстати заметить, в Устье пристань очень хороша: самые большие здешние суда свободно пристают вплоть к берегу.

Погост Устье и именье г. Назимова стоят на самом берегу реки Великой, а ближе всего к берегу — церковь старинной постройки, со стенной колокольней. Я отыскал священника, который был так обязателен, что взялся сам показать церковь. В церкви, может быть, и старые образа, да только поновленные; самая большая достопримечательность этой церкви — паникадило, на котором значится 7117 год (1609).

Осмотрев эту церковь, мы с священником взяли лодку и поехали в деревню Горки, лежащую на острове тоже Горки, покупать рыбы на уху.

— Много здесь рыбы, не в озере, а в реке? — спросил я у гребца.

— В реке? Ничова. Туточка, как кончится Великая, да до Талабска озера, говорят, семьдесят семь рек, между кажинным островом река; а ни в одной теперь ни одной рыбины не словить; весной много понагонит; весной большой бывает лов: понагонит снетка, крупной, а теперь ни одной не поймать.

---

* Крясы — крюки, которыми подымают товар в барку; здесь говорят зелезо вместо железо.

** Перегружаться.

— Вот ты сказал: «Говорят, здесь семьдесят семь рек», а ты не знаешь, сколько именно рек?

— Да реки на считаны, кто их считал? Вот главные реки: Ворона река — проход суднам, Гладышня — тоже проход, не то что Ворона, а все проход; а там Средняя, Выкупка, Ершовка, Скоруха... да всех и не пересчитаешь.

— Всякой есть имя?

— А как же, всякой!

— Скажи пожалуйста, все поименно.

— А бог их знает! Вот тоже острова: Гладышня, где печи, Ситнó, Долгóй. А всех не пересчитаешь; для того — видишь, сколько их!*

В Горках купили рыбы на пять копеек столько, что достало на уху мне и всем спутникам; рыба была мелкая, это правда, теперь крупной не ловят, но все-таки на пять копеек...

Хозяин будары уехал за алебастром, а потому работники его, оставшись в судне, ничего не делали. Когда я вышел после обеда, часов в семь, на палубу, ко мне подошел работник Иван, малый лет двадцати шести — двадцати семи, темно-русый, статный и видный из себя.

— Пришел ты, Павел Иванович, посмотреть на наши промыслы? — спросил он.

— Да, так приехал покататься.

— Хочешь, я тебе покажу штуку, такую штуку, каких ты, может, отродясь не видывал, а может, и не увидишь. Хочешь?

— Сделай одолжение.

Он на минуту ушел и вернулся назад с компасом в руках.

— Видел?

— А что такое?

— А вот видишь, это по-нашему называется компас: всякие ветры компас показывает.

— Какой же ветер лучше?

— Всякий ветер способен, коли по пути; только всякий ветер свое название имеет.

— Этот как называется? — спросил я, указывая на N.

---

* Я не мог записать всех названий, а псковичам, казалось бы, надо было обратить на это внимание.

— Это Сиверик, курчавый бывает: как задует — волна курчавая, а это Сточень к востоку с меженнего (летнего) бывает; Теплик повыше востоку; это Полуденник; Мокряк — с мокрого места, примечают: подует Мокряк — дождь идет; Чухонский Поперечень, Запад, Русский Поперечень — вот и все ветры... По тем ветрам все суда ходят: будары, полубударницы, троеночки, четверки*.

Показав мне эту штуку, мой Иван отнес ее и снова вернулся ко мне.

— Хорошо вам теперь,— сказал я,— лежи на боку да ешь хозяйский хлеб...

— Эх, добрый человек! — проговорил Иван.— Я ведь нанялся на сход, мне чем скорей, тем лучше; вот Левке — счастье: он летний.

Еще раз переночевав на ладье, двенадцатого числа поутру я отправился на самое озеро на Талабско, как здесь называют, или на Псковское, как в географиях пишут. Я уже прежде говорил, что река Великая разделяется на множество рукавов, мы ехали по главному — по реке Вороне. Вдали на озере виднелись суда: одни шли к Пскову на парусах, другие, шедшие к Юрьеву, стояли на якорях: ждали поветри. При самом входе в реку (из Вороны в Великую) стояла будара.

— Эта будара на мель стала,— сказал мне Алек⟨сей⟩ Федор⟨ович⟩,— надо было держать левого берега, а он вишь, как вправо забрал. Не скоро стянется.

— А много стягиваться надо?

— Какое много: какой-нибудь сажень, да и того нет!

От будары были брошены два якоря, а хозяин с двумя своими работниками, налегаясь всем телом, тянули якорь на перыши.

— Помогай бог! — крикнул Алексей Федорович, когда мы поравнялись с работавшими.

— Милости просим! — отвечали те.

— Что, села на мель?

— Ничего не поделаешь, якорь не держит, Алексей Федорович, сам знаешь: дно мягкое, якорь-то и ползет. Бьемся, бьемся, а всего-то стянуться во поколь! — Он показал далее от кормы на пол-аршина.

---

* Так называются суда по количеству поднимаемой клади, на малых судах — на троеночке, на четверке — по одной каюте.

— Надо было вам правого* берега держать...

— Надо, Алексей Федорович, надо...

— Дураки! — тихо сказал мне Алекс⟨ей⟩ Федор⟨ович⟩, когда мы довольно отъехали от будары.— Тут малый ребенок не ошибется, а он вишь, где затесался. В устьях не хитро, там всего на самой глуботе шесть *пяд.*

Наконец мы выехали из Вороны в открытое озеро, а вдали показались острова: Талабско, Таловенец, Верхний, Съемско, Ражитиц.

— На Талабске теперь деревня не Талабска,— сказал Алексей Федорович,— а Александровский посад.

— Давно ж это переименовали?

— А вот видишь: каким-то случаем был там, заехамши как-то, царь Александр Павлович,— вот, чем наградить, он и велел называться не Талабско, а Александровским посадом, да и дали им полицию, ратушу. Разумеется, чести больше, а жить хуже.

Ветер был не очень силен, но, как я после узнал, не было никакой возможности пускаться в озеро: никто в самую тихую погоду не только вдвоем, но и один не побежит в челноке до Талабска. Впрочем, мне ехать до Талабска и не было надобности, ловцы в озере на глубоком месте не ловят, а около берегов, на мелком месте. Отъехав верст пять по озеру, мы подъехали к ловцам.

— Пусть вытаскивают запас,— сказал Алексей Федорович,— после подъедем.

Я согласился и спросил, как у здешних ловцов составляются артели.

— Больше семействами, а не то скопятся два семейста и ловят. Выберут из старших *жерника,* то есть хозяина (главного начальника), да половчей кого *коромщика;* жерника — бросать *запас,* невод по-нашему, коромщика — управлять ладьей, а остальные ловцы просто с рукавицами или исполовщики — из части ловят; а не то просто работники, вот тебе и вся *дружина.* Чаще всего хозяин добудет запас, да и подбирает работников или исполовщиков, и сам же хозяин назначает, кому быть жерником, кому коромщиком; ну, тем и часть или половину прибавит супротив простого ловца, когда делят рыбу, а зимой еще бывает *комора,* его дело стряпать, лошадям воды приготовить, тот на половинной части.

* Им правого, а по течению реки левого.

— Делят как же рыбу?

— А вот как: всю добычу разбивают на двадцать четыре части (а вот этот хозяин, Яков Андреевич, делит на двадцать две), так всем ловцам, а всех ловцов на двух лодках двенадцать человек, кажинному ловцу по одной доле, да кроме той доли коромщику, жернику — для того, работа тяжела,— еще доля, на ловцов выходит четырнадцать частей; остальные части хозяину на запас (невод с принадлежностями). А придет время тяжелей к самой осени — хозяин догонит дружину до шестнадцати человек, частей-то хозяину придет и меньше. Это вот Яков Андреевич — человек хорош, а у других делят на двадцать четыре части, так на ловцов выходит десять частей, да коромщику с жерником по две части, да запас остается хозяину десять частей; а не вся дружина, так еще больше того хозяин берет себе.

— Какая цена работнику?

— У нас все равно, нет работника — посылай работницу; нет своих — нанимай; у нас нанять можно; ловцу что ни есть лучшему надо дать в лето пятьдесят рублей серебра, а поплоше, то и двадцать пять, а работнице цена знамая — двадцать целковых!

Стали вынимать невод, по здешнему — запас, мы подъехали, когда уже все было кончено и ловцы собирались на новую тоню.

— Уговори, дед,— сказал я Алексею Федоровичу,— уговори их взять меня с собою на лодку.

— Уговаривать нечего: подъедем — садись на ту, где семь человек, там занятнее, там весь запас лежит.

Мы причалили к большой лодке.

— Помогай бог, Яков Андреевич! — крикнул Алексей Федорович жернику.

— Милости просим, Алексей Федорович! — отвечал тот, скидывая шапку.— Куда бог несет?

— А вот с добрым человеком приехали ваших промыслов взглянуть, как здешние *жихари* (жители) пробывают.

— Доброе дело, доброе дело!

— Так вот что, Яков Андреевич, возьми ты молодца к себе: пусть посмотрит всех наших обычаев — ему занятно.

— Милости просим, милости просим!

Я стал перебираться на лодку, которую мне указал Алексей Федорович.

— Только ты, дядя, не мешай,— сказал, обращаясь ко мне, Яков Андреевич,— ты садись на нос и сиди смирно.

Я обещал и по его приказанию сел на нос.

— С богом! — крикнул Яков Андреевич. Обе лодки (на одной было пять, на другой с жерником семь человек) поехали почти рядом; отъехавши от прежней тони с полверсты, с нашей лодки перекинули на другую лодку бечеву, привязанную к правому крылу запаса; там, перехвативши, привязали ее к своему канату, накрученному на баран (вертикальный ворот).

Когда лодки разъехались сажень на пятнадцать, на другой лодке бросили якорь, мы же поплыли сперва довольно покойно; но едва бечева, брошенная на другую лодку, натянулась, как жерник закричал:

— Навались!

За ним все с криком: «Навались! Нажми! у! у! (в)друг — (в)друг!» — стали работать веслами, перегибаясь под острым углом вперед, и, взмахнув веслом, опрокидывались назад почти в горизонтальном положении; жерник в это время, захватывая охапками запас, стал бросать в воду. Вы можете судить об усилиях гребцов: запас в двести пятьдесят сажен был выкинут не более как в две минуты; но их усилия в сравнении с усилиями жерника совершенно ничтожны: жерник в эти две минуты выкинул невод, в котором было, как меня здесь ловцы уверяли, до *трехсот пудов* весу!*

Запас был весь выкинут, ловцы успокоились и тихо стали гресть; жерник сел на корме; поставили баран, и бечева стала распускаться; когда все бечева, около ста двадцати сажен, вышла, бросили якорь и стали запас тянуть на баран.

В другой лодке и в то же время воротили другой баран и тянули к себе другое крыло запаса.

Крылья запаса показались у нас в лодке; вынули якоря как в нашей, так и в другой, и обе поплыли, распуская бечеву дугою, одна к другой. Другая ладья, зашедши за нашу, бросила якорь, наша сделала то же. Человека по три, по четыре переменяясь, стали *тянуть* баран. Вытянули всю бечеву. Тогда с другой ладьи, отвязав бечеву от запаса, пере-

* Разумеется, это сильно преувеличено, хотя, впрочем, пеньковый невод, чрезвычайно частый, в двести пятьдесят сажен одной длины, не говоря о ширине, да вдобавок еще *мокрый*, должен тяжело весить.

кинули *петину* (привязанную к запасу веревку) на нашу, и все ловцы (между которыми была девка Марья), надев кожаные передники, закрывающие и плечи, перепрыгнули в нашу ладью, и все стали тянуть запас в лодку, одни за верхнюю тетиву, другие за нижнюю. Едва увидали на крыльях одну рыбину, как жерник стал бить воду веслом — пугать рыбу; от испуга рыба, идущая от запаса к лодке, должна была вернуться в запас. Жерник, перешедший в другую лодку, разъезжал около тони и чаще бил веслом. Показалась матка; нижнюю тетиву скорей старались вздернуть на лодку. Наконец и нижняя и верхняя тетивы матки были в лодке. Жерник подвинул другую лодку к нашей так, что матка, бывшая еще в воде, была между лодками. Тогда к жернику перепрыгнули человека три или четыре и перенесли верхнюю тетиву к нему в лодку. Я, по совету своего проводника, тоже перешел к нему. Жерник взял сак, четверика в три, стал брать рыбу из матки и ссыпать в ящик, сложенный из досок во всю средину лодки, так что в него можно было всыпать четвериков до шестидесяти.

К нам подъехал мужик лет тридцати пяти и смотрел на работу ловцов; мальчишек, девчонок с полдесятка стояло в нескольких саженях от лодки по колено и выше в воде: мы были более полуверсты от берега, и вода была довольно холодная, но на это они решительно не обращали внимания.

Жерник захватил своим саком рыбы четверика два и высыпал в лодку.

— Смотри, смотри, как рыба закипит,— сказал мне один из ловцов.

В самом деле, высыпанная мелкая рыба от 0,5 до 1,5 вершка, прыгая, очень походила на кипучую воду как видом, так и шумом.

— Девка Машка, потягивай, а не то...— крикнул молодой ловец и прибавил еще слово, неудобное для печати; но это поощрение было не поощрением, а любезностью, потому что девка Машка все время, не развлекаясь ничем, сильно тянула запас, да теперь когда слегка только придерживали матку, ей и потягивать было незачем.

Жерник взял саком еще рыбу, тоже высыпал, потом еще и наконец приказал поднять матку; когда вода из матки стекла, всю остальную рыбу пересыпали прямо в лодку.

Всей рыбы было поймано в эту тоню четвериков двенадцать — четырнадцать.

— Глянь-ко, глянь, как кипит *соболек!* — сказал мне жерник.

— Какой соболек?

— А вот эта рыба у нас зовется собольком, или еще хохолком, или там хохликом, разно называется.

— Да ведь тут разная рыба?

— Разная, больше окуньки, малая часть снетка, ершика, а все по-нашему соболек. А коли самая маленькая — то по-нашему *уклейка.*

Когда рыба была вся ссыпана, ловцы стали расправлять запас, а жерник захватил совком рыбы и высыпал в мешок, подставленный приезжим мужиком, потом высыпал в другой раз, взглянул на мужика, тот полупросительно, полунастоятельно смотрел на него, не отнимая мешка; жерник всыпал еще с полсовка, так что всей рыбы дал он около трех — четырех гарнцев; тогда мужик свернул мешок, снял шапку, поклонился и пустился в дружелюбные разговоры с ловцами. Ребятишки и девчонки стали робко приближаться к хозяйской лодке; сперва подошли две девочки; хозяин каждой всыпал по неполному совку (менее гарнца) рыбы в подол.

Немного погодя пришло еще ребенка три, от берега по воде выше колена бежали еще мальчиков и девочек тоже около пяти, все они робко подходили, и всем им или хозяин, или какой-нибудь ловец бросал в подол неполный совок рыбы.

Запас был собран*, ладьям надо было ехать на другую тоню; я остался в ладье жерника, и мы поплыли.

— Откуда у тебя, любезный, ловцы? — спросил я Якова Андреевича.

— Да все, человек любезный, из здешних жихарев,— отвечал тот.

---

* Запас состоит из следующих частей: 1) *Клячь*, которая идет к *гужале* или пятам, 30 сажен: к крылу каждая яча 2 вершка, к этому пришивается 2) *середка*, тоже к каждому крылу 40 сажен, яча 1,5 вершка. Потом 3) *частый*, длины 30 сажен, яча 1 вершок, потом 4) *перши*, длины 30 сажен, яча 0,5 вершка или меньше; наконец 5) *Гили*, до $^1/_8$ вершка, из которых делается и матка. Это запас зимний, то есть самый большой; летний делается редко такой величины; впрочем, и зимний и летний бывают меньше, но, во всяком случае, пропорционально названным частям. Малый запас называют мутником.

— Маша у вас работница?

— Нет, сама хозяйка: *ейный* отец мне приходится родной брат.

— Как же при дяде родном девке говорят всякую непристойность?

— Ребятам не закажешь! — отвечал тот, — да и наши девки к этому привычны.

Я замолчал.

— Вон... вон виднеется церковь — видишь? — стал говорить хозяин, — это Талабско, на самом озере стоит, все в лесу, и лес сосновый, чудный такой. В прошлом году вихрем сорвало до двух тысяч дерев, а деревья были сажен по десять и больше. Вихо́р этот шел грядой, как просеку сделал!

— Отчего вы здесь не закидываете невод?

— А *сита́*-то!

— Какая сита́?

Он указал на тростник, который рос в озере на саженной глубине и подымался на аршин с лишком над водой.

— А по берегам растет камыш, — продолжал хозяин, — по-нашему *троста́*.

Вытянули невод, опять стали подходить дети за рыбой; хозяин давал им рыбу с видимым неудовольствием.

— Э, пропади вы совсем! — ворчал он, кидая совком в подол им рыбы.

— За что же ты им даешь? — спросил я жерника.

— Да как не дать? — отвечал хозяин. — Вода ихняя: не дашь рыбы, они не дадут воды, сами они не ловят, а тогда и нам здесь не ловить.

— Вся вода в озере чья-нибудь?

— Нет, только около берегов — жихарев, а середь озера вода вся вольная.

В это время подплыл хозяин запаса в лодке с тремя женщинами-гребцами, переменил свою лодку на лодку с рыбой и поплыл к *печам;* с ним отправился и я, и Алексей Федорович, привязавши свою лодку к нашей. Отъехав немного, мы поставили парус и направились на остров, где были поставлены печи. Не доезжая несколько до печей, хозяин весело крикнул:

— Эй! Евсегнеюшка! Печи топи, печи топи!

— Затоплены! — отвечал с берега Евсегнеюшка.

— Все топи! Все топи!

— Все затоплены!

— Евсегней у меня за печника,— сказал он мне,— от кажинной печи по семь копеек получает; случается, в день раза три все печи стопит, а у меня их десять; так другой день придется ему больше двух рублей.

Сошедши на берег, я пошел к печам, которые стояли от берега в семи-восьми саженях. В сарае были поставлены десять огромных печей: по четыре печи с обеих сторон и две печи у третьей стены. Каждая печь внутри была почти квадратная, более сажени, с подом из квадратного кирпича, собственно, для этого приготовляемого, пять печей топились.

— Все печи будешь топить? — спросил я печника, поздоровавшись с ним.

— Надо все топить, да вдруг-то топить нельзя, один со всеми зараз не справишься.

Хозяин между тем, с помощью тех же женщин и еще двух молодцов из своей семьи, сыпал меркой рыбу из лодки в корыта, по три меры в корыто. От лодки на берег была перекинута доска, и по этой доске тащили корыта, потом поднимали и носили к печам. Всего улову оказалось тридцать одна мера.

— Скажи, пожалуйста,— спросил я хозяина,— ты сушишь всю рыбу, как же ты рассчитываешься со своими ловцами?

— Ловцам деньги плачу,— отвечал хозяин,— беру меру по рублю на ассигнации, а высушу — продам в городе по десять — двенадцать копеек серебром гарнец, а тое рыбу, что теперь наловят, завтра повезу на рынок в город, там что дадут, то и поделим.

Алексей Федорович, отобравши рыбы покрупнее, развел на берегу огонь и заварил уху для всех.

Когда немного прогорели первые пять печей, печник затопил остальные, через час первые совершенно прогорели, и печник сперва отгреб уголья в передний правый угол, потом зажег длинную лучину, просунул в отдушинку, нарочно для того сделанную с правой стороны устья, вершка в три длиной и два шириной вымел одну за другой печи, насыпал в каждую на пол мелкого песку, чтобы рыба не приставала к поду, и потом стал насыпать рыбу; насыпав, закрывал заслонку.

— Соли вы кладете? — спросил я.

— На собольков не кладем,— отвечал мне печник,—

а на снетков кладем, фунтов по пять на печь, а захочешь получше, то и двенадцать положишь. Только когда снетков сушишь — печи не закрываешь, снетков трудней сушить, надо умелому. Собольков перевернешь раза два — и хорошо, а тех надо знать, когда и как повернуть.

Печник засыпал остальные пять печей; Алексей Федорович сварил уху; из дров и заслонки сделали стол, и все, перекрестясь, сели за этот стол. Я забыл сказать, что женщины, убрав рыбу, вымыли внутри лодку и уехали, захватив с собой рыбы.

После ужина Алексей Федорович постлал мне на берегу рогожку, и я завалился спать.

Проснувшись на другой день, я пошел к *печи*. В сарае было много народу, потому что в этот день не ездили на озеро; хозяин с жерником поехали в город продавать рыбу, которую наловили ловцы после нашего отъезда к печам, как мне сказывали, мер шесть не больше; они эту рыбу не стали сушить, а положили продать и деньги разделить, было б чем праздник встретить. Около печей в сарае спали три девки-ловца, с которыми молодые парни-ловцы шутили: будили их, делали им громко предложения не совсем целомудренные. В заднем углу сарая рассказывал старик-ловец другому ловцу, что значит пост, в особенности пятница.

— Знаешь ли ты: кто двенадцать пятниц,— говорил он,— ни в чем не оскоромился, тому все грехи, сколько ни на есть, все прощены будут, и на том, и на этом свете.

— Этим не спасешься! — возразил другой,— надо богу больше молиться.

— Как будешь молиться,— отозвался старик. (Надо вам сказать, что старик этот был себе так, *благой*, не состоящий ни в какой должности, пришедший неизвестно зачем и уходивший неизвестно куда.) — Этим одним,— продолжал он,— что будешь ходить в церковь да молиться без усердия — мало возьмешь; а вот я вам скажу, мои родненькие, вот что: был себе один мужик, так себе; от роду тот мужичок и в церковь не ходил, богу не маливался; раз пришел в церковь богу помолился на святой неделе, да и навеки свою душеньку спас... Как будешь молиться!

Мой Алексей Федорович успел вскипятить чайник, заварить чай, устроить чайный столик. Он пригласил меня, я в свою очередь пригласил печника.

— Как бог даст род снетку,— заговорил печник,— бабы, случается, весной решетом ловят около Загориц, немного повыше отсюда, по правому же берегу Великой.

— Когда сушка идет лучше? — спросил я печника.

— С первины, осенью, снеток жирный: положишь в печь — стекает, да и ссыхает: с двух мер одна выходит, стало, *утирки* (потери) много бывает, а весной снетка сушишь — с прибытком выходит: положишь четверик — полгарнца прибытку будет. Снетка трудней сушить, чем хохлика, а как другой раз привезут много — просто совсем смаешься; в большом запасе, да коли оба жерника знающие,— много наловят.

— Зимой два жерника?

— И зимой, и летом бывает по одному, бывает и по два, как случится,— отвечал печник,— большой запас — два жерника, малый запас — один!

— Который же старше?

— А оба старшие,— отвечал тот,— всяк на своем крыле; сойдутся *вместях*, вместях и советуют. Жерник — великое дело; бывает, хозяин запаса за ловца, а работник за жерника, коли у работника в голове больше, чем у хозяина; так на лову хоть как ругай жерник хозяина, тот слова не смеет сказать. Случается — победней народ скопляется, так ставят все по частинке, а все-таки слушают только двух жерников.

— У которого жерника бывает больше гребцов? — спросил я у Алексея Федоровича.

— Который под ветром — тому меньше,— отвечал он,— а который идет на ветер — тому больше надо.

В это время подошел к нам старый ловец, толковавший о посте по пятницам, ему тоже Алексей Федорович налил стакан чаю.

— Зимний лов лучше,— стал он говорить,— зимой, пока еще снег не пал на лед, сквозь лед все видно; вот сделают пролубь, запустят запас и станут тянуть к *корыту**, станут тянуть запас полегонечку, а жерник ляжет ничком на лед. Нет снетка — жерник лежит смирно; станет показываться снеток — жерник станет подымать ногу; подымет и опустит, подымет и опустит; а как много попадет снетка — ногу подымет и не опускает; закричит, чтобы тянули

* Корыто — пролубь, в которую вынимают запас.

запас проворней, кричит, ругает! Тогда и ребятам веселей тянуть; тянут, кричат: «Тяни, ребята, тяни! У жерника нога в стоячень!» Знамое дело, снетка много — тянуть надо сильней, не то снеток уйдет.

— При ловце скажи-ко ты про зайца или лисицу,— сказал мне, смеясь, Алексей Федорович.

— Отчего не сказать? Ведь ты говоришь?

— Я человек старый,— отвечал он,— меня тронуть не посмеют, а ты не говори, ловцы за это сердятся гораздо: дурная примета, да к тому же у нас дурного ловца *заячником* дразнят. Кому надо сказать «заяц» — назови *кривень*, надо сказать «лисица» — говори хвостуха, тогда ничего.

— А вот было, братцы мои, смеху,— сказал молодой беловолосый, с самою добродушною физиономией ловец, который, прислушавшись к нашему разговору, подошел к нам,— вот было смеху: пришел на тони к нам со Звеньковца Ванька Карыш*, мы и подступили к нему: «Каких, мол, ты зверей знаешь?» Тот сдуру-то: «Я,— говорит,— знаю волка, лисицу, зайца...» Только он вымолвил то слово, на него все кинулись, раздели и давай пороть передниками кожаными, а вот дедушка стал приговаривать: «Нас двенадцать братов, тринадцатая камора, четырнадцатый Микола, пятнадцатый Петр-Павел; а ты, гузка, лежи — не поворачивайся, говори — не проговаривайся!» Выпороли на эти слова и пустили... То-то смеху было!

Побалякав еще немного, мы с Алексеем Федоровичем простились и поехали к Опскову (Пскову).

— Вот здесь был городок,— сказал мне Алексей Федорович, указывая на левый берег Великой, когда мы немного проехали погост Устье и Назимовскую гору.

— Чей же такой город был?

— Говорят, царицы Ольги,— отвечал он,— да тому быть нельзя.

— Почему же?

— За что?** А за то: этот берег, западный, весь край забранный, да и этот, восточный, пустой был. На нашей стороне был Сороковой бор, и в том бору жил вольный народ: холоп беглый, так какой грешник (преступник).

* Карыш — карась.

** Здесь говорят «за что» вместо «почему».

Забегут в какую деревню, прикажут пива варить, а не то — грабить... Бывало, поймают которых — вешать... Бабка моя жила сто двадцать лет, сама видела виселицу в Чертовом Ручью, что для такого народу сделана... Война была частая: то Швед подойдет, то Литва, то Немец из-под Риги, пройдут, да вплоть до самого Опскова и вычистят; ну до Опскова вычистят, а в самый Опсков ни разу никто не входил, ни один злодей. А остатняя война Шведская: дошел Швед до Печор, да и полно! А прежде Литовский царь Баторий подступал: на Терехе в монастыре Пантелеймоновом шатры разбивал; в Лыбуте, семнадцать верст вверх по *воды* прямо переправлялся со всею своею силою.

— Лыбута* город или село?

— Нет, просто деревня.

Надо заметить, что здесь погостами называют села, селом — сельцо, то есть где есть барский дом, а деревнею — где нет ни церкви, ни барского дома.

— Только эта деревня знатна гораздо за тем: в той деревне Лыбуте родилась царица благоверная российская Ольга; родилась она в крестьянском звании и была перевозчицей, а затем, что горазд из себя красавица была, да и горазд хитра была,— царицей сделалась, а там во святые вошла.

— Как же так это случилось?

— А вот слушай: с первоначалу жизни, немного по после, была, как сказано, Ольга крестьянка перевозчицей в Лыбуте. Раз перевозит она князя Всеволода...

— Кто такой князь Всеволод?

— Всеволод, да и Всеволод — не знаю... Увидал Всеволод Ольгу и помыслил на Ольгу, а этот князь был женат. Стал тот князь говорить Ольге, а Ольга ему на те его пустые речи ответ: «Князь! Зачерпни рукой справа водицы, испей!» Тот зачерпнул, испил. «Теперь,— говорит Ольга,— теперь, князь, зачерпни слева, испей и этой водицы». Князь зачерпнул и слева водицы испил. «Какая же тут разнота: та вода и эта вода?» — спрашивает Ольга у князя. «Никакой тут разноты нет,— говорит князь,— все одна вода». «Так,— говорит Ольга,— что жена твоя, что я, для тебя все равно». Князь Всеволод зарделся, замолчал и отстал от Ольги.

---

* Говорят и Лыбуста, но Выбутой не называют, как в одной книжке сказано.

Да и много она князей перевела: которого загубит, которого посадит в такое место... говорят тебе: горазд хитра была. Спустя сколько времени Ольга пошла за князя замуж, только не за Всеволода, а неизвестно за какого. Тогда много князей было, и всякий своим царством правил, а все между собой родня были, и все промеж себя воевали: хотелось всякому у другого царство его отнять. Пошел войною на мужа Ольгиного его двоюродный брат, да и убил его. Убил мужа Ольги, да и прислал к ней послов мириться; только Ольга которых посадила за стол обедать, да и провалила их в волчью яму, что под тем столом вырыта была; а которых зазвала в баню, а там обложили баню хворостом, да и сожгла всех, а после самого их князя убила, на его царство села и стала двумя царствами править. Прошло сколько-то времени, поехала Ольга в Царь-город к тамошнему царю в гости. Как увидал ее тамошний царь: «Выходи,— говорит,— за меня замуж!» Ну а Ольге какая неволя была идти замуж? Сама себе царица, а выйди замуж — муж глава жене. «Ты,— говорит Ольга,— православный, а я поганая (она тогда не крестимшись была), так мне не приходится за тебя идти». «Ну, так крестись»,— говорит царь. «А ты будь моим крестным!» «Хорошо!» — говорит. Перекрестилась Ольга, приняла крещеную веру. «Теперь давай венчаться, Ольга»,— говорит царь. А Ольга ему: «Нельзя — ты мой крестный!» Так и провела.

— Грозный царь Иван был здесь? — спросил я, когда тот, кончив рассказ про Ольгу, замолчал.

— Как же, был,— отвечал Алексей Федорович,— сколько раз был! Про два раза-то и я знаю.

— Расскажи, пожалуйста, как это было.

— Первый раз царь Грозный приезжал: новгородцы нажаловались. Опсков тогда был не особая губерния, как теперь, а была тогда все одна Новгородская. Царь за какую-то заслугу сделал Опсков губерниею, а новгородцы послали войско — опять привести псковичей под свою волю. Только псковичи такого звону задали новгородцам, что те насилу ноги уплели. Видят новгородцы, что сила не берет, послали Грозному сказать: «псковичи, мол, бунтуют. А какой тут бунт? Ну, цари, разумеется, этого не любят; Грозный распалился гневом, поехал к Опскову; не доехал Грозный царь до Опскова за шесть верст, остановился он в Любятове. Прослышали псковичи, что Грозный царь пришел под

Опсков громить Опсков и стоит в Любятове, с полуночи зазвонили в колокола к заутрени: бога молить, чтоб бог укротил сердце царево. Грозный царь тогда был заснумши в Любятове; как ударили в большой колокол, царь вздрогнул и проснулся. «Что такое? — говорит, — зачем такой звон?» — «Псковичи бога молят, — говорят ему, — чтобы бог твое царское сердце укротил». Поутру Микола Христоуродливый велел всем, всякому хозяину, поставить против своего дома столик, накрыть чистою скатерткою, положить хлеб-соль и ждать царя. Попы в золотых ризах, с крестами, образами, с зажженными свечами, народ: общество, *посадники* пошли встречать Грозного и встретили у Петровских ворот. Только показался царь Иван Васильевич, откуда ни возьмись Микола Христоуродливый, на палочке верхом, руку подпер под бок, — прямо к царю... Кричит: «Ивашка, Ивашка! Ешь хлеб-соль, а не человечью кровь! Ешь хлеб — хлеб-соль, а не человечью кровь! Ивашка, Ивашка!» Царь спросил про него: «Что за человек?» — «Микола Христоуродливый», — ему сказали; царь — ничего, проехал прямо в собор. А Микола Христоуродливый заехал, все на палочке верхом, заехал вперед; только царь с коня, а Микола: «Царь Иван Васильевич! Не побрезгуй моими хоромами, зайди ко мне хлеба-соли кушать», а у него была под колокольнею маленькая келейка. Царь пошел к нему в келью. Микола посадил царя, накрыл стол, да и положил кусок сырого мяса. «Чем ты меня потчуешь! — крикнул Грозный царь, — как ты подаешь мясо: теперь пост (а тогда был пост или пятница — не знаю), да еще сырое! Разве я собака?» — «Ты хуже собаки! — крикнул на царя Микола Христоуродливый, — хуже собаки! Собака не станет есть живого человечья мяса — ты ешь! Хуже ты, царь Иван Васильевич, хуже собаки! Хуже ты, Ивашка, хуже собаки!» Царь затрепенулся, испугался и уехал из Опскова, никакого зла не сделамши!

— Другой же раз когда он был? — спросил я Алексея Федоровича, когда тот кончил рассказ.

— Другой раз Грозный царь был здесь в Опскове, когда он был ехамши под Ригу воевать; под Ригу он ехал: на Изборск, на Печоры. На то время в Печорах архимандритом был преподобный Корнилий. Был Грозный приехамши в Печоры; стречал его с крестом-иконами Корнилий преподобный. Благословил его Корнилий, да и говорит: «Позволь

мне, царь, вокруг монастыря ограду сделать».— «Да велику ли ограду ты, преподобный Корнилий, сделаешь? Маленькую делай, а большой не позволю.» — «Да я маленькую,— говорит Корнилий преподобный,— я маленькую: коль много захватит воловья кожа, такую и поставлю».— «Ну, такую ставь!» — сказал, засмеявшись, царь. Царь воевал под Ригою ровно семь годов, а Корнилий преподобный тем временем поставил не ограду, а крепость; да и царское приказание выполнил: поставил ограду на воловью кожу; он разрезал ее на тоненькие-тоненькие ремешки, да и охватил большое место, а кругом то место и огородил стеной с башнями — как есть крепость. Воевал Грозный царь Иван Васильевич Ригу семь лет и поехал назад. Проехал он Новый Городок*, не доехал Грозный двенадцати верст до Печор, увидал с Мериной горы — крепость стоит. «Какая такая крепость!» — закричал царь. Распалился гневом и поскакал на Корнилиеву крепость. Преподобный Корнилий вышел опять встречать как царский чин велит: с крестом, иконами, колокольным звоном. Подскакал царь к Корнилию преподобному: «Крепость выстроил! — закричал царь.— На меня пойдешь!» Хвать саблей, и отрубил Корнилию преподобному голову. Корнилий преподобный взял свою голову в руки, да и держит перед собой. Царь от него прочь, а Корнилий преподобный за ним, а в руках все держит голову. Царь дальше, а Корнилий преподобный все за ним да за ним... Царь видит то, стал богу молиться, в грехах отпущения просить; стал царь богу молиться, Корнилий преподобный и умер. Так царь ускакал из Корнилиевой крепости в чем был, все оставил: коляску, седло, ложки... кошелек с деньгами забыл... Так испугамшись был. После того под Опсков и не ездил.

В этих рассказах мы проехали Житницкий двор.

— Видишь сопочки**? — спросил меня Алексей Федорович, указывая на западный берег,— там батареи стояли; Литва подходила, так поставила, хотела Опсков взять; а наши поставили на этом берегу (на восточном) свои батареи и не пустили. Затем, нашим стоять лучше было: наши батареи стояли у самого устья реки Каменки...

— А с чем ехали? — крикнул он мимо плывшей лодке, в которой сидел старик с тремя бабами.

*Нейгаузен.

** Сопочками здесь называют всякую курганообразную гору.

— С уклейкой,— отвечали с лодки.

— А хорошо ели уклейку?

— Плохо!

— Почем покупали?

— По три копейки серебром за гарнец.

— А на Горке рубль тридцать покупали (ассигнациями за четверик). Назад везешь?

— Назад!

— Это с Булдыжи мужик,— сказал Алексей Федорович, обращаясь ко мне.

— У них на Булдыжи живет мужик, Платоном Семеновым зовут, лет ему сто двадцать будет, охотник по монастырям ходить; вот так ловец! Внуки у него с седыми бородами, ну а против него не выйдут. Пойдет у них плохой улов, старый поедет на озеро сам, пересмотрит, переправит запас — опять пойдет рыба... Смотри: правый берег Великой — песок, левый — камень; крупный камень отбирают, теперь на чугунку много идет, а мелкий здесь остается. А песок наш в Лифляндию на зеркальный завод возят; повезли было в самую Калугу, да далеко, выгод мало.

Разговаривая, мы проехали Загорицы, Неготь, Кусву, Писковицы, Гладково.

— Знаешь, зачем это село зовется Гладково?

— Зачем?

— Барин тут был такой щедривый, его и прозвали Гладким, а по нем и село стало зваться Гладково... А там будет Конско, а там Овсище, а против Овсища Микольский волок, здесь была церковь, церковь и теперь видно, а пониже церквища какой-то погреб. Сперва, старики говорят, лет восемьдесят, не больше, город был до самого Овсища; лет сто пятьдесят назад мор был, народу много повымерло, и стали селиться ближе к собору.

— Что ты каменьев по дну накидал? — закричал вдруг Алексей Федорович мочившему пеньку мужику,— а еще старостой зовешься!

— А, Алексей Федорович! — отвечал тот.— Как тебя бог милует?

— А дети где? Что сам мочишь пеньку-то?

— А вот Перино*,— продолжал Алексей Федорович, ког-

* П е р и н о — Перыно — среднее между *и* и *ы*.

да мы проехали Подвишенье,— сперва был монастырь Миколы Перинского; было тут озеро, сад. Уничтожили монастырь — куда что делось... Осталось одно церквище на сопке! Вот Снятна гора, а на горе стоит Снятной монастырь, там наши архиереи живут,— прибавил он, проехав Хотицы на восточном и Манькино, Бацьковицы на западном берегу.

— Ты не знаешь, отчего гора называется Снятна гора? — спросил я Алексея Федоровича.

— Как отчего? — отвечал он.— Здесь стоял монастырь; подступила Литва и сняла монастырь той*, а монахи заперлись в церкви, их там поганая Литва и сожгла. Затем и гора прозывается Снятна гора. А видишь ту часовенку впереди, подальше от берега? Под самой той часовенкой схоронены те монахи, что в церкви сгорели.

Не знаю, от того ли называется Снятна гора Спятной горой или нет, но она очень похожа на снятую гору: верхняя часть как будто срезана очень ровно, снята.

— Где народ чище живет? — спросил я Алексея Федоровича.

— Как то есть чище?

— На котором берегу, на западном или восточном, например, девки меньше шалят?

— На западном, по-нашему в Забраном краю, народ — как можно! — гораздо тише; а на нашем старом — хуже, баловливей; а в Талабске или вот на Чудском берегу, там живут раскольники, девки-то лет по четырнадцати, по пятнадцати ходят кирпичи резать; как пошла — так и загуляла!

— Неужто все девки?

— Где же ты найдешь такую землю, что все девки гуляют! Много девок гуляют — и то плохо! Хозяйские девки смирно живут, а работницы... подобьется хозяин, хозяйский сын, а то хозяйский работник какой... Как можно все? Был один только, один город Содом и Гомор, и тот бог гневом наказал...

— Порченых у вас много?

— Порченых, говорят, было довольно, только на моей памяти не было: старые попы заклятие делали — волхвы и поотстали от свои делов. Дают женщинам лекарство, дев-

* Здесь говорят: *той, тоя, тое* вместо *тот, та, то; евойный, евойная, евойное* вместо *его, ее.*

кам еще, чтоб любила... Сколько здесь островов было! — продолжал, спустя немного, Алексей Федорович,— а теперь вот только три: Длинный, Солодожный да Кусовка, где сено монастырское; еще под самым под Опсковом Степановский Луг; вот и все. А острова большую помогу делают: перегоняют на те острова скот, лошадей, а то на лодках перевезут; так ни пастуха, ни пастушки* — никого не надо.

Чем ближе подъезжаешь ко Пскову, тем гуще и гуще растет трава по Великой, от которой поднимались на поверхность желтенькие, очень красивые, маленькие цветочки.

— Здесь-то рыбы! — заговорил Алексей Федорович.— Здесь-то рыбы — тою травой рыба питается. А поймать нельзя: в тине запас весь изорвешь, а ничего рыбе не сделаешь! Ни одной поймать нельзя, удочкой — и то нельзя.

Я спросил у своего спутника, находят ли тут клады около Пскова?

— Находят, только в руки не дается. Наш сыренский (то есть из деревни Сыренской) ехал на лодочке здесь ночью около Вонючего Ручья; видит: на Волоке свеча теплится, он спрыгнул с лодки, да и туда; видит: икона Божией матери, а перед иконой свеча теплится, а внизу больше ста бочек золота; сыренский-то захватил сколько мог, да в лодку. Сидит в лодке да думает, что мало взял; думал, думал, пошел в другой раз, принес и другой раз — все мало; пошел в третий — взял в третий, принес в лодку, хотел ехать... Как наскочит *не наша сила,* стала лодку *пружить***; тот туда, сюда — пружит, да и полно! «А, пропади ты, нечистая сила!» — сказал он с сердцов. Как сказал он то глупое слово — и нечистая сила, и золото — все пропало! Смотрит: и сам стоит на *кряже**** — нечистая сила напустила на него, ему и казалась вода!

Мы приехали во Псков, и я, простясь с Алексеем Федоровичем, отправился к своим прежним хозяевам, Егору Васильевичу и Александре Ивановне Васильевым. У них было много проезжих. При конторе дилижансов отдельных нумеров нет, а только две общие комнаты, в которых помещаются все проезжие бесплатно. Александра Ивановна, считая себя не в праве поместить меня в общие комнаты, потому что я мог стеснить других проезжих, *казенных*, все-

* Там должность пастухов большею частию исправляют женщины.
** Погружать, топить.
*** Материк, не остров.

таки приютила меня. В восьмом часу поутру стали проезжие выезжать на чугунку, так как машина отправляется в восемь часов. После всех выехал старик с очень добрым лицом. Он во все время не сказал со мной ни слова, но во всех его разговорах с другими видны были и приветливость, и доброта. После я узнал, что этот старик был польский магнат и что лицо его не обманывало, при выезде он дал в пользу бедных десять рублей серебром, только не официально, а одному частному лицу — для раздачи бедным.

Изборск, пригород, 17 августа.

15 августа я выехал из Пскова и приехал в Изборск довольно поздно. Сначала меня поразило шоссе: едва пробита одна дорожка, да и та с грехом пополам. Случалось, впрочем, очень редко встретить кого-нибудь, тогда один съезжал с дороги и дожидался, пока другой проедет, точно так, как по нашим проселочным дорогам при встрече с обозом. На расстоянии около тридцати верст до Изборска шоссе захватило только одну деревню Дубняки, и то както не совсем, да сельцо Бибиково; самый Изборск остался с полверсты в стороне.

В Изборске кривые улицы, избы углом на улицу, крыши с большим навесом впереди, без всякого украшения; забор — тын, навкось складенный из шестов; но вы сейчас заметите, что здесь много чухонцев. Здесь попадаются окна не русские: квадратные с тремя переплетами снизу вверх и тремя же от права налево. Не знаю, сохранили ли улицы прежнее название или названы недавно: Подгорная, Невская, Садницкая, Маслинская. Эти улицы извиваются между садами и довольно свежими домами, перерезываются другими улицами, которые и названий не имеют. Когда я подходил к здешнему Кремлю, мне попалась девка лет пятидесяти.

— К собору, родной, идешь? — спросила она меня.

— К собору,— отвечал я.

— Ты приходи к нам на крестный ход,— заговорила девка,— крестный ход бывает — куда как у нас весело, говорить нечего! В наш Словенец Изборьск много ходит народу. Икону — образ кругом города носят.

Я спросил у нее, какая у них икона?

— Икона наша из полону вывезена. Был наш изборь-

ский в полону в неверных землях, и явилась тому полоненнику матушка богородица. «Возьми меня,— говорит,— и иди сам из неверной земли; тебе никто в дороге ничего не сделает, и придешь ты с моей помощью счастливо до самого своего дому — до Изборьска». В Изборьске тогда жила вдова богомольная; жила эта вдова около Плосской башни; так этой вдове и отдал полоненник тую икону. Стояла та икона у ней ровно тридцать лет, а после явилась во снях вдове и объявилась, что она чудотворная. Тогда весь народ и стал ходить сюда молиться ей, матушке. Сколько раз переносили ее в Опсков, только она, матушка, все-таки сюда объявлялась. Видят — делать нечего, ее и оставили в Изборьске. Наш город оттого и называется *богоспасаемый город*. Сперва город наш был большой, хороший, сам князь Рюрик жил здесь.

Известно, что в Изборске княжил Трувор, замечательно, что имя Рюрика сохранилось в памяти народной, мне не один раз случалось слышать, что Рюрик княжил в Изборске.

Простившись со словоохотливой старухой, я пошел кругом кремля; вид со всех четырех сторон чрезвычайно хорош и далек; вообще город с своими четырьмя церквами, зелеными садами очень красив. Погуляв по городу, я пошел в одну избу, где узнал, что есть самовар, чай пить. Изба была очень опрятная, все лавки и стол были выкрашены красною масляною краской, перегородка раскрашена тоже масляной краской, разноцветными узорами.

— Не хочешь ли ягодок? — спросила меня хозяйка, женщина лет за пятьдесят очень благообразной наружности, предлагая мне горсть невзрачных слив.

— Почем продаются у вас сливы?

— Да ты так возьми, без денег,— отвечала она,— нонче дешевы, шестьдесят копеек (ассигнациями) мера; а в другой год *ану* (ону, ее) меру-то за то не купишь; этот год меды дороги, медов нет, а где и достанешь — так двугривенный фунт! Варить-то ягод и не варят, оттого и ягоды дешевы. А то вот в той избе, вон третья направо с той стороны, около *ровеня** *арбан* ** стоит, так тот хозяин много ягод варил, да теперь сбежал.

— Как сбежал? — спросил я.

---

* Колодезь.

** Анбар.

— Спуста так сбежал: был он сборщиком, затратил казну, да и сбежал тихим матом. А такой, бывало, обо всем *опыт берет**: лен тягать** что ли... у нас одни мужики лен сеют, тягают, бабы только прядут***... А, да, никак, самовар поспел.

Напившись чаю, я опять пошел в кремль. Уже вечерело. Девки с песнями ходили по улицам, потом остановились на Горке, небольшой площади среди города, водили хороводы. Пели песни довольно известные.

«Я посею ли мла́да — младе́нька
Цветиков маленько»,

«Заиньку» и тому подобное. В хороводе здесь при мне ходили только действующие лица, а остальные сидели на завалинке: девки по одну сторону, ребята по другую.

— Здравствуй, родный,— сказал мне старик, когда я пришел к Проломным воротам в кремле.

— Здравствуй,— отвечал я,— скажи, пожалуйста, отчего эти ворота зовутся Проломными?

— Вот отчего: подступала Литва и становилась на Митинской горе, видишь налево; теперь там Митина деревня. Стреляла Литва та из пушек по Изборьску, пробила она вороты и народу много погубила. Под валом лежат убиенные воины, и когда крестный ход — всегда останавливаются — поминовение бывает. Как пробила Литва вороты, стали обносить кругом города чудотворную икону Корсунской богородицы — Литва сама себя перерезала, а которые остались — так те разбежались. С тех пор и зовут их Литовскими воротами, или Проломом.

— Часто нападали на ваш город?

— Как не нападать! Наш город не нынче строен: Опсков построен давно, Изборьск триста лет прежде стоял; теперь только он обеднял, а прежде был стольный город; первый князь русский Рюрик жил в Изборьске.

— Неизвестно, на котором месте?

— Подлинно неизвестно, только надо полагать — близко собора.

---

* Заботится

** Брать лен, пеньку; вообще драть, вытягивать.

*** Это не всегда, а большею частию.

Печоры — пригород, 18 августа.

Вчера около десяти часов я вышел из Изборска в Печоры. Немного пройдя, я сошелся с косцами, которые шли косить ячмень или, как они называли, *жито* или *житмень*.

— Как вам, братцы, бог урожай дал? — спросил я.

— Да как тебе сказать, не знаю,— отвечал мне один из них,— где пониже да земля понежней — хлеб, лен хорошо уродился; а то не гораздо.

— Вы откуда?

— А вот неподалечку деревня есть, Конецки (Конечки) зовется, так мы оттуда.

— Много у вас земли?

— По четверти на душу высеваем.

— Делите землю ежегодно?

— Нет, как наступит ревизия, всю ниву озимую, яровую, пар делим поровну, по душам. У меня три души, мне шестиком три полоски отмерют, да и отрежут, у другого пять — тому пять полосок, только бы в одном месте. Сперва только бросят жребий, кому за кем землю мерить.

Дорога из Изборска к пригороду Печоры донельзя безлюдна. Кроме этих косцов мне попались навстречу только два чухонца, которые шли в конторку, как они называли волостное правление, на сходку; да еще догнала какая-то коляска четверней. Вот и все встречи, а я пробыл в дороге часов пять-шесть да прибавьте к этому: от самого Изборска до Печор на расстоянии двадцати верст нет ни одной деревни на большой дороге. Не помню я, кто-то глумился над кем-то, сказавшим, что чухонцы убегают больших дорог, рек, озер. Этот господин думает, что русские их оттесняют. Мне кажется более справедливым замечание Печорского жихаря (жителя). «Полуверцы, как их здесь зовут,— сказал он мне,— полуверцы землю пахать очень любят; так им больше ничего и не нужно; хоть за версту, а то за полверсты, а убежит от дороги».

Эта дорога идет холмистыми местами, покрытыми большею частию мелким березняком, а частию, на расчищенных местах, пашнями. В настоящее время овес и ячмень только начинают косить, лен еще частию стоит зеленый, некоторый еще и цветет. Вчера около Изборска да и почти по всей дороге сеяли; некоторые из здешних жителей сеют

в одну сторону: правой рукой бросают влево; поэтому им приходится пройти вдвое больше; потом запахивают и боронуют. Бороновать в Орловской, Рязанской губернии считается и для работника, и для лошади легкою работою; здесь не то: боронуют парою, и не прямо, а кругом: работник или работница, перекинувшись на возжах назад, заставляют лошадей кружиться почти на одном месте, и лошади, которые здесь хороши, с трудом могут работать; впрочем, я видел — боронуют и на одной лошади, а после этого боронуют прямо. Иначе бороновать нельзя: вся пашня усеяна в буквальном смысле камнями, от вершка до двух величиною, даже на хорошо взборонованной земле много камней величиною в орех лесной. Здесь удобряют землю особенным способом — *тютежи* жгут: берут хворост, обкладывают землей, так что эти тютежи имеют форму призмы, длиною смотря по величине хвороста, а в вышину до трех четвертей, и потом зажигают; когда тютежи сгорят, их разбрасывают; таких тютежей делают столько, чтобы пережечь всю землю, вершка на два или три в глубину.

Я сошел с большой дороги и подошел к одному пахарю, полуверцу лет пятидесяти, одетому по-русски, в шляпе с огромными полями.

— Помогай бог!

— Спасибо! — отвечал тот,— спасибо, добрый человек. Посеяли — надобно бы дождеца, да бог не дает.

— Здесь будешь сеять? — спросил я, указывая на вспаханную целину.

— Теперь нельзя, одна дернина: на будущий год засею, хорошо уродится.

Около дороги часто попадаются чисто вырезанные на земле, вершка в полтора глубиною, знаки. Эти знаки, или гербы, полуверцы кладут на своих участках, чтобы знать, кому чинить дорогу, и надо правду сказать: дорога здесь очень исправна.

На девятой версте лежит озеро Устиц, окруженное горами, покрытыми лесом.

В коренной Руси такого уединенного места отыскать решительно невозможно; к такому озеру непременно бы пришли и построились, а чухонец хоть за полверсты, а ушел от озера. На берегу его, на крутой горе и очень красивом месте стоит гранитный крест около $1^1/_2$ аршина вышиной,

на котором на верхней части высечен крест, а на прочих надпись: «... 1748 году Малороссийские полки были зде... в походу Лубенский...», две строки я не мог прочитать.

Отойдя верст четырнадцать от Изборска, я пошел в деревню, которая виднелась в стороне; мне пришлось идти до той деревни с версту полем, засеянным горохом, капустой, картофелем. В рабочую пору и в русских деревнях не скоро кого-нибудь отыщете, но все-таки скорей, чем в чухонской. Я прошел всю деревню и в последней только нашел хозяев дома. Я попросил молока у чухонки; та плохо понимала по-русски, но все-таки поняла и объявила, что молока нет. Я пошел в избу, где был хозяин.

— Да какого тебе: кислого? — спросил он.

— Да хоть кислого, я заплачу.

Хозяин, ничего не говоря, вышел, а через минуту хозяйка принесла небольшую чашку молока, хлеба и ушла. Я поел, хотел рассчитаться, но не с кем было: все хозяева ушли! Все не по-русски. Русский всегда рад гостям, он непременно потолковал бы, спросил бы о новостях, а чухонец любит землю пахать, ему ни до чего другого дела нет. Избы у них тоже нерусские: в двух стенах квадратные, аршина в полтора окна, разделенные переплетами на девять квадратов, в углу на лавке стоит киот с иконами; стол стоит близ лавки посреди стены; в сенях тоже икона.

Печорский монастырь стоит по обе стороны лощины, по бокам крутых гор; он начинает показываться верст за семь, но потом опять прячется за лесом, а совсем открывается, когда уже подойдешь к самому монастырю, окруженному огромными стенами с полуразрушенными башнями. Стены и башни сложены из плитняка, часто довольно крупного, но попадаются большие камни: есть до аршина в поперечнике. Эти камни лежат в стене по одному между мелкими или по нескольку. Стены были обведены валом и рвом, в котором и теперь частию видна вода. Я всходил на Михайловскую башню, очень невысокую, но откуда вид по лощине и вдоль очень хорош. По выходе из монастыря (по здешнему номастырь) я нашел трех мальчиков, играющих в следующую игру: один из них, указывая при каждом слове по очереди на себя, на другого и на третьего говорил:

Чикирики
Микирики
Погосту
Жучик
Крючик
Костка
Хруп!

Кому пришлось «хруп» — того посылают отбежать куда-нибудь; остальные в это время прячутся, и их должно искать. Посидев немного с ними, я пошел и встретился с одним здешним старожилом, которого и зазвал к себе на чай.

— Давно ли монастырь стоит? — спросил я его.

— Давно, еще за Грозного царя,— стал говорить мой собеседник,— были в Изборьске отец с сыном, оба благочестивые люди и охотники на птицу, на зверя ходить. Пришли эти отец с сыном на это самое место, где теперь пещеры, и понадобилось им на что-то древо. Взяли они топор и срубили себе древо. А в старые годы тут дремучий лес стоял; срубили они древо, а то древо повалило с корнями другое, и от того древа открылась пещера; на стене пещеры была надпись: «Богом зданная (созданная) пещера». В средине той пещеры пели ангелы и *благоханье* было слышно. Отец с сыном вошли в ту пещеру и нашли там тело монаха Марка. Тело оставили они в гробу, а сами пошли в Изборьск. С тех пор стал открываться монастырь, стали строить церковь; только переднюю стену выведут, а те просто из песку в горе вырежут. Пещер там насколько — неизвестно. А говорили только, что эти пещеры с Киевскими сходятся. Сперва-то, может, и сходились, ну а теперь много обвалилось.

— Случалось ли, чтоб неприятель брал монастырь? — спросил я.

— Нет, никогда ни один не входил. Подступал Стефан Баторий под наш монастырь, так Николай Угодник днем верхом ездил вокруг монастыря, а по ночам пешой ходил; а с Угодником было сорок мучеников — Баторий ничего и не сделал. Это все правда: в писании есть.

— В каком писании?

— Не знаю в каком, а только есть.

Как-то разговор дошел до Риги.

— Говорят, Рига рано ли, поздно — провалится,— сказал

он,— по тому случаю, что из-под Риги к Питеру под Неву ход подведен, в случае войны от неприятеля.

— А моя родительница была в Риге,— перебила моя хозяйка, баба лет сорока,— моя родительница была в Риге, где был подошедши тогда Швед, при ней и случилось. Прежде Ригою управляла королевна. Вот эту королевну, мать, что ли, или не знаю кто — прокляли. Эта самая королевна через сколько лет выходит из реки, просит у часового креста. Часовой не посмел дать креста королевне; на другой день поставили на то место двух часовых; ну она, как бы там ни было, обратилась в свое место. Народ болтает: дай часовой ей крест, королевна была бы опять в Риге, Ригой бы правила, а часовой на ее месте.

— Чем здесь народ занимается? — спросил я своего хозяина (из чухонцев).

— Большею частию все землепашцы; а то здесь многие занимаются: сапоги, пастолы (по-русски поршни — кожаный лоскут, которым обвязывают ногу).

— Многие здесь занимаются этим промыслом?

— По нашим Печорам, должно быть, человек пятьдесят; у нас четыре завода небольших, по два работника, да подмастерье; подмастерье этот всеми заводами управляет. А то еще хозяева сдают по домам шить сапоги, по двадцать, двадцать пять копеек серебром за пару; а после везут на ярмарки в погост «Лизавета Захарьевна*» в Ряпино: там мыза большая, бумажный, пильный завод, мельница муку, соль с Талабска мелет; так кожевенники наши возами на ту ярмарку сапоги, пастолы возят; воза по два возят. А то у кого есть целковых десять, двадцать, тот купит себе товару, нашьет сапог и отвезет сам на ярмарку, который пар двадцать, который пар сорок.

Нынче я ходил в монастырь и смотрел ризницу. Икон старинных, по крайней мере не подновленных, нет, явленной иконы Успения богородицы я не мог видеть: она стоит в довольно темном месте, а к тому же она вся покрыта дорогою жемчужною ризою. В ризнице мне показывали золотые сосуды с следующей надписью: «7189 году сии сосуды золотые в дом Пречистой Богородицы Псковской Печорский монастырь дал вкладу Борис Васильевич Бутурлин, а прямое имя Иван, с женою своею Татьяною, по тесте своем

* Погост Елисаветы и Захария.

Семене Алексеевиче Вихореве и по тещи своей инокини схимницы Капетелины по их приказу в вечное поминовение».

В этих сосудах около трех фунтов весу. Еще там несколько серебряных ковшей: Ивана Грозного, царевича сына Грозного, князя Юрья Ивановича, Макария, архиепископа новгородского, Бориса Еремеевича; кружки Густава-Адольфа, короля шведского, Щербинина; чаша, пожертвованная Михаилом Федоровичем, серебряный горшок — дьяком Сидоровым; несколько крестов с мощами, между которыми один сделан в 7098 году в июне по повелению игумена Милетия с братиею, а в нем сто восемнадцать с половиной золотников весу.

Я прежде говорил, что Грозный оставил здесь, как говорит народ, все свои вещи. Здесь показывают кроме ковшей ложку, вилку, ножик, трубу, пороховницу, кошелек для денег, две цепи: на одной, говорят, Грозный носил кошелек, другая *царская,* на которой он носил крест; более тридцати монет золотых иностранных, арчак, потник от седла и чепрак, который был заткан золотом, но золото вынуто на потребы монастырские.

Еще мне показали перстень с зеленым камнем, на внутренней стороне которого надпись: «Перстень царицы и великия княжны Анастасеи». Ее же серьги с лазоревыми камнями, обделанные жемчугом.

Обязательный отец наместник Никанор показал мне библиотеку. Тут мало любопытного, ее пересматривал митрополит Евгений, бывший архиереем Псковским, и все интересное взял. Я вскользь просматривал синодики, которых здесь шесть; в одном записаны роды: князей Шаховских, Петруши-*стрелца* Сумина, *Грошихи.*

Ежели бы я не боялся оскорбить скромность отца наместника, я бы много мог сказать о нем. Редко можно встретить такое истинное благочестие; я сказал истинное, этим словом я не передал своей мысли. Представьте себе светлого, добродушного, веселого человека, при котором и вам делается светло, при котором вам в голову не придет ни одна несветлая мысль. Он очень жалел, что многие драгоценности, между которыми замечательны ризы, епитрахиль тяжелая (вся засыпанная жемчугом) остаются без всякой пользы.

— Будь эти вещи в Москве, — говорил он, — многие бы

смотрели на них, многие бы учились; а здесь кому они нужны.

Посмотрев пещеры, где хоронятся умершие из братии и из светских, где, между другими, похоронено тело монаха Марка, я простился с отцом наместником и получил от него просфору.

Печоры, 19 августа.

Прощаясь с Печорами, прибавлю несколько строк. Печоры стоят на красивом месте на берегу реки Пачковки. Большая часть жителей полуверцы, то есть чухонцы; но образованные из них стыдятся своего происхождения и говорят, что они рижские немцы, хотя по-немецки не говорят. Меня уверяли здесь, что почти пятая часть девок выходит замуж, имея уже детей; но что хороший отец не позволит шалить дочери.

Еще одно слово: граф Витгенштейн после 1812 года, приписывая свои победы особенной помощи божией, много жертвовал в здешний монастырь и выстроил на горе новую церковь, довольно хорошей архитектуры, и, говорят, хорошо украсил.

Изборск, 20 августа.

Отойдя с версту от Печор, я встретил мужика лет тридцати. Мне хотелось с ним заговорить, и я попросил у него огня, закурить папироску.

— Изволь, миленькой,— отвечал мужик,— можно; кстати и я покурю; сядем-ко.

Мы сели, и я стал у него расспрашивать, но, к несчастью, он не мог ничего мне рассказать.

— У нас народ нелюбопытный,— сказал он мне на прощанье,— по иншим местам на спрос не скажешь — стыдно, а у нас нипочем!

Прежней дорогой мне идти не хотелось, я взял вправо и зашел к священнику в погост Залесье; этот священник мне рассказал, что у них все занимаются хлебопашеством, в озимом поле сеят одну только рожь, которая у крестьян дает сам-пять, а у помещиков сам-десять, а иногда и сам-двенадцать, потому что помещики сеют не простую рожь, а муравьевку, обсильванскую и другую. Яровое поле засевают

преимущественно житом, то есть ячменем и льном, а отчасти овсом; некоторые сажают в поле капусту, потому что в поле червь не ест. Ячмень родится сам — три, четыре и пять, овес сам-три, и то редко. Лен зерном — сам-три, четыре, ежели мера льна даст три пуда волокна — урожай считается хорошим; но случается, что с десяти гарнцев получают льна десять пудов, или двадцать *пудков*. Лен здесь продают на пудки (20 фунтов). Хлеб здесь кладут в стойки (копны), а после везут на гумно и складывают в *оденья** — небольшие скирды; в стойках бывает около тридцати снопов, а в оденьях без счету.

Нравственностью здешние жители вообще не могут похвалиться; обычай выдавать девку замуж, когда ей далеко минет за двадцать или за двадцать пять лет, мужчинам жениться от двадцати пяти до тридцати много мешает чистоте нравов, но и зная это, все-таки с трудом веришь, что в Залесье, например, как оказывается по собранным мною справкам, на семьдесят рождений двенадцать незаконных. Замечательно, что полуверцы нравственнее русских; русские и полуверцы никогда не мешаются женитьбой, и потому это заметней. Так, мне здесь же сказывали, что в Лифляндии знали только два случая о незаконнорожденных, и то потому, что в то время солдаты стояли, и, разумеется, эти две несчастные девки пропали, тогда как между нашими на этот проступок смотрят не очень строго: женихи обегают девок, у которых есть дети, да и то не совсем; зато на посидках и в хороводах они первые.

От священника я пошел довольно рано и дошел до Рацова, где зашел в избу: в избе сидела одна старуха; поздоровавшись, я попросил у ней пообедать.

— Изволь, родный,— отвечала та,— да уж не прогневайся: хлебушка дадим, кваску хлебни, а больше ничего нет. В разор разорили, кормилец! Барин-то, говорят, и добрый, да что толку-то? Управляющий чухна, что хочет, то и делает. Вот дома теперь только я да старик мой, да и то дома, что болен...

Вошел больной старик, едва передвигая ноги; старуха еще больше стала хныкать. Помочь им я не мог, и я, захватив у них кусок хлеба, ушел. Отойдя от Рацова версты с две, я присел на берегу озера.

---

* За Окой небольшие скирды называются *одоньи, одонки*.

— Как прозывается это озеро? — спросил я мальчика лет четырнадцати, бежавшего по дороге.

— Куцино,— отвечал тот.

— Деревня близко есть?

— Есть,— прокричал на ходу мальчик, повернулся в лес и скрылся; должно быть, пошел за орехами.

Верно, этот мальчик из полуверцев. Русский непременно бы остановился, спросил, зачем нужно знать, и, может быть, робея, а все-таки вступил бы в разговор. Думая о старухе, у которой я только был, о пробежавшем мальчике, не помню, как я заснул и проснулся, когда солнце было довольно низко; возвращаться назад в Рацово мне не хотелось, и я, понадеясь на счастье, пошел вперед отыскивать ночлега, но счастье стало мне изменять, или, может быть, судьба стала меня готовить к псковским невзгодам. Было уже очень поздно, когда я подошел к хутору какого-то немца.

— Куда идешь, добрый человек? — спросил меня работник, стоявший у ворот.

— В Изборск, почтенный,— отвечал я,— далеко ли отсюда до Изборска?

— До Изборска недалеко, две версты,— сказал он,— да ты не ходи, идти нельзя — волков много; а ночуй у нашего немца, у него просторно.

Я обрадовался приглашению, но совершенно напрасно. Немец на мою просьбу объявил, и то смиловавшись, что одну только версту опасно будет идти, а там другая верста пойдет полем, а полем — нет никакой опасности.

Когда меня таким образом успокаивал немец, и успокаивал очень радушно, а все-таки не пустил ночевать, я вспомнил про Перовского. В 1812 году он был взят в плен, и его повели во Францию. Дорогой он износил сапоги, потер ноги так, что едва мог идти. Во всей Германии он не мог выпросить себе сапог, все немцы о нем только сожалели, а сапоги ему были брошены из первого окна — во Франции.

— Воды можно у вас попросить? — спросил я, совершенно успокоенный немецким красноречием.

— Воду кушай, воду кушай!

Напившись, я пошел к Изборску и первую версту прошел благополучно; при выходе из лесу я заметил мужиков; по их крику можно было догадываться, что они шли с по-

пойки. Не доходя до них несколько сажень, я остановился, выкурил папироску, а мужики все стояли. Не хотелось с ними сходиться, а делать было нечего, и я пошел к ним.

— Братец, постой, братец! — кричали они мне, когда я поравнялся с ними.

— Что вам надо, братцы? — спросил я, не подходя близко к ним.

— Да ты не бойся, братец! Мы сами хозяева, подойди, пожалуйста, поближе.

— Что же вам нужно, братцы? — сказал я, подойдя к ним.

— Ты в Изборск идешь; отведи парня до дому.

— Доведи, друг,— кричал предлагаемый мне в товарищи мужик без шапки, кафтана и сапог.

Он был пьян, другие же, как я заметил, были совершенно трезвы.

— Отчего же вы сами не ведете его? — спросил я, опасаясь за пьяного.

— Да нам некогда,— отвечали те,— нам завтра на работу идти. Видим: человек пьяный бежит, как одного пустить; а мы и не из той деревни...

Я взял под руку пьяного и привел его домой и на другой день узнал, что он был в гостях у своей сестры, отданной замуж в другую деревню, там подгулял и вздумал идти домой. Зять снял с него все: шапку, кафтан и сапоги — и, не могши его уговорить остаться ночевать, пустил. На дороге напал он на незнакомых, и те повели его домой, а увидав меня, сдали мне на руки.

Поутру я пошел к отцу Александру; он мне рассказывал, что полуверцы иногда постов не соблюдают, но что во всем прочем они очень религиозны. Так, например, в церковь ходят часто; выстроены в Изборске три богадельни, и каждая из них стоит от пятидесяти до шестидесяти рублей серебром, содержатся они также на счет прихожан. В праздник приносят священнику одну или две *кокоры**, а в каждую богадельню по десять. В плате священникам очень честны; так, например, в праздники кропят скот святой водой; по обычаю должны платить по три копейки с каждой штуки и всегда исправно платят, никогда не обсчитывают в числе

---

* Кокора круглый фунта в три-четыре хлеб из лучшей домашней муки.

штук. Еще показалось мне замечательным: Изборск от Залесья двенадцать — четырнадцать верст; а в Изборске, по крайней мере в приходе отца Александра, на сто рождений один незаконный.

Пошли мы после чаю гулять на Шумильну гору, из которой на самом близком расстоянии один от другого бьют одиннадцать ключей; и у самой горы стоит мельница.

— Мельнику обещано: будешь верно молоть — вода будет; обмеривать станешь — воды не станет,— сказал мне мужик, приехавший на мельницу.— Стал обмеривать — воды стало меньше.

Воды действительно стало меньше: некоторые ключи пошли другими руслами, мимо пруда.

Потом отец Александр показал место, где, по народному преданию, находится могила *царя* Трувора, и рассказал, что богомольцы, идущие в Печоры, заходят в Изборский собор к здешней иконе Корсунской Богородицы; больные из них берут камень, накладывают на больное место и всходят на гору против Северной башни.

Псков, 22 августа.

Дорога из Печор до Изборска безлюдна, да не больше народу и на дороге между Изборском и Псковом. В стороне от большой дороги есть деревни, как я уже говорил; но в этих деревнях тоже мало жизни. Я по дороге услыхал первую песню, песню русскую только за двенадцать верст от Пскова, потому что, думаю, нельзя называть песнью «И-го-го! И-го-го!», что не раз кричали полуверцы, парни и девки, ехавшие в ночное. Я ходил и по большой дороге, и по проселкам — везде одно! Повернул к Талабскому озеру — то же безлюдье. Проходив без толку несколько дней в этих местах я пришел в Устье к знакомому уже мне священнику, который был так добр, что поверил мои наблюдения и сделал мне много очень полезных заметок.

— Куда идешь, добрый человек? — крикнул мне догнавший меня на доброй лошади мужик, поравнявшись со мной, когда я отошел от Пскова версты две.

— А ты куда едешь? — спросил я, не отвечая на его вопрос, да и довольно трудно было мне отвечать, куда иду: я этого и сам не знал.

— Привозил из Новоржева господ на чугунку, теперь домой еду, коли по дороге — подвезу,— бойко говорил мужик.

Я присел к нему на телегу, и он начал скороговоркою говорить:

— Взял я, братец ты мой, в Новоржеве двух господ, взял их довезти до чугунки, до машины, по знакомству только, а то, братец мой, сам знаешь: пора рабочая, лошадь дома нужна; возьмешь деньги, сам не рад будешь деньгам... А по знакомству можно... С других не взял бы по пяти целковых, а с них только три.

Мне кажется, что он и своих знакомых господ не много уважил. За сто тридцать шесть верст с двух на одной лошади можно и не уваживши взять шесть рублей.

Мы ехали по шоссе, которое идет из Пскова на петербургско-варшавскую дорогу, тоже каменную. Псковское шоссе идет на пять верст до последней дороги и перпендикулярно в нее упирается. Я расспрашивал многих, почему каменную дорогу проложили так далеко от Пскова, но мне на это никто не мог сказать ничего. Тем более это странно, что новая чугунка проложена от Пскова очень близко, никак не дальше версты, и только в этом одном месте дороги и каменная, и чугунка так далеко, версты на три с лишком, расходятся; в других же местах они сходятся на несколько десятков сажень и идут параллельно до самого города Острова. Когда мы подъехали к мосту на реке Терехе, я простился с своим спутником и пошел к вновь строящемуся мосту на той же реке, для железной дороги, саженях в двадцати от старого.

Деятельность была сильная: рабочих было много; одни привозили на тройках огромные камни, другие тесали камень, третьи копали, возили землю. Я взошел на временный деревянный мост, под который подводили постоянный каменный, и разговорился с рабочими. От них я узнал, что в настоящее время рабочим плата очень хороша: рабочему пятьдесят копеек серебром, а мастеру, каменщику менее рубля не платят. Потолковав немного с рабочими я пошел опять на шоссе: чугункой идти неловко, а другие артели, как мне сказывали, стояли далеко. Пройдя немного по каменке, я перешел по каменному мосту реку Многу, и мне захотелось пить.

— Дайте, пожалуйста, напиться,— сказал я, подходя к окну избы, стоявшей на самом берегу. У окна сидели две

женщины, и, услыхав мою просьбу, одна вскочила и пошла, а другая вслед ей проговорила:

— Надо бы странному человеку квасу испить, да квасу-то нет.

— Сама знаю,— послышалось из избы,— надо бы квасу, да где возьмешь квасу-то?

Спустя минуту она вынесла мне на улицу воды.

— Спасибо, матушка,— сказал я, возвращая ей, напившись, кружку.

Она одной рукой приняла кружку, а другою стала шарить около моей руки, желая всунуть мне что-то в руку.

— Ты человек странный,— торопливо говорила она,— тебе пригодится, возьми, возьми!

— Спасибо, матушка,— отвечал я,— мне не надо, лучше кому другому подай.

— И другому подам... а ты-то возьми!

Я взял у ней полкопейки серебром, и хотелось мне эти деньги сберечь, но не удалось за псковскими арестами! Простясь с ней, я пошел дальше.

— Здорово, землячок! — крикнул, догоняя меня, отставной солдат.— Куда бог несет?

— Здравствуй,— отвечал я,— иду, любезный, к Острову. Не по дороге ли?

— Почитай, до самой Подрезицы по дороге; пойдем вместе; закурим трубочки, поболтаем.

Он закурил трубку, я папироску, и пошли вместе, болтая кой о чем.

— Зайдем в будку, земляк,— сказал он, когда мы поравнялись с одной будкой, поставленной для солдат, служащих на шоссе.— Тут живут знакомые, солдат с женой; зайдем, квасом напоят, а захочем, так и самовар поставят.

Мы вошли в довольно просторную и очень опрятную комнату, перегороженную на две части. Хозяина-солдата не было дома, и нас приняла хозяйка, полуобруселая чухонка, у которой мой спутник, поздоровавшись, попросил квасу. Хозяйка ту же минуту подняла дверь, сделанную в комнате в полу, сходила в погреб и принесла нам большую кружку очень хорошего квасу.

— Такая беда! — заговорила она, когда мы уселись.— Такая беда: сперва торговала квасом, яблоками, все-таки нет-нет, а копейка лишняя набежит, а вот теперь — не смей торговать, да и полно!

. . . .
Хозяйка потчевала нас чаем, но мы отказались, простились с ней и пошли дальше.

— Она богата,— сказал мне дорогою мой товарищ,— муж у ней человек крепкий, а она хозяйка, и огород развела, да и торговала помалу... деньги есть. А ничто: люди добрые... Близко Подрезица, расходиться скоро: мне влево брать; зайдем, выпьем по шкалику; на расставанье так и быть — поднесу!

Я отказался от его угощения, и мы расстались: он пошел в кабак, а я повернул в Подрезицу, лежащую в нескольких саженях от большой дороги; на самой дороге стояла харчевня, но мне не хотелось в ней останавливаться.

— Пусти, добрый человек, переночевать,— сказал я хозяину, подходя к одной избе.

— Эх, ты! — отвечал тот,— в плисовой поддевке ходишь, а в деревню ночевать повернул! Ступай в харчевню, да возьми особую комнату.

Я пошел в другую избу, тож получил отказ, в третью я не захотел идти, а как было еще довольно рано, то пошел дальше.

— Помогай бог! — сказал я, подходя к солдату, который вместе с малым лет двадцати убирал разными камушками сотку, то есть знак на шоссе, который ставят через каждые сто сажен.

— Спасибо, земляк, спасибо! — отвечали они,— вот, брат, сотки убираем.

— Много же вы их в день уберете? — спросил я.

— Да много: коли не поленишься,— отвечал солдат,— так в день-то сотки четыре уберешь. Я не работаю, я так, вот ему помогаю,— прибавил он, указывая на парня.

— Пустая работа,— сказал парень,— совсем пустая: работаешь, работаешь, пройдет скотина какая, а то человек какой, копнет ногой — опять работай. И добро бы большая краса была!

Стало вечерять, когда я подошел к Суслову. На шоссе выходит только один постоялый двор, или, по-здешнему, харчевня. В харчевне меня не пустили ночевать, хоть я и предлагал плату за ночлег.

— Ступай, брат, в деревню: мы сами нанимаем (значит — деньги платим),— отвечал мне дворник на мою просьбу, верно не надеясь на хорошую плату.

— Пусти, добрый человек, переночевать,— сказал я первому попавшемуся мне мужику.

— Милости просим,— отвечал тот,— милости просим! Пойдем в избу, закусим мало, чем бог послал.

Хозяин избы, очень благообразный мужик лет тридцати восьми только что вернулся с поля; подойдя к своему двору, он нашел у ворот своего сына, мальчика лет двух, взял его на руки, и мы вошли в избу.

— Не обессудь, добрый человек,— сказал он,— бедность! Я б тебя не так угостил. Малюха! — крикнул он, обращаясь к своей дочери, девочке лет четырнадцати,— малюха, накрой-ка стол, сядем, поедим; вот и странный с нами. Вот, брат,— сказал он мне,— вот у меня хозяйка! Сперва была и жена, да бог взял; хорошие люди, видно, и богу нужны! Осталось четверо деточек, да пятая вот хозяйка, а тут, на беду, еще выбрали в десятские... У нас десятские по выбору: выбирают на полгода, полгода отслужил, выбирают другого.

— Отчего же ты не женишься? — спросил я у хозяина,— этой хозяйке где же справиться со всем домом?

— Да видишь ты,— отвечал он,— хорошая за меня, видя нашу бедность, не пойдет, взять лядащую — какая будет хозяйка? Жену взять можно! А хозяйку в дом, мать детям — пройди весь свет, не отыщешь! Теперь дочке трудно, да без мачехи! Двух сынков: одному четыре года, другому шесть — отдал в пастушки, все с хлеба долой, да и малюхе моей все легче.

Помолясь богу, мы с хозяином сели за стол, который малюха (то есть маленькая) подвинула к окну; она же принесла молока, вареного картофелю, очень хорошего хлеба и сама села с нами. За ужином разговаривали мало, хозяин иногда потчевал меня или просил прибавить молока или подвинуть к нему картофель. Во время ужина я осматривал избу. Изба была довольно большая, довольно опрятная и с полом; у самого входа в избу налево стояла печь и на загнетке висел котел, а направо стол; иконы стояли в киоте в углу наискось от печи; киот был поставлен на четверь от лавки и потому под иконами нельзя было сесть, стало быть, и переднего угла не было. В четвертом углу стояла кровать — к лавке были еще приделаны две доски. Здешние избы похожи больше на чухонские; с новгородскими имеют они одно сходство: как псковские, так и

новгородские ставят в два этажа, хоть часто первый этаж занимается скотом.

Поужинав, малюха постлала отцу постель: подвинула к лавке скамью, положила постель — мешок, набитый сеном вроде перины, положила подушку, потом и мне, в качестве странного дала подушку. Мы с хозяином легли, а молодая хозяйка стала кормить двух своих маленьких братьев. Хозяину не спалось, мне тоже; но когда он стал рассказывать о будущем России, не думаю, кто бы мог заснуть. Он говорил о пользе железных дорог, но при этом прибавил, что настоящий вопрос об улучшении ⟨положения⟩ крестьян гораздо больше имеет значения для нас. На этот вопрос он сперва смотрел с религиозной, а потом и с экономической точки.

— Я человек вольный,— говорил он,— мне врать не из чего; поверь мне — лучше будет: мужик на барщине того не сработает, что на себя; да и так на барина не сделает, как для себя; и барину будет лучше, и мужику совсем хорошо. Не вовсе, знать, господь на нас прогневался!

— Эй! кто тут? — раздался под окном голос,— вставай скорей! — кричал кто-то, стуча кнутовищем в окно.— Вставай! Десять подвод нарядить надо!

— Ладно! — проговорил мой хозяин,— вот видишь, братец ты мой: день на работе, а ночь на побегушках, смаялся так... А на гóре — солдаты идут *вверх*...

— Куда вверх? — спросил я.

— А из Питера в Варшаву, пусто им будь! — отвечал тот, лениво одеваясь,— *вверх* у нас называется к Варшаве, а *вниз* — к Питеру... Зачем это солдат гонят туда?

Я молчал.

— А гонят много! — бормотал хозяин,— а зачем — господь их знает,— сказал он, выходя из избы.

Мне спалось дурно, и я слышал, как мой хозяин перед светом вернулся домой; он, войдя в избу, потихоньку разделся, подошел к кровати, на которой спала его дочь с маленькими братьями; потом лег. Едва стало рассветать, хозяин встал и разбудил детей. Дочь пошла доить корову, а сына, мальчишку лет трех, отец заставил *подпахать*, подместь пол.

— Надо к работе приучать,— сказал он мне,— смолоду не привыкнуть работать, под старость есть нечего будет.

Мы с хозяином простились, он с дочерью пошел на рабо-

ту в поле, я — на строящуюся чугунку; одни ребятишки остались дома; предложил было я хозяину за ночлег денег, но тот махнул рукой и ушел, так что я уже после него вышел из избы: он уже совсем собрался, а я еще собирался.

На строящейся чугунке я стал бродить между рабочими. Потолкавшись часу до одиннадцатого, я попросил у одного пить.

— Да у нас вода,— отвечал мне тот,— ты ступай вон туда — там квасом напоют.

Я пошел, куда мне было сказано, и вошел в крытую землянку. В ней две женщины, *очень опрятно одетые*, варили в огромных котлах обед для рабочих, около входа сидел какой-то мужик. Я у них попросил напиться.

— Изволь, родимый, изволь,— сказала одна из женщин, зачерпнула корцом квасу и подала мне,— кушай, родненький!

Квас был очень хорош, и я от души сказал спасибо, отдавая корец и усаживаясь в землянке.

— Какие вы щеголихи,— сказал я, обращаясь к поварихам.

— Да нельзя, родимый,— отвечала одна,— с нас спрашивают за это, сами ли в грязи, кругом ли грязь — за все спрашивают.

— Нельзя ли вам дать мне щей, я заплачу что стоит,— сказал я.

— И! Избави господи! Грош возьмешь — беда, прогонят. Так кушай, сколько хочешь... Да кстати, и щи уварились,— говорила женщина, налив щей, положив большой кусок говядины и подавая мне.— У нас на всех достанет, не то как у других хозяев.

— А вы чьих?

— А Гладина купца. Купец Гладин есть в Питере, там он подряд снял, выставлять рабочих на дорогу.

Первый раз мне случилось есть у рабочих такие щи, хоть бы в любом московском трактире подали вам таких, вы бы не обиделись. Пообедав, я пошел к другой артели, которая уже обедала.

— Хлеб да соль, братцы! — сказал я, подходя к ним.

— Милости просим хлеба-соли кушать,— отвечали мне, подвигаясь, чтобы дать место.

— Гладинские работники лучше едят,— сказал я, хлебнувши кашицы без говядины и даже без масла.

— Гладин хорошо кормит рабочих неспроста,— отвечал мне один,— сытый работник вдвое против голодного работает; кормит хорошо, ну всякому и хочется попасть к нему; у него что ни лучшие работники — плутует, значит.

— Да как же плутует? — спросил я, озадаченный таким заключением,— платит хорошо, кормит хорошо, значит, на правду дело ведет.

— Да так-то оно так!

— Гладинского хлеба много даром едят,— прибавил другой,— кто хошь приходи — квасу, хлеба, а то и щей дадут.

Рабочие легли отдыхать, а я пошел по чугунке в поле. Погода была не совсем хороша, но мне не хотелось идти в какую-нибудь деревню, и я присел около чугунки. Здесь места большею частию болотистые, а какие-то прохожие развели огонь, поленились затушить, болото и загорелось; на сажень кругом то в том, то в другом месте вспыхивал огонек; невдалеке пастушки, две девочки, одной лет восемнадцать, другой двенадцать, пасли стадо. Меньшая пробежала мимо меня, догоняя свинью.

— Перед дождем не удержишь свинью в стаде,— сказала она мне, вернув свинью,— чует дождь — бежит домой.

— Что же вы не гасите болото? — спросил я ее.

— На той неделе будем гасить,— отвечала она,— а то выгорит болото, скот пасти негде будет.

Просидев до сумерек, я пошел на каменную дорогу и вошел в первую харчевню: на варшавско-петербургской каменной дороге я не видал ни одной деревни, одни харчевни стоят уединенно, изредка к харчевне (то есть постоялому двору) присоседится кабак или конторка, как здесь называют волостные правления и сельские расправы.

— Ступай направо! — сказала хозяйка, когда я спросил у нее, можно ли ночевать.— Можно, отчего нельзя?

В той же корчме пристали и солдаты, которые вели арестантов; один арестант сильно натер ногу и не мог дойти до этапной станции. Хозяйка, слепая старуха, постлала всем постели, и арестантам, и солдатам, она очень хлопотала, чтобы расковать арестантов, но солдаты, несмотря ни на предложенные постели, ни на безденежный ужин, не решились исполнить ее просьбы. На другой день я пошел в Псков; зашел на почту справиться, нет ли ко мне писем, и ушел в Любятово, где пообедал и купил серебряную копейку, найденную в этот же день на том месте,

где стоял Грозный, когда шел громить Псков. Часа в четыре после обеда я был на псковской станции железной дороги, где просидел до восьми часов. Взял билет, сел в вагон... Дальнейшие происшествия считаю излишним повторять...

Письмо к редактору «Русской беседы»

Моя поездка в Псковскую губернию не удалась по причинам, совершенно от меня не зависящим, и именно по следующим. Расскажу вам случившееся со мною во всей подробности. Досаду, негодование, отвращение, словом, все испытанные мною ощущения я передавать вам не стану, да и некогда. Вы сами хорошо поймете это и без моих писаний. Ограничусь одним верным и беспристрастным изложением самого факта.

Объездив Талабское (по географиям Псковское) озеро, обойдя места около Изборска и Печор, я 22 августа пришел во Псков, где хотел дней на пять остаться потому, во-первых, что я немного простудился, а во-вторых, потому, что хотел привести в порядок свои отрывочные заметки.

Хозяева мои Егор Васильевич Васильев и его супруга были ко мне очень внимательны; желая их избавить от лишних хлопот, я сам отправился в полицию прописать свой паспорт. Это было часов в пять после обеда.

В полиции дежурный квартальный надзиратель сказал мне, что я для прописки своего паспорта должен идти в первую часть.

— Сделайте одолжение, пропишите мой паспорт! — сказал я какому-то чиновнику, входя в канцелярию первой части. Чиновник взял мой паспорт, посмотрел на него, потом взглянул на меня, и, кажется, его поразила моя одежда: я был одет по-русски.

— Вы губернский секретарь Якушкин? — спросил он, недоверчиво смотря на меня.

— Точно так.

— Я покажу ваш вид частному приставу,— сказал он.

— Как вам угодно,— отвечал я.

Этот господин пошел в присутствие к частному приставу; через минуту вернулся и пригласил меня идти к частному тоже в присутствие.

— Что вам? — спросил меня частный, сидевший за присутственным столом в белой рубашке и в халате нараспашку. Его высокоблагородию, видно, не хотелось сказать мне *вы*,

а с *ты* оно относиться ко мне не решилось, потому оно благоразумно избежало местоимений. Он держал мой паспорт, ему было сказано, зачем я пришел, он сам позвал меня в присутствие, а потому и вопрос его показался мне странным.

— Пришел просить записать мой паспорт,— отвечал я.

— Губернский секретарь,— грозно проговорил частный,— как же можно так одеваться?

— По роду моих занятий,— отвечал я со всевозможною учтивостью,— мне необходим этот костюм.

— Какие такие занятия, которые требуют мужиком одеваться?

Я подал ему письмо редактора «Русской беседы», которым подробно объяснялись мои занятия, требующие мужицкого платья.

— Все бумаги фальшивые,— сказал он, прочитав письмо какому-то господину, сидевшему за тем же столом. Тот господин посмотрел на бумаги, покачал головою и ничего не сказал.

— Подписи фальшивые, бумаги фальшивые! — повторил частный, обращаясь ко мне.

— Если фальшивые подписи, как вы думаете, то вы, как мне кажется, должны меня арестовать.

— Не разговаривать! — крикнул разгневанный частный так, что стекла задрожали.

— Я должен вам сказать, господин частный пристав, что я с вами как с частным человеком и говорить не хочу, а как частному приставу я должен вам отвечать на сделанное мне замечание, и как частный пристав вы должны меня выслушать.

— А, так!.. Пожалуйте, милостивый государь, в канцелярию... Посмотрим!

В канцелярии чиновники, слышавшие мой разговор с частным, недружелюбно на меня посматривали и вполголоса, однако так, чтобы я слышал, поговаривали о фальшивых бумагах. «Да и не фальшивый вид,— заключил один,— полиция по одному подозрению может всякого задержать».

— Не угодно ли вам немного потрудиться: пойти с господином квартальным в полицию! — сказал частный, входя через полчаса в канцелярию, видимо, желая сострить на мой счет. Угодно — неугодно, а надо было идти, куда приказано, и я, не говоря ни слова, отправился с квартальным в полицию.

— За что вас арестовали? — спросил меня провожавший меня квартальный.

— Не знаю,— отвечал я.

— Для чего вы одеваетесь мужиком?

Я ему объяснил и показал письмо от редактора «Русской беседы».

— Верно, вас завтра выпустят,— сказал квартальный, прочитав письмо.

— Как завтра? — спросил я, не веря в возможность арестовать человека на целую ночь безвинно, по одной прихоти. Квартальный не отвечал; ему было совестно исполнять приказание частного. Я это заметил, и мы замолчали. Я решился не давать воли своему гневу, этого требовало и благоразумие.

— Где дежурный? — спросил квартальный, когда мы вошли в полицию.

— Ушел почивать домой,— отвечал солдат-десятский из малороссиян.

— Позвать ундера!

Пришел унтер-офицер, по-видимому лицо в полиции значительное, которое солдат величал Николаем Федосеевичем Федосеевым; приведший меня квартальный шепнул ему что-то и скрылся.

— Пожалуйте в эту комнату! — сказал мне господин Федосеев, указывая на дежурную комнату, или, как здесь называют, на дворянскую (арестантскую).

— Сделайте одолжение,— сказал я ему, входя в дворянскую,— отошлите записку к полицеймейстеру, я сейчас напишу!

— Извините,— отвечал тот,— я не могу этого сделать: от г. полицеймейстера строгий приказ — не посылать к нему из полиции никаких записок.

— Я должен здесь ночевать?

— Должны.

— Не могу ли я у вас попросить псковских газет? Скучно так сидеть — стану читать.

— С большим удовольствием; я вам и свечку дам, читайте.

— Не хотите ли ужинать? — спросил меня г. Федосеев, входя ко мне затем с кипою «Псковских ведомостей» и «Русского дневника».

— Покорно вас благодарю,— отвечал я,— не хочется.

— Покушайте,— настаивал Николай Федосеевич,— щи славные! Может, у вас денег нет,— робко прибавил он,— так денег мне не надо: щи я вылью за окно — все равно мне их девать некуда.

Как ни совестно было отказаться от такого радушного и честно предложенного ужина, я отказался.

— Можно здесь курить? — спросил я у Федосеева.

— Курите, сколько хотите! — отвечал тот.— Только я боюсь пожара, так я солдата тут поставлю.

— Нет, не беспокойтесь, я курить в таком случае не буду.

— Курите, пожалуйста, солдат во всяком случае будет; курите — не курите, солдат тут обязан быть.

Федосеев ушел; я закурил папироску и стал просматривать «Псковские ведомости». В одном нумере этих газет было объявление о выходе книжки «Журнала Министерства народного просвещения», в другом — «Сына отечества»; других статей в литературном отделе не оказалось; но я никак не мог заснуть. Диван, на котором я сидел, был так устроен, что на нем не только лежать, но и сидеть было трудно довольно; да к тому же солдат, легший у дверей, довольно сильно оказывал свое присутствие.

— Вы не спите? — спросил он меня часу в двенадцатом.

— Да спать нельзя,— отвечал я ему.

— Э! Нельзя! Тут еще можно; вот, случается, в арестантскую запрут: там человеку и дышать не можно, народу оттуда не выпускают, там и паскудите, дух такой — быть нельзя,— проговорил солдат малороссийским выговором и опять захрапел.

Я снова принялся за «Ведомости» и никак не думал, что мне тотчас же придется побывать в арестантской, в которой *быть нельзя*, по отзыву солдата! Я захотел открыть окно; не зная хорошенько полицейских обычаев, я опасался разбудить солдата и потому довольно тихо подошел к окну.

— Куда ты, собачий сын? — крикнул проснувшийся солдат,— в окно хочешь выпрыгнуть! я тебя...

Как я ни уверял его, что не хочу да и не могу выпрыгнуть со второго этажа — солдат не верил. На шум пришел господин Федосеев.

— Вам не угодно было тут сидеть? — сказал он,— вы хотели выпрыгнуть в окно — пожалуйте в арестантскую!

Меня повели в арестантскую.

Вы знаете, что я хожу по деревням, выбираю избы для ночлегов поплоше; стало быть, к грязи присмотрелся, но такой грязи, какую я нашел в арестантской, не дай бог вам видеть: я буквально целую ночь присесть не мог: комната... нет, не комната, а подвал, довольно большой, перегороженный неизвестно для чего пополам, с мокрым полом, на котором *паскудят* и который никогда не чистят; с одним окном в четверть вышиной и в аршин длиной... И этот подвал никогда не отворяют!

— Ты за что попал? — спросил меня один арестант, мальчик лет восемнадцати, как я увидал на другой день поутру, потому что в арестантской огня не было.

— Не знаю, брат!

— Верно, стянул что?

— Нет, пока бог помиловал...

— А ты за что? — спросил я его в свою очередь.

— Да от барина сбежал; напился пьян да на улице и подняли. Вот одиннадцать дней, как держат, хоть бы в баню пустили.

Баня этому мальчику была необходима: каждый волос на голове буквально был усеян известными насекомыми.

— Что ж с тобою будет?

— А приведут меня к господам моим; те на ту же пору половину головы обреют, выпорют, а там через три дня еще выпорют, а там еще через три дня выпорют — до трех раз, да и оставят.

— А разве бывало уж с тобой это?

— В другой раз... Не знаешь ли ты, человек милый, сказки какой? Спать не хочется.

Я стал ему рассказывать историю Ветхого Завета.

— Однако я вижу, ты из книг говоришь,— сказал мужик, выходя из-за перегородки нашей арестантской и до того времени спавший.

— Верно, ты слыхал, а может, и сам читал эти книги? — спросил я его.

— Попы читают,— отвечал он, позевывая.— Скажи, человек душевный, за что тебя схватили? — спросил он меня.

— Я не мужик, а надел мужицкое платье; за это и посадили.

— Как, за мужицкую одёжу?

— Да, за мужицкую одёжу.

— Да разве мужик не человек?

На этот вопрос я не знал, что могу сказать, а потому и не отвечал ему.

— Мужик тоже человек! — убедительно говорил мой новый товарищ. Рассказывай, что в книжках читал! — прибавил он, немного помолчав. Я стал продолжать рассказ истории Ветхого Завета. Дошло дело до Иосифа.

— А, друг любезный,— спросил меня мужик,— Иосифа прекрасного?

— Ну да, Иосифа прекрасного.

— Говори, говори! — одобрительно проговорил мужик.— «Сидел Иосиф в темнице, в которой сидели также хлебодар и виночерпий...»

— Все равно как мы здесь в тюрьме сидим, друг душевный! — перебил меня мужик.— Присядь да рассказывай; что ты все стоишь? Присядь!

Я отказался от его приглашения: рассказывать мне наскучило, и я спросил мужика, за что он сидит.

— А вот, видишь ты, друг душевный, заболела у меня губа; пошел, друг душевный, к волхвам, а те волхвы дали мне траву — прикладывай, мол, к больной губе. И разнесло ж губу — сказать нельзя! Прихожу к барыне... а барыня у нас милосердая... «Ты,— говорит,— теперь человек убогий, ступай, сам корми свою душу». Вот в третьем году напился я пьян — завалился на улице; меня поднял Архипка, десятский здесь... переночевал. Поутру в присутствие к полицийместеру. «Зачем пьян напился?» — крикнул тот. Так и так: получил деньги за работу... «Посадить!»... Ну, друг любезный, здесь царство небесное; а не приведи тебе господь побывать в земском суде — просто быть нельзя!.. Повели меня, доброго молодца, из полиции в земский суд, продержали меня ровно две неделечки, а там отправили к становому в стан... У станового, я тебе скажу, друг любезный, сказать нельзя, как хорошо: выйдешь себе на крылечко, закуришь трубочку и сидишь... Становой мимо пройдет, крикнет: «Ел щи?» Ты ему, сам разумей, скажешь, ел, не ел ли. «Не ел? Дать щей!» Вот, друг любезный, продержали в Изборске в стану дней пять, послали к барыне, а барыня говорит: не надо мне его. Меня опять к становому, от него в земский суд, из суда в полицию, а тут уж выпустили.

— А теперь-то тебя за что взяли? — спросил я.

— Видишь, друг любезный, работал я у мужика... верст пять от города, хлеб убирал; хозяин привел меня в питейный. Деньги все мне отдал да и поил на свои. Было, друг душевный, выпито не мало! Пошел я домой, да и зашел под дилижансы; отыскали там меня да в полицию; было восемьдесят копеек — и те пропали!

— Слава богу! — сказал я.

— Какой — слава богу! Восемьдесят копеек, говорят тебе, пропали!

— На восемьдесят копеек опять бы напился, опять бы взяли,— сказал я.

— Куда ж деть? Напился б... а пожалуй, и взяли б — мне такое счастье! Как напьюсь — так и возьмут; и во хмелю хорош.

— Опять бы продержали неделю,— сказал я.

— Ну нет! Неделей не обойдешься: дай бог в месяц покончить; да и то еще как бог приведет!

— Теперь же что с тобой будет?

— Теперь опять в земский суд, а там к становому; становой пошлет к барыне, а та барыня опять скажет: «А ты мне не надобен». Опять поведут в стан в Изборск, а из Изборска в земский суд, а из того земского суда в полицию. А тут увидит полковник, полицеймейстер, скажет собачьего сына да и выпустит... Я ничего не боюсь,— прибавил он,— сидеть помалу случается, скучно бывает, а я духу не боюсь!

Рассвело. Было около девяти часов, приехал в полицию частный пристав.

— Где губернский секретарь Якушкин? К частному! Повели меня наверх.

— Как вы смели надевать ордена? — спросил меня ласковым голосом частный.

— Какие ордена? — спросил я, изумившись.

— Его видели в орденах в среду, а он не знает! — продолжал частный.

— Кто же видел?

— А вот кто! — сказал он, указывая на служащего в полиции чиновника, который был в присутствии.

— Да, я видел. Вы шли от собора,— заговорил чиновник,— я посмотрел на грудь, а грудь вся орденами завешана... Я еще подумал: какой молодец!

— В этот день вы не могли меня видеть в Пскове,—

отвечал я ему,— не только в орденах, но и без орденов: я в этот день был в Изборске у тамошнего благочинного.

— Это мы справимся,— сказал, улыбаясь, частный.

— Я вас прошу справиться.

— А вы, милостивый государь, в окошко хотели выпрыгнуть? — самым любезным голосом продолжал частный.

Не помню, отвечал ли я что-нибудь на этот вопрос. Кажется, нет. Приехал полицийместер. С первого раза видно было, что он человек, что называется, добрейший, с ловкими добрейшими манерами и веселого нрава...

— Зачем вы приехали в Псковскую губернию? — спросил он, когда меня снова ввели в присутствие. Я ему вместо ответа показал письмо от редактора «Русской беседы».

— Где вы учились?

Я ему сказал.

— Да, вот ваши бумаги, возьмите их! Где вы остановились? — спросил он.

— У Егора Васильевича Васильева,— отвечал я.

— В конторе рижских дилижансов? Знаю! Прощайте, можете идти куда угодно!

— Позвольте, полковник,— заговорил я, немножко обиженный такой милостью.— Ежели я виноват, то должен быть наказан: я не хочу от вас никакой милости; а ежели понапрасну меня задержали здесь целую ночь, то вы должны наказать того, кто меня сюда посадил.

— Да чем же вас обидели? — спросил меня полицийместер.

— Как чем? — спросил я, удивленный этим вопросом,— целую ночь просидел здесь... Разве я подозрительный человек?

— О нет,— отвечал он,— было бы хоть мало подозрения, я б вас не выпустил! У нас это не считается за порок,— продолжал любезно полицийместер,— у нас свои чиновники... и тех сажают.

— Ваши чиновники могут не обижаться.

— Что вы хотите? — прервал он меня.

— Позвать прокурора и объявить ему это происшествие.

— А-а!.. К губернатору! — крикнул полицийместер. Квартальный надзиратель с будочником повели меня, но не к губернатору, которого в Пскове в то время не было, а к какому-то «начальнику» управляющему губернией. Это-

го начальника на ту пору не было дома. Через четверть часа приехал полицийместер.

— Его превосходительство едут,— торопливо проговорил дежурный чиновник, взглянув в окно. Полицийместер вышел в сени, поговорил о чем-то с его превосходительством. Вошло его превосходительство.

— Я думаю послать за справкой в Малоархангельск, в земский суд,— сказал он, просмотрев мои бумаги.

— Помилуйте, ваше превосходительство! — сказал я, вспомнив недавние рассказы о том, как в полиции и земском суде скоро дела делаются,— это долго протянется...

— Довольно долго, а вы пока посидите в полиции!

Меня обратно привели в дворянскую. Минут через десять вошел ко мне полицийместер, наговорил любезностей, назвал меня «мой милый» и ушел. Едва успел он уйти, как вошел старик квартальный.

— Что ты задумал? — закричал он,— с самим полковником (подполковников в этом быту всегда величают полковниками)... (энергическое слово). Да и как ты, губернский секретарь, смел носить мужицкое платье? Я тебя в Сибирь упеку (энергическое слово)... Я своему государю подпоручик, хоть худенькое платье, да все дворянское...

Вовсе не чувствуя самолюбие свое оскорбленным квартальническою бранью и не желая перебранкою становиться с ним на одну доску, я ему не отвечал ни слова, несмотря на то что эта брань продолжалась более часа. К вящему моему удовольствию, этот господин не позволял затворять дверей, и все просители, приходившие в полицию, считали долгом *подивиться* на меня.

Был час уже четвертый, а есть мне не хотелось, и я снова не мог не отказаться от предложенного мне Николаем Федосеевичем обеда.

— Милый мой! — проговорил полицийместер, входя ко мне в дворянскую на другой день поутру.— Зачем вы здесь сидите?

— Вам угодно было посадить меня.

— Ступайте, сейчас же ступайте!

Я вышел. Расстроенный, не евши и не спавши почти двое суток, я не захотел ни минуты оставаться во Пскове и ушел в город Остров. В это время я переменил свою поддевку на худенький кафтанишко. На третий день возвратился во Псков и взял билет, чтобы по чугунке ехать

в Петербург. Я был уже в вагоне и очень спешил уехать. Почему-то все еще боялся приключений. К несчастью, мои опасения оправдались. Когда я думал, обойдется ли дело без них, раздался громкий голос в дверях вагона:

— Кто здесь в очках?

Дело очевидно касалось меня, но я промолчал.

— Да тут нет в очках,— проговорил какой-то мужичонко.— Лезь под лавку! — шепнул он, толкая меня локтем. Я не решился на этот подвиг.

— Я его узнаю, сейчас же узнаю! — кричал какой-то квартальный, влезая в вагон, и, с этими словами схватив меня за ворот, вытащил из вагона. Этот квартальный, как после оказалось, имел удивительные предчувствия; они, по его словам, никогда его не обманывали и, к несчастью, эти предчувствия заставляли его думать обо мне бог знает что. Здесь же был и частный.

— Э! — кричал квартальный,— да ты не простая птица! Пять минут назад своими глазами видел тебя в плисовой поддевке. Ты у меня заговоришь! Зачем переодеваешься?

— Пять минут назад вы не могли видеть меня в плисовой поддевке; гораздо раньше я ее переменил,— отвечал я.

— Каков! — продолжал квартальный, обращаясь к частному.— Своими глазами видел его в плисовой поддевке; я за ним два часа смотрел.

— Я сам видел,— решил частный.

— Что ты на это скажешь? — грозно крикнул квартальный.

— Нельзя ли слово *«ты»* выкинуть из вашего разговора? — сказал я. Квартальный было расходился, но частный его усмирил. Около нас собралось довольно много мещан и мужиков. Из этой толпы слышались слова: «Ученого схватили...» Эти слова произнесены многими с заметным ко мне сочувствием. Квартальный с частным поехали к полицийместеру, а меня будочник повел в полицию, откуда приехавший за мной квартальный повез к полицийместеру.

— Здравствуй, мой милый! — сказал мне полицийместер, когда я вошел к нему.— Какой костюм!

— Скажите, полковник,— спросил я,— за что меня схватили?

— За переодеванье, мой милый!

— Пять минут назад я видел его в плисовой поддевке,— проговорил, улыбаясь, частный.

— И я тоже,— подтвердил квартальный,— мы его караулили.

Опять повели меня в полицию, где я высидел снова шесть дней! Я хотел писать в Москву, в Петербург к своим знакомым, но мне не позволили. На третий день мне задали какие-то *вопросные пункты:* какого я вероисповедания? Женат или нет? Есть ли дети и где оные находятся? Знаю ли я грамоте и т. п. Я тотчас же написал, что я вероисповедания православного, холост, грамоте знаю, и отдал эти *вопросы* квартальному, который мне сказал: напрасно поторопились — эти бумаги раньше недели никуда не пойдут.

Сидели ли вы в карцере? — скучно сидеть одному! Но вы не можете себе представить, что испытывает человек, когда его не оставляют ни на минуту одного, а в моей комнате постоянно и день и ночь сидел десятский.

— Христа ради, позвольте мне написать моим знакомым! — несколько раз говорил я полицеймейстеру.

— Пишите, мой милый, пишите, *мечтайте!* — обыкновенно отвечал он. Но вот беда: никто не брался отнести мои письма на почту, боясь учинить беззаконие. Погода была дурная и довольно холодная; полицию стали оклеивать новыми обоями и все окошки открыли.

— Позвольте мне хоть одну строчку написать в Москву! — сказал я полициймейстеру, когда тот на четвертый день вошел ко мне и успел уже назвать меня «мой милый».

— Пишите кому хотите!

— Здесь никто не берется отнести мои письма на почту — прикажите!

— Эй, квартальный! — крикнул полициймейстер.— Я тебя...

Не помню хорошенько всей фразы, сказанной полициймейстером квартальному; могу только сказать, что эта фраза была очень энергична.

Разумеется, я воспользовался этим позволением и тотчас же написал три письма. Позволение я получил в исходе двенадцатого часа, по почте принимают до двенадцати часов; я торопился, и, верно, мои письма не совсем складно были написаны. Одно из них было адресовано к одному довольно значительному лицу в Москве...

— Скажите пожалуйста,— говорили мне потом в полиции.— Видно, по вашим письмам, да и вы сами говорите, что вашими занятиями интересуются *такие* люди; как же они допускают вас до такого положения?

— Как до такого?

— Да помилуйте, худой кафтанишко!

Этим господам я никак не мог растолковать, для чего я ношу такое платье.

— Что вы здесь делаете, мой милый? — спросил меня полицийместер, входя ко мне на шестой день в дворянскую.

— Помилуйте, полковник, отошлите меня в острог, здесь быть нельзя, вы сами видите!

— В остроге хуже... А даете ли мне слово выехать из Пскова нынче же?

— Непременно выеду!

— Ну прощайте, мой милый! Ничего об нем не писать! — крикнул полицийместер в канцелярию. Я в тот же день уехал из Пскова.

Как ни неприятны мне воспоминания об этой истории, но и в ней мне видны светлые минуты: с искренним удовольствием я вспоминаю участие, которым я пользовался от унтер-офицера Н. Ф. Федосеева; никогда не забуду жены десятского, которая приходила ко мне с предложением поиграть в мельники. Трудно представить себе, как эти добрые люди, видя человека в несчастии, искренно, родственно желали облегчить минуты тяжкого моего плена. Посылаю им привет, жму руки им и десятскому, который заподозрил меня и засадил в арестантскую не дворянскую — *в ней же быть нельзя* — и который после совестился взглянуть на меня и избегал со мною встречи!

Долгом считаю сказать: 1) что ни Николаю Федосеевичу, никому из десятских, ни их женам я не дал ни копейки; да и никому из полицейских чиновников, кроме древней серебряной копейки, которую я отдал сам квартальному подзирателю под сохранение и которая, я уверен, будет мне возвращена; 2) что никто моих бумаг (у меня других вещей с собой не было) не осматривал; три раза арестовывали без допроса; три раза выпускали, и каждый раз выпускали, говоря, что я человек не подозрительный; 3) обо мне никаких справок не делали.

Если полиция находила мой вид незаконным, то не

имела права меня миловать. Если находила мои бумаги фальшивыми, как же меня выпустили? Если свидетельство чиновника о надеванных будто бы мною орденах и квартального, хваставшего предчувствиями о моем переодеванье, были уважительны, отчего не было произведено следствие? Если они ложны, то как же допускать подобную легкость лжесвидетельства с личностью и терпеть таких людей в полиции? Как можно так обращаться с личностью человека? Этот произвол не выкупается ни гвардейскою любезностью полициймейстера, ни позднею учтивостью частного пристава.

III. Из Устюжского уезда

Пестово, 20 июля 1860 года.

Дорогу от Боровичей до Пестова, в особенности первую половину ее, никак нельзя назвать веселою: вся она идет редким мелким лесом. Сначала, пока не надоест своим однообразием, она довольно красива, совсем не похожа на большую, не шире проселочной и извивается, точно проселочная, да и самых верстовых столбов на ней не было, их ставили только при мне, по случаю проезда губернатора; но ехать такими однообразными местами и мелколесьем, из-за которого ничего не видно, более ста верст, согласитесь сами, не очень весело! Изредка только мелькнет какое-нибудь озерцо и опять то же, то же и то же... Правда что в одном месте приходится ехать верст пять по берегу Меглина, довольно большого озера верст двадцать в длину, и здесь открываются виды великолепные, но эти какие-нибудь пять верст совершенно теряются в несносных ста верстах. Да и самый лес до крайности однообразен: большею частию бор, то есть сосновый, а частию ельник; попадается иногда осина, а еще реже береза! Проехав озеро, я заметил вправо от дороги за речкой Меглиной, которая здесь выходит из озера, несколько курганов, по-здешнему, сопок; с дороги их можно насчитать до шести; на некоторых из них растут столетние деревья.

— Это какие курганы? — спросил я своего ямщика.

— Это не курганы, это сопки! — отвечал тот.

— А много их!

— Да десятка два будет.

— Не знаешь, откуда они взялись?

— Нет, не знаю; старики, может, и знают.

Проехав версты полторы, мы приехали в деревню Устюцко, в которой по случаю ильина дня и на улице, и в харчевне шел пир горой; на улице девки и бабы в нарядных сарафанах, некоторые в кумачных, взявшись за руки, шли в ряд и распевали песни, только девки отдельно от молодиц. В харчевне старики угощались по-своему. Я велел своему ямщику остановиться и зашел в харчевню. В одной комнате сидели за столами по нескольку человек, довольно подпивших, и обедали, а в другой пили чай и водку. Шум как в той, так и в другой был страшный, но ни одного неприличного слова я не слыхал: разговор был большею частию назидательный.

— Старца убить — не спасенье получить! — слышалось из одного угла.

— У бабы сердце — что у кошки! — неслось из другого,— кошку рассердишь, вцепится, не скоро оторвешь; ну, и бабу разозлишь — не вдруг отгонишь.

Я спросил водки, велел поднести ямщику и сам выпил; хозяин на закуску дал кусок рыбного и кусок хлеба, испеченного из гороховой и ржаной муки. Закусив, я сел и закурил папироску; ко мне подошел какой-то пономарь.

— Не знаете ли вы,— спросил я у него,— какие это сопки у вас за речкой?

— Как не знать — знаю! — отвечал тот.

— Какие же?

— Ты хочешь рыть, что ли?

— Да что ж там рыть?

— Я знаю, я тебе укажу: в одном золото, в другом серебро, а в третьем церковные сосуды.

Нельзя было не заметить, что мой собеседник, вероятно, по случаю ильина дня, сильно подгулял.

— Коли вы верно знаете, где золото, и серебро, и церковные сосуды, так отчего же сами не берете? — спросил я его.

— Как же я один буду рыть? Вдвоем-то я знаю как...

— Да какие это сопки? — перебил я его.

— Эти сопки еще с литовского разорения, еще...

Хозяин перебил наш разговор, войдя с чашкой пива, которым стал угощать меня и от которого я не хотел отка-

заться, в чем и не раскаивался: пиво было так хорошо, что лучше и желать нельзя было.

— Сами пиво варите? — спросил я хозяина.

— Сами, ваше здоровье!

— Как же: в ссыпчину, братчиной?

— Нет, всяк сам по себе!

Выкурив папироску, я вышел на крыльцо, где стояли несколько баб, и самую хорошенькую, как я после узнал, невестку хозяйскую, мой ямщик довольно бесцеремонно целовал и обнимал. Я сел на телегу, и мы тронулись.

— Кланяйся, Капитонушка, сестрице, братцу, деткам, всем, всем! — кричала хозяйская невестка моему ямщику.

— Хорошо, буду кланяться,— отвечал ей ямщик.— Она из нашей деревни,— прибавил он, обратясь ко мне.

Часов в шесть вечера мы приехали в Пестово, мне не хотелось дальше ехать, и я, закусив, пошел по деревне. Избы выстроены обыкновенно, по-новгородски в два этажа; верхний для жилья, нижний для скота; двор весь крытый, как говорят, от снега; против каждого двора через улицу — холодное строение для амбаров и тому подобное. Так как здешняя сторона лесистая и лес почти нипочем, то все крыши деревянные. Избы, двери, сарай — все покрыто дранью особенным образом: избы рубятся из толстых бревен до крыши со всех четырех сторон; после с передней и с задней стороны из таких же бревен надстраиваются треугольники, на которые кладут переплеты, далеко выпуская их вперед; к этим переплетам прикрепляют деревянные крюки толщиною в руку. Крюки эти обыкновенно делают из молодой ели; ель срубают с частию толстого корня, который стелется по земле, а на эти *крюки* кладут *желоб*, выдолбленный из толстого бревна; потом настилают на крыше драны, вкладывая нижний конец в желоб, и наконец верхние концы как с той, так и с другой стороны покрывают одним желобом. Верхний желоб называется *князем*. Если драны коротка, то кладут еще желоб или два между нижним желобом и князем, нижний из них подпирается распорками, упираясь в самый нижний, следующий такими же распорками во второй желоб и так далее, таким образом, на всю крышу не требуется ни одного гвоздя.

— Долго эта крыша может простоять? — спросил я одного мужика, который подошел ко мне.

— Хорошо покроешь,— отвечал тот,— лет двадцать простоит!

— Да ведь нижние концы в желобе, да и сам желоб гниет, как же лет двадцать простоит?

— Нельзя, чтоб не гнило, а все простоит.

— Которая крепче крыша: так крытая желобами да распорками или крыша, пробитая гвоздями?

— С гвоздями крыше не устоять двадцати лет!

— Отчего же?

— От железного гвоздя дерево сильно портится, а в нашей крыше одно дерево, чему тут портиться.

— И все так кроют?

— Да обличь нас все так*.

Я разговорился с этим мужиком; мы подошли к моей квартире и сели на крылечко. Он, как оказалось, был тоже не здешний, только не дальний, и приехал *стоять на стойку*, то есть он обязан был возить чиновников земской полиции и рассыльных и поэтому простоять известное число дней, когда его сменит другой.

— Почем у вас теперь пуд сена? — спросил я.

— У нас теперь сено на пуд не продают,— отвечал он,— теперь у нас с нови-то продают копнами.

— А копна почем?

— Да копеек двадцать пять, а то и двадцать.

— В копне много пудов?

— Да поболе пяти будет.

— И всегда оно у вас так дешево бывает?

— Какое всегда! Зимой сами по тридцати копеек за пуд покупать будут! Зимой дорого!

— Так для чего же теперь продают?

— Поди ж ты! — Мой собеседник зевнул, перекрестился сказал: — Господи! прости мои прегрешения! — и замолчал.

— Ну а хлеба́ у вас как?

— Да и хлеба́ плохо! Все как есть градом поколотило!

— Как все?

— Все как есть! Какая пенька была! Как серпом срезало, ни одной былочки живой!

— И много десятин?

— Да всего-то будет со всем: с рожью, с овсом, с житом** — всего будет десятин с пять!

* Обличь — по близости.
** Жито — ячмень.

— Это у тебя одного?

— Нет, у меня да еще у церковников; всех-то десятин с пять.

— А как у вас хлеб родится?

— Да если положить хорошенько навозу или на *лединах* — на этих лединах делают росчисть, так хлеб хорошо родится, а в первый год, я скажу тебе, и сказать нельзя, как хорошо!

— Как вы это делаете?

— А вот как: выберешь ледину... лесок меленький... так, в оглоблю, а то и в слегу, так дела нет. Выберешь ледину, да не на болоте, а на высоком месте, на болоте какой будет хлеб? Выберешь ледину: с лета срубишь лесок, повалишь его, он за лето-то и попросохнет, пролежит зиму, а на весну около Николы вешнего и заорешь... Заорешь да и сей сейчас же хлебушко.

— Для чего же вы жжете лес? — спрашивал я.— Можно бы лес свезти куда-нибудь, продать.

— А кто его купит?

— В город свезти, там на дрова купят.

— В нашем городе, в Устюжне, никто тех дров и не купит; у нас хорошие дрова сорок копеек сажень.

— Вы поэтому их и жжете?

— Нет, не поэтому, это только раз; а вот и два: надо землю пережечь. Как зажжешь лес тот и он сгорит, после и смотришь, на котором месте земля не перегорела, наберешь дров, на то место положишь да и зажжешь: надо и тому месту перегореть.

В Псковской губернии я видел, чухонцы тоже делают расчистки*; они жгут тютежи, кладут лес, на него насыпают земли, после того зажигают, земля перегорает, и эту землю после рассыпают по полю; этим способом при меньшем количестве леса перегорает большее количество земли. Но так труднее, надо землей обсыпать собранный в кучи лес и потом эту землю рассыпать по всему полю, тогда как устюжский способ не требует таких хлопот: надо срубить только лес и после зажечь, а не собирать его в кучи, не обсыпать землей, не разметывать после эту землю по полю.

К нам подошел хозяин, у которого мы остановились.

---

* В других местах расчистки называются кулигами. Замечательно, что в летописи Велички встречается слово «пядина».

— О чем это вы калякаете? — спросил он нас.

— Да вот, с его степенством про ледины толкуем, как расчистки делать,— отвечал мужик.

— Какой же вы хлеб сеете на лединах сначала?

— По боровым местам рожь.

— По каким боровым?

— По таким, где бор был, сосна росла.

— Ну а не по боровым?

— Там лучше жито родится.

— Это правда,— сказал хозяин, садясь к нам,— по боровым родится такая рожь! Сама-двенадцать бывает! А по ельнику лучше не сеять ржи; сей сперва жито, а после рожь... Так уж заведено...

К нам стали подходить один по одному мужички, и наконец около нас собралась довольно порядочная кучка.

— Отчего вы не орете ваших сопок? — спросил я.

— Да как же можно их орать? — отвечали мне,— они не теперь стоят, они насыпаны еще в досельные годы*; еще в литовское разоренье их насыпали.

— Давно это было?

— Ни деды, ни прадеды не помнят. Старики только помнят про литовское разоренье, а молодые которые, так и не слыхали про литовское самое разорение, даже было ли какое разорение — и того не знают.

— Для чего же сопки насыпали те в литовское разорение? — спросил я у разговорившихся мужиков.

— Как для чего? У кого есть золото, серебро, положат да и насыпят — вот тебе и сопка! А то церковные сосуды, оклады с образов тоже в сопку!

— А вот у нас в Вышнем Волочке,— стал говорить другой мужик,— тоже в досельные годы, тоже в литовское разорение, куда деть церковные сосуды, колокола, оклады с образов? Вот и спустили их в реку...

— В какую реку?

— Да забыл какая, так, речонка какая-то. Это ведь не в самом Вышнем Волочке, а в селе Грибне; так в том селе Грибне и опустили колокола, сосуды, оклады в тую реку; так как пойдет, бывало, в церкви какая служба, у них под водою пойдет своя; старики говорят, что сами слыхали звон колокольный.

* Давнишние, досейные, то есть до сего времени.

— А ты слыхал?

— Нет, я не слыхал, а старики сказывали, что слыхали...

— Когда к земле ухом приложиться,— перебил другой.

— Нет, так было слышно, особенно на Светло Христово Воскресенье ясно было слышно.

— Отчего же перестал звон?

— Звон не перестал, перестало слышно только, а звон есть,— отвечал утвердительно рассказчик.

— А отчего же перестало слышно?

— Ну это так бог дал.

— Сопки есть у вас около Вышнего Волочка?

— Есть и сопки, есть и там клады.

— Давно ли же они положены?

— Все в литовское разорение; какой положен с заклятием, а какой и просто без заклятия; найди только, а то без всего, прямо бери.

— Что же, находил кто-нибудь?

— Находили, да малость. А то приезжали большой клад искать, да не нашли; видишь ты, обличь того же Грибна был погост Шибаново; сперва церковники перевели тот погост Шибаново в Грибно; захотели церковники на народе жить; теперь, как пошла размежевка, они опять размежевались по-старому; а это было в ту пору, когда они жили в деревне, приезжали мужики отыскивать клад; в записи у этих мужиков были записаны приметы клада, только там было написано: «Ступай в погост Шибаново, что близь Грибна». Приехали мужики, спрашивали, где погост Шибаново; им никто не сказал: все забыли; искали, искали, с тем и уехали, ничего не нашли. После, когда они уж уехали, старики вспомнили, что Шибановым назывался прежний погост.

— А у нас так из Новгорода чиновник приезжал лет десять тому назад, чиновник приезжал вместе с исправником; рыли они сопки; вот как поедешь отсюда к Устюжне, так не доедешь до Мологи с версту так, там сопки есть... Только они рыли маленькие сопки, а больших не трогали; рыли, рыли, все ничего не нашли, никакого клада, нашли какой-то церковный сосуд да бусы, и только...

После мне говорили, что чиновник этот был Игнатьев; я после осматривал курганы, которые он разрывал; мне кажется, что они стоят того, чтобы ими подробнее заняться. Г. Игнатьев или другой господин, который рассматри-

вал эти курганы, не имел или средств, или, может быть, времени; у него работали два дня десять человек, и, если он с таким числом людей и в столь короткое время нашел такие вещи, то, вероятно, при бóльших усилиях можно добиться бóльших результатов.

Было уже довольно поздно, пригнали из поля скот, и здешние мужики, ездившие в соседние деревни на праздник (на престольный), стали возвращаться домой, только не всем равно посчастливилось.

— Откуда бог несет? — спросил мой хозяин возвращавшихся в двухколесной таратайке двух мужиков.

— Из Тимофеева,— отвечал один, поздоровавшись с нами шапкой,— да только плохо пировали.

— Что так?

— Да так! Приходит к Левкиным какой-то мужичонко, просит пива; ему поднесли; просит еще — еще поднесли, просит опять — надоел, его и выгнали; выгнали мужика, а тот и кричит: «Не почли меня! Весь праздник дуром поставлю!» Что же ты думаешь? Напустил на Тимофеево пчел, пять столбов (ульев) шельмец этакий напустил! Пчелы весь народ, коней, всех перепятнали. Напали на моего коня — я перерубил гужи, отпрячь не успел коня, перерубил да в воду! Тем только и спас его, совсем было заели.

Знаменское, 21 июля.

Чем ближе подъезжаешь к Мологе, по большой устюжской дороге, тем лес становится крупнее и преимущественно бор, то есть лес сосновый. Однако это, верно, нужно приписать особенному случаю: ямщик мне говорил, что их помещик завел у себя правильную рубку леса; большие деревья он рубит, небольшие оставляет и строго смотрит, чтоб их напрасно не портили. Так у него заведено давно, поэтому немудрено, что в его лесу встречаются чаще, чем в других лесах, большие деревья. Кстати здесь замечу, что от Боровичей до Мологи, как я уже говорил, лес преимущественно бор, ельник; попадается осина и очень редко береза. За Мологой к Устюжне лес гораздо мельче; строевого леса я не видал, чаще попадается береза.

Жаль смотреть, как уничтожаются здесь леса: не говорю уже о лединах, выжигаемых на местах, где растет мелкий лес; макушка (верхняя часть дерева), деревья вершков пяти

в отрубе часто идут на ледину; также нередко попадаются деревья вершков восемь — десять в отрубе, которые лежат поперек дороги и гниют.

— Вот здесь чиновник с исправником копали сопки,— сказал мне ямщик, не доезжая с версту до реки Мологи.

Я велел остановиться и пошел посмотреть на курганы; один, ближний к дороге, был разрыт. Судя по вынутой земле и глубине ямы (не глубже одного аршина) должно думать, что работали мало. Через десять минут мы переезжали на пароме реку Мологу, и перевозчик вступил с моим ямщиком в разговор.

— Кому праздник,— говорил он,— а нам в праздник работы куда больше против простого дня! Вчера на праздник так валом и валили! Туда на праздник-то поехали такие-то радостные; ну а с праздника все перемеченные; кто ни ехал, всяк хвалился!

— Да и в Пестове говорили,— сказал ямщик,— какой-то мужик пчел, что ли, напустил?

— Напустил! Ни одного человека, ни одной лошади не осталось нетронутой, всем досталось.

— Как же это он сделал? — спросил я.

— Да это-то сделать просто,— отвечал перевозчик,— у нас было до семидесяти столбов (ульев), в один час все поднялись!..

— Подняться-то, положим, поднялись; положим, это и сделать легко; как же можно сделать, чтоб они летели, куда он прикажет?

— Поди ж ты! Кажись, и не завозжены, а посылает куда вздумается! Нам с тобой не сделать, а ему стоит плюнуть!

— Велик проезд здесь? — спросил я у перевозчика.

— Теперь стал велик; не было чугунки, езда была по Тихвинке, там был главный тракт; построили чугунку — вся езда перешла сюда; по Тихвинке, почитай, никто и не ездит.

Переехавши Мологу, мы опять пустились по большой дороге, а проехав версты две-три, свернули на проселочную, которая почти ничем не отличалась от большой, тоже ехали лесом, те же ветви лезли к нам в телегу, те же полосы засеянные хлебом, часто не шире одного аршина, выбегали на дорогу. Я заметил несколько сосен вершков десяти в отрубе, у которых все сучья были обрублены, и только на самой верхушке было оставлено несколько веток.

— Для чего это очищают сосны? — спросил я своего ямщика, указывая на подчищенные сосны.

— Да так, мужик вздумает смех сделать, возьмет да сучья все и посрубит.

— Сосна ведь может засохнуть.

— Беспременно засохнет,— отвечал ямщик, подхлестывая правую пристяжную.

Кто езжал на ямских лошадях, тот мог заметить, что правую пристяжную чаще других поощряют кнутом; часто ямщик и не для поощрения ее подгоняет, а так, от нечего делать, для своего развлечения; поэтому на правую сторону запрягают такую лошадь, которая не очень много обращает внимания на такие усиленные поощрения.

Чем дальше отъезжаешь от реки Мологи, тем чаще можно видеть сосны, из которых мужик смех сделал, то есть с обрубленными ветвями. Вспомнил я Н. А. Е⟨лагина⟩. «Малороссиянин,— говорил он,— понимает красоту в дереве, в цветке. «Какой цветок хорошенький,— скажет он,— как это дерево распустило ветви!» Русский совсем иначе смотрит на это дерево: славное бревно (слега, оглобля) выйдет из этой березы!» Мне кажется, он прав; при Мологе дерево приносит пользу: там можно дерево срубить и сплавить в Нижний; чем дальше от сплавной реки, тем дерево дешевле, а в некоторых местах и совершенно теряет всякую ценность; вот мужик и делает из него смех. На цветы русский тоже не обращает сильного внимания. Приведу отрывок известной песни:

Вырастала трава шелковая,
Расцвели цветы лазоревые,
Как пошли духи малиновые;
Уж я той травой выкормлю коня...

Русский скоро нашел *полезное* употребление и траве шелковой, и цветам лазоревым!..

Воскресенье, 24 июля.

Я познакомился с А. Ф. Румянцевым, который уже давно здесь управляет несколькими деревнями, и он сообщил мне следующее. Здесь сеют следующие хлеба: рожь, овес прос-

той и иркутский, ячмень, который здесь называют житом; сеют также лен и коноплю, но только не для продажи, а для домашнего обиходу; из конопли для поста бьют масло, а из пеньки веревки вьют; лен на рубашки идет. Яровой пшеницы сеют мало, и то только помещики; а озимой пшеницы, гречи, проса совсем не сеют. Ржи высевают на десятину одну четверть; она родится сама-сема (седьма) и сама-шеста, а иногда и сама-десята. Средняя цена ржи здесь три рубля серебром; но когда на низу недород, то доходит и до пяти рублей серебром; здешний же урожай на цену хлеба не имеет решительно никакого влияния.

Овса обыкновенно высевают на десятину три четверти, а иркутского — две; простой овес дает сам-три и сам три с половиной, а иркутский сам-пять. Цена ему от одного рубля восьмидесяти копеек до двух рублей серебром. По открытии московской чугунки овса много идет в Вышний Волочок. Ячменя на десятину высевают полторы четверти; он дает от сам-четыре до сам-восемь и до сам-двенадцать; средняя цена ячменю три рубля серебром. Ржи сеют в августе и стараются кончить посев к пятнадцатому числу и никак не позже двадцатого; но случается опоздать, тогда сеют и в сентябре. Если в ручьях и озерах вода пересохнет за лето, то сеют новыми семенами, а не просохнет — старыми. Старая вода — старые семена,— говорят здесь; новая вода — новые семена. Овес начинают сеять до ильина дня (20 июля) за десять недель, за девять и на восьмой неделе — настоящий сев. «На осьмой неделе овес всяк валом валит»,— как говорит народ. Яровую пшеницу сеют в начале мая до десятого числа, следовательно, ранее овса, потому что она боится осенних морозов. Ячмень, коноплю, лен сейчас же сеют после овса.

Сенокосы убирают поздно, некоторые после уборки хлеба, то есть в конце августа и даже в сентябре. Рожь начинают жать после ильина дня, продолжают жать и в августе. Сперва вкладывают снопы в груды: поставят один сноп, кругом его приложат восемь снопов навкось так, чтобы только колос лежал на среднем снопе, а огузок (нижняя часть снопа) — в некотором расстоянии, а сверху покрывают снопом, который ставят огузком вверх, а колосьями закрывают колосья нижних снопов. Эти груды оставляют на несколько дней, пока подсохнет рожь, а потом сво-

зят их на одрах* и складывают в скирды, груд шестьдесят — семьдесят в каждой, тут же в поле; гуменников здесь нет. Здешние поля непременно требуют унавоживания под каждый озимый хлеб, а потому все посевы близки к жильям, все скирды у всех на глазах и не требуют особенного сторожа.

В начале августа убирают ячмень, а около десятого числа овес. Овес кладут в груды, в которых только пять снопов. Здесь как рожь, так и ячмень и овес никогда не косят, а всегда жнут. Коноплю и лен убирают около десятого — пятнадцатого сентября. Когда худо родятся конопля или лен или мало того и другого, то эти хлеба сажают на один овин, потом молотят и опять-таки вместе мочат, а ячмень, говорят, поспевает из засеков в засек (закром в амбарах) в шесть недель, то есть возьмут из засека на посев ячмень, и через шесть недель он успевает созреть, его уберут, перемолотят и свезут в засек**.

Я уже говорил, что лес здесь не берегут; причину этого немудрено понять: он здесь очень дешев. Г. Румянцев мне говорил, что лес при хорошей сплавной реке почти что нипочем. К владельцу леса приезжает покупщик, считает, сколько дерев пятерику, шестерику, семерику, осьмерику (то есть пять, шесть, семь, восемь вершков в отрубе), и за каждый из этих пней дает не дороже пяти копеек серебром. Если же лес не на сплавной реке, то такому лесу нет никакой цены. После полюбовного размежевания побольше стали беречь леса, некоторые помещики приставили даже сторожей; а до размежевания, когда леса были въезжими, государственные крестьяне, у которых не было своих лесов (да если они и были, то им не позволяли уничтожать этих лесов), покупали у господских мужиков еловую кору для крыш по пяти копеек ассигнациями с дерева. Мужик ехал в лес, рубил лучшие деревья, потому что с небольшого дерева кора для крыш не так удобна — мала, снимал с них кору, а самые деревья остава-

* Одры устраиваются следующим образом: к осям или к целой телеге приделывают вдоль два бруса, в концах которых вколачивают палки длиною до полутора аршин; эти палки связываются между собою задняя с задней, передняя с передней также палками в несколько рядов. На эти одры кладут хлеб и прижимают его палкой, которая привязывается к одру. На одер кладут от пяти до шести груд ржаных.

** Это, говорят, бывает в жаркое лето. Нынче лето было жаркое, а ячмень начали жать не ранее пятого августа.

лись без всякого употребления и сгнивали на месте. Теперь этого не делают; но все-таки лес очень дешев; так, купец Поздеев при сплавной реке заплатил за двенадцать тысяч десятин строевого лесу совсем с землею одиннадцать тысяч рублей ассигнациями. Это, впрочем, особенный случай, но от десяти до пятнадцати рублей обыкновенная цена; мелколесье на болоте, в котором деревья в оглоблю, не дороже полутора рублей серебром.

Самую лучшую избу можно купить за тридцать и никак не дороже сорока рублей ассигнациями. Заметьте, что здесь избы строят в два жилья и под крышу подставляют бревна так же часто, как и под железную; из такой избы орловских, тамбовских изб выйдет две, а малороссийских хоть три, а не то и все четыре!

В Устюжне кубическая сажень дров продается от тридцати копеек до одного рубля двадцати копеек серебром; по рублю двадцати копеек продают лучшие березовые дрова; самыми дешевыми считаются ольховые, еловые. При такой цене на дрова рабочие не могут много выручать денег; они получают так мало, меньше чего и получить, кажется, нельзя: за срубку кубической сажени дров рабочий получает пять копеек серебром на своем хлебе, только с хозяйским приварком.

Здесь земля тоже очень дешева: в пустоши от пяти до десяти рублей десятина, смотря по качеству земли; но одворная, то есть которая близко ко двору, а также сырая, то есть хорошо удобренная, гораздо дороже. Само собою разумеется, что цена земли увеличивается разными обстоятельствами: например, если чужая земля подходит к самому вашему дому, то вы дадите за эту землю, несмотря на ее качество, очень дорого, тогда как другой за нее даст, может быть, и не более самой дешевой цены.

25 июля.

Я ездил с г. Румянцевым к Николе в церковь. Она — как и все сельские церкви; в библиотеке ее тоже — как обыкновенно: ничего особенного нет; книг не больше трех: одна времен Федора Алексеевича, и две Ивана и Петра I; еще есть выпись из писцовых книг, известных у наших мужиков под названием *крепей*, то есть крепостей, актов на земли, которыми они очень дорожат. Вот все достопримечательности церковного архива.

В церкви было не очень много народа по случаю рабочей поры; было бы и того менее, если б одна баба не принесла ребенка причащать, другая в долбленом сосновом гробе хоронить... «Каждый день приносят по одному, а то и по два»,— сказал мне священник, указывая на гроб. К обедне многие приехали в телегах, и я узнал, что колеса здесь покупают по одному рублю серебром за стан, то есть за четыре колеса; что ободья гнут из осины, ступицы делают из березы, а спицы — из рябины.

29 июля, Знаменское.

Нынче я пошел походить и сошелся с одним мужиком, которому было лет под пятьдесят.

— Тебе нездоровится, ваше здоровье? — спросил он меня.

— Да, я болен.

— Чем ты болен?

— У меня лихорадка.

— А, трясуха! Вот тебе лекарство: возьми ты живого рака, положи в чашечку да залей вином; и дай ты постоять вину, пока рак замрет; рака выкинь, а вино выпей. Ляжешь спать, во *снях* тебе приснится рак. «Экую дрянь ты пьешь!» — скажет рак; а наутро той лихорадки и не будет.

Про это средство мне приходилось слышать не раз.

— А то еще хорошо полынь пить,— продолжал он,— да полыни у нас, жаль, нету! Полынь тоже от трясухи хорошо...

В самом деле, здесь полынь не растет.

8 августа, Знаменское.

Сегодня сеяли здесь рожь, и я вышел в поле, где уже были староста и шесть человек мужиков, которые должны были сеять; у каждого из них было *сетиво**, в сетива они насыпали ржи, пошли к тому месту, от которого надо было начинать, сняли шапки, как староста, так и мужики, потом сели. Посидев молча несколько времени, они встали, помолились богу на все четыре стороны, начиная с восточной, и один сказал: «Благослови, хозяин!» — «Бог благословит»,— отвечал тот.

* Корзинка для семян, которую привешивают на кушаке через плечо.

И тогда начали сеять. Здесь сеют на обе стороны, то есть бросают семена и вправо, и влево. В некоторых местах сеют в одну сторону, в последнем случае сеятель должен вдвое больше пройти с семенами. Когда посеяли, явились мальчики с боронами*, но было также несколько и девочек между ними; старшему из них было не больше двенадцати лет, все верхом. Видно было, что они с удовольствием начали боронить. Старшие ушли, и одни дети боронили.

— Ты устал! — сказал я одному мальчику,— хочешь домой? — Нет, ничего! — отвечал тот, весело подхлестывая свою лошадь шерстяным щегольским поводом.

10 августа, Знаменское.

Вчера часу в седьмом утра я пошел по дороге в деревню Иванцово, и мне пришлось идти озимым полем, которое все было покрыто жнецами и жницами; потолковав с некоторыми, я заметил одну жницу, которая обратила на себя мое особенное внимание.

— Который год этой работнице? — спросил я.

— Да вот с ильина дня девятый годок пошел,— отвечали мне.

— Зачем же вы заставляете ребенка работать столь трудную работу?

— Кто ее заставляет! Своя охота!

— А много она нажнет?

— Снопов десять, а то и больше!

В наших деревнях дети очень рано начинают помогать в работах своим родителям. Мальчишка лет четырех уже помогает: водит поить лошадей; лет осьми — боронит; так, в Знаменском большие мужики только вспахали, а скородили дети.

Отойдя от жнецов с полверсты, я встретил бабу, которая шла очень скоро и бранилась во все горло, несмотря на то что она одна была только в поле.

— Чтоб они издохли! — кричала она,— чтоб на них на том свете черти воду возили!

— Кого ты угощаешь так, голубушка? — спросил я.

— А леший их знает!

* Бороны делают здесь на суковатых плах, связанных вместе, следовательно, без вбитых зубьев.

— Как же так, ругаешь, а сама не знаешь кого?

— Хлеб, овес повыбили, чтоб им пусто было!

— Ты бы пошла к тому, кто выбил,— говорил я,— да в глаза бы его и разругала; ты ведь здесь ругаешь его, а он и не слышит.

— Кто знает, кто выбил, чтоб ему!..— кричала баба, уходя от меня.

Трудно поверить тому, кто сам не видал, как мало уважается у нас труд. Да к чему говорить про крепостной труд, которому скоро пропоют вечную память; про воспитанных помещиц, которые заставляли мужиков в рабочую пору чистить в саду дорожки! Сами мужики смотрят на труд соседа как на что-то, не заслуживающее никакого внимания; редкое поле, засеянное хлебом, вы найдете без потрав; если мужик видит, что он может сократить дорогу десятью саженями, но ему придется ехать чужим засеянным полем, он не задумается: бросит торную дорогу и поедет полем. Мне кажется, в Малороссии с бóльшим уважением относятся к чужому труду; мне там, может быть случайно, не доводилось видеть в хлебах пробитой дороги, что у нас попадается зачастую, хотя здесь поля и огорожены, а в Малороссии о загородках полей никто и не слыхал.

Когда я пришел в Иванцово, стал накрапывать дождь.

— Переждите в избе дождь-то,— сказал мне мужик болезненного вида, сидевший на крыльце избы под навесом. Разумеется, я согласился на это предложение с большим удовольствием и зашел к мужику в избу, просторную и довольно опрятную.

— Куда вы *идитё?* — спросил меня хозяин, когда мы с ним уселись на лавке.

— Пробираюсь на ваше Большое озеро.

— Люди работают, а я так вот дома дожидаюсь железной лопатки, пока бог по душу не пошлет.

— Ты болен?

— Другой год пошел, все хвораю, я с топором ходил*, крыл крышу да и свалился, боком-то пришелся на балку, три ребра и переломил; побежали ту же пору к Вознесенью за Федором Павловым, за лекарем. Там у барина свой такой лекарь есть крепостной... Прибежал Федор Павлыч, кинул кровь; очнулся, да с тех пор живота не подыму, никак не справлюсь...

* То есть был плотником.

— Ты бы к лекарю сходил.

— Ходил и к лекарю. Дышать, мол, не могу; грудь, говорю, всю задавило.

— Тебе,— говорит,— надо банок к груди поставить.

— Сколько? — спрашиваю.

— Да побольше,— говорит.

Я опять к Федору Павлычу.

— Ставь банки к груди! Лекарь велел.

— А много?

— Да приказал побольше.

— А побольше,— так все поставлю.

Было у Федора Павлова четырнадцать банок, он все четырнадцать и поставил, а все легче нет!.. Нет, знать травы не мять, росы не топтать, а с молитвой ждать железной лопаты!..

Все это было сказано спокойно, с совершенным отсутствием малейшего отчаяния, и мне припомнился рассказ Тургенева «Смерть» и слова его: «Удивительно умирает русский мужик! Он умирает, словно обряд совершает!»

— Я человек больной,— продолжал, вставая, мой хозяин,— а тут вот еще бог горе послал: посмотрите-ко!

Он отдернул полог у кровати, которая стояла в углу, и я увидал больную женщину.

— Вот двадцать лет лежит! Не то что с места встать, повернуться не может; с полгоду с ней что-то приключилось, так и осталось.

— Кто же у тебя работает?

— Дочка, девка есть да другая, солдатка, они и работают. Ведь у нас бабы не сеют, дров не рубят, а то всякую работу работают. Посеять я посею, а они заборонят; да и дров тоже я нарублю. Не бог знает сколько...

— У вас не одно только хлебопашество, есть работа и в лесу? — спросил я.

— Теперь в лесу у нас работы нет, прошли те годы! До межевки, бывало, с осени до масляной работник пудов пятьдесят одной серы* наскоблит, а теперь всему запрет: в казенном лесу поймают, в острог засадят; господа в свои леса тоже не пущают; а в прежние годы всякому своя была воля: кто хочешь приходи, хоть свой, хоть чужой, только работай! Прошлый год наши мужики повезли серу эту в

* Смола, которую скоблят с ели.

Вышний Волочок, там такие заводы есть — серу чистят, да билета-то не взяли, и в Волочке их поймали. «Где билет?» — «Дома,— говорят,— забыли».— «Ступай один за билетом! Серу под залог». Мужик прибежал из Волочка к старосте; староста дал билет: из своих лесов серу скоблили, ну и выдали серу, а думали, что совсем пропадет.

— Почем продается сера?

— Не ровно: за пуд и по двадцать пять, и по тридцать, и по тридцать пять копеек серебром, как случится; это нечистая, с корой, кору-то переминают с серой, чтоб коры-то не видно было; а за чистую серу дадут и сорок и сорок пять копеек серебром за пуд. В сплошном лесу в день пудов пять наскоблить можно.

— Вы теперь сидите деготь?

— И деготь мало сидим! Сперва я и сам сидел, а теперь и на деготь запрет вышел. Я больше сидел *корча́жный* деготь; корчажный всюду идет; а *я́много* не сидел, тот идет только на подмазку... Да и выгоднее корчажный, в Устюжне два рубля серебром за пуд, а ямный копеек восемьдесят, девяносто — не дороже...

Тут он мне стал объяснять, как мужики сидят деготь; объяснений этих я пересказывать не стану; скажу только, что корчажный деготь гонят из одной бересты, а ямный из бересты и еловой смолы.

Перекрестясь в передний угол и простясь с хозяином, я вышел из избы. Замечу здесь мимоходом: передний угол в степных губерниях находится в углу, ближайшем к входной двери, а печь в дальнем; здесь наоборот: печь у двери, а образа стоят в дальнем углу. В степных губерниях спят на веретьях или дерюгах*, а здесь почти у каждого есть сенник, то есть большой мешок, набитый сеном. По-видимому, должно бы быть наоборот, в степных губерниях и сена больше.

Выйдя из избы, я пошел к Большому озеру; по одну его сторону было яровое поле, а по другую парина, которую местами пахали под рожь.

— Помогай бог! — сказал я, подойдя к одному пахарю.

— Милости просим! — отвечал мужик, поклонясь мне.

— Как мне пройти к Большому озеру?

— Да там занятного ничего нет,— сказал он, показав

* Грубая ткань из пеньки.

сперва дорогу,— кругом лядина, болото, а посередь озеро.

— Много в озере рыбы?

— Какое много! Ставят вейтеря; и в вейтерь* другой раз не попадается; а попадется, так все один карась, так вершка по полтора, не больше. Да мы рыбой и не занимаемся, вот землю орать наше дело: хорошенько взорешь, так чтоб *челюзны*** не было, так и хлеб будет...

В конце поля я нашел срубленные деревья, которые будут жечь весной, а за ними болото, поросшее мелким лесом; деревья более крупные, вершка три-четыре при корне, или засохли совсем, или еще засыхали, а ель и сосна блекли и незаметно, без всяких видимых признаков теряли жизнь; на березе сперва лупилась береста, потом кора, и береза пропадала. В этом леску ходили лошади с колокольцами*** на шее без всякого присмотра, несмотря на то что часто слышите про волков: там волк зарезал овцу, там двух коров, там лошадь, на все бог, и, надеясь на него, мужики смело пускают лошадей и скот без пастуха. Я пошел дальше и пришел к озеру — место совершенно уединенное: никакого звука не слышно было, кроме крика журавлей, которые здесь водятся в изобилии; их не едят, а потому и не трогают, разве дети когда найдут молодого журавля или, найдя гнездо, вынут яйца. Во многих местах на озере плавали дикие утки, а поправее от берега виднелся челн****...

22 августа, Богуслав.

Вчера от У. я пошел к Устюжне, а потом повернулся к Весьегонску; дорога везде одна и та же, виды все те же: почти везде болота, покрытые мелким лесом, пустоши*****, заросшие таким же лесом, частию подрубленным под расчистки для посева на будущее лето. Изредка попадается

---

* Вейтерь, или вентерь — корзина из прутьев с узким горлом, войдя в которое рыба уже не может выйти.

** Челюзна — огрех, незапаханная полоса земли, по ошибке пропущенная.

*** Колокольцы делают большею частию из железа овальной формы.

**** Челны делают из двух бревен; берут два бревна вершков пять в диаметре и в сажень длиною, долбят их наподобие корыт и потом связывают; в них ездят стоя, становясь в оба корыта.

***** Пустошью называются дальние поля, которые не унавоживают; сделав несколько посевов, их оставляют до тех пор, пока на них не вырастет лес, который жгут и тогда опять сеют.

пустошь, покрытая жидким каким-нибудь ячменем, овсом, а вдали то там, то там дым: в одном месте болото горит*, в другом ледина**, а там и строевой лес, что, впрочем, не считается лесным пожаром. Кто не видал, как здешний народ смотрит на лес, тому едва ли будет понятно такое пренебрежение к лесу; если горит болото или ледина, на это решительно никто не обращает никакого внимания.

— Отчего вы, братцы, не гасите болота? — спрашивал я,— ведь вы на этом болоте сено косите, а на горелом болоте трава не растет.

— Какая там трава,— отвечали мне,— болото сгорит, пойдет ивняк.

— Так что же вы не гасите?

— Когда за этим возиться! Пойдут скоро дожди, землю-то промочат, и болото погаснет.

С лединами то же самое, хоть тот же самый вред, потому что когда ледину выжигают для посева, то лес срубают и тогда перегорает только известный нужный слой земли и остается зола, которая служит удобрением, а при пожаре ледины земля выгорает очень глубоко, и как горят одни коренья, деревья же только валятся на землю, то выгоревшая ледина остается совершенно никуда не годной землей.

Строевой лес начинают гасить, когда пожар уже принимает значительные размеры или когда загорается казенный лес. Тогда нельзя не гасить, начальство приказывает.

Я хотел было пробраться дальше к Вологде, но решительно не мог: ни лихорадка, ни обстоятельства не позволили мне пускаться вдаль, и я решился воротиться в Питер, только другой дорогой, почему пошел не на Боровичи, а на Весьегонск.

Невицы Весьегонского уезда, 23 августа.

— Что ж мало нажал? — спросил я близ Сторожкова жавшего рожь у самой дороги.

— Лишь-то пришел,— отвечал тот, приподнимая шапку,— лишь-то пришел!

Я присел на дороге, закурил папироску; мужик сел подле меня, и мы разговорились. Он стал рассказывать про своего барина.

* Здешние болота почти всегда покрыты мелким лесом.

** Ледина — пустошь, покрытая мелким лесом, удобная для посева.

— Наш барин,— говорил он,— большой барин; в Питере живет; одного жалованья от царя, братец ты мой, одного жалованья идет нашему барину в месяц двадцать пять тысяч рублей, а ты сам знаешь, на таком месте с других сторон сколько наплывет! Так вот ты и считай! А сам он ничего не делает; пятьдесят человек — а все те пятьдесят человек господа — так вот они-то все и пишут. У нас здесь по деревням говорят: «В Питере не знают, чем его уже и награждать, барина-то нашего: все чины превзошел!»

После я узнал, что его барин точно живет в Питере, что он статский советник, сколько он жалованья получает — я не знаю, но мне кажется, если в Питере подумают, чем его награждать, то, может быть, и найдут.

Странное дело! Наши крестьяне редко отзываются с большим жаром о своих прямых отношениях к помещику, а любят похвастаться, что их барин — граф такой-то, князь такой-то или что их барин все чины превзошел!

Поговорив об этом барине, я пошел дальше и остановился немного отдохнуть у знакомого уже мне священника в погосте Николы и от него услыхал следующее предание.

Когда Иван Грозный взял Казань, то стал выводить оттуда татар, некоторых перевел в Вологду и, желая их совсем перевесть, заставил их копать канал, чтоб пустить воду из ручья за четыре с половиной версты в Вологду; но татары, полагать надо, были инженеры плохие: канал-то они прорыть прорыли, только вода шла не из ручья в реку Вологду, а Вологда пошла в ручей. Этот канал называется Золотухой.

От погоста Николы верстах в двух начинается Тверская губерния, и отец Василий, проводя меня до границы, простился со мною. Местность сперва было показалась другою: поля как-то больше, горизонт шире, но это только сначала; дальше опять то же, что и сзади: те же полоски, шириною аршина в полтора, выбегали из ледин, те же ледины, те же загороди.

— Помогай бог! — поздоровался я с пахавшим мужиком, который выезжал с полосы на дорогу очистить соху.

— Милости просим! — отвечал тот, обивая прилипшую к сохе землю.

— Что рано посеял?

— Ранний сев к позднему не ходит в засек — зна-

ешь пословицу? — говорил мужик ухмыляясь,— а где рано? Другие много уже посеяли.

Я присел; мужик, верно обрадовавшись случаю покалякать с посторонним, перестал пахать.

— Скажи Христа ради,— спросил я,— какая там вдали виднеется деревня?

— А вот это? Невицы! — отвечал тот,— Невицы, а все Пушковщиной прозывается; на пятнадцать верст все Пушковщина, все деревни — все Пушковщина; по тому самому и мы пушкари!

— Отчего же такое прозвище?

— А вот отчего: был царь император Павел Первый... еще и дедов наших не было на свете; может, при отцах-то наших дедов жил император Павел Первый, а при нем был нашим барином Мусин-Пушкин. За какую-то заслугу царь любил того Пушкина. Пушкин и говорит раз царю: «Сделай, царское величество, божескую милость, обменяй ты мне: я тебе отдам всю мою Пушковщину, а ты мне дай Лысково». Лысково — село такое есть на низу, на Волге. «Возьми,— говорит царь,— только дурак ты, скажу я тебе, Пушкин: попроси ты у меня Лысково так, я отдал бы и так, а теперь давай Пушковщину в обмен». Пушкин взял Лысково, а нам сказана воля.

— О чем болтаете? — послышался сзади голос.

Я оглянулся: облокотясь на загородь, стоял старик, шедший, верно, с работы.

— А, это ты, Федор Фомич! — крикнул рассказчик,— вот человек спрашивает, за что мы пушкарями прозываемся.

— Царь император Павел Первый, дай бог ему вечную память, объявил нас вольными,— сказал пришедший.

— Я говорил ему тоже, что при царе Павле; деды еще не помнят...

— Ну, это ты соврал,— перебил пришедший,— я помню, моя матка на барщину ходила. А вот что царь Павел здесь отродясь не бывал никогда, так это точно, что не бывал,— продолжал Федор Фомич,— да не то что царь Павел, а опричь царя Петра ни один царь не был.

— А царь Петр был?

— Петр был.

— А давно?

— Тот за дедов был! Того никто и не помнит; в ту

пору канаву копали; так он часто из Москвы на канаву в Питер ездил, а дорога-то шла на Волочок (Вышний) и на Весь (Весьегонск), так, значит, и здесь проходила дорога.

— Долго копали канаву?

— Про то не знаю и врать не хочу,— отвечал старик,— а только народу много загубили; сколько денег потратили — и сказать нельзя!

— Старики говорят,— перебил мой первый знакомый,— старики говорят: у канавы один берег — мешки с деньгами, а другой — головы человеческие.

— Это только так говорится,— возразил старик,— а дело было не так; берег — мешки с деньгами — это, значит, денег столько истратили; другой берег — головы человеческие — это значит, народу столько на канаве перемерло.

— А еще говорят: откупщики понастроили кабаков, так в тех кабаках столько денег пропито! А вино-то было дурное, от того вина и народ так вымирал.

— А про Грозного царя Ивана не слыхал ты? — спросил я старика.

— Про грозного царя не слыхал, нет! — отвечал старик,— а про Пугачева слышал.

— Что же ты про него слышал?

— Сильный был воитель; только он здесь не был, не заходил сюда.

— Однако мне пора опять за работу,— сказал пахарь,— дай бог вам путь!

— Спасибо! — отвечал мужик,— доори, а мы пойдем своей дорогой.

В Невицах я попросился переночевать в первой попавшейся мне избе; женщина лет сорока с словами: «Милости просим!» — отворила дверь, и я вошел в избу.

— Что, родимый, чай, странному человеку и поесть можно? Чай, проголодался?

— Да, матушка, дай чего-нибудь поесть!

— Нынче я картоши (картофель)* варила, погоди, я тебе в чашечкую налью.

После картошей хозяйка мне дала морошки с молоком. Это кушанье приготовляется так: кладут морошку в горшок, ставят в печь и, когда ягоды довольно упреют, протирают их через решето; морса этого оставляют и на зиму ведра по три и по четыре.

* Картофель еще называют земляными яблоками.

— Сколько ж тебе, хозяюшка, денег надо? — спросил я хозяйку, вставая из-за ужина.

— А за что же деньги, родной?

— Как за что, за ужин.

— И, родимый! Бог с тобой! Картоши свои, молочко свое, ягод бог пока много зародил; за что же брать-то? И то сказать: как же я возьму деньги со странного человека?

— Да у меня деньги есть...

— И не говори этого! А коли у тебя есть, так поставь богу свечку, вот и все! А куда бог несет? — круто поворотила баба, чтобы покончить неприятный для нее разговор.

Поутру опять хозяйка меня накормила и опять не взяла никакой платы.

— Как мне пройти в Нефедьево? — спросил я хозяйку, сказав ей спасибо за завтрак.

— А вот ты спроси у моего мальца! — отвечала она,— он у нас знает, а я тебе не скажу.

— Он же почем знает?

— Он ходил со слепеньким, так все места знает; слепой такой богатый; и добро бы хорошо стихи пел, а то Лазаря да Егорья — вот и все, а много собирает! Моему парнишке от Николы вешнего до десяти дней после Петрова дня целковый по уговору заплатил; одному слепому ходить нельзя, так слепой поводыря нанимает.

23 августа, Нефедьево.

— Сколько верст отсюда до Вышнего Волочка? — спросил я, выйдя из Невиц.

— Известное дело! — отвечал мне мужик, которого я спрашивал,— малый ребенок тебе скажет; до Волочка сто восемьдесят верст будет, это верно!

— Как же мне около самой Устюжны говорили, что до Вышнего Волочка считается от Устюжны сто восемьдесят верст?

— Это все равно, что от Устюжны, что от нас, от Невиц,— все те же сто восемьдесят верст!

— Да ведь из Устюжны в Волочок надо идти на Нефедьево?

— На Нефедьево!

— Как же так: и от Устюжны и от Невиц — все сто восемьдесят верст? Ведь до Невиц надо пройти...

— Пройдешь еще верст сорок,— перебил меня мужик,— там тебе меньше пойдет.

— Как? А то будет все сто восемьдесят?

— Все будет сто восемьдесят.

— Это что-то хитро!

— А правду тебе сказать: кто здесь мерял дорогу? Никто! Меряла баба клюкой да и махнула рукой: быть тут сто верст! Вот и тут тоже.

Кто езжал по проселочным дорогам, тому этот разговор не покажется невероятным; спрашиваете вы: сколько верст до такого-то места? «Верст будет десять, да и того не будет»,— ответят вам. Вы проедете верст пять и опять спрашиваете, сколько осталось? «Верст пятнадцать, а то еще и больше!» — получите совершенно неожиданно в ответ; иногда верст не определяют, а скажут вам: «Близко! Проедешь болото да два поля, да две пустошки, да леску немножко — вот тут тебе и будет!» Но мне от русских, собственно русских, не случалось слышать на расстоянии ста верст одного и того же ответа — сто восемьдесят верст.

— Скажи, пожалуйста, — спросил я, пошапковавшись, лежащего у дороги пастуха,— сколько верст до Волочка? Мне от Самой Устюжны говорят «сто восемьдесят верст», скоро ли будет меньше?

— Да ты кого спрашивал?

— Кто попадется, того и спрашивал.

— Да кого: русского или корелу?

— И русских, и корелу.

— Нет, русских ты не спрашивал, верно, одну корелу; корела — та не знает, корела сидит дома; корела землю орет, вот и все! А наш брат русский всегда кругом ходит; стало, знает, и в Питер ходит, и в Боровичи, и в Волочок, на барки, значит.

— Сколько же верст до Волочка?

— Сам я не ходил на Волочок, а люди говорят, что до Устюжны, что до Волочка, что до Боровичей — сто восемьдесят верст; все равно те же сто восемьдесят верст.

— Ну а отсюда?

— И отсюда говорят, что до Волочка, что до Боровичей все-таки 180 верст.

— И ты, как корела, дома сидишь?

— Нет, прошлый год ходил к Большому Соловецкому... Маленький-то у нас и дома есть: приход у нас Соловецкий. Так ходил я к Большому Соловецкому на море, брат был болен, богу обет дал сходить к Большому Соловецкому; обет-то дал да и помер, не сходивши к чудотворцам; пришла весна, и я говорю старикам: «Ищите себе на это лето другого пастуха, а я пойду богу молиться». Ну и сходил за брата на море к Большому Соловецкому.

— А то ты всегда в пастухах?

— Всегда в Сушигорицах настухом живу, у царядно́го* ночую и ужинаю, обедать не обедаю: возьмешь с собою хлеба, соли да тем и пробавляешься, еще хорошо, коли вода близко, а то просто замучаешься!

— Работа пастуху, кажется, небольшая?

— Как, братец ты мой, работа небольшая, дождь, сивера́, а ты все в поле да в поле! А то еще волки одолевают; вот третьего дня трех коров зарезали: погнал я стадо домой, а три коровы за кусты зашли, мне и не в примету; там оне остались, так и пропали!

— Кто же за них отвечать будет?

— А кому отвечать! Никто не отвечает!

Коровы очень разбрелись, пастух схватил берестовую трубу аршина в два длиною, затрубил в нее, и коровы опять стали собираться в кучу, несмотря на то что от музыки моего нового приятеля скорее можно было разбежаться: ария, которую он разыгрывал на своем инструменте, была немногим хуже арий доезжачих, когда те скликают из лесу или из острова собак.

— Отчего ты только трубишь? — спросил я,— ты бы лучше какую-нибудь песню играл.

— У нас здесь не умеют играть, только трубят; вот под Москвою — так те уж как тебе играют-то, как играют! Я ходил богу молиться, а здесь был пастух из-под Москвы; слышал я: хорошо играет! Только на другой год не остался: с волком не справился, волк одолел!

— Как же ты справляешься?

— Я привычен, а к осени и я один не справляюсь, подпаска дают, с царядно́го двора мальчишку дают для того, что к осени волк больно смел бывает.

* У очередного.

IV. Из Орловской губернии

Орел, 30 марта 1861 года.

Город Орел, как известно, построен очень недавно. Не сверяясь с летописями — да это и не подходит к моей задаче,— я расскажу историю города Орла по здешним изустным сказаниям; впрочем, у нас есть под руками «История города Орла», написанная здешним мещанином Дмитрием Ивановичем Басовым в 1837 году, а как она составлена тоже по изустным преданиям, то я буду пользоваться и этой «историею».

По преданиям, до времен Ивана Грозного за литовскими набегами до самой Орлы (Орешка) никаких поселений не было; а как Грозный стал строить много городов, то по благословению московского митрополита Макария Богослова в 1565 году был построен и Орел. Говорят, что при впадении реки Орлика в Оку, на правом берегу Орлика, где теперь стоит церковь Богоявления, рос большой дуб, а на том дубе водились орлы; поэтому река назвалась Орлой, а город Орлом. Едва город стал населяться, как наступили смуты: явились самозванцы. В истории Басова об этом времени так сказано: *«Грех ради наших, по напущению божию, был глад в России три лета; в то время появился в польском королевстве самозванец, по имени Гришка Отрепьев, назвался царевичем Дмитрием и обольстил короля и вельмож, которые ему, Отрепьеву, и поверили, и дал ему король войска...»*

Самозванец Гришка Отрепьев, или Гришка-Расстрижка, как зовет его народ, с королевским войском пошел на Москву и в Брянске был встречен царским войском, но царское войско вместо отпора целовало крест Гришке-Расстрижке. И стало у Расстрижки много войска: все войска с двух царств: со всего царства русского и со всего королевства польского. Стал Гришка-Расстрижка в Брянске и послал, как и заправские, царские указы и в Москву, и в Тулу, и в Рязань, и в Калугу, и в *Орловское городище;* а указ написал такой: «Все знай, я Гришка-Расстрижка — царевич Дмитрий, а Борис Годунов всех бояр, народ надул! Он самозванец, а я настоящий царь», и все города по всей России целовали Расстрижке крест; только один город — Орловское городище — не стал целовать ему крес-

та; для того — царский брат родной, Иван Федорович Годунов, был здесь воеводою; он и укрепил народ здешний своему брату царю Борису Годунову. Тогда Гришка со всеми своими полками бросился на Орел и всех граждан казнил и перевешал, а которые остались в живых — тех разослал по разным городам*.

После того Гришка пошел на Москву; на Москве он сперва-наперво всех прельстил; ну да скоро дознались до подлинного, что Расстрижка точно Расстрижка, а не Дмитрий царевич; как скоро признали его Гришкой-Расстрижкой, так и убили его, шельмеца, как собаку.

Убили Гришку — появился другой самозванец, Петрушка Болотников**; этот Петрушка Болотников собрал шайку бродяг, всякой сволочи, к нему пристали и бояре, только не все, а много-таки бояр пристало; тогда Петрушка Болотников бросился на Орел и стал из Орла указы посылать; а когда не стали тех указов слушать, он перешел в Калугу, где и *убиен бысть*, а вся та сволочь, татары, какие с ним были, крымские, ногайские, бросились по разным городам и стали города жечь, и Орел город весь выжгли до последнего двора.

После всего этого выбран был царем на русское царство Михайло Федорович Романов; а поляков из Москвы выгонять стали, те бросились к Орлу и остановились на реке Орлице, на Царском Броду; Тогда царь Михайло послал на них князя Пожарского и гражданина Минина, которые их выбили на Кромскую дорогу, а потом послали их к Оке. Поляки отошли к тому месту, где река Цна впадает в Оку верст за десять от Орла, и построили себе городок; этот городок и теперь виден, прозывается он Лисовским курганом; ну только князь Пожарский и оттуда их выгнал, и они бросились к Кромам. Там их отбил воевода и в Кромы не пустил; поляки к Болхову, и там их дело не подошло; они побежали к городу Белеву — там их князь Пожарский и гражданин Минин и порешили!

Когда поляков не стало, народ весь усмирился; царь Михайло, благословясь у своего родного батюшки Филарета Никитича, патриарха московского, приказал срубить в па-

* В истории г. Басова сказано, что это было в 1602 году, и хоть ему сказывал столетний старец за верное, но, должно быть, ошибся: самозванец появился в Московском царстве только в октябре 1604 года.

** Болотникова, сподвижника второго самозванца, звали Иваном.

мять убиенных деревянную церковь во имя Введения божией матери*, и в 1636 году срубили церковь уже на левом берегу Орлика и стали опять строить город; сперва, говорят, было только пять двóрцев**, и все пять избушек стояли лицом к реке Орлику, а на старом месте были огороды, и виднелись кое-где от старого города развалины. Город стал строиться на правом берегу Орлика; с полверсты выше старого места были построены воеводские палаты и соборная церковь; на правом берегу Оки почти не было строений, и в конце Ильинки***, или на Новосельской улице, стоял глаголь (Г), на этом глаголе людей вешали; на этом месте в настоящее время, как говорят, третьей части съезжий дом стоит и питейная контора; но только или было несколько глаголей, или он переносился на разные места; так, Басову рассказывала старуха, что *«житель города Орла Иван Федорович за разные его нехорошие поступки и за бродяжничество и тут же за воровство был повешен на глаголе; глаголь стоял за Орликом* (на левом берегу Орлика), *где теперь старый Окулов дом»*.

— Мы стояли,— говорила старуха,— с этой стороны (на правой) у самого берега, и все было видно; да и тень-то на воде была видна; все было видно: как рвался-то, как метался, как кричал... а повесили его за ребра.

— А давно это было?

— А как прийти Пугачеву, перед тем временем, перед самой пугачевщиной; тогда за царя была у нас царица Катерина Алексеевна. Еще должно сказать, что около Никитской церкви, среди лесу стоял убогий дом, куда зимой сносили мертвых из бедных семейств, где они лежали до вторника Фоминой недели; в этот день сходился народ из города и из деревни, торжественно хоронили всех, и в этот день, по рассказам стариков, бывала значительная ярмарка.

О постройках церквей, часовен, воеводских домов я говорить не буду; я думаю, для читателей, не знающих положения Орла, это не занимательно, да и для самих жителей орловских это описание лишено было бы большей части интереса, так как нынешний Орел *по плану произведен*, все улицы переменились, здания, церкви перенесены на

* При этой церкви был после женский монастырь, который теперь переведен к церкви Рождества Богородицы.

** Уменьшительное от слова *двор*, то есть дворишко.

*** Площадь, на которой теперь базар.

другие места, и на бывший только что рождавшийся Орел совсем не походит, а потому я расскажу несколько исторических воспоминаний города Орла.

Из исторических лиц здесь более всех помнят Петра Первого, рассказывают, что он проезжал через Орел, через Оку его перевозили на пароме (тогда моста на Оке во все лето не строили). Сперва перевозили самого императора, а там поехали за его бричкой, что ли, коляской ли — не знаю, как назвать, так говорил мне батюшка; бричечка без рессор — говорил мне один старик. Пока привезли царскую коляску с того берега, царь стоял на этом берегу, и царю поднесли вместо хлеба-соли блюдо малины; и стоял он на берегу, говорят, такой суровый, строгий.

Замечательно, что Петр Первый здешним народом прилагается, часто вовсе не к месту, ко многим песням, даже и не историческим: так, в песне о смерти генерала здесь поют: «Царя белого гусары, Петра Первого». Или про татарский полон:

Отпусти меня
На святую Русь,
В свою сторону,
К императору
Петру Первому.

Собственно же песен, относящихся к Петру Первому, ни в Орле, ни в Орловской губернии я не слыхал ни одной, хотя и помнят его; так, о вышеописанном проезде его через Орел рассказывают, что Петр ехал на *преславное Полтавское сражение*; основание Пушкарской и Стрелецкой слобод также приписывают (что и достоверно) петровским преобразованиям, впрочем мало уважая эти преобразования. Рассказывают, что пушкари московские забунтовали против Петра, Петр и велел их переселить по разным городам; которых прислали в Орел, тех поселили особой слободой, и стала та слобода прозываться Пушкарской; после дознался Петр, что с пушкарями заодно были и стрельцы: но и стрельцов разбил по разным тоже городам; переселенные в Орел поставили под Орлом Стрелецкую слободу.

В прежнее время, да не так еще давно, кругом всего города Орла стоял лес, только за Богоявлением и сеяли хлеба, а то все лес; старики, которые есть еще, помнят здешние леса, помнят и жителей тех лесов, страшных раз-

бойников. Про злодейства их и теперь рассказывают со страхом.

— Здесь кругом верст на сто, а то и на другое сто все леса были,— говорил мне здешний старожил,— леса были дремучие, а в тех лесах не столько зверя было дикого, сколько разбойников. Недаром орловцев зовут «промышленные головы», а то и другая поговорка есть: «Орел да Кромы — старинные воры; Ливны всем ворам дивны; Елец всем ворам отец да и Карачев на поддачу!» Значит, всю губернию похвалили! И каких воров не было! Вот, слыхал ты, к примеру взять, Рытик Федька — чего-чего он ни делал! Поймают его, засадят в острог, скуют руки ему, ноги, а он напишет угольками на стене лодку, плеснет на лодку водой, сядет в лодку со всеми острожными да и поплывет, куда ему надо! Сколько раз его ловили, сколько раз он пропадет да и пропадет из острога! Насилу догадались: как попросит пить, так дадут квасу, а воды хоть распросись — ни ложки... Ну и извели.

А то еще был Кудеяр; этот где-где ни разбойничал! И в Калуге, и в Туле, и к Рязани, и к Ельцу, и к Воронежу, и к Смоленску — везде побывал, везде свои станы расставлял и много кладов позарыл в землю, да все с проклятиями: страшный колдун был. И какою поганой силой владел: раскинет на берегу речки, озера, так какого ручья, раскинет полушубок или свиту и ляжет спать; одним глазом спит, другим сторожит: нет ли погони где; правый глаз заснул — левый сторожит, а там левый спи, правый сторожи — так вперемену; а как завидит где сыщиков, вскочит на ноги, бросит на воду полушубок, на чем спал, и станет тот полушубок не полушубок, а лодка с веслами; сядет Кудеяр в ту лодку — и поминай как звали... Так и издох своей смертью — никак изловить его не могли, как там ни старались.

— Давно он жил?

— Давно! Видишь ты: в Брянск прошла Десна-река, за Брянском дальше Десна-река до Кудеяра все прямо текла, а при Кудеяре луку дала.

— Как луку дала?

— А вот как: сперва шла прямо, а после крюком пошла, крюком выгнулась.

— Отчего же Десна луку дала?

— Вот отчего: на самом том месте, где теперь лука, был

дремучий лес, и в том лесу Кудеяр притон имел, а в том же лесу на самом берегу на Десне стоял дворишко или два, так, выселочек небольшой. В этом выселке жил мужик степенный, мужик настоящий, и вел он порядки по-божьи: людей не забижал, дурными делами не занимался, и была у него дочь, прераскрасавица-красавица, и полюбилась она этому Кудеярищу-разбойнику; у хорошего мужика девка-дочь не зашалит, да и девка-то не такая была, чтоб прельститься на разбойника. Кудеяр и так, и сяк — все его дело не выгорает! Захотел Кудеяр девку силком захватить. Присмотрел он пору-времечко, когда отец с матерью на работу, что ли, пошли, на крестины ли к кому — только во всей избе одним-одна эта девка осталась. Глядит девка в окно, видит: Кудеяр в избу идет; та двери на запор, и сидит ни жива ни мертва... Стал Кудеяр в двери стучаться.

— Что тебе надо? — спрашивает девка,— зачем пришел?

— Пусти,— говорит Кудеяр,— надо!

— Да что надо-то?

— А мне тебя надо, с собой хочу взять — долго я этого времени дожидал! Отвори скорей!

— Не отворю,— говорит девка,— ступай, разбойник этакой, ступай, откуда пришел.

— А не хочешь волею, рыло воротишь — так силою заставлю полюбить!

Как сказал эти слова Кудеяр и стал двери ломать; а девка сама не своя, схватила икону Пресвятой Владычицы-Богородицы, что в переднем углу стояла, схватила да в окно и выпрыгнула; не успела девка выскочить в окно, как Кудеяр разломал дверь и в избу смотрит, а в избе никого нет. Глянь в окно — видит, девка к речке Десне бежит; он за ней вдогонку побежал; девка от него, он за ней; совсем уж было догнал, только девка подбежала к Десне и стала молиться: «Матушка Пречистая Богородица! Матушка Десна-река! Не сама я тому виною — пропадаю от злого человека!» Сказала те слова и бросилась в Десну-реку; и Десна-река тот же час на том месте пересохла и в сторону пошла, луку дала, так что девка стала на одном берегу, а Кудеяр-разбойник очутился на другом! Так Кудеяр никакого зла и не сделал; а другие говорят, что Десна как кинулась в сторону, так волною-то самого Кудеяра захватила да и утопила.

— А еще про старинных разбойников про кого народ здесь не рассказывает?

— Да народ болтает еще про попа Ерему.

— Что, поп Ерема тоже был колдун?

— Нет, как попу можно!

— Нет, как попу можно! Поп крестом!

Орел, 2 апреля.

Рассказывают еще про разбойников Сироту, Зерина или Зельнина. Сирота зверства не делал, больше мошенничал; его несколько раз ловили, кажется, раз двенадцать, и он каждый раз находил способы уходить из острога. Говорят, что, входя пойманный в суд, он обращался к судьям со следующей речью:

«Господа судьи! Вы меня поберегите, я вас поберегу, так-то хорошо будет и вам и мне!» И в самом деле, выходило хорошо и судьям, и Сироте: он указывал на богатых мужиков как на своих сообщников, тех привозили в суд, брали с них все, что могли, потом сводили на очные ставки с Сиротой; на очных ставках Сирота отпирался, что он того человека знать не знает и ведать не ведает. Наконец он был окончательно пойман и, кажется, сослан в Сибирь. Разбойничал он очень недавно, лет тридцать тому назад; проживал около Липовицы лет двенадцать и, несмотря на то что он почти ни от кого не скрывался, его никто не решался поймать: все знали, что из суда Сироту выпустят, а Сирота после красного петуха подпустит. Про пожар и вспоминать страшно: пожар, по поговорке, хуже всякого вора, вор хоть стены оставит, а пожар и стен не оставит. Сирота сложил песню которую и теперь можно услышать в Орловской губернии. Вот эта песня:

Сирота ли, Сирота,
Ты сиротушка!
Сиротец, удалец,
Горе-вдовкин сын.
Да ты спой, Сирота,
С горя песенку!
— Хорошо песни петь
Да пообедавши;
А и я ли, молодец,
Лег не ужинал,
Поутру рано встал
Да не завтракал;
Да плохой был обед,
Коли хлеба нет!
Нет ни хлеба, нет ли соли,
Нет ни кислых щей,
Я пойду ли, молодец,
С горя в темный лес,
Я срублю ли, молодец,
Я иголочку,
Я иголочку, я дубовую,
Да я ниточку,
Я вязовую!
Хорошо иглой шить,

Под дорогой жить:
Уж и раз-то я стебнул
Да я сто рублей,
А другой-то раз стебнул
Да я тысячу.
А как третий раз стебнул —
Казны сметы нет!

— Сирота ты, Сирота,
Ты сиротушка,
Где твоя казна?
— Во сыром бору
Под сосною,
Под сосною
Под зеленою!

Про Зельнина рассказывают, что он раз зарезал женщину в лесу ни за грош. Шла через лес беременная баба, навстречу той бабе Зельнин-разбойник.

— Здравствуй, баба! — говорит Зельнин.

— Здравствуй, батюшка.

— Узнала ты, баба, меня?

— Нет, кормилец, не признала.

— Я Зельнин!

Баба так и обмерла да в ноги.

— Батюшка! У меня ничего нет; возьми одежку, какая есть; отпусти, пожалуйста; не меня одну пустишь — пустишь еще душу, душу, что у меня в утробе: я беременна.

— Давно я искал беременной бабы.

— Да на что ж тебе, родимый, беременная баба? — говорит, перепугавшись, та баба.

— А посмотреть, как младенец в утробе своей матери сидит, как он там находится.

— Батюшка! Кормилец!

— Да что толковать!

Хватил Зельнин бабу в брюхо, пропорол живот бабе да и стал смотреть, как лежит младенец в утробе своей матери, а, на беду его, ехал обоз — ну и застали молодца на деле: скрутили руки назад да и в острог! Приходил народ в острог, спрашивали у Зельнина: «Как младенец во чреве своей матери сидит? Как он там находится?»

— Вот так! — скажет Зельнин и скорчится, показывает, как младенец сидит; скорчится, засмеется — и пойдут его корчи ломать, ломать самого Зельнина; и до самой смерти сидел Зельнин в остроге, как помешанный. А и смерть его была нелегкая: суд присудил Зельнина повесить. Когда сказали Зельнину, что суд присудил, то он только засмеялся, как будто это дело несбыточное.

— Ну это еще посмотрим, — говорит Зельнин, — кто кого повесит: или меня, Зельнина, палач Камчатников, или я, Зельнин, того палача Камчатникова!

В то время палачом в Орле был орловский мещанин

Камчатников. Услыхал Камчатников про похвальбу Зельнина.

— Ну,— говорит,— посмотрим! Бог не выдаст, говорит пословица, свинья не съест!

А знал Камчатников, что Зельнину трех здоровых мужиков на одну руку было мало... Зельнин силачом по всему городу слыл. Пришло время Зельнину расплачиваться за свои тяжкие грехи; сперва повели его в церковь, исповедали, причастили святых тайн; после дали в руки толстую желтого воска свечу и повели на виселицу его за большим караулом; как ни хвастался Зельнин своей силой, а пришло дело к расправе — задрожал; пока шел из церкви до виселицы, все руки воском залил. Пришел к виселице, взвели его на рундук, который был поставлен спереди виселицы... а народу собралось весь город; сам воевода приехал смотреть, как палач Камчатников будет с Зельниным поступать.

Когда взвели Зельнина на рундук, Камчатников, не трогая еще Зельнина, закричал громким голосом:

— Господин воевода! Прикажи мне над ним свою волю взять!

— Когда он тебе дален в руки,— отвечал воевода,— то воля твоя с ним, как хочешь!

Тогда Камчатников вынул из кармана припасенную веревочку, сложил Зельнину руки ладонь к ладони, пальцы к пальцам, и перевязал ему пальцы попарно, потом надел ему на голову шнурок, а после петлю и толкнул его с рундука. Зельнин рванулся всей силой — думал веревку перервать. Тогда был закон такой: кто с виселицы сорвется, тому все прощалось. Но как Зельнин ни силен был, веревки всетаки не оборвал; палач Камчатников за похвальбу на него сердит был и веревку припас крепкую; так и кончился Зельнин.

Убийство матери с единственною целию — видеть ребенка во чреве — приписывают многим; подобное преступление, должно быть, было сделано давно и так поразило всех, что его приписывают многим злодеям-разбойникам.

Орел, 4 апреля.

Лет около ста тому назад жил купец Никита Иванович Давыдов; на дочери этого Давыдова был женат Мед-

ведев, а у Медведева в доме жил сам воевода, стало быть, Давыдов был в силе. Нанял он у купца Олябьева харчевню, в которой сам Олябьев калачи пек. Приходит Давыдов рано поутру в харчевню; Олябьев подрезал калачи ножом, хотел в печь сажать; Давыдов стал Олябьева гнать из харчевни.

— Дай,— говорит Олябьев,— калачи спеку, тогда сей же час и выйду из харчевни.

— Ступай,— кричит Давыдов,— ступай сейчас!

Давыдов сильно на воеводу надеялся. Слово за слово, дошло дело до драки; у Олябьева, на беду, был ножик, которым он калачи подрезал, и пырнул он тем ножом Давыдова в живот. Давыдов бросился из харчевни в тайную канцелярию к воеводе; только добежал до половины дороги — упал; из окна увидала лекарка, схватила иголку и зашила Давыдову живот; тот сперва пошел все-таки в тайную канцелярию, показал воеводе раны и тогда уже отправился домой пешком, а к вечеру умер. Олябьева взяли под караул.

Бургомистром тогда был Степан Степанович Кузнецов; человек он был великий, любил честь, чтобы все его боялись и кланялись; когда что говорит — чтобы все его слушали. К несчастию Олябьева, Кузнецов дослуживал срок и на следующих выборах он знал, что его не выберут. Народ стал Кузнецову смеяться: «Вот ты бургомистр, а Олябьева дела не мог кончить, да и не кончишь. Не твоего ума это дело!» И эти слова показались Кузнецову за великую обиду. Не долго думал он, приказал привести на площадь Олябьева, кликнул палача Ивана, он же Голован-Волокитин-Коренев, и стал Олябьевым разыскивать. Пытки тогда были разные: какого обливали на морозе холодною водою, иных секли на перекрестках плетьми, иным крячили головы, иным хомут надевали; а то кормили селедкой и пить не давали. И все-то пытали, чтобы правды добиться; а как добьются правды, тогда станут по вине наказывать: кнутом бить да ноздри рвать, а то и совсем повесят... Стал Коренев разыскивать Олябьевым: надели на него *хомут* — Олябьев закричал благим матом, разнеслось по улицам: «Кузнецов разыскивает Олябьевым». Одни побежали смотреть на казнь, другие бросились к Степану Окулову. Степан Окулов по всему Орлу за первого силача слыл, да и работники у него были подобраны молодец к молодцу, ребята удалые. Прибежал народ к Окулову, кричит:

— Кузнецов на площади Олябьевым разыскивает! Олябьев кричит не своим голосом, жалостным голосом!

Как Окулов вскочит, крикнет своих работников, сейчас прибежало человек восемнадцать работников, ухватили дубье, рогачи да на площадь — Олябьева отбивать. Окулову очень жалко стало Олябьева, у Окулова сердце было очень жалостливое. А тем временем прибежали на площадь к Кузнецову соседи Окулова.

— Убегай куда! — кричат ему,— бежит вон сам Степан Окулов с товарищами!

Бургомистр Кузнецов знал ухватку Степана Окулова, узнал, что тут придется многим пить смертную чашу, не стал дожидаться Окулова, а побежал чрез реку Оку в брод, а на ту пору был паводок; прибежал он на двор к Ивану Пастухову да там и спрятался. Увидел народ, что бургомистр убежал, и народ рассыпался во все стороны. Палач Коренев видит: дело плохо! Сам бежит... На площади остался один Олябьев в хомуте, без всякого движения: как хомут ему надели — так руки и вывихнулись — лопатки назад, так до смерти и ходил.

— Где бургомистр? — крикнул Окулов Степан, прибежав с своими товарищами на площадь. Только никто ему не ответил: на площади народу не было, а Олябьев только стонал, а отвечать не мог.— Отыскать Кузнецова!

Товарищи Окулова бросились за Кузнецовым, отыскивали по всему городу, но отыскать не могли, а привели только одного палача Коренева.

— Где бургомистр? — спросил его Окулов, весь дрожа от ярости, замахиваясь на него дубовым рогачом.

— Не знаю,— едва проговорил палач со страху. Он думал, что тут его смертный час настал.— Снять с Олябьева хомут,— сказал Окулов своим товарищам,— надо высвободить его.— Как ни старались товарищи, как ни хлопотал сам Окулов, все-таки хомута снять не могли: станут снимать, Олябьев закричит — у тех и руки опустятся.

— Снимай ты! — приказал тогда Степан Кореневу-палачу. Палач сейчас же снял хомут, тогда Олябьев поклонился Окулову и всем его товарищам.

— Спасибо вам,— сказал он,— спасибо всем вам, добрые люди, что не оставили меня у моего смертного часу!

— Не на чем! — отвечал Окулов и пошел домой; Олябьев тоже, как его ни измучили, а пешком побрел восвояси.

Когда выздоровел Олябьев, пошел в Петербург к царице Екатерине Алексеевне с просьбой на бургомистра Кузнецова; царица за такой его, бургомистра, поступок приказала: Кузнецова сослать в Таганрог, Олябьева от всякого суда освободить да еще в пользу его со всего суда штраф взять.

Сослали Кузнецова в Таганрог; только он там недолго прожил: вышел манифест, а по тому манифесту его вернули опять в Орел, где Кузнецов жил до самой смерти своей.

— Кузнецов был сердит за что-нибудь на Олябьева? — спрашивал я рассказчиков.

— Нет,— отвечали мне,— Кузнецов был человек большой, а Олябьев маленький; бургомистр Кузнецов, чай, и совсем не знал Олябьева.

— Как же Кузнецов решился, не дождавшись суда, разыскивать Олябьевым?

— Да так, сдуру! Порядки старые забросили, а к новым еще не привыкли. Сперва такие-то дела на миру решали; мир, известное дело, не ошибается: один соврет, десять человек правду скажут; а как поделали бургомистров да поставили их по городам, они и задумали, что бургомистр замест целого мира дела решать может. От этой-то необразованности Кузнецов и разыскивал сам собою Олябьевым; ну Кузнецова и хотели наказать, а мир как накажешь? Мир наказать нельзя!

Орел, 7 апреля.

Здесь рассказывают про многих разбойников; но замечательно, что народ про них вспоминает с сочувствием. Сироту, Дуброву, Тришку Сибиряка, Засорина и других народ выставляет протестовавшими, и только; злодеяния разбойников, злодейства без цели я рассказал все или почти что все; но удалые шутки *все* рассказать довольно трудно, только в них есть одно: это защита слабых от сильных, бедных от богатых и в особенности господских крестьян от злых помещиков. Расскажу несколько таких происшествий.

Тришке Сибиряку, который жил тому лет двадцать— двадцать пять назад, разбойничал в Орловской, Смоленской губернии и *не загубил ни одной христианской души*, приписывают, как последнему, все удалые штуки, об которых тот, может быть, и сам не слыхивал, которые сохранились в народе как легенды.

Услыхало начальство, что Тришка Сибиряк разбойничает, и приказало его поймать во что бы то ни стало; кажись, как и не поймать: то в том месте покажется среди бела дня, то в другом, да еще и скажется: я, мол, Тришка Сибиряк — а все изловить никак не могли!

В женском монастыре был праздник; к обедне собралось народу — полная церковь; вокруг церкви народ... к концу обедни монахини пошли с кружкой на храм собирать, подходят к какому-то купцу, тот и выкинул на тарелку тысячу рублей; обошли церковь с кружкой монахини, сказали матери игуменье, что купец вон стоит, тысячу рублей на тарелку положил.

— Поди,— говорит казначее мать игуменья,— спроси, как его зовут, надо записать в книгу — поминать на вечные времена.

Казначея поклонилась матери игуменье, подошла к тому купцу и спрашивает его:

— Матерь игуменья приказала спросить, как вас зовут; надо вас за вашу добродетель, за святую милостыню в книгу записать; поминать вас станем на вечные времена.

— А меня,— говорит купец,— зовут Трифоном, прозываюсь Тришка Сибиряк.

Казначея так и обомлела.

— Как? Как? — говорит казначея, а сама ни жива ни мертва стоит.

— Тришкой Сибиряком зовут, матушка, Тришкой Сибиряком!

Пока опомнилась казначея, пока пошла к матери игуменье — а Тришкин и след простыл! На том месте, где стоял Тришка, Тришки нет; бросились за ним из церкви — и там не видно! Только смотрят, лежит на паперти свита синяя да борода какая-то! Тут только догадались, что у Тришки была подвязана борода; ну как его сыщешь, как признаешь, когда он бороду отвязал? Так на ту пору и не нашли!..

Узнал Тришка Сибиряк: в Смоленской губернии живет барин; у этого барина его мужикам житья не было; всех в разор разорил! Прослышал про того барина Тришка Сибиряк. «Надо,— думает,— проучить хорошего барина, без науки тому барину жить — век дураком слыть; стало, надо его на ум навести, чтоб ему на тот народ не стыдно свои очи выставить!»

Посылает ему Тришка письмо, а в письме было написано: «Ты, барин, может, и имеешь душу, да анафемскую; а я, Тришка, пришел к тебе повернуть твою душу на путь — на истину. Ты своих мужиков в разор разорил, а я думаю теперь, как тех мужиков поправить. Думал я, думал и вот что выдумал: ты виноват, ты и в ответе будь. Ты обижал мужиков, ты их и вознагради; а потому прошу тебя честию: выдай мужикам на каждый двор по пятидесяти рублев (а тогда еще на ассигнации считалось); честию прошу, не введи ты меня, барин, во грех — рассчитайся по-божьи».

Получил барин то письмо — не то что спокоиться, а выше в гору пошел, больше озлился, стал мужиков перебирать, стал допрашивать: кто подметное письмо принес? А мужики про то дело и не ведали. Так тому письму барин не внял, веры письму не дал. Проходит сколько-то там время, барин прочитал еще письмо от Тришки: «Ты моим словам не поверил; я не люблю этого; только вот что я скажу тебе: не в моем обычае за первую вину казнить; а по-моему, за первую вину только поучить надо; вот тебе какая выучка: не хотел ты дать мужикам по пятидесяти рублев — дай по сту, это тебе наука. Только мужиков трогать не моги: с живого кожу сниму; мужики в том не виноваты. Жду три дня».

Прошло три дня — барин никому ни слова: денег жаль и за мужиков приниматься боится — со шкурой своей барской расстаться не хочется; хоть и не дорого своя шкура обошлась, только если эту снимут — другой не скоро и наживешь. Стало, надо беречь пока эту... Пока барин раздумывал, Тришка написал еще письмо: «Просил я тебя, барин, честию мужикам помочь тысячью — ты не помог; просил тебя помочь двумя — ты мои слова ни во что поставил. Теперь жди меня, Тришку, к себе в гости. А как тебе, барину, надо сготовиться, как бы получше гостя принять, даю тебе сроку две недели — сготовься. Только пироги, что в Туле печены, по-нашему ружьями зовут, не надо, не готовь: я до них не охотник».

Получил барин это письмо, стал снаряжаться, как бы гостя непрошеного принять так, чтобы самому не остаться ни при чем. Всех своих мужиков, всю дворню собрал, роздал всем ружья; послал и в город сказать: гостя, мол, жду. К приему гостя было сготовлено все как следует; с самого раннего утра все были на ногах; на барском дворе толкотня

страшная, все с ружьями, просто ко двору приступу нет! Перед ранним обедом пришли солдаты с офицером.

— Зачем пожаловали? — спрашивает барин у офицера.

— Так и так,— говорит офицер: наслышаны мы, что к вам нынче обещался приехать вор Тришка Сибиряк; так меня из города с моей командой и прислали к вам на подмогу.

— Очень благодарен,— говорит барин,— хоть я и не боюся Тришки, а все-таки народу больше — лучше. Милости просим с дорожки закусить чем бог послал, пойдемте ко мне в дом, а солдатушки ваши пусть здесь останутся, я им сюда велю вынести водки, закусить... Пошел барин с офицером в дом, приказал подать сейчас закуску. Закусили, стали толковать о том о сем, барин и повеселел. Выпил еще. Офицер еще приободрился: так и сыпет про войну, где он воевал, как... да на речах-то вышел такой легкий!..

— Уж как я вам благодарен,— говорит барин,— как вам благодарен, и сказать нельзя! С вами я не только Тришки, а просто никого не боюся. Что мне Тришки бояться, скажите мне?

— Разумеется,— говорит офицер,— чего бояться Тришки!

Сказал это офицер, посмотрел кругом, видит: в комнате только они вдвоем с барином сидят, а больше никого нет.

— Коли вы, барин,— говорит офицер,— не боитесь Тришки, мне и подавно его бояться нечего!

— Отчего ж так? — спросил барин.

— Оттого так, барин, что я тот самый и есть Тришка Сибиряк; так мне самому себя бояться не приходится.

Барин так и обомлел от великой робости.

— Слушай,— сказал Тришка, а сам из кармана пистолет вынул,— слушай, просил я у тебя, барин, тысячу, не для себя просил, а просил для твоих же рабов — ты не дал; наказал тебе, просил две тысячи, ты и тут не восчувствовал! Теперь ты давай мне двадцать тысяч: две тысячи я отдам твоим мужикам, а остальные, что там останется, на свою братию возьму: надо что-нибудь и нам с твой милости на водку получить. За такую науку как не взять!

Барин стоит, только глазами хлопает, никак того дела в толк не возьмет...

— Полно, барин, глазами-то хлопать, рассчитаемся

честно, да и бог с тобою и со всем; мне некогда, пора домой.

— У меня деньги,— говорит барин, как опомнился,— в другой комнате; ты здесь погоди, я тебе сейчас все сполна принесу.

— Ох, барин! Молодец барин: подрастешь — плут будешь! Думаешь надуть? Вас мало обманывают, а то еще он хочет обмануть!

— Да я, право... да я, ей-богу...— забормотал барин.

— Ничего, барин, сочтемся! Ты ступай впереди, а я хоть и сзади, только знай: пальцем кивнешь — в затылок пулю пущу. Ты делай свое дело, а я свое сделаю.

Барин пошел передом, а позади барина Тришка Сибиряк. Вышли за двери, а в другой комнате народу-то, народу, да все с ружьями! Перешли еще в другую комнату — там никого нет... Отсчитал барин денежки, ровно двадцать тысяч отсчитал, отдал Тришке, остальные завернул и опять под замок.

— Видишь, я не в тебя, я слово свое держу: обещал быть у тебя в гостях — был, дал слово взять двадцать тысяч — взял двадцать, больше не беру, а хоть видишь сам — и все бы отнял, нечего делать — все своими руками бы отдал. Теперь проводи ты меня хоть за версту от деревни, а там и простимся.

Барин проводил сам, самолично Тришку с товарищами за ворота, а там еще версты полторы, да и раскланялся...

— Смотри ж,— на прощанье наказывает Тришка барину,— смотри ж, мужиков не обижать. Обидишь мужиков, бог тебя обидит, а то, может, и я, грешный, к тебе тогда в гости побываю!

С тех пор барин шелковый сделался! Что значит хорошая наука — много значит!

И много он учил их братию! Едет раз мужичонко с возом; а на возу было накладено, что и на хорошей лошади не свезти; а у мужичонка была лошаденка плохенькая, а еще и поклажа-то барская; с которой стороны ни поверни — все тяжело! Едет мужик с возом, горе мычет, а навстречу ему катит шестериком сам барин. Поравнялся барин с мужиком.

— Стой! — кричит барин,— стой, что ты тихо едешь? Отчего у тебя лошадь не везет?

Не успел барин хороший раскричаться как надо, как

из-за куста вырос какой-то мужик, снял шапку, низехонько поклонился барину да и говорит:

— Пожалуйста, барин, ваше благородие, окажи такую милость: подари ты этому мужику левую пристяжную...

— Как ты смеешь, мужик, мне это говорить, дурак! — закричал барин.

— Уж сделай милость,— пристает мужик,— подари мужику левую пристяжную!

— Как ты смеешь мне это говорить? Да знаешь, что я с тобою сделаю?! Да кто ты такой?

— А осмелюсь вашей милости доложить: я человек небольшой, а прозываюсь Тришка Сибиряк.

Как услыхал барин, что перед ним стоит Тришка Сибиряк, куда и прыть вся делась!..

— А, говорит, здравствуй, Триша! Возьми лошадь какую хочешь; пусть мужичок доедет до дому, я и пятериком доеду, лошади ничего не сделается; после только пусть назад приведет.

— Нет уж, барин хороший, подари, пожалуйста, мужичку совсем лошадку; а ты прикупишь еще лошадку, а то и пятериком проездишь, и пятериком тебе, чай, можно... На своих лошадях ты ездишь недалеко, а подальше, чай, на сотских!

— Изволь, Триша, изволь! Я для тебя, Триша, и совсем могу это сделать, могу и подарить!

— Только уж не изволь, барин хороший, лошадки отнимать у мужика. Не для себя прошу, прошу для твоего же здоровья: ты знаешь, может, мой обычай; не введи, для Христа, меня во грех.

— Изволь, изволь!

Припряг мужик к возу левую пристяжную да с крестом да молитвой благополучно и до дому доехал, да еще и после сколько на той лошади ездил...

Никого Тришка Сибиряк *не обижал крепко,* разве какого барина, лихого до крестьян, что раз поучит — не послушает, другой раз поучит — в толк не возьмет, так такому лихому под коленками жилки подрежет — «чтоб не очённо, говорит, прытко бегал!» Вот только и всего!

Велено было поймать Тришку во что бы то ни стало. Поехал отыскивать Тришку исправник; приезжает исправник на станцию, на станции сидит купец, пьет чай с пуншем.

— Не угодно ли вашему благородию чайку покушать? — спросил купец исправника.

— Пожалуй,— отвечал исправник, подсаживаясь к столику,— пожалуй, на дворе-то уж очень холодно.

— Холодно-с, извольте-ко-с чашечку...

Слово за слово, и пошел разговор.

— Куда едете, ваше благородие?

— Да вот туда-то.

— А позвольте спросить: по какой надобности едете, ваше благородие?

— Тришку Сибиряка надо поймать.

— Почему ж вы, ваше благородие, знаете, что там Тришка Сибиряк должен быть?

— Мне передали, что Тришка Сибиряк нынешний день поедет отсюда, с этой станции туда-то; а передали мне самые верные люди.

— Так-с...

А хотелось бы мне посмотреть, как ваше благородие изловите этого разбойника Тришку Сибиряка. Очень бы хотелось!

— Что ж, это можно.

— Как же, ваше благородие?

— Да поедем со мной вместе.

— Сделайте милость, батюшка, ваше благородие! Дело-то уж очень занятное.

— Изволь, изволь.

Напились они чаю да и поехали вместе в исправницкой бричке; дорогой больше толковали все о Тришке, как его, разбойника, исправник своими руками поймает и сам его в город в острог засадит.

— Как же вы, ваше благородие, узнаете этого разбойника Тришку Сибиряка?

— Как не узнать! У меня приметы его имеются,— говорит исправник.

— А позвольте взглянуть.

Исправник подал купцу приметы. «Волосы русые, брови черные,— стал читать купец,— лет от роду тридцать».

— Барин, да ведь это, пожалуй, и на меня смахивает!

Глянул исправник — с ним точно сидит не купец, а сам Тришка Сибиряк.

— Слушай, исправник,— заговорил Тришка,— вас, ду-

раков, мало обманывают, а ты еще и меня хотел обмануть! Вот тебе и наказание: ступай пешком домой!

Нечего делать, исправник вылез из брички, да и бричка-то была новая, вылез да и поплелся домой откуда пришел, а Тришка покатил, куда ему надо было!

Тришка Сибиряк... как я уже сказал, что его смешивают с Засориным, Сиротой, Дубровой и другими,— то и все они никого не убивали; только уж когда честью не возьмешь — злых помещиков учили и тою же наукой под коленками жилки подрезывали, и опять-таки для того все, чтоб не швыдко бегали.

Орел, 10 апреля.

Сохранились и теперь предания: что до назначения Орла губернским городом на реке Оке моста не было и что в самый год этого назначения началось здесь судоходство; в первый раз отправились только две маленькие барки по двенадцать сажен длиною, и как дело было для орловцев новое, то почти весь город провожал эти барки верст за десять. И теперь есть старики, которые помнят, что в Орле был один только трактир, одна табачная лавка; будочников, пожарных солдат совсем не было: на пожар сбегались и тушили сами жители; которые опаздывали или совсем не приходили, с тех брали пени. По ночам караулили по очереди сами хозяева, и между очередными караульщиками случались караульщицы — женщины и девушки.

— Зачем же будочников завели? — спросил я старика, рассказывавшего мне это.

— А затем, батюшка,— отвечал мне старик,— больно задорно стало; в одной улице караульщик, в другой караульщица — долго ли до греха! Сейчас грех, как есть грех!..

— Так и тогда доходило до греха?

— Как не доходить, доходило! А все грехи в те времена были куда меньше! А жили веселее, скромнее жили, побожию, оттого хорошо и было... Вот я тебе докладывал: у нас в Орле всего только один трактир и был, Теленков прозывался. Стоял он супротив Егорьевской церкви. Так и в том-то одном трактире народу, почесть, не бывало! А зайдет какой в трактир да узнает отец — такой задаст

трактир, три недели на место сесть не сядет; а проведают по городу про холостого, так пальцами тычут: «Вон,— говорят,— трактирщик из трактира ползет». Да такому парню и девку не скоро сыскать: весь город исходи — ни одна девка замуж не пойдет! А теперь что? Зайдет в трактир... и трактиров-то сколько развелось! — идет всякий в трактир при отце родном... да там еще табачище проклятый закурит.

— Куда же заходили выпить?

— Была певчая.

— Тоже трактир?

— Нет, как можно! Там можно было спросить чего: водки, пива, закусить чего подадут; а закуришь табачище — хоть кто будь, по шеям проводят, ни на кого не посмотрят!

— От этого и трактиром не назывался?

— Нет, не от этого, не от табаку; для того певчей назывался, что там певчие были, песни разные пели; а кто прикажет — и по-духовному могли; а кому и простую песню споют, пожалуй, и с торбаном.

— С одним только торбаном?

— Нет, и гудки, и рожки разные были в той певчей; только этих органов проклятых не было...

— Давно же эта певчая уничтожилась?

— Она и не уничтожилась...

— Да где же она?

— На трактир повернули.

— Ты помнишь эту певчую?

— А как не помнить! Лет пятьдесят тому привезли орган. Сперва народу повалило в певчую, протолпиться нельзя было. Да и кругом-то певчей народу труба нетолченая.

— И ты ходил слушать?

— Ходил, глуп был.

— Отчего же глуп?

— А оттого глуп: не знал я, что это грех большой! Вот отчего.

— А!..

— То-то, друг, а!

Мой собеседник хотел идти домой, а мне не хотелось с ним так расстаться; чтоб остановить его, я спросил:

— Давно новый собор строится?

— Да лет за шестьдесят будет. Был у нас царь-импера-

тор Павел Петрович и был он именинник на Павла-исповедника, так губерния положила для императора Павла Петровича Павлу-исповеднику собор построить. Стали собирать со всех деньги, да и по сю пору собирают, а все никак этого собора не отстроят.

— Отчего же?

— А оттого: церковь, по писанию, положено ставить алтарем на восток, а этот собор куда смотрит?

— Кажется, на восток.

— На какой восток?

— Куда же?

— Посмотри на другие церкви: все смотрят на самый восток, а этот больше на полдень подался.

В самом деле, новый собор алтарем стоит не прямо на восток, а на юго-восток.

— Так от этого и собор не отстраивается?

— От самого от этого. Отстроили было совсем, а там опять перестраивать надо. Вот и теперь снова перестраивают, да ведь то же самое будет!

— Что будет?

— Отстроют, начнется служба, а там...

— Была уже служба в этом соборе?

— Как же, была! И обедню служили, и другие службы справляли; да вот хоть бы взять: Яков Федорович Скарятин когда умер, отпевали в новом соборе.

— Отчего же его в соборе отпевали?

— Барин был именитый, службу свою справлял при том самом императоре Павле Петровиче; как помер император Павел, так Яков Федорович и служить перестал. Должно быть, от этого и хоронили его в новом соборе.

— Похоронили в новом соборе?

— Нет, только отпевали, а хоронить его повезли в его вотчину, верст за сто от Орла.

Орел, 10 апреля ⟨1861 года⟩.

В прошлый раз не успел я досказать своего разговора со стариком, толковавшим мне об орловской старине.

— Ты говоришь, что сперва лучше было жить; скажи же, пожалуйста, чем же лучше было? — сказал я своему собеседнику.

— Было все проще, было все по-божью! До Балашова-

губернатора* не было же мостовых; улицы были маленькие, узенькие, да и крашеных домов, почитай, совсем не было во всем городе.

— Чем же это лучше?

— Это-то пожалуй и не лучше, да жизнь-то была куда лучше! Проще гораздо было! Тогда этих платьев и не знали!

— В чем же тогда ходили?

— Да вот как, примером сказать! Старики, сердовый народ, сойдутся — ни на одном не увидишь, бывало, сюртука, что теперь пошли; все в кафтанчиках, кушачком так подпоясаны, а сверху свитка надета; сапоги простые, большие; а зимою в полушубках, пуговки серебряные, а сверху шуба лисья, на ноги кеньги — не продрогнешь! На голове треушок...

— Летом носили треушки?

— Летом старики тогда поярковые шляпы носили; шляпа-то сама небольшая, а крылья были обширные: от солнца, от дождя хорошо!

— Молодые не так ходили?

— Молодые не так! Выйдет, бывало, молодчик — на нем кафтанчик лучшего сукна, кафтанчик с валиками: сорок восемь валов назади, не то что нынче складки... Подпояшется кушачком шелковым, кушачок-то сложит складку-то в четверть, а то и больше; сапожки наденет козловые, каблуки белою бумагою строченные, носы острые, длинные... На головку накинет колпачок**, а колпаки были высокие — вершка в четыре, отороченные бархоткой; а какой щеголек повяжет на колпачок ленту разноцветную, а то еще и две, и пойдет мимо красных девушек!

— К девушкам можно было подойти, поговорить с ними?

— Ни-ни! Как можно!

— Как же он пройдет мимо красных девушек? Где же можно было пройти мимо девушек?

— Как где? На улице!

— Зачем же девушки выходили на улицу?

— Невеститься, друг, невеститься!

— Как это невеститься?

---

* Генерал-адъютант Балашов в 1820 году был назначен рязанским, тульским, орловским, воронежским и тамбовским генерал-губернатором. В это время орловским губернатором был, кажется, Шрейдер, который много хлопотал об улучшении города.

** Шляпа гречишником.

— Как невеститься-то? Да это делалось просто; а кто и теперь живет по-старому, так и теперь еще невестятся: в праздник после обеда вынесут за ворота стул, поставят от калитки аршина на два; выйдет девушка, рязряженная что ни на есть в лучшее платье, сядет на то стуло да и станет пощелкивать орешки кедровые, а то и просто подсолнушки. А молодцы по улице похаживают да невест себе выглядывают... Только в старые времена куда не в пример лучше было!

— Отчего же?

— Оттого лучше, что все было по-старому, как я тебе, друг, говорил, а теперь что?

— Как же по-старому?

— По-старому девушка наденет, бывало, рубашку тамбурную как только можно лучше, наденет юбку золотой парчи, да юбка-то обложена позументом хорошим или газом; на головке у ней платочек, весь шитый золотом, жемчуг* во всю шею, в ушах серьги большие — по полуфунту бывали... Да как набелится, нарумянится,— просто молодцам сухота! А теперь что уж и говорить!

— Чем же теперь-то хуже?

— Как, друг, чем? Теперь как одеваются девки? Глянуть срамно! А около тех девок парни-то все оборвыши, так и лебезят, так и лебезят! А в старые годы — ни-ни! Пройдет парень мимо девушки, отвесит поклон, да и полно, а заговорить и не помысли!

— И зимой в одних рубашках девушки за воротами сидели, невестились?

— Нет, как можно! Только зимой больше на реку ходили, белье стирали, белье мыть.

— Как, и богатые?

— Да, и богатые; только ведь это один пример был: пойдут, бывало, как и в самом деле хозяйки хорошие, работницы; пойдут белье мыть, а какое уж там мытье! Просто одно слово, только слава, что работа, а другая путем и рубашки не намочит! Девки пойдут на речку, а парни за ними!

— Ну а на хороводах, скажи, пожалуйста, девушки с парнями сходились ведь и тогда?

---

* Здесь говорят *«земчуг»*.

— На каких хороводах? Это, может быть, ты хочешь сказать про корогоды?

— Да, про корогоды.

— Корогоды — это, по-нашему, танки водить.

— Так как же у вас сперва танки водили: одни девушки или с молодцами?

— Это только теперь стали водить танки и парни, и девки вместе, а прежде одни только девушки; а парни вокруг только похаживали... Прежде благочестия было больше!

— Отчего же?

— А бог знает! Антихрист, что ли, скоро народится, народился ли уж он, окаянный, кто знает про то?

— Почему же видно, что благочестия сперва было больше, чем теперь?

— Сперва-то, друг, и в бога больше верили, и в церковь чаще хаживали! На Крещенье, на Преполовенье, на Спаса, после водоосвящения на Иордани все, кто во всем платье, а кто и разденется донага, да и в реку! На Святой неделе все сходят на колокольню, на колокольне-то труба нетолченая! Всякому хочется хоть три разочка в колокол ударить, оттого целый год здрав-будеши! А чтоб на Святой хоть одну церковную службу пропустить — беда! Застанут на постеле — всего водой зальют; ушатов двадцать—тридцать на тебя выльют — не опаздывай!

— Ведь так можно и простудиться!

— От этого, друг, простудиться нельзя, для того что все это делалось не во зло, а во телесное и душевное здравие!

— Старухи хаживали на улицу?

— Зачем старухам на улицу?

— Так-таки из дому никуда и не выходили?

— Как из дому не выходить — выходили; старухи наши ходили в косых кокошниках; накроет кокошничек кисейным покрывалом, наденет шубку шелковую или китайчатую, смотря по достаткам, возьмет в руки палочку, да и пойдет, куда ей там надобно: в церковь ли в божию, в гости ли к кому...

Орел, 18 апреля.

Был я верст за шестнадцать от Орла в селе Лаврове, которое раскинулось очень привольно и на живописном месте, немного правей старой большой Кромской дороги; во всяком

или почти во всяком дворе есть сад, что еще больше придает красоты этому селу. Замечательны здесь постройки; село Лаврово по плану еще не совсем переделано, а потому улицы идут довольно свободно, большая часть изб стоят во дворе, а на улицу выходят только одни заборы, глухие стены нежилых строений да ворота.

— Скажи, пожалуйста,— спросил я старика, хозяина избы, в которой я остановился,— скажи, пожалуйста, для чего вы строите избы на дворе; на улицу окнами, мне кажется, веселей было бы?

— Так-то оно так,— отвечал старик,— да и в сад окнами не очень, кажись, скучно; а подумаешь, может, и скажешь, что так-то и лучше; кто к чему привык, так тому и лучше; наши деды так-то делали, да и нам позволили!

— В сад окнами мне и самому кажется лучше; да ведь хорошо, когда сад есть, а коли нет, тогда как?

— У нас и сады-то пошли оттого, что на двор окнами избы ставили, а не на улицу.

— Это почему?

— Скучно смотреть в голую стену, ну и станешь разводить садочек, посадишь яблонку, заведешь огородец; пустоты-то не станет, оно и повеселей самому сделается...

— Старики для чего же с самого начала ставили так избы? Когда заводились дома, садов еще ведь не было?

— Тогда нельзя было.

— Отчего же?

— Оттого, что Литва находила зачастую. Ворота как запрешь, ну, бог даст, и отсидишься: стрелять-то некуда; а окна на улицу — кто ей, Литве-то, не велит по окнам стрелять.

— А Стрелецкая слобода, Пушкарная, по большой дороге деревни все — те построены на улицу. Не нападала на них, что ль, Литва?

— На них не нападала.

— Да ведь это от вас близко?

— Нам-то от них близко, да им-то от нас будет далеко,— проговорил старик с усмешкой.

— Как же это так? Я что-то не пойму.

— Этого скоро и не поймешь! А вот скажу, сразу поймешь. Изволишь видеть: мы здесь исконные, а они здесь внове живут, так они Литвы-то и не видали.

— А как давно они сюда перешли?

— Был царь Петр, первый император, так он их с Москвы сюда перевел. Это помнил мой покойный дедушка: вот, говорит, они-то загрустовались! И боже мой! Очутились они, сердечные, что птица на ветре! Наши деды и прадеды все садушки́* были: у каждого, стало быть, садочек был; а они что? Были пушкарями — пушкарь, а стрелец — стреляй! А от пушкаря аль стрельца какой садушо́к выйдет? Сказано, говорит, в писании: от лося — лосенок, от свиньи — поросенок! По́мстили они, по́мстили**. Садов, говорят, нам не развести; на голый двор да на забор глядеть прискучает; давай избы на улицу ставить, все так-то будет веселее... Ну так и построились! А которые построились на большой дороге — те для выгоды своей: проедет какой проезжающий, видит, изба стоит, кормить лошадей надо — ну и заедет.

— А вы давно здесь живете?

— Мы-то давно.

— А как?

— Да давно,— отвечал старик как-то нехотя.

— Ты, верно, ведь слыхал от своих стариков что-нибудь о первых стариках, которые сюда переехали, здесь дворы поставили, избы порубили, сады поразвели? Ты ведь и сам человек, кажись, немолодой.

— Куда, молодой!

— То-то же! Верно, что-нибудь слыхал? — настаивал я.

— Слыхать-то слыхал, да рассказывать-то что?

— Что слыхал, то и мне расскажи.

— Много с нами греха было! Чего-чего с нами ни делали! А все, по милости божией, живем! Да и то сказать: как без горя век прожить? Нет того древа, чтоб птица не сидела, нет того человека, чтоб с горем не спознался!

— Какое же у вас горе было?

— Как какое? Сперва-наперво сказано было нашим дедам... куда дедам! Может, и прадеды не помнят! Сказано было нашим старикам: ступай, селись на здешние места, бери земли сколько хочешь; только смотри за Литвой... Тогда еще Литва была. Смотри за Литвой, чтоб русских земель не разоряла; воюй ее, поганую! Пришли мы сюда, забрали земли, сколько кому надобно было, построились и стали служить царю всей верой-правдою, и все мы были тогда дворянами.

* Садовники.

** Помыслили.

— Да чем же лучше дворянину жить, чем простому крестьянину, да еще вольному?

— Как не лучше! С дворянина и рекрут не берут!

— Зато дворяне все служат, а из вас которому придется. Разве то, что позволено было крестьян сперва дворянам держать?

— А ну их, крестьян-то!

— Так что же? — спросил я.

— А учеба! При учебе человек-весь! (Так!)

— Как же так вы из дворян да в простые мужики перешли?

— Поди же ты! Был царь Петр, первый император, тот и велел всех нас, дворян, что кучами живут, всех тех дворян в простые мужики повернуть. Ну и повернули!

— Как же так?

— Да так, что Литвы не стало!

— Что же вам-то от этого?

— Видишь: была Литва — с ней мы и воевали; не стало той Литвы — с кем воевать? А император первый и говорит: «Хочешь быть дворянином, так у меня воюй! А не хочешь, так я вас всех в мужики поверну!»

— Рады воевать,— мы говорим ему,— ваше императорское величество, да воевать не с кем. «Я,— говорит,— император: вам войну найду всем! Кто хочет, иди за мной на войну», а он страшнеющий воитель был... «А кто не хочет, тот мужиком делайся!» Царь нашел войну; которые из наших пошли с царем воевать, те остались дворянами, а которые пооставались дома, тех спервоначалу однодворцами поделали, а после и в самые крестьяне повернули.

— Давно вас в крестьяне повернули?

— Во! Давно! Это все помнят!

— Когда же вам лучше было?

— Разумеется, в старые годы!

— Отчего же?

— А все оттого! Сперва-то и хлеб родился лучше, и правды было больше! Станет, бывало, хлебушек родиться, станешь радоваться. А теперь что? Выйдешь на поле, взглянешь — знай: с голоду не умрешь, да и сыт не будешь: ни сыт, ни голоден!..

— Отчего же это так?

— Как отчего? Начальства было меньше, да и начальство было не такое: сперва, в наши годы, к начальнику

идешь, богу молишься, молишься — ну пойдешь; дорогой-то остановишься раза три, думаешь-думаешь: идти или вернуться? Придешь к начальнику; тот как выйдет — прямо тебе в зубы, а там еще, еще... А как натешится, тогда только спросит: какое твое дело? Ну и всякому опаска была! А как скажешь ему свое дело, да увидит он, что твое дело не дело, а безделье — так не роди мать на свет! Запорет! А теперь что? Повздорят две бабы, и бабы-то из одного двора, да к начальству на суд! Придут к начальству, у него, у начальника-то, на дому подымут крик, гам... Ну начальническое ли дело баб судить? Нет, к прежнему начальству бабы на суд не ходили! Повадь простого человека судиться — дома сидеть не станет, все по судам будет таскаться; вельми паче бабье дело! А то еще и сам начальник во всякую малость лезет.

— Ты говоришь, что сперва дрались начальники; сперва ведь и взятки брали начальники...

— А теперь, чай, не берут?!

— Зачем же вы ходите судиться, зачем баб не останавливаете?

— Что делать, друг! И сами знаем, что не следует, а все идешь на суд!

После обеда я опять сошелся в саду с тем же стариком; сперва разговорились о погоде, а там о приметах: как узнать, какое лето будет.

— Ну, журавль пролетит, а гусь после — господь лето хорошее даст. Встретишь — гусь пролетит; слава тебе господи, дождались лета! Да теперь и примет-то не разберешь!

— Отчего же?

— А кто ее знает! А может, и теперь найдутся мудрые люди, и теперь, чай, всякую вещь тебе рассудят! Вот я тебе притчу скажу. Еще до Ноева потопления жил царь Соломон премудрый; был этот Соломон премудрый еще в молодых летах, и невзлюбил его отец-родитель; и каких-каких он ему задач не задавал; а у Соломона на всякую задачу отгадка была. Раз отец задал ему такую задачу: «Приезжай ты ко мне ни на двор, ни на улицу, ни пешком, ни на жереби, ни на осле; ни одет, ни наг, ни сыт, ни голоден!» Что ж сделал Соломон премудрый? Снял рубашку, окутался неводом, взял в руки калач, сел верхом на козла, приехал к отцову двору, отворил ворота да и стал в воротах: передние ноги у козла на дворе, задние на улице; и выходит: ни на дворе,

ни на улице, да сам калач жует: ни сыт, ни голоден! Что и толковать, человек был *дошлый,* до всего доходил! В нынешние времена какой и хороший человек, да деть некуда! Вот Петр-царь, первый император, до всего доходил, а до одного не дошел: лаптя сплесть не умел, что у нас каждый мужик, мальчишка сделает!

— До чего же Петр-царь доходил?

— До всего доходил.

— До чего же?

— Планиду знал!

— Какую планиду?

— Видишь ты: я тебе говорил, что он страшный воитель был. Нашел на Петра-царя Мазепа, Литва с сильною войною...

— Мазепа — кто такой?

— А Мазепа с той стороны, с литовской... Сошлись царь Петр с Мазепой под Плотавой...

— Плотава — город такой?

— Не знаю, Плотава да и Плотава. У Литвы Мазепа, а у царя Петра был дедушка Суворов... Только в старые времена война не такая была, воевали не по-нынешнему; как сойдутся, окопаются окопом, да и воюют кряжами...

— Как кряжами?

— Привяжут кряж, пень какой, привяжут на веревку и повесят на окоп; как кто полезет на окоп, веревку подрежут, кряжем того и убьет.

— И царь Петр так воевал?

— Тоже так воевал. Вот сошлись две рати, окопами окопались, стоят. Только Петр-царь и говорит дедушке Суворову: «Пойду, дедушка Суворов, я на литовский окоп!» — «Не пущу,— говорит дедушка Суворов».— «Пусти»,— опять говорит царь Петр. «Не пущу»,— опять-таки ему дедушка Суворов. «Тебе говорят — пусти!» — «Не пущу!» — «Посмотри,— говорит царь,— посмотри на небо».— «Ничего на небе нет!» — «Стань же ты мне, дедушка Суворов, на правую ножку!» Стал дедушка на правую царю ножку.

«Глянь,— говорит царь,— глянь на небо!» Глянул тот на небо и видит: сила небесная над царем, сила несметная! Ангелы небесные... крылья у них, аки колесница (?)! И никто их не видал, только про них в апокалипсисе сказано; только один царь Петр их и зрел: планиду знал. Как

увидел дедушка Суворов ту силу небесную. «Ну,— говорит,— теперь пущу: иди!»

Ну и одолел царь Петр Литву тое.

Орел, 20 апреля.

На пристани я нашел старого бурлака, который уже несколько лет не ходит на барках; а смолоду он хаживал и до Нижнего. Стал я у него расспрашивать про Петра Первого.

— Петру-царю, первому императору, не дойти никак до Грозного царя до Ивана, что еще на Москве царил, когда еще и самого Питера не было.

— Чем же Грозный лучше Петра?

— Грозный во всяком деле толк рассуждал, а Петр на кого рассердился — голову долой, и вся недолга.

— Здесь, в Орле, я про Грозного не слыхал...

— От кого здесь услыхать-то? Вот я хаживал на барках, так там чего не узнаешь!

— Что же ты про Грозного слыхал?

— Рассудительный царь был, простой человек был, всякую вину рассудит да по мере вины и накажет; а коль рассудит — вины нет, ну и ничего. Под Коломной слышал я, мне сказывали, а я тебе скажу вот что: любил царь Грозный на охоту ездить за всякою птицею, за всяким зверем. Ездит он, ездит, уморится и заедет к простому мужику отдохнуть в простую избу. Придет в избу, сядет в передний угол, покушает чем бог пошлет; а хозяевам прикажет царь беспременно всякому свое дело делать. «Я,— скажет,— не хочу никому мешать». Приезжает он как-то раз к мужику отдохнуть, сел за стол, стал кушать. А у мужика был сынишка лет двух, а то и того не было, да такой мальчишка шустрой был! Бегал он по лавке, бегал, подбежал к царю да как хватит царя за бороду — тогда цари еще бороду носили. Как прогневится царь! «Сказнить ему голову!» — кричит царь. Приходит хозяин, отец того мальчика. «Прикажи слово сказать!» — «Коли умное скажешь,— говори,— кричит Грозный,— а глупое скажешь — и тебе голову сказню!» — «Зачем глупое говорить, царю надо умное говорить! Без вины ты хочешь моему сынишке голову сказнить!» — «Как без вины? Он меня за бороду схватил!» — «Это он сделал по своей несмышлености, для того что он еще в младом возрасте. А вели ты, царь, принести чашу золота, а я нагребу

чашу жару из печи; коли он хватится за золото — значит, он в разуме, сказни его; а коли хватится за жар — то он хватил тебя за бороду по своей несмышлености». — «Хорошо!» — говорит царь. Принесли царские слуги чашу золота, а мужик нагреб из печи жару — угольев; поставили чаши на лавку, подвели младенца, тот и хватается за жар. «Вот видишь, царь», — говорит мужик. «Вижу! — говорит царь. — Спасибо, что ты меня от греха избавил; за это твоего сына пожалую». Взял царь с собой мужицкого сына, вырастил его, а после и в большие чины его представил*.

Орел, 24 апреля.

Про теперешний Орел сказать много нечего: после многих страшных пожаров он поправляется очень не быстро; на всех улицах, даже самых главных, вы часто встретите пустыри, обгорелые дома; днем увидите тоже на всех или почти на всех улицах фонарные столбы; ночью же город освещается фонарем, зажженным у квартиры полицеймейстера; мне говорили, что еще где-то есть два фонаря, но я их не видал, а поэтому об них и говорить не могу. Страсть к собакам и к публичным обедам, кажется, отличительная черта орловцев. Днем и ночью собаки стаями ходят решительно по всем улицам; меня уверяли, что здесь, в Орле, собаки не кусаются, хотя в полицию приходили уверять в противном; но все-таки как-то не совсем приятно, когда на вас кидаются десять—пятнадцать влюбленных собак... После собак орловцы очень любят публичные торжественные обеды; приедет новый губернатор — ему обед; расстается начальник с губернией — ему обед; выберут старшину в клуб — ему обед; выгонят из старшин в клубе — члены клуба и тут его чествуют обедом!

— Охотники у вас до обедов, — сказал я одному здешнему чиновнику, — всем даете обеды.

— Мы даем только достойным своим начальникам, — отвечал чиновник.

— А выгнанному старшине за что клуб обед давал?

— Чтоб поощрить теперешнего.

А должно заметить, что эти обеды очень хороши: я знаю, что для таких обедов посылали на почтовых из Орла в Москву за одним теленком.

* Этот анекдот слышал я еще в Рязанской губернии и, не помню от кого, в Москве.

Усох Трубчевского уезда, 15 июня 1861 г.

— Как пройти в Трубчевск? — спросил я, выходя из Кокоревки, встретившегося мне мужика лет за пятьдесят.

— А ступай ты прямо на Острую Луку, а там выйдешь на Усох, а там и сам Трубчевск тебе будет, ноньче рано еще придешь в город.

— Сколько верст до города?

— От Острой Луки у нас считается двадцать верст, а то и всех двадцать пять верст будет, да от Острой Луки до города двадцать — там уж мерные версты — столбы стоят, вот и считай: верст сорок хороших будет, да дорога-то ходовата.

— Ну, прощай! Спасибо на добром слове.

— Постой немножко; я забегу только в избу, захвачу зипун, пойдем вместе; мне надо на мельницу, а двоим все-таки веселее.

Через минуту он вышел, и мы отправились с ним.

— Ты зачем идешь на мельницу? — спросил я своего спутника.

— Мельницу прорвало весной, плотину надо чинить, так затем и иду.

— Своя мельница?

— Кабы своя! Чужая. Мне не след было и наниматься-то во чужих людях, да что будешь делать! Пришлось на старости лет на чужих работать, а допрежь и дома было своей работы довольно.

— Отчего ж теперь пошел на чужую работу?

— Так, грех случился.

— Какой же грех с тобой случился?

— Бог, видно, наслал; за грехи ли он меня карает, так ли за что испытует, а только вот что я скажу: остался я с матушкой после батюшки только один, почитай, работник; а братцев у меня было шестеро; пришел брат один, что после меня, пришел в законные года — женил... Меня-то еще покойник-батюшка оженил. Пришло время другому — другого женил, женил я и третьего. На ту пору объявили набор. Помолились мы богу: кому идти? Я и говорю: «Я, братцы родимые, пойду за вас служить богу и великому государю, только вы сами думайте: хорошо ли это будет?» Матушка так и всплеснула руками: «Кому идти — тот пойдет,— говорит матушка,— а тебе идти не след: ты всему

дому голова, да и братья тебя почесть должны!» Тут один братец и замялся. «Милому,— говорит,— надо дома оставаться, а постылому, верно, за милого в солдаты идти!» — «Молчи,— говорит матушка,— ты мне постылый, что ли?» — «Верно, постылый!» — «На-ко, укуси-ка пальчик,— опять-таки говорит матушка,— укуси этот пальчик, а то хоть и этот: всей ведь руке больно! Так-то и матери любого сына жаль, за всякого сына вся утроба раздирается! Тут пришло горе, надо всем разобрать, как бы так горе разгоревать, чтоб всем не пропасть! Отдадим старшего брата, снимем с дома голову — все пропадем! Я вам мать, худа никому не хочу; а по моему разуму, вам бросать жеребьи, а старшему,— мне то есть, прибавил рассказчик,— старшему быть надлежит дома».

Тут братья все загомонили: «Старший, не бери жеребья, а мы, меньшие, промеж себя кинем по жеребью!» На том и порешили. Кинули жеребьи; достался жеребий брату Михайлу, тому самому, что с матушкой заспорил; тут, однако, и он не стал спорить. Снарядил я его, как бог указал, отвел в присутство, сказали малому: «Лоб!», поплакал... пошел этот в солдаты. Пришел еще набор — еще братцу забрили лоб... Сказали и еще набор, и опять-таки на нас черед пришел! Племянник поймал меня в поле... а племянник у нас в доме был от старшего моего еще братца, что при батюшке еще на погост свезли... Так после этого-то брата остался мальчонка; вырос племянник, поступил в года, что и закон принять можно*. Стал я ему невесту приискивать, только племянник мне говорит: «Нет, дядюшка, не надо, не хочу я жениться, холостым еще похожу». Ладно. Проходит еще сколько времени, вижу, малый смирный, работник хороший, надо женить! Сыскал невесту; невеста, вижу сам, очень уж малому по сердцу пришлась... Повенчали. Прошел год с чем-то, народился у племянника сыночек, мне внук, значит. Тут-то и сказан был набор... Поймал меня тут-то в поле племянник. «Дядюшка,— говорит,— не мечи промеж нас жеребья».— «Как, друг, не метать? Тебе дома хорошо жить, в солдаты не хочется — так-то и всякому!» — «Не об том я говорю, дядюшка любезный,— а малый был почтительный,— не об том я говорю, дядюшка любезный, а вот что надо сказать: отдадим мы со двора еще дядю —

* Закон принять — вступить в брак.

бабушка не вынесет: двух сыновей старушонка отдала — как убивалась! Третьего отдаст — совсем помрет! Думал я, думал,— говорит,— и положил: дядей в солдаты еще не пускать, а скажут набор — жеребья не брать; идти в солдаты мне, без жеребья! Оттого-то я,— говорит,— и жениться не желал, а пожелал я охотою за дядей служить! Только, на грех мой, девка попалась — что и от ней отступиться нельзя... Сгубил и ее, горькую! А все-таки своего положения не покидаю: баба моя оставайся, там что бог даст... а мне идти в солдаты!»

Только это он мне хоть и говорил, а все-таки я ему по его не сделал и все-таки жеребей всем дал; племянник не стал брать, я за него взял; попал жребий моему брату, а племяннику жеребья не досталося. «Все,— говорит тот,— все ты, дядя, пустое замыслил: идти мне в солдаты!» Повез я брата, и племянник за мной увязался, что ты будешь делать! Иду с братом в присутство, племянник с нами. Как только сказали брату: «Лоб!» — а племянник тут как тут! «Я,— говорит,— иду за дядю охотой!» Господа посмотрели на парня. «А когда ты охотой идешь, дай бог час!» Забрили ему лоб, а брата выпустили и денег за это ни копейки не взяли. Теперь слушай: жили мы — слава богу! Ни ссоры, ни свары никакой! Вот и приходит брат-солдат с красным билетом и другой приходит — с желтым. Приходят: и матушка, и все, и я так взрадовались, что ну! Матушка только и радовалась: вот-вот дождалась божьей милости: все ее детки в кучу собрались... Да не так вышло, не так бог дал, как думка была. Пошла свара, разлад. Ты то делаешь, а братья, особенно старший, солдат, тот свое. Что ты будешь делать! «Не ходи, братья,— говорит старший солдат,— куда хозяин пошлет!» Это он меня прозвал хозяином; а сам ты знаешь: как дому без хозяина жить?! Я и говорю: «Братцы, племяннички милые! Я вас вырастил, выкормил, выпоил; надо было в солдаты идти, надо было женить — все сделал; сами знаете: больше четырехсот целковых выдал. Теперь вот что вам скажу: не желаю я быть хозяином; постановьте вы сами себе хозяина, я буду работать». Ребятам стало будто и задорно. «Нет,— говорят,— дядюшка, никому иному, как тебе, приходится быть хозяином; ты и будь нашим хозяином».— «Ладно,— говорю,— только не было б худого». Стали жить по-старому, я опять-таки хозяином в дому, только пошло еще хуже. Матушка-старушка, а ей те-

перь за девяносто лет, матушка говорит: «Не жить вам, детки, видно, вместе, поделитесь!» Стали делиться... Когда дележ без ссоры бывает? Я говорю: «Разделим, братцы, весь дом, все добро на четыре жеребия: один жеребий мне, другой одному солдату, третий другому солдату, а четвертый внуку, что от племянника пошел. Кажись, по-божьему? Кинем, говорю, жеребьи». Так что ж ты думаешь? Братья на то не пошли: «Ты укажи,— говорят,— каждому жеребий».

Бились, бились, до миру доходили, на миру нас и поделили. Двор наш изо всего села был, а теперь... хуже нас ни одного нет. Я на старости какой работник; ну а из солдат, сам знаешь, какой уж хозяин!

У мельницы мы с ним расстались: я пошел дорогой, которую он мне указал, а он на мельницу.

Дорога пошла лесом; леса здешние совсем не похожи хоть на новгородские; северные леса до утомительности однообразны; здешние южные напротив; северные леса большею частию состоят из одной какой-нибудь породы: пойдет сосна — сосна и идет если не на сотни верст, то, верно, на десятки; пойдет ель — все одна елка; редко и эти две близкие породы перемешиваются; и по этому-то лесу в северных губерниях изредка попадается тощая березка или осинка... В малороссийских лесах за очень немногими исключениями вы не знаете, не можете сказать: из какой породы деревьев лес: там и сосна, и ель, и берест, и орешник, и ольха... Трубчевские леса составляют переход от северных лесов к южным: ежели нет разнообразия южных малороссийских лесов, то нет и того дикого, хоть и величественного, однообразия лесов новгородских. Жителю северной России трудно понять гоголевский эпитет — «зеленокудрый» лес. В Трубчевске это легче дается: вы как бы предчувствуете, что есть леса, которые можно назвать зеленокудрыми, и только в благословенной по климату Малороссии вы назовете леса зеленокудрыми, хоть бы и не подсказал бы этого слова славный малоросс.

Этот лес в очень немногих местах вырубают: помещики и казна продают по нескольку десятин. Я шел по лесу уже более трех часов и напал на мужиков, которые отдыхали у дороги.

— Скажите, братцы, где можно напиться? — спросил я, разбудивши этих мужиков. Многие на меня, пожалуй, воз-

негодуют: как осмелился беспокоить пейзанов, которые после тяжкого труда, может быть, только что заснули; я, пожалуй, и принесу повинную, но только спрошу, что бы сделали в моем положении мои обвинители: вышел я из Кокоревки, выпив только кружку воды и ничего не евши, не думая, что мне придется идти безлюдным песчаным местом верст пятнадцать, я не спешил; но когда одолела меня жажда, не знаю, что со мною было; и теперь без ужаса не могу вспомнить о последнем часе, проведенном в этом лесу, до этой встречи. Сперва нестерпимая жажда долго меня мучила, потом невообразимо неприятная дрожь довела меня до того... что я хорошо понимал, почему голодный волк нападает на людей, когда будучи сыт, он боится людей...

— Нет ли у вас воды, братцы? — спросил я проснувшихся мужиков.

— Нет, братец, воды нет у нас,— отвечал один из проснувшихся мужиков,— а вот ступай ты по дороге: пройдешь версты полторы — там гляди тропочку влево, тропочка торная будет, так ты ступай по этой тропочке, и дойдешь ты до криниченьки...

— Видишь ты, человек совсем измаялся,— вступился другой мужик,— куда ему найти твою криницу! Вставай, братцы! Пойдем вместе...

— А и то правда,— отозвались другие.

— Пойдемте, братцы, и нам пора: на жару немного отдохнешь... И господь знает, что за жара!

— А отчего жара? Оттого и жара, что сухмень стоит: от той от сухмени всякое былие пропало; которую гречку посеяли — та взошла; а конопля поднялась на вершок — ту мушкара съела; засеяли в другой раз — в другой раз не взошла... Господня воля...

Кое-как мы прошли версты полторы или две, повернули влево по торной тропочке и нашли криницу, вырытую в лесу, шириною вершков шесть и глубиною не более полуаршина. Ни стакана, ни ковша ни у кого не было, и мы, захватив шапкой воды, жадно стали пить...

— Теперь можно и трубочки покурить,— заговорил один, утирая усы, кажется, после третьей шапки воды.

— Теперь можно... А ты, почтенный,— отнесся ко мне с этим титулом другой,— искуриваешь?

— Искуриваю...

— Не хочешь ли, у меня важный табак.

— Спасибо, друг, у меня есть свой.

— Ты куда идешь?

— В Стародуб.

— А зачем?

— По своим делам.

— По своим делам,— поддакнул мне мой собеседник, будучи совершенно удовлетворен моим ответом.

— А вы откуда? — спросил я.

— То есть: откуда идем или сами откуда?

— Ну, хо̀ть сами откуда?

— А сами мы из Гнилева, идем теперь в то самое Гнилево.

— Где были?

— Были мы в лесу.

— На работе?

— На работе: лес пилили.

— Свой?

— И свой, и не свой; как знаешь, так и считай,— загадал мне освежившийся водою мужик, надев свой колпак и опять пускаясь в путь.

— Как так?

— А все так: был лес наш, сызстари наш; а теперь велено за этот лес платить деньги; заплатишь деньги — руби, а нет — как хочешь! Беда, да и только...

— Вы теперь лес пилили? — спросил я, когда мой резонер кончил свой монолог.

— Пилили.

— Как же вы покупаете лес?

— Теперь по десятинам.

— Почем платите за десятину?

— Да платим розно: есть десятина двадцать целковых, есть тридцать, а есть, что и *дасе* все сорок... Побольше лесу да покрупнее, то и подороже, а пореже да помельче — то и подешевле; всякому лесу своя цена.

— Куда же идет ваш лес?

— А тоже розно: и на сруб, а то и пилим.

— А что у вас стоит сруб?

— Тоже розно: есть двадцать целковых, есть двадцать пять; а коли в крюк рублена изба, то и за тридцать пять не купишь. Только в крюк рубим редко, все больше просто.

— Что же, вы разбираете: какое дерево на сруб идет и какое в пилку на доски?

— А то как же? Без разуму никакого дела не сделаешь. Вот хоть взять такого лешего (тут он указал на огромную сосну): взять этого лешего: как его повернешь на сруб? Отрежешь сколько, семь там аршин, восемь, девять, что ли, изрежешь, на доски, а макушки — те потоньше будут, те уж на сруб пойдут.

— А пилите сами?

— Какой сами, а какой и отдаем...

— Пилим,— еще отозвался мужик,— за сотню семиаршинную шесть рублей, а то и приходится десять копеек от шнура взять.

— Как от шнура?

— Мы шнуром отбиваем для пилки, как пилу вести; так от каждого шнура и берем, попадет по десять копеек...

— Ой, братцы мои! Смерть моя приходит ко мне! — застонал один мужик лет двадцати пяти,— смерть моя приходит: весь я изгорелся, все нутро во мне запылало...

— Что с тобой? — вскрикнул я, испугавшись.

— Ступайте, други, я хоть здесь полежу.

— Видишь ты, устал молодец,— заговорил опять мой резонер,— маленько отдохнет и придет домой.

— Пойдемте, братцы, пусть его отдохнет.

— Как же его одного оставить? — вступился я.

— Что?

— Ведь он заболел, как же мы одного-то тут в лесу оставим?

— Да об чем ты толкуешь?

— Как об чем?

— Что же нам-то здесь делать?

— А как мы в лесу одного больного оставим! — все еще я настаивал.

— А вот погоди: пойдем в город, наймем ему няньку, девку лет двадцати, как пойдет малый в лес, и та нянька с ним; ему в лесу и не страшно с нянькой будет.

Более всех потешался этим рассказом тот, о ком шла здесь речь; удовольствие это, соединенное с насмешкой над моей неуступчивостью, видимо было на его лице.

— Да что толковать, пойдем.

Видя, что действительно толковать нечего, я согласился на предложение, и мы отправились.

— Пойдемте, братцы, правее: крюку немного будет; а там мочежинка будет, в той мочежинке мы и напьемся.

Мы пошли правей, нашли мочежинку — болотную лужу,— напились, закурили трубки и опять пошли дальше.

— Ты куда идешь? — опять спросили меня.

— Я уж говорил вам: в Стародуб.

— Стало, на Трубчевск.

— Пойдем с нами на Глинево: дорога хоть и идет на Острую Луку, да и тут, почитай что, и крюку не будет: только дорога уж очень тебе хороша: все лугом будет.

— Тут дорога травальше будет,— подговаривал другой.

— Как травальше? — спросил я.

— Да ты не из здешних мест?

— Нет, не из здешних.

— А в ваших местах не так говорят, как у нас? Все, чай, такой же народ живет?

— Такой же, только говор другой.

— Как говор другой?

— Другой! — подтвердил другой мужик.— Был я в ратниках, ходил в Крым: там совсем говор другой; ты скажешь — дорога хороша; а он скажет только «якши»; ты скажешь: дорога дурна, а он тебе болтнет только «ёк» — только и слов.

— Ну, а травальше — как скажет тот? — спросил я ратника, бывалого человека.

— Травальше — значит якши.

— Ну, а чей говор лучше?

— Тот говор лучше: слов меньше.

Мы повернули вправо от большой дороги и пошли лугом; по всему видно было, что Иванов день близко, пора знахарям и лекаркам травы собирать: от всего луга несло сильным запахом меда; весь луг покрыт был цветами.

— Так медом и несет! Славно! — проговорил с видимым удовольствием один из моих товарищей.

— Славно! — отозвался другой.

— Бог создает благодать.

— А хороша у вас земля? — спросил я.

— Какая наша земля! Наша земля самая что ни на есть хмазовая...

— Какая хмазовая?

— Он, видишь ты, этого не понимает,— проговорил бывалый, толкнув локтем небывалого.

— Хмазовая, милый человек, по-нашему, необразованному,— что ни самая дурная; вот это и означает хмазовая земля.

— А хорошо, богато вы живете?

— Какой хорошо,— заговорил было бывалый человек,— какой хорошо!

— Не совсем мы ладно живем,— перервал его небывалый,— а нечего богу грешить: травальше других. Возьми соседей — так супротив тех мы паны! Да еще какие паны! На них посмотришь, да и на нас взглянешь, так ты скажешь: мы из другого царства живем, из других земель пришли!

— Те мужики сами виноваты пред господом-богом; за то и терпят.

— А чем они согрешили?

— А тем: придешь ты к хозяину, хозяин гостю умышленный, зловредный, правды у него нет!

— Скажи ты, пожалуйста, хоть ты и чужой здесь человек, можно ли тому быть: долины земли за сто верст; ширки больше сорока верст; и на всей той земле народ живет, и все люди православные,— как же так стало, что на той земле ни одного праведного нет?

— Как не быть!

— А коли есть, что же ты скажешь: отчего мужики те так живут?

— Так бог дал!

— Бог-то так дал; да отчего же ни у одного хозяина нет избенки мало-мальски исправной, а все одноглазые — по одному окошку,— все одноглазые да без шапки, без крышки, значит!

— Никто как бог!

После этого заключения мы прошли несколько минут не разговаривая.

— Бог на помочь! — проговорила встретившаяся нам баба с серпом через плечо.

— Помогай бог! — отозвались ей.

— С трудов?

— С работы!

— Куда она идет? — спросил я, когда мы разошлись с этой бабой.

— Траву жать.

— Разве у вас траву жнут?

— Случается, и жнут.

— Косить, кажется, легче?

— Бабе косить не идет!

— Отчего же?

— А так! Бабе ни косить, ни сеять хлеб, рожь, овес не приходится: ее дело капусту, что ль, картофель сажать, а сеять бабе нельзя.

— А пахать можно?

— Пахать, боронить можно.

Мы подошли к Десне, переправились на другой берег в лодке, которых здесь стояло по обеим берегам до восьми, и взобрались по крутой горе до Глинева.

— Пойдем ко мне,— приглашал меня один из моих случайных товарищей.

— А то хоть и ко мне,— приглашал другой.

— Спасибо на добром слове,— отвечал я,— очень уж я устал,— и ввалился в первую попавшуюся мне избу. Изба эта стояла на дворе, на улицу выходили ворота и забор по орловскому обычаю; но сама изба сильно смахивала на хату: внутри была хоть и плохо, да выбелена, окна были в двух стенах, печь у самых дверей; печь черная, но с печуркой, тогда как в орловских, рязанских избах печь у противоположной от дверей стены и окна только с одной стороны. Передний угол — в дальнем от дверей углу, а в орловских избах — в ближайшем.

— Здравствуй, хозяйка,— сказал я, войдя в избу, сидевшей там старухе.

— Здравствуй, родимый! Да как же ты умаялся! Ляжь тут-то на лавочку, отдохни; ляжь; сем-ко я подложу тебе под головку,— говорила и в то же время хлопотала старуха.— Да выпей водицы; только одной воды не пей — это нехорошо будет; а ты вот возьми кусочек хлеба, посоли, после пожуй да и запей водицей; напоила б тебя и квасом, да, видит бог, квасу ни ложки нет...

Когда я немного отдохнул, ко мне подошла сноха моей хозяйки.

— Ты нынче еще не обедал? — спросила она меня.

— Нет, еще не обедал.

— Погоди, я тебе бурачков налью.

Она налила в чашку бураков, положила предо мной ковригу хлеба, пододвинула соль.

— Кушай на здоровье! — сказала она.

— Сходи-тко, налей в чашку молочка,— прибавила старуха-хозяйка. Сноха пошла за молоком.

— И как не измаяться в такую жару да сухмень! — заговорила словоохотливая старуха,— вишь, какая сушь стоит! И господь знает, что-то будет! На коноплю какая-то мушкара напала: по иным местам всю коноплю мошка эта поела, земля как будто вчера только вспахана; а без конопли что делать, чем питаться? Просто головушка наша грешная! От сухмени от этой и скот-то весь попадал, весь-таки, весь...

— У вас падеж был?

— Какое, был! И теперь так варом и варит: по всему округу падежь, ни одного села не миновал.

— У вас молоко есть?

— Есть, родимый, осталась коровка одна; бережем молочко для хворого человека, для страннего... а сами уж давно не знаем, какое такое молоко бывает...

Поевши, я прилег на лавку, думал хоть немного заснуть, но кучи мух не позволили иметь хоть маленькую надежду на это покушение. В избу вошли три девочки, внучки старухи, из которых старшей было не более двенадцати лет.

— Что, деточки, нагулялись? — спросила их старуха.

— Нагулялись, бабушка!

— А нагулялись — на полотьбу, деточки!

— Мать говорила, бабушка, что нынче на полотьбу не идти,— сказала одна девочка, лукаво посматривая на мать.

— Как не идти? — сказала бабушка.

— Да не идти, бабушка.

— Как же так, Марья? — обратилась старуха к снохе, которая в то время кроила хлеб.— Овес полоть надо.

— Надо, матушка.

— А как же не идти?

— Да это девчонка так только балует; я вот и хлеб крою в поле взять,— говорила Марья, раздавая детям ломти хлеба.

— Надо полоть, нельзя так день за день оставить.

— Что же они наработают? — спросил я.

— Как что?

— Да ведь меньшей, чай, и девяти годков нет — какая же она работница?

— На какую работу, друг,— сказала старуха,— на какую работу! На эту работу и маленькая что большая — все одно; да и надо сызмалу ребенка приучать ко всякому трудному

делу: первое — тебе помощник, а самое главное — ему наука...

— Сколько денег надо за обед? — спросил я, надевая свою сумку и собираясь уходить.

— И, что ты, родимый! — отвечала хозяйка.

— Да ведь я ел бураки, молоко...

— Полно, родимый, оставь...

— Молока у вас у самих нет...

— Полно, отстань, глупый человек!

Я подошел к одной девочке и хотел дать ей на орехи да на пряники, но старуха накинулась и на внучку и на меня.

— Что ты делаешь, безбожник эдакой! Ребенка в соблазн вводишь! Да и ты, дура, вздумала,— обратилась старуха к внучке,— с странного человека за свою хлеб-соль деньги брать? Есть ли у тебя крест-то на шее... Есть ли крест на шее!

— Да я, бабушка, и не брала...— заговорила испуганная внучка, как будто и в самом деле она сделала величайшее преступление.— Это он мне хотел дать, а все-таки я бы не взяла...

Дети с матерью пошли овес полоть, а я, расспросив дорогу, пошел на Трубчевск.

— Да ты, родной, не найдешь дороги,— сказала мне на прощанье старуха,— дай-ко я тебе покажу дорогу.

Говоря это, она прошла со мною за ворота, прошла улицу, вывела за деревню и указала дорогу.

Я пошел полем, которое в разных местах пахали и скородили и мужчины, и женщины, и, пройдя версты две или три, вышел на большую дорогу.

— Помогай бог! — сказал я, подходя к двум мужикам, лежащим под ракиткой у большой дороги и не разглядев, чем они занимаются.

— Что поделываете?

— А вот что! — с этими словами он начал хлопать своего товарища по носу картами: они играли в карты в веселую игру — «по носкам».

— Как же вы, братцы, играете в карты, когда люди пашут; всякий час дорог, а вы вышли в поле да в карты играете?

— Так надо!

— Как же надо?

— А вот видишь ты,— сказал другой из играющих,— мы, братец ты мой, на пунктиках стоим.

— На каких пунктиках?

— На пунктиках: какой чиновник проедет, то ты и должон того чиновника везти; для этого три пары на каждом пунктике и стоит завсегда.

— Да где же лошади?

— Лошади на пунктике.

— А пунктик где?

— В Острой Луке.

— Ведь Острая Лука отсюда далеко?

— Четыре версты будет.

— Ну как чиновник проедет, а вас на месте нет, ведь вам, пожалуй, и плохо будет.

— Не проедет никакой чиновник!

— Какого лешего сюда черт понесет,— прибавил другой,— нам ведь это дело не в перво́й.

— Ну, братцы, это ваше дело, прощайте!

— Счастливо!

В Усохе я нашел П. П. Б-ва, который говорил мне, что при нем, когда копали колодезь в лесу, на глубине около двух аршин нашли осколок музыкального инструмента — *утки*. Верно, всем случалось слышать, как мальчик, приложив к губам глиняную утку, выигрывал незатейливые звуки; но, может быть, никому не приходило на мысль, что эти утки видны по всей России в остзейских губерниях и, может быть, еще где-нибудь? Никому не захотелось узнать, как велико производство этих уток и как давно употребление их между народом. Я могу только сказать, что ни одна ярмарка, как бы велика она ни была, не обходится без уток; а на маленьких ярмарках, бывающих у церквей, празднующих престол, этот товар если не главный, то, верно, из главных.

Сабурово Малоархангельского уезда,
20 августа 1861 года.

— Наша деревня — деревня новая,— говорил мне сабуровский крестьянин Федор Васильевич Синицын,— мы первые сюда сведенцы. Мы сызстари зовемся Синицыными, а как нас сюда перевели, то и колодезь стал зваться синицыным и верх тоже Синицыным. А до нас и колодезь, и верх никак не звался.

— Отчего же деревня стала зваться Сабуровым? — спросил я Федора Васильевича.

— Этого я не знаю отчего,— отвечал тот,— только наша деревня всегда звалась Сабуровым.

— Нет, должно быть, не всегда, Васильич. По бумагам видно, что у нее есть еще и другое прозвище.

— Как другое?

— Да так другое: по бумагам пишется: «деревня Сабурово, Судель*, колодезь тож». Стало быть, было и другое название.

— А может, и прозывалась Судель колодезь — я этого не знаю; только колодезь у нас был не то что теперь — старики помнят,— наш колодезь такой был, что за пять верст слышно было: да и вы, чай, помните: разве он такой был! Пруд-то был глубокий-преглубокий, а теперь что? Под деревней теперь скот ходит, трава растет; в самое мочливое лето ног не замочишь, а ведь здесь была глубина непомерная; не так еще давно ребятишки здесь утонули; коих вытащили — откачали, а кои так и остались — на погост снесли.

— Сперва леса были?

— Леса были, какие леса! Тут кругом были леса, да все дубовые! А теперь лесов-то почти и нет; заведется какая рощица — сейчас же ее и на сруб! За избой-то ехать, кому надо избу срубить, ехать надо и не знать куда!

— Вы откуда сюда были переведены?

— Мы-то, Синицыны, сведены сюда из-под Болхова. Мы сперва были господина Кожина, так Кожин нас еще сюда и свел; а там мы достались Арсеньеву, во приданое к Арсеньеву пошли. А уж у Арсеньева ваш дядюшка нас купил да еще наведенцев из-под Вязьмы пригнал. С тех пор мы и стали вам податны.

— Поэтому у Кожина здесь была земля?

— Навряд была, должно быть, не было.

— На какую же землю он вас перевел, когда у него здесь своей земли не было?

— Может быть, и была какая малость; а то у нас вся земля здесь *отбойная*.

— Как отбойная?

— Отбойная — все равно, как *дубинная*,— толковал Федор Васильевич.

---

* Судель, то есть Судославов; Ярославов — Ярославль.

— Да я все-таки не понимаю, какая земля отбойная, дубинная?

— Дубинная земля, значит, кто дубиной землю отобьёт, земли-то сперва было много: всяк бери сколько хочешь; а как народу-то народилось много, земли-то и не стало хватать по-прежнему, и стали дубьем друг у друга отнимать. Кто отбил, того и земля. Наш Кожин и захватил себе так землю нашу сабуровскую, самарскую, все было кожинско, и вся земля отбойная, дубинная.

— Скажи, пожалуйста, как отбивали, когда отбивали землю?

— Этого я сказать не могу, когда отбивали, а отбивали землю: возьмет кто косу, кто цеп, да косой или цепом и отбивают.

Припоминаю теперь рассказ об этом, слышанный мной здесь же несколько лет тому назад; мне рассказывал здешний же крестьянин, кто именно — не помню, но в моих заметках сохранился его рассказ.

— Пойдем, бывало, землю отбивать,— говорил он,— да не столько из корысти, сколько из охоты! Придет весна, надо землю под яровое пахать, или осень под озимое... Теперь едем пахать, возьмешь только соху и хлеба с собой возьмешь да уж беспременно с собой заберешь и косу, и цеп, а кто оглоблю захватит. Выедешь на загон*, а там тебя уж ждут с тем же гостинцем, что и ты припас; а те тоже и с цепами, и с косами, и с дубинами; а как сойдутся, и почала... чья возьмет! А как взяла наша, запашешь землю. А запахал землю — никто тронуть не моги: зародит тебе бог хлебушка, ты и бери...

— И по век твоя земля, которую засеешь раз? — спрашивал я.

— Как можно, по век? — отвечали мне,— ты хлеб собери, а земля опять-таки ничья, земля была вся божия. На будущий год опять то же.

— А с сенокосом как же?

— Да и с сенокосом все то же: ты скосил траву — убирай сено; а я у тебя отбил, не дал скосить — ну и сено мое...

Возвращусь к беседе моей с Федором Васильевичем.

— А ты помнишь прежних господ? — спросил я его.

— Кожина не помню, а Арсеньева тут знают. Ваш дя-

* Часть поля, засеянная одним хлебом, принадлежащая одному хозяину.

дюшка умер скоро за французом*, а до него был Арсеньев у нас.

— Что ж про него говорят?

— Барин был хороший, порядки любил.

— Хорошо жили?

— Жили хорошо! Вот хоть наш двор или взять еще Корявых... Хорошо жили...

— Чем же?

— Богато жили! Сколько земли пахали, сколько лошадей держали; едут, бывало, батраки Корявого, что твой барский обоз; да и лошади ж были!

— Старики пахали тоже отбойную землю?

— Нет, мужикам как можно отбивать! Это совсем не мужицкое дело, где мужику отбивать: мужику не справиться с барином. А у мужика и земли нет, и отбивать, стало, нечего.

— Какую же землю старики пахали, когда, как ты говоришь, что и помногу старики пахали?

— А тоже у господина брали.

— Как, отбойную?

— Нет, отбойную как возьмешь, как ты с ней справишься? Отбойную для барина; а мужик нанимал барскую крепостную.

— Откуда же бралась крепостная земля, когда всяк, кто мог, отбивал себе земли?

— У сильного барина не отбить земли! Барщина большая; вот такой-то барин захватит земли, продержит ее столько лет, та земля тому барину и крепостная; ту землю мужики и нанимали.

— И по многим местам земли отбивали?

— Да здесь везде; куда хочешь рукой махни: к Ливнам, Новосилю, к Курску — все едино, все один порядок был... Да и цена на землю была не то что теперь — христианская.

— Почем же?

— Почем доподлинно ходила внаем десятина — этого я сказать тебе не могу, а только за самую пустую цену. Ты сам знаешь, что под озимую — десяти лет нет — десятина ходила шесть целковых, а теперь под десять подходит; ну а при наших стариках и той цены не слыхано; десятина-то, говорят, ходила полтина на ассигнации, а то и того дешевле.

* Вскоре после 1812 года.

— А с сенокосом как же?

— А там как стало дороже, дороже, все дороже. Теперь хоть и не нанимай вовсе той земли! Сперва-то и люди жили богатей! Теперь и народ-то обеднял!

— Отчего же народ обеднял? — спросил я.

— Как не обеднять! Кои пообмерли дворы, а кои и так: разорились во дворе; разделются, вот жизнь совсем уж не та и пойдет, не прежняя!

— Отчего же?

— Как можно прежней жизни быть! И работников меньше, и хозяйства меньше. Вот оттого, должно, обедняли — это раз; а то знаешь, Павел Иванович, Корявые отчего обедняли?

— Нет, не знаю.

— Я тебе говорил, что Корявые у нас первые богачи были, да супротив Корявых и на стороне поискать — не скоро сыщешь. Да и с какими людьми знался, хлеб-соль водил! Да не то что на поклон ходил, а, говорю я тебе, хлеб-соль водил. Вот хоть Ч., так тот Ч. ездил к нему просто в гости как к своему брату.

— Про Корявых ты говорил; отчего же Корявые теперь обедняли?

— С отцом поссорились... Со стариком еще, с богачом-то; старик взял деньги все да и закопал в землю; а в кое место закопал — про то никому не сказал! Как помер большак, схоронили, а там стали деньги искать. Весь дом перерыли, весь двор перекопали, да где сыщешь! Не ты положил, не ты и сыщешь!

— Так и не нашли?

— Так и не нашли.

— У старика только один сын и был; может, помнишь Алексея Корявого?

— Помню, помню. За что же отец на детей рассердился?

— Так этот Алексей Корявый не почитал своего отца, отец-то деньги, все что было, зарыл в землю, никому! Деньги спрятал, а сына проклял. А с отцовским проклятием какое житье? Бог никакого счастья не даст ни в чем, за что ни возьмешься.

Сабурово, 23 августа.

Сабуровские крестьяне наняли пастуха из своих же мужиков, с уговором: пасти скот отдельно от табуна, потому

что коровы легко могут забодать лошадь. В рабочую пору все заняты сильно, все мужики то на жнитве, то хлеб косят, то в скирды возят. Мартын, хозяин двора, обязавшийся выставлять ежедневно пастуха, в эту пору послал пасти бабу, а бабе одной где справиться? Она и спустила вместе и табун, и стадо; да, на ее беду, грех и случился: корова пропорола бок лошади, лошадь и издохла. Хозяин лошади пришел к мировому посреднику с жалобою на Мартына.

— Так и так,— говорит,— Мартын взялся не спускать стада с табуном, а баба Мартынова не убереглась, грех и случился: корова моей лошади бок спорола, лошадь издохла.

— Судиться будете — хуже будет,— отвечал мировой посредник,— а вы с Мартыном скажите старикам; что они вам скажут, на том и порешите.

Спустя несколько дней мы пошли с посредником на деревню по этому делу; хозяин лошади опять приходил с жалобою. Мы вошли в избу и послали за хозяином лошади. Через несколько минут явились и позванные.

— Здравствуй, Мартын! Что это вы не поладили об лошади? — спросил посредник Мартына, когда тот, войдя в избу, перекрестился на образа и поклонился нам.

— Да вот, Николай Иванович, не поладили: мир что порешил, тому и быть, мир порешил грех пополам, я и не стою против того, да Василий несообразно просит*.

— Я, Николай Иванович, на мир не обижаюся, что мир сказал, тому и быть должно: положил мир грех пополам, ну и пополам, так и пополам! Да Мартын-то цену кладет за лошадь уж больно обидную...

— За твою лошадь семь целковых обидно? — прервал его Мартын.

— А как же не обидно? Какую ты лошадь купишь за семь целковых? А я кладу всего за лошадь десять целковых.

— Не грех ли будет тебе, Василий? — сказал Мартын.

— Посмотри, Василий, на бога.

— Слушай, дядя Мартын,— отвечал скороговоркой Василий,— ведь грех как есть твой весь.

— Знаю, что мой грех! Не было б моего греха, не стоял бы и здесь.

* Я не могу сказать, точно ли хозяина лошади звали Василием; впрочем, дело не в имени, а потому и будем звать хозяина лошади Василием.

— Была б худенькая лошаденка, я б на ней пахал,— продолжал Василий,— а как лошади не стало, ведь я нанимал сеять.

— Знаю, что нанимал.

— Посеять заплатил целковый!

— Знаю и то, да что ж из этого?

— Я, дядя Мартын, того, как перед богом! Я того не ищу! Я только лошадь в десять целковых кладу.

— Да не стоит того твоя лошадь.

— Слушай, дядя Мартын, вот что: я тебе дам три с полтиною серебра, купи мне такую лошадь!

— Где я буду покупать тебе лошадь?

— А по-моему, вот что,— вмешался в разговор хозяин избы, который сидел с нами на лавке,— по-моему, пусть мир скажет, чего стоит лошадь.

— А право, дядя Мартын, пусть мир скажет,— заговорил Василий,— пусть мир цену положит...

— Да что мир?

— Как что мир? — еще скорее заговорил Василий.— Как что мир? Мир, дядя Мартын, ни для тебя, ни для меня душой не покривит; мир правду скажет...

— По-моему,— сказал посредник,— тебе, Мартын, мириться надо; пойдешь судиться — за лошадь-таки заплатишь да, пожалуй, еще и штраф с тебя положат: взялся за дело — не исполнил.

— Как прикажешь, Николай Иванович, так и будет,— отвечал Мартын.

— В этом деле я приказывать не могу,— сказал посредник,— а мой только совет такой: лучше вам помириться, до суда не доходить; дойдешь до суда, тебе, Мартын, хуже будет.

— Да ведь десять целковых, Николай Иванович, дорого будет.

— Это твое дело — не мирись! Только хуже будет,— проговорил хозяин избы,— право, брат Мартын, хуже будет.

— Так помириться, Николай Иванович? — еще спросил Мартын мирового посредника.

— Ну слушай, Василий! Хочешь ты мне сделать зло, бог с тобою, я на тебя зла не хочу!

— Да что ты, дядя Мартын! Господь с тобою! Какое тебе зло хочу сделать? Что ты?

— Ну да хорошо! Отвечаю пять рублей! До суда не хочу доходить, бог с тобою!

— Ну и спасибо, братцы, что помирились,— сказал посредник,— до суда ходить — самое последнее дело. Прощайте, братцы,— сказал посредник.

Тяжущиеся проговорили что-то вроде благодарности и прощения. Тяжущиеся вышли, а вслед за ними и мы. А не любят мужики этого «штряха», как они называют этот проклятый штраф. Оттого и зовется *штрях,* говорят мужики, что ни за что деньги берут, даром стряхнут. Мне кажется, что в этом процессе замечательно, что мир присудил заплатить хозяину за лошадь только половину цены, хотя он нисколько не был ни в чем виноват, а терял другую половину и, несмотря на это, Василий, по-видимому, обиженный миром, все-таки ссылался на мир, а Мартын, которому мир, по принятым нами понятиям, помирволил, отказывается от оценки миром лошади. Верно, в русском народе существуют по сю пору свои законы, кроме свода законов.

Малоархангельск, 25 августа.

Много сел на Руси, произведенных в города, но, верно, нет ни одной деревни, которая бы менее Малоархангельска имела прав на подобную честь: славный город этот постройкою хуже многих деревень, торговли никакой, стоит на краю уезда и около Курской губернии, а вдобавок и вдали от всякой дороги; была почтовая дорога через Малоархангельск из Орла в Ливны, да и то нынешний год уничтожена; теперь почта ходит в Ливны через село Липовицу, оставляя Малоархангельск верстах в сорока с лишком в стороне. Обозы также не ходят на этот город: транспортная контора идет на Губкино. Но все-таки Малоархангельск и по географиям и по уездным судам — город, и в этом городе сего августа 25-го дня был съезд мировых посредников. Заседания мировых посредников для всех открыты, и мне удалось быть при первом заседании в Малоархангельске.

Я пришел еще до открытия заседания и потому могу рассказать об нем подробно, но я думаю, что и краткий рассказ будет иметь большой интерес.

После нескольких слов, сказанных предводителем дворянства как президентом, чиновник от правительства предложил формулировать заседания, формулировать жалобы

просителей и еще что-то такое формулировать. Все посредники с этим мнением согласились.

— Так как многие дела нам придется решать на основании вышедших циркуляров министерства и губернского по крестьянским делам присутствия,— продолжал тот же чиновник,— то я предлагаю заняться прежде всего чтением этих циркуляров.

С этим мнением тоже согласились; секретарь стал читать циркуляры; чтение продолжалось долго, и продолжалось бы еще, если б не вмешался один из мировых посредников.

— Мы, господа, все эти циркуляры читали,— сказал он,— большой нужды нет повторять эти циркуляры. Не лучше ли их прочитать после, а теперь позвать просителей: теперь пора рабочая, мужику каждый час дорог; за нашим чтением этих циркуляров мужикам-просителям придется ждать, пожалуй, несколько дней.

И с этим мнением тоже все согласились.

— Только на следующий раз,— прибавил чиновник,— должно будет читать циркуляры прежде, а после уж принимать просителей.

— Тогда нужно нам собраться ранее 25-го числа,— отвечали ему,— положим 24-го, а крестьянам объявить, чтоб они являлись к 25-му.

— В губернских «Ведомостях» можно объявить...

— Не только в губернских, я полагаю, в столичных... в «Московских ведомостях» тоже можно.

— Можно и в «Московских ведомостях»,— одобрил секретарь.

— Я думаю,— сказал предводитель,— по церквам можно объявить тоже.

— Да, и по церквам можно...

— Теперь можно просителей впустить? — спросил один мировой посредник.

С этими словами этот посредник вышел из комнаты и через минуту явился с крестьянами-просителями.

— Вот проситель,— сказал посредник,— я расскажу вам его просьбу и его дело.

Дело состояло в том, что мужики хотели взять при размежевании с барином землю не в одном месте, а клоками в разных местах, лучшую землю, не обращая внимания на неудобство чересполосицы. Посредник отказал им в их

просьбе и предложил им прислать от себя выборных на съезд мировых посредников. Эти выборные в настоящее время являются первыми просителями.

— Вы об чем просите? — спросил выборных предводитель, когда было рассказано их дело мировым посредником.

Крестьяне начали рассказывать; оказалось, что мировой посредник вполне передал их просьбу.

— Ваша просьба, братцы, не дельная,— сказал крестьянам предводитель,— вам отказал наш мировой посредник, и здесь вам тоже отказывают; по вашей просьбе ничего сделать нельзя.

Мужики поклонились и хотели идти.

— Этого так сделать нельзя,— заговорил чиновник от правительства. Мужики остановились, надежда блеснула в их глазах, и они отвесили по низкому поклону чиновнику от правительства: в одном лице они видели свое спасение.

— Этого сделать нельзя.

— Как нельзя? Как же?

— Эту просьбу надо формулировать; вы,— сказал он посреднику, который рассказывал дело,— вы это дело так прекрасно знаете, вы и формулируйте.

Надо было видеть лица крестьян, когда они услыхали этот протест. Мне кажется, что если бы дело и совершенно решилось в их пользу, они и тогда бы не более обрадовались: так много они полагали надежды на своего воображаемого посредника. Мужики еще раз отвесили по поклону ему.

— Для чего же здесь формулировать? — спросил мировой посредник.

— Как для чего? — отвечал чиновник от правительства,— нас может спросить об этом деле вот хоть и губернское по крестьянским делам присутствие, как мы будем отвечать?

— Для этого довольно записать их просьбу,— отвечал мировой посредник.

— Надо формулировать,— продолжал чиновник от правительства. Чем этот спор кончился, я понять не мог.

Первые просители ушли, были введены другие. Этим тоже было отказано, хотя их дело было и правое: они были

переведены на безводное место; они жаловались, производилось следствие, жалоба, кажется, найдена справедливой, и дело их пошло законным порядком, а поэтому посредники им ничего и не умели сделать, им это было объявлено. Ушли и эти просители.

— Вот господин такой-то, — объявил секретарь, — письменную просьбу подал.

Господин такой-то подошел к предводителю, стал против секретаря, стоявшего рядом с креслом предводителя.

— Читайте просьбу, — сказал предводитель секретарю.

Секретарь стал читать, а господин, подавший просьбу, стоял, не спуская глаз против секретаря. Господин этот просил, чтобы его, по его бедному состоянию, называли мелкопоместным, хоть за ним и числится больше двадцати душ.

Так как мелкопоместными по положению называются действительно мелкопоместные, то это дело признано такой важности, что посредники положили представить это дело в губернское по крестьянским делам присутствие.

Потом читана была жалоба одной помещицы на одного посредника; жалоба была курьезная. Видите: в имение мужа лет двадцать назад переведены мужики, принадлежащие жене; теперь делают умозаключение такое: мужики чужие не имеют права на выкуп земли, которую они теперь обрабатывают для себя, а как они в том имении, где прописаны, не владеют землей, то и там они лишаются этого права; а поэтому она этим мужикам земли не дает. Помещице, кажется, будет отказано.

Потом пришло несколько ратничих просить отыскивать их мужей: живы они или померли; одним надо деньги за мужей получить, другим замуж выходить. Им обещано похлопотать.

Опасаясь передать не совсем правильно, я не повторяю разговор крестьян с предводителем и посредниками; но считаю долгом сказать, что крестьян выслушивали терпеливо, объявляли им решение, рассказав прежде, почему так решено. Вообще, глядя на человеческое обращение мировых посредников с крестьянами, от этого учреждения должно ожидать многого.

V Из Черниговской губернии

Челнский монастырь, 24 июля 1861 года.

Простясь с трубчевскими знакомыми, я пошел через Челнский монастырь к Чернигову. Большая дорога идет горой, но пешеходы ходят в монастырь лугом, то есть низом. Эта дорога очень живописна: справа крутая отвесная гора, покрытая лесом, из которого кое-где виднеются хаты, пасеки, а слева ровный луг, поросший кустарником, по которому прихотливо извивается Десна, Десенки, маленькие ручейки...

— Какая это деревня? — спросил я встретившегося мужика-старика, указывая на видневшуюся из лесу на горе деревню.

— А деревня Темная.

— Вольная или господская?

— Теперь господских деревень нет: господь бог положил в сердце царю — все деревни сделать вольными.

— Да сперва-то деревня Темная была вольною или господскою? — опять спросил я.

— Удельная.

— Должно быть, старинная — старая?

— Как мир стоит, так и та деревня стоит, только сперва она не так называлась, не называлась Темной.

— Как же?

— Называлась Красной деревней.

— Почему же ее стали звать Темной?

— Ты, может, слыхал, город Трубчесск был за князем Трубецким, не за теперешними Трубецкими, а за прежним, что жил лет за сто, а то и еще больше до нас. Так за тем князем Трубецким был и город Трубчесск и все села и деревни, что под Трубчесском стоят, весь Трубчесский уезд, стало быть, и Темная за ним же была. И был у того князя сын, княжич, большой охотник с малых лет за охотою, с ружьем ходить, с собаками. Пошел этот княжич раз за охотою, подошел он к этому самому месту, заприметил дикую птицу, приложился из ружья, выстрелил... Только утица та поднялась, перелетела Десну и пала. Княжич видит: птица пала; разделся и поплыл на тот берег за той утицей. Поплыл княжич через Десну, судорога ногу, что ли, свела, это случается... так ли уж бог дал, только княжич

не доплыл до берегу, не доплыл, утонул. Бросился народ его вытаскивать, побежали к старому князю... прибежал князь, вытащили княжича, а тот уж богу душу отдал: как ни качали и на руках и на бочках*, откачать не могли.

— Откуда бросился княжич в Десну? — спросил старый князь у народа.

— Да вот из-под самой Красной деревни,— сказал народ в ответ старому князю.

— Какая-такая Красная деревня?

— А вот эта самая.

— Какая она Красная! Эта деревня Темная!

С тех пор и пошла та деревня зваться Темною деревнею, а не Красной. Посмотри: кругом деревни Любовно, Хотьяново — все прозвища хорошие; одна только эта деревня — Темная.

Дорога шла кустарником, и я, пройдя с версту от Темной, наткнулся на кучу мужиков, лежащих под кустом.

— Здравствуйте, братцы!

— Здорово, почтенный!

— Сем-ко я с вами отдохну.

Я сел и закурил папиросу.

— Дай-ка мне, человек почтенный, огоньку, я и себе сделаю цигарочку,— сказал один из мужиков.

— Не хочешь ли моего табаку? — спросил я у него.

— Нет, не хочу; в вашем табаку скусу такого нет, как в нашем; наш будет скусней.

С этими словами он достал из кармана лист печатной бумаги, оторвал клином вершка в три от него кусок, плотно свернул его трубочкой, насыпал в эту цигарку табаку.

— Дай-ко огоньку,— сказал он, кончив свою многосложную и довольно трудную работу.

— Изволь, любезный! Да неужели твоя цигарка лучше моей? В твоей цигарке больше бумаги, да еще и замасленной, чем табаку.

— Бумага не мешает,— отвечал тот решительным, не дозволяющим возражений тоном,— бумага-та и цигарке только больше скусу придает.

— Куды идешь, почтенный человек? — спросил меня, позевывая и крестя рот, другой мужик.

— Разве не видишь? — отвечал за меня первый, попле-

* К сожалению, и теперь эти способы в сильном употреблении не только между простым народом, но и в более образованном.

вывая в сторону,— разве не видишь? В Челнский монастырь; тут, кажись, дорога одна!

— А вы откуда? — спросил я, оставшись очень доволен ответом за меня.

— Яни (они) деготь гнали.

— А ты, любезный?

— А мы по своей части.

— Где же вы деготь гнали? — спросил я, мирясь с ответом говоруна.

— А все больше по господским лесам,— отвечал тот же говорун.

— Что ж, нанимаетесь?

— Нет, сами сидим,— проговорил один из работников,— самим лучше.

— Яни от ведра,— прибавил говорун.

— Как от ведра?

— Два ведра себе, третье барину.

— Много же можно заработать в год?

— А как придется.

— Да сколько же?

— И сказать того никак невозможно; деготь гнать — дело огневое, не угадаешь никак.

— Да прошлый год сколько ты заработал? — спросил я неподатливого на слова работника.

— Да прошлый год я себе рублей пятьдесят серебра принес домой.

— Прошлый год хорош был?

— Ничего.

— Кабы из своего лесу гнать деготь — не в пример лучше,— заговорил опять говорун,— из своего гонишь — все твое; а из барского — третье ведро; как ты там себе хочешь, а третье ведро изволь отдать барину, чей лес.

— У вас своего лесу нет?

— Нет, есть.

— Отчего же вы из своего не гоните?

— Не дают.

— Отчего же?

— Да оно только слава, что наш, а то не наш, даром не дают, а все купить надо.

— Да вы из каких?

— Мы из удельных.

— Стало быть, и лес не ваш, а принадлежит к удельным имениям.

— Стало быть, так.

— Что ж вы, хорошо живете?

— Теперь ничего.

— А прежде?

— Прежде всего бывало.

— Отчего же теперь лучше?

— Народ стал обходительней.

— Какой народ?

— А начальство.

— Это правда, что правда,— заговорил опять мой говорун,— сперва к начальству не то что подойти да поговорить, а и взглянуть-то не всякий сунется; ну а теперь насчет этого стало просто: за своей нуждой иди прямо к начальнику: ныне дурного слова не скажет начальник тот.

— Чиновного народу много,— проговорил один из артели, до сих пор упорно молчавший.

— Чиновников? — спросил я.

— Нет, из своего брата, из мужиков чиновного народу уж очень много.

— Ведь чиновники из мужиков везде есть. Без чиновников как же быть?

— Везде есть чиновный из брата своего мужиков, да не столько, сколько у нас,— отвечал еще угрюмей тот же мужик,— у нас больше.

— Сколько же у вас?

— Да у нас на деревне четыреста душ, то есть всех жителей четыреста человек, и сколько, ты думаешь, у нас чиновного народу из мужиков?

— Я не знаю.

— Человек пятьдесят будет!

— Как пятьдесят?

— Пятьдесят-то будет верных, не было бы больше; ты вот что скажи!

— Какие ж такие чиновники?

— Голову, писаря считать нечего, а вот: два благонамеренных, шляховой и лепортовщик... да всех и не перечтешь.

— Что ж они, берут с вас взятки?

— Что он возьмет с мужика? С мужика ему взять нечего.

— Какое же вам дело до чиновного народу? С вас они ничего не берут, пусть их живут.

— Да ведь тебе работать надо, а тут тебя выберут в какие ни на есть лепортовщики; работать и не работай, а в пору только службу справляй.

— А все вам не в пример лучше жить, чем господским мужикам,— сказал говорун.

— У какого барина?

— Да хоть у А-на!

— Э! А-н шилом греет,— проговорил, усмехаясь, тот,— шилом греет, печет!

Челнский монастырь, 25 июня.

Челнский монастырь стоит верстах в десяти от Трубчевска, на крутой горе, покрытой лесом, и из монастыря не видно ни одной деревни; так и кажется, что, войдя в этот монастырь, оторвешься от всего остального мира — до того место уединенно. Но это только пока вы не вошли в монастырскую ограду. Едва вы ступили шаг в ограду, видите, что здесь те же люди, те же желания, те же опасения и тот же самый народ, какой и в селах, и в деревнях; монахов с первого разу не заметите; по всему монастырскому двору рассыпан был народ; мужики, раскинувшись под тенью дерев и церквей, спали; бабы-богомолки из окрестных деревень, собравшись кучками, шушукались; бабы-торговки громко тараторили. Я пришел в субботу перед всенощною, поэтому народу было более обыкновенного.

В говоре народа слышится одно: начала новой жизни, созданные 19 февраля; в этом говоре слышится и радость, и надежда, и страх... не за будущее, нет, народ уверен в своем хорошем будущем, боится народ преступить закон, сделать не по закону и тем замедлить исполнение царской воли. А от недоразумений — какие ужасные бывают последствия.

— Где братская? — спросил я у первого попавшегося мне монаха.

— А вот,— отвечал монах, махнув рукой на братскую,— ступай сюда, здесь братская.

В братской было народу много, и мужчин, и женщин; разговор шел довольно оживленный и почти общий: одно теперь у всех на уме.

— Вам что,— говорила одна баба-богомолка,— что хочешь, то и делай, не делай беззакония какого, и только... а нам, мои матушки родные, просто головушку всю закрутило...

— Да вы чьих? — спросил какой-то не то монах, не то послушник.

— А-ных мы, а-ские.

— О чем же у вас головы закрутило? Али жирно наелись на теперешней воле?

— Когда было, родимый? Давно ли воля-то сказана? Так в ту же пору и отъешься! Как можно, родимый!

— А отчего ж?

— Да не знаешь сама, как дело повести. Яйца барину нужно собрать с мужиков да барину на двор и отнести.

— Ты так бы и сказала.

— Как быть? Сперва, бывало, повестят: собирай с народу яйца! Ну соберут, да и отдадут кому следует...

— А нынче повещали?

— Вот то-то, что нет.

— Что ж вы?

— Да что! Стали сходку собирать, да втихомолку... нынче не любят, говорят, этих сходок. Собрали сходку; одни говорят: «Собирай яйца, неси на барский двор; не понесешь — беда будет»; а другие кричат: «Не носи без приказу — беды наживешь!» Не раз, да и не два сходку собирали, ну и порешили на том, собирать яйца, нести яйца без повестки; там уж что бог даст, тому уж и быть, видно, надо.

— Да чему ж тут быть? — спросил монах,— барину отнесешь яйца, барин поест те яйца; вот только и будет всего, больше ничего не придумаешь.

— Как не только! — проговорил один мужик,— только и будет, только!..

— Да чему же еще быть?

— Скажут, бунт!

— Какой же бунт?

— Скажут, бунт! — продолжал тот же мужик.

— Бунт! Как есть! — заговорила толпа.— Царская воля вышла, в той царской воле, сказывают, написано: яиц господам не носить; как же ты царскую волю не сполнишь?

— Ну а как про барские яйца в царской воле не сказано ничего, тогда как?

— И то правда...

— Вот об этом-то мы и сёмали*,— продолжала старуха,— сёмали-сёмали и порешили на том, что собирать барские яйца и самим без повестки нести на барский двор. Вот хорошо, собрали снесли. А тут еще другое горе приключилось: присланы от конторы деньги, расчесть конторой велено по гривеннику за десяток...

— Подвох! Как есть подвох! — заговорили очень многие из слушавших и мужиков, и баб,— сперва за яйца не платили, а теперь раздобрился!

— Какой же тут подвох?

— Толкуй, подвох!

— Вот так-то и мужики гадали,— продолжала старуха,— подвох ли под нас подводят али так взаправду в царской воле сказано...

— Деньги взяли?

— Взяли, родимый.

— Ну смотрите же...

— Да уж что бог даст.

— А что только у нас делается! — сказал, вздохнув, один мужик, сидевший в стороне.

— А что?

— И сказать не знаю как.

— Да вы чьих?

— Мы ничьих.

— Вольные?

— Нет, удельные.

— А у вас-то что?

— У нас землемеры землю межуют, вот что!

— Да не у вас одних; землемеры везде ходят, везде у всех землю меряют.

— Везде меряют, а пока еще бог миловал: пока еще нигде земли не режут.

— Да у нас еще пока тоже бог миловал,— продолжал старик,— землю мерять меряют, вешки становят, а земли резать не режут.

— А пусть их меряют.

— У нас не одну землю меряют.

---

* Смекали, думали-гадали: сем-сделаю, сем-не сделаю.

— Как не одну землю?

— Десну меряют,— проговорил старик, к ужасу всех слушателей.

— Как Десну меряют?

— Десну!

— И ты видел?

— Все видели...

— Я, браты мои, диву дался,— заговорил один,— что такое это означает? Воду бог создал, вода у нас вольная: кто хочешь по этой воде ступай, бери эту воду сколько себе знаешь; сколько тебе надо, столько и бери... и эту-то воду божию меряют! Своими б глазами не видал — людям бы и веры не дал... да и верить-то как?

Я вышел из братской, на крыльце и в сенях бабы толковали все о той же воле.

— И что такое деется — один бог святой знает! Спросишь, кто грамотный да путный — тот тебе про волю и говорить не станет, а какой беспутный того наплетет, что и не разберешь... Послушаешь того беспутного — просто, мои родные матушки, просто голову снимет... Уж такая беда, что и сказать нельзя!

— Послушаешь — выпорют! — поддакнула другая, тоже старуха-богомолка.— Куда выпорют!

— Выпорют, родимая!

— Коли б выпороли да тем бы и дело порешили! В книгу, моя родная, запишут!

— Запишут, как есть запишут! — заговорили слушавшие богомолки.

На дворе под деревом сидела куча мужиков, и я подсел к ним.

— Здравствуйте!

— Здравствуй, почтенный!

— Об чем толкуете?

— Да все про волю.

— Что же про нее, про волю, много толковать? Слава богу, что воля эта вышла.

— Так-то оно так.

— А что еще?

— А вот что: было у нас начальство, господа, теперь нас от господ отобрали и никакого нам начальства не дают, теперь у нас никакого начальства нет.

— На что же вам начальство?

— Ну спросить о чем, хоть бы о той же воле, и спросить некого, никто ничего не скажет*.

— А теперь начальство стало не начальство,— подтверждал другой мужик.

— Это как?

— А вот как: бывало, едет становой, услышим колокольчик — поджилки дрожат! А теперь едет становой — ничего, и уедет становой — тоже ничего!

— Это-то и хорошо!

— Это хорошо, да спросить что — не у кого.

— Да что вы будете спрашивать?

— Как что, друг? Обо всем теперь надо спроситься: порядки заводятся новые, а мы люди неграмотные — как раз в беду влезешь, совсем с головой влезешь!

— Да вот хоть бы у нас,— прибавил другой мужик,— мало-мало в такую беду было попали, что и...— тут мужик только рукой махнул, а ни одного слова не сказал: видно, что они ждали большой какой-то беды.

— Да вы Апраксинские?

— Апраксинские.

— Да, у вас недалеко было до беды, да и до большой беды, друг ты мой!

— Как не большой!

— Как еще это бог помиловал!

— Его святая воля!

— Какая ж у вас беда была? — спросил я этого мужика.

— Большой беды бог миловал, а была бы. Вот, как вышла воля, нас, мужиков, барин собрал и объявил нам царскую волю — хорошо. «Вы,— говорит,— живите смирно да со мной ладно». Мы ему поклонились. «Вы работали,— говорит опять-таки барин,— вы работали на двор по шестнадцать десятин в клину, теперь работайте по десять».

— Как на двор? — спросил я.

— У них по дворам рассчитано,— объяснил мне другой мужик,— в твоем дворе три работника, три работницы, да в том двору пять работников да пять работниц,— значит, один двор, восемь работников, восемь работниц — вот тебе и целый двор выходит. Это у них так заведено уж исстари.

— Это так! — продолжал рассказчик. «Теперь,— говорит барин, работайте двором по десять десятин».

* Тогда в Орловской губернии еще не были назначены мировые посредники.

Мы на это слова не сказали, поклонились только. «Ну,— говорит,— прощайте!» Мы опять поклонились. Поклонились мы барину, да и разошлись. После стали толковать промеж себя: чью нам волю сполнять: царскую или барскую? Царь указал мужику трехденку, бабам двухденку*, а барин не желает царской трехденки — как тут барина слухать? Думали, думали и придумали сполнять царскую волю, а барской не сполнять: выходить на трехденку, а сколько двором сработаешь больше десяти десятин — барские!

— Куда больше сработать! Дай бог и десять десятин сработать, и то в пору! Больше! — заговорили мужики.— Больше как ни сработал! Сработал!

— Ну да там что бог даст,— продолжал рассказчик,— еще и то положили: велит барин на трехденку на лошадях выезжать — всем на барщину на лошадях и выезжать, всем беспременно!

— Безлошадникам-то как же? — спросил кто-то из слушавших* этот рассказ.

— Сказано, всем!

— Да ведь у вас во всех деревнях наполовину, пожалуй, будет безлошадников.

— Ну уж все выезжай на лошадях!

— Да как же?

— И об этом на миру говорили, порешили: у кого нет лошади, возьми, у кого две, а чтоб барская трехденка не стояла, чтоб на мир попреку не было, на том и порешили и положили объявить о том барину, управляющему, что ли, кому надо по начальству, чтоб греха какого не вышло.

— Так, по закону, по закону! — подтвердили другие,— по самой царской воле!

Я подошел к другой толпе.

— Ты только-то посуди: земля твоя, ты сам — свой, живи, никого не забиждай — и тебя пальцем тронуть никто не может, ты ведешь дело по-божью, и никто ни тебя, ни твоего дому, ни твоей земли, говорю, не может тронуть, а своровал в чем — суд! Суд рассудит — ты виноват — виноватого в Сибирь!

— Да хоть в Сибирь!

— А правого никто обиждать не моги! — продолжал

---

* То есть мужикам работать три дня в неделю, бабам два.

** Мужики, обрабатывающие землю и по бедности не имеющие лошадей; такому мужику очень трудно справиться.

первый.— Привел бы господь только, чтоб все настоящие порядки произведены были!

— Народ болтает: настанут новые порядки и все суды пойдут праведные: хоть будь ты какой богач, хоть тысячами бросай, а коли проворовался — спуску не будет: в Сибирь или чего кто стоит.

— Сказано, свету будет поновление.

— А, Павел Иванович, здравствуйте! — сказал, подходя ко мне, отец П., с которым меня познакомили в Трубчевске.— Хотите посмотреть наш монастырь, нашу ризницу?

Разумеется, я на это согласился с радостью, и мы пошли с ним по монастырю. В Челнском монастыре вся постройка новая, один только корпус, в котором находится теплая церковь,— довольно старинной постройки. Икон старого письма я не видел ни одной; книг старых, рукописей тоже нет; самая замечательная рукопись — синодик прошлого века; из которого видно, что князья Трубецкие до последнего времени не оставляли Челнского монастыря. Так, под 1768 годом в синодик вписан князь Алексей Никитич, бывший ктитором монастыря. Чудотворной здешней иконы богородицы я не видал: летом эта икона в ход идет, большую часть лета пребывает в Трубчевске, где жители приносят ее к себе в дом и служат ей молебны, которые поют очередные монахи из Челнского монастыря. Челнская чудотворная икона приплыла к месту, на котором теперь стоит монастырь, по Десне в челне — поэтому и монастырь получил название Челнского. Предание говорит, что она писана преподобным Алимпием, знаменитым киевским иконописцем.

— Где здесь, батюшка, пройти к пещерам? — спросила меня богомолка-старуха, когда я вышел за монастырскую ограду полюбоваться местностью монастыря.

— Не знаю,— отвечал я.

— Пойдем, батюшка, вместе поищем. Как не найти? Чай, народ пойдет к пещерам, и мы за народом.

— Пойдем, матушка!

— Вот сюда, сюда, под гору,— говорила старуха, сходя с крутой горы.

— Под гору-то ты, матушка, сойдешь,— сказал я,— как только на гору взбираться будешь?

— Отчего же не взобраться?

— Да видишь, какая крутизна; а тут, на беду, никакой тропиночки не видно; по дорожке все бы легче было.

— Ничего, родимый.

— А как не взойдешь?

— Молитвы Клеопа преподобного помогут.

— Которого Клеопа преподобного?

— А вот того, который в этих пещерах спасался.

— Давно он жил?

— Нет, не очень давно.

— Что ж, народ его помнит?

— Как не помнить! Человек святой был! А молиться станет, сказывают, за всéночной всякой канон долго пел! Недаром Десна-река свой путь переменила.

— Это как?

— Она текла, Десна-то, под самым номастырем, а за молитвы Клеопа вишь где пошла!

— Да чем же теперь лучше?

— А как же? Номастырь, номастырскую гору не подмывает.

Заштатный город Погар
Черниговской губернии, 26 июля.

Из монастыря я после обедни пошел на дорогу, идущую из Трубчевска на Погар. Я уже говорил, что Челнский монастырь окружен со всех сторон лесом, и по этому лесу с одной стороны монастыря рассыпаны курганы, и на многих из них растут вековые деревья. Говорят, что еще в самое недавнее время весь правый берег Десны был покрыт дремучими лесами; теперь этих лесов нет; если и попадаются, то очень небольшие, как, например, около Челнского монастыря. Говорят, что в старых дремучих лесах было множество курганов. Что их было больше теперешнего — это вероятно, но и теперь эти курганы идут непрерывною цепью по крутому правому берегу Десны; по крайней мере я могу сказать, что эту цепь курганов видел от Усоха до Челнского монастыря. В самом Трубчевске городище, городок — не что иное, как курганы.

— Кормилец батюшка! Христа ради сотвори твою святую милостыньку!

Я оглянулся: сзади меня стоял старик в довольно ветхой свитке, без сумы и подсумка. Через минуту мы с ним были приятелями.

— Сядем-ко здесь,— сказал я ему, садясь возле дороги,— я закурю папироску. Ты куришь?

— Не вживаю.

— А не вживаешь, не надо.

— Ты-то кури, мне это ничего,— говорил он, присаживаясь возле меня,— ты кури!

— Какие здесь курганы, дедушка? Откуда они у вас взялись? — спросил я его.

— То не курганы, то татарские могилы,— отвечал старик, улаживаясь получше сесть.

— Зачем же татар хоронили здесь?

— Это было лет за сто, а то, глядишь, и больше, номастырь наш Челнский был богатый номастырь. Услыхали татары про богачество номастырское... а татары веры не нашей, татары веры поганой, им что номастырь? Они греха не знают, ти святой номастырь, церковь ти ограбить,— им все равно, ти церковь, ти просто дом! Задумали татары номастырь этот Челнский ограбить, собрали силу несметную и пошли на номастырь... Только игумен со старцами подняли чудотворную икону Челнской богородицы и обошли кругом номастыря; тогда татарове все переслепли. Страх на них такой напал — видеть-то не видят ничего... от страху этого они и почали саблями друг от друга отмахиваться. Отмахивались, отмахивались да друг дружку, сами себя всех до одного и позарубили. Старцы видят такое чудо матушки богородицы, вышли из номастыря, выкопали ямы, побросали, как собак каких поганых, их тела в те ямы да заметали землею; оттого и пошли эти курганы.

— А за Трубчевск к Усоху — там какие курганы? Тоже татарские могилы?

— Не, те не могилы.

— А что ж?

— Те курганы.

— Отчего ж пошли те курганы?

— А кто их знает? Мало ли народ что болтает! Всего не переслушаешь.

— Что же народ болтает?

— Болтает народ, что все те курганы какие-то Кудеяры насыпали... Кто их знает?

— Какие же такие Кудеяры были?

— Болтают, что исстари жил какой-то народ, кудеярами

прозывался; народ был злодей, безбожный, с нечистою силою знался... Вот те Кудеяры и курганы понасыпали.

— Для чего же они, эти Кудеяры, курганы те понасыпали? — добивался я у старика.

— Говорит народ,— отвечал старик, значительно понизив голос,— говорит народ, что в тех курганах золото, серебро, да камни самоцветные, да свечи восковые; те Кудеяры понакладывали да теми курганами все золото, серебро позасыпали.

— Для чего же?

— Клады клали.

— Находили эти клады?

— Нет, не слыхал я, чтоб те клады кому в руки дались: их достать никак нельзя.

— Отчего же?

— С большими заклятиями положены.

— Будто теперь никто уж и не знает заклятий?

— Видно, мало знающих.

— А никто не пытался достать эти клады?

— Как не пытался! Пытался, да только толку в том мало: роют, роют, а все ничего не выроют. Вот первый бугаевский барин... Как пойдешь к Погару, Бугаевка тебе по пути будет... так старый бугаевский барин все имение на клады потратил, а так и умер: ни одного клада не нашел... А сколько денег потратил! Все имение продал на клады эти.

— Отцы наши, кормильцы! — заголосил сзади меня тонкий бабий голос.

Я обернулся: сзади меня стояла женщина лет тридцати с небольшим, с виду очень здоровая, держа за руку мальчика лет пяти или шести. Как мальчик, так и сама женщина были донельзя грязно одеты; по взгляду видно было, что они своей одеждой хотели произвести сильный эффект на благочестивых богомольцев.

— Ты отколь? — спросил ее довольно грозно мой прежний собеседник, старик.

— Да мы из Любовна! — отвечала женщина.

— А вы, родимый, сами-то из каких-таких местов?

— Мы крестьяне господина Апраксина,— отвечал как-то с расстановкой старик.

— Апраксинские! — протяжно, не то подтвердительно, не то вопросительно проговорила женщина.

— Да, мы Апраксинские! — строго заговорил старик.—

А ты баба молодая, работать не работаешь, а по миру ходишь; по миру ходишь — святой милостыней питаешься.

— А что ж, что питаюсь?

— А то, что грех большой!

— Какой же грех?

— Да кто тебе святую милостыню подает, на твою душу все грехи того, как на шею жернов,— вот что! Вот какой грех! Баба ты еще молодая, а ходишь по миру, святой милостыней Христовой побираешься да питаешься!

— А сам-то ты не побираешься? Сам Христовым святым именем не питаешься?! — завопила женщина-побирушка, горячась все более и более.— Вишь, какой святой! А ты посмотрел бы у меня на двор да на хату, да после того ты б меня и казнил, коли сто́ю! Я побираюсь, а он свой хлеб ест! У меня пять человек детей, а работников только и есть, что я одна! Тоже учит! А работников только я да вот еще на помогу чертенок!

Тут женщина неизвестно для какой причины дала своей помоге довольно значительного подзатыльника, мальчишка-помога разревелся.

— Чего ты? — крикнула на него мать, мазнув его по глазам, по носу и губам своим грязным рукавом, думая тем привести в надлежащий порядок несчастного ребенка.— Чего еще разревелся? Вишь, учить умеет,— продолжала она опять в пользу моего собеседника,— учить умеет, а сам небось по миру ходит, милостыней Христовой святою питается, а другим, поди ты, другим — грех.

— Я, матушка, слеп.

Тут только я заметил, что мой собеседник слепой. Он так вольно себя держал, что я никак этого не подозревал; но довольно было взглянуть ему в глаза, чтоб увериться в справедливости его слов: на обоих глазах были бельма.

— А что ж, что ты бельмастый! — кричала баба,— а вишь, какой кряжистый да здоровый! Да и с бельмами-то своими захотел бы — нашел работу! Какой здоровый, а работать небось солоно!

— Матушка,— заговорил старик,— матушка, кость только у меня широка, костью я широк, а силы-то: на гору взойду — задыхаюсь; право, на гору не взойду.

— Задыхаешься! На гору не взойдешь! А как посмотреть в хате-то под кутом, небось что твой клад! Там небось деньжищев-то у проклятого!

— Нет, матушка, не обиждай! Сродясь сумки да подсумки не надевал! Прошу Христа ради хлеба насущного, даждь нам днесь; а про запас, видит бог, видит бог,— отродясь не просил! Станешь просить милостыню, другой день именем Христовым вымолишь хлеба и на месяц, так тот месяц и по миру не хожу!

— Рассказывай!

— Да и рассказывать-то нечего!

— Знаем мы вас...

— Дай бог тебе путь-дорогу, человек почтенный! — сказал, приподымаясь, старик.

— Не поминай лихом! — отвечал я.

— Али совесть взяла? — пела свое баба,— али стыдно стало, как самому правду стали высказывать!

Старик повернул в монастырь, баба юркнула в лес, а я пошел на большую дорогу, подвигаясь вперед к Погару. Жар стоял страшный, дождя давно не было, даже душно было; но все-таки богомольцев по дороге было много, в особенности богомолок, и с детьми и без детей.

— Далеко ли до Бугаевки? — спросил я одну женщину, которая вела за руку сынишку лет четырех, возвращаясь от обедни.

— Недалеко, родной, недалеко: верст каких шесть будет, а то еще пять... больше пяти не будет.

Простой народ не любит обижать, всегда хочет порадовать хоть одним простым словом, так и теперь: от Челнского монастыря до Бугаевки верст пятнадцать, да, кажется, и семисотных верст*. Я это знал и спросил женщину только чтоб с нею заговорить. Она не хотела меня огорчать предстоящим длинным путем и потому хоть на словах да сократила дорогу. Кстати припомню, что на вопрос одного проезжего... сколько верст осталось ехать? — мужик отвечал: десять верст.

— Как десять?

— Да десять, батюшка.

— Ты врешь, дурак! — крикнул рассердившийся неизвестно на что проезжий.

— Чего ты ругаешься? — сказал мужик,— скажу два-

* Когда проложили линию шоссе от Курска до Харькова, то число верст увеличилось, хоть дорога и прямей сделана. Это объясняется тем, что сперва версты были семисотные, то есть в семьсот сажень, а не в пятьсот, как теперь.

дцать, и двадцать поедешь, здесь стоять да кричать не останешься; сколько скажу, столько и поедешь!

И так женщина мне обещала только пять верст вместо пятнадцати или всех двадцати.

— Да как же так? — спросил я ее,— говорят, от Челнского монастыря до Погара двадцать пять верст с лишком, а от Бугаевки останется до Погара только верст десять; поэтому должно быть отсюда до Бугаевки более пятишести верст?

— Поэтому, выходит, больше,— соглашалась со мной женщина.

— Ты сама откуда?

— Из Любовни, родимой.

— А куда ходила?

— К обедне, родимой.

— И мальчишку, что ли, водила? Сынок, что ль, твой?

— Сынок, сынок мой, водила к обедне: причащала, надо с малых лет приучать бога бояться.

— Правда, тетушка, правда твоя.

— Как не правда, родимой!

— Что, Васютка, уморились твои ноженьки? — обратилась она к своему сыну.— Дай возьму тебя на рученьки, ножки твои отдохнут.

Женщина взяла на руки мальчика, сняла с головы повязанный сверх кички платок, закрыла голову сыну, и тот в ту же минуту заснул.

В монастыре все женщины, повязывая платком кичку, распускали сзади по спине концы платка, который — заметить кстати — обыкновенно бывает темного цвета; между тем как здесь везде я встречал женщин, повязанных платком тоже поверх кички чалмообразно. Этот головной убор тем более похож на чалму, что самая кичка очень низка и что сложенный платок толсто наматывается книзу. Понёвы здесь встретил такие, каких в Великой России я не видал: здешняя понёва состоит из четырех или иногда из трех полотнищ материи, приготовляемой из шерсти исключительно для понёв, и эти полотнища не сшиваются, а подвязываются кушаком, как занавески; ежели понёва состоит из трех кусков, то спереди понёва не закрывает рубашки. Но во всяком случае — состоят ли из трех или четырех кусков — надевают передник.

Летний костюм девушек немногосложен: головной убор

состоит из платка, сложенного шарфом, которым обертывают голову, не закрывая макушки и завязывая спереди, волосы заплетают или в одну косу все, или оставляют около ушей по локону незаплетенному, или совсем не заплетают. Остальной наряд — рубашка, подпоясанная поясом: иногда надевают передник, который закрывает грудь, живот и ноги до колен.

— Отчего в церкви,— спросил я опять женщину, когда она усыпила своего сына,— отчего в церкви все женщины были не так повязаны платком, как обыкновенно?

— Как же можно, родимый, в церкви платок скрутить? В церкви так нельзя.

— Отчего же?

— Да уж нельзя: в церкви надо платок распустить. Хоть старуха, хоть молодая, а как идешь в божию церковь, повязывай платок что есть лучший и концы распусти.

— Платок у вас всегда купленный?

— У нас только и наряду купленного что платок один, да и тот прежде в старые годы не покупали: полотенцем повязывали, хоть и в церковь идти; теперь дома-то и ходим с полотенцем, а идти куды — все платочком повяжешь. А дома-то все свое носишь, некупленное.

— Полотенце ведь тоже надо вышить красными хоть нитками; краску надо, чай, тоже покупать?

— И, где покупать! Всего, друг, не накупишься. Да какая у нас и краска-то. Пойдешь в лес, наскоблишь шкурки с яблонки, вот тебе и вся краска готова.

— Когда же надо яблонку скоблить? — спросил я,— летом или зимой?

— Вот об эту пору и скоблить надо. Зимой у нас никто и не скоблит.

— Яблонка-то ведь портится?

— Портится, да что в ней толку-то? Здесь лесная яблонка кислая, с лесной яблонки яблочка не скушаешь. А с хорошей как можно скоблить? Мы с хорошей не скоблим.

— Ведь краски разные, как же вы красите одной яблонкой?

— Яблонкой красим в красное, в черное ольховой корой, в желтое пупавки, а то и сандалу прибавляем.

— А что, тетушка, можно зайти к тебе пообедать? — спросил я, когда мы подходили к Любовну.

— Да и звать-то мне тебя незачем,— отвечала баба,—

печь нонче не топила да не знаю, достал ли хозяин мой хлеба-то; а то во всей хате во каково кусочка не сыщешь!

— Да я тебе, родная, за обед твой заплачу что будет стоить,— сказал я. Может быть, думал я, что баба скупится.

— И, родимый! Христос с тобою! Что ты заплатишь? Коли б у нас постоялый двор держали; а то хлеб есть — как не накормить человека! Да беда-то вся в том: хлеба как есть кусочка крошечного в хате нету...

— Отчего же у вас такая бедность?

— Христос ее знает! Так, видно, бог дал... Хозяин у меня человек больной...

— Чего же он не лечится?

— Лечился, родной, лечился.

— Да что ж?

— На лекарство нейдет.

— Кто же его лечил?

— Да все лечили! И здесь все лекарки, и в городе к лекарям ездил...

— Чем же вы питаетесь?

— А что бог даст.

— Господа, что ль, кормят?

— Мы не господские.

— Какие же?

— Мы удельные.

— Да ведь надо что-нибудь есть; дома хозяин больной, хлеба не добудет.

— Я работаю.

— И всю семью кормишь?

— Чего не заработаю, мир подает.

— Что же ты по миру ходишь?

— А что сделаешь? Придется есть нечего — нужда заставит и по миру идти.

— И сынишка твой ходит по миру?

— Отроду в побор не пускала! — как-то решительно отвечала баба.

— Отчего же?

— И сама-то пойду, так детям про то не скажу, чтоб дети про это и не знали.

— Отчего же?

— Привыкнет христарадничать сызмалку — работать-то и не заставишь после.

— Дело, родная!

— Как не дело, родимый! Спасибо тебе за путь, за дорогу!

— Спасибо и тебе.

Женщина пошла на деревню, а я присел у колодезя, где уже сидело несколько человек прохожих из-за Трубчевска, возвращавшихся с лесных работ домой на рабочую пору, и богомольцев из Челнского монастыря.

— Что, братцы,— спросил я, поздоровавшись,— можно здесь у кого пообедать?

— Ну, нет, брат,— отвечали мне,— здесь в Любовно не пообедаешь, негде.

— Отчего же?

— А для того: хлеба ни у кого нет.

— И не покупают?

— Купила-то нет; а то для чего нельзя? Было б купило — был бы и хлеб.

— Народ, что ли, уж очень беден?

— Куда ж богат! Наш брат мужик завсягды деньгами скитается; об деньгах мы и не толкуем; стало быть, беден, коли и хлеба корки нет.

Из Любовно я повернул влево и зашел в Хотяиново в одну избу. Изба стояла на некрытом дворе; против избы, аршинах в пяти, стоял амбар, соединенный с избой развалившимся навесом. Избушка была худенькая, маленькая: не более шести-семи аршин в свету, то есть от одной стены до другой, и без сенец. Когда я вошел, пожилая женщина что-то наливала в деревянную чашку для мальчика лет трех.

— Здравствуй, хозяйка!

— Здорово, родимый!

— Можно у вас отдохнуть?

— Отдохни, кормилец! Видишь, какая жара стоит. Об эту пору куда пойдешь?

— Ну, хозяюшка, дай, пожалуйста, напиться!

— Изволь, родимый, испей водицы; вода холодная, только что с колодезя принесла. Да ты не пей так-то воды: на жару это нехорошо,— говорила приветливая хозяйка,— на жару выпьешь чистой водицы — жажду не утолишь, жажда пуще возьмет; а ты возьми кусочек хлебца, пожуй, да водицей и запей.

— Дай же мне кусочек хлебца,— попросил я хозяйку, когда она мне поднесла ковшик воды.

— Да у меня хлеба ни крошки нету! — отвечала с самым веселым взглядом и улыбкой моя хозяйка.

— Как нет?

— Да ни крошечки!

— Чем же вы питаетесь?

— А на, попробуй,— сказала она, подвигая ко мне чашку, из которой ел мальчик.

Я попробовал: что-то жидкое, пряное, безвкусное, травянистое.

— Что это такое?

— Каша, кормилец.

— Из чего ее варила?

— А пойдешь в поле, ржи натрешь, да и сваришь: рожь-то не дозрела, так теперь на кашу на день натрешь, тем и кормишься... Коли б посолить хоша, то скусней была б, а то соли-то нет; а без соли скусу того в каше не будет.

— И молока нет?

— У нас в деревне не сыщешь ни у кого: падеж был — всех коров повычистило.

— Плохо ж вы, родная, живете.

— Э, кормилец! У людей и того нет. Есть, что и хуже нас, грешных, живут.

— А разве есть?

— Как не быть!

— Да где же?

— Возьми хоть А-ских: те еще куды хуже нас, бедные, мучаются!

— Чем же вы лучше живете?

— У нас хоть лошадка есть: все работать можно; а работать будешь — и хлеб, бог даст, будет, а те безлошадники, наполовину лошадей нет; как им справляться? Им по век справиться нельзя.

— Сходи, хозяюшка,— перебил я хозяйку, подавая ей мелочи около рубля с серебром,— сходи, купи хлеба, поедим.

— Да у нас столько не купишь печеного хлеба,— сказала хозяйка, взглянув на деньги.

— Все равно, ты муки купи да хлебов напеки.

— Да тебе как же ждать?

— Я после зайду, тогда и поем,— отвечал я, выходя из избы.

После неудачной попытки пообедать в Хотяинове я пошел к Бугаевке дорогой пустынной, то лесом, то полем:

И для кого такая широкая дорога между Трубчевском и Погаром (в тридцать сажен), я никак догадаться не могу. По дороге из Бугаевки я видел одного только мужика, вышедшего с проселка.

— Куда идешь? — спросил я.

— Да беда надо мной такая стряслась, что один только бог святой знает, как беду эту расхлебать будет... Горе такое...

— Какое горе?

— Как, друг, не горе? Лошадь пропала!

— Давно пропала?

— Да уж третий день бегаю, спрашиваю; да где ее сыщешь! Знать совсем вчистую пропала.

— Хорошая лошадь?

— Хороша ли, дурна — все свой живот! А вору какая же воля брать дурную? Вор, разумеется, выбирает что ни самую лучшую из всего табуна.

— Откуда ж у тебя увели лошадь?

— Со двора проклятый свел. Стали мы ужинать; поужинали, хотели в ночное ехать, а тут хвать — лошади нет! Кинулся туда, сюда — нет как нет! И ума не приложу, что с головушкою горькою своей делать.

— Жаль мне тебя, брат, а помочь, сам знаешь, помочь этому делу не могу.

— Куда помочь!

— Часто у вас лошадей крадут?

— Как не часто! Только и послышишь: то там тройку свели, то там пару; недели не будет, как около нас, никак, уж лошадей семь свели.

— За один раз?

— Нет, нонче сведут у меня, завтра у тебя... Так обидели, так обидели...

— Скоро хватились, как же вы не догнали вора? — спросил я.

— А как его догонишь? Загонит ее в лес, там его, вора-то, и не найдешь.

— Услышишь: лошадь заржет...

— И лошадь у вора никогда не заржет...

— Не заржет?

— Не заржет. Вор привяжет к хвосту камень; хочет лошадь заржать, надо лошади хвост поднять, а в хвосту камень; лошадь вспомнит про камень и не заржет.

От Хотяинова, или Хотьяиновки, до Бугаевки нет ни одной деревни; только версты за две стоит в лесу небольшой хутор. Выйдя из этого лесу, вы сейчас же переходите в Черниговскую губернию. Здесь место вышло пуповиной, и перед вами открывается великолепный ландшафт: поле, склоняясь в левую сторону, местами примыкает к рощам, а местами теряется за горизонтом; едва верст за десять виднеется Погар; вправо у самой опушки несколько крестов. Уж не могилы ли несчастных корчемщиков?

В Бугаевке первый шинок, стало быть, *вольница*, стало быть, и Малороссия началась. Сколько раз мне ни случалось въезжать в Малороссию, я замечал всегда шинок почти на самой границе, и в этом шинке народу везде труба нетолченая! Кто едет в Малороссию — встречу справляет с вольницей; кто выезжает в Россию — прощается с шинком, с хорошей вольной водкой. Великороссияне, живущие часто за десять верст от границы, тоже часто заходят погулять в шинок. Ведь шинок не то что кабак. В кабаке, кроме водки, можно найти только прошлогодние калачи, бублики и изредка ржавую селедку. Да и сам целовальник не похож на хозяина: у целовальника зачастую и хозяйства никакого нет, и весь дом не дом, а один кабак. В шинке для кабака собственно отведено небольшое место, а в остальном доме вы найдете место и отдохнуть, и закусить вам подадут.

Так и в Бугаевке мне, по постному положению, подали луку с квасом. Хмельного народу, по обыкновению, в шинке было много, и все бабы: одни шли с богомолья из Челнского монастыря, другие пришли с каких-то крестин — доканчивать крестины... Костюм был на всех один, но говор слышался и южно-русский, северный, и как северный говор сбивался на южный, так и в южном много слышалось северного. Во многих кучках запевали песни или совсем малороссийские, или хотя и русские, но большею частию на малороссийский лад. Малороссийские напевы, впрочем, слышатся довольно далеко от границы Малороссии: я слыхал эти напевы в Малоархангельском, Мценском уездах Орловской губернии и даже в Новосильском Тульской губернии; а в Кокоревке, за сорок верст от Трубчевска к Дмитровке, где мне случилось быть на свадьбе, я не слыхал ни одного напева свадебной песни северно-русского — все южные.

В шинке все шло громче и громче, шумней и шумней и

все бестолковей и бестолковей. И я, видя, что там делать нечего, пошел по деревне. У одного двора сидел у ворот мужик.

— Помогай бог! — сказал я ему, усаживаясь около него на какую-то колоду.

— Милости просим! — отвечал мужик. — Садись, брат, отдохни со мной.

— Эко, сколько народу у вас в шинке! — стал я заговаривать с ним.

— Народ, знаешь, идет со всех сторон в Бугаевку в шинок: здесь водка дешевая, да и *крепоче*, чем в Трубчевске; вот народ и взял такую привычку ходить в бугаевский шинок; другой, сердечный, бежит и невесть откуда на дешевку.

— Скажи, пожалуйста, отчего у вас на этой стороне деревни хаты стоят на дворе, а на той, к барскому дому, — на улицу?

— На той стороне постройка старинная: как деды строились, так и теперь строют; а там почали строить все по-новому, все хаты на улицу.

— Отчего же?

— Там господские живут; господа их и перестроили на свой лад, а мы люди вольные, мы казаки, живем, как наши отцы, наши деды нам позволили.

— Теперь ведь нет господских крестьян; бывшие господские будут перестраиваться по-старому или же так останутся, как господа им построили?

— Нет, так и останутся... куды им!

— Отчего же?

— Они мужики.

— Теперь все вольные почти совсем, только временно обязанные; а уладятся с господами, и совсем будут вольные люди тогда.

— Всё будут мужики.

— Да отчего же?

— Сказано в писании: от лося родится лосенок, от свиньи — поросенок.

— Ну так что ж?

— Мужик привык под господским страхом жить; без этого страху мужик пропадет, настоящим человеком не сделается никогда.

— Это, брат, не ты говоришь, зависть твоя говорит! — сказал я ему на это.

— Помогай бог! — проговорил я чуйке; как после оказалось, это был погарский мещанин, сапожник, человек лет двадцати пяти или двадцати восьми, рослый и здоровый.

Я обрадовался новому собеседнику: разговор наш с прежним товарищем был как-то неловок: или мне приходилось согласиться с ним, или спорить. Согласиться мне не хотелось, а спорить — значит учить, а от этого я решительно раз навсегда отказался: из этого никогда ничего не выйдет, да и время даром только пропадет.

— Об чем толкуете? — спросил мещанин, тоже присаживаясь к нам.

— Да все об воле.

— А что об воле толковать?

— А то толковать, — отвечал мой мужик — казак, — а то толковать, что от этой воли всем будет плохо.

— Нет, дядя, — сказал мещанин. — Ты возьми только то: все будут вольные; всякому человеку богатеть можно, никто его и не тронет, тогда и нашему брату, мещанину, не в пример лучше будет. Теперь что ты возьмешь с мужика? С голого, что с святого, взять нечего!

— А разбогатеет мужик?

— Разбогатеет мужик. Тогда и ты около него поживишься, все сыт будешь!

— Это как?

— А так: взять теперь хоть меня: сошью я сапоги — много у меня мужик купит? Он бы и рад купить сапоги-те, да купить-то не на что; мужик без сапог, а ты без денег! Теперь ты, положим, рыбу ловишь; мужик бы и взял у тебя рыбки, да взять-то нельзя: без денег ты ему рыбки не дашь; ты и сиди со своей рыбкой, а денег-то и у тебя нету, и тебе купить что надо — ты не покупаешь, как ни плохо, а так пробавляешься.

— От лося лосенок, от свиньи поросенок, — проговорил угрюмо казак.

— Нет, дядя! Попомни мое слово: все пойдут лоси; свиньям воду не будет, все свиньи переведутся...

— Переведутся?

— Переведутся, дядя.

Оба замолчали.

— Пойти напиться, — сказал после нескольких минут молчания казак.

— Вынеси и мне водицы,— попросил мещанин,— ишь, жара какая стоит!

Казак вынес воды и подал мещанину.

— Будь здоров кушамши,— прибавил он с поклоном, когда мещанин взял ковш с водой в руки и начал пить.

— Благодарим покорно,— отвечал тот, выпивши воду.

— Не хочешь ли и ты? — спросил меня казак.— Вода у нас уж очень легкая.

— Сделай милость, дай, дядя!

Казак опять принес воды и с тем же приветом подал мне.

— Славная вода! — сказал я, поблагодарив хозяина и отдавая ему ковш.

— И вода у нас хороша, да и озеро у нас такое доброе. Такого другого и не сыщешь.

— Чем же оно доброе?

— А тем оно доброе: никогда никому никакого зла не сделало; никто из самых стариков не запомнит, чтоб наше озеро малому ребенку какую *вреду* сделало.

— Какой же вред может сделать озеро?

— В нашем озере ни ребенок... да не то что ребенок, а надо сказать, цыпленок и тот не утонул. Ти лето, ти зима — озеру все равно, все озеро доброе.

— Как называется ваше озеро?

— Святое озеро называется.

— Почему ж его так назвали?

— А потому его назвали Святым, что озеро доброе очень.

До Трубчевска от Дмитровки дорога иногда идет лесом, а от Трубчевска к Погару лес идет дорогою: среди распаханных полей, на которых не видите ни кусточка, лежит широкая дорога указной тридцатисаженной меры, и по этой-то дороге растет лес, оставляя довольно места для проходящих и для немногочисленных проезжающих, а равно и проезжающие — лесу.

— Чей это хутор? — спросил я встретившуюся мне бабу, отойдя от Бугаевки верст шесть или семь.

— Это не хутор.

— А что ж?

— Это шинок.

— В шинке можно напиться?

— Что же? Можно.

Я пошел к шинку.

— Здравствуй, служивый! — сказал я сидевшему на пороге отставному солдату.

— Здравствуй, брат!

— Можно попросить напиться?

— Можно; попроси у жида.

— Здесь шинкарь жид?

— Жид; здесь всё пойдут шинкари жиды, в Бугаевке был последний шинкарь из русских.

— Там отчего же русский?

— По всей той границе шинкари из русских, трубчевский откупщик снял все шинки по границе, да и насажал из русских, чтоб водку в Россию не перевозили.

Я вошел в шинок, а за мной и отставной солдат. В шинке сидела жидовка-девка лет двадцати с лишком да жидовка-женщина лет под сорок.

— Эй, жидова! — крикнул за меня солдат.— Дай человеку напиться чего, да поскорей!

— Да чего же? — спросила оторопевшая женщина-жидовка.

— Да чего-нибудь! Только ты, почтенный, воды не пей: хуже будет пить захочется; а спроси-ка полкварты пива — лучше будет.

— Коли станешь со мной пить — спрошу пива,— отвечал я солдату,— а то не надо.

— Пожалуй! Побалуем пивом! Эй, жидова! Скорей полкварты пива давай!

— Только пойдем из шинка, там где-нибудь выберем местечко, там и пива выпьем.

— Пойдем сядем на бугорок.

— Давно в отставке? — спросил я солдата, когда мы с ним сели за пиво.

— Да уж давно: с 834 году начистую уволен,— отвечал солдат.

— Когда ж ты в службу пошел?

— В службу пошел я в 806 году.

— Долго же ты служил!

— Да, послужил-таки богу и великому государю; всегонавсе моей службы больше двадцати восьми лет насчитаешь.

— Много, чай, видел на своем веку?

— Как не видать!

— Ну а когда лучше было служить: в прежние времена, хоть в 806 году, или теперь?

— С которой стороны возьмешь: с одной стороны, было лучше прежде, с другой — теперь стало лучше. Льготы солдату стало больше.

— Чем же?

— Одёжа стала легче. Теперь что солдатская одежа? Все равно — ничего! Сам и оденется, сам и разденется... Выскочить зачем из фронта — сам и оделся, сам и разделся, и опять во фронт.

— А в старину?

— В старину было не то. Бывало, не разденешься сам, а одеваться — не то что сам, а один и не оденешь! Бывало, веревкой опояшут да кряжем скручивают, а поверх веревки портупею наденут. Опять взять штаны: что летние, что зимние натянут — вошь не подлезет; все равно как обольют штанами ногу-ту! А станут пудрить!

— А тебя разве пудрили?

— А как же!

— И косу носил?

— Нет, косы не носил, а так барашком завивали да пудрой посыпали.

— Кто же? Друг друга?

— Нет, солдат так не сделает; на это были особенные парукмахыры; завьет тебя парукмахыр, натрет голову салом, а после мукой посыплет; кисти у них такие были; возьмет он кисть эту, обмакнет в муку, наставит кисть на голову, да и толкает кулаком по кисти, а мука-то на тебя и сыпется... Бывало, завтра надо в парад, так с вечера начнут убираться: намажут голову салом, обсыпять тебя мукой, так и спать-то нельзя: муку оботрешь, волосики помнешь! Так и сидишь целую ночь, и к стенке прислониться нельзя, и на руку не облокотишься! Да и муку-то покупали на солдатские же деньги.

— Сами солдаты покупали муку?

— Нет, из солдатских денег вычитали на муку, а покупало начальство. Да и вся служба солдатская стала не та... Какая теперь служба? Солдата никто не смей пальцем тронуть! Этого я не хвалю. У нас, бывало, солдат учить можно было, а теперь как его выучишь? Бить его нельзя; как ему службу, нужду солдатскую укажешь? Без битья рекрута в настоящие солдаты и не произведешь!

— Отчего же?

— Так, не произведешь.

— А солдату теперь лучше?

— Солдату? Как можно! Наполовину... куда наполовину! Третьей части прежней службы не осталось.

— Чем же сперва было лучше?

— Начальство было лучше.

— Чем же начальство было лучше?

— А всем, за что ни возьмешь! Тогда были начальники крепкие, твердые...

— Те крепкие начальники били солдат, а теперешние, ты сам говоришь, не бьют.

— Да и за солдата не стоят.

— А прежние стояли?

— Стояли! Теперь солдата поставят в хату к мужику, все равно что его и нет у тебя на квартире... Да еще что? Хозяину тот солдат воду носит, дрова рубит... Ну а прежде придет, бывало, на квартиру солдат, спросит солдат чего, хоть птичьего молока, хозяйка давай!

— Ну, а ежели нет у хозяйки?

— Где хочешь доставай хозяйка, хоть жаром дух пускай, а солдату давай!

— Что ж, хозяева жаловались начальникам вашим? — спросил я.

— Жаловаться? Ну этого не было!

— Отчего же?

— Ну нет! Жаловаться не ходили: пожалуется — хуже будет хозяину.

— Отчего ж теперь солдаты так не делают?

— Попробуй-ка теперь какой солдат то́ сделать, так сейчас к начальнику, а от начальника теперь никакой заступы!

— А при тебе были другие начальники? — спросил я, когда тот перестал говорить.

— Всякие были; я только одно скажу: старинные начальники заступу делали солдату, только за службу и спрашивали.

— А за службу спрашивали?

— За службу спрашивали. Был у нас майор из хохлов же, из нас; ну а на службе — держи ухо востро! Меньше двухсот палок и не отсчитывал...

— И любили его солдаты?

— Нельзя было не любить: своего ни за что солдата не выдаст... А и лихой был командир: ничего не боялся, никого

отродясь не трусил, хоть кто будь. Раз мы пришли в Петербург; привели нас на какую-то улицу Грязную; на этой улице Грязной стал смотреть нас Аракчеев.

— А ты видал Аракчеева?

— Как не видал! Тут же на смотру был Аракчеев; так был маленький, черномазенький, каржавенький.

— Так что же Аракчеев на смотру?

— Приехал это Аракчеев смотреть нас... Тогда к царскому параду готовились... И то не так, и это не так! И то дурно, и это нехорошо!

— И Аракчеев ничего?

— На ту пору ничего; только вышли мы на Царицын Луг; вышли наши армейские, вышла гвардия. Приехал сам царь Александр Павлович, и Аракчеев приехал. Царь скомандовал, Аракчеев скомандовал гвардии, да не ту команду объявил — гвардейцы и перемешались. А тут майор верхом на лошади... а и лошадка была плохонькая: так, кобылка куцынькая... Майор перещеголял гвардейцев — и своих армейцев выставил! А тут подъехал царь: «Спасибо, майор, спасибо!» — говорит царь майору, а Аракчеев так и остался.

— Так ничего майору Аракчеев и не сделал? — спросил я рассказчика.

— На ту пору ничего.

— А после?

— После к чему-то привязался Аракчеев.

— А Аракчеева солдаты любили?

— Да Аракчеева никто не любил: ни великий князь Константин, ни генералы, ни солдаты.

— А в сражениях Аракчеев какой бывал? — спросил я.— Хорош?

— Аракчеев и в сражениях не был ни в одном.

— А ты бывал в сражениях?

— Э-э! Бывал! Я в самое сражение-то, почитай, всю службу прошел.

— А в каких же ты сражениях был?

— Да я все кампании выслужил: и с французом, и с шведом, и с турком... Только с французом больше всех войны у нас было: сперва мы пруссаку помогали, а там война у нас была с французом же, как француз Москву сжег; а там сами к французу два раза ходили.

— И ты бывал?

— А как же! Бывал!

— Так ты много-таки видывал?

— Видывал! Сперва говаривали «бывалый человек: не из семи печей хлеб едал», а я про себя скажу: не в семи царствах-государствах хлеб едал!

— В каких же ты царствах-государствах хлеб едал?

— А давай считать: пруссаку помогали, у пруссака были — это раз; под турка ходили — турок два; у шведа — три; как француза гнали, тут земель много прошли.

— Какие ж там земли?

— Там много всяких: там Саксония, Бувария, Австрияны — так, жемигульный народ... Еще земля, где наша царевна Мария Павловна живет; не велика земля, не большая, а хорошо живут... да там много земель, и не пересчитаешь.

— Хорошо там живут?

— Всяко бывает: кои хорошо, а бывает, кои что и дурно, а то и вовсе плохо.

— Где же плохо?

— Да вот хоть австрияны.

— Австрияны плохо живут?

— Плохо! Сами-то австрияны настоящие, те живут хорошо, а другим-то у них уж очень плохо!

— Каким же другим?

— Ты разве не знаешь? Была Польша царство, а соседом у Польши царства: Австрияны, Пруссак да мы; соседи сговорились промеж собой, да и расписали по себе Польшу. Так приписным-то к австриянам, не настоящим, уж очень плохо! Бедно живут!

— А прочие земли?

— Турок живет не хорошо; у тех поверья нехорошие.

— Какие же у них поверья?

— У нас Христос, Богородица, Николай-Угодник, а у турок только и есть что один Мугамет.

— Какой Мугамет?

— У турок он самый и есть за всех. А так, распутный человек. Вина, говорит, не пей, а жен сколько хочешь держи. Вот и вся их вера; а турок ему одному только и молится.

— Только одному и молится?

— Одному! Вот еще швед неловко живет; не то чтоб не хорошо, а так: за большим хлюстом не гонится — ему этого не надо совсем.

— А другие царства?

— Те хорошо живут. Вот что Бувария, что Саксония, что земля, где живет наша царевна; живут — и боже мой! Вот еще француз...

— Как те живут?

— Да вот я у француза два раза был, а больше полфунта хлеба в день не съешь.

— Отчего?

— Того-сего хватишь — ну, и сыт! Фрукты разные... А вина простого нет, все вино ренское!

— Ренское вино лучше нашего?

— Ренское лучше: выпьешь стакан, два, хоть три — ни рукой, ни ногой не владеешь, а не ошалеешь, память не отшибет. Нашей водки выпьешь два стакана — и память всю отшибет, и на другой день голова болит, а от ренского и голова не болит.

Гринев, 27 июля.

— Какая у вас река? — спросил я переправлявшихся на пароме со мною казаков с возами дров под самым городом Погаром.

— Наша река называется Судогость,— отвечал мне один из них,— вода уж очень сладкая, оттого и называется Судогостию.

— Я как-то в толк не возьму: вода сладкая в реке — оттого и река называется Судогостию?

— Вода сладкая, реку и назвали Сладостию; река наша сперва так и называлась.

— Как же она теперь называется не Сладостию, как ты говорил, а Судогостию?

— Татары так ее назвали: по-нашему сладость, а по-татарски судогость, все одно и то же слово*.

— Да наш и город сперва был не Погар,— прибавил другой казак.

— А как же?

— Сперва он прозывался Радовое.

— Не Радовое, а Радувуль, поправил первый казак.

— Это все равно: что Радувуль, что Радовое, а только не Погар. Сперва, кто ни заедет в наш город, всех радовало; а там как стал наш город гореть: то ноньче пожар, то завтра

* Это же я слышал от О. А. Круковского, приветливостью которого я пользовался, бывши в Погаре.

другой... Да пожары какие были? Весь город выгорит! «Какой,— говорит народ,— это Радувуль? Это Пóгар!» С тех самых пор и стали называть Погаром.

— Для кого Погар, а для кого остался все тот же Радувуль: у нас в городе все живут по закону, как бог велел.

— Я думаю, есть и всякие?

— Как не быть! А все-таки про наш город ничего дурного нигде ты не услышишь... А сколько из наших простых казаков, сколько в хорошие люди вышли, в чиновные...

— Кто же?

Он мне сказал несколько имен.

— Да не то что вышли в люди, это бы ничего; а то важно, что в хорошие люди: какому б служить и не в нашем городе, а он служит в Погаре: «Я,— говорит,— лечить, учить буду в своем городе!» И от своих ближних не отрекается: приди к нему родня хоть в какой свитке — все родня!

Похвалу своему городу, своей родине вы услышите от многих — только на чужбине; на месте же, дома, мне привелось слышать только другой раз: один раз я слышал в Ярославле, а другой здесь, в Погаре. Что за счастливые, в самом деле, эти два города!

Поднявшись на крутую гору, вы в самом центре города Погара. Много есть на Руси деревень, за какие-то услуги произведенных в города, и эти города как-то неловко называть городом; к числу таких местечек, по-видимому, принадлежит и Погар-город, только к его титулу «город» прибавлено извинительное слово «заштатный»: все как-то не так совестно. Мне кажется, мы только из трусливой учтивости называем, титулуем городами Богодухов, Валуйки, Нижнедевицк, точно так же, как пьяная баба титулует «кавалером», а и часто и «вашим благородием» будочника, который ее тащит в часть. Это сходство еще увеличивается, ежели припомним, что эти славные города тем только и отличаются от нетитулованных деревень, что в них есть разные *суды*, к которым простой народ причисляет и *часть*, в которую, как и вообще в суд, без денег ходить нельзя...

Точно так же и в Богодухов, и в Новый Оскол мужик едет с деньгами, только не для покупок каких: там и купить-то ничего нельзя; а ежели едет туда мужик, то, верно, есть *дело* какое, в котором могут помочь частные, становые пристава, городничие, исправники... А потому и эти деревни

надо почтить хоть каким-нибудь титулом, хоть *городом* назвать! Но я должен сознаться, что моя гипотеза может встретить возражения, а потому приведу пример бескорыстного титулования.

— Город Елец стоит на Сосне-реке, и этой Сосне Елец обязан своими многочисленными богатыми мельницами; многие мельницы приносят доходу более тысячи рублей серебром, и горожане жили себе покойно, пока их тщеславие не одолело; и обидела Елец та же река Сосна, по милости которой город славится своей знаменитой елецкой крупичатой мукой! А вышло и дело такое, что и перенесть горе было нельзя! И вышло все от ученья: стали дети в училище ходить (в Ельце купцы есть миллионеры, а потому многие посылают детей и в уездное училище, где иногда дети их доходят и до третьего класса), стали дети географию учить и выучили по географии господ Арсеньева и Ободовского, что Мценск стоит на *судоходной* реке Зуше; Белев — на *судоходной* реке Оке... Один только почти Елец *стоит не на судоходной* реке Сосне! Городу бесчестье большое! Как тут быть?

На счастье города, городской голова был хорош, рачителен до города; стал голова хлопотать — сделать реку Сосну в Ельце судоходною; поехал в Петербург хлопотать; да ездил не раз, не два, а хлопотал, говорят, лет десять и кончил-таки, что назвали судоходною. Приехал голова из Петербурга с бумагою, в которой объявлена Сосна — рекою *судоходною!* Отслужили на Сосне молебен с водоосвящением, окропили Сосну святою водою и зажили по-прежнему; только что Сосне дали титул судоходной, а то мельницы мелют все те же и такую же елецкую крупичатую муку; по судоходной Сосне плавают те же суда; у каждого мельника есть лодка, и плавать можно, когда мельница не спущена... все по-прежнему; но город успокоился: теперь Елец стоит на судоходной реке! Рассказчик мне говорил, что Сосна уже более пятнадцати лет как стала судоходной и городу чести прибавилось!

Погар-город, кажется, не так честолюбив: он довольствуется званием заштатного города и с этим званием соединенною властию — частным приставом. Кроме этого отличия от простых деревень Погар имеет уездное училище, про которое сказать ничего не могу: я был в вакационное время, стало быть, и училище видеть не мог, но меня поразило то,

что в таком городе, как Погар, полный комплект учителей, а более всего — рассказы, будто во всех училищах Киевского округа — то же!

Итак, Погар довольствуется званием заштатного города; а был и Погар городом. Еще до татар стоял город Радогостье; потом стал зваться и Радувуль, и Радовое, а наконец и Погар... Был этот город и княжеским, был сотенным местечком Стародубовского полка, наконец, и заштатным городом; но как взглянете из-за Судогоста на этот городок, засыпанный весь садами, то, верно, скажете, что Погар — город, и город, который стоит на веселом месте. Верст за десять от Бугаевки показываются Погарские церкви, и вы никак не ожидаете найти такой маленький город; придя только в город, невольно спросите: для кого же построено девять церквей? Я в церквах погарских не был, но, по-видимому, можно сказать, что они очень бедны.

— Сколько у вас церквей,— сказал я казаку-хозяину, у которого в хате остановился в Погаре,— а все церкви с виду бедны.

— Бедны,— отвечал казак,— приходы небольшие, с чего и богатым им быть? А приходы так бедны, так бедны, что не только церковь, а и поп бедствует! А об дьяконе у нас и не спрашивай...

— Дьякон еще бедней?

— Об дьяконе в Погаре не спрашивай.

— Отчего же?

— Да в Погаре дьякона нет.

— Во всех девяти церквах дьякона нет?

— Во всех девяти и нет.

— И никогда не было?

— Как не быть? Были, только теперь во всем Погаре-городе ни одного дьякона нет.

— Отчего ж так?

— А бог святой знает!

— Давно ваш город стоит?

— От начала века наш город! В нашем городе сперва сам сотник жил.

— Какой сотник?

— Чин такой был: все равно что губернатор; Погар, стало быть, был тоже губерния.

— А как давно в Погаре сотники были? — спросил я у казака-хозяина.

— Да и были они еще не так давно: были старики-казаки, что и видали самих сотников.

— А теперь нет сотников,— прибавил другой казак, самой невоинственной наружности, брат хозяина.

— Отчего же?

— Перевелись.

— Нас было и в мужики записали, да так уж бог помиловал, да и добрые люди помогли.

— Точно, что добрые люди помогли,— подговаривал флегматически брат хозяина.

— Ты знаешь Гринев? — спросил меня хозяин.

— Нет, не знаю.

— Не знаешь. Как пойдешь отсюда, от Погара, к Стародубу, так на половине пути будет...

— К Погару ближе,— перебил брат.

— К Погару будет ближе,— продолжал хозяин.— Так этим Гриневым завладел Безбородко. Завладел Безбородко Гриневым, захотел и Погаром владеть. Стал просить царя... царицу; тогда царица была... стал просить царицу отдать ему и Погар-город...

— И отдала бы царица Безбородку Погар-город,— добавил опять брат.

— Отдала бы,— согласился хозяин,— да я и говорю, что бог помиловал да добрые люди помогли: приехал Кочубей, сказал городу, что Безбородко хочет за себя взять город. Как тут быть? Кочубей их опять-таки научил: взять царскую грамоту... А царская грамота у нас царя Алексея Михайловича, и в грамоте сказано: быть Погару до скончания века — городом. Взять ту грамоту и идти к царице просить: не отдавать Погара Безбородку, а оставить по-прежнему вольным городом. Хорошо. Выбрали громадой трех казаков: первый был Козел, другой Розько, а третий Попинака. Взяли те казаки старую грамоту, пошли в Питер. А там в Питере царица умерла, а стал царить царь Павел. Царила царица — Безбородко силу большую имел; стал царить царь — Безбородке силы той уж нет! Показали царю казаки грамоту, царь и указал: Погару оставаться по-прежнему городом*.

* Не знаю, цела ли эта грамота, но, вероятно, здесь идет дело о грамоте, которою царь Алексей Михайлович подтвердил городу магдебургские права.

Около Погара и в соседних уездах много сеют конопли: начиная от Кромского уезда, конопли сеют не только на огороде, но и в полях, разумеется, удобренных под конопляник; а поэтому в Погаре главная торговля пенькой и, в особенности, конопляным маслом. Мне говорили, что пять-шесть здешних купцов, главных купцов, отправляют отсюда до пятнадцати тысяч берковцев чистой пеньки. Эти купцы, скупая пеньку нечищенную, нанимают трепачей, то есть работников, пеньку трепать, чистить, большею частию, как мне говорили, из русских и преимущественно из Орловской и Калужской губерний*. Нанимаются ли они артелями или всегда поодиночке, я утвердительно сказать не могу; но мне кажется, что между трепачами артелей нет; всякий получает плату от пуда очищенной пеньки, лично самим заработанную плату или заработанную целой *семьей.*

Главный промысел здешних жителей — маслобойни, или, как их здесь называют, олейны; олейн здесь в городе более ста, на которых бьют преимущественно шапочный олей, то есть конопляное масло, а не кошелевый; продавливают масло из конопли через мешок или колпак, сделанный из шерсти, а не из лык, отчего и олей бывает лучше; поэтому погарский олей, говорят, известен по всей Малороссии и даже,— прибавил рассказчик,— в Киеве. Сколько выделывают здесь олею — я узнать не мог; но, судя по тому, что в Погаре и в окрестных деревнях всю зиму по большей части работают одни только бочки для олея, вывозимого из одного Погара, то можно предполагать, что выделывается значительное количество. И не один Погар занимается маслобойнями, а и по деревням их здесь много; мне говорили, что в Стародубском уезде есть даже паровые маслобойни.

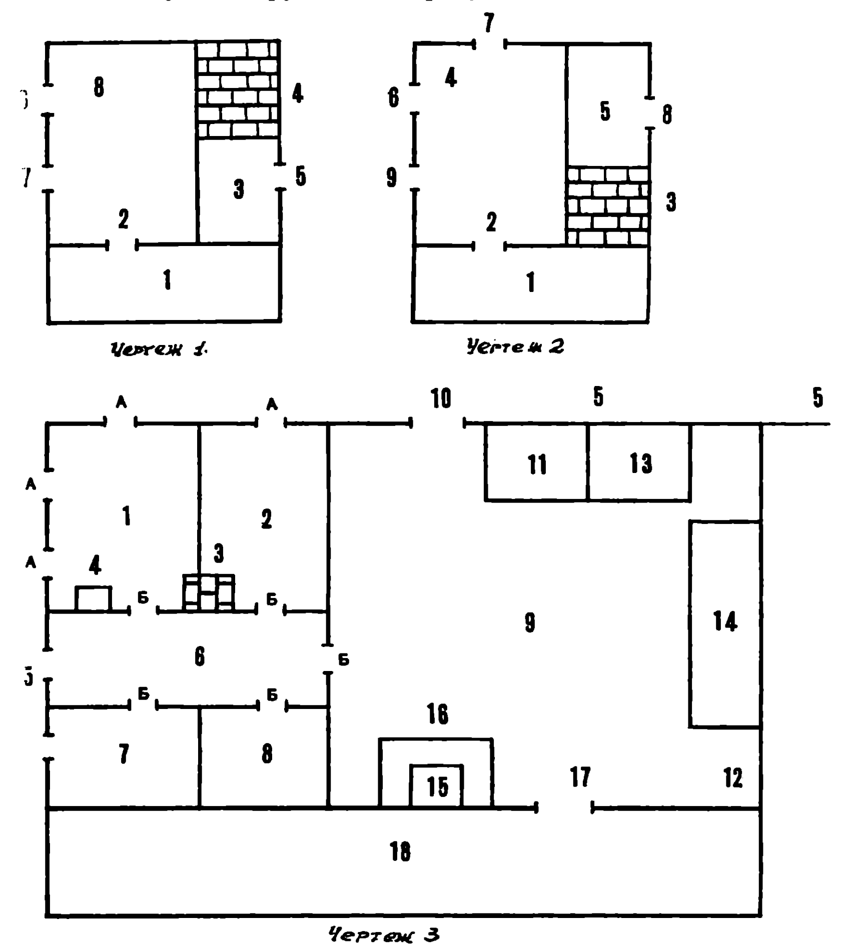
Я зашел к С. А. Мефедову; он занимается собиранием песен, как текстов, так и голосов, и потому не удивительно, что он близко принимает к сердцу цель моих походов и всячески хотел помочь мне в моих расспросах. А как он сам уроженец Погара, то он знал, кого спросить, а в поверке собранных мною сведений он для меня не мог быть никем заменим.

Преподобный Нестор говорит, что в России жили разные племена. Мне кажется, что, внимательно изучая быт нашего народа, и теперь можно указать на границы поселений разных племен. Но для этого надобно обращать внимание на

* По восемьдесят копеек ассигнациями от пуда. Хороший работник может перечистить до пяти пудов пеньки в день.

все: на песни, поверья и, в особенности, на обряды, на архитектуру домов и расположение дворов и одежду. Как ни просто устройство нашей деревенской избы, но в разных местах разные и избы.

В Малоархангельском, Ливенском уездах и вообще к Рязани и Воронежу деревни строятся большею частию в одну линию; старой постройки избы, кажется, обыкновенно стояли во дворе, а теперешней — чаще на улицу; во всяком случае — в одну линию ежели не избами, то дворами. На первый раз покажу вам два плана: один — избы Малоархангельского уезда, другой — Стародубского.



Чертеж 1.

Чертеж 2

Чертеж 3

Чертеж 1.

1. Сени.
2. Двери в избу.
3. Пол в пол-аршина, или вершков 10.
4. Печь.
5. Волоковое окно.

6 и 7. Красные окна.

8. Передний угол. Кругом лавки; кроме лавок подвижные скамейки-услоны.

Чертеж 2.

1. Сенцы.
2. Дверь в избу.
3. Печь.
4. Кут, то есть передний угол.
5. Пол, помост, возвышающийся над землей четвертей на *5*.

6 и 7. Окна, по-русски красные или косящатые.

8. Окно польное, без стекла, по-русски волоковое.
9. Польное окно, со стеклом, волоковое.

Чертеж 3.

Начиная, кажется, с Никольского, Орловского уездов, деревни стоят ломаной линией; между двумя избами небольшая площадка: на одной стороне ворота во двор, а в глубине этой площадки ворота на задворок, где сено, сохи, бороны. К Рязани же и к Воронежу задворки стоят против избы, через улицу.

Теперь опишу двор и дом богатого жителя Погара (чертеж 3). Дом стоит на угле улицы —*5*; вы входите с улицы в сенцы — *6*, из которых одна дверь — *6* — ведет в светлицу — *1*, другая в светелку — *2*, третья в пекарню — *7*, четвертая в пристенок — *8*, пятая на улицу — *5* и шестая во двор — *9;* в светлице три окна — *а*, в светелке и кухне по одному — *а*. Печь — *3* — стоит между дверьми, ведущими в светлицу и светелку. Войдя в светлицу, по одну руку у вас стоит печь — *3*, по другую судник — шкаф с посудой —*4*. Со двора на улицу ход в ворота — *10*, около ворот клеть — *11*, которая иногда называется хижа и строится в глубине двора — *12*. Рядом с клетью поветь — *13*. Под поветью дро́вы, сенник — *14*, погреб — *15*, с поветкой под навесом — *16*,— около других сторон двора; через форточку, то есть калитку — *17* — ход в садок — *18*.

Теперь перечислю названия одежды. Про мужскую я многого сказать не могу: свитка, кожух и белая рубашка с прямым воротом, навыпуск, то есть сверх штанов; в деревнях бросается в глаза колпак, то есть шапка из войлока, очень похожая на круглые шляпы — гречневики, только с полями пальца в три шириною, которые плотно лежат к тулье; да изредка зипун — свита с перехватом назади.

Женщины в Погаре повязывают голову поверх колпака платком; эта повязка очень напоминает казацкую шапку. Сперва девушки носили одну кладочку, теперь же часто повязывают голову по-женски, выпуская только сзади или косу во всю длину с лентой на конце, или складывают косу вдвое: концы волос подкладывают под низ. Как женщины, так и девушки носят юбку, которую здесь называют сподницей или саян, кабат-сарафан, кохту, шушун. Понёв в городе не видал, в деревнях же носят понёвы больше *круглые*, то есть сшитые. У всякой женщины и у всякой девушки есть свои собственные скрыни и кублы с замками, где они сохраняют принадлежащие им вещи: наряды, холсты и прочее.

Скрыня — это сундук, а кубла или купель — ушат с крышкой, которая закладывается бруском, продетым сквозь ручки ушата, и после запирается замком.

Ничто в настоящее время так быстро не теряется, как старинный костюм; что носилось обыкновенно лет десять назад, то теперь сделалось вещью, нужною только для кабинета антиквария. Мне хотелось достать для Русского географического общества однодворческий костюм Малоархангельского уезда, и, несмотря на все мое старание, нового всего костюма я достать не мог. Даже заказать теперь некому: мастера перевелись; и я должен был довольствоваться подержанными, поношенными вещами.

О головных уборах должно сказать то же: кички быстро уничтожаются, а девушки... Я вспомнил слова одной однодворки-девушки в Малоархангельском уезде; она говорила: «На праздник-то и мы принарядимся: мы, девушки, волосы в плетеночки заплетем и косу корзиночкой прикладаем; ну а дамам этого нельзя».

Кичка очень неудобна; я не пожалею, если она повсеместно заменится чем-нибудь, только не плетеночками, не корзинкой... А жаль будет, если в настоящее время не будут описаны все костюмы, употребляемые русскими. Да и мно-

гое скоро пропадает; с уничтожением крепостного права распространяется грамотность, а с грамотностию потеряют святость прадедовские обычаи и забудутся народом... Ходаковский горевал, что после пожара московского в двенадцатом году не были восстановлены в Москве доисторические городища, а выстроили опять город Москву. Городища, может быть, и можно было бы возобновить, разрушивши Москву; а старые обычаи, поверья, забытые народом, нельзя восстановить, хоть бы снова воскресло крепостное право, по желанию немногих...

Сказавши несколько слов об жилье, одежде погарцев, надо сказать и об их языке; не бравши на себя обязанности составлять грамматику их говора, приведу лучше несколько песен с удержанием выговора.

1. Песня, когда сеют конопли.

Старенький дедька
Па горыду ходя
И аре́, и скародя,
Канапельки сея.
Мыладая малодка*
У ворот стояла,
Гылубов зманяла:
— Гуля, гуля галубчик,
На дедовы кано́пли!
Штоб мне мыладе
Кынапель ни брати
И пасканей ни мяти!

2. Жнивная, поется, когда девки идут вечером с жнива домой.

У поле идуть
И, (как) пчолачки, гудуть,
А с поля идуть,
Песенки пають!
Девки маладыя,
Серпы сталяныя!
Станавите сталы дубавыя,
Наливайтя кубки́ медовыя...

* «Молодая молодка» я не умею написать совершенно так. как произносится: «молодая» произносится почти так «мыладая», а молодка — почти как «малодка».

3. Поется на масляной.

Над нашим над горадым Погарам
Стояли, светили месички чатыри,
Стояли, святили зорички чатыри:
Моладому Самсоньку — красная Марьичка,
Красный Софьюшки — мыладой Иванька!

Самсонько, Марьичка, Софьюшка, Иван — имена случайные: кого величают, тех имена и поют.

4. Хороводная

Заплитайся, плетень, заплитайся!
Завивайся, труба залатая!
Заверни, кумка́ красатая!
Ох, сир скраводничак!
Патапив малых деточек
Да не в сир, да не в масличко,
У сахо́рное яблачко!..
Расплетайся, плетень, расплетайся!
Развивайся, труба залатая!
Разверни, кумка́ красатая!
Ох, сир скраводничак!
Патапив малых деточек
Да не в сир, да не в масличко,
У сахо́рное яблачко...

При первом куплете этой песни все играющие заплетаются в плетень, а при втором — расплетаются.

5. Хороводная

Карагод велик, улица мала:
Некуды ветру прохолодати,
Жаркому сонцу разгулятися,
Буйному ветру расшататися;
А усё за бабами, усё за старыми.
— Мритя вы, бабы, мритя вы, старыя,
Па три, па чатыри,
Па семира в яму
У вадну субботу —
Штоб была без клапо́ту.
Карагод велик, улица мала:
Некуды ветру прохолодати,
Жаркому сонцу разгулятися,
Буйному ветру расшататися;
А усё за девками, все за красными!
— Идитя вы, девки, идитя вы, красныя,
Па три, па чатыри,
Па семира замуж
У вадну ниделю —
Штоб люди глядели;
У вадин тано́чик —
Пад адин вяночик!

Под эту песню играющие бегают попарно по улице; передняя пара делает ворота: возьмутся за руку рука, и в эти ворота все пробегают; поэтому хоровод этот называют «бегучим» или, по-здешнему,— бягучим.

6. Хороводная

Ти чували, ти видали
Маю жану Танку?
Не чували, не видали
Твою жану Танку!
А хоть жа вы не чувалы, не видали,
Дак я сам бачив.
Хоть жа ты и бачив,
Да мы табе не дадим.
А я каши наварю,
Сваю жану вазьму.
А мы кашу паядим,
Табе жаны не дадим.
Я пирагов напеку,
Сваю жану вазьму.
Мы пираги паядим,
Табе жаны не дадим!
А я пива наварю,
Сваю жану вазьму!
А мы пиво попьем*,
Табе жаны не дадим!
А я камень подпущу,
Сваю жану вазьму.
А мы камень перебьем,
Табе жаны не дадим!
А я стрелу подпущу,
Сваю жану вазьму.
А мы стрелу переломим,
Табе жаны не дадим!
А я перстень подпущу,
Сваю жану вазьму!
Мы перстень на ручку,
Тваю жану як сучку!
Гей, жана, до дому:
Дети кричать,
Ести хочуть,
А на полыцы
Три паляницы,
То им дай,
То им дай.

Напевы песен есть и малороссийские, есть и великорусские. С. А. Мефедов для меня записал несколько напевов.

* Попьем, а не «папьем».

— Не осталось ли каких памятников владычества Литвы в Погаре? — спрашивал я здесь одного горожанина.

— Николаевская церковь была сперва костелом, а теперь она переделана на православную.

— Остались в этой церкви какие-нибудь книги, образа из старого костела?

— Нет, кажется; там остался только Галецкий, который там похоронен.

— Кто такой этот Галецкий?

— Галецкий был большой воин. Я учился у дьякона, он тогда еще был дьяком... мы тогда мели церковь, дьячок и уронил в церкви гривенник, гривенник покатился, да под пол; подняли мостовину и вынули гривенник. Так я сам в ту пору видел склеп, где лежит Галецкий. Тут же нашли образ святителя Николая; образок небольшой, вершка в полтора, а вместо рамки медный блят в пол-аршина.

— А грамот никаких не осталось?

— Говорят, есть грамота царя Алексея Михайловича. Царь той грамотой пожаловал Погар на веки вечные быть городом.

— Где был сперва город?

— Главный город сперва был на Замковой горе; там сперва и замок стоял.

Замковая гора у самой Судогости очень крута, и на нее взъехать можно только в одном месте, и то, как мне говорили, здесь сделана насыпь, а сперва был подъемный мост. Эта гора имеет вид урезанного конуса. Вершина горы — заросшая всякой дрянью площадь в несколько сажень, и на ней теперь одна только яма; стоявшие здесь войска построили себе манеж, который, выходя из города, разорили.

— А кладов здесь близко не находили?

— Близко не находили,— отвечала бывшая здесь хозяйка,— а вот, сказывают, какое было дело: стоял столб, и все знали, что тут клад лежит; и кто-кто не приходил к столбу отрывать клада — весь столб подкопали кругом, так что весь столб подбили, чуть-чуть и столб-то держался; а все клада того достать никто не мог. Раз у того столба пас малец* монастырский товар**. «Говорят, здесь клад лежит,— думает малец,— сем-ко я попытаюсь!» Солнце было

* Мальчик.

** Скотопромышленники рогатый скот называют товаром.

совсем на закате, малец и начал копать у самой головы*— что от столба тень. Копнул раз, другой — жерновный камень... малец копать еще — золото!

— А здесь кладов не находили?

— Нет, раз копали под фундаментом, так нашли много платья, когда рыли,— отвечала хозяйка.

— Какое же платье?

— Фартушки разные...

— Еще раз тоже рыли, напали на могилу,— прибавил наш собеседник,— так в могиле нашли водку, и водка та была желтая; сперва хоронили всех покойников с водкой.

— В гроб клали водку?

— Не знаю, ти в гроб клали водку или так в могилу. Не могу того верно сказать.

После как-то мы договорились до братчи́н, которые теперь в Погаре уничтожились.

— Как же вы собирали братщину? Кто ее собирал? — спросил я.

— Да кому придется, тот ее и собирал; сперва собирал ее церковный староста, а как я был церковный староста, так я не стал собирать сам, а отдавал другим.

— Отчего же?

— Да так, пьянства много, а церкви прибыли нет: только и барыша что попу да конторе.

— Какой конторе?

— Откупщику; водку покупали у откупщика: наш город был на откупу.

— А попу какой же был барыш?

— Попу с самого начала надо нести кварту водки святить, ну и несут попу кварту водки да платок.

— Как же собирали братщину, когда?

— У кого престольный праздник, те и собирают братщину. Самые простые люди ходили по дворам, выпрашивали по гривне, а у богатых — сколько даст; деньги отдавали церковному старосте. Тот покупал водки, постенки**, всего, что надо. Спросятся у откупщика, наварят меду, а воск что выйдет — сделают свечу в церковь... Накупят всего, а остальные деньги, что от покупки останется, тоже на церковь... Придет праздник, ну все собираются и пьют.

---

* При конце тени.

** Соты меду.

— А из другого прихода могли приходить?

— Все могли.

— А женщины?

— И бабы ходили.

— А кто не давал денег в братщину?

— Кто там разбирать станет? Все, кто хочет, приходи и пей сколько хочешь! Только там на братщине собирались самые простые, а другие не ходили...

— Считалось неприличным?

— Пьянство было большое! А там еще на другой, на третий день станут свечу пропивать.

— Как свечу пропивать?

— Купят постенки, станут варить мед, останется воск; из того воска сделают свечу. Кто ноньче собирал братщину и, если не хочет на будущий год собирать, тот отдает свечу тому, кто будет на будущий год; и свечу эту несут все, передают охотнику и придают денег сколько-нибудь. Ну и опять пьянство!

— Где же собирались братщины?

— Да у кого-нибудь, а больше по братским домам.

— А у вас были братские дома?

— И теперь есть; а сперва у всех были: у швецов свой, а у кузнецов свой; ну а теперь один только, у швецов.

— Большой дом?

— Нет, так, хатка; им давали за их братский дом тридцать рублей серебром только.

— А когда была у вас последняя братщина?

— Да лет десять назад, а может быть, и пятнадцать лет будет, как перестали.

— Отчего же теперь перестали?

— Да тут откупа пошли; сперва водка у нас была дешевая, а тут пошли откупа, водка вздорожала, братщину теми деньгами, что сперва обходились, уж и не справишь.

— Теперь опять водка подешевела.

— Подешевела, да все не прежняя цена, да и кому собрать братщину? Не для чего!

Стародуб, 28 июня.

— Здорово, почтенный! Не проходили здесь два молодца? — спросил меня погарский мещанин, когда я, выходя поутру из Погара, закуривал папироску.

— Не заметил, почтенный.

— Верно, прошли; забегал в кузницы — там их нет... да в шинке подождут.

— А вы куда собрались?

— Идем в Гринев: сад хочем скупить.

— Что, как ноньче сады?

— Плохи, очень плохи! За сад в прежние года платили пятьсот рублей серебром, а ноньче за этот сад не знаешь, как дать и сто; весна была очень для садов дурна: морозы были.

— Много здесь садов?

— Было много; теперь только стали сады падать: тех доходов от садов нет. Бывало, наши погаровцы яблоки возили в самую Москву; а теперь из наших мест ни одного яблока в Москву не возят; весь яблок в Москве курский, а наш яблок здесь по нашим местам весь расходится; дальше ему ходу нет.

— Отчего же вы перестали возить в Москву ваши яблоки? Верно, не выгодно?

— Какое, невыгодно! Выгодно, да та беда, что народ в Погаре обеднел; в Москву-то и ездить стало некому.

— А может, есть и другая какая причина,— сказал я,— но отчего же народ в Погаре обеднел?

— Как в наши времена, друг, мещанину не обеднеть.

— Отчего же мещанину? Придут плохие времена — и мужик, и барин, так же как и мещанин, обеднеет...

— Как можно мужика с мещанином сравнить! Мужик разорится, коли беда какая над ним стрясется; а пройдет беда — мужику опять справиться можно; а мещанин без всякой беды на раззор идет. Мужик что? У мужика земля своя есть, и с податями справиться можно; пришел хлебу недород — разорился, опять-таки есть к чему руки приложить: к той же земле. А мещанину где взять? Что у мещанина есть? А с мещанина податей больше сбирается; с нашего брата берут и подушные, и городские, и квартирные, и земские сборы, и солдат к тебе во двор ставят, а мало-мальски хата у тебя хороша — офицера поставят. Да еще вот что тебе скажу: чем ты податями справнее, тем для тебя хуже: ты платишь исправно подати за себя, а я и совсем не плачу; ты за меня и плати; мою душу на тебя положат; твою же справку перед казной тебе ж в вину ставят!

Не слыхал ты, любезный, у нас болтает народ, что эти порядки скоро у нас переменятся?

— Нет, любезный, не слыхал.

— А дай-то господи! А по всему видно, что старым порядкам не жить долго.

Около обедов я пришел в Гринев, и первое, что мне бросилось в глаза в этом хорошеньком местечке — это мужик, бедно одетый, стоявший без шапки перед каким-то лакеем или дворовым в картузе, сюртуке, но без сапог. Мужик об чем-то просил лакея, низко ему кланялся, и тот, по-видимому, начинал было уже соглашаться на его просьбу, но, на беду мужика, прошла какая-то девка, лакей хлопнул ее около спины; девка засмеялась...

— После! — крикнул лакей мужику и пошел с девкой.

— Паночку! — просил мужик.

— Сказано после, так и после! — прокричал на ходу лакей, не останавливаясь.

Мужик постоял несколько, постоял, развел руками и пошел куда-то.

— Где, брат, пообедать? — спросил я его.

— Ступай в шинок.

— А шинок где?

Мужик только рукой махнул; вероятно, ему было не до разговоров.

В шинке меня встретила жидовка в немецком платье, донельзя замасленном чепце и до невозможности взъерошенном рыжем парике.

— Что тебе надо? — крикнула она на меня не совсем ласково, подвигаясь к загородке, за которой стояла водка.

— Нельзя ли, хозяйка, сделать у вас яичницу? — спросил я ее вместо ответа.

— Отчего? Можно! — проговорила она совершенно другим голосом.

— Пожалуй, сюда, здесь лучше, только мужики сидят.

— Почему ж вы думаете, что я не мужик?

— Как же можно? Вы яичницу спрашиваете: стало быть, не простой человек!

Хозяйка юркнула, только мелькнули развевавшиеся на пол-аршина сзади ленты, теперь неизвестно какого цвета, но смолоду, вероятно, бывшие желтого; а я вошел в указанную мне комнату, в которой принимаются не простые люди. Там я нашел тоже не простого человека — мещанина.

— Здравствуйте, почтенный! — сказал я ему, войдя в комнату и садясь на лавку.

— Здравствуйте, любезный! Откулича путь держите?

— Иду из Погара в Стародуб.

— Так-с! А по каким-таким делам-с занимаетесь?

— Так, по своим делам.

— Вы не живописец? Так, может, живописью изволите заниматься-с!

— Да. А вас откуда бог несет?

— Мы торгуем красным товаром.

— По господам ездите?

— Нет-с, больше по мужикам.

— Вы с коробкой ходите?

— Нет-с, как можно с коробкой! Мы на лошади, у нас лошадь есть! Это так какой-нибудь, тот, точно, может ходить пешком с коробкой...

В этом шинке таким образом я получил два урока, как узнать простого человека от непростого: кто требует яичницу, тот не простой; кто едет на лошади, тот тоже не простой.

— Почему же вы по господам не ездите? — спросил я разносчика.

— От господ можно пользу получать, часом и хорошую пользу, ну, а с мужичка лучше.

— Да отчего же?

— Как можно мужика смешать с барином? С барина того не возьмешь, что с мужика!

— С мужика больше?

— Как можно-с! Барину я отдам платок какой за тридцать серебра, больше не выпросишь, а с мужика я меньше сорока пяти за тот платок и не возьму! А то и полтину даст!

— Сколько же вы берете барыша на рубль?

— Этого сказать нельзя: мы так никогда и не считаем, да и сосчитать того дело невозможное!

— Как же вы цену назначаете?

— А так, на это у нас своя привычка есть; без привычки и торговать нельзя!

— На сколько ж вы в день продаете?

— А это сколько бог даст: иной день на семь целковых; а то бог поможет — и на десять продашь. Это я рассказываю про эту пору — про летнюю; а зимой лучше, зимой продашь и на двадцать пять, и на тридцать серебром, случается.

— А сколько ж вы на себя в день прохарчите? На себя и на лошадь?

— Это тоже не ровно: иной день рубль серебра, иной полегче выйдет денек — и семью гривнами отделаешься... А придется, выпьешь,— с усмешкой прибавил он,— выпьешь — рубля мало!

— Так ежели вы продадите в день на семь рублей, в тот день вам убыток?

— Как можно в убыток торговать!

— Да ежели вы много на себя истратите?

— Так что же-с? Сколько ни истратил, все на товар разлагаешь.

— Сколько б ни истратили?

— Сколько и истратишь на себя, сколько отошлешь домой; ведь дома жена, дети, им тоже пить-есть надо, домой им тоже посылаешь; все на товар и раскладываешь.

— Так считая, вы берете очень большой процент?

— Какой большой!

— Как же, продадите на семь рублей...

— Да что же, что на семь-с? Вы извольте положить: товар чего стоит, ну, положим, хоть товар хозяину стоит четыре рубли, а то и все пять; да лошадь прокормить, да на себя истратишь... так и выйдет, что барыш самый пустой: какой-нибудь рубль серебра достанется... Да когда б все на деньги продавали, а то всем берем: и яйцами, и перевеслами... правда и то — продаем с барышом...

— А вы где берете товар?

— Да так, по городам.

— Не на фабриках?

— Коли б на фабрике взять товар-с, я вам скажу, беспременно было б выгодней, да только нам на фабрику к самому фабриканту и ходу нет!

— Это почему же?

— А потому: первое дело — какой-такой у нас товар есть? Товару у нас есть у кого на сто, у кого много-много на полтораста рублей... положим, хоть на все двести, так из-за такой безделицы ехать на фабрику за пятьсот верст и не стоит! Это-с первое дело; теперь другое: мы по городам кредит имеем, так в кредит товар и берем.

— На много берете товару?

— Сколько нужно, столько и возьмем-с; нам верют-с; а для того нам верют, что мы сами свои дела аккуратно

ведем. Всякий хозяин аккурат любит-с. Возьму я у хозяина товар в долг, продам тот-с товар, сколько следует хозяину — деньги отдам; так мне хозяин-то опосля того на сколько хочешь поверит...

— Ну, однако, на сколько же?

— Да вот хоть я: последний раз отдал хозяину тридцать рублей, а товару взял на пятьдесят рублей.

— И каждый раз вы за товаром сами ездите к вашему хозяину в город?

— Как можно! Хозяин сам выезжает с товаром или посылает с кем.

— Так и хозяин ваш берет сам по себе барыш с этого товара?

— А то как же! Берет!

— Ну, а хозяину вашему много барыша от вашего товара очищается?

— А кто его знает! Нам про это никак-с невозможно и узнать-то! Только теперь барыши пошли не прежние!

— Давно ж стало барышей меньше?

— А вот с самого указа об воле.

— Это ж отчего?

— Отчего? Сперва народ зануженный был: другой во весь век-то в деревне просидел за барской работой; а как вышла воля — им и повольготнее стало, отпустило им-то; то тот, то другой в город съездит, продаст что, да в городе — что нужно из нашего товару,— в городе и купит.

— У вас стали меньше покупать?

— Нет, и у нас стали больше покупать.

— Отчего же у вас барышей меньше? — спросил я, понимая, в чем дело.

— Мужики стали цену разбирать, больше в цене толку знать.

— Неужели же так скоро и цену узнали товарам? Кажется, еще недавно и указ об воле вышел?

— Цены-то настоящей они хоть и не узнали, да все в городе берут по городской цене. А то другие мужики берут товар, сами продают... ну да это, бог даст, не надолго!

— Почему же ненадолго?

— Просить будем, чтоб мужикам запретить торговать, а чтоб торговать одним мещанам.

— Ну, а как вас не послушают?

— Послушают беспременно! В Орле сходка об этом

была; на сходке и порешили: просить, чтоб мужикам запретили торговать, а питались бы они своей землей.

— Ежели ж и сходки вашей не послушают? Тогда что?

— Как сходки не послушают! Мужики и теперь от нас, от мещан, прячутся.

— Что ж им прятаться?

— Как что? А поймал да к становому!

— Ну, а становой что?

— Становой что хочет, то и сделает... И ничего не сделает, да мужику-то к становому в гости не хочется.

Привычная к гоньбе хозяйка-жидовка, пока мы толковали, приготовила мне пообедать. Не успел я съесть своей яичницы, как вошел ко мне сперва жид-шинкарь, потом хозяйка с дочкой или невесткой, замужней жидовкой лет двенадцати-тринадцати. Хозяин обратился ко мне с просьбой списать портрет со всего семейства. Я отговорился от этой чести, но настоящим заправским живописцам хорошо бы было нарисовать молодую жидовку для патологического кабинета: такого изнеможенного лица, такого неподвижно-тупого взгляда, такой видимой вонючести во всем не скоро встретишь, да разве только вы еще увидите мальчика — монастырского служку. Говорят, что у жидов это происходит от раннего брака; у монастырских служек, вероятно, от каких-нибудь других причин.

Из Гринева в попутчики мне бог послал старого казака-рыбака, который где-то взял на откуп озеро, как он называет, или пруд — по-нашему.

— У нас все называют озером,— говорил казак,— в других местах называют прудом, а то ставом, а у нас все зовут озером; только в бумагах писать не позволено «озеро», а пиши — пруд. Тут дело было по судам. Один говорит: тот-то, такой-то завладел моим озером. А другой пишет: что озера никакого нет тут, да и не было никогда. Приехал суд, суду денег отсыпали, суд и говорит, что тот-то — чей пруд, виноват, пустого просит: никакого озера тут нет, да такого озера и не было!

В это время небольшая змейка, испуганная нами, быстро переползла с дороги на луг.

— Э! Кажись, гадюка-то ползучая! — крикнул мой старый казак.

— Какая ползучая?

— Видишь, гадюка-то ползает.

— Кажется, все гадюки ползают?

— Нет, есть что и не ползают,— отвечал казак.— Ты знаешь, сколько стай их бывает?

— Нет, не знаю.

— Гадюка шести стай бывает: стая гаевая, стая гноевая, еще ползучая, летучая; еще подколодная да серёновая.

— И ты все стаи видал?

— Нет, не все, а летучую видел.

— Какая же летучая гадюка?

— Летучая гадюка все равно как щука, только с крылушками с красными.

— Где же ты видел летучую гадюку?

— А это иду раз я лесом, а летучая гадюка и лежит: сама как щука, крылья красные, как бумажные, и язык высунула, как копье красное... Такая страшная, что не приведи господи!

— А серёновая какая?

— Серёновой я сам не видал; серёновая гадюка больше бывает, как серён покажется.

— Какой серён?

— Серён по-нашему называется; великим постом бывает снег, сверху днем растает, а ночью опять замерзнет; вот это по-нашему и называется серён.

— Как же узнать серёновую гадюку?

— Серёновую-то? Ту как не узнать! С серёновой гадюкой не дай бог и встретиться!

— Отчего же?

— Самая страшная гадюка эта серёновая: по серёну ползет — серён тает, по траве ползет — трава горит! Коли тебя увидит серёновая гадюка — от той не убежишь!

— Ну а кто-нибудь видал серёновую гадюку? — спросил я.

— Как, чай, не видать! Никто бы не видал ту гадюку, никто бы и не знал, что она на свете есть...

— Каких же гадюк у вас всего больше?

— Летучую я только раз всего видел, серёновой совсем не видал, а других видишь зачастую.

— Какую же чаще?

— А те все равно: то сам увидишь, то услышишь — там скотину попортила, а там человека укусила.

— А случалось, что от гадюки люди или скот умирали?

— Нет, я не видал сам, а как, чай, не бывает? Да и люди говорят, что бывало.

— Отчего же у вас никто не умирал от гадюки?

— Мы лечимся: сейчас, как укусит гадюка, сейчас и бежишь-ти к знахóрю, ти к знáхорке — те и лечут.

— Много у вас знахорей?

— Без них бы совсем пропали: городской лекарь не вылечит.

— Знахори чем же лечут?

— Знахори больше наговаривают, а то и лекарства у них свои бывают.

— Ты не знаешь этих лекарств?

— Одно лекарство у них у всех: надо найти три свежих могилы, взять земли с тех могил, прикладывать — делает пользу... только без наговору мало помогает и могильная земля.

— А ты не знаешь наговоров?

— Нет, не знаю.

— А видал, как лечут?

— Как не видать! Укусит гадюка, óпух пойдет; знахарь поставит тебя против себе, да и станет отчитывать — óпух и пройдет. Только не всякий знахорь всякую гадюку отчитает. Пошел у нас мужик на могилки, видит: на тех могилках ягоды растут, он и стал рвать те ягоды; рвет он те ягоды, а гадюка выползи из могилки, да и укуси его за палец... Палец и опýх, а там óпух пошел по всей руке... всю руку так и рвет! Мужик побежал к знахорке; знахорка стала отчитывать — рвать перестало, опух не проходит. Мужик пошел к другому знахорю; стал знахорь отчитывать тот опух — опух-то больше пошел, да еще и рвать опять стало. Тот мужик кинулся к третьему знахорю. Как тот вошел к этому знахорю: «Ты,— говорит знахорь,— ты охоч до ягодок, сладки на могилах ягодки? Тебе,— говорит,— отчитали да зуба той гадюки не вычитали, надо зуб вычитать». Пошел знахорь с тем мужиком на могилки, где ягоды мужик брал, стал знахорь ту гадюку звать, что мужика укусила за палец, и ползет та гадюка: так, маленькая, побольше пальца. «Эта,— говорит знахорь,— гадюка тебя укусила, эта гадюка всем старшая; ну да мы с ней справимся!» Пошел знахорь с мужиком домой и гадюку с собой кликнул, и та гадюка пóлзет за ним! Пришли они к знахорю все втроем: знахорь, мужик и гадюка та; и стал знахорь гадюку допытывать. Уж он мучил ее, мучил...

— Как, бил?

— Нет, одним наговором! Мучил гадюку, да и отпустил домой, а мужику говорит: «Ты приходи завтра, завтра и дело сделаю». Пришел назавтра опять мужик к знахорю. Так что ж ты думаешь? Зуб-то той гадюки у того мужика сквозь все тело прошел!

— Как так?

— А вот как: гадюка укусила мужика за палец, а как стал знахорь отчитывать, зуб-то и вышел в ногу!

— А ты видел этот зуб?

— Сам видел! Да не я один видел, все видели; мужик тот зуб домой принес.

— Какой же зуб?

— А так, как конопляное зернушко; с виду и не узнаешь, что зуб гадюки!

— Пробовали вы раздавить этот зуб? Может быть, и заправское было конопляное зернушко?

— Как же можно раздавить! Не то что зуб, а самое гадюку раздавишь — большая вреда бывает. Я был так еще небольшой малец. Слышу я, что у гадюки ноги под кожей. Убил я гадюку, да и зачал ее лупить, с нее кожу драть... сало-то с гадюки и потекло по рукам, все равно как олея. Доискивался я ног у гадюки. Увидал отец, прибежал, меня за чуб, гадюку закинул. Что ж ты думаешь? Руки все покраснели, свербят! Недели три знахорка отчитывала, насилу отчитала!

— А может быть, и так, без всякого отчитыванья прошло бы само?

— Куда пройти! У нас мужик нашел пороcную гадюку, да как хватит ее дубиной, а та как брызнет ему перед смертью на губу... вот третий год отчитать никак не могут...

— Что ж, болит?

— Нет, болеть не болит, только красно, свербит да мокнет. Подсохнет мало, это сойдет, да опять станет мокнуть; просто на народ стыдно показаться с той губой!

— Да он бы в город к лекарю сходил.

— В городе не помогут. Знахорка — как можно! — знахорка лучше. Одному мужику уж в рот влез: так тот ездил-ездил по городским лекарям, а все толку никакого не было!

— Знахорка помогла?

— Знахорки помогли.

— Да может быть, и уж ему в рот никогда не влазивал?

— Вот и городские лекаря то же говорили. А какой — не влазивал, когда он своими глазами видел? Спит он, разинувши рот; только слышит он: уж ему в горло ползет; тут проснулся, а уж только хвостиком вильнул, весь уже к нему вполз!

— Какая же у того мужика болезнь была?

— А так: болеть ничем не болен, а так, великая тоска нападает.

— Тебе далеко идти со мной по одной дороге? — спросил я после небольшого молчания.

— Нет, не далеко; да тебе все одна дорога — Царева.

— Какая Царева?

— А эта самая дорога и есть, по которой мы с тобой идем.

— Откуда же начинается Царева дорога?

— Начинается Царева дорога от самой от Дмитровки* и идет до самого Стародуба.

— Отчего же она прозывается Царевой?

— Да кто ее знает! Разно народ болтает: одни говорят, что, когда царь Петр на Литву под Полтаву ходил, так здесь приказал дорогу проложить. Тогда здесь все леса были; Петру-царю нельзя было свою армию здесь вести по лесам да по болотам; царь и приказал просеки прорубить, мосты помостить. Оттого, говорят, и дорога прозывается Царевой. А другие болтают, что за Трубчевском был царский винокуренный завод, так, говорят, от того завода дорога стала Царской; кто ее знает! Ну, брат, прощай! Мне вправо надо, авось успею к утру жидам рыбки наловить.

— Ты для жидов ловишь?

— Не то что для одних жидов, да, кроме жидов, рыбы-то никто и не покупает; ну, а жид без рыбы не дыхнет!

— Дай бог час побольше наловить!

— Дай бог и тебе путь-дорогу,— отвечал он мне, и мы расстались.

Дорога Царева отличается от других обыкновенных больших дорог, во-первых, тем, что по Царевой дороге вы почти не видите проезжающих, взамен которых вы видите лес, растущий на дороге; во-вторых, изобилием верстовых

* То есть город Дмитровск Орловской губернии.

столбов; ежели вы пройдете десятки верст и не увидите ни одного столба — не огорчайтесь; придет другой десяток верст и все наверстает: на каждой версте стоят две версты рядушком, одна верста старой формы, другая новой; и в-третьих — безлюдьем.

— Что, будут до Стародуба деревни? — спросил я встретившуюся бабу, когда мне достаточно надоело это безлюдье.

— Да под Стародубом будет Мериновка,— отвечала та мне.

— А до Мериновки не будет жилья?

— Не будет.

— Да вон, кажется, дымок из-за лесу; там кто-нибудь живет?

— Да там никого не живет.

— Отчего же дым?

— Да там жидова живет.

— Разве жидова не люди? — сказал я и отправился к жидове.

Жид — шинкарь и красильщик, стало быть, человек для всех нужный; но вы удивитесь, видя обращение с ним народа: это не пренебрежение, тем менее не ненависть, но что-то такое, чего я выразить не могу. Народ здешний смотрит на жидову, как на животное. Ежели мужик просит в долг горелки, то далеко не унижается; а между собою о них и при них мужики говорят, не стесняясь никакими выражениями и вполне выражая свое об них понятие. Мне ни в одном кабаке не случалось слышать таких рассказов при женщине, будь она московка или малороссиянка, какие вы услышите при женщинах-жидовках, даже в трезвом виде.

Перед вечером я пришел в Стародуб.

VI. Из Курской губернии

Уколово, 26 августа 1861 года.

Из Малоархангельска я поехал в Курск прямо, не заезжая в Коренную, да в Коренную и заехать было не для чего. Я бывал в ней несколько раз. Посад под монастырем, как и всякий посад или уездный город; постоялые дворы,

в которых никто не останавливается; лавки с пряниками, дегтем и разными товарами, которых никто не покупает. Вот и все... Только что монахов в Коренной много, да я монахов много и так видал и собственно для монахов ехать в Коренную не решался.

— Теперь ехать в Коренную незачем,— говорил мне мой ямщик.

— Отчего же?

— Да что там делать? Дело другое — ярмарки придут; ну на ярмарку можно ехать.

— Хорошие ярмарки в Коренной?

— Как хорошие? Еще бы не хорошие! На девятой пятнице ярмарка идет в Коренной, так та ярмарка первая по всей России!

— Будто уж и первая?

— Первая! Это верное слово!

— Ну, а Макарьевская?

— Макарьевская — особая статья!

— Которая же лучше?

— То Макарьевская, а то Коренная!

— Ну а все-таки?

— На Макарьевской я не бывал, а в Коренную на девятую пятницу купцы товару навезут, господа понаедут — и господи мой! Трактиров понастроют, цыгане понаедут!

— Та, положим, и хороша ярмарка на девятую пятницу, ну, а на рождество богородицы, все говорят, пустая самая ярмарка бывает.

— Как же пустая! Я тебе скажу: кушаков со всего света навезут! Во как!

— Небось ты скажешь, что и в вашем Малоархангельске хорошо торгуют?

— Малоархангельск что! В нашем Малоархангельске только кошатники!

— Как кошатники?

— А так: кошек скупают да кошек бьют, шкуры продают — тем только и живы.

— Будто только тем и живут?

— Нет, это только так говорится, а кошками одними как проживешь? С кошек немного какой корысти получишь... И в Малоархангельске всем торгуют.

— Да чем же?

— Вот купец у нас Коньков есть; так тот Коньков соло-

нину солит; пройди весь свет белый, лучше той солонины во всем свете ты не сыщешь!

В самом деле, Малоархангельск славился своей солониной, а может быть, и теперь малоархангельская солонина в славе; впрочем, навряд: мне говорили, что купец Коньков теперь перестал заниматься солением солонины.

— А, Василий, здорово! — крикнул встретившийся ямщик, ехавший порожняком, моему ямщику.

— Здорово! — отвечал мой ямщик.

— В Уколово?

— До Уколова. А ты из Уколова?

— Из Уколова. Мои дома?

— Нет, уехали.

— Куда?

— За сеном на кошках поехали.

— За сеном? — спросил ямщик, не расслыхавши остроты моего Василия.

— Да, за сеном.

Ямщики пошапковались* и поехали во всю рысь всяк своею дорогою.

— Куда ж ехать на кошках, как не за сеном,— сказал Василий, с усмешкой обратясь ко мне.

— Эх, брат, дорога нехороша, видишь, какая грязь! — сказал я ямщику.

— Не искать нам с тобой хорошей дороги; хороша, дурна — все ехать надо, по хорошей дороге и невесть куда заедешь,— отвечал он, засмеясь во все горло.

Многие, может быть, и в этом не увидят никакой остроты; но это была острота, настоящая острота. Я вспомнил по этому поводу своего приятеля Бориса Петровича. Этот Борис Петрович — человек донельзя бывалый: он и бурлачил, и извозничал, был кучером и лакеем, кажется, и постоялый двор содержал, так что мой Борис Петрович, по многосторонности своих занятий, мог бы поспорить с Сучком Тургенева, а по бывалости, пожалуй, и переспорить. Я его узнал, когда он был лакеем, и всегда видал его готовым подтрунить, поострить, а я таки часто видал, что его остроты становили в тупик. Расскажу вам несколько таких случаев.

Борис Петрович был в то время кучером. Въезжает он на тройке с колокольчиком в Орел. Не успел он въехать в город, как останавливает его будочник.

* То есть вместо поклона взялись только за шапки.

— Ты с колокольчиком?
— С колокольчиком.
— Да как же с колокольчиком?
— А тебе не нравится?
— Как...
— Не нравится тебе — возьми да и подвяжи.

Будочник и подвязал колокольчик. Борис Петрович и сам бы подвязал, да ему нельзя было с козел слезть: он иногда и лишнее перепустит, так и на ту пору он сильно выпивши был...

В другой раз, тоже в дороге, он ехал уже лакеем.

— Борис Петрович,— говорит ему кучер,— Борис Петрович, мост, кажись, не хорош.

— Да, не хорош. Ну ступай, нам его с собой не брать,— сказал покойно Борис Петрович.

Кучер поехал через мост и проехал; и после только догадался, что он рассказывал Борису Петровичу про мост не только для того, чтоб сообщить свое мнение об этом мосте, но чтобы Борис Петрович хорошенько осмотрел мост и, если понадобится, отпрег пристяжную или обеих, а как Борису Петровичу не хотелось-то отпрягать лошадей, то опять запрягать, он и сказал кучеру, что моста с собой не брать, стало быть, ехать надо! И ко всему, бывало, он поговорку найдет. Раз как-то мы заговорили про водку.

— А знаете вы, что пьяница? — спросил меня Борис Петрович.— Слыхали?

— Нет, не знаю, Борис Петрович.
— По пьянице и домок тянется; а кто пьет, где берет?
— Тоже не знаю?
— Пьянице бог дает, а кто не пьет — чёрт берет.

Начните вы говорить с Борисом Петровичем о божественном — и тут Борис Петрович не ударит себя лицом в грязь: и о божественном может с вами поговорить и рассказать много.

— Слыхал ты, Борис Петрович, что о Соломоне премудром? — спросил я его раз.

— Как про Соломона премудрого не слыхать! — отвечал Борис Петрович.

— Что же ты слышал?
— Да много...
— Расскажи что-нибудь.

— Соломон премудрый все знал, одного только не узнал,— сказал Борис Петрович.

— Чего же?

— Не узнал Соломон премудрый, не узнал глубины морской!

— Отчего же он не попытался?

— Пытался, да ничего не вышло, а уж на что премудрый был: так и зовется Соломон премудрый!

— Почему же Соломону премудрому не удалось узнать глубину морскую?

— Задумал это Соломон узнать глубину морскую: какая-такая есть глубина морская? Хорошо. Взял с собой Соломон премудрый большой фонарь, обвязал себя веревкой и велел спускать себя на дно морское. Стали спускать Соломона премудрого на дно... Куда еще до дна? До дна еще далеко осталось... До дна морского, может, и на сотую часть не опустили, как вдруг рак... большой такой рак! «Куда ты,— говорит рак Соломону премудрому,— куда ты?» — «На глубину морскую,— говорит Соломон премудрый».— «Что тебе там надо?» — говорит рак. «Хочу глубину морскую узнать!» — «Да ты кто такой?» — спрашивает рак у Соломона премудрого. «Я,— говорит,— Соломон премудрый; все я, Соломон премудрый, на земле знаю, одной только глубины морской не знаю».— «Да и знать тебе не надо! — крикнул рак,— ты на земле, Соломон,— премудрый, а я, рак, на глубине морской — премудрый!» Да как пихнет Соломона клешней, так Соломон скорее веревку дергать, чтоб кверху тащили! Так Соломон премудрый и не узнал глубины морской.

Курск, 27 августа.

— А говорун мой Василий! — сказал я своему хозяину в Уколове, к которому меня привез мой ямщик.

— Так... зубоскал! — отвечал хозяин.

— Чем зубоскал? Свое дело правит как надо, оттого и весело на свете живется!

— Так-то оно так! — промолвил хозяин,— а все-таки надо и про душу вспомнить!

— Что ж дурного веселым быть? Разве лучше насупясь сидеть?

— Да и зубоскалить нечего!

— Отчего же и не позубоскалить?

— Лучше про божественное про что подумать да про божественное поразмыслить!

— Про что же про божественное?

— А то про божественное: как, отчего, какая причина деется... вот что!

— Как какая причина деется?

— А так: вот возьми хоть осину-ту*, поразмысли: отчего у той осины лист безустанно дрожмя дрожит? Как тихо, как ветру нет, а посмотри на осину: на осине лист все дрожит, все дрожит!

— Слыхал я, что оттого осина дрожит, что на осине Иуда удавился,— сказал я.

— Бабы болтают!

— Как болтают?

— А так болтают! Иуда удавился не на осине; Иуда удавился на дубе.

— Отчего же осина дрожит?

— Осина дрожит от слова божия!

— Этого я не слыхал.

— То-то не слыхал, то-то не слыхал! А ты об этом поразмысли да порассуди!

— Расскажи, пожалуйста: отчего же осина дрожит? Как это от слова божия осина задрожала?

— Слышал, что Иуда Христа, бога нашего, за жидовские серебреники продал?

— Это слышал.

— А как продал Иуда Христа, жиды Христа на кресте роспяли, Иуду страх взял. Задумал злодей удавиться. «Ни одно дерево не смей,— говорит господи,— ни одно не смей принимать на себя Иуду-христопродавца!» Сказал господи, кто слова господня не послушает? Всякому дереву, стало, нельзя принимать на себя Иуду-христопродавца... Кинулся Иуда к березе, что росла у самого пресветлого рая... кинулся к той березе, сделал моток, взлез на самую верхушку, взлез, да и повесился! Только и береза умна была: нагнула верхушку до самой земли да и скинула с себя Иуду; только скинула береза Иуду не в пресветлый рай, а на нашу грешную землю. Оттого у березы и ветья (ветви) такие гибкие: как хочешь гни, хоть узлом вяжи — все не сломится. По-

* Частица «то» простым народом склоняется.

бежал Иуда-христопродавец, побежал к горькой осиночке, к самой молоденькой осиночке. «Молодая осиночка разумом глупешенька»,— думает Иуда. А бог-то на что? Вот про это и забыл злодей! Прибежал Иуда к той осиночке и повесился на горьконькой! Как вздрогнет осиночка! Как быть горьконькой? Божьего слова не послушала... А разумом-то глупешенька и не соберется с своей памятью, что ей делать. Только господи и говорит: «Не бойся ты, горькая осина! Не с злого умыслу ты это сделала; не по злу, а по своему глупому разуму; тебе за это греха не будет; скинь с себя Иуду-христопродавца!» Осина и скинула с себя Иуду-христопродавца. С того-то слова божия осина и по теперь дрожит — вот отчего... «Прими, дуб, на себя Иуду-христопродавца!» — сказал господи. Дуб и принял на себя Иуду-христопродавца, и греха тут дубу нет: принял на себя дуб Иуду по слову божию. Оттого-то у дуба ветьи такие крепкие, да и весь дуб такой крепкий да твердый; крепче дуба на свете дерева нет... одно только и есть крепче: это купарисово дерево.

— Это же дерево отчего крепко? — спросил я, когда замолчал рассказчик.

— Из купарисова древа крест для Христа делали, на купарисовом древе иконы святые пишут, оттого купарисово древо и крепче всех, крепче всех, крепче самого дуба...

— Этого я прежде не слыхал.

— Всякому своя причина есть! Всякому своя, говорю я тебе! Всякому былию своя причина.

— Неужто всякому былию?

— Всякому, как есть!

Я вспомнил давно мною слышанный рассказ про гречку и тогда мною не записанный.

— А гречке какая причина? — спросил я, думая, не повторит ли мне хозяин рассказа про гречку.

— Гречка... гречке причина крупиничка.

— Как крупиничка?

— А так крупиничка... от крупинички и гречка по нашей земле пошла, все это от этой крупинички.

— А давно пошла от этой крупинички гречка по нашей земле?

— Да с самой той крупинички. Жила на Руси девушка, уж такая раскрасавица, что и сказать нельзя! И богобоязный человек была эта девушка! Старики еще рассказывали

нашим старикам, а те старики сами слышали от своих стариков; эта-то девушка ни одной службы божией не прогуливала; и не то чтобы в праздник большой, в воскресенье, что ли, а так каждень, каждень к заутрене, к обедне, к вечерне, а есть всеночная, и ко всеночной сходит! Сказано, богомольный человек была... Жила эта девушка с своими родителями, с своим отцом-матерью, всему роду своему, племени только славу клала... Только за ее добродетель, что ли, захотел бог ее наказать искусом. Знамо дело: бог кого любит, того и наказует. Захотел и эту крупижечку господи наказать...

— Какую крупижечку?

— А все эту же девушку.

— А она крупижечкой звалась?

— Нет, не крупижечкой, это только так говорится,— отвечал рассказчик.

— Как же ее господь наказал?

— А такое бог послал наказание: наслал Литву ли поганую, а кто говорит — татар, разно говорят... Только Литва ли, татары ли набежали на Россею, да прямо на то село самое, где жила эта девка с своим отцом; коих жителев побили, порубили, коих показнили, коих мечу предали, а красных девушек, молодиц которых в полон взяли... И вышло так: девке досталось в полон идти, а родителев злодеи показнили: головушки отрубили и христианские их тела поганым псам бросили... Так бог попустил! Взяла Литва ту девушку в полон и повезла ее в свою поганую Литву и отдала ее татарину. А у татар, известное дело, жен сколько хочешь бери; у татар жены покупные, сколько хватит денег, столько жен и бери. Так татарин задумал свою полоняночку за себя взять. Полоняночка билась, билась: не хотелось ей за татарином быть. Да и какой будет муж для христианской души — поганый некрещеный татарин? Только билась девка, отбивалась, а кто ее знает, может, и силой на любовь к татарину пошла? Одни говорят, что девка отбилась; другие болтают, что девка с татарином закон приняла; только и закон приняла не вольною волею, а силом... Ну да как бы там ни было, а девка с белой зари до поздней ночи, а с поздней ночи до белой зари девка ревмя ревет, плачет, убивается, все тоскует по своему дому. «Батюшки с матушкой,— говорит,— и нет в живых... (а ее отца и мать на глазах у ней злодеи загубили!) Батюшки с матушкой нет в живых, а все

бы хотелось побывать в своем дому, хоть бы одним глазком глянуть на могилки родителей!» Девка плачет, молится, святую милостыньку раздает и все об одном бога просит: как бы домой побывать. Подаст святую милостыньку, а сама скажет: «Моли обо мне, старый человек, чтоб быть мне на своей Рассеюшке!» И много она богу молилась, и много она святой милостыни пораздавала... Стоит раз девка на коленочках, богу молится, а под окошечком: «Кормилицы наши родные! Сотворите свою святую милостыню!» Встала девка с своей праведной молитвы, откроила краюшку хлеба. «На,— говорит,— стар человек, прими мою милостыню, да моли обо мне бога небесного, мать пречистую богородицу: душа просится побывать в своем дому. Не дает господь живой побывать, хоть бы бог привел моим косточкам лежать рядышком с моими родителями, с моим отцом-матерью!» А нищенький-то был святой человек. Принял святой человек милостыню, сказал слово — девка богу душу и отдала, умерла.

— Какое же слово сказал святой человек? — спросил я рассказчика.

— Какое слово сказал человек — того неизвестно, а только как сказал святой человек свое слово, девка-то умерла. Умерла та девка, и похоронили ее не по нашему обряду христианскому, а по ихнему обычаю поганому, татарскому. Только силен бог. Схоронили девушку, на полянку насыпали землицы, а на той землице и выросла та девушка праведная.

— Как выросла?

— Не сама собой выросла-то праведная, а выросла только душа ее: пошла по ее могилочке гречка, а гречка-то и была душа самой той праведницы. Проходит там сколько время, пришла опять нищая братия к тому дому, где жила полоненная девица, за святою Христовою милостынею. Раз пропела нищая братия: «Кормилицы наши батюшки! Сотворите свою святую Христову милостыню!» Другой пропела: «Сотворите свою святую милостыню!» А все в окошечко не подают. «Что за притча такая,— думает нищая братия,— сколько раз ни приходили, всегда нам полоняночка наша с Руси, русская, подавала Христову святую милостыню, а нонече того нет?» «Оттого нонече того нет,— говорят нищей братии,— оттого нет святой милостыни, что ваша полоняночка с Руси, русская, померла». Заплакала нищая

братия. «Пойдем на могилу и поклонимся,— говорит нищая братия,— для того что душа ее была милосливая; верно, та душа богу угодила». Спросили, где могилка, пошли на могилку, да как глянули: ажно та душа на могилке гречишкой выросла! А гречишки до той поры и на свете не было.

— Почему же они догадались, что гречишкой та душа на могилке выросла?

— А уж так, верно, бог дал. Смотрят: цвет от гречишки чистый да белый: ровно как душа ее была перед богом чистая да белая! Взяла нишая братия ту гречишку и понесла на свою на Рассеюшку. Оттого и пошла по земле гречишка у нас.

— А прежде не было на земле у нас гречишки? — спросил я, когда остановился рассказчик.

— Прежде не было. И посмотри ты: гречиха не боится ни сухменного лета, ни дождю, а как подует ветер с восточной стороны, где та праведница в полону была, так того ветру боится. Как подует с той стороны ветер, опять ту тоску полонную на нее нагонит — гречихи и не будет! Ты и знай: цветет гречиха, радуется ее душа, значит, праведная, а как на цвету задует ветер, встоскуется душа, цвет опадет, и гречихи не будет.

— Ну, а крупиничка где же?

— Эта самая и есть крупиничка.

— Да ведь ты рассказал про гречишку,— добивался я, думая еще что-нибудь выпытать у старика, который любил пораздумать да поразмыслить, хотя и очень хорошо знал, что про гречишку от него больше не услышишь, да, кажется, другой легенды про гречиху* и нет.

— Ты рассказывал про гречишку, а ты расскажи про крупиничку.

— Да ведь это все едино: что крупиничка, что гречишка; ведь крупу-то из чего делают?

— Знаю, что из гречихи.

— Вот то-то же. Оно и выходит: что про гречишку рассказывать, что про крупиничку — все едино.

— Отчего же ты сказал, когда я тебя спрашивал про гречишку, что гречке причина крупиничка?

---

* В Орловской, Курской, Рязанской губерниях редко говорят гречь, больше — *гречиха*.

— А это у нас так уж говорится: крупиничка, а гречишкой так никто не говорит.

Пока хозяин рассказывал, хозяйка приготовила мне закусить.

— На-тко, родимый, закуси,— сказала она, ставя на стол, покрытый чистым настольником, яичницу; до Курска, сам знаешь, дорога не рукой возьмешь: народ считает тридцать верст...

— Спроси-ка, бабушка, ямщик за водкой бегал, верно, теперь принес.

— Далеко ли от нас кабак — как не принести; давно молодец водку принес.

— Давай-ка нам сюда: мы со стариком выпьем, да и тебе, старухе, поднесем.

— Ох ты, родимый мой!

Старуха принесла водку, поставила на стол, и я налил ей рюмку.

— Кушай, хозяйка,— сказал я, поднося ей налитую рюмку.

— Э, где же это видано: ты хозяин, твоя водка, ты сперва и кушай: покажи нам дорогу!

— Вашей милости начинать,— промолвил старик, обращаясь ко мне.

— Бабушка, а бабушка! — кричала вбежавшая в избу девочка лет десяти,— бабушка, ведь твоя курица отыскалась...

— Какая курица? — спросила старуха.

— Да твоя, родимая бабушка, что анадысь еще пропала, так та-та отыскалась.

— Где ж она?

— Да на задворке, бабушка!

— На задворке?

— Да с цыплятами, бабушка!

Старуха поспешно отрезала ломоть хлеба, захватила горсточку соли, посолила хлеб, положила себе за пазуху и села в передний угол, не обращая никакого внимания ни на меня, ни на мою водку.

— Выкушай, бабушка, водочки!

Старуха молчала.

— Не тронь ее! — сказал мне вполголоса старик, до того молчавший.

— Отчего же?

— Она дело делает.

— Какое дело? Она так сидит,— прибавил я, будто не замечая, что она в самом деле дело делала.

— Молчи, ты этого дела не знаешь,— проговорил наставительно старик.

Старуха, посидев минуты две, встала и пошла из избы, не говоря ни с кем ни слова.

— Какое же старуха дело делала? — спросил я старика, когда старуха вышла.

— Разве ты не слыхал: курица домой пришла?

— Что же из этого?

— Курица пропадала, нанесла яиц, сама высидела, да сама и домой пришла!

— Это-то я все знаю, только все не знаю, что старуха делала, когда сидела здесь на лавке.

— Молитву читала.

— Какую молитву?

— Молитву все равно какую знаешь, ту молитву и читай; здесь не в молитве толк.

— А в чем же?

— В этом деле толк в хлебе да соли, а молитву какую ни прочитай.

Мы сели со стариком за стол; сперва я выпил рюмку, потом хозяин.

— Что, нынешний год хороша была Коренная? — спросил я после завтрака.

— Куда хороша! Этой ярмарке пропасть совсем. Ей больше не жить, видно!

— Отчего же?

— Оттого, что Москва стала близко.

— Как так, Москва стала ближе?

— Да и сказать нельзя, как ближе! — поддразнивал меня старик,— ближе, я тебе говорю.

— Ты скажи, пожалуйста, толком, хозяин; я никак не пойму тебя! Москва, кажется, все стоит на одном месте, Коренная тоже не двинулась с места, а ты все одно свое толкуешь: Москва стала ближе, да Москва стала ближе.

— Да и не к Коренной только Москва подвинулась, а и ко всем местам.

— Как же так?

— А вот как бывало: барин, что ль, какой, купец, что лича, опять станет собираться в Москву: уж он собирался, со-

бирался, уж он думает, думает, да когда-то поедет... А то и совсем Москву ту отложит. А поедет, так уж он и молебны служит, и богу свечки ставит! И поедет сердечный-то на своих лошадках; и едет он до той Москвы недели две, а то и за две перевалит. А нынче что? Нынче вздумал ехать в Москву — на третий день в Москве; в две недели-то он назад вернется, да и в Москве еще много делов понаделает.

— Да, это правда твоя.

— Как же теперь Москва-то не ближе стала ко всем городам, ко всем местам?

— Правда, правда, ближе!

— Вот теперь и разумей: Коренной не жить! Коренной живота ненадолго!

— Отчего же?

— Москва стала ближе!

— Что же?..

— А то: в старину кому что надо купить, приезжали в Коренную, а господа-то на целый год в Коренной запасались: вино, чай, сахар, на платье что надо — все в Коренной покупали; больше и взять было негде, а теперь уж эти порядки перевелись: годовых запасов и не делают; что ни на есть самые большие господа — и те крылья-то пообшибли, а об гольтине какой нынче и не спрашивай! Так-то. Прежних запасов не делают, а в Москву часто ездят, что надо — в Москве и купят... Купец тоже в Москве товар закупает, а в Коренной — разве-разве какой плохинькой! Вот оттого-то и Коренная пропадает.

— Говорят, что в Коренной сперва гораздо веселей, в прежние года, бывало? — сказал я.

— Что ты говоришь! Веселей! Нынче какая веселость? Прежде, бывало, наедут господа — и боже мой! В ряды зайдешь: барынь, барышень... труба нетолченая! Да все поразодеты так!.. А теперь что? Во Мценске показался барин с барыней... то-то смеху было! Барыня чудно́ оделась, а барин еще чудней: на барыне шляпынька махынькая, так, с перышками; а на барине какой-то кафтанчик без рукавов, рубашка красная шелковая навыпуск, сапоги со скрипом, шляпочка то ж такая прилажена... как пошли они, друг мой, под ручку с барыней по улице: мальчишек-то, мальчишек за ними! Со всего города, кажись, сбежались, проклятые!

— Что ж они сбежались?

— Думали, что комедианты в город приехали. Право слово, думали, что комедианты.

— Ну, а в Коренную такие не показывались? — спросил я, скрепя сердце, подозревая в мнимом комедианте собрата по костюму.

— Нет, еще не показывались, а кто их... Может, и показывались, только я не видал и лгать не хочу; нет, не видал... Да и что им тут делать; коли б прежние ремонтеры, прежних годов ремонтеры, ну еще куда бы ни шло! А теперь зачем им сюда?»

— Да на что же им прежние ремонтеры? — спросил я, больше и больше не понимая, в чем дело и на что надо для подобных господ прежние старых годов ремонтеры.

— Как на что ремонтеры? В картишки перекинуть, к цыганам вместе съездить: прежние-то как поедут к цыганам — дым коромыслом подымут! Тогда весело жили... Да и цыгане ж, бывало, приедут! Было к кому и ехать, было для чего и ехать; к теперешним ремонтерам, разумеется, ежели и приедут цыгане-то, так какая-нибудь сволочь!..

— Да разве и ремонтеры прежних годов были лучше теперешних?

— Те были богаче, те не из барыша в ремонтеры шли; только бы настоящую службу не справлять, только для того и в ремонтеры шли; а теперь всяк и в ремонтеры-то идет, чтоб какую копейку нажить, из самой последней копейки сами, бедняги, бьются!

— Что ж, господин, ямщику на водочку,— сказал вошедший в избу Василий, мой старый ямщик, привезший меня из Малоархангельска в Уколово и сдавший меня другому.

— Выпей, Василий,— сказал я, подавая ему *на водку* и налитую рюмку водки.

— Покорнейше благодарим! — сказал Василий, выпив рюмку.

С этими словами Василий отломил кусок хлеба и посолил его, только не взяв щепотью из солонки соли, а обмакнув прямо кусок свой в солонку.

— А как посмотрю на тебя, паренек, посмотрю: много тебя еще учить надо, ох много! — сказал назидательно хозяин, медленно покачивая головою.— Много, паренек, учить тебя надо!

— Что так, дедушка? — сказал Василий, подсмеиваясь над стариком.

— Обхождения ты, паренек, никакого не знаешь! Вот тебе и «что так». Да!

— Да ты говори, дед, толком; а то болтает бог знает что, его и не разберешь!

— Да разве можно, глупая твоя голова, разве можно хлеб макать прямо в солонку?

— А для чего ж не можно? Обмакнул — стало быть, можно,— смеясь отвечал Василий.

— Ты зубы-то не скаль, глупая твоя голова! Тебе дело говорят, так ты должен старых людей слушать; старый человек тебя, глупая твоя голова, старый человек дурному никогда не научит!

— Да скажи ты на милость, старый ты человек, что за беда такая содеялась, что посолил хлеб?

— Посолить-то посолил, да как посолил? Разве так можно? Так только один Иуда-христопродавец хлеб солил, когда Иисуса Христа задумал продать проклятым жидам! А ты, кажись, человек крещеный! Тебе бы можно, кажись, и руками соль взять да посолить, коли трескать хочешь!

— Да ты-то почему знаешь, что Иуда хлеб в солонку макал? Видел, что ли, сам?

— Видеть не видал, а в церкви слыхал и в книгах написано: «Омочивый в солило, тот меня предаст». Стало, и ты грех творишь большой.

— А что, и вправду то в книгах написано? — спросил меня Василий.

— В книгах точно написано: «Омочивый в солило, той мя предаст»,— сказал я,— только это сказано не к тому...

— К самому тому делу! — прервал меня хозяин.— А ты что теперь еще будешь рассказывать, да посмеиваться, да зубоскалить? Что теперь скажешь?

— Да что сказать-то?

— То-то, что сказать! То надо сказать: всякое дело надо пораздумать да поразмыслить! Ну, а ты что скажешь? — спросил меня, победительно взглянув на меня, хозяин.

— Да я и сказать не знаю что,— отвечал я,— а вот есть у меня приятель, тот бы тебе, пожалуй, сказал, и хорошо бы тебе сказал.

— А кто твой приятель?

— Иван Федорович Горбунов.

— А что бы сказал твой Иван Федорович?

— Да он бы нашел что сказать.

— Да что сказать-то? Что бы и он сказал-то?

— Иван Федорович сказал бы: «Тут надо мозгами шевелить».

— Надо тут, надо мозгами шевелить! Надо!

— А ты говорил, что и Иван Федорыч тут ничего не скажет!

— Сказал бы, сказал! Может, и еще что б нибудь сказал!

— Сказал бы, сказал... Умный человек твой Иван Федорыч!

— Хорошо, я скажу ему это, когда увижу Ивана Федорыча.

— Беспременно скажи.

VII. Из Астраханской губернии

Астрахань, 9 июля 1868 года.

Европа граничит к северу Северным океаном, к западу Атлантическим, к югу Средиземным морем, к востоку... Об этом говорят различно; меня учили: Азовским морем, Манычем, Каспийским морем; теперь новейшие ученые, не знаю, на каком основании, перенесли эту границу далеко восточнее. Для чего они глумятся над обучающимся юношеством — я понять не могу. Скажите, пожалуйста, какая Европа за Царицыным и Сарептой? Не знаю: выше Царицына по Волге Европа или Азия, но ниже — совершенная чистая Азия. Ежели турки залезли в Европу, то и европейцы залезли в Азию, построили несколько будто городов, назвали это место губерниями — Астраханской, Оренбургской (даже и прозвище — *губернии* — европейское!) — и стала кочевая Азия — Европой! Мне же кажется, ежели вы скажете, что Европа к востоку граничит Доном, то ошибетесь только тем, что границу эту надо перенести еще западнее.

К Дону мы съехали около Калачинской станицы по страшно крутой горе; спуск этот по крайней мере с версту; о крутизне его можно судить по тому, что ямщик порожнюю телегу тормозил, что мне на веку довелось видеть первый раз.

Подъехали к перевозу; на берегу дожидалось несколько телег, верховых и пеших казаков. Один из моих спутников

сейчас же стал командовать и, как на его счастье, было чем: оторвался оседланный жеребчик и бросился к лошадям. Стали ловить — он лягаться.

— Зайди справа! — кричал мой спутник.

— Да как зайдешь-то, служивый? Вишь, какой черт! — сказал один из казаков.

— А как? А вот как!

С этими словами он стал подходить к лошади; лошадь, не допуская его сажени за две, стала к нему задом и начала опять лягаться. Мой храбрец будто какой невидимой силой очутился сажен за пять дальше, хотя и в двух саженях не представлялось никакой опасности. Все захохотали.

— Что ж справа не идешь? — крикнули ему из толпы,— ступай справа!

— Ты спереди! — командовал мой спутник.— Ты спереди заходи! Заходи! Толпа над ним подсмеивалась, но он этого совсем не замечал и продолжал распоряжаться; разумеется, его приказаний никто не слушал, а лошадь была поймана.

Пришел с той стороны паром, переезжающие с парома съехали, надо было переправляться с правого берега на левый.

— Ставь нашу повозку! — крикнул мой спутник, охотник командовать и приказывать.

— Сейчас, служивый!

— Мы одни поедем!

— Как одни?

— Кроме нашей повозки, ничего не ставить!

— Отчего?

— Я не позволю!

— Отчего так?

— Не хочу!

— Нет, служивый, здесь не разживешься! Здесь перевоз: казенных так перевозим, а с других прочих денежки собираем; паром войску денежки дает!

— Я этого знать не хочу!

— А, пожалуй, забудь!

Сколько ни горячился служивый-проезжий, его никто не слушал.

— Давай сюда пару! — крикнул казак-перевозчик.

Стали отпрягать лошадей, перетаскивали на себе повозки на паром, переводили лошадей, последняя лошадь за-

артачилась — и как же ее били! Молоденькая лошаденка вся дрожала...

— Ты под жилки ее! Ты под жилки! — кричали со всех сторон, между которыми слышней всех был голос моего спутника.

— По морде хорошенько! Справа, чтоб не виляла, слева лупи!

И бедную лошадь били и лупили и кнутьями, и кольями человек более десяти, пока она не упала; ее перетащили на паром, связали, так и перевезли на ту сторону; как она встала, как ее свели с парома — я не видал.

На пароме поместились все, кто ждал парома, и нельзя сказать, чтобы было очень тесно. Кроме нас, переезжали Дон казаки и какой-то еще господин, который хотя и говорил, что он урядник, но мне плохо верилось: так у него было мало казацкого. Одет он был в длинный мещанский сюртук, картуз, на дне которого, вероятно, было клеймо с надписью: isdelie w Moskve.

— Здравствуйте, господа! — сказал он моим спутникам, как-то развязно приподнимая свой картуз.

— Здравствуйте,— отвечали ему мои спутники, тоже взявшись за козырьки.

— В Калач?

— Да, в Калач.

Для чего этот вопрос был сделан, я не могу понять: паром ехал в Калач, стало быть, ясно видно, что и мы едем в Калач.

— Я и сам служил,— заговорил длинный сюртук.— Я служил в Петербурге в гвардии урядником...

— Гм! — одобрительно крякнул мой спутник.

— У вас есть знакомые в Калаче?

— Нет, нету.

— Так остановитесь у меня; закусим чем бог послал, а там и дальше в путь.

— Пожалуй,— робко проговорил мой спутник.

— Нам нельзя,— отозвался другой спутник,— нам приказано останавливаться только на почтовых станциях.

— Нельзя у вас остановиться,— горестно прибавил мой первый спутник, сперва принявший предложение.

— Так мы вот что сделаем,— предложил длинный сюртук,— вы сейчас остановитесь на станции, а я сейчас закусочки, водочки там из дому принесу.

На это согласились.

— Какой вы табак курите? — спросил новый знакомец моего первого спутника.

— Простой употребляем.

— А позвольте попробовать,— сказал он ласково, протягивая руку.

— Извольте... табак не из лучших...

Скоро они совсем подружились, и хоть мой спутник был довольно расчетлив (он в дороге не более трех копеек тратил в день), но все-таки не мог отказать в трубке своему новому приятелю, надеясь хоть раз в дороге хорошо поесть.

Переехавши Дон, мы пошли на почтовую станцию. Я приказал дать себе самовар, а мои спутники стали ожидать нового знакомца. Долго они ждали. Я напился чаю, прилег, а казака-угостителя все-таки нет как нет! Нечего делать: пошел один из моих спутников, купил на копейку две сушеных рыбины — воблы, тем пообедали, тем и поужинали.

— Проклятый! — бормотал мой спутник,— надул, проклятый!

— И для чего это он выдумал? — спросил его другой, гораздо равнодушней переносивший это несчастие.

— А черт его знает!

— Да и всяк знает.

— И ты знаешь?

— Да и я знаю.

— Так, по-твоему, зачем он брехал?

— Видит, что ты куришь трубку...

— Так, так...

— Он и вздумал из тебя дурня состроить.

— Так, так.

— Он у тебя выманил трубки две.

— Какое две?! Трубок пять, проклятый, выкурил,— с отчаянием докончил обиженный.

Когда мои товарищи кончили свой более чем скромный обед, немного отдохнули, один из них отправился для закупки хлеба на дорогу, а с ним отправился и я.

Калач просят, как я здесь слышал, произвести в чин *города* и, вероятно, произведут, а пока он начинает обстраиваться потихоньку, очень потихоньку с одной стороны и очень шибко и в громадных размерах с другой. В Америке строят города почти каждый день; как они строятся, как

разрастаются — всем известно; наши русские путешественники по Америке — Циммерман и другие — были поражены быстрым ростом американских городов. Рассказывают, что в Америке сколотят домишко, другой и строят училище. Мне пришлось видеть будущий русский город Калач, и кажется, что история постройки русского города немного отличается от историй постройки американских городов. В Америке прежде всего строят училище, в России кабак, присутственные места с острогом, потом дома; а как во всяком образованном государстве по всем городам должны быть хоть для приличия училища, то выстраивают дом, прибивают вывеску — «Училище», заводят кой-какого учителя и довольствуются! Какой учитель, какое училище — об этом не заботятся: какого судьба пошлет; так, на всю Старую Руссу, один из лучших уездных городов России, был один учитель, отставной унтер-офицер, и это было только несколько лет назад.

Будущий город Калач в настоящее время представляет довольно замечательную картину. Настоящих присутственных мест еще нет: город еще не дозволился, но все-таки есть хоть почтовая станция; училища, разумеется, нет, об нем даже и помину нет; выстроено только несколько домишек, кажется, десятка полтора, и целая улица кабаков — не домов, в которых помещаются кабаки, а целая улица в ряд выстроенных балаганов с единственною целию — поместить кабак. Я в Калаче был в начале апреля, настоящего движения по Дону, Волге и чугунке между ними еще не начиналось, но кабаки были совсем не пусты: чернорабочие на судах стали прибывать, работы еще не отыскивалось, они и прохаживались по кабакам.

— Эй, землячки, землячки! — услыхали мы, проходя по этой кабацкой улице,— землячки!..

Смотрим, у кабака в дверях стоит наш новый знакомый, который хотел угощать моих спутников.

— Землячки! Поднесите стаканчик!

Надо было видеть негодование моего спутника.

В ожидании поезда в Царицын мы вернулись на станцию, где застали какого-то мещанина, родственника хозяина станции. Мы скоро разговорились; оказалось, что он нанимался гурты гонять. О своем промысле он ничего не мог сказать мне, кажется, потому, что занимался своим делом не рассуждая, а так, по привычке; я даже думаю, что он

слыхал слова профессора И. И. Давыдова: «Не надо знать, чтобы верить, а надо верить, чтобы знать».

— Я думаю, трудно идти с гуртом? — спросил я его, когда мы уже разговорились.

— Как не трудно!

— И дождь, и слякоть....

— Да вот я вам скажу,— начал он.— Стоим мы около Сарепты. Только дождь, вьюга, а уж ночь... Дело было осенью... Водки выпить негде: в Сарепте дадут тебе в окошечко стаканчик, а там хоть ты издохни — ни за какие деньги ни капельки не дадут! Как быть? А надо выпить... Сел на лошадь, поехал в Сарепту. Подъезжаю к окошечку, где немец водку продает. Постучался в оконце. Немец отворил оконце.

«Что надо?» — спрашивает.

«Дай стаканчик водки»,— говорю.

«Давай деньги».

Я ему в оконце подал деньги, а он мне из оконца подал стаканчик. Выпил, ну, сами знаете: в такую пору что сделает один стаканчик? Просить у немца — это, я знаю, все равно что воду толочь... А выпить надо: продрог так, что беда! Вот я отъехал на лошади сажен за пятнадцать, слез, привязал лошадь, а сам пошел пешком не к оконцу, а к воротам. Стучусь.

«Что надо?» — «Пустите,— говорю,— переночевать: весь перемерз!» Немцы на этот счет народ добрый, сейчас отперли, впустили. Я так и так, говорю, перемерз, одолжите стаканчик. Взяли деньги, принесли стаканчик.

«Ложись,— говорят,— на печь, согрейся».

Лег я на печь, а сам нарочно зубами ляскаю, будто дрожу...

«Нельзя ли,— говорю,— почтенные, еще стаканчик принести?»

«Нельзя,— говорят немцы,— больше пить нехорошо».— «Да я разве пить? Я хочу вытереться водкой: скорей согреешься».— «Это можно».

Взял деньги немец, принес водки. Только я взял в руки стаканчик да при всех и хлопнул! Как крикнут на меня немцы, а я: «Спасибо,— говорю,— я у вас три стаканчика разом хлопнул!» Немцы ругаться, а я хлопнул дверью, да и был таков! Приехал в гурт, рассказал своим ребятам — то-то смеху-то было!

— А ежели б вашу лошадь украли в эту ночь? — спросил я. — Ведь вы ее оставили ночью одну на улице?

— В Сарепте-то?

— Да, в Сарепте.

— В Сарепте не украдут.

— Отчего же?

— Ни боже мой!

— В Сарепте никаких таких шалостей не делается, — заговорил хозяин станции, — там об воровстве и не слышно. Не только краденого никому не продашь, а и своего не смей сам продавать, а отнеси в магазин: там тебе продадут и денежки тебе выдадут; а сам не смей.

— Отчего же?

— А чтоб цены друг у друга не перебивали.

— А коли деньги кому нужны?

— Вот для самого этого так у них положено. Теперь нашему мужику нужны деньги; он продаст все, что ни взять, хоть полцены, а продать надо. А у них: видят, что тебе нужда неминучая — денег дадут, а ты все-таки продавать не смей. Как есть все до одного зерна все неси в магазин.

Время отъезда приближалось, и мы отправились на станцию железной дороги, которая подходит к самому Дону в Калаче, а также и к Волге в Царицыне.

Станции на волжско-донской дороге отличаются простотой своей постройки. Калачинская и Царицынская такие же, как на Неве пароходные пристани (они же служат и здесь пристанями), а прочие — одноэтажные небольшие домики. Да и к чему возводить огромные здания, когда и эти совершенно достигают своей цели? В этом случае как собственные интересы дороги соблюдены, так и интересы публики ни мало не страдают. Но устройство самой железной дороги... да об этом после.

Мы пришли на станцию довольно рано, и я поместился на одной из скамеек, обращенных к Дону. Станция-пристань стоит на луговой стороне Дона; противоположный берег нагорный, не представляет ничего особенного: обрывистые берега, еще не покрытые зеленью, да и самый Дон, еще мало оживленный судами, — все это наводит на что-то невеселое...

Стали собираться пассажиры: рабочие на баржах, судах и донские казаки, несколько казачек, за исключением нас

троих, составляли всю третьеклассную публику, которая, перейдя чугунку, проходила за решетку на пристань. Чистая же публика: купеческие приказчики, которые здесь называются комиссионерами, и купцы — гуляла по ту сторону решетки. Все ждали поезда из Царицына, который, пробыв в Калаче около получаса, должен был отвезти нас в Царицын: поезд опоздал, и мы должны были пробыть в Калаче долее обыкновенного.

— Да ты только пойми,— говорил один донец в толпе за решеткой,— сколько он деньжищ забрал...

— А все-таки не погнал бы я...

— Да господь знает, что будет. Хорошо, ноньче вода большая, а будь...

— Да ведь А. пароходом два раза сбегал до N, а теперь еще бы можно сбегать раза два...

— Можно, можно...

— Вода прибывает...

— Еще сверху воды не было, А. две баржи пригнал, а будь изготовлены еще две, и те бы пригнал...

— Честь и слава вам, А.,— говорили по ту сторону решетки.

— Вы первый показали пример многим...

— И кажется, удачно...

— Да, довольно удачно,— отвечал А.

— Как «довольно удачно» — сверх всяких ожиданий удачно.

Толки эти были о двух баржах, которые А. осенью пригнал по Дону вверх до N, кажется, не доходя до Воронежа несколько десятков верст, нагрузил их, а весной по полой воде привел в Калач.

Я должен здесь немного объяснить, почему я не обозначаю названия места, где нагружались баржи, ни имени предприимчивого торговца, решившегося нагружать баржи для парохода, кажется, верстах в шестидесяти от Воронежа. Не называю собственными именами купца и место потому, что не помню наверно, а моей записной книжки, по независящим от меня обстоятельствам, у меня под рукой нет; но мне кажется, что этот факт заслуживает быть известным.

Ко мне подсел казак в зеленой шубе.

— Вы куда, землячок, куда следуете? — спросил он меня, снимая с одного плеча свою шубу.

— До Астрахани, а вы куда? — в свою очередь спросил я, желая избежать дальнейших вопросов.

— Мы тоже до Астрахани.

— Только до Астрахани?

— Нет, может, и дальше поедем, не знаю; мы едем за рыбой за частиковой, больше за воблой; удастся купить в Астрахани, купим в Астрахани; не удастся — поедем по промыслам, надо верную цену узнать; на месте все верней узнаешь, да еще прибавить надо, что побываешь не на одном промысле.

Я должен здесь несколько пояснить, что называют водами, промыслами и проч. По рекам и терикам, как здесь называют большие и малые рукава Волги, по самой Волге вдоль берега на несколько верст (иногда более пятнадцати) снимают, то есть откупают, воду, где, кроме съемщика, никто не может ловить рыбу; противоположный берег снимается и другим лицом. Но они противобережные съемщики, не делят Волги или реки, а, закинув невода на своем берегу, вытягивают на противоположный. С небольшим год тому назад воды откупались и в море, иногда одним и тем же лицом верст на сто вдоль берега и в ширину до трехсаженной глубины. Далее воды были вольные, то есть всякий мог ловить беспошлинно. Теперь же воды в море на откуп не отдаются, а всякий, заплатя за промысловый билет тридцать рублей, может отправиться на промысел в море.

Промыслами или ватагами называются заведения, куда привозят пойманную рыбу, где ее солят, сушат и где живут рабочие и приказчики съемщиков. Разумеется, где лучше улов, там и строение бывает лучше, иногда бывают при них и сады. Красной рыбой называется осетр, белуга, севрюга, стерлядь, а частиковой вобла, сельдь-бешенка, которые несколько лет тому назад топились на жир, теперь же воблу сушат и коптят, а бешенку солят, и только одна тарань идет на жир. Частиковой рыбой называются тоже судак, лещ, окунь, сазан, линь, бёрщ, жирих и другая мелкая. Я надеюсь писать об здешней рыбной ловле, а потому теперь говорю об этом коротко и опять обращаюсь к своему рассказу.

— Вы где служите? — спросил я казака-донца — зеленую шубу.

— Я теперь в отставке,— отвечал тот,— у меня теперь сын служит, а я служил в Польше под конец старшим урядником.

— Так вы за воблой едёте? — спросил я его, когда он мне рассказал о своей службе.

— Да, за воблой.

— Ведь ваша тарань, донская, лучше волжской воблы?

— Как можно?! Наша тарань донская, да теперь взять волжскую воблу... на воблу и смотреть не станешь!

— Для чего же вы везете на Дон воблу волжскую, когда ваша тарань гораздо лучше воблы?

— Да и не слышно было, чтоб кто-нибудь из донских ездил на Волгу за рыбой, а вот бог привел! — отвечал он.

— Отчего же это сталось?

— Тарань перевелась.

— Давно?

— Нет, недавно, лет каких шесть; все меньше да меньше, а теперь, почитай, и совсем не стало этой тарани.

— Отчего же?

— Воля божья!

— А до этого времени ваша донская тарань далеко проходила,— сказал я.

— Как не далеко! В прежние времена от нас тарань шла вверх, выше Воронежа проходила и по Украйне! На Украйне хохол без тарани жить не может! Наша тарань до Киева доходила.

— Как же они теперь?

— Теперь этой воблой пробавляются.

— А почем теперь вобла?

— Говорят, по два рубля?

— За сколько?

— Вобла тысячами продается; так за тысячу воблы и просят два рубля.

Эта цена после подтвердилась и до конца держалась, ни мало, кажется, не меняясь.

— После, может, и дешевле будет,— продолжал казак,— да всякому хочется первинку привезти — скорее распродашь.

— Где же вы тарань продаете?

— А куда тарань ходила, теперь туда вобла пошла,— с горькой усмешкой отвечал казак.

Поезд из Царицына опоздал, а как на этом поезде приехал помощник начальника железной дороги, который с нами должен был воротиться назад, то мы дожидались, пока он кончит свои занятия в Калаче. Но как всему есть конец,

то пришел конец и нашему ожиданию — мы сели в вагон.

Волжско-донская дорога — совершенно товарная дорога: один только поезд туда и обратно, в котором есть вагон пассажирский, разделенный на классы; классов этих, по обыкновению, три; мы сели, разумеется, в третий; второй был пустой, а в первом сидел помощник начальника дороги с своими знакомыми.

Тронулись.

— А еще долго будет виден наш батюшка Тихий Дон,— проговорил один казак.

— Нам нелегко с Доном расставаться, да и ему, нашему батюшке, не хочется нас покинуть,— промолвил другой.

Мне как-то странно было слышать такие сентиментальности от седых казаков. Казаки со мной не разговаривали, хотя были очень любезны со всеми, не исключая и моих спутников. Казацкая вежливость, я говорю про донских казаков, всегда поражает с первого разу всякого: мне не случалось слышать, чтоб старший назвал молодого Игната Игнашкой и чтоб Игнат назвал старого Егора — Егором; Игнат старого Егора всегда назовет ежели не Егором Матвеичем, то по крайней мере — Матвеичем.

Скоро разговор завязался между всеми сидящими в вагоне и как-то коснулся до истории донского казачества.

— Мы ведь прозываемся ермаковцы,— говорил один отставной казак,— мы называемся ермаковцы по Ермаку Тимофеичу.

— Какой такой Ермак Тимофеич? — спросил мой спутник,— богатырь, что ль, какой был?

— Большой был богатырь!

— Где же он силу свою оказывал? — спросил другой мой спутник.

— А видишь ты: была баталия... Да нет! Надо сначала тебе рассказать. Донцы и теперь оторви головы: человека убей — свои не выдадут. Да вот недавно: мужичку наняли стадо стеречь, а она от наших девок и стала парней отбивать! Так что ж ты думаешь наши девки с ней сделали? — Казак пренаивным образом рассказал, даже со смехом, как казачки-девки мучили мужичку. Как мучили эту несчастную — я передать не могу: описания этих мучений не могут быть под своими названиями помещены даже в делах уголовного суда.

— Да ведь так проучили эту погань, что и по сю пору,

вот уж третья неделя, не встает с постели, а может, и не встанет. Пошли было жаловаться на наших девок, да рожна и взяли: наши своих не выдадут ни за что; сказали, что молодые девчонки с ней поиграли — вот тебе и вся недолга!

— А что ж Ермак Тимофеич? — спросил мой спутник.— Ты про Ермака припомнил.

— Я к тому и речь веду... Так вот каковы наши донские казаки! Теперь сорвиголовы, а прежде! Вот этот самый Ермак, чего-чего он ни делал! Соберет, бывало, шайку, да не тайком, не втихомолку, а как есть при всем народе собирал себе товарищей. Пройдет, бывало, по станице да крикнет: «Казаки-атаманы! Есть ли здесь охотников идти со мной на Волгу рыбу ловить?» К нему, как комары на огонь, все и лезут! Соберет шайку, да и на Волгу! Там уж у них своя воля: без оброка ни одного судна не пропустит; раз бежало царское судно с царской казной — и тому спуску не дал: все дочиста обобрал! Царь и распалился гневом великим: «Подать,— говорит,— ко мне Ермака!» Только вышла у нашего царя война с каким-то другим королем или султаном, не знаю, а врать не хочу. Пошла баталия: бились, бились — видит наш царь: дело плохо, наша неустойка. Отколь ни возьмись Ермак Тимофеевич — ясным соколом прилетел со своими товарищами, казаками-атаманами, на подмогу нашему царю. Да наскочил Ермак-то Тимофеевич с флангу, с боку то есть...

— Знаю, знаю,— проговорил мой спутник нетерпеливо,— знаю.

— Да как стал Ермак-то королевское войско лупить... Царское войско впереди, а Ермак сбоку, да и задку прихватил! Как со всех сторон обступили королевское войско, так всех и побили, ни одного живого не оставили, никого и в полон не брали, всех смерти предали! Кончилась баталия — царь и спрашивает: «Кто мне помогу дал? Позвать того человека ко мне!» Позвали Ермака к царю. «Что ты есть за человек?» — спрашивает царь. «Я,— говорит,— Ермак, ваше императорское величество».— «Тот Ермак, что мою царскую казну ограбил?» — спрашивает царь.— «Тот самый, ваше императорское величество».— «Та вина теперь тебе, Ермак, отпущена,— говорит царь,— только вперед не балуй! А теперь скажи ты мне: каким чином мне тебя пожаловать?» А Ермак ему: «Никакого чину мне не надобно, а пожалуйте нас, ваше императорское величество, всех дон-

ских казаков Тихим Доном». Царь и пожаловал нас, донцов, Тихим Доном, оттого мы и прозываемся донскими казаками, а по Ермаку Тимофеичу — ермаковцами. Кликни любому донскому казаку: «Эй, ермаковец!» — сейчас откликнется: «Что,— скажет,— тебе надобно?» Право так! Хохлу скажешь: «Эй, хохол!» — осерчает, изругает, пожалуй, на драку пойдет! А назови Мазепой — и беги скорее: сейчас драться станет. А нашего казака назови казаком — «Эй, казак!» — откликнется; скажи: «Эй, ермаковец!» — тоже откликнется, разве только что засмеется, а ничего, как есть ничего, и не осерчает, да и серчать-то не из чего!

— Да мы сыздавна ермаковцы,— заговорил казак—зеленая шуба.— Пошли от Ермака, стало, и есть ермаковцы. И после были воители, только по тем прозвища не проложено.

— Кто же еще был? — спросил кто-то.

— Да вот хоть Пугача взять...

— Тоже богатырь был?

— Тоже воитель был храбрый.

— Кто ж этот Пугач был?

— Говорю, воитель храбрый, простой казак, наш донской, а по прозвищу Емельян Пугачев — храбрый воитель, только пил уж очень крепко.

— Не так давно: моя бабушка его видеть не видела, а слышать слышала его речи... на пол-аршина от него была и того меньше, а видеть не видала! — прибавил казак — зеленая шуба.

— Как так?

— А вот как: бабушка моя взята из Дубовки; когда под Дубовку подходил Пугач, бабушка моя была девка на выданье, женихи уж сватались, сватов засылали, да у ней еще сестра была. Как прослышал их отец, а мой, выходит, прадед, взял обеих дочерей и посадил под пол, а сам с попами в ризах, с иконами, со всеми казаками да с колокольным звоном и пошли навстречу Пугачу. Пугач ничего. Спросил, где все начальники? Прадед пошел к нему с хлебом с солью. «Все разбежались»,— говорит прадед. Пугач принял. «К тебе в гости, атаман, приехал»,— сказал Пугачев, а прадед ему в ноги большим поклоном поклонился. Приехал Пугач к прадеду верхом, лошадь — бабушке говорили — вся разубранная... Вошел в избу, старым крестом перекрестился, сел за стол, велел подать водки, так всю ночь и прогулял

с своими ребятами и прадеда с собой посадил... Бабушка часто любила про Пугача рассказывать. Сама его не видала: она с сестрой всю ночь просидела под полом, а что слышала и что люди ей говорили, бывало, нам, покойница и рассказывает.

— И много бабушка ваша рассказывала?

— Сама-то она почесть Пугача-то и не слыхала: целые сутки под полом дрожмя продрожала: ей бы только про свою душу помнить, а после что от людей слышала, она и рассказывала нам; мы еще тогда ребятишками были.

— А зверь был этот Пугачев?

— Нет! Человек был добрый! Разобидел ты его, пошел против него баталией... на баталии тебя в полон взяли; поклонился ты ему, Пугачеву, все вины тебе отпущены, и помину нет! Сейчас тебя, коли ты солдат,— а солдаты тогда, как девки, косы носили — сейчас тебя, друга милого, по-казацки в кружок подрежут, и стал ты им за товарища. Добрый был человек: видит, кому нужда, сейчас из казны своей денег велит выдать, а едет по улице — и направо, и налево пригоршнями деньги в народ бросает... Придет в избу, иконам помолится старым крестом, там поклонится хозяину, а после сядет за стол. Станет пить — за каждым стаканчиком перекрестится! Как ни пьян, а перекрестится! Только хмелем зашибался крепко!

— Ну, а кто пойдет супротив его, возьмут кого в плен, а тот не покоряется — тогда что?

— Тогда что: кивнет своим — те башку долой, те и уберут! А когда на площади или на улице суд творил, там голов не рубили, там кто какую грубость или супротивность окажет — тех вешали на площади тут же. Еще Пугач не выходил из избы суд творить, а уж виселица давно стоит. Кто к нему пристанет, ежели не казак — по-казацки стричь; а коли супротив него — тому петлю на шею! Только глазом мигнет, молодцы у него приученные... глядишь, уж согрубитель ногами дрыгает...

Казаки, здесь бывшие, только поддакивали, да никому и в голову не приходило оспаривать доброту Пугачева. Пугачев Пушкина в «Капитанской дочке» взят из местных рассказов: он помнит заячью шубу Гринева и в то же время кивнул своим ребятам: «Убрать старуху!»

— А про Стеньку Разина небось не скажет ни слова! — шепнул я своему спутнику.

— А кто такой Стенька этот Разин? — спросил тот меня с большим любопытством.

— Спроси у казаков.

— Скажите, пожалуйста,— обратился мой спутник к казакам,— кто такой был Стенька Разин? Тоже, должно полагать, великий был в свое время воитель!

— Воитель-то большой был воитель, этот Стенька,— отвечал один казак.

— Так что ж?

— Да с Пугачевым или Ермаком — не одна стать!

— А что?

— Пугачев с Ермаком были великие воители! А Стенька Разин и воитель был великий, а еретик — так, пожалуй, и больше, чем воитель!

— Что ты?

— Правда!

— Какое же его было еретичество?

— А вот какое. Бывало, его засадят в острог. Хорошо. Приводят Стеньку в острог. «Здорово, братцы!»,— крикнет он колодникам. «Здравствуй, батюшко наш Степан Тимофеевич!» А его уж все знали! «Что здесь засиделись? На волю пора выбираться...» — «Да как выберешься? — говорят колодники,— сами собой не выберемся, разве твоими мудростями!» — «А моими мудростями, так, пожалуй, и моими!» Полежит так маленько, отдохнет, встанет. «Дай,— скажет,— уголь!» Возьмет этот уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется от острога до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу! Ну и поминай как звали!

— Так и убежит?

— Со всеми колодниками!

— А часовой солдат отвечай!

— Знамо дело — отвечай!

— Эко дело!

— Только господа под последок догадались,— продолжал казак,— будет Стенька просить испить — не давай воды, пой квасом! А Стеньке с квасом ничего не поделать... так и изловили!

— Вишь ты, дело-то какое!

— Еретик! Одно слово, еретик!

— Такой еретик: всю Астрахань прельстил, все за него стали; один только архирей. Архиреем в Астрахани был

тогда Иосиф; стал Иосиф говорить Разину: «Побойся ты бога! Перестань, Стенька, еретничествовать!» — «Молчи! — крикнет Стенька Разин,— молчи, батька! Не твое дело!» Архирей опять Стеньке: «Грех большой еретничеством жить!» А Стенька знай свое твердит: «Молчи, батька! Не суйся, где тебя не спрашивают! Сражу,— говорит,— тебя, архирея!» Архирей свое, а Стенька свое! Архирей опять-таки Стеньке Разину: «Вспомни про свою душу, как она на том свете будет ответ богу давать!»

Стенька мигнул своим, а те подхватили его да в крепость, да на стену; а со стены-то и бросили казакам на копья! Тут архирей Иосиф богу душу и отдал...

— Вишь, дело какое!..

— А у Разина свои казаки были?

— А как же, все равно как у Ермака. Пошел по станицам, крикнул охотников на Волгу рыбу ловить! Кому надо, те уж знают, какую на Волге рыбу ловят, ну и соберутся. Так и Стенька Разин собрал себе казаков, да с теми казаками и пошел на Волгу, а там и в море пробрался, на персидского султана напал, сколько у него городов побрал!

— Ну а за архирея ему никакого наказания не было? — спросили рассказчика.

— А кто его будет наказывать?

— Как кто?

— Ведь, чай, начальство было?

— Убил архирея, и наказания никакого нет? — посыпались вопросы небывалых.

— Чай, начальству дали знать сейчас же, что Стенька Разин архирея сразил.

— Много он боялся того начальства! — отвечал рассказчик,— его-то самого начальство боялось: вот он был каков!

— Что ж начальство смотрело?

— А вот что: как повоевал Стенька Персию, приехал в Астрахань. Пошел к воеводе... тогда губернатор прозывался воеводой... приходит к воеводе. «Пришел я,— говорит,— к тебе, воевода, с повинною».— «А кто ты есть за человек такой?» — спрашивает воевода. «Я,— говорит,— Стенька Разин».— «Как, это ты, разбойник? Который царскую казну ограбил? Столько народу загубил?» — «Я,— говорит,— тот самый».— «Как же тебя помиловать можно?» — «Был,— говорит Разин,— я на море, ходил в Персию, вот столько-то городов покорил; кланяюсь этими городами его император-

скому величеству; а его царская воля: хочет — казнит, хочет — милует! А вот и вашему превосходительству,— говорит Разин,— подарочки от меня». Стенька приказал принести подарочки, что припас воеводе. Принесли, у воеводы и глаза разбежались: сколько серебра, сколько золота, сколько камней дорогих! Хошь пудами вешай, хошь мерами меряй! «Примите,— говорит Стенька Разин,— ваше превосходительство, мои дороги подарки да похлопочите, чтобы царь меня помиловал».— «Хорошо,— говорит воевода,— я отпишу об тебе царю, буду за тебя хлопотать; а ты ступай на свои струги и дожидайся на Волге царской отписки».— «Слушаю,— говорит Разин,— а вы, ваше превосходительство, мною не побрезгуйте, пожалуйте на мой стружок ко мне в гости».— «Хорошо,— говорит воевода,— твои гости — приеду». Стенька раскланялся с воеводой и пошел к себе на стружок, стал поджидать гостей. На другой день пожаловал к Степану Тимофеичу — Тимофеичем стал, как подарочки воеводе снес,— пожаловал к Степану Тимофеичу сам воевода! Воевода какой-то князь был... одно слово, все равно что теперь губернатор... Сам воевода пожаловал в гости к простому казаку, к Стеньке Разину! Как пошел у Стеньки на стругах пир... просто дым коромыслом стоит! А кушанья, вины там разные подают не на простых тарелках или в рюмках, а все подают на золоте, как есть на чистом золоте! А воевода: «Ах, какая тарелка прекрасная!» Стенька сейчас тарелку завернет да воеводе поднесет: «Прими,— скажет,— в подарочек». Воевода посмотрит на стакан: «Ах, какой стакан прекрасный!» Стенька опять: «Прими в подарочек!»

— Это все равно что теперь у калмыков...

— Все одно...

— Ты к калмыку приедешь, да если совесть имеешь — ничего и не хвали, а похвалил что — твое, без того тебя не отпустят ни за что.

Вот и воевода, этот князь, глаза-то бесстыжие, и давай лупить: стал часто к Стеньке наведываться; а как приедет — и то хорошо, и то прекрасно; а Стенька знай завертывай да воеводе: «Примите, ваше превосходительство, подарочек». Только хорошо. Брал воевода у Разина, брал да и брать-то уж не знал что. Раз приехал воевода-князь на стружок к Стеньке в гости. Сели обедать. А на Стеньке Разине была шуба, дорогая шуба, а Стеньке-то шуба еще тем доро-

га, что шуба была заветная. «Славная шуба у тебя, Степан Тимофеевич»,— говорит воевода. «Нет, ваше превосходительство, плохинькая!» — «Нет, знатная шуба!» — «Плохинькая, ваше превосходительство»,— говорит Разин — ему с шубой-то больно жаль было расстаться. «Так тебе шубы жаль?» — закричал воевода. «Жаль, ваше превосходительство, шуба у меня заветная!» — «Погоди ж ты, шельмец этакой, я об тебе отпишу еще царю!» — «Помилуй, воевода! Бери что хочешь; оставь только одну мне эту шубу».— «Шубу хочу! — кричал воевода,— ничего не хочу, хочу шубу!»

Привстал Стенька, снял с плеч шубу, подал воеводе, да и говорит: *«На тебе, воевода, шуба, да не наделала бы шуба шума!* На своем стружке обижать тебя не стану: ты мой гость; а я сам к тебе в твои палаты в гости буду!» Воеводу отвезли на берег; не успел он ввалиться в свои хоромы, как Стенька Разин с своими молодцами, казаками-атаманами, нагрянул на Астрахань. Приходит к воеводе Стенька. «Ну,— говорит,— воевода, чем будешь угощать, чем потчевать?»

Воевода туда-сюда. «Шкура мне твоя больно нравится, воевода». Воевода видит: дело — дрянь, до шкуры добирается! «Помилуй,— говорит,— Степан Тимофеевич, мы с тобой хлеб-соль вместе водили».— «А ты меня помиловал, когда я просил тебя оставить мне заветную шубу? Содрать с него с живого шкуру!» — крикнул Разин. Сейчас разинцы схватили воеводу, повалили наземь, да и стали лупить с воеводы шкуру, да начали-то лупить с пяток! Воевода кричит, семья, родня визг, шум подняли. А Стенька стоит да приговаривает: «А говорил я тебе, воевода, шуба наделает шуму! Видишь, я правду сказал, не обманул!» А молодцы, что лупили с воеводы шкуру, знай лупят да приговаривают: «Эта шкура нашему батюшке Степану Тимофеичу на шубу!» Так с живого с воеводы всю шкуру и содрали! Тут кинулись разинцы на Астрахань; кто к ним не приставал — побили, а дома их поразграбили, а кто к ним пристал, того волосом не обидели.

— Так и содрали с воеводы с живого шкуру?

— Так и содрали?

— С живого?

— С живого.

— Ну, смерть!

— Да ведь Стенька Разин и выдумал такую смерть вое-

воде. Уж больно шибко обирать его стал воевода: на что бельмы вылупит — то и за пазуху.

— А богат был этот Стенька Разин! — проговорил кто-то из казаков.

— Да как же не богат! Сколько раз воеводу угощал! Что стоит одно угощение, ведь воеводе не поставишь полштофа выпить, да воблу на закуску! Да сколько пошло на подарки. Воевода на одно угощение не пошел бы.

— Знать, богат был!

— Колѝ не богат! Говорят, на всех стругах, на всех до одного шелко́вые паруса были! Да все струги, словно жар, горели! Все были раззолоченные, уключины были все серебряные...

— Знамо дело, не столько силой брал, сколько еретничеством; всякого добра было много,— утвердительно проговорил слушавший казак.

— Еретик большой был!

— А комара, небось, не заклял!

— Комара ему заклясть никак невозможно было,— сказал рассказчик.

— А для чего?

— А для того... Да дело было вот как: вся Астрахань за Стеньку Разина стала, всю он Астрахань прельстил. Астраханцы, кому что надо, шли к Стеньке Разину: судиться ли, обижает ли́ кто, милости ли какой просить — все к Стеньке. Приходят астраханцы к Разину. «Что надо?» — спрашивает Разин. «К твоей милости».— «Хорошо, что надо?» — «Да мы пришли насчет комара: сделай такую твою милость, закляни у нас комара, от комара у нас просто житья нет!» — «Не закляну у вас комара,— объявил Стенька,— закляну у вас комара, у вас рыбы не будет». Так и не заклял.

А хорошо бы сделал Стенька Разин, ежели бы заклял комара; трудно себе представить, какими тучами они врываются в комнату. Спать без полога, например в Красном Яру, вещь немыслимая; нет ни одного бедняка, который спал бы без полога, делаемого из тастарины; стоит он не менее двух рублей, а хороший не менее четырех. Тастарина — это редкая бумажная материя, приготовляется в Ярославской и Костромской губерниях и употребляется на пологи и на накладку на вату, чтобы вата не проходила при стежке на подкладку.

Мы приехали на другую станцию и вышли; на первой станции почти никто не выходил; все были заняты рассказами и толками о Стеньке Разине.

Я пошел на станцию; я уже говорил, что эти станции — небольшие деревянные домики; для приезжающих одна очень уютная комната, которая для отдыха гораздо удобнее больших зал Николаевской железной дороги. За прилавком женщина, очень чисто одетая; на окнах цветы; на полу тут же играет ребенок, должно быть, сын буфетчицы... Все, думаю, хорошо: и чисто, и опрятно, и денег не брошено даром; все, что нужно,— есть; о том, чтобы построить что-нибудь, что, не принося никакой пользы ни проезжающим, ни акционерам железной дороги, а только ревизорам в глаза бросается,— об таких вещах здесь не подумали... Европа! Как есть Европа!

Зазвонил колокольчик, тоже по-европейски, мы сели в вагон и двинулись.

Разговор скоро завязался опять-таки о Стеньке Разине.

— А ведь и теперь еще остались внуки аль правнуки Стеньки Разина?

— А как же? На Дону и теперь много Разиных, все они пошли от Стеньки Разина.

— У Стеньки один только сын и был! — утвердительно объявил казак—зеленая шуба.

— Он холостой был,— возразил другой казак, вероятно помнивший старину.

— Любовниц было много.

— Может, от любовницы и сын был,— пояснил казак — зеленая шуба.

— От любовницы — может быть.

— А сын у него был, это верно! — говорил казак — зеленая шуба,— про его сына еще и теперь рассказывают, да и на голос эту историю положили, на голос она памятней гораздо выходит.

— Какая же это история?

— А как сына своего Стенька Разин из астраханского острога выручил.

— Ты знаешь эту историю?

— И на голос знаю.

— На голос здесь нельзя.

— Отчего нельзя? Можно... Только по шапке дадут! — сострил кто-то.

— Да ты словами расскажи.

— Словами можно.

— Как по городу по Астрахани проявился там незнакомый человек,— начал рассказывать казак — зеленая шуба,— он незнамый, незнакомый, мало ведомый. Как по городу он, по Астрахани, баско, щебетко погуливает, астраханским он купцам не кланяется, господам-боярам челом не бьет, к самому астраханскому воеводе на суд нейдет! Как увидел добра молодца воевода из окна... Приказал своим адъютантам привести к себе этого молодца, стал у него спрашивать: «Скажи, скажи, добрый молодец, какого ты роду-имени? Княженецкий сын, боярский аль купеческий?» — «Я не княженецкий, не боярский; не купеческий сын,— говорит ему добрый молодец,— а сын я Степана Тимофеича, по прозванию Стеньки Разина». — «Посадить его в острог!» — крикнул воевода. А сын Разина все свое: «Приказал тебе батюшка кланяться да приказал тебе сказать, что он, мой батюшка, Степан Тимофеич, к тебе в гости будет, да еще приказал тебе сказать, чтобы ты умел его угощать, умел потчевать». — «Взять его в острог! — закричал воевода,— держать его в остроге, пока ему казнь выдумаю!» А сынок Стеньки Разина все свое: «Да приказал тебе еще мой батюшка, Степан Тимофеич, сказать: коли не сделаешь, как он тебе приказывает, то он с тебя, воевода, с живого шкуру сдерет!» — «Посадить в острог!» — крикнул воевода. Отвели молодца в острог, а тот и там не робеет: «Здравствуйте,— говорит,— господа колоднички, не пора ли вам на волюшку?» — «Как не пора,— на то ему колоднички,— да как отсюда выберешься? Двери, решетки железные, караулы крепкие!» А Стенькин сынок: «Посморим,— говорит,— господа колоднички, в окошечко: снаряжен стружок, что стрела летит; на стружке мой батюшка погуливает, к астраханскому губернатору в гости спешит». Как приехал Стенька в Астрахань, с воеводы шкуру содрал; пошел в острог, сына выручил, всех колодников выпустил, а после весь город Астрахань разграбил: «Вы, шельмецы этакие, не умели моего единородного сына выручить, так вот я вас выучу...» Ну и выучил: колодники, что Стенька из острога выпустил, да казаки, что со Стенькой пришли, так пошарили! Три дня грабили! Кабаки, трактиры разбили, не столько пьют, сколько наземь льют! И чего-чего они тут не поделали! Знамо, колодники — отпетый народ!»

— Ну а казаки?

— Ну и казаки хороши были! Пошли с еретиком, какого добра ждать!

— И казаки вместе с колодниками? — спросил казака верховой мужик с насмешкой.

— А что ж, друг, и казаки всякие бывают: бывают добрые казаки, бывают и лядащие! Всякие бывают... А те пошли со Стенькой, народ грабили, молодых баб, девок обижали, в церквах с икон оклады обдирали, из сосудов церковных водку пили, святыми просвирами закусывали!

— Экое дело!

— Бог попускал.

— Грехов, знать, много было.

— Знать, много было!

— На́ голос это еще складнее выходит,— заметил рассказчик.

— И Стенька долго грабил?

— Долго.

— Что же, его поймали?

— Поймать-то поймали; сколько раз ловили, а он все-таки вырвется, да вырвется на волю, да и опять за свое, за те же промысла примется!

— Опять грабить?

— Опять грабить! Молодцы его уже знали, что Стеньке Разину недолго сидеть в остроге, так уж и дожидаются; а Стенька выйдет из острога, возьмет какую девку с собой за полюбовницу, да на свой струг — пошел опять на матушку Волгу с своими ребятами рыбу ловить!

— Небось, на какую девку кинет глазок, та и его?

— Знамо!

— Что ни есть красавиц выбирал?

— Роду не спрашивал!

— Какого там роду спрашивать?! Какая ему показалась — ту и тащат к нему! Побалуется-побалуется, да и бросит ее... Другую возьмет!

— И без обиды пустит?

— Наградит!

— А как случится: какую наградит, а какую сразит до смерти... как ему вздумается.

— Сразит до смерти?

— Да вот как раз случилось,— заговорил казак—зеленая

шуба.— Захватил Стенька Разин себе полюбовницей дочку самого султана персидского.

— Самого персидского султана?

— Самого султана персидского,— продолжал казак— зеленая шуба,— ему, Стеньке, все равно было: султанская ли дочка, простая ли казачка — спуску не было никому: он на это был не брезглив.

— Бей, значит, сороку и ворону — нападешь и на ясного сокола! — ввернул слово казак.

— Что ж Разин с султанкой этой? — спросил жадно слушавший верховой мужик.

— Ну с султанкой не совсем ладно вышло... облюбил эту султанскую дочку Разин, да так облюбил! Стал ее наряжать, холить... сам от нее шагу прочь не отступит: так с нею и сидит! Казаки с первого начала один по одном, а после и круг собрали, стали толковать: что такое с атаманом случилось, пить не пьет, сам в круг нейдет, все с своей полюбовницей-султанкой возится! Кликнуть атамана! Кликнули атамана. Стал атаман в кругу, снял шапку, на все четыре стороны, как закон велит, поклонился да и спрашивает: «Что вам надо, атаманы?» — «А вот что нам надо: хочешь нам атаманом быть — с нами живи; с султанкой хочешь сидеть — с султанкой сиди! А мы себе атамана выберем настоящего. Атаману под юбкой у девки сидеть не приходится!» — «Стойте, атаманы! — сказал Стенька,— постойте маленько!» Да и вышел сам из круга. Мало погодя идет Стенька Разин опять в круг, за правую ручку ведет султанку свою, да всю изнаряженную, всю разукрашенную, в жемчугах вся и в золоте, а собой-то раскрасавица! «Хороша моя красавица?» — спросил Разин. «Хороша-то хороша»,— на то ему отвечали казаки. «Ну теперь ты слушай, Волга-матушка! — говорит Разин,— много я тебя дарил-жаловал: хлебом-солью, златом-серебром, каменьями самоцветными; а теперь от души рву да тебе дарю!» Схватил свою султанку поперек, да и бултых ее в Волгу! А на султанке было понавешано и злата, и серебра, и каменья разного самоцветного, так она, как ключ, ко дну и пошла! «Хорошо, казаки-атаманы? — спросил Разин, а те... архирея сразили... сам знаешь, какой народ есть... «Давно пора тебе,— говорят,— атаман, это дело покончить».

Мы приехали на последнюю станцию волжско-донской железной дороги.

- Теперь, почитай, и в Царицын приехали,— проговорил один бывалый здесь человек.

— Теперь приехали,— подтвердил другой бывалый,— всего двенадцать верст осталось.

— Ты не хвались, прежде богу помолись,— благоразумно заметил третий.

— Богу всегда молиться надо,— ответил на это замечание первый,— да осталось всего двенадцать верст; тут пешком добежать до Царицына — и то добежишь!

— Это как бог даст!

К нам вошли в вагон несколько женщин, которые, как сейчас же я заметил, были казачки; они приходили зачем-то которые на станцию, которые в окольные места.

— Здравствуйте, Григорьич,— заговорила одна, обращаясь к казаку — зеленой шубе,— как же так: мимо едете, а к нам и не заглянете!

— Здравствуйте, Арина Петровна! Как вас бог милует? — отвечал казак.

— Слава богу, слава богу, Данила Григорьич! И не грех вам не завернуть к нам? Ведь и всего-то крюку версты две, да и того не будет!

— Эх, Арина Петровна! Железную дорогу не то на две версты, на два аршина не подвинешь, а и будь у самого носу — проедешь, а машину не остановят для тебя!

— Здравствуйте, Данило Григорьич,— залепетала другая казачка,— здравствуйте!

— Здравствуйте, Степанида Ильинишна, здравствуйте! — добродушно отвечал казак.

— Роденьку нашли, Григорьич?

— Слава богу! Привел господь вот здесь встретиться с Ариной Петровной.

— Ну слава богу!

— А Арина Петровна разве с родни придется тебе, Данило Григорьич?

— Как же...

— А как же! — перебила Степанида Ильинишна,— бабушка Григорьича из Дубовки, а двоюродная тетушка Петровны из Калачинской станицы... У дядюшки Григорьича... у тетушки Петровны...— и пошла, и пошла, и пошла Степанида выводить всю родню и Григорьича и Петровны: по ее вышло, что они точно родственники, в чем они и прежде не сомневались; ну а там, на вредном для меня севере,

пожалуй, сказали бы, что Григорьич родня Петровне потому только, что дедушка Петровны да бабушка Григорьича на одном солнышке онучки сушили... Все родичи!

— Что так долго стоим? — спросил казак, вероятно уже ездивший прежде здесь и знавший обычаи железных дорог, у стоявшего около вагона казака.

— Да что, Потапыч,— отвечал тот, ухмыляясь,— приходится нам пропадать! Нас от машины отцепили, машина свистнула, мы и остались здесь одни!

— Машина на разводы вагоны повезла,— заметил другой,— те здесь оставить надо.

— Машина не скоро придет,— утверждал, смеясь, казак,— нас здесь совсем бросят.

— Сейчас придет!

О, несчастный казак! Он, я думаю, читал новейшие географии, в которых объясняют, что вся Средняя Азия лежит в Европе, и, по простоте своей, поверил этим ученым составителям пространных и кратких географий.

— Что локомотив долго нейдет? — спросил помощник начальника волжско-донской железной дороги, сидевший в первоклассном отделении нашего вагона.

— Не могу знать! — отвечал кондуктор, которого спрашивал начальник.

— Узнать!

— Что-нибудь да сделалось с машиной,— заговорили в нашем отделении.

— Что-нибудь плохое!..

— Не было б беды!

— Машина с рельсов сошла,— донес начальнику запыхавшийся кондуктор.

— Что?

— Рельсы разъехались!

— Как?

— Рельсы раздвинулись, машина и села,— пояснял прибежавший кондуктор.

Вы видали, вероятно, как маленьких детей сажают верхом на колени и качают; дети воображают, что они верхом едут, качающий ребенка приговаривает: «Ехал-ехал мужик! Ехал-ехал мужик! Ехал, да и провалился!» С последними словами качающий раздвигает ноги, и ребенок проваливается действительно. Железная дорога с нами сделала то же

самое: мы ехали-ехали, ехали-ехали... Рельсы раздвинулись, мы и провалились!

Вы не удивляйтесь этому случаю, да это и не случай — это обычай: в Калач ехал помощник начальника дороги, с ним то же случилось... Или уж его счастье такое плохое, что, как он ни поедет, непременно с ним что-нибудь да случится?!

— Дали по телеграфу знать в Царицын, что здесь остановка,— сказал нам кондуктор.

— Для чего?

— А чтоб там, в Царицыне, знали, что остановка, чтоб еще поезда не пускали.

— Долго мы здесь простоим? — спросили казаки стоявшего у нашего вагона кондуктора.

— Сейчас справят!

Все пошли смотреть, как машина села, как ее подымать будут; я остался в вагоне.

— Сколько народу сбили к машине! — объявляли пришедшие от машины оставшимся в вагоне.

— Сколько народу сбили, и батюшки мои!..

— Просто страсть!

— А все толку нет!

— Нет толку!

— Ни рожна не поделают!

— Отчего ж так?

— Да ты взгляни на машину-то! Ведь в машине этой пудов тысяча будет...

— Больше будет...

— Взять-то не сподручно...

— Ничего не поделаешь...

Толпа народу беспрерывно менялась: одни уходили посмотреть на машину, другие возвращались с новыми соображениями и с новыми известиями.

— Сам начальник на машину пришел,— говорил один возвратившийся.— Еще народу пригнали.

- Слава богу!

— Чего слава богу?

— Скорей машину поднимут, скорей опять поедем, скорей в Царицыне будем.

— Скоро будем!

— А что?

— Машину не поднимешь народом; сколько хочешь сгоняй, руками не поднимешь.

— Как же быть?!

— Как быть — ждать!

— Придется ждать...

— Чего же ждать будем мой родной? — спрашивала пожилая казачка-пассажирка.

— Как-нибудь поднимут машину,— утешали казачку,— не век же здесь ей стоять.

— Сейчас дали знать по телеграфу в Царицын и в Калач: приехали б на подмогу.

Ждем час, ждем другой, ждем третий: ни из Царицына, ни из Калача машин нет.

— Скоро машина из Царицына приедет? — спрашивают пассажиры у кондуктора.

— Скоро.

Идет другой кондуктор.

— Скоро из Царицына машина?

— Не скоро.

— Что так?

— Из Царицына поехала машина с инструментами, да паров не хватило, назад вернулись.

— Так долго еще?

— Долго: пока пары разведут, пока то, пока другое, времени-то много уйдет.

В самом деле, нам пришлось-таки пождать: мы должны были приехать в четыре часа, но за подниманием машины руками, за возвращением поезда с инструментами, за недостатком паров мы едва-едва поспели в Царицын к одиннадцатому часу. Простой народ-пассажиры были крайне недовольны скрытностию прислуги.

— Сказали бы, что столько прождем,— говорит один,— глядишь, кто и пешком бы ушел.

— Всего двенадцать верст.

— Пешком давно б там, в Царицыне, быть,— шумели третьеклассные пассажиры.

— Как не быть!

Как всему бывает конец, то и нашему ожиданию пришел конец: привезли инструменты, подняли машину; нас перегнали ночью (было очень темно) на прибывший поезд, стоявший от нашего в нескольких десятках саженей, и мы поехали.

— Для чего нас перегнали в другой вагон? — спрашивали любопытные кондукторов.

— Надо было! — отвечал кондуктор,— так машина стала, что ни взад, ни вперед проезда не было: ни в Царицын, ни в Калач; стой на одном месте.- Наконец мы двинулись; разговор, разумеется, начался о железной дороге.

— Не случилось бы еще чего? — спрашивала женщина-казачка, сильно оробевшая.

— Спаси господи!..

— Долго ли до беды!

— На этой дороге и до беды недолго,— заговорил, как видно, бывалый казак,— а на других прочих о бедах, почитай, и не слышно! Вот возьми чугунку из Москвы в Питер: там и разговоров таких нет.

— А вы езжали там?

— Сколько раз.

— Ну а здесь дело другое,— сказал казак — зеленая шуба,— здесь что ни поезд, то беда.

— Срам сказать! — продолжал бывалый,— начальник сам только осмотрел дорогу, а через пять минут — машина села! Чего ж смотреть он ездил?

— А то какая беда раз случилась,— рассказывал казак.— Из Царицына до этой станции двенадцать верст все в гору да в гору. Взъехал поезд, почитай, на самую гору, вагоны-то и оторвись от машины. Машина побежала вперед, а вагоны было остановились, а там и стали под горку назад двигаться... Кондукторам чтоб затормозить, а они с вагонов-то пососкакивали. Вагоны чем дальше, тем шибче, чем дальше, тем шибче! Да так разбежались за двенадцать верст, что твоя пуля летит!.. Ведь на каждом вагоне клади больше пятисот пудов, да в самом-то вагоне сколько! Разбежался под гору — сила! Как прилетел поезд назад на станцию, как наскочили на вагоны, что стояли на станции... и господи боже мой! Вагоны-то были нагружены брусьями, как пошли те брусья щелкать по народу! Сколько народу перепятнало — просто страсти господни!..

— Перепятнало?

— Да так перепятнало, что иных и до смерти сразило,— добавил рассказчик.

— Известное дело,— проговорил кто-то,— брусом хватит, где тут живому быть!

— Брусья-то как порасщепало! — продолжал рассказчик.— Вот как зажигательные спички! Тут трескотни было!

Да еще спасибо, что переводы были сделаны не на станцию, а так, на развод; а то еще больше наделало бы бед!

— Эка беда случилась!

— После разборка пошла...

— Какая разборка?

— А такая разборка: кого прямо на погост понесли, а кого через больницу...

— И все-таки на погост?

— Все-таки на погост...

— Как, всех?

— Нет, какой и выздоровел... нельзя же без того! Только самая малость.

— Тем и кончилось?

— Нет, после пошла другая разборка: родственникам стали деньги выдавать за убитых; а кого поранило — тем на вылечку, да и так на подмогу выдавали.

— Тоже в больницу клали?

— И в больницу клали, а все-таки денег давали; нельзя не дать.

— Как можно не дать?! До той беды человеком был, а тут калекой стал.

— Тех денег и не заработаешь.

— Тех денег! Не токма́ тех денег: душу свою не прокормишь!

— Да и не прокормишь...

— Тут-то, братцы мои, смеху было! — заговорил один из чернорабочих при чугунке и пристани.— Тут было смеху! — рассказчик от одного воспоминания и теперь расхохотался.— Приходит бабенка,— продолжал он,— молоденькая бабенка. Там посмотрели в книге. «Тебе,— говорят,— следует сто рублей — получай!» А баба-то: «Да разве я мужа куплю за сто рублей?» — «Ты бабенка красивая,— говорят ей,— поторгуйся — и дешевле добудешь!» Мы все так и покатились со смеху! Мы смеемся, а баба кричит! Нас еще больше смех разбирает, а баба больше кричать! Насилу выпихнули ее за дверь! Сунули ей сто рублей, да и выпихнули за дверь... После еще долго смеялись, как кто скажет: «куплю за сто рублей мужа» — все так животики и надорвут со смеху!

— Из каких вы? — спросил я рассказчика.

— Был-с барский, а теперь стал царский,— бойко и нахально ответил тот.

— При какой должности состояли?

— Я был дворовый человек.

— При какой же должности?

— При конюшне конюхом... «куплю себе мужа за сто рублей!» — закончил он и сам себя наградил за свой рассказ громким и продолжительным смехом.

Считаю нужным прибавить, что из всех слушателей никто не разделил смеха дворового человека, состоявшего при конюшне конюхом.

В Царицын мы приехали, как я уже прежде говорил, вместо четырех часов — в одиннадцатом. Мы отправились на почтовую станцию, ночь была очень темная, и я на этот раз не видал города.

Из Царицына до Астрахани сухим путем, говорят, дорога убийственная, а мне приходилось ехать этой дорогой, но здесь меня счастье выручило: в Царицыне встретился со мной господин, который устроил так, что я мог ехать на пароходе, и это тем труднее было, что сверху не приходило еще ни одного парохода, а тот, который нам попался, был «Волга» — товарно-пассажирский, приехавший из Астрахани и возвращавшийся назад. Мне хотелось этому господину прислать на память нашей встречи книжку, и я просил его вписать в мою записную книжку свой адрес; книжки записной у меня теперь нет, кому послать — не знаю, без вины перед ним виноват!

В Царицыне, не выходя со станции, я пробыл сутки: дожидались отхода парохода, на что один из моих спутников сильно негодовал. Как ни был он бережлив, а не евши, как говорят, и поп умрет, то и ему надо было что-нибудь для обеда купить; он отправился на базар, а мы с его товарищем сели пить чай; к нам подсел станционный староста, и мы за чаем разговорились о здешней железной дороге.

— Эта дорога такая несчастная, — говорил староста, — редко хорошо проедет.

— Отчего же так?

— Да вот до первой станции от Царицына к Калачу место жидкое.

— Укрепить надо! — заметил мой спутник, прихлебывая с блюдечка свой чай.

— Как укрепить?

— На то мастера есть!

— Ничего и мастера не поделают; вот вы ехали с самим

помощником начальника; тоже офицер по дорожной части: в Калач ехал — провалился, из Калача в Царицын поехал — тоже сел! Никак нельзя места укрепить!

— Смотрите, какую штуку купил! — едва бормотал спутник, вернувшийся с базара; он не мог слова сказать, не столько от скорой ходьбы, сколько от радости.

— Какую?

— Смотрите! — С этими словами он торжественно развернул мокрое полотенце и показал нам рыбу.

— Смотрите!

— Что заплатил? — спросил его товарищ.

— Пять копеек,— торжественно и как-то победоносно отвечал он своему товарищу.

— Кажется, недорого,— отвечал тот.

— Какая это рыба? — спросил станционного старосту спутник-покупатель, показывая рыбу.

— Вобла.

— Дешево купил?

— На пять копеек, пожалуй, пяток купил бы, другой! — отвечал староста.

— Как?.. Пяток?

— Да ты пойми. За пять копеек люди покупают пять вобл сушеных, совсем готовых; а эта, что она стоит? Да ты подойди к берегу: сколько хочешь, столько и бери! Вот что твоя рыба стоит! А то заплатил пять копеек! Обманули!

— Что ты?

— Верное слово...

— Черт с нею и совсем! — забормотал покупатель,— черт с нею с проклятою.

— С рыбой? — спросил я.

— Нет! С торговкой!..

— То-то.

— Как она, проклятая, запросила пять копеек, я и думаю: не ошиблась ли торговка... сейчас за рыбу, достал пять копеек, сунул ей в руку, а сам бежать... Думаю — вернет!

— Маху, брат, дал!

— Эка беда случилась! — горевал покупатель.

— Пять копеек еще небольшая беда,— утешал его, подсмеиваясь, его товарищ.

— Как пять копеек не беда! — с отчаянием проговорил купивший рыбу.

— Эту рыбу — воблу наши бабы и варить-то не станут,— объявил станционный староста.

— Как не станут?

— Да как же! Ее варят, что ль?

— Хоть и сварить...

— Ее у нас не варят!

— Что же делают?

— Сушат.

— Да ведь ее нескоро высушишь?

— Известно, не нынче-завтра высушишь! — прибавил староста,— на солнце скоро ли высушишь!

— В самом деле воблу не варят, а только сушат? — спросил я станционного старосту.

— Правда, и сушили мало,— отвечал тот,— на один только жир и шла; только для жиру воблу да бешенку и ловили. А теперь и вобла, и бешенка в честь вошли!

— Как в честь вошли?

— А так: воблу теперь сушат,— отвечал староста,— и бешенка теперь не бешенка стала!

— Как не бешенка?

— Астраханская сельдь прозывается.

— Отчего же это?

— Частиковой рыбы и здесь стало мало, а на Дону, говорят, и совсем перевелась!

— Так нельзя сварить эту рыбу? — жалобно спрашивал купивший старосту.

— Нельзя.

— Сделай такую милость!..

— Бабы не станут варить...

Однако при моем посредничестве дело было улажено, и вобла была сварена.

— Вот вам и уха! — сказал староста, ставя на стол большую чашку с вареной воблой.

— Спасибо, хозяин!

Староста принес две ложки, мои спутники отрезали купленного на базаре хлеба.

— Чем не уха? — сказал один из них, отхлебнув ложку ухи.— Это разве плоха уха?

— Ничего,— отвечал ему его товарищ,— ничего, эту уху еще есть можно всякому.

— Это не уха! — говорил первый спутник, жадно хлебая уху.

— Уха ничего... Право, ничего!.. Отведайте, Павел Иваныч,— предложил мне товарищ.

Я попробовал: уха в самом деле *ничего;* из плотвы уха не лучше, а в безрыбных местах и плотва в чести... Да и то сказать: на безрыбье и рак рыба; на безлюдье и Фома дворянин. Здесь при изобилии рыбы вобла не рыба.

— Наши не едят ни воблы, ни бешенки, ни сомовины,— сказал станционный староста,— а вот хохлы приезжают, вот из Воронежской губернии — те до смерти объедаются!

— Как до смерти?

— Да вот приехали в прошлом году хохлы из Воронежской губернии, приехали они за рыбой; пошли на базар, увидели сома — торговаться! А у нас сом аршина полтора — пятнадцать копеек... Купили: принесли домой, сварили и принялись за своего сома — так всего и убрали! А их было всего трое, что ль, четверо ли человек! Так что ж ты думаешь? Ни одного в живых не осталось — все передохли! Объелись, значит, сомовиной.

— Все умерли?

— Как есть все.

— Посылали за лекарем?

— Как же, посылали.

— Что ж лекарь?

— А что? Посмотрел лекарь на хохлов, посмотрел; при нем хохлы и умерли.

Нам было объявлено, что наш пароход «Волга» отправится рано поутру, а потому мы перебрались на него еще засветло.

Про Царицын-город я могу сказать очень мало, потому что, раз пройдя по городу, нельзя сказать много. Об Царицыне я слыхал много и сидя на школьной скамье, и после, шляясь между народом. Все в один голос говорили, что Царицын торговый город, что в нем одна из значительных на Волге пристаней и что это один из красивых уездных городов. О торговле города и значительности его жителей я ничего не могу сказать; вероятно, они значительны, а волжско-донская чугунка надолго упрочила значение Царицына, которое сильно было пошатнулось конно-железной дорогой, которая шла не на Царицын, а на Дубровку. От наружного вида Царицына я ждал больше, чем нашел; его сравнить нельзя не только с Ельцом, но и Белгород, Мценск, Болхов по постройке далеко выше стоят его. Царицын своей

постройкой подходит под какой-нибудь Трубчевск. Теперь, вероятно, Царицын очень поправится: железная дорога платит за место, занимаемое станцией, три тысячи рублей серебром и за каждое судно, кажется, по пятидесяти копеек. Но верно, что город выстроится не на старом месте, а ближе к станции, которая отстоит от теперешнего города с лишком на полверсты, когда не больше.

На пароходе, благодаря хлопотам господина, которому я обещал книжку, нам досталась отдельная каюта: машинист нам троим уступил свою, и мы поместились самым лучшим образом: могли быть одни, могли ходить и в общую каюту, и на палубу. Должно заметить, что на пароходе «Волга» особых кают нет для пассажиров, а только одна общая. Устроившись в своей каюте, мы вышли на палубу, где еще никого не было.

— Вы видели капитана парохода? — спросил я своего спутника, выйдя на палубу.

— Нет... не видал!..

— Как же вы билеты взяли?

— И билетов не брал...

— Кому ж вы деньги отдали?

— И денег никому не отдавал! — как-то уж очень зло отвечал он мне.

— Как так?

— А так!

Мы замолчали.

— Разве здесь настоящий капитан? — с горечью заговорил мой спутник.

— А какой же?

— Простой мужик!

— Так что ж?

— Простой мужик, я вам говорю! Так, по-мужицки, в кафтане и ходит.

— А все капитан!

— Да я знать не хочу, что он капитан! — закричал мой спутник. — Знать не хочу! Простой мужик! А тоже... капитан парохода! Знать не хочу!

— Ежели будете вести себя прилично, то, я думаю, вам и не надо знать, кто капитан.

— А не прилично?

— Тогда узнаете.

— Как узнаю?

— Капитан вас накажет.

— Как?! Меня накажет?!

— Вас.

— Как же он меня накажет? — спросил, гордо на меня посмотря, мой спутник.

— Он может вас связать...

— Меня?

— Вас или другого, кто будет виноват,— продолжал я,— может за борт бросить.

— Как?..

— Может связать и бросить,— отвечал я,— а может и не связывая выбросить за борт.

— И ему ничего?

— Ничего.

— Так человек и пропадет? — насмешливо спросил меня собеседник.

— Нет, не пропадет: капитан, приехавши на берег, должен будет об этом объявить начальству.

— Что ж он объявит?

— Как, за что и кого наказал он, капитан парохода,— отвечал я, едва удерживаясь от хохота: до того комичен был мой собеседник.

— И только?

— И только.

Мой собеседник только руками развел и молча отошел от меня... Стали собираться пассажиры, палубные оставались на барже, да и каютные, осмотрев место, переходили тоже на баржу, а вслед за ними и я пошел. Палуба баржи выше пароходной, и баржа стала ближе к берегу, а потому заслоняла его бывшим на пароходе; вид на Волгу оставался тот же, что и на пароходе.

— Родименький, нынче поедем? — прошамкал старушечий голос.

Я оглянулся; передо мною стояла старуха вся в лохмотьях; одного ребенка она держала за руку, другого на руках; какого пола были эти дети — по платью решить было невозможно; на них были намотаны какие-то тряпки, из которых выглядывали локти, коленки... Сколько лет этой женщине было — я не могу сказать, а думаю, судя по ее детям, с небольшим тридцать, но на вид было ей далеко за пятьдесят.

— Нет, матушка, завтра.

— Хоть бы поскорее бог дал! — зашамкала опять молодая старуха.

— Ты куда едешь? — спросил я.

— В Астрахань, родименький.

— Откуда?

— Из Сибири, родимый.

— Издалека, матушка...

— Мы были сосланы в эту Сибирь, а теперь, по царской милости, возворот нам пришел... и мы семьей думали-думали: и вернуться и нет... вернуться — дорога дальняя, как с малыми ребятишками дотащишься? А как подумаешь, что хоть косточки с родителями рядышком лягут! Думали, думали... ну и вздумали: что там бог даст, а идти на старое место. Вот и пошли, авось теперь скоро на месте будем.

— Все пешком шли?

— Все, родненький, пешком.

— Теперь на барже поедете: ехать по воде все легче, чем пешком идти.

— И, родненький! — усмехаясь, сказал женщина.— Идешь, идешь... и не знаешь, как ноги двигаются! Не ты ногами ворочаешь, а будто уж так, как жернова ходят...

— Теперь, бог даст, скоро на месте будете,— сказал я ей в утешение.

— Вот что я тебе, родненький, скажу,— заговорила женщина, обрадованная, что может высказать свои мысли, над которыми, как она видела, не глумились.— Вот что я тебе, родненький, скажу: как вышли из Сибири, с тамошнего места, мы думали, и не дойдем никогда; а там попривыкли: пройдем двадцать верст — хорошо; пройдем пять — для нас все равно... Простоим день — и то ничего! А как стали к месту близиться — не то пошло! Теперь хоть каждый аршин земли... какой аршин! Вершок и тот в счет идет! Все хочется поскорей, все хочется поскорей! Бог знает, что бы дал, только теперь не стоять!

— Бог даст, теперь доберетесь скоро до своего места,— утешал я женщину.

— Да сердце-то ноет! Сердце-то ноет! Так ноет, что и сказать нельзя!

Стал накрапывать дождь, все каютные пошли в общую каюту, а вслед за другими и я с своими попутчиками в свою. Нам подали самовар, и мы стали пить чай. Погода разыгры-

валась: и дождь, и ветер. Вспомнил я про сибирское семейство.

— Плохо теперь на палубе,— сказал я, окончив свое чаепитие.

— Разумеется, плохо,— проговорил один из попутчиков, который во всю нашу дорогу ни разу ни над кем не командовал.

— Там простые мужики! — решил другой попутчик,— они привыкли!

— Кажись, и ты не из больших господ,— заметил ему его товарищ.

— Надо взять в каюту одного ребенка,— сказал я проводникам своим.

— Это зачем?

— Дождь идет, там холодно... Ветер сильный,— отвечал я спросившему попутчику.

— Куда же мы его денем?

— Я положу с собой на одну постель: постель довольно широка.

Мой попутчик от удивления рот разинул: просто ошалел!..

— Как на одну постель?

— Что ж мудреного?

— Так лучше я с вами лягу на одну постель! — решил попутчик.

— Это зачем? — спросил я, в свою очередь озадаченный этим предложением.

— На постели лучше!

— На постели... вдвоем?

— Все лучше!

— Да ведь на лавке вам постлали постель; одному покойней, чем вдвоем.

— Все настоящая постель!

— И у вас ведь настоящая постель!

— А мужичонка хотели положить с собой на одну постель?! — проговорил мой попутчик, зло посмотрев на меня.

— Мужичонку холодно, у мужичонка нет постели; а вам тепло и постель есть, и я не вижу никакой надобности нам ложиться с вами на одной постели.

— А мужичонку можно!

Я не стал говорить больше этому барину о нелепости его предложения, пошел на палубу, предложил сибирской

семье взять ребенка в каюту; но ребенок расплакался, не хотел расставаться с своими, и я вернулся один.

На другой день мы выехали из Царицына около десяти часов утра: наш капитан ходил в город хлопотать об выдаче ему накладной. Капитан парохода был человек лет за сорок, чрезвычайно приятной наружности и очень внимательный ко всем пассажирам вообще, не разбирая ни каютных, ни палубных; после я узнал, что он был крестьянин, к немалому моему удивлению, Владимирской губернии, Грязовецкого, кажется, уезда. В деревне, в которой он родился, по его словам, и реки нет. Как он попал на пароход, сперва, вероятно, рабочим, потом лоцманом и теперь капитаном — для меня по сю пору составляет загадку.

— Молись богу! — сказал капитан парохода, когда все было готово к отходу.

Я посмотрел на публику, собравшуюся из каюты, и палубную: одни перекрестились, другие не обратили внимания на слова капитана, третьи отвернулись; резко видно было, что на пароходе был не один народ, а несколько: кого-кого не было на пароходе «Волга» в этот раз: русские, малороссияне, казаки, солдаты, армяне, татары, калмыки, греки, жиды, немцы, грузины...

— Смотри-ко,— говорил один палубный пассажир другому,— армяшки-то как пни стоят — и рожи не перекрестят, погань они этакая!

— На то они армяне,— отвечал другой, к которому относился первый палубный.

— Нет, ты посмотри на жидов,— говорил третий,— жиды так совсем отвернулись.

— Те, уж сказано, жиды!

Погода разгулялась, и все пассажиры из каюты толпились кучками на палубе. Я разговорился с одним молодым, лет двадцати двух—двадцати трех купцом-греком, и он мне сказал, что едет в Астрахань для закупки икры щучьей и судачьей, то есть самого дурного качества, которую на месте почти не употребляют.

— Куда же вы возите икру эту? — спросил я его.

— Она у нас очень идет и в Турции, и в Греции... Мы и в Египет икру возим.

— Почему же вы возите икру самого дурного качества, только щучью и судачью?

— У нас эту больше любят,— отвечал он,— да она и дешевле; у нас же народ небогатый.

— У вас в Греции, в Турции и в Египте есть и богатые люди, разве и те не покупают лучшей икры?

— Никто не покупает: в наших местах икры лучших сортов совсем нет.

На носовой части палубы расположились казаки, ехавшие в Астрахань за рыбой. Они подостлали себе войлокá, шубы и в полулежачем положении разговаривали между собой. Меня всегда поражала казацкая вежливость: казак относится всегда с уважением к вашему человеческому достоинству, потому что он сознает свое собственное достоинство, он сам лицо самостоятельное, сам себе атаман; а потому мне странно было видеть около солидных казаков вертящегося с шутовскими увертками оборванного казака. Я сидел около борта, и ко мне на лавку подсел казак — зеленая шуба.

— Просто противно смотреть! — сказал он с негодованием, указывая на оборванного казака.

— Да, неприятно,— отвечал я.

— И какой он казак?

— По платью казак.

— По платью-то он старший урядник.

— Стало, казак.

— Какой казак! Он у того казака нанимается,— прибавила зеленая шуба, указывая на одного из полулежащих казаков, около которого шут больше всех вертелся.

— Пошел в холопья, так уж казачество оставить надо.

Утвердительно сказать я не могу, но, судя по тому, что я видел и от других слышал, донские казаки не любят наниматься в работники. У низовых донцов я не был, да и у верхóвых мало что видел. Но, проезжая на почтовой телеге от Новохоперска чрез Урюпинскую и Усть-Медведицкую станицы на Калач, нельзя не заметить зажиточности казаков: избами по станицам и хуторам домов назвать нельзя; все дома опрятны, все дворы наполнены скирдами. Может быть, это изобилие всего для домашней жизни отучило казаков наниматься в работники; но в средней России: в Орловской, Тамбовской, Рязанской, Воронежской губерниях — из богатых семейств молодые люди, без которых можно обойтись дома, идут в работники. Я уже не говорю про Ярослав-

скую, Владимирскую губернии, откуда почти все поголовно идут в работники.

Может быть, я и ошибаюсь, но скажите, чем вы объясните, что от Новохоперска до Калача ни на одной почтовой станции я не видел ни одного ямщика из казаков, а все уроженцы Орловской, Тамбовской, Воронежской губерний. На расстоянии четырехсот с лишком верст ехавши Землею Войска Донского, ни одного из донцов ямщика-работника! Содержатели почтовых лошадей есть и казаки, а ямщики русские.

— А! Посмотрите сюда,— кричал казак-шут,— посмотрите, кумова вода подошла!

— Какая кумова вода? — спросил я казака — зеленую шубу, сидевшего со мной.

— Спросите его.

— Кумова вода! — кричал шут.— Кумова вода!

— Что за кумова вода? — спросил я шута.

— Кумова вода, вот и вся недолга!

Я не стал больше спрашивать.

— А вот какая кумова вода! — сам заговорил со мною шут,— сказать, что ль?

— Сделайте одолжение.

— Ну слушайте! — и начал он скоморошливо рассказывать, и от себя привирать, и из песен выбирать.— Ехали по реке на лодке кум да кума,— начал свой рассказ шут,— хорошо. Вот кум и говорит куме: «Ты, кумушка, ты, голубушка! Полюби, кума, ку́ма, моя душечка!» — «Как же я тебя, кум, полюблю? — говорит кума,— ведь мы с тобой кум да кума, стало быть, родня!» — «Так что ж?» — «Грех большой будет нам с тобой! — твердит свое кума,— мы с тобой кум да кума!» — «Э! нашла где грех!» — «А как же?» — «Здесь не согрешим, в другом месте согрешим, все едино! — пристает кум к куме,— а здесь согрешим, грех по крайней мере веселый!» Кум пристает, кума упирается; известно, бабье дело — ломается! «Слушай, куманек любезный,— сказала кума,— видишь ты эту самую речку?» — «Вижу».— «Видишь, куда вода бежит?» — «Вижу».— «Вниз или вверх?» — «Вниз».— «Так слушай, куманек любезный! Когда вода в реке побежит вверх снизу, тогда полюблю, куманечек, я тебя!» — «Полюбишь?» — «Тогда полюблю!» — «Не обманешь?» — «Нет, не обману».— «Правое слово?» — «Правое слово».— «Ладно!» Вот едут кум с кумою все по

той же реке. Ехали, ехали и наехали на стрешную воду... Вода, как в кручи, к бережку подбежит, воду-то от бережку назад отбивает: вода-то будто в гору идет; после она опять-таки под низ сходит, а на стрешной воде, видать, в гору идет. «Видишь, кума, реку?» — спрашивает куманек свою куму на стрешной воде. «Вижу». — «Видишь, куда вода бежит?» — «Вижу». — «Вверх или вниз?» — «Вверх». — «А помнишь, кума, правое слово свое?» — «Помню». — «Полюбишь ли, кума?» — «Полюблю». И стала кума любить своего куманечка. Оттого и прозывается стрешная вода кумовой водой! — кончил шут.

В Черный Яр мы приехали довольно поздно, забрали дров и остановились до утра.

— Плохое мое дело, Павел Иваныч,— обратился ко мне машинист, с которым мы в сутки, проведенные на пароходе, совсем познакомились.

— А что?

— Взялся я харчить пассажиров; а теперь-то харчить-то и нечем.

— Отчего же вы не запаслись на месте, в Царицыне? — спросил я.

— Запастись-то я запасся, да мало: я думал, что только вы да еще один барин потребуют что кушать; а набралось теперь больше десяти человек... На завтра мало провизии будет.

— В Черном Яру купите.

— Черный Яр отсюда версты четыре будет; туда далеко посылать.

— Отчего же мы остановились не в самом Черном Яру?

— Здесь всегда останавливаются.

— Отчего же не в городе?

— Тут конторки.

— Так в конторках купите провизию? — спросил я.

— В конторках купить нельзя,— отвечал он,— а тут близко живут — у них нет ничего.

Посланный вернулся с одной щучьей икрой, которую он принес в большой чашке.

— Ничего больше не достал,— объявил он, входя на пароход и подавая икру.

— Что будешь делать?

— Все лучше, чем ничего,— сказал я, желая утешить случайного буфетчика.

— Чем же лучше?

— Икра есть.

— Какая это икра! Кто эту икру есть станет?! Икра щучья!

— Может быть, и станут.

Когда на другой день я проснулся и вышел на палубу, пароход уже быстро шел вниз по Волге, и при попутном ветре мы делали около двадцати верст в час, как мне говорил мой хозяин-машинист. Пассажиры палубные, пьющие чай, и некоторые каютные уже напились чаю; я попросил подать для меня самовар на палубу. Мой попутчик сильно против палубы восставал, но я решительно ему объявил, что буду пить чай на палубе и, ежели он хочет со мной пить, то и он должен пить на палубе, а не желает — как знает.

— Вы кушайте на палубе,— наконец решился он,— а я после в каюте.

— Как знаете.

— Пусть он пьет чай на палубе, а мы с тобой вместе будем пить,— сказал он своему товарищу,— возьмем самовар в каюту, там и напьемся!

Мне подали самовар, и я уселся за чай и стал всматриваться в публику; палубные разделились кучками: казаки, армяне, татары — все народности сидели отдельно; только один жид, отделившись от своих, сидел посреди палубы и читал, покачиваясь из стороны в сторону, какую-то книжку, чем он и вчера целый день занимался.

— Святой человек! — сказал мне еврейчик, подсаживаясь ко мне.

— Кто святой человек? — спросил я.

— А вот он святой человек,— отвечал он, указывая на качающегося жида.

— Почему же он святой?

— Все читает.

— Что читает?

— Святые книги все читает.

— Чего же он мотается из стороны в сторону? Сидел бы смирней.

— Без этого нельзя.

— Отчего?

— Без этого ничего не выйдет.

Посмотрел я на этого святого и подумал, что ежели этот жид святой, то на земле совсем нет грешных людей: он был

грязен, на лице ясно было написано одно только ханжество, лицемерие и больше ничего. Неприятно было на него смотреть даже; мой собеседник был немногим лучше святого человека. Он начал было еще со мной говорить, я неохотно ему отвечал, и он отошел от меня.

— Послушайте,— сказал я, обращаясь к казаку—зеленой шубе,— подсядьте ко мне, давайте вместе чайком побалуемся: вдвоем все веселее.

— Благодарим покорно за чай; мы уж напились,— отвечал казак,— а так посидеть можно; разумеется, ничего не делаешь, одному скучно,— добавил он, подсаживаясь поближе ко мне.

— Тут и дело будет: чай будем пить; а это дело не будет мешать нам с вами поговорить — все веселее.

— Извольте, извольте.

— Кушайте,— сказал я, налив чашку чаю и подвигаясь к нему поближе.

— Что этот человек все читает молитвы? — спросил я, указывая на качающегося чтеца.

— Жид!

— Что же, что жид?

— Одно слово: жид!

— Ведь и между евреями есть много людей хороших; что же, что он еврей?

— То еврей, а это жид!

— Я вас не понимаю...

— Я в Вильне служил, а Вильна — жидовская сторона... Там я на жидов насмотрелся: есть там евреи, что и русскому не уступят; есть честные, на своем слове тверды! А то есть жиды!

— Да ведь вы были в Вильне, стало быть, знаете, что жиды и евреи один народ!

— Один и не один!

— Как не один?

— А вот видите того человека? — спросил он меня, указывая на казака-шута, который скоморошничал перед кучей армян, одобрявших его громким смехом.

— Вижу.

— Что он за человек?

— Ваш донской казак,— отвечал я,— на нем и шапка, и шинель казацкие...

— По одеже еще не простой казак,— перебил он меня.—

по платью видно... видите, у этого человека на погонах-то что нашито? По одеже он старший урядник.

— Стало быть, казак?

— Нет, не казак!

— А кто же?

— Холоп, шут, скоморох! Как хочешь назови! А только казаком его назвать нельзя.

— Разве между казаками и совсем нет дурных людей? — спросил я.

— Как не быть!

— Ну, а этот...

— То дурной человек, да не холоп! — запальчиво проговорил казак — зеленая шуба,— холоп — не казак! Казак всяк сам себе атаман! Вот что!

— По-вашему выходит, что и жид не еврей? — спросил я, перебивая толки о казаке.

— Не еврей!

— Оно, пожалуй, и правда ваша,— сказал я, усмехаясь,— не всякий казак — казак.

— Вот и этот шут,— подтвердил зеленая шуба,— этот шут — холоп, а не казак.

Мы напились чаю, отдали самовар моим попутчикам, а сами остались на том же месте и продолжали между собою калякать, кажется, обо всем.

— Ошибиться всякому можно,— говорил мой казак,— все люди грешны.

— Разумеется.

— Иной раз дело такое подойдет,— продолжал казак,— пустое дело, всякая баба то дело рассудит, а на тебя ровно столбняк какой найдет! Не рассудишь — сфальшивишь.

— Случается и это.

— Да вот старики рассказывают: в каком-то царстве, не то в королевстве жил богатейший купец. Поехал он на ярмарку, продал товары и едет домой, а денег у него много: кожаная киса за пазухой, а в той кисе десять тысяч золотых лежит. Ехал-ехал — все киса цела; стал подъезжать к своему городу и оброни из-за пазухи кису с золотом. Приехал домой — хвать, кисы нет! Сейчас заявил кому следует: киса с золотом пропала! А за тем купцом следом ехал мужик... так, мужичонко, плохонький с виду... ехал-ехал мужик, да и наехал на кису с золотом. Поднял. «Что я с этой казной буду делать? Еще и пропадешь совсем,— думает мужик,—

лучше заявлю находку эту кому там следует». Приехал мужик в город, прямо к городничему, что ли, по-нашему, или к губернатору. «Нашел,— говорит,— казну: обронил кто, знать». Сейчас послали за купцом. «Ты потерял кису с золотом?» — «Я»,— говорит купец. «Какая киса была?» — «Кожаная, желтая там али красная, с такими-то и такими-то мохорчиками». Так... посмотрели на кису, киса такая, как купец сказал. «Где ты кису потерял?» — спрашивают купца. «В таком-то и таком месте». Позвали мужика. «В каком месте нашел кису?» — «В таком-то». И то купец правду сказал. «Твоя киса?» — спрашивают купца, да и положили кису на стол. «Моя!» — обрадовался купец. «Так изволь получить,— говорят купцу,— а мужика наградить, как закон велит». Купец знает: по закону мужику какая там часть следует; жалко ему стало из пропадшей казны мужику отделить. «Надо,— говорит,— сперва казну сосчитать».— «Сосчитай»,— говорят ему. Стал купец казну считать, сосчитал. «Не все,— говорит,— деньги».— «Как не все?» — «У меня было в кисе двенадцать тысяч, а здесь всего только десять». А в кисе-то у купца и было десять тысяч, а две-то тысячи он надбавил, чтобы мужику часть не платить. «В острог! — кричит купец,— в острог мужика: две тысячи золотых украл!» Мужик божится, клянется, что золота и не трогал, а купец знай свое: в острог, да в острог! Стали господа судить: украл бы мужик деньги — все бы украл; а как посмотришь: купец отыскал деньги; с чего бы ему на радостях врать? Судили, судили, а все рассудить не могли. Дошло дело до царя — и царь рассудить этого дела не может... Приходит царь домой к своей царице и рассказывает про купцову кису: как пропала киса, как принес мужик ту кису, а купец говорит, что двух тысяч золотых не хватает. «Украл ли мужик, купец ли хвастает — рассудить не могу,» — говорит царь. «Экой ты царь! — говорит царица,— такого дела рассудить не можешь!» — «А ты рассудишь?» — спрашивает царь. «Я рассужу!» — «А как?» — «Вот как: вели ты принести ту кису да двенадцать тысяч золотых и прикажи купцу уложить те золотые в кису и завязать: уложит, завяжет как надо — купец прав; не завяжет кисы — купец облыжно на мужика говорит». Царь видит: царица рассудила правильно: послал за купцом. «На,— говорит купцу царь,— твою кису; на тебе двенадцать тысяч золотых; уложи золотые в кису и завяжи как было». Стал купец в кису деньги

укладывать: десять тысяч хорошо положил; стал еще укладывать — не лезут. Тысячу-то одну он кое-как и боком-то и сщеком-то уклал; а другую, двенадцатую-то класть некуда: и так кису завязать нельзя. Тогда царь видит мужикову правду, а купцову неправду: купца сказнил, а мужика наградил.

Я сошел в свою каюту и увидал преотвратительную картину: я воочию видел, как «ходит спесь надуваючись». На главном месте преважно, в шапке, сидел мой попутчик, перед ним ломался и паясничал шут; бурлак подобострастно подавал ему набитую трубку-носогрейку; другой торопливо зажигал спичку; человек пять-шесть с подобающим уважением к его особе стояли, не смея, вероятно, в его присутствии сесть... Духота была страшная, и я поспешил выбежать на палубу.

— Не можете ли вы мне чем-нибудь помочь? — спросил, подходя ко мне, какой-то господин лет двадцати в казацкой фуражке и немецком пальто.

— Чем могу я вам помочь?

— Я не смею вас беспокоить.

— Позвольте вас попросить сказать мне,— спросил я,— с кем имею честь разговаривать?

— Я профессор магии.

— В таком случае я решительно не имею никакой возможности вам помочь.

— Я так и думал.

— Так для чего же вы ко мне обращаетесь с просьбой о помощи?

— Все-таки лучше.

Мы помолчали.

— Вы где учились? — спросил я этого профессора магии,— кто вас учил фокусам?

— Я учился в гимназии.

— В гимназии? — спросил я, озадаченный этим ответом,— разве в гимназии учат фокусничать?

— Нет-с! В гимназии я учился разным наукам, а магии я сам собою выучился: читал много книг, много упражнялся, много...

— Какие же вы книги читали?

— Все хорошие.

— Какие же?

— Хорошие.

— Вы не можете ли припомнить названия книг, имена авторов этих книг?

— Нет-с, теперь забыл.

— Вы кончили курс в гимназии?

— Нет-с, не кончил.

— Отчего же?

— Стал заниматься магией.

— Надо бы сперва кончить курс в гимназии, а там хоть бы и магией заниматься.

— Призвание-с!

— Плохое призвание.

— Что делать!

— Куда же вы теперь едете?

— Я теперь еду в Екатериненбург.

— Куда?

— В Екатериненбург.

— Из Царицына на Астрахань в Екатериненбург? — спросил я.

— Да-с.

— Как же вы поедете?

— Из Астрахани, где я дам несколько представлений, поеду на Гурьев, из Гурьева на Екатериненбург, а потом поеду по всем сибирским городам.

— Помилуйте! Да ведь этим путем вы делаете несколько тысяч верст лишних!

— Этим путем для меня лучше.

— Чем же лучше?

— По пути я буду магические опыты производить: там профессоров магии никогда не было.

— Где же вы будете свои фокусы показывать?

— По пути во всех городах.

— Да там и городов нет.

— Буду заезжать к помещикам.

— И помещика нет ни одного.

— Посмотрите, пожалуйста, какое прекрасное кушанье! — сказал, подходя ко мне, греческий купец, радостно показывая кушанье, положенное на чайное блюдечко.

— Покажите.

Вероятно немногие отгадают, какое это было прекрасное кушанье.

— Хорошо? — спросил грек.

— Что это?

— Щучья икра с деревянным маслом! — отвечал грек, весь сияя от радости.

— Пахнет не очень хорошо.

— Нет, очень хорошо...

Впрочем о вкусах не спорят; грекам очень понравилось деревянное масло самого дурного качества, которое держат на пароходе для смазки машины. Грек побежал кушать свое деревянное масло, а ко мне подошел парень лет двадцати пяти, в полумонашеской одежде, которого я видел накануне в общей каюте, сильно выпившим; он тогда лежал на диване и загадывал загадки далеко не двусмысленного содержания, чем потешал армян-пассажиров.

— Спаси вас господи! — сказал он, подходя и кланяясь по-монашески.

— Покорно вас благодарю.

— Вы куда едете?

— Я в Астрахань... А вы куда?

— Я по монастырям — богу трудиться для своей души,— смиренно отвечал он.

— Вы монах?

— Нет еще.

— По платью вас можно за монаха принять.

— Желаю быть монахом.

— Куда же вы теперь едете?

— В Казань.

— Как в Казань?

— Да пока в Казань, а там, ежели бог грехам потерпит, пойду в Тобольск.

— Из Царицына в Казань через Астрахань...

— Бог пути указует...

— Хотите, я вам найду попутчика: он почти тем же путем в Тобольск едет.

— Сделайте милость!

— Извольте.

— А позвольте вас спросить,— спрашивал меня желающий принять монашество,— из каких чинов будет мой будущий сопутник?

— Чина его я не знаю.

— Занятие?

— Он фокусник.

— Помилуйте! — и желающий принять монашество отвернулся от меня с негодованием.

Никак не ожидал я найти двух пассажиров, которые, не сговариваясь между собой, избрали такой оригинальный маршрут в Тобольск. Подумав, я перестал удивляться: я и сам, кажется, еду в Москву из Орла на Астрахань, Красный Яр...

— Посмотрите, пожалуйста,— показывал мне маслину грек, скушавший икру с деревянным маслом,— вот из чего делается это масло... Я нашел это в жилетке, в кармане. Покушайте, пожалуйста, как это прекрасно-вкусно! Как это прекрасно-хорошо!

Не только покушать, и дотронуться я не решался до маслины, пролежавшей у грека в кармане более месяца, и поспешил удалиться и от грека, и от маслины.

— Посмотрите, на сколько речек разбилась Волга! — сказал казак, показывая мне Волгу, которая чем ниже, тем более усеяна островами.

— Да, много...

— Сколько речек, ручьев какая река принимает,— на зидательно проговорил другой казак,— на столько речек та река под конец и разбивается.

Я приехал в Астрахань; но об Астрахани, Красном Яре после, в другом месте. Я ничего не говорю о берегах Волги; от Царицына до Астрахани так однообразны эти берега, что об них и сказать нечего: правый берег возвышается обрывом иногда на несколько аршин, а левый совсем равнина нескончаемая, и все это голо донельзя; кое-где показывается тальник, да еще надо прибавить, что я проезжал эти места раннею весной, когда даже зелени никакой не было. Раз только все встревожилось. «Будем проезжать мимо дворца князя Тюменя!.. Мимо дворца калмыцкого князя!» — заговорили все пассажиры, не доезжая до дворца калмыцкого князя еще верст за десять. Подъехали к дворцу — очень обыкновенный помещичий дом, да еще и помещика-то не очень богатого.

Красный Яр, 1869.

В Красный Яр я прибыл в конце апреля поздно вечером на почтовой косной. Хотя из Астрахани мы выехали около девяти часов утра, до Красного же Яра от Астрахани считается по-казенному всего только тридцать пять верст, но в лодке редко удается проехать ближе восьми часов; а как

почтовые гребцы не считаются здесь очень рьяными, то мы и пробыли в пути более двенадцати часов. Приехав, я тотчас увидал, чем отличается Красный Яр от других городов, хотя не бывшему здесь трудно этому поверить даже. Красный Яр отличается от других городов всего земного шара тем, что в нем нет жителей. Вы, вероятно, слыхали поговорку: «Только и ходу, что из ворот да в воду»; это сказано именно про Красный Яр: он стоит на солончаковом острове, который длиной с версту, а шириной с полверсты; кругом вода; большие протоки Волги, или, как их здесь называют, реки Бузан и Ахтуба*, малые или, по-здешнему, ерики и ильмени, то есть озера или, лучше сказать, заливы; большая часть ильменей и ериков пересыхают к концу лета, но в полную воду они сливаются с Волгой, и по ним ходят большие суда. В большую полую воду заливаются все острова между Красным Яром и Астраханью иногда так высоко, что поверх лесов ходят большие суда.

Красный Яр построен со специальной целью: для строптивых; сперва поселили сюда казаков для защиты русских людей от воровских киргиз-кайсаков и калмыков, потом Петр I сослал сюда стрельцов, и в последнее время здесь много сосланных всех сортов: и политических преступников, и за подделку фальшивых бумаг, и сосланных административным порядком без именования рода преступлений, и по суду за разные мошенничества; по суду ссылаются сюда на срок, а другие без срока. Жизнь здесь так весела, что один сосланный сюда мастеровой, чтобы избавиться от Красного Яра, украл лошадь; его поймали, продержали сколько-то в остроге и опять послали в Красный Яр. Он рассказывал мне, что в остроге он хоть немного отдохнул.

Может быть, вы слыхали П. М. Садовского рассказ про остров царя Константина и матери его Елены, куда Наполеон I был сослан, где нет ни земли, ни воды — одна зыбь поднебесная; на картах этот остров показан не на настоящем месте: Красный Яр стоит на этом острове, это я верно знаю. Солончак назвать землей нельзя; воды тоже часто не бывает; реки, ерики и ильмени покрываются таким слабым льдом, что ни конному, ни пешему переходу нет; лодка тоже идти не может. Таким образом, сообщение со всем миром рекра-

* Названия татарские: *Ахтубе* — по-русски Белый бугор; *Бузан* — холодная вода.

щается на некоторое время. Я уже не говорю про почту: она, например, и тогда не ходит из Астрахани в Красный Яр, когда караваны на верблюдах переправляются по льду; и тогда тоже не ходит, когда здешние барыни с детьми едут в косных (лодках) — потому опасно. Существует ли на свете такое место, куда бы почта так опасливо и осторожно была доставляема? Положим, в Красном Яру я не получил ни одной книжки за прошлый год «Отечественных записок», положим, некоторые письма пропадают; нерассудительный человек может назвать даже дурным, что письма, адресованные сюда, в Астрахани запаковываются в субботу, а отправляются в понедельник; положим, ваше письмо пришло в Астрахань (а вашему письму другой дороги нет) в субботу, но только после упаковки; но почему же оно должно ждать до другой субботы этой операции? Затем, отправится ли это несчастное письмо в понедельник* — это опять вопрос; в зиму 1868—1869 года почте было часто ехать опасно; раз эта опасливость продолжалась до шести недель. Частные и официальные лица посылали нарочных, сами приезжали в Астрахань за своей почтой и часто получали один ответ: «Почта запакована». Здесь случается, что официальное лицо получает бумагу, в которой подтверждается исполнить предписание за № 00, потом еще подтверждение, выговоры, нарочного — а тот все не исполняет по очень простой причине: подтверждения, выговоры и тому подобное получаются с нарочным, а само предписание за № 00 лежит запакованное в астраханской почтовой конторе: ехать ему опасно.

Поутру пошел я по городу; сперва к собору, отстоявшему от моей квартиры в нескольких саженях; за собором город окончился. Меня поразило то обстоятельство, что я не встретил на улицах ни одной живой души, да и дома казались необитаемыми: окна все закрыты ставнями, ворота заперты; ни на улицах, ни в домах не слышно голоса человечьего. Одни вороны, или, как их здесь называют, корги, каркают и хоть отчасти оживляют мертвый Красный Яр.

---

* В Красный Яр почта приходит раз в неделю: вечером в понедельник, отходит во вторник, ответ же на письмо вы должны послать поутру в понедельник только следующий, хотя почта и отправляется во вторник около двенадцати часов. Дело в том, что запаковывается или по крайней мере принимается она в понедельник поутру... Разве что для хорошего человека... Ну тогда можно и во вторник.

Тоска взяла меня страшная, я вернулся на квартиру; через несколько минут пошел опять по городу в противоположную от собора сторону; прошел два дома, присутственные места, училище, больница — и я опять за городом! Поражен еще более: как, в уездном городе нет острога?! Я вам сейчас определю: деревня или город, и уездный ли, губернский или столичный тот город, который вы мне назовете, когда вы мне ответите на мои немудрые вопросы. Положим, вы въезжаете в богатое село, в котором несколько церквей, несколько фабрик, лавок с разными товарами, и думаете, что это город. «Есть здесь острог?» — спросите вы первого попавшегося вам навстречу. «Нет, родимый! Какой нам острог? Мы и без острога проживем». Вы ошиблись: приняли село за город.

Приезжаете в плохенькую деревеньку; домишки все похожи на избушку бабы-яги, которая, то есть избушка, стоит, как всем известно, на курьих лапках.

«Есть острог?» — спрашиваете вы.

«А как же! Вон там на самой площади стоит». Вы в уездном городе.

«Еще бы не было у нас острога! У нас и острог, и арестантские роты! У нас все есть!» — Вы в губернском городе.

В столичных городах изобилие острогов разных наименований доходит до роскоши. Редкое село пользуется счастьем иметь тигулевку, кутузку, холодную, заклан (разные названия одного и того же), да и то только такое село, в котором находится квартира станового. По острогам вы даже можете определить: старый ли город или вновь произведенный из деревень в чин города: в старом городе есть острог, есть и монастырь; в новом — только один острог. Мало этого, вы можете определить, какая часть города новая, какая старая: в первой находится острог, в старой — монастырь.

Вы даже можете не спрашивать, въехавши в город, об острогах: они, вероятно, в назидание приезжающих и проезжающих, строятся на видных местах. Как же мне было не удивиться, обойти весь город и не увидеть острога! Да в городе ли я? Подхожу к присутственным местам, к небольшому двухэтажному дому; он стоит между двух ворот; у одних стоит часовой с ружьем, у других сидит солдат с тесаком.

— Здесь присутственные места? — спросил я сидевшего у ворот с тесаком солдата.

— Здесь.

— А острог где?

— Да кого тебе там надо? — ответил он мне вопросом,— скажи, кого тебе надо, я там всех знаю.

— Мне никого не надо в остроге; только мне странно показалось, что в вашем городе острога нет.

— Как городу стоять без острога? Без острога как можно! Нельзя!

— Где же острог?

— А вот где! — отвечал он, указывая на одно отделение дома,— вон видишь, где окна с решетками.

Гляжу: точно, окна с решетками; прохожу мимо — арестанты выглядывают... Точно, я в городе! Одно еще меня смущало: как острог может помещаться в доме, а не в замке известной архитектуры?

Иду еще улицею: вижу, и направо кабак, и налево кабак; дальше налево кабак, направо два кабака; глянешь в переулок — и там кабаки... везде кабаки! В Красном Яру человеку, захотевшему выпить, стоит пройти шагов двадцать (дальнее расстояние), и он может найти вывеску: *«Продажа питей»*. Для кого же эти кабаки? Вероятно, есть же в городе люди, и много людей, и людей пьющих, когда столько столь выразительных вывесок.

— Для чего у вас столько кабаков? — спрашиваю я молодую шинкарку.

— Народ пьет.

— Какой народ? Да народу я не видал.

— Как не видал?

— Где же народ?

— Ступайте на базар, там и народ увидите... Как народу в городе не видать!

— Где у вас базар?

— Ступайте вот в эту улицу налево, так и дойдете до нашего базара.

Пошел в показанную улицу — никакого базара и признаков не заметил!

— Позвольте вас спросить: где базар? — спросил я чиновника, возвращавшегося со службы.

— Да вот,— отвечал он, указывая на забор.

— Где?

— Вот... Вот...

Тогда я заметил, что у забора стоят какие-то подмостки,

что-то вроде очень грубо сделанного высокого стула без крыши.

— Это базар? — спросил я.

— Да-с.

Я не знал, что и подумать.

— Как базар?

— Рано утром или вечером на эти подмостки кладут доски, на доски кладут говядину, рыбу, баранину и торгуют.

— Всякий день это бывает?

— Нет! Как можно!

— По каким же дням бывает базар?

— Дней не положено, а как случится.

— Как же я узнаю?

— Помилуйте! Как не знать? Вот и теперь все знают, что Ахметка завтра бьет бычка. Все уже и спешат купить; не успели — всю говядину расхватают... Пойдешь и вернешься ни с чем — базар кончился.

— Рыбу, баранину продают ли?

— Как случится: когда продают, а когда и нет.

— Тогда как же?

— А тогда уж как знаете... Да что говорить,— прибавил он,— у нас часто и хлеба купить нельзя; ни за какие деньги не купишь.

— Это отчего?

— Хлебник один; запьет — ну неделю-две и пей чай без хлеба! Пошлешь за хлебом — а вам вместо хлеба: «Хлебник запил!»*

— Чай-то можно и без хлеба попить, а как же обедать без хлеба?

— К обеду хлебник не печет такого хлеба... Черного, калача не печет.

— Где же покупают?

— Всяк себе дома печет.

— Ну а кому понадобится?

— У шабров займет**.

— А приезжий?

— Вам надо? Походите по дворам: может, кто и продаст вам.

Я недоверчиво посмотрел на него. Мы раскланялись с ним и расстались. Осмотрелся кругом; вижу четыре-пять

* Впрочем, в настоящее время в городе уже два хлебника.

** Шабер — сосед.

лавок с разным товаром в каждой лавке: и с чаем, и с салом, и с красным товаром, кожами, кофе, мылом, железными, деревянными лопатами, чайниками, чашками... Заглянул в лавки: в одних купцы, большею частию армяне, за прилавком дремлют, в других на прилавках спят. Тут же около и между лавок близь десятки кабаков, в одном доме даже два кабака...

Дождался вечера, собственно говоря, не вечера, а часов четырех пополудни, и опять пошел на базар. Базар несколько изменился: на двух подмостках были наложены доски, на досках лежал десяток-другой стерлядей, сазанов; тут же около заборов помещалось несколько торговок с тем же товаром.

— Что стоит стерлядь? — спросил подошедший к торговке чиновник, указывая на аршинную стерлядь.

— Просить лишнего не для чего,— затараторила торговка,— мы без запроса! Тридцать копеек дайте. Сами видите, какая стерлядь...

— Ты бы монета просила*,— иронически проговорил чиновник.

— Зачем монет! Мы просим, что следует... Сами видите!..

— Вижу, вижу!.. Да ты говори толком.

— Сами видите: стерлядь икряная!

— Что ж, что икряная!

— Одной икры больше фунта будет! Как можно тридцати копеек не дать?

— Пятнадцать хочешь?

— Двадцать пять, меньше нельзя! — решительно ответила торговка.

— Пятнадцать!

Торг состоялся на двадцати копейках. Чиновник заплатил деньги, взял стерлядь под жабры и отправился. Торговка осталась одна, покупателей не было; базар еще не разыгрался, и я заговорил с торговкой.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я,— отчего покупателей нет?

— Рано еще,— отвечала та,— вот погодите, станет и народ прибывать, а теперь какому и народу быть! Еще и к вечерням не звонили; зазвонят к вечерням, и народ повалит: всяк будет знать, что базар начался.

* Монет — рубль серебром.

— Что же покупать будут?

— Как что?

— Да где же товар?

— Рыбу покупать будут.

— Да и рыбы тоже, мне кажется, на вашем базаре мало.

— Как мало? Взгляни-кось! — отвечала она, указывая рукой на лежащих и на земле, и на двух подмостках лещей, стерлядей, сазанов, берщей.

— Тут всех рыб-то десятка четыре, а пяти, пожалуй, и не наберешь,— сказал я, посматривая на указанную рыбу.

— Как не быть пяти десяткам? Пять десятков будет!

— Неужто пятью десятками можно накормить весь народ?

— Как можно! Покупает у нас только чиновник, да там еще кой-какой... А у нас без рыбы ни один не живет!

— Те где же берут?

— У нас все рыбаки, свою рыбу едят! Какая неволя от своей рыбы на базаре покупать! Сам ловит: такую выберет, какую знает; ему за свою рыбу денег не платить.

Базар стал разыгрываться; стал покупатель приходить. Покупатель действительно оказался чиновник и *кой-какой;* а кой-какой был шинкарь и присланный сюда или под надзор полиции, или на жительство. Этот покупатель раскупил почти всю рыбу ценой от двадцати до двух копеек за штуку; маленьких стерлядок можно было купить по три-пять копеек за десяток. Часу в восьмом стали расходиться.

— Отчего народа ни на улице, ни в домах не видно? — спросил я старуху, не успевшую еще распродать всех своих сазанов, берщей.

— Мало ли народу!

— Где же народ?

— Видел, сколько народу на базаре было! Другому и купить нечего, так выйдет поглядеть на народ, коли дома дела нет.

На базаре в самом деле было много: во время базара перебывало разного народа человек до тридцати, а то, может, и больше.

— Здесь были чиновники, а жители здешние где же? — спросил я.

— Теперь житель в городе не живет,— отвечала старуха,— а всяк по своим местам.

— По каким же?

— Как по каким? Кто в море пошел, кто на промыслы, кто на ватагу*, кто к неводу. У нас, ты сам знаешь, все рыбаки.

— Ведь не все же уходят в море к неводам; старики, дети, женщины, вероятно, не могут справиться с неводом.

— И старый, и малый, кто к неводу негож, все теперь в садах, все в садах!

— Что они там делают?

— Мало ли там дела!..

— Какие?

— Первое дело — червя давить...

— Как червя давить?

— А так: у нас червя разведется — доржись!** Так этого червя не давить, один только год оставить — сад пропал: года в четыре не справишь! Всякий листок обобрать надо! В каждом саду и лестницы такие понаделаны: яблоки, груши обирать, червя ли давить — лестницу подставят, да и давят.

— И у каждого сады есть?

— Почесть у каждого! А у кого нет, тот нанимается к другому, у кого сад есть.

— Как же домы оставляют хозяева? — спросил я словоохотливую собеседницу.

— А как оставляют: запрут на замок, да и пойдут в сад; а то так цепочку наложут: всяк и знает, что хозяев дома нет.

— Так, без замка?

— Коли замка нет!

— Разве у вас воров нет?

— Как не быть? Есть! Есть воровка Нестеровна! Такая воровка, что и сказать нельзя! Что ни положи, куда ни положи — все утащит! Пропало у тебя что — прямо к ней: «Ты украла?» — «Виновата, матушка, виновата!» — «Говори, проклятая, говори, куда дела?» — «Ицке отнесла». Ицка у нас шинкарь есть... Пойдешь к Ицке, у Ицки и найдешь.

— Стало быть, если что пропало, к ней и идти надо,— сказал я,— она и скажет, где найти пропажу?

— Она и скажет.

---

* Ватаги, промыслы — рыбацкие заведения.

** Здесь говорят не *держись*, а *доржись*.

— И то хорошо!

— Какое хорошо!

— По крайней мере, выкупить можно; хуже было бы, когда бы она не сказывала.

— Хуже, хуже...

— Вот видишь...

— Да что видеть-то? Видеть-то тут нечего! Вот у меня котелок пропал... Котелок-то, я тридцать копеек дала. Пропал котелок, я к Нестеровне. «Ты украла»,— говорю. «Виновата, виновата!» А сама в ноги: такой у ней уж обычай. «Виновата,— говорю,— а что мне из твоей вины? Говори, кому снесла?» — «Бирке»,— говорит. Я к Бирке... Бирка-шинкарь, вон его кабак. Я к Бирке. «Здравствуйте,— говорю,— Борис Моисеевич».— «Здравствуйте,— говорит,— Дарья Петровна» — «А я к вам по делу, Борис Моисеич».— «По какому делу, Дарья Петровна?» — спрашивает Бирка. Будто и не знает, что за дело такое. «Нестеровна была у вас?» — спрашиваю. «Была».— «Оставила вам котелок?» Жид видит, что я знаю: отговариваться не может. «Оставила»,— говорит. «За сколько?» — «Да я косушку дал: десять копеек».— «Как,— говорю,— десять? Нестеровна мне говорила всего за шкалик, за пять копеек». А Нестеровна мне хоть ничего не говорила, да я знаю их натуру: беспременно прибавит...

При этом старуха, лукаво улыбаясь, покивала мне головой.

— Что ж, Бирка отдал вам котелок этот? — спросил я.

— А как же! Только я сказала, что котелок Нестеровна заложила за пять копеек, он и говорит: «Да, бишь, за пять копеек». А сама того — вся дрожу; хочется мне его отделать, да нельзя: пожалуй, и котелок не отдаст... Отдала я деньги, он мне подает котелок, да и говорит: «Вот ваш котелок... Нарочно у себя и оставил, Дарья Петровна, чтоб не пропал ваш котелок...» Я взяла котелок да и давай: «Ах ты, жид проклятый! Жидовская харя! Хотел слизнуть котелок, да еще и прикидывается! Ишь благодетель!» Да я много тут наговорила: и «поганая твоя образина!» и «бога ты распял, свиное твое ухо!»

— Отчего же так ворует эта Нестеровна? — спросил я.

— Кто ее знает!

— От бедности, может быть?

— Какое от бедности! При муже она хорошо жила; умер

у нее муж, сперва плакала, месяца два плакала; а там как запила, как запила! Теперь, если есть у ней грош какой или стянет что — сейчас в кабак!

— Дело плохое.

— Да уж так плохо, так плохо, что и сказать нельзя.

— Да вы бы что-нибудь с ней сделали; может быть, она бы и опомнилась.

— Да уж мы чего-чего с ней не делали! И колотили-то ее, как собаку, до полусмерти, и в тигулевку-то сажали, ничего не берет! Обществó послало было ее в Астрахань... сказали, что там есть такой усмирительный дом, где народ усмиряют, да соврали; по другим городам есть такие усмирительные дома, а в Астрахани такого усмирительного дома нет, так ее назад и прислали.

— Только и есть одна эта Нестеровна воровка? — спросил я болтливую старуху.

— Какое одна! Поди, чай, много и воров, и воровок, да только те не оказываются, а Нестеровна знамая воровка!

— Про других же воров ты, бабушка, не слыхала; может, на кого слава дурная пала?

— Куды услыхать? Что блуд творишь, что воруешь — в колокола не благовестишь, а все скрываешься! Да что скрывать: правда на миру, что масло на воде — наверх всплывает.

С базару я пошел опять по городу; улицы решительно все прямые, хоть город очень недавно стал перестраиваться *по плану;* изредка попадаются дома или выступившие на улицу, или спрятавшиеся за другие дома; улицы, дворы все чисты — относительно растительности; во всем городе вы не увидите ни былинки: таково свойство солончаков.

— Для чего сено накидано на улице? — спросил я попавшегося мне навстречу солдата, указывая на разостланное на улице сено.

— Грязь бывает... вода стоит после полой воды... Так и застилают сеном.

— Лучше бы камнем?

— Как камнем не лучше! Да камню-то кругом Красного Яру, может, на тысячу верст не увидишь, сколько хочешь ищи!

И после такого удобрения все-таки в городе не увидите ни былинки, а потому все дворы чисты; улицы тоже были

бы чисты, когда б всякий, что кому не нужно, не выбрасывал бы на улицу.

Сколько я ни ходил, все дома выстроены из барочного леса; как я после узнал, небольшие дома покупают в Астрахани совсем готовые с крышей, полом, перегородками и даже с рамами; в Астрахань же они привозятся тоже готовые, сверху, то есть из губерний, лежащих выше Саратова. Для постройки же домов по своему вкусу покупают беляну, большую барку, которую пригоняют сюда, здесь ее разбирают и из полученного материала строят.

Редко вам попадется домик из сырого кирпича: разве летняя кухня, необходимая принадлежность здесь при каждом доме, или в Солдатской слободе изба, сбитая отставным солдатом. Дома все кажутся двухэтажными; почти во всяком доме есть чердак с комнатой и балконом; в комнатах этих живут только летом, зимою жить в них нельзя: в них печей нет. В домах прежней постройки окон на улицу очень мало; случается даже одно окно, да и то выглядывает не прямо на улицу, а на какой-то выступ на улице. Большая часть окон и решительно все балконы, за исключением двухтрех домов новых, выходят во двор; говорят, эту постройку переняли краснояры от татар, что очень вероятно. Во многих домах печи изразцовые, с изразцовыми столбиками; на изразцах разные изображения с надписями: изображен молодой человек в русском платье, сидящий на бочке; под изображением подпись: «Храню сие опасно». Под изображением женщины в сарафане, которая держит в руках цветок: «Всегда мне люб» и тому подобное. Хоть редко, но и теперь попадаются плоские татарские крыши, а прежде, говорят, их было гораздо больше; но теперешние обыкновенные крыши делаются здесь не обыкновенным образом: сперва сделают татарскую и на потолок накладут земли, а потом, чтобы прикинуться европейцем, ставят европейскую крышу; но эта европейская крыша — оптический обман, довольно наивно устроенный; сквозь эту крышу вы можете видеть звезды небесные, которые обыкновенная крыша вам бы заслонила. Если дождевая вода кому польется в дом, то не крышу европейскую исправляют, а подсыпают земли на татарскую. Я не говорю про старые крыши; слов «старая крыша», «старый дом» в краснoярском лексиконе не существует; я пишу эти строки в доме, который достался по закладной прадеду моего хозяина назад тому

более ста лет; когда он построен — неизвестно, но и теперь он так крепок, что его топором не урубишь, как говорят плотники. Может быть, отчасти и поэтому в городе нет почти ни одной избушки, повалившейся набок, какие зачастую попадаются в наших верховых городах. Таких развалин едва ли наберете во всем Красном Яру с десяток. Все дома довольно опрятны, чисты; часто ворота украшены репейками; иногда даже перекладина украшена резными узорами, очень похожими на узоры, вышиваемые на деревенских утиральниках или полотенцах. Кстати должно заметить, что краснояры украшают резьбой и такие вещи, без которых они не только могли бы обойтись, но где резьба служит только помехою: прошу, например, посидеть на скамье, украшенной узором в четверть вершка глубиной.

Насыпьте кучу песку в аршин в диаметре, вершка в два вышиною в центре, и вы увидите бугор немногим меньше здешних бугров; на одном из таких бугров и стоит город Красный Яр; часть бугра занята постройками, часть садами, третья, едва ли не самая большая, между городом и садами ничем не занята. В полую воду, когда вода не только подойдет к городу, но и войдет в самый город, когда все окружающие город луга покроются водой, в то время домашний скот выпускают на эти пастбища, на которых, впрочем, травы нет; есть что-то вроде травы; но того, что называется травой, здесь не найдете; по этой причине скот на этом пастбище может гулять сколько угодно, а кушать только тогда, когда вздумает его хозяйка, хозяйке же эта вздорная мысль редко приходит в голову. Идите вы из города хоть к Бузану; вы видите прекрасный, ровный луг, который заливается полою водою; кажется, должна бы быть хорошая трава; подхóдите ближе и видите какую-то жидкую, тощую осоку, которую травой назвать язык не поворачивается; сивая зелень этой осоки, однообразие этой сивой зелени производит донельзя тяжелое впечатление. Вы идете по тропинке, не прельщайтесь тем, что луг вам кажется ровным, гладким, как будто бархатным; едва ступите шаг в сторону, сейчас заметите, что здесь прошел Егорий с гвоздем и еще не проходил Никола с мостом. Вы, вероятно, знаете, что на егорьев день земля замерзает и дороги делаются не только не проезжими, но и непроходимыми от замерзшей взмешанной грязи; это и значит — Егорий по дороге гвоздей насажал. На николин день снегом покроется дорога, замостит-

ся, и тогда делается возможным по ней ходить. По красноярским лугам прошел только Егорий с гвоздем, а Никола с мостом, вероятно, никогда и не пройдет и луга останутся только с одним гвоздем. И вот почему: когда полая вода покрывает эти луга, то скот выходит на бугор; станет сбывать вода — скот сходит еще не на высохшие луга и взмешивает их так же, как наши дороги осенью; когда же луга совершенно высохнут, то колчи на них так тверды, что и по тропинкам, по которым ежедневно ходят за водой, все-таки они заметны.

Сады здешние плодовые; в них гулять тоже нельзя: так ветви свились, что вы можете только ползать, идти же нет никакой возможности, и притом во всем саду вы не видите ни одной былинки; разве где над желобом, по которому протекает вода из чигиря для поливки сада. Мимо садов — единственно возможная прогулка. Вы идете по довольно ровной дороге, и у ног ваших сады. Для верховых жителей это что-то непривычное; здесь же иначе и нельзя: сад без поливки быть не может, а потому устраивают чигири, конные водоподъемные машины, проводят желобом и канавами воду к каждому дереву. Так как на высокое место воду провести трудно, то возвышенность срывают и весь сад выравнивают, а с дороги в сад непременно приходится идти по очень крутому спуску. У этого спуска стоят иногда землянки, то есть холодные комнаты, сделанные из земли; близь них печи для приготовления кушанья и вышка: в несколько сажен вышиною подмостки с крышей, на которых спят.

В воскресенье я пошел в собор — единственная в Красном Яру церковь,— и как-то необычайным показалось мне отсутствие нищих, постоянно стоящих у церквей в других городах. В церкви было гораздо больше женщин, чем мужчин; из мужчин только те, которые невода тянут близь города, приезжают сюда на праздник; женщины же все из садов приходят в церковь. Отсутствие нищенства и здесь бросалось в глаза: все решительно, как мужчины, так и женщины, были одеты более чем безбедно; многие же и для наших городов — роскошно; редкая женщина была повязана шелковым платком; большая часть из них украшали свои головы сетками, шиньонами... Все решительно молодые девушки и женщины были в кринолинах и с зонтиками в руках. Мужчины в казакинах, выстеганных узором снару-

жи, в форменных казацких, в халатах из тонкого сукна, из летних материй — гораздо красивее прекрасного пола; в Красном Яру трудно встретить миловидное личико. Правда, что и между мужчинами красивого типического лица вы не встретите; какого-какого народа нет в Красном Яру: русские, малороссы, армяне, татары, корсаки, калмыки, евреи; только немцами бог обидел, да, кажется, красноярцы об этом не жалеют. Но при здешней распущенности нравов в двести—триста лет русские потеряли свой тип и еще не успели образовать своего астраханского, прикаспийского.

Выхожу из собора; передо мною идет толпа женщин и, не стесняясь публичностью улицы, продолжает свои пересуды.

— Катька-то! — говорит одна пожилая женщина,— Катька-то!.. Ох, грехи наши тяжкие!

— Богатого отца дочь!

— А я так и прежде знала, что из той Катьки прока не будет,— решительно добавила третья.

— Какая смиренница!

— Грехи наши тяжкие!

— Какая смиренница? — резко возразила третья,— хороша смиренница: по пятнадцатому году гулять пошла!

— Э-эх, родная! Да, может, он, старый пес, ее приворожил чем — ведь всяко бывает!

— Али она его!

— Посуди сама: девка по пятнадцатому году, а ему верных-верных шестьдесят.

— Сам ёрник, отец-то... Старик-то!

— Вот бог ему и воздал.

— За отца страждет!

— Где за отца: сама виновата.

Идет толпа другая.

— Дурносвистов-то как нагрузился! — со вздохом говорила одна из идущих.

— Говорят, по тысяче на лодку.

— Экое счастье!

Дурносвистову удалось в нынешнем году рыбу ловить, так этим богомольным старухам и обидно.

Все прошли; за всеми ковыляет старыми ногами дряблая старушонка.

— Скажи, бабушка,— спросил я ее,— об какой это Катьке старухи толкуют?

— Об Катьке? Язык чешут! — зашамкала старушонка.— Им-то что!

— Может быть, родня какая? — продолжал я допрашивать старуху, желая во что бы то ни стало завести с ней разговор.

— Родня! Какая родня! Случился с девкой грех; толковать-то не об чем, вот языком-то и мелют! А спроси-ко любую, не грешна ли она в этом деле? Что теперь какая из кожи лезет, про Катьку-то воет, та самая гулящая баба была! Да и теперь коли сама не грешит, так еще больше на душу свою греха принимает: молодцам девок подводит! Много ли здесь праведных? На кого ни взглянешь — был грех.

— Отчего же это так, бабушка?

— Первое дело — казатчина.

— Что же за казатчина?

— А то казатчина: на два года угонят, что жене делать? Он там грешит, жена дома ложе сквернит! Обоим грех тяжкий, да невольный. Бог им судья, а не мы грешные!

— И у мещан то же?

— И у мещан то же.

— Мещане не ходят же в двухгодичную службу, отчего и у них то же?

— Друг от друга берут: заведется эта погань в городе, ты ее ничем после и не изведешь!

— Правда.

— Коли не правда!

Старуха замолчала, но я от нее не отставал и продолжал допытываться.

— Первое дело — ты сказала, бабушка,— казатчина; а другая какая же причина этой погани, которая завелась, как ты говоришь в вашем городе?

— Другое дело, друг ты мой родной, это жизнь наша — питаться надо; всяка душа пить-есть хочет; всяк, кому только в мочь, или к неводу идет — невод тянуть, а кто в море идет; бабы-то и остаются одни... Да что пересуживать! Прощай, родной!

— Прощай, бабушка.

В Красном Яру не только не стыдятся своего незаконного происхождения, а как будто гордятся этим.

Сижу я раз на берегу, невдалеке от меня сидят человек пять мужиков. Одного мужика лет сорока то называют

Петровичем, то величают Каспаровичем. На Петровича он отзывается как-то нехотя; на Каспарыча — благосклоннее. Беседа разошлась, остался один Петрович-Каспарыч.

— Нет ли у вас огня? — спросил я, подходя к Петровичу-Каспарычу.

— Нет-с, нету: мы этим делом, признаться, не занимаемся,— отвечал он с приветливой улыбкой.

— Извините.

— Ничего-с! Пришли полюбопытствовать на берег? На наш Бузан полюбоваться?

— Да, пошел погулять.

Мы разговорились.

— Скажите, как вас зовут? — спросил я после долгих с ним толков обо всякой всячине.

— Меня зовут Александром Каспаровичем,— отвечал он с достоинством.

— А мне послышалось, что вас ваши товарищи одни называли Каспарычем, а другие Петровичем.

— Это от их самой необразованности! — отвечал Петрович-Каспарыч, снисходительно улыбаясь.

— Как от необразованности?

— А так! — он опять лукаво засмеялся и показывал вид, что от смеху не может говорить.

— Скажите, пожалуйста.

— Изволите видеть: мой отец Каспар Богданыч — немец; только он с моей родительницей не был перевенчан законным браком, родительница моя была замужем за простым мужиком; вот по этому мужику я Петрович! А я до подлинности знаю, что я Каспарыч.

— Почему же вы это знаете? Мать, что ли, вам это говорила?

— Экой вы!

— Что?

— Разве мать станет это сыну говорить? Все говорят, что на ту пору мать с Каспаром Богданычем гуляла! Стало, я по-настоящему, по самому делу и выхожу Каспарыч... Какой я Петрович?!

В другой раз мне случилось слышать подобную штуку в трактире от шестнадцати-семнадцатилетнего мальчика.

В Красном Яру два трактира; в одном даже есть комната чистая, в которой можно остановиться и проезжаю-

щему, и бильярд есть; а другой — то тот же кабак, где, кроме водки, ничего нельзя получить. Так в трактир-кабак я и зашел. Черноглазый, черноволосый красивый мальчик подал мне водки.

— Какой ты молодчина! — сказал я ему.

— Наше дело такое..

— Ты из русских?

— Только одна слава, что из русских; а по-настоящему как есть армянин.

— Это как?

— Меня матушка с армянином прижила, какой же я русский?

— Мать тоже армянка?

— Мать нет! Та русская.

— Она замужем была за армянином?

— Нет! Какое замужем; так жила!

Желание ли показаться не русскими заставило этих людей отказаться от законных отцов или что другое — я не знаю.

Верстах в четырех-пяти от Твери тысячу лет живет корела; отчего мы ее не обрусили? Отчего русские в Якутской области не обрусили якутов, а и сами объякутились? Гончаров рассказывает же, что у русского, живущего у якута, дети не умеют говорить по-русски, а понимают только по-якутски; отчего это?

Стал я шляться по садам, кабакам; в садах нельзя сказать, чтобы работа была трудна: подставят лестницу к дереву и давят себе помаленьку на листьях червя; это делается как-то не спеша и донельзя апатически; чрез несколько минут останавливаются, разговаривают; потом чай пьют, потом кофе; потом обедают, потом... а между этими «потом» работают. Как говорят про патриарха Филарета Никитича — что он знал науку, как управлять царством да отчасти уразумел и священное писание,— так же можно сказать, что краснояры пьют, едят, отдыхают и отчасти работают. Червя давить нетрудно, а завязать лошади глаза, запрячь ее в чигирь — минутное дело; *потом* лошадь сама знает, что ей надо ходить; ежели есть какой мальчишка около лошади — хорошо; а часто и никого нет — и то сойдет.

В кабаках тоже деятельности мало: кабаков много, а покупщиков мало.

— Чем жить? — говорил мне шинкарь, бывший моряк, то есть ходивший в море за рыбой и, что редкость здесь,— русский.

— Торгуете,— отвечал я.

— Какая торговля?..

— Зачем же столько кабаков открыто? Не было бы продажи, не открывали бы столько кабаков.

— Надо же чем-нибудь жить.

— Невыгодно держать кабак — занялись бы каким другим делом.

— Какое выгодно? Поверите ли вы моей совести: в эту неделю на три монета не продал.

— Вы сами хозяин?

— Нет, от хозяина.

— Сколько вы получаете?

— Безделицу! Семь рублей в месяц!

— Семь рублей?

— Водку берем от хозяина по три рубля восемь гривен. Сами продаем распивочно двадцать пять копеек полштоф; ну там нельзя же налить совсем полную... Солдаты сами черпают из ведра, да и то остается лишек... Ведро все-таки обойдется покупателю рублей в шесть.

— Стало быть, можно еще жить,— сказал я,— когда вы получаете от хозяина семь рублей да еще и барыш от водки есть.

— Чем же тут жить? Ведь мы, краснояры, и к чаю, и к кофею люди привычные... За обед тоже без калачика никто не садится,— проговорил он усмехаясь.

— Ищите другой работы, коли, как вы сами говорите, кабак держать находите для себя не совсем выгодным, ежели не убыточным.

— Это время!

— Какое время?

— Теперь такое время! Это время для нас самое тяжелое, а вы посмотрите, как красноярцы зашумят после пятнадцатого мая!

— Отчего вы ждете пятнадцатое мая?

— С пятнадцатого мая по пятнадцатое июня лов запрещен по рекам, все ловцы и прибегают в город, а там и моряки подвалят.

— Морякам какая нужда до пятнадцатого мая? Запрещен лов только в реках...

— Морякам тоже после пятнадцатого мая скоро конец приходит.

— Как конец?

— А так, настанут жары: вода в море бывает такая соленая, все равно что купорос... На припасы нападает чума — ту чуму ничем не ототрешь.

— Какая чума?

— А так, черная такая слизь — ничем ты ее не ототрешь; возьмешь в руки какой припас — так он весь и ползет: просто бросить надо.

— Поэтому моряки и съезжаются в город после пятнадцатого мая непременно?

— После пятнадцатого, а то после двадцатого—двадцать пятого выходят из моря; а сюда приходят, кто далеко стоит, недели через две.

— Тогда и торговля ваша лучше пойдет? — спросил я шинкаря.

— Тогда такая гульня пойдет! Всю ночь напролет гуляют, по улицам ходят, песни поют!

На берегу та же мертвенность: несколько судов разных наименований стоят на берегу; несколько лодок привязано у берега; а некоторые только сдвинуты переднею частью на берег; народу же — будто Мамай прошел... Нигде ни души.

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Велик бог земли русской!

«Никем же враги гонимы, только властию Божиею; мудрость бо плотская что содеяла?»

Кто живал в деревнях далеко от столиц, тот помнит, какою неожиданностью для всех был знаменитый высочайший рескрипт виленскому военному генерал-губернатору; все встрепенулись, и с судорожным смирением ждали с минуты на минуту одни — всех благ земных, другие — всех бед. Этих ожидающих, принадлежащих двум противным лагерям, вы нашли бы во всех классах, во всех сословиях. В рядах и того и другого лагеря было много дворян-помещиков и крепостных мужиков. Одно, мне кажется, в особенности замечательным: вольные исстари крестьяне (государственные, экономические), решительно все вольноотпущенные, а также решительно все аристократы-крепостные крестьяне смотрели на ожидаемое улучшение крестьянского быта с страшною неприязнию; от этого улучшения они видели для себя совершенную гибель и — не знаю, искренно ли — тоже для крепостных.

Толки дворян, сочувствовавших этому преобразованию крестьян, известны: чего они ждали и чего еще и теперь ждут от освобождения крестьян от крепостной зависимости, мы знаем из литературных статей, появлявшихся без счету во всех наших журналах. Надежды освобождаемых высказывались не так громко. Многие прислушивались к недосказанным речам крепостных крестьян и выводили свои решительные заключения.

Большею частью толки крестьян вращались около одного пункта: земля будет наша. Они говорили, что землю «сам

Бог зародил, что барин и пахать-то не умеет — что он с землей будет делать?»

Это мнение, что земля будет крестьянская, еще крепче утвердилось, когда было объявлено, что дворовые люди не получают надела землей.

— Дворовые люди не получают земли,— не раз мне случалось слышать,— оттого, что дворовые люди не умеют пахать земли; да ведь и дворяне тоже пахать не умеют; зачем же им земля?

С другой стороны, слышались и слухи другие. Помещики говорили, что они лучшие полицейские чиновники, лучшие сборщики податей. Не будет этих чиновников-помещиков, водворится безначалие.

— Не будет из того пути,— говорили государственные крестьяне.— Как можно господского подневольного человека вольным сделать?

— Вы же вольные, а ведь тоже мужики!

— Мы! Мы дворянской крови, только не пишемся дворянами!

— С мужиком без палки не сладишь! — говорили вольноотпущенные, только накануне почти вышедшие из крепостной зависимости.

— Как же с вами ладят?

— Мы... мы... не всякому то бог дал...

— Как *я* буду ладить с мужиком? Тогда мужик *меня* и слушать не станет; теперь написал к барину — кто сам воли на то от барина не имеет, барин велит в солдаты отдать, в Сибирь послать... А тогда что? Пойдет безначальщина!

— Нет, ничего не будет,— говорили другие,— недаром про волю и говорить перестали.

— Как перестали?

— Да так, перестали и перестали!

— Толковали про слободу,— говорили еще другие, а есть, которые и теперь еще говорят.— Толковали, толковали про слободу: слобода всем будет, а теперь стали в сипацу загонять.

Эмансипация — слово, должно быть, и хорошее; но это слово — эмансипация,— перешедшее в устах народа в *сипацу,* означало что-то не совсем ладное.

Как бы то ни было, а пришлось волею-неволею идти в сипацу. После известных рескриптов все стали ждать манифеста об освобождении крестьян. Тут-то пошли новые

толки уже о том, как примет народ на первый раз эту волю, да и какая будет воля?

Замечательно, как созревал в умах помещиков вопрос об освобождении крестьян.

— Да что это значит? — спрашивала одна барыня, когда ей прочитали рескрипт.

— Уничтожается крепостное право,— отвечали ей.

— И крепостных крестьян не будет? Крепостных совсем не будет?

— Ну, этого я не хочу! — объявила барыня, вскочив с дивана. Все посмотрели на нее с недоумением.

— Решительно не хочу! Поеду *сама* к государю и скажу: я скоро умру, после меня пусть что хотят, то и делают, а пока я жива, я этого не хочу.

— Как у меня отнимут мое? — слыхал я вскоре после объявления рескрипта виленскому генерал-губернатору. Ведь я человеком владею: мне мой Ванька приносит оброку в год по пятидесяти целковых! Отнимут Ваньку — кто мне за него заплатит, да и кто его ценить будет?

— Никто не спорит, что владеть человеком, как какою-нибудь вещью, безнравственно! — говорили те же самые люди, едва прошло месяца два после первых толков.

— За людей мы не стоим, крестьян должно освободить, но скажите христа ради, за что же у меня землю отнимут и отдадут другому?

— Необходимо крестьянам дать землю,— заговорили еще позднее,— это необходимо для нас самих; мужику нечего будет есть: поневоле пойдет на большую дорогу, сядет под мост — проезду никому не будет, дневной разбой пойдет!

Наконец дозволено было просить государя об освобождении крестьян. По губерниям собрались дворяне: надо писать адресы... Дозволено и адресы подавать.

— Мы подпишем адрес безусловный! — говорили одни.

— Не должно подписывать безусловного адреса! — толковали другие.

— Дать мужикам землю!.. Мужиков нельзя отпустить совсем без земли!

— Не давать мужикам земли! — шумели в одном собрании. Толковали, толковали и подписали безусловный адрес решительно все.

Дозволили и писать, и подавать проекты об освобождении крестьян. Стали и писать, и подавать проекты об

освобождении крестьян. Благородные дворяне, не бравшиеся никогда за перо, стали писать проекты, стали читать эти проекты, только мало охотников было слушать эти проекты. Рассказывают: входит некто во время выборов в дом дворянского собрания, заходит в буфет и находит там всех дворян.

— Что же вы здесь, господа, делаете? — спросил он одного из дворян.

— Водку пьем! — отвечал тот, закусывая только что выпитую рюмку соленым грибком.

— Что же не идут в залу собрания?

— Да что же там делать?

— Как что?

— Да там Семен Петрович читает свой проект, что сам написал.

— Ну так слушать этот проект!

— Нечего там слушать, никто и не слушает! Один и читает...

Заглянул этот некто в залу: там один барин читает, а другой барин этого барина с видимым вниманием слушает.

— Там Семена Петровича кто-то слушает,— сказал он, воротившись опять в буфет.

— А это, верно, Петр Семенович. Ну да, это Петр Семенович!

— Отчего же один только Петр Семенович слушает Семена Петровича?

— Тому нельзя не слушать!

— Отчего же?

— Нельзя: Петр Семенович должен Семену Петровичу...

Да и в самом деле: если Петр Семенович не станет слушать Семена Петровича, Семен Петрович потребует долг с Петра Семеновича, а у Петра Семеновича и денег на ту пору, может быть, нет.

А проекты были великолепные!.. Одни предлагали так, другие иначе. Одни говорили, что, конечно, крестьянам, хотя и составляют они помещичью собственность, необходимо даровать свободу, но при этом не должно забывать и права помещиков на их собственность; а потому предлагали всех крестьян выкупить за цену чрезвычайно умеренную, а именно: так как за человека, отданного в рекруты, казна платит триста рублей серебром, то и за освобождение следует заплатить по тому же расчету; а как сверх

того крестьянам нужна земля, то и за землю должны дать помещику из казны: за конопляники по двести рублей, а за распашную — по сто пятьдесят рублей.

— Помилуйте,— говорили этому писателю,— да ведь вы хотите взять за часть вашего имения в десять раз больше, чем стоит все имение!

— Этот выкуп должна произвести казна, а казна должна быть великодушна.

— При всем великодушии казне и деньги нужны; а ежели в казне не хватит столько денег, сколько нужно по вашим расчетам? Тогда как?

— Да что казна! Не о том вопрос! Вы согласны ли с моим проектом? — спрашивал писатель своих сограждан, сообщая им вкратце на словах свой проект.

— Все согласны! Все согласны! — ответствовали сограждане.

— На этих условиях все согласны!

И проект об освобождении крестьян переписывался крепостным писарем и отсылался куда следует, а сочинитель проекта получал заслуженное уважение и начинал пользоваться авторитетом государственной головы.

— Читали вы проект такого-то? — спрашивал один господин другого.

— А вы читали?

— Великолепный! Гуманный! Представьте: всех крестьян без всякого возмездия помещики отпускают на волю. Но тут представляется два вопроса: первый, где мужикам взять землю, потому что мужикам земля необходима, без земли мужик пропадет. Второй вопрос вытекает из первого. Первый вопрос решается чрезвычайно удачно и чрезвычайно просто. Земля мужикам нужна. А как земля в наших губерниях вся барская, и мужикам отдать эту землю нельзя, то переселить мужиков на вольные земли в Сибирь, разумеется, на казенный счет. Теперь — мужиков переселили в Сибирь, кто же нам будет работать? Это второй вопрос, который тоже совершенно решается: для помещиков должно выписать работников из Германии и Северной Америки, где, как известно, земледельцы очень искусные!

Отсылался и этот проект. Мало этого, все составители проектов задумали печатать свои произведения, редакторы журналов были засыпаны проектами, из которых один был лучше другого... но увы! — читателей этих журналов редак-

торы не рассудили за благо познакомить с этими великолепными произведениями.

— Слышали вы, Иван Михайлович послал свой проект в «Современник»? — спрашивал меня один господин, рассказав, кстати, и самый проект.

— Нет, не слыхал.

— Как вы думаете, скоро напечатают проект Ивана Михайловича?

— Право, я и этого не знаю.

— Прекрасный проект; ежели этот проект кому не понравится...

Недели через две, через три я опять встретил этого господина.

— Ведь проект Ивана Михайловича не напечатали,— объявил он мне.

— Еще рано, может быть, еще и напечатают,— отвечал я.

— Нет, не напечатают: ему пишут из Петербурга, что не напечатают, и проект назад отдали... Скажите, пожалуйста, почему же этот проект не напечатали в «Современнике»?

— Право, не знаю.

— Ну однако ж?

— Я думаю, не хорош.

— Нет, проект прекрасный!

— Вероятно, не согласен с направлением журнала, в который посылалась статья.

— Что ж из этого? — спросил он, совершенно не понимая, в чем дело.

— Ну тогда не напечатают.

— Как! Он будет врать черт знает что, а тут и дела не позволяют сказать! — горячился мой собеседник.

— Как не позволяют! Печатайте в другом журнале.

— А как ни в другом, ни в третьем не станут печатать?

— Тогда пусть печатает сам отдельной брошюркой.

— А это можно?

— Можно.

— Как же это сделать?

— Отдать в цензуру, после в типографию; напечатают — продавать.

— Ведь в типографию надо деньги вперед заплатить, а после продавать?

— Да, вперед.

— Ну нет — слуга покорный! Там еще, пожалуй, своих денег не выручишь!

— Может быть.

— Нет, по-моему, не так: издаешь журнал, печатаешь проекты — печатай все!

— Да ведь и журнал, кроме траты денег, может иметь другой интерес в статье.

— Какой там интерес! Просто сказать: проект напишет какой-нибудь записной писатель, у которого и штанов-то нет,— печатают... А наш брат напишет — бесштанные господа ходу не дают...

Несмотря на эту несправедливость, во всех журналах было очень много толков, да и теперь продолжаются, об устройстве крестьянского быта; и большая часть журнальных статей по этому предмету принадлежит помещикам.

Собрались губернские комитеты и разъехались; съездили в Петербург депутаты от губернских комитетов и вернулись; стали ждать манифеста. Простой народ ждал этого манифеста от праздника до праздника: не пришел к рождеству, придет — думал народ — к светлому празднику; светлый праздник обманул, не обманет петров день... Образованный класс ждал манифеста к какому-нибудь высокоторжественному дню: к дню коронации, тезоименитства государя или наследника. И тут-то пошли толки, как примет народ на первый раз желанную волю.

— Скажите, пожалуйста,— спрашивал меня тогда один мой знакомый литератор,— скажите, успеет мать приехать в Москву из деревни?

— Отчего же не успеет?

— Да ведь будут беспорядки после объявления крестьянам свободы... Как вы думаете?

— Беспорядков, вероятно, никаких не будет,— отвечал я, хоть мне и очень не хотелось отвечать.

— Вы сами изучаете и русскую историю, и быт русского народа, вам должно быть это лучше известно...

Встретился я на одном постоялом дворе с господином, ехавшим в своем тарантасе.

— Что, хозяин, народ ждет, чай, не дождется воли? — спросил он дворника.

— Как, родной, ваше благородие, не ждать: тогда мужички сподобятся свет увидать! — отвечал хозяин-дворник.

— То-то пойдет потеха! — заговорил, посмеиваясь, барин.

— На что потеха! От этого спаси бог!.. Дай, господи, эту благодать с миром, с любовью принять!

— Надо бы с любовью,— продолжал барин,— а без потехи делу не обойтись.

— Обойдется, бог даст!

— Нет, не обойдется!

— Обойдется: спроси кого хочешь! — утверждал хозяин-дворник.

— А давай спросим! Как ты думаешь,— спросил он меня,— станут тешиться?

— Нет, не станут.

— Ты это почем знаешь? — спросил он меня уже гораздо более строгим голосом.

— Да я не знаю, почему должна произойти какая-то потеха... и что такое эта «потеха»?

— Эй, малый! — крикнул он проезжавшему с возом мужику, не обращая больше внимания на меня.— Малый! Ты из каких? Господский, что ли, или вольный?

— Был господский,— угрюмо и как-то нехотя отвечал проезжий мужик.

— А теперь?

— Да и теперь пока господский.

— Как «пока» господский?

— Пока царь волю всем пришлет, по тех пор и мы господские.

— Хорош у вас барин?

— Хорош! Господа разве бывают плохи? Господа все хороши!

— Все бы, чай, погулять над барином? — продолжал приставать господин.

— Тешиться не тешиться было прежде, а на последях и толковать об этом нечего!

В этом вопросе партии резко отличались классами: известного сорта помещики уверены были, что произойдет нечто такое, что известно было под таинственным наименованием «потехи»; весь народ знал, что не из-за чего даром в Сибирь идти.

Около десятого марта 1861 года был прочитан манифест 19 февраля. Но прочитан он был не везде толково и ясно: отсюда толкованья, отсюда нелепицы. Так, например, мне

случалось слышать, что «воля от трех царей пришла». Оказывалось, что такое понимание от того произошло, что высочайший титул был невнятно прочитан...

Другие толки были еще страннее.

— Эта воля давно, братцы, пошла,— толковал при мне толпе мужиков и крестьян отставной солдат.

— А как давно?

— А так давно, когда еще был жив сам польский король в своем польском королевстве.

— Навряд это так!

— Так! И в указе сказано, что эту волю еще батюшка царь Николай Павлыч задумал, а мы при нем и Польшу-то покончили...

В одном селе старик-поп стал читать с амвона в церкви манифест; разбирал плохо и, плохо разбирая, прочитал: «О сени... о сени... нет, ребята! Осени себя крестным знамением, православный народ!»

Народ вообразил, что в манифесте сказано что-то о сене, чего священник не хочет читать. Заставили читать дьякона, но о сене все-таки ничего не было. Взяли манифест, вышли из церкви и стали читать сами.

Как бы то ни было, а воля от одного царя пришла, стали ждать еще две воли... Ожидания скоро сбылись: пришла и другая воля — прислано высочайшее положение 19 февраля с царскими послами, как звал народ генералов свиты его величества и флигель-адъютантов. Эта другая воля была в одном городе получена раньше, в другом позже.

— Отчего воля не всем зараз сказана? — допытывались мужики.

Небрежность в рассылке экземпляров положения была невероятная: во многие деревни было прислано вместо полных экземпляров положения несколько экземпляров некоторых листов; например, в Орловской губернии раздавали в одной деревне тетрадь, *несшитую*, из двадцати экземпляров правил о людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области; в другой деревне — дополнительные правила о приписных к частным горным заводам... И таких экземпляров было множество.

— У нас что за воля!.. У нас воля восемьдесят семь листов, а вот графским привезли на ста девяноста трех листах, братец ты мой! — с завистью говорил мне один мужик.

Все единогласно говорят, что царская воля везде при-

нята со страхом и трепетом, как что-то священное, святое, несмотря на то что она была объявлена чиновниками, которые неизвестно по чьему приказанию составляли разные легенды.

— Помещики знали, что вам на воле лучше будет; вот они и просили государя дать вам волю, а ваш барин прежде всех! — вразумлял один такой чиновник, объявляя волю мужикам.

Зачем все это говорилось? Затем ли, чтобы мужики, видя явную риторику в одном, не верили ничему вообще?

— Как прослышали мы эту волю,— говорили мужики,— сами себе не верим! Столько прежде говорили, что уж и всякую веру потеряли! Одначе воля пришла: сам чиновник из губернии приехал; привез волю, собрал сходку, с каждого двора по человеку, а и два ничего. Стал толковать сходке; толковал тот чиновник много пустого. Потолковавши сколько ему было нужно, говорит:

«А кто у вас, ребята, старше всех?» Мы глянули друг на дружку да и говорим: «Старше старосты у нас человека нету».— «Нет,— говорит чиновник,— староста старше всех вас чином, а мне укажите, кто старше всех годами?» Мы опять переглянулись промеж собою. «Годами старше Арсения Петрова у нас старика нету; Арсений Петров самый старый у нас старик!» — «Ну подойди сюда ко мне, Арсений Петров!» — кликнул чиновник. Подошел этот самый Арсений Петров.

«На,— говорит чиновник,— на тебе волю, держи!» — А сам сует ему в руки книгу, ту самую волю. Арсен так и упал на коленочки! «Я человек,— говорит,— старый, не смогу сдержать воли!» Как загогочет чиновник, а Арсен еще пуще заробел! Кланялся, кланялся, а все-таки волю ему на руки сдали! Взяли эту волю. Читать надо, что в той воле сказано. У нас дьячок есть, Афонькой зовут: малый шустрый и письменный тоже; порядили того дьячка Афоньку волю читать; запросил полтинник денег, полштофа водки — дали! Только стал читать дьячок эту волю — не могит читать ту волю! А для того не могит, что та воля на четыре грани написана: и туда верни, и сюда верни, а нам читай всю волю сряду!.. Так даром и отдали водку и деньги. Может, знаешь, у Афросимовских садовник есть, в Москве учился; вот тот может волю читать. Тот объявил штоф водки и целковый денег... Что же ты думаешь? Ведь еще пол-

штофа надбавили! Как стал читать с утра, так только на другой день к вечеру кончил. Половина барщины спит, другая слушает! Половина барщины спит, другая слушает! Так и прочитал!

— Что же вы поняли? — спрашивал я тех мужиков.

— А что поняли? Тебе говорят, та воля на четыре грани написана!

— Для чего же вы читали ту волю, коли из вас никто и понять ее не может.

— А так, друг любезный, закон велит! А мы, друг любезный, от закону не прочь!

Я бы не стал рассказывать этого случая, если бы он был редким исключением; но, к несчастью, воля была прочитана почти повсеместно таким образом... Чиновникам и помещикам крестьяне не верили; поневоле им пришлось нанимать выгнанных дьячков, подьячих да промотавшихся помещиков. И должно сказать правду: эти люди читали волю добросовестно; желание ли добра крестьянам, боязнь ли страшной ответственности за ложное толкование — то и другое вместе действовало на чтецов, но я не встречал ни одного умышленного толкователя из этих грамотеев-чтецов. Да из чтецов вообще было мало и толкователей: все боялись ошибиться, а ошибиться было легко! Многих из этих чтецов ловила полиция, но, кажется, ни одного, кроме известного Антона Петрова, не нашли виновным.

Весной, в 1861 году я был у П-ва в Мценском уезде. П-в, попотчевав своих мужиков водкой, повел с ними такую речь:

— Вы знаете, что я вас никогда не обманывал ни в чем?

— Знаем, батюшка Иван Васильевич, знаем! Ни в чем, как есть ни в чем никогда ты нас не обманывал! — загомонили мужики.

— Ну так вот что я вам скажу: по положению приказано в два года уставные грамоты написать.

— Так-с!

— В этих грамотах должно сказать, сколько вам надо земли, какая земля и сколько с вас оброку за ту землю по закону следует или какая работа за землю вместо оброка положена.

— Так-с!

— Да ведь вам читали новое положение?

— Читать-то читали,— как-то недовольно заговорили мужики.

— Ну так ведь в положении об этих грамотах прямо сказано?

— Разве сказано?

— Да ведь вы сами же читали! Как же вы спрашиваете, сказано ли?

— Да что ж, что читали...

— Разве плохо вам читали? Разве не все поняли в положении?

— Да ничего не поняли! Где там понять?! Мы люди не письменные!

— Ну так я вам говорю правду: приказано уставные грамоты написать. Ежели мы согласимся сами об земле — какая вам отойдет, какая мне — сами напишем грамоту; а не сойдемся, заспорим — приедет от казны чиновник, тот нас разведет.

— Нет, Иван Васильич! До казны не пущать! Расходиться самим! Как ни на есть, а расходиться промеж собой без казны! До казны доводить — последнее дело!

— Отчего же?

— Оттого: ты заплатишь — тебе землю нашу отрежут; наша пересилит — тебя обидят!

— Ну так давайте сами в земле разберемся. Вам отдам всю землю ближнюю, а себе беру дальнюю; так хорошо будет?

— Как не хорошо! Чего ж лучше, Иван Васильевич! Нам вся ближняя!

— Так и грамоту сейчас напишем. Старики! Станем грамоту писать!

— Грамоту-то, Иван Васильич, грамоту-то ты писать погоди!

— Отчего же?

— Да так, погоди: ведь над нами не каплет! Куда нам спешить?

— Чего же ждать?

— Да посмотрим, как люди станут делать, так и мы станем с тобой тогда уж! Ведь сам знаешь: теперь дело на целый век идет; стало, надо хорошенько пораздумать да поразмыслить!

— Да вы сами говорите, что я вас не обману, сделаю по закону...

— Как тебе, Иван Васильич, не верить! Беспременно по закону сделаешь! Об этом и толку нет!

— Отчего же теперь не хотите грамоты писать, когда мне все вы верите?

— А надо правду сказать! — заговорил один старик попьянее и потому, может быть, пооткровеннее других.— Это точно, что ты доселева нас не обманывал, да теперь ведь дело-то вековое! Посмотрим, как другие, так и мы!

После этого и говорить было нечего, и мой хозяин ушел не только со сходки, но и совсем со двора к своим соседям в гости, а я пошел в дом. Спустя несколько времени ко мне в комнату вошли человека четыре мужиков с волей под мышкой у одного; за этими мужиками стали входить и еще по одному, по два, так что в несколько минут в моей комнате собрались все мужики, пировавшие до этих пор на дворе.

— Что вам, старики, надо? — спросил я вошедших ко мне мужиков.

— Да вот, Павел Иванович, сделай такую милость, покажи нам в нашей воле тое место, где сказано: кто эту книгу будет читать, того беспременно сечь! — предложил мне один из пришедших стариков, подавая свой экземпляр «Положения» или, по-ихнему, «волю».

— Нету, братцы, такого места в вашей воле,— отвечал я старикам.

— Есть! Право, есть...

— Да нету, во всей книге нет такого места.

— Поищи, пожалуйста, право, найдешь! — настаивали подгулявшие старики.

— Нету такого места во всей книге; эту книгу я сколько раз читал — такого места не видал! Да и для чего было бы вам давать такую книгу, которую читать не велено; эту книгу и дали всем нарочно, с тем чтобы ее все читали!

— Верно тебе слово говорим, что есть такое место, где сказано: кто эту книгу будет читать — беспременно сечь... Уж сделай же такую твою милость, покажи нам тое только местушко; нам больше ничего не надобно! Пожалуйста, возьми эту самую книгу да поищи нам это местушко.

— Этого места во всей книге этой нет, стало быть, и искать нечего.

— Так нет этого места во всей книге? — спросил один из мужиков.

— Нет!

— А такое место есть, что все сады, все амбары барские нам следуют?

— И такого места нет, а если ты будешь это говорить, то беспременно будут пороть.

— Так нет такого места во всей этой книге, говоришь ты?

— Нету!

— Дай же, я тебе покажу! — и с этими словами он поднес мне «Положение», стал перевертывать листы и нашел последнюю страницу манифеста по клейму, приложенному вместо печати (мужики были неграмотные).

— На, читай эту страницу!

Я стал читать: «...дабы внимание земледельцев не было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий...»

— Читай еще!.. Читай еще! Тут! Тут оно! Читай! — заговорили радостно в толпе,— тут оно сказано...

— «...Пусть они тщательно возделывают землю...»

— Это место! Это место! Читай, читай!

— «...и собирают плоды ея...»

— Ну что? — спросил с торжеством мужик.

— А что?

— Да что ты прочитал?

— Прочитал, чтоб вы хорошенько работали землю и собирали тогда...

— Плоды?

— Ну да: будешь хорошо пахать, посеешь рожь — рожь и родится хорошо; вот тебе и плоды...

— Нет, Павел Иванович! Посеешь рожь — рожь и родится, а плодов все-таки не будет! Плоды в садах, а сады-то барские; а как плоды нам, стало, и сады к нам отойдут! Вот что!

— Пустое, братцы, болтаете!.. Здесь не так сказано...

— Читай! Читай еще!

— «...Чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять семена для посева на земле...»

— Ну а это что?

— А это вот что: будете хорошо работать, будут у вас житницы полные, вы и берите семена...

— Ишь куда!.. Не туда, барин, прешь! Какие у нас житницы?! Амбаришки! Куда тут житницы!.. Амбаришки!.. А то — «полные житницы»,— заговорили в толпе.

— Правду вам говорю, старики, сущую правду...

— Правду! Хороша правда!.. Читай еще!.. Читай! Читай!

— «...На земле постоянного пользования или на земле, приобретенной в собственность...»

— А это что, по-твоему?

— Это значит: засевай землю, которую дает тебе барин пользоваться, или ту землю, которую сам купишь, приобретешь в собственность.

— Про барскую землю тут и помину нет, а говорят: постоянно ты землей пользуйся, а коли хочешь, купи. Только для чего же я покупать стану землю, коли и так можно ее пахать? Хочешь пахать — бери землю, а не хочешь пахать — покупай!.. А нам не пахать — и делать с землей нечего!

— Не так вы, братцы, толкуете...

— Читай-ко еще, так будет! Ты знай свое дело: читай, а мы уж разберем! Читай!

— «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами божие благословение на твой свободный труд...»

— Это как, по-твоему, Павел Иваныч, обозначает?

— Вы теперь свободные люди; сперва ходили на барщину, а теперь, как землю выкупите, так свободно, как хочешь — так и работай; вот тебе и свободный труд...

— Так, да не так! Сказано: перекрестись и только! Там, значит, и пошел сейчас свободный труд! Какая тут купля?

— Ой, братцы, будут вас за эти ваши толки больно наказывать!

— Наказывать долго ли? Было бы за что!

— За самые за эти ваши толки...

— За эти слова сечь не за что: это царская воля!

Этим-то мужикам написано было «Положение»...

Ну-с, хорошо. Только наехали отовсюду особы разные и начали действовать. Ну, известно, особа народ знает мало, а знает ли — нет ли одних пейзан. И за всем тем — либералы. Поэтому были очень частые сцены.

Попробуем изобразить одну. Действующие лица: 1) господин, приехавший было к пейзанам, но после узнавший, что он дело имеет не с пейзанами, а с простыми мужиками и потому в первый период своей деятельности принимавший пейзан с жалобами без всякого разбора и без разбора

же распекавший и помещиков, и чиновников (исправника хотел, как носились слухи, к позорному столбу прибить!), а потом, когда пейзане надоели, круто повернувший к системе сечения; 2) барыня, уверенная, что *у холопа не душа, а пар, все равно как у коровы,* и не понимающая невозможности ей самой сечь людей — своих холопов и необходимости досыта кормить их. Действие происходит в Орле в 1861 году в первый период деятельности, то есть в пейзанский.

Особа: Почему вы, сударыня, не явились ко мне по первому требованию?

Барыня: Ах, отец родной! Да я думала, что ты сам ко мне пожалуешь: ведь я дама, как чесно́й человек! Думала, сам ко мне приедешь!

Особа: На вас, сударыня, ваши люци жалуются, что вы их совсем не кормите.

Барыня: Ах они хамы!.. Да я их в Сибирь, хамов! Как они смеют жаловаться, как чесно́й человек! Да я как чесно́й человек десяти тысяч рублей серебром не пожалею...

Особа (вспылив): Как?! Так вы меня считаете взяточником?! (Идут распеканции, угрозы барыне; барыня удаляется со стыдом.)

Сцена вторая там же и в тот же пейзанский период. Мужики приходят с просьбой защитить их от обид и притеснений.

— Кто же вас обижает? — спрашивает особа, приняв их, как истых пейзан, в зале, а не в передней.

— Да вот, твоя светлая светлость! В уездном суде с нас взятку просят! Помилуй!..

— Сколько с вас просят?

— Просят девять рублей тридцать одну копейку с половиной, твоя светлая светлость*.

— Кто с вас просит?

— Да все в суде просят! Говорят, что следует с нас столько требовать.

— Это грабеж! Дневной грабеж, братцы!

— Грабеж!.. Как есть грабеж дневной, твоя светлая светлость!

— Позвать сюда полицийместера! — гаркнула особа.

Сейчас же явился полицийместер.

* Цифру я поставил для красоты слога, настоящей не помню, но только верно, что были рубли с копейками.

— Как! У вас взятки берут?

— Как? Где? Ваше сиятельство! — спрашивает оторопевший полициймейстер, зная, что нет такой полиции в мире, в которой бы не брали взяток.

— У вас берут! — кричит особа,— у вас, в уездном суде!

— Как, ваше сиятельство? В уездном суде? — говорит полициймейстер, у которого совершенно отлегло от сердца, как только он услыхал, что дело идет об уездном суде, а не о полиции.

— Да! У вас, в уездном суде...

— Да помилуйте, ваше сиятельство: я не судья, я полициймейстер!

— Это все равно; это у вас в городе, а в городе вы за всем должны смотреть!

— Меня из суда выгонят, ваше сиятельство, если я стану там кричать о взятках.

— Знать ничего не хочу!.. Вы виноваты, не оправдывайтесь! Ступайте сейчас в уездный суд, узнайте, кто смеет требовать деньги с этих несчастных мужиков?

Полициймейстер уехал и через минуту воротился из уездного суда.

— Ну что? — кричит опять особа,— узнали, кто просил с мужиков взятку?

— Узнал, ваше сиятельство; только с мужиков не взятку просят, а в пользу казны деньги, которые с них следуют по закону.

— Как по закону?

— Так, по закону с мужиков следует взыскать девять рублей с копейками.

— Не может быть такого закона, который бы приказывал с бедных мужичков требовать столько денег! Нет такого закона!

— Есть, ваше сиятельство; не было бы такого закона, секретарь не осмелился бы так решительно отвечать вашему сиятельству, скорее бы отперся.

— Что вы мне говорите!.. Поезжайте, привезите ко мне секретаря с законом...

Привезли секретаря, который, в свою очередь, привез с собою том свода законов.

— Как вы смеете требовать взятки с бедных мужичков? — крикнула справедливо рассерженная особа на секретаря, едва успевшего ввалиться в комнату.

— Помилуйте, ваше сиятельство...

— Что тут миловать!.. Как вы смели требовать взятку с мужиков?

— Я не требовал никакой взятки, ваше сиятельство...

— Что же вы требовали?

— С них по закону должно взыскать; им и объявлено это в присутствии суда.

— Покажите мне закон!

— Извольте смотреть, ваше сиятельство,— сказал секретарь, указывая на статью свода законов.

— А в моем есть? — спросила особа.

Этот вопрос обозначал, что особа, предположив себе, что ее будут в провинции непременно обманывать, привезла из Петербурга свой экземпляр свода законов, в котором, разумеется, никакой фальши быть не могло.

— А в моем есть? — спросил он секретаря, подавая ему свой экземпляр свода законов, ибо сам отыскать, хоть и в своем законе, не мог.

— Есть и в вашем, ваше сиятельство,— объявил секретарь и, к великому удивлению, нашел этот закон и в его петербургском законе.

— Ну хорошо! — сказала немного озадаченная особа.— Вот вам, братцы, деньги,— прибавила она, обращаясь к мужикам и отдавая им свои деньги.

Таково было положение вещей в такое время, когда старый порядок, а вместе с тем и старые власти, которыми он держался, разом рухнули. Помещики от власти были сейчас же устранены, с предоставлением им права посылать своих людей (временно обязанных) к становому; становым приставам, как разнеслись тотчас же слухи, прислано было секретное предписание не сечь людей, присылаемых для этой операции помещиками. Помещики стали присылать людей для наказания к становым и, к величайшему своему недоумению с примесью негодования, увидали, что сам становой NN, любимый и уважаемый именно за искусство смирять строптивых рабов, даже этот становой — не наказывает присланных к нему. Мужики тоже заметили и из любопытства охотно ездили к становому с посланным от барина и не без удовольствия сообщали барину, что становой их наказывать не стал!.. И такова вышла задача, что станового совсем бояться перестали.

— И что за оказия такая, братцы мои! — говорили му-

жики.— Бывало, едет становой — все поджилки дрожат, а теперь приедет — ничего, уедет — тоже ничего!..

В это время вдруг разыгралась страшная комедия. Все мужики, решительно все, которых загоняли в сипацу, или, говоря высоким слогом, освобождали от крепостной зависимости, все хотели *справлять царскую волю,* то есть отбывать барщину по положению, и часто, не понимая положения, совершенно неумышленно грешили против него, за что были усмиряемы. Если к этому прибавить, что многим из господ не нравилась и самая работа по положению, то сделается понятным, почему так часто мужиков считали возмутившимися.

Первый бунт, происшедший по случаю сипацы, про который мне удалось слышать, был в Орловской губернии Малоархангельского уезда во многих деревнях. Мужики вычитали из «Положения» трехденку: три дня работать на барина, три на себя. Воля пришла в начале великого поста, а в это время в деревнях работ почти никаких нет. Вдруг являются на барский двор все крестьяне поголовно, от мала до велика: и старые старики, и старухи, и дети, и взрослые — все, сколько есть!

— Что вам, братцы, надо? — спрашивал их помещик,— зачем пришли?

— Работать, батюшка, работать! — отвечали и мужики, и бабы.

— Теперь работать нечего,— отвечал им барин,— работы нет никакой.

— Что хочешь заставь делать, батюшка!

— Я же вам говорю, что теперь работы у меня для вас нет никакой.

— Теперь, батюшка, нельзя не работать! Заставь хоть что-нибудь работать...

— Ну, чистите двор, когда хотите! — приказал барин и ушел от них.

Народу собралось до двухсот человек, двор был до двухсот квадратных сажень; двор был вычищен в одну минуту, но работники не уходили с барщины, а тут же копались на дворе.

— Ступайте домой, ребята! — сказал им помещик, опять выходя к ним.

— Кончили работу?

— Давай работы еще!

— Да нету, братцы, работы никакой нынче,— отвечал им помещик.

— Можно ли идти домой? — спрашивали мужики недоверчиво.

— Можно, можно, братцы,— уговаривал их барин.

— Не было бы нам худа? Не было бы нам беды от этого какой?

— Не будет беды, не будет никакого худа, ступайте домой!

Мужики разошлись по домам.

В другой деревне пришедших мужиков заставили (тоже человек до двухсот) прорыть несколько сажен канавки в снегу для стока вешней воды, чем мужики остались тоже довольны. Эти два бунта остались без усмирения. Впрочем, не всегда обходилось так благополучно.

— Ну как, братцы, у вас воля идет? — спросил я раз в кабаке мужиков. сперва попотчевав их водкой.

— Что ты, брат? — отвечали мне с испугом мужики.— Про волю не толкуй!

— Отчего же?

— Наказывать будут!

— За что же?

— А за то: про волю, сказано, никто толковать не смей! Вот тебе и вся недолга.

— Неправду вы, братцы, говорите; про волю не запрещено говорить, только надо говорить дело, надо говорить то, что сказано в «Положении»; а, конечно, если станешь толковать что-нибудь не так, станешь нарочно народ смущать...

— Это все едино!.. Сказано тебе: об воле толковать никак не моги!.. Об воле станешь толковать — беспременно сечь станут! Все тут теперь тебе сказано...

— Во-первых, мы не станем пустого болтать,— настаивал я,— а во-вторых, меж нами, кажется, ни одного пустого и человека нет, и в донос идти некому...

— Теперь, может, и нету, а зайдет кто... тут кабак... А мы вот тебе что скажем: бери ты с собой свою водку, пойдем к нам; ты у нас и переночуешь... Дома и толкуй, о чем знаешь: дома свои стены не выдадут!

— Живите, братцы, посмирнее! — сказал я, войдя с ними в избу и садясь за стол.

— Как, братец ты мой, несмирно жить? На последях

перед волею бунтовать не приходится! Что и не так — лучше смолчать, на себе перенесть; мы и зарок такой сделали: кто станет бунтовать — своим судом с тем расправиться, а до суда делу не доходить.

— Так-то лучше, братцы,— продолжал я,— а то ведь будет для вас же хуже...

— Знамое дело, что хуже!

— Чуть мало что — приведут к вам солдат...

— Да и теперь секут,— перебил меня один из мужиков с изумительным хладнокровием.

— Как? За что? За бунт?

— Какой там бунт! Бунта никакого нет!

— Не может быть, чтоб ни за что ни про что наказывали; вероятно, за какое-нибудь дело?

— А может быть, и за дело какое; только это никому не известно.

— Разве что-нибудь случилось?

— Видишь, приехал чиновник, согнал окольных людей со всего околотка... Человек триста нагнал.. собрал сходку, вышел да как крикнет: «Хочешь голову срубить — голову срублю, хочешь повесить — повешу; хочешь так сказнить — так сказню! Тебе и не надо в Сибири быть — в Сибири будешь, в Сибирь пошлю!» Да и долго, долго он толковал.

— Да об чем же?

— А все об том же! А там как крикнет: «Всех сечь!» Как сказал он то слово... а ребята все в поле пахали, в своем клину под пар землю подымали. Что ты будешь делать? Поймали Матюшку, так мальчонко лет одиннадцати. «Садись, мол, Матюшка, верхом, беги в поле скорей, кличь народ с поля сечься!» Ну кто услышит, сейчас лошадь из сохи, да и домой — сечься... А тут еще, на счастье, едет Матюшка мимо суседского поля, и там тоже поднимает парину батрак из-под Орла, Васильем звать. «Беги, Василий,— кричит ему Матюшка,— беги, зови народ сечься! Ты беги в тот клин, я — в этот!» Василий, знамо дело, выпрег из сохи лошадь, погнал тоже сзывать народ; вдвоем живо собрали. Приехали все домой, их передрали, они опять уехали в поле пахать, а чиновник в Орел поехал...

— Как? Всех наказывали?

— А кто их знает: много секли! Василий-батрак... и делов-то его всех было, что в деревню приехал,— отработа-

ли! А ведь и другие окольные были — тем ничего! Значит, не попались на глаза!

— Да он бы сказал, что он нездешний!

— Скажи!.. Скажут «бунтуешь»! А у нас брат, бунтовать никто не соглашается!

Еще мне привелось слышать об одном несчастном в Архарове Малоархангельского уезда Орловской губернии. Должно заметить, что архаровцы, получивши манифест 19 февраля, положили на сходке не бунтовать, а вести волю, как царь велел. Вели они волю, вели, да и довели до усмирения: приехал исправник усмирять архаровцев. Зачинщик недоразумений ушел, кажется, в Иерусалим богу молиться еще до усмирения, и усмиряли без него. Усмирение было оригинальное: собрали всех мужиков, и как исправнику всех усмирять не было свободного времени, то он усмирял десятого; в числе этих десятых был один мужик, пришедший накануне из Одессы за паспортом; его высекли и дали паспорт, и он, так мирно и патриархально пробывши один день на родине, отправился на другой день опять в Одессу.

Случается иногда, что мужики, следуя своему обычному праву, действуют по своему убеждению совершенно правильно, а по своду законов оказываются преступниками и часто — уголовными преступниками потому только, что закон им совершенно не знаком. Мужики в простоте сердечной думают, что нашим печатным законом можно сделать черное белым, белое черным, как понадобится, смотря по обстоятельствам, нраву судьи. Так по крайней мере в Малоархангельском уездном суде объяснял это один богатый мужик, призванный туда по одному казусу. Дело состояло в следующем.

Жил-был в Малоархангельском уезде откупившийся на волю мужик Хомичев, торговавший лесом, пенькой, дегтем, и, имея землю, обрабатывал ее наемными работниками. Этот Хомичев в воскресенье заехал в кабак Зацепу взять водки; не выпить водки, а взять домой. Ему, как имеющему дело постоянно с мужиками, необходима была для дома водка, да и сам он с приятелем дома или в гостях испивал, хоть дела своего никогда не забывал. Хомичев заехал в кабак в воскресенье, взял водки и уехал; в субботу, спустя неделю ровно, пришел в этот же кабак Зацепу какой-то человек, выпил водки и умер; пошло следствие о умертвии

человека в кабаке Зацепе, и Хомичев был призван в Малоархангельский земский суд как прикосновенный к делу. Нечего и говорить, как испугался суда этот прикосновенный; все знают, как простой народ боится суда. Приходит Хомичев в земской суд.

— Сделайте милость,— говорит он чиновникам,— освободите от суда, оправдайте меня!

— Нельзя никак,— отвечают ему чиновники, желая побольше с него взять взятку,— надо все дело по *закону* делать.

— Да где же закон? — спрашивает Хомичев чиновников этого суда.

— Вот закон,— указали ему чиновники на лежащий на столе том свода законов.

— Это закон! Хорошо, вот переверни его,— говорит Хомичев,— все будет закон?

— Все закон будет,— отвечают Хомичеву чиновники.

— Как ни поверни — хочь этим боком, хочь этим,— продолжал Хомичев, переворачивая в руках закон,— как хочешь поверни — все закон будет?

— Все закон.

— Так ты сделай по закону, да по-моему! — убеждал Хомичев, к крайнему удовольствию чиновников, которые видели всю глупость мужика, так понимающего закон.

— А и дела-то никакого не было за ним,— прибавил чиновник, рассказавший мне этот казус,— его и позвали-то в суд, чтобы с него что-нибудь сорвать; известно, что Хомичев мужик богатый.

Ежели не совсем правильно, то довольно верно Хомичев объяснил народное понятие о печатных законах. Народ каждый день видит, что печатный закон можно нарушить безнаказанно и что он нарушается явно теми, которые приставлены смотреть за сохранением законов.

В одном городе в 1855 или 1854 году загорелся дом, в котором была фабрикация фосфорных спичек, что было в то время *законом* запрещено.

— Здесь делаются фосфорные спички! — кричал на немца полицийместер,— оттого и дом загорелся!

— Я спичек не делал,— оправдывался испуганный немец.

— Как ты смеешь еще лгать? Я сам покупал твои спички! — грозно кричал полицийместер,— как ни пошлешь за

спичками — все твоей фабрики приносят! А ты говоришь — «не делал»!

— Что же полицеймейстер прежде не прекратил эту запрещенную законом фабрикацию? — спросите вы, читатель, но как полицеймейстера об этом никто не спросил, то и я не знаю, что бы он на этот вопрос ответил.

Что законы или совсем не исполняются, или исполняются плохо — об этом простому народу толкуют и сильные, и несильные мира сего. Все знают, как смотрят начальствующие на мастеров писать просьбы, на мужиков, по суду отыскивающих своих прав; но, верно, никто так ясно не растолковал этого мужикам, как некий мудрый администратор, и притом администратор не из мелких. Приезжает он в свою мценскую деревню, соседние государственные крестьяне приносят ему хлеб-соль; он, приняв хлеб-соль, держал к ним таковую речь:

— Вы, мужики, в палату в Орел не ходите; окружному начальнику, какое бы ни было ваше дело, не жалуйтесь; ежели же вам случится какая нужда, приходите к моему бурмистру, он вас и рассудит, а чего не сделает сам, напишет ко мне, я уж непременно сделаю по-вашему...

Теперь, как мужику понять, для чего же существует закон, учреждающий и палату государственных имуществ, и окружных? По-моему, понять нельзя. Именно поэтому простой человек так крепко держится за свои старинные отцовские законы, которые хоть и не печатаются, но зато строго сохраняются. Многие из этих старинных законов печатным законом уничтожены; но гораздо большая часть этих законов не тронута сводом законов; как же тут знать, можно ли поступать по этому обычному закону, не уничтоженному, не замененному другим печатным законом? Например, скажем, о мирской сходке. Мирскую сходку имел право всяк собрать, теперь это очень недавно запрещено, позволено собирать сходку только мирскому старосте. Сходка имела право суда, даже уголовного без апелляции, постановлять новые праздники, запрещать в известные дни известные работы; эти законы, уложенные в известной деревне, должны были быть святы для всякого, кто случайно приходил в эту деревню, по пословице: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». В настоящее время сходку дозволяется собирать, как я сказал, только старосте; сходке дозволено рассуждать о разных, в положении вы-

численных делах и *тому подобных*, да еще и *не тому подобных*, а *иже (и), твердо (т), покой (п)*...

Все это для мужиков ново; что же мудреного, что они иногда грешат против неизвестного для них закона, действуя по старинным обычаям, не отмененным, по их мнению, никаким новым указом? В начале воли многие деревни положили на сходке в известные дни не работать, считать за праздники; мужицкие праздники часто не сходятся с барскими, а тем более с календарскими; торжественных дней мужики не знают, но зато крепко верят, что в ильин день работать нельзя; будешь работать в ильин день — хлеба не будет, на Бориса и Глеба — не будет хлеба, на царя-града — побьет хлеб градом*. Еще должно прибавить, что в известные дни нельзя работать только известную работу: нельзя косить, нельзя жать хлеб, но можно возить, вязать, сено гресть; по пятницам нельзя прясть, платье зо́ловать — золой мыть, но без золы, чистой водой — греха нет. Вот и положили мужики праздники, и сами соблюдали их строго, и за другими смотрели; а как по закону «с своим уставом в чужой монастырь не ходить» — то запрещали и наемным работникам пахать в свои уложенные праздники барскую землю. Пошли жалобы без числа, мужиков усмирили; мужики с твердостью вынесли усмирение, но в свои праздники все-таки не работали и в своих деревнях другим на барской земле работать не позволяли.

— Что вы, братцы, шумите, бунтуете? — говорил я не раз мужикам, не позволявшим работать на барской земле вольнонаемным работникам.

— Тут бунта никакого нет,— отвечали мне,— а работать нынче у нас никому нельзя.

— Отчего же?

— А оттого, стал работать раз один только год на царя-града, так и пойдешь работать до окончания века! — отвечали мне постоянно. А я спрашивал об этом более чем в семи губерниях.

— Ну вы и не работайте сами, зачем же другим запрещать работать?

— Э! Все равно заставят целый век на тот праздник на барщину работать.

* 11 мая празднуется обновление Царя-града, а мужики празднуют не Царю-граду, а царю-граду, что хлеб побивает на поле.

— Это же почему?

— Потому, господа скажут: такие же мужики у нас работали на ильин день, а вот эти не хотят, а эти вот мужики бунтуют! Ну и, разумеется, заставят работать на какой хочешь праздник, на самое светло Христово воскресенье!.. Что сделаешь?

— Откуда же эти слухи, откуда эти толкования? — не раз любопытствовал я. И мужики обыкновенно без всякого замешательства указывали мне на лицо, рассказавшее им вроде этой какую-нибудь небылицу; лица эти были солдатики, выгнанные чиновники и, к моему крайнему удивлению, помещик, прогнавший большую часть своих людей на волю, обвиненный за дурное обращение с людьми мировым посредником, объявляющий откровенно всем, что он ничего не боится, никакой там выдуманной гласности, что про него, пожалуй, пиши не только на колоколе, а хоть на всей колокольне, что про него писали и в «Отечественных записках»...

И этим слухам мужики верят и строго берегутся. И праздники свои берегут, и трехденку (ходить три дня на барщину) соблюдают, и к своему барину на четвертый день в неделе ни за какие деньги работать не пойдут и не наймутся. Мне случалось часто видеть у Ивана работников, нанятых на четвертый день в Петровой деревне, а у Петра — из Ивановой; у своего же барина не хотели наниматься ни за какую плату.

Отказывались барину работать на четвертый день совсем не из желания сделать барину зло, а часто даже сожалея о барине, горюя, что барин трехденкой, по закону уложенной, не справится с своими работами, а нанять работников негде...

В прошлом, 1861 году хлебная уборка была не хороша: беспрерывные дожди мешали убирать с поля хлеб, так что работай и всю неделю — хлеб все-таки попортился бы в поле, а тут еще трехденка господ прихлопнула! Что тут делать? В одной деревне мужики видят, что барский хлеб в поле гниет — на трехденку дожди шли, а теперь вот и хлеб обсох, так трехденка кончилась... И порешили: чем свет запрячь сколько у кого есть лошадей и возить барский хлеб на барское гумно, а перед обедом, как барину выезжать в поле,— барин постоянно выезжал в поле перед обедом — всем ехать домой, чтобы барин не знал, кто именно возил

и, следовательно, не мог ни на кого сослаться, хоть и желал бы когда мужиков надуть. Эта проделка бывала во многих местах, и многие помещики обиделись таким недоверием крестьян. Один же помещик созвал мужиков, поднес им водки и спрашивал: кто возил, кто первый придумал такую штуку? Но ему никого не назвали.

— Я знаю, что вы перевезли хлеб, отчего же вы не хотите сказать — кто? — спрашивал помещик.

— Да на что тебе знать? Благо что перевезен хлеб, ну и слава богу!

— Я хочу за тех, кто хлеб возил, казенные подати за этот год заплатить!

Но мужики и на это не поддались, водки выпили, а все-таки не сказали, кто хлеб возил. Так решено было на сходке, и этого решенья крепко держались, хоть сходка была и незаконная, которая, слава богу, кончилась благополучно. Никто не узнал про ту сходку, никакого штрафа ни с кого не взяли, что не всегда бывает.

В одном имении плотина требовала починки; помещик дал материалу, а крестьяне, нуждаясь этой плотиной для проезда, починили эту плотину в свои дни, не от барщины, думая, что барин им дозволит ездить через плотину. На это дозволение они имели полное право рассчитывать; не знаю, везде или только в той местности есть положение: мосты и плотины на барской земле тогда только чинятся мужиками барским материалом в свои дни, когда мужики пользуются этими мостами, и, во-вторых, еще потому, что барин и до этого времени не запрещал мужикам ездить через плотину. В самую возку поля с хлеба, едва починена была мужиками в свои дни плотина, вдруг барин запретил ездить через плотину! Разумеется, мужиков это сильно затруднило: вместо полуверсты до хлеба через плотину в объезд стало пять верст, а потому они могли перевезти в день вместо двадцати копен только две. Мужики собрали сходку... сходка оказалась незаконною...

На сходке были толки, как помочь беде; хлеб надо возить сейчас же, непременно в тот же день, а через плотину ездить нельзя: барин жердочкой перегородил; барин вздумает проехать — жердочку снимет, проедет — и опять заложит, опять мужикам проехать нельзя; самим принять жердочку — скажут «бунт!». Думали-думали, толковали-толковали, а все из беды вывернуться не могли; решено

было через барскую плотину не сметь ездить никому, но вместе с тем и на барскую мельницу, для которой и плотину чинили, молоть хлеб изо всей деревни никак не возить, хоть эта мельница и в самой деревне, а возить хлеб молоть за пять верст. Сперва на барскую мельницу шла девятая мерка за помол; пусть же барину она не достается, а идет другому, хоть и дальше возить, да уж, верно, делать нечего! Все говорили так единогласно.

— Как, старики, быть? — заявил один из сходки, когда уже состоялось решение.

— Я послал воз ржи на барскую мельницу нонче поутру; что с той рожью делать: перемолоть ли ее уж на барской мельнице или свезти на другую?

— Свезти! Свезти на другую! — зашумела сходка,— сейчас же увезти воз с барской мельницы!

Сказано — сделано: ту же минуту все пошли на барскую мельницу, взяли воз с рожью, привезенный ихним мужиком, и, как лошади не было, отвезли на себе в деревню, во двор к хозяину ржи.

Барин подал просьбу и мировому посреднику, и в земский суд: пришли, дескать, мужики с метлами, долотами и другими смертоносными оружиями... произвели дебош... убытку столько-то... а потому с мужиков убытки взыскать, а с бунтовщиками поступить по всей строгости законов.

Мировой посредник произвел следствие; открылось все дело, и он решил: 1) сходка была *незаконная,* староста не имел права собирать сходки для рассуждений, как возить мужикам хлеб с поля, когда обыкновенная дорога была запрещена и сходка не имела права запрещать сама себе возить рожь на барскую мельницу; 2) насчитанные барином тысячные убытки ложны; убытку, ежели только считать это убытком, барин понес лишь столько, сколько стоит девятая часть увезенной с мельницы неперемолотой ржи; цена этой части пятнадцать копеек серебром. Но ежели принять во внимание, что платят обыкновенно только за произведенную работу, а рожь еще не мололи, то и убытку нет никакого.

Мужики, однако же, не хотели облегчающих обстоятельств и, по предложению мирового посредника, решили немедленно заплатить барину пятиалтынный. Сходка всетаки найдена *незаконною,* мужики все-таки оказались виноватыми, а между тем мировой посредник, решавший это

дело, был один из самых лучших посредников, что же бы сделал с этим делом другой более искусный?

И как легко обвиняются мужики в бунтах и грабежах, а никто в то же время не хочет обратить внимания, что уголовных преступлений, с учреждения мировых посредников, стало значительно меньше. Мне говорили многие мировые посредники, что с самого начала их службы миру в их участках не было *ни одного уголовного дела;* вообще на мирового посредника смотрят не как на чиновника, а как на мирового слугу, на мирского своего человека, а своего человека бояться нечего. Правда, что в большой семье не без урода, поэтому и в большой семье мировых посредников, вероятно, найдутся дурные люди, неверно понимающие свои обязанности и отношения к миру, но мировые посредники все-таки были величайшим благом и для крестьян и для господ; одно то, что дела решаются быстро, уже многое выкупает; нет проволочек, нет лишней бесполезной траты времени.

После обнародования «Положения», но когда еще не было мировых посредников, была подана просьба одним помещиком на своих крестьян; помещик обвинял крестьян в дневном грабеже. Крестьяне приехали из другой его деревни в сумскую деревню, кажется, за сто верст, срубили столько-то деревьев; цена каждому дереву один рубль серебром, всего вышла довольно круглая цифра. Пошло следствие, стали выписывать мужиков из деревень за сто верст в город.

— Как было дело? — спросил судебный следователь одного из вызванных в город мужиков, которых спрашивать должно было поодиночке.

— Как было дело — грех такой случился! — отвечал мужик,— привезли мы барину из нашей деревни на восьми, кажется, подводах хлеб; привезли ввечеру, ссыпали и поехали домой; отъехавши от этой деревни, версты две не доезжая до того лесу, остановились ночевать в поле...

— Отчего же вы не ночевали в деревне, а поехали в поле? — спросил следователь.

— Как можно в деревне, чем же в деревне кормить лошадей? А в поле отпрег лошадь, пустил на дорогу — лошадь и сыта!.. Мы так спокон веку езжали...

— Ну хорошо! А дальше как дело было?

— Поутру встали, запрягли лошадей, поехали; едем ле-

сом... а лес-то наш, думаем, срубим себе по паре оглобель, благо топоры с нами есть...

— Лес барский, а не ваш! — заметил судебный следователь,— в барском лесу нельзя без спросу рубить!

— Мы того не знали, прежде всегда рубили: для себя руби сколько хочешь, на продажу только не смей, а запрету мы ни от кого не слыхали; вот и вырубили по паре оглобель, поехали... Около обедов остановились кормить тоже в поле под лесом...

— Отчего же вы в этом лесу не вырубили, а рубили прежде? Из другого лесу было и везти ближе.

— Из этого лесу нельзя хворостинки вырубить: лес не наш; а то, пожалуй, и еще ближе лес есть: у нас под самой нашей деревней есть лес, да не наш, а чужой; как же ты его возьмешь? Только отпрягли лошадей, пустили, а тут и едет приказчик барский.— «Рубили барский лес?» — спрашивает приказчик. «Вырубили,— говорим,— по парочке оглобель, а кто и две парочки».— «Как вы смели рубить барский лес?» — говорит приказчик. «Мы ни от кого никакого запрету не слыхали»,— говорим мы. «Вот ужо вам будет запрет!»

Переписал, сколько кто нарубил, отдал нам записку.— «Нате,— говорит,— записку, отдайте вашему старосте и лес ему сдайте». Мы приехали домой, отдали и записку, и лес барскому старосте... Только и всего.

— Что стоит, по вашему мнению, лес, который вы вырубили? — спросил наконец следователь.

— Сказать тебе по-божьему: и цены не знаем,— отвечал спрошенный мужик.

— Как же не знаешь?

— Да ты посуди: в городе пара оглобель стоит пятиалтынный; а тут надо дерево срубить, обделать оглоблю, привезти в город да простоять сколько времени, пока продашь оглоблю ту... Ну, сам и считай, что стоит!

— Почем же положить?

— Почем хочешь положи да возьми поскорей деньги — только отпусти, только еще нас не тревожь; вот и так который раз приходим в город, болтаемся, а ведь дома работа!

— Не крали бы барский лес!

— Да разве так крадут? Поутру украсть, днем везти по большой дороге у всех на виду! И добро бы что, а то пару оглобель... Говорят: отняли у нас. Кто у нас отнимал?

Никто не отнимал; приказчик только переписал да и велел отвезти, мы и отвезли, и отдали барскому старосте, тот их положил... Посмотри и теперь: все до одной оглобельки целы, никто не покорыстовался!

Как ни хотел судебный следователь поскорей кончить это дело, но не мог; должно было послать в другую губернию отношение к кому-то, чтоб оценил лес... Чем кончилось дело и кончилось ли еще — я не знаю; но, верно, мужиков еще требовали в город, хотя впоследствии открылось, что они говорили правду. Конечно, никто не скажет, что этот случай можно назвать воровством, не только дневным грабежом, а всякий припишет это только незнанию. Но и это незнание многие заподозревают. «Не бойтесь, мужик никогда не ошибется, когда дело идет в его пользу; мужик только тогда ошибется, когда ему это выгодно»,— слыхал я не раз от многих помещиков и чиновников. Но едва ли это так.

Ехал обоз с казенными вещами; при обозе, как водится, был офицер. Дорога была грязная, и извозчики поехали не дорогой, а коноплянниками сзади деревни. Мужики, а с ними и сельский староста той деревни, выскочили, стали прогонять извозчиков на дорогу, и, как водится, произошла драка довольно сильная; разбитых до крови было много и с той, и с другой стороны; только мужики не стали хвастаться своими ранами, а извозчики, как отчасти справедливо себя считали чиновниками, принесли жалобу исправнику, потому что мировых посредников тогда не было еще. Исправник вытребовал к себе в город дравшихся мужиков и всех отпустил, кроме старосты; сельского старосту посадили в острог.

— За что же одного только старосту посадил в острог? — спрашивал я воротившихся мужиков.

— Так уж оно выходит,— отвечал мне один из них,— такой случай вышел; мирской староста лишен телесного наказания, вот исправник со всеми нами посправился... «А тебя,— говорит старосте,— наказывать нельзя: ты лишен телесного наказания!.. Так вот тебе!» Уж и возил же он его! Да заместо телесного наказания в острог засадил!

— Да разве это не телесное наказание? — спросил я после этого объяснения.

— Нет, не телесное; коли б его разложили, вот было бы телесное наказание!

Вероятно, со мной многие согласятся, что эти мужики *телесное наказание* ежели и не совсем верно понимали, то никак не в свою пользу это телесное наказание толковали.

Иногда мужики бывают уголовными преступниками, потому что, сами не зная, что они сделали преступление, объявят о нем начальству. Промолчи сам — никто бы и не узнал, ничего бы и не было.

В деревне случился пожар или, кажется, в нескольких деревнях одной волости сгорело несколько дворов; мировой посредник объявил волостному старшине, что погоревшие крестьяне могут получить из казны вспомоществование и что для этого нужно составить списки погоревшим. Волостной старшина с волостным писарем написали этот список и подали мировому посреднику.

— Список написан так, только недостает еще подписей сельских старост,— сказал мировой посредник, просмотревши поданный ему волостным старшиной список погоревшим.

— Сельские старосты наши неграмотны; они писать не умеют,— отвечал старшина.

— Это все равно; пусть кого-нибудь попросят за себя руку приложить к этому списку; они только должны засвидетельствовать, что у этих крестьян действительно погорели их дворы.

Волостной старшина поехал в волость, приказал кому-то подписаться за неумеющих грамоте старост и вновь подал мировому посреднику по своему разумению совершенно правильный список. После оказалось, что волостной старшина не соблюл обряда — не приказал доверенному лицу подержать за руку доверителей, и оттого весь сыр-бор загорелся!

— Как ты это сделал? — спрашивали на мировом съезде предстоящего старшину с несколькими старостами.

— Виноват! Что и говорить — виноват! Помилуйте: без всякого злого умысла согрешил?

— Вы не давали рук? — спросили сельских старост.

— Нет, не давали.

— Как же сельские старосты рук не давали, а вместо их подписано, руки их приложены?

— Так уж грех такой, видно, случился, лукавый попутал, видно! Приношу к ним, вот,— здесь показал старшина на своего мирового посредника,— они и говорят: «Все так,

да старосты не подписались; за старост надо руку приложить, кому старосты прикажут»... Приезжаю домой, думаю: пошлешь по деревням, да пока еще приедут... велел подписать да и отвез бумагу! А после — видит бог! — я сказывал старостам: «Господа старосты! Я в таком-то деле за вас руки дал...» Они говорят: ничего. Вот и все! А я и не знал, что грех такой случится... На первый раз простите, будьте милостивы! — прибавил он, кланяясь мировому съезду земным поклоном.

— Говорил он вам после? — спросили сельских старост, когда старшина кончил свой рассказ.

— Говорил,— отвечали старосты,— да мы на волостном старшине за это и не ищем...

Дело уголовное — фальшивые подписи!

На этот раз с волостным старшиной поступили по возможности милостиво, но он все-таки остался виноват.

Мужики всячески хотят действовать по закону, по царской воле, но, к несчастью, не всегда им это сходит с рук.

У одного помещика Орловской губернии А. на сто шесть верст в длину и на сорок — шестьдесят верст в ширину сплошного имения, в том числе семьдесят пять тысяч десятин лучшего в России лесу; и на всем этом огромном пространстве разоренные вконец крестьяне. В 1861 году, после объявления «Положения» 19 февраля, А. созывает своих мужиков, объявляет им *волю*, говорит, что царь указал вперед мужикам работать только три дня на барщину. Мужики, разумеется, обрадовались такой царской милости, потому что им случалось работать на барщине не три дня в неделю, а все дни, сколько их есть в неделе, и притом считая день в двадцать четыре часа; работали и день, и ночь, а семь дней на барщину было делом почти постоянным. Потом А. было предложено работать не три дня на барщину, как сказано в «Положении», а взять годовой урок: всякий двор должен был обработать в каждом клину по десять десятин, кроме того, сенокосы и прочее*. Годовой урок возможный, но не легкий даже и для хороших исправных крестьян, особенно в 1861 году, когда в хлебную уборку шли сильные дожди; для мужиков же А. этот урок был еще труднее. Я уже сказал, что мужики бы-

* Домашнее разделение на «дворы»; у А. делились рабочие на дворы: восемь тягол составляли двор.

ли все разорены, и у очень многих из них не было совсем лошадей; следовательно, крестьяне отказывались от годового урока не по трудности его, а просто по невозможности выполнить, так как при этом требовалось обеспечение исправного выполнения круговою порукой.

— Нам нельзя брать годовую работу,— говорили мне крестьяне А.

— Отчего же?

— Как нам можно? Царь указал быть трехденке, а мы не станем трехденки сполнять?

— Когда барин говорит, тогда можно и царской трехденки не справлять.

— Как же это так? Царь указал одно, барин указывает другое; станем мы сполнять барскую, не царскую волю. Хорошо! Не станем мы сполнять царской воли, станем мы работать по барскому приказу. Приедет кто, спросит: «Работаете ли вы, ребята, по-царски, как царь указал, справляете трехденку?» Мы скажем: «Нет, царской трехденки не справляем».— «Отчего же вы царской воли не сполняете?» — спросит он; а мы опять: «Барин не приказал справлять по-царски, а приказал работать по-своему, по-барски».— «А кто больше: царь или барин твой?» — «Царь больше».— «Как же вы,— скажет он,— как вы смеете не справлять царской воли, царского указу, а послушались барина?» Что ты тут ему скажешь?! Вот и будет беда!..

И вышел из этого бунт с усмирением.

Другой бунт у того же А. был такого же рода. Впрочем, мужик, рассказывавший мне историю этого бунта, вполне оправдывает А. и обвиняет бунтовавших мужиков.

— Мужики те хохлы,— говорил он.— Великим-то постом им около барского дома работу нашли; а пришла святая неделя — бочек нет! На винокуренном заводе водки много курят, а лить ту водку некуда, хоть наземь лей! Что тут делать? Вот и сказано тем хохлам с понедельника на святой неделе бочки делать. А хохлы: царь указал праздники, не работать; вся святая неделя — праздники, не хотим бочки работать всю светлую неделю! А того дурни не размыслят: не станут работать бочек — куда лить водку? Не наземь же, в самом деле! Не стоять же так винокуренному заводу! Хохлов поделом наказывали!

Мне случилось видеть самому, как эти же мужики хлопотали не идти *прочь от закона.* Шел я поздно вечером

в одну из деревень А., вижу, стоит за огородами позади деревни толпа мужиков. «Э,— думаю,— сходка!» В настоящее время, когда сходки разделены на законные и незаконные, мужики часто собирают сходки по ночам, в какомнибудь скрытном месте, чтобы кто не проведал, кому знать не должно, чтобы после всему миру в ответ не идти...

— Об чем, старики, сходка? — спросил я, подойдя и поклонясь сходке.

— Да все об своих делах, человек любезный,— отвечал мне один, тогда как остальные, ответив на мой поклон, осматривали меня молча.

— Об каких же делах таких? — опять спрашивал я, входя в самую сходку.

— Да вот видишь, человек любезный! До царской воли барину мы каждую весну носили яйца, с каждого тягла приказано было носить. Вышла царская воля, яйца запрещено нам, мужикам, барину давать. Только нам все словно опасно! Вот собрали мы сходку, положили собрать барину яйца, отдать кому следует... хорошо. Забрали, снесли... ничего, бог помиловал! За те яйца никакого нам наказания не было! Проходит малое время — выдают нам за те яйца деньги... Теперь что с теми деньгами делать?

— Что же, мало, что ли, заплатили вам за те яйца? — спрашивал я.

— Да не об том речь... Пропади пропастью совсем и деньги те! А что с теми деньгами делать? Возьмешь те деньги — беда! Понесешь те деньги в барскую контору — опять беда!

— Барин сам прислал деньги?

— Сам, сам! Никто не просил! Сам прислал! Куда просить! — заговорила сходка.

— А сам прислал, и толковать нечего; берите себе деньги,— сказал я. — Хорошо тебе говорить, «берите»! А как ты их, эти-то деньги, возьмешь?

Так на этой сходке и не было решено, что с этими деньгами делать. Вероятно, были и еще сходки, и столь же беззаконные, как и эта, и об этом же самом предмете; только я не был на других сходках и не знаю, чем кончилось дело о деньгах за яйца.

В самый разгар этой сумятицы, не спеша, месяца через четыре после объявления манифеста, были понемножку назначаемы мировые посредники; скажут нескольким поме-

щикам, что они мировые посредники в таком-то уезде, потом в том же уезде назначут еще, а там еще, так что наконец и набралось достаточное число посредников. Посредники открыли сельские общества, выбраны были старосты, волостные головы. Посредники были благодетелями народа: едва мировые посредники вступили в должность, как порядок начал установляться. Хоть многие мировые посредники и секли мужиков, да в одиночку. Суд мировых посредников пришелся по сердцу народу. Этот суд тем хорош, что скор: мировой посредник сейчас рассудит, ежели нужно, здесь же и накажет, и дело кончит без всяких проволочек.

Мировых посредников можно разделить на три разряда. К первому разряду принадлежат такие мировые посредники, которых не любят ни помещики, ни мужики. Этого сорта мировые посредники преимущественно смотрят на себя как на чиновников и, как чиновники, считают себя начальниками надо всеми, кого только захватило положение на указанных им участках, все их подчиненные: и помещики, и крестьяне, и купцы, и мещане, и попы — все здесь постоянно живущие и все вновь временно, хоть на одну минуту, в их владения зашедшие... Либералы ли они — бог их знает! Но либеральничают эти чиновники-посредники все; по крайней мере, мне не приходилось из таких посредников видеть ни одного, который бы на речах не был либералом. Они отличаются порядочностию: у них и канцелярия в порядке, и число нумеров исходящих бесчисленно... На сходках они держат себя величаво; ежели начнут что говорить сходке, то мужик может любоваться их красноречием сколько угодно, но понять, по своему мужицкому образованию и по непривычке к канцелярскому красноречию, совершенно не может. Таковой посредник карает и мужиков, но распекает и помещиков, действующих не совсем согласно с видами его, посредника... Но, к счастью, таких посредников мало, и теперь они по большей части разбились по другим разрядам. Часть их перешла на сторону посредников, любимых помещиками и составляющих второй класс. Эти второго класса господа решительно все либералы, но либерализм их особенный; этот их либерализм очень любезен помещикам, вроде Пеночкиных тургеневских. Судьба привела меня видеть одного из первых таких либералов-посредников.

В то время, когда назначались мировые посредники,

одним из самых первых в Орловской губернии был назначен мировым посредником... назовем его хоть как-нибудь... или лучше пусть будет он без имени; не он один такой, их много... Когда он был назначен на эту должность, то счел своей обязанностью заехать к будущему товарищу по будущей службе.

— Нам надо действовать по возможности однообразно,— сказал он после первых рекомендаций и любезностей хозяину, тоже будущему посреднику.

— Это необходимо,— отвечал хозяин,— лучше и для нас, и гораздо лучше...

— И гораздо лучше для мужиков,— перебил либеральный посредник,— ежели мы станем действовать различно, могут возникнуть между мужиками толки: станут говорить, не понимая хорошенько дела, что мировые посредники действуют не по закону, а по своему произволу.

— Да, это правда...

— Мужиков наша обязанность приучать к легальности, приучить мужика, чтоб он уважал закон!

Потом пошел толковать о вреде для крестьян крепостного права, коснулся недобрым словом помещиков, находил, что теперешнее неутешительное нравственное состояние помещиков совершенно логично вытекает из прежней жизни рабовладетелей; что крепостное право портит не столько рабов-крестьян (он крепостных от рабов не хотел отличать), сколько портит господ, пользующихся крепостным правом... Потом еще более либеральничал.

— У меня у самого есть дело,— заговорил уже за ужином посредник-либерал,— которое касается меня лично и подлежит тоже ведению мирового посредника. Вот в чем дело: мужики два года тому назад просили у меня позволения купить себе земли; им это дозволили с условием, чтоб они владели этой землей пятнадцать лет, а после пятнадцати лет чтоб эта земля сделалась барскою. Теперь как быть с этой землей? Взять ее у мужиков сейчас нельзя, да я и не хочу незаконно поступать, потому что мужики не владели еще срочных пятнадцать лет этой землей, а как сделать с ними условие?

От мирового посредника слышать подобную речь всем показалось довольно странным.

— На чьи деньги куплена земля? — спросил хозяин,— на ваши или на мужицкие?

— Разумеется, на мужицкие,— отвечал совершенно убедительно либеральный посредник.

— Но когда на мужицкие деньги куплена земля, стало быть, она и принадлежать должна мужикам.

— Но как же,— заспорил посредник,— как же? Тогда условие не будет соблюдено!

— Какое там условие?

— Как какое условие! Условие, заключенное между помещиком и крестьянами...

— Позвольте вас спросить: какое же могли с вами крестьяне заключать условие, когда они были ваши крепостные крестьяне? Условие могут заключать только две стороны, совершенно одна от другой независимые. Поэтому условия тут никакого не было, да и быть не могло; а просто вы хотели воспользоваться положением мужиков и получить на мужицкие деньги еще клок земли.

— Но согласитесь со мной сами: я до этого времени имел на то право... полное право!

— Никакого вы права, ни просто права, ни полного права — никакого вы не имели!

— Как не имел права? При существовании даже крепостного права?

— Даже и тогда не имели права притеснять крестьян! Злоупотреблять помещичьей властью и тогда, как и теперь, законом запрещалось! А как вы назовете это, как не злоупотреблением помещичьей властью?

— Нет! Я имел право дозволить и не дозволить крестьянам купить землю. Никто не знал, что освободят крестьян!

— Должны были знать!

— Как?..

— Как мировой посредник теперь вы должны были и прежде знать, что крестьян освободят!

— Это почему?

— Кто сильно чего хочет, тот сильно верит, что то будет; мировые посредники должны были этого сильно желать... Поэтому и вы...

— Я тоже сильно желал!

— Как же вы предложили, могли предложить вашим крестьянам подобные *условия?*

— Это условие предложено не мною; я купил это имение на этих условиях — с правом через пятнадцать лет взять у мужиков эту землю...

— Это все равно; как вы могли купить имение с этим грязным правом?

— Я, разумеется, не воспользуюсь этим правом; я только так спросил...

— Стало быть, и спрашивать об этом было вам не для чего.

— Я как мировой посредник хотел знать ваше мнение об этом деле... Я подарю эту землю мужикам, но в других имениях могут быть подобные этому случаи...

— Не дарите и вы земли мужикам вашим, не советуйте и другим помещикам дарить такую землю крестьянам: земля, купленная, должна принадлежать тому, кто заплатил за нее деньги; как же вы будете дарить чужое?

После сего не совсем, впрочем, либерального разговора мы опять стали либеральничать... еще пуще прежнего!

Спустя несколько времени мне привелось об этом посреднике много слышать, и слухи эти были, при всем их кажущемся разнообразии, донельзя однообразны; вся разница заключалась в воззрении: что одни находили дурным, то другим представлялось самым лучшим.

— Что, брат, у вас новые порядки? — заговорил я, проезжая одно село, с проходившим мужиком.

— Новые-то новые порядки! — отвечал он, поклонившись мне и идя рядом со мною.

— А что ж?

— Да так, брат! Какая такая воля пришла, об какой воле никто не слыхивал!.. Хуже всякой неволи!

— Как же хуже? Теперь ты ничего не боишься, ни от кого никакой обиды; кто тебя обидел — пошел к своему мировому посреднику, тот тебя от всякой обиды защитит; только сам не делай дурного дела. За дурное дело, сам знаешь, никто не похвалит...

— Зачем хвалить! А ты знаешь нашего *посредственника?*

Посредственниками мужики называют мировых посредников.

— Нет, не знаю! А кто у вас мировым посредником? — спросил я.

— А у нас *такой-то...*

Тут мужик назвал господина того самого, с которым я уже встречался и об котором уже говорил выше.

— Ну что, каков он у вас?

— У нас-то ничего! У нас ему и дела никакого нет! Нам-то что!

— Нет, не у вас одних, не в вашем селе; а как, мужики его любят?

— А на что ему наша любовь-то? Что он будет с нею делать, с нашею любовью-то?

— Ну все-таки любят?

— Что любить-то! Известное дело: барскую руку держит! Как ни приди — все за барина...

— И все мировые посредники барскую руку держат?

— Нет! Куда все! Есть, что дело и по-божью ведут: мужик виноват — мужика накажет; а барин провинился в чем — то и с барина с того же взыщет...

— Не может быть, чтобы ваш посредник без вины безо всякой наказывал мужиков.

— Кто тебе говорит «без вины наказывал...». Только уж очень нас штряхами доезжает!

— Какими штряхами?

— А штрях: деньги ни за что берутся, вот и выходит тебе штрях.

— Как ни за что?

— А так: вина твоя такая, сечь тебя не за что; сажать тебя на хлеб и воду — тоже вина малая; делать-то с тобой нечего, вот и штрях! Как стряхнут твою мошну, вот ты и знай... лучше б уж больше провинился, наказали б, да и пустили; а штряхи-то эти другому на целый век отзовутся!

— Не надо только попадать в вину какую, а то штряхов не будет,— наставительно произнес я.

— А как ты, человек любезный, не попадешься в чем: у нашего посредника всякая вина виновата!

— Как так: всякая вина виновата?

— А так: малая какая безделица, только б ему узнать, сейчас тебе штрях! Не разберет тебе, что дело-то плевое, не стоющее внимания, а так, сейчас штрях на тебя! Оттого и называется штряхом, что ни за что берется! А наш посредник до этих штряхов большой охотник!

Всякий образованный человек поймет, что мужик, объяснявший мне значение штрафов в своих сдержанных отзывах, был совершенно несправедлив к своему посреднику; разумеется, что всякая вина виновата! Скоро после этого и я видел, что этот посредник хоть и строг, но справедлив. На мировом съезде, когда были толки о волостном

старшине, приложившем по незнанию за старост руки (случай, об котором я уже выше говорил), то этот мировой посредник настаивал, чтобы с этим волостным старшиной поступили по всей строгости законов, как с составителем фальшивых документов; не желал даже обращать внимания на смягчающие обстоятельства, имея в виду показать сильный пример всем волостным старшинам. Почему мужики называли его *барским* посредственником — это будет понятно из следующих толков о смене одного сельского старосты. Один мировой посредник (другой, не этот) объявил на съезде, что мужики одного сельского общества недовольны своим сельским старостой, что мужики давно просили о смене этого старосты, а в настоящее время они на него жалуются за то, что он им не дал и не дает отчета в общественных деньгах, которые уже истрачены старостой. Тогда наш мировой посредник принял сторону сельского старосты: как же власть, хоть и эту, можно сменять самим мужикам? Хотя и настаивал ихний мировой посредник на необходимости смены этого старосты, но наш мировой посредник, руководствуясь означенными аргументами, сильно воспротивился, и победа осталась за ним! И таким образом, когда от него одного зависит решение дела, то власть имеющие всегда правы; ежели же сойдутся две власти — то права высшая власть. При мне жаловались ему, что волостной старшина его участка разругал старосту, когда тот пришел к нему с жалобой, и совсем не занялся делом, за которым приходил староста к старшине. Наш посредник и здесь слиберальничал: на эту жалобу даже не обратил внимания... Известного воззрения помещики сильно на него надеются: мало-мальски кто из таких помещиков недоволен своим посредником, то сейчас просит мировой съезд заменить мирового посредника посредником-либералом, называя его или просто по имени, отечеству и фамилии, или соседним мировым посредником, когда он действительно соседний мировой посредник. И такова игра природы, что ни один помещик таковой, ни одна помещица таковая не попросили ни разу в этом уезде другого посредника... Так он полюбил их, так он строго блюдет помещичьи интересы, что часто это случается даже против желания самих помещиков.

Приезжает он к одному помещику писать уставную грамоту. Помещик объявляет ему, что хочет сделать уступку

в пользу крестьян... Надо было видеть, как перепугался наш мировой посредник: он от этой уступки ожидал всеобщего восстания, ежели не поголовной резни!

— Что вы хотите со мною сделать? — говорил он помещику,— вы мне этим испортите весь участок! Все мужики в участке будут указывать на вашу уставную грамоту! Я вас прошу: не делайте этого!

Но, увы! к нашему с ним негодованию, не сделалось так, как нам хотелось!

— Хоть в уставную грамоту этой уступки не пишите, на словах это сделайте! — молил он.

Не внял и этой мольбе помещик; помещик думал, что мужики могут и его самого заподозрить, если он обещанное на словах не подтвердит письменно в уставной грамоте. И в грамоту уставную занесли и эту уступку... Не стало по-нашему!

В последний раз я видел его в страшных заботах: слухи ли пронеслись, или официально дали знать, что губернатор едет осматривать волости; и он принимал все зависящие от него меры, чтобы губернатор остался доволен им.

— Слышал ты, губернатор едет осматривать волости? — спрашивал он волостного старшину на сходке, собранной по случаю введения в том имении уставной грамоты.

— Слышал! — отвечал старшина казенно-почтительным образом, титулуя его, кажется, вашим высокоблагородием или батюшкой, не помню.

— Когда слышал, так надо быть готовым к приезду губернатора.— Волостной старшина, верно, знал, как надо быть готовым к приезду губернатора.

— Все готово,— отвечал волостной старшина.—Хоть сейчас приезжай губернатор.— Что было готово, он не сказал, но посредник понял.

— Все готово? — спросил посредник.

— Все готово! — ответил старшина.

— Все?

— Как есть все!

— А «Положение» знаешь? — спросил посредник волостного старшину.

— Как то есть положение? — спросил волостной старшина посредственника.

— Положение девятнадцатого февраля знаешь ли? — уже построже спросил посредник.

— Да ведь я неграмотный! Как же мне выучить это положение? — заговорил волостной старшина.

— Как! Что ж такое, что ты неграмотный?! Ведь ты молитвы учишь? Сказывай, ты молитвы знаешь?

— Знаю...

— Так чтобы ты и положение мне выучил! Чтоб как молитву знал! Чтобы к приезду губернатора непременно все положение, как молитву, твердо знал! — подтвердил посредник волостному голове.

— Слушаю-с! — был ответ.

И выучит волостной старшина это «Положение» 19 февраля, непременно выучит! Случалось же мне, да вероятно и не мне одному случалось, слышать, как солдаты читают свои *пунктики;* солдаты тоже неграмотные. Пунктики эти начинаются, кажется, так: «Солдат есть имя великое, знаменитое...» Стало быть, можно, хоть и трудно, а можно и положение так же выучить, и, вероятно, волостной этот старшина, исполняя приказание своего посредственника, к приезду губернатора выучит все положение 19 февраля; а губернатор, видя такое усердие мирового посредника, представит этого посредника к награде — чином или орденом и тем поощрит его к дальнейшим подвигам, столь же для отечества полезным.

Третий сорт мировых посредников — это люди простые, знающие быт крестьян и любимые крестьянами за беспристрастие в разборе жалоб. Но этих посредников мне случалось видеть мало, а потому об них и говорить мне не приходится. Лучше скажем несколько слов о сельских властях: о волостных старшинах и сельских старостах.

Эти новые казенные чиновники резко делятся на два разряда: к первому и лучшему принадлежат люди, выбранные на эти должности из молодежи, не искушенные еще властию, не бывшие до этого времени никакими начальниками; ко второму — люди, и до этого времени бывшие начальниками по назначению помещиков, бывшие старостами, бурмистрами, приказчиками. Первые строго смотрят, чтоб *закон был соблюден,* строго смотрят, чтоб барские и казенные повинности были исполнены, не позволяют взяток ни под каким видом, ни под каким названием, не позволяют ни себе, ни другим. Одному малоархангельскому волостному старшине, молодому человеку лет двадцати семи — двадцати восьми, помещик предлагал десять целковых за ис-

полнение своих обязанностей; тот, исполнивши должное требование помещика, не взял этой взятки, обиделся и принес жалобу на помещика мировому посреднику. В некоторых волостях наняты писаря с тем, чтобы они учили крестьянских детей грамоте; волостные старшины не позволяли *принимать* этим учителям никакой *благодарности* не только с временнообязанных крестьян своей волости, но и за учение детей государственных крестьян. С крестьянами они справедливы, строго требуют от них должного; но не поддаются и помещикам, хотя никогда не позволяют себе никакой дерзости в отношении к ним.

— Как же вы ладите с господами? — спрашивал я не раз, указывая на таких помещиков, которые отличались своею требовательностию и уже несколько раз жаловались на своих мировых посредников.

— Да с теми ладить легко! Исполняй все, что он скажет тебе дельное по закону...

— Ну, а ежели он скажет тебе что не дельное, ведь ты должен отказать?

— Зачем отказывать? Не нужно: господа этого страх как не любят.

— Да как же ты сделаешь незаконное, чего по закону не следует?

— И отказать не откажу, и сделать не сделаю. Мне господ не выучить, так и читать им проповедь не стоит; а скажешь ему: я бы для вас с превеликою радостию все сделал, да боюсь, так ли оно выйдет? Я спрошу мирового посредника... Какой и побоится посредника... «Нет,— скажет,— не говори посреднику, я и так обойдусь», а редкий скажет «спроси»; спросишь посредника, тот не прикажет, ты опять-таки прав: барину тому ты отказа не делал, ему и сердиться на тебя нет причины.

Совсем другим хаактером отличаются сельские чиновники, выбранные из прежних чиновников, бывших при помещиках. Они выбраны или по требованию, или по указанию, или по *желанию* мировых посредников, или из боязни ослабить прежнюю власть. Верней всего, что на будущих выборах мало будет из этих людей выбрано вновь на должности. Они держат себя с простыми смертными величаво, а с начальниками униженно; они уж разбирают людей: к первым, то есть к простым смертным, они относят не одних мужиков, но и бедных или в чем-нибудь

ищущих у них помещиков; к другим — всех имеющих власть: своих начальников, сильных помещиков, богатых попов, даже мужиков, когда в них нужда есть. С таким господином ссориться не следует: он может как человек, знакомый с властью, и наказать, и помиловать.

— Да как же, Арсен Васильич,— говорил я одному волостному старшине, бывшему сперва барским бурмистром,— так ведь, пожалуй, и делать нельзя; все-таки ты должен по закону делать!

— Я и сделаю по закону,— отвечал Арсен Васильич.— Я сделаю по закону, и от закона не отступлю, и барина уважу. Человек сам тебя уважает, как же ты его не уважишь?

— Как же ты уважишь человеку?

— Да вот хоть барин, который того стоит, хоть, к примеру, на мужиков тебе жалуется; разберешь дело, и хоть мужики правы, а все на тех мужиков штраф наложишь, потому барин сам того стоит; а не стоит того барин, так хоть и виноваты мужики — ничего не сделаешь.

— Да как же, Арсен Васильич, на правых мужиков штраф накладывать? Ну как те мужики обидятся да жаловаться пойдут?

— В штрафах мне никто запретить не может; штраф в законе указан.

— Ну, а как жаловаться пойдут к мировому посреднику или еще к кому?

— Нет, не пойдут,— отвечал решительно Арсен Васильич,— не пойдут! Мужик жаловаться по судам не любит.

— Ну, а если с мужика возьмут взятку? Ведь у вас берут взятки?

— Ни мировой посредник, ни один волостной старшина — ни-ни! Избави Господи!

— Ну, а волостной писарь?

— Те... Да ведь я думаю, что взятка? Взятку я своему писарю позволю взять, сам позволю, потому знаю, какую взятку и какому писарю. Писарь мое дело исполняет, меня слушает, у меня находится в повиновении — как же я ему не позволю взять? Ну, а стал из повиновения выходить — я такому писарю не позволю ни с кого ни одной копеечки взять.

— Какую же взятку, по-твоему, Арсен Васильич, можно дозволить взять?

— Мало ли! Да вот хоть билеты мужики берут, в заработки идут... Что ж, можно! По четвертаку, по двугривенному можно взять; я своему позволил и слова не говорю.

И мужики видят, что с них берут взятки, и тоже ничего, не обижаются; мужики видят, что волостному писарю не брать взяток — придется умирать с голоду: на шестьдесят — девяносто рублей, при купленном хлебе и всем съестном, жить нельзя и простому мужику; а волостной писарь хоть и плохонькой, но все-таки вроде чиновника. Мужики дают взятки волостным писарям и не обижаются; но строго смотрят, чтобы сельский староста, волостной старшина не брали взяток *от барина,* чтобы от того их делу порухи какой не вышло. А потому, если помещик позволит что-нибудь сельскому старосте, например лошадь, на которой ездит староста на барские работы, пустить к барскому корму, то все мужики тотчас же пустят всех своих лошадей к барскому корму, думая, что имеют на это право. И, несмотря на такое устройство сельских управлений и сельских властей, мужики мировыми посредниками более довольны, чем государственные крестьяне — окружными.

— Какой суд лучше? — спрашивал я одного временнообязанного крестьянина Мценского уезда,— ваш суд или однодворческий, то есть суд у государственных крестьян?

— Наш все-таки получше будет супротив однодворческого суда,— отвечал мужик.

— Чем же лучше?

— А тем: короче. У однодворцев придешь жаловаться, уж тебя тягают-тягают, тягают-тягают... и туда сходи, и сюда пойди... к тому иди с просьбой — бумагу подай; другому так, на словах скажи...— всю твою душеньку измучают; а после все-таки накажут. А у нас пришел к мировому посреднику с какой жалобой — он тебя сейчас же рассудит, сейчас же взыщет и ступай домой! Держать не станет!

— Чем же лучше ваш суд, когда все-таки ведет к одному концу?

— Как же можно равнять мирового посредственника и окружного твоего?

— Отчего же нельзя равнять?

— Наш мировой посредственник здешний житель; мировой посредственник здесь и родился, здесь и умрет, а пока жив, здесь ему жить придется; сделает что уж

сильно против закону — ему на мир и глаз показать нельзя будет; где помирволит своему брату барину, а где и побережется. Да и барину помирволит — все хоть одной стороне лучше сделает... А окружной твой... с ветру пришел, что ему? Нынче здесь, завтра там! Кто узнает, какие чудеса он выделывал?

Помещики тоже, насколько могут, довольны судом; случается, остаются недовольны мировым посредником, желают перемены мирового посредника, но редко хотят переменить суд мировых посредников на более организованный, более улучшенный уездный или земский суд. И, конечно, они еще скорее бы помирились с своим настоящим положением, если бы у них были деньги или хоть кредит. При наступившей насущной необходимости в деньгах денег найти редко можно: казенные кредитные учреждения все закрыты, и именно в ту минуту, когда застала нужда в деньгах; из частных рук занять под залог имения или нельзя совсем, или же заем сопряжен с большими препятствиями, а без залога редко удается, и то за большие проценты. Да у кого и есть капиталы, тот тоже сидит без денег: помещикам нужно с вольнонаемными работниками рассчитываться иногда каждый день чистыми деньгами, на это нужны мелкие деньги, а у нас еще с начала эмансипации нельзя было разменять большой ассигнации не только на серебро, но и на мелкие ассигнации. Денег у помещиков нет, крестьяне исполняют трехденку, и барин хоть что хочешь делай — мужики не станут работать семи дней в неделю. Это все так подействовало на помещиков, что они даже не скрываются.

— Слышали вы, мой Ванька не мог найти места в городе? Пущай его... небось, вспомнит господ! Кто его с такой семьей возьмет? — говорила барыня о своем бывшем выездном лакее, которому по его специальности довольно трудно отыскать себе место.

— Слышали вы,— спрашивал один барин другого барина,— слышали вы, мужики вернулись назад?

— Какие мужики?

— А те, что пошли на заработки за Харьков, на Дон! Вернулись назад! Там все выгорело, весь хлеб, вся трава... дождей не было, все и выгорело...

— Ну и пускай их нужду узнают!

— Пускай, пускай их нужду узнают, к нам же придут — поклонятся!

В такое-то время мировыми посредниками пишутся и поверяются уставные грамоты, причем требуется от мужиков, чтоб они подписались под уставной грамотой. Мужики, зная, что, где рука — там и голова, не подписываются.

— Отчего вы не подписываетесь, рук не даете? — спрашивал я не раз.— А как руки дать? Кабы мы знали что, для чего рук не дать! А то там напишут бог знает что, а тебя заставляют руки давать; дашь руку — повороту не будет; скажут: сами мужики так захотели!

— На то закон есть: что сказано, то должно сделать.

— Был бы закон, стал бы наш посредственник много толковать!

— Посредник хочет согласия вашего.

— На черта ему наше согласие! Теперь вот отрежут землю у мужиков, да как мужики рук не дадут — опять отдадут.

— Нет, не отдадут той земли, которая отойдет от мужиков к барину.

— А ты не врешь?

— Нет, не вру.

— Ой ли? А у нас уж которым вернули; мировой посредственник сперва отрезал, а там и сам вернул.

— Это как же?

— Сказал посредственник: еще год владейте, мужики, всей землей.

И по все Орловской губернии такое дело случилось: у мужиков отрезали землю, сколько приходилось более высшего душевого надела, и отдали барину с посеянным хлебом, а потом губернское присутствие приказало дозволить мужикам посеянный хлеб взять в свою пользу...

Прежняя рекрутчина и солдатская жизнь. По песням

Новейшее законодательство сделало значительные и благодетельные перемены в системе наборов, в сроках службы, в наказаниях нижних военных чинов и так далее. Совершенно переменилось обращение командиров с солдатами, почти нет в настоящее время ни одного офицера, который бы не обращал бы внимания на внутреннюю солдатскую жизнь. Все это не преминет, конечно, принести самые лучшие результаты, и очень вероятно, что со временем самый взгляд нашего народа на рекрутство изменится существенным образом. Но долгое существование прежней, тяжелой системы оставило в народе следы, выразившиеся в песнях, рассказах, присловьях. Мне кажется, что именно теперь, ввиду уничтожения старого порядка, небезынтересно собрать в одно целое все, в чем выразил народ свое воззрение на рекрутчину и солдатский быт.

Пусть настоящий этюд послужит памятью о давнем, тяжелом, но, к счастью, и отходящем прошлом. Очень может быть, сказал я выше, что даже и о бывшем солдатстве народ станет думать и петь иначе; но еще и до сего времени в русских деревнях на солдатство народ смотрел как на несчастие, на беду, которая может разогнать, разорить какую угодно семью. Так, в одной песне поется:

В мужика было богатого
Да и были три сына хорошие.
Ох, вышло на них несчастьице,
Что большое несчастьице, бедушка великая:
Что и вышла на них рекрутчина, и так далее.

Об эту бедушку, немалую, большую — солдатство, разбивалась какая угодно удаль. Один говорит:

Никогда у меня, раздоброго молодца,
Такого горя не бывало,
А вот нынешний день, братцы, день-денечик,
Тоска-горе меня обуяла!
Что куют-то, куют меня, раздоброго молодца,
Куют во железы,
Что везут-то, везут меня, разудалого молодца,
Везут во солдаты.

В другой песне рассказывается про всю молодецкую гульбу, среди которой застала раздоброго молодца *рекрутчина.*

Попила ль моя головушка,
Пила ль — погуляла
Не за батюшкой, не за матушкой
Буйной головою,
Не за братцевой, не за сестрицыной,
За легкой работой!
Что со радости мои кудрюшки
Со радости вьются,
Что со горя ли, со кручинушки
Русые секутся!
Ох, зачуяли мои кудрюшки
Над собой невзгоду,
Ох, и ту ли невзгоду —
Большое солдатство!

Тоска и печаль заставляла раздобрых молодцев плакать и обращаться к своим близким с такою скорбью:

Растоскуйся ты, моя сударушка, по мне разгорюйся!
Что ни сам ли то я, сам раздобрый молодец, сам по себе взгоревался!
Обижают меня, сиротинушку, злые люди:
Что и ловят меня, сиротинушку, злые люди,
Что и ловят меня, сиротинушку, ловят во солдаты!

На этот вопль откликаются все друзья и сродники, а душа красна девица:

Как сказали другу
Да на царску службу —
Плакала, рыдала,
Слезы проливала —
Всею ночь не спала!

Напрасно ее уговаривают:

Ты не плачь, не плачь, красная девушка!
— Не сама я плачу, плачут ясные очи,
Что и сами слезы, слезы из глаз катятся,
Что везут, отдают дружка во солдатушки,
В молодые его, дружка, рекрутики.

От этой тоски-горя бежали тогда кто куда мог; кто в леса, кто в монастырь к знакомым старцам и монахиням — переждать набор, но нигде раздобрый молодец не был безопасен:

Обижают его, сиротинушку, злые люди,
Что и ловят его, сиротинушку, ловят во солдаты.

Которому удается отбегаться от рекрутчины, а которого

Поймали доброго молодца, поймали у прилуки,
Что у той ли у прилуки, у красной у девки.

Видит мужик, что не всегда и отбегаешься, стал придумывать, как делу помочь, как бы канцелярским порядком рекрутчину обойти. Вздумали *сказки расписывать:* большая семья записана в одну ревизскую сказку, рекрут непременно следует; разобьют семью на бумаге на две семьи, обе семьи небольшие, и рекрута не берут... Узнали и про это *злые люди,* выдумали *самовольный раздел.*

Сказан набор. Вот в семьянистой избе старик отец думает:

Кому ж, детушки, идти во солдатушки?
. . . .
Что и старшего сына жаль отдать,
А середнего не хочется
. . . .
Что меньшой-то сын —
Тот в разум не вошел...

Обыкновенно решают:

Идти ли не идти сыну меньшему!

Вот теперь начинается новая сцена:

Во слезах сказал родный батюшка:
Что идти ли не идти сыну меньшему,
Сыну меньшему Иванушке
. . . .
В возрыданьице матушка слов не вымолвила.

Едва сказан набор, тот, за кем стоит рекрутская очередь

. . . . припечалится,
Молода жена расплачется,
Малы дети разрыдаются!

В былое время назначенного в рекруты, так называемого *годного*, сейчас по назначении заковывали в железы, и ни одна рекрутская песня не обходится без этих ненавистных, незаслуженных *желез*, воспевая, как куют руки-ноги добру молодцу во железы.

Одних только наемщиков и охотников не ковали в железа; за теми много было караульщиков; но эти несчастные выдумывали такие безобразйя, что они не заслужили в народе решительно ни одной песни, по крайней мере, я ни одной не слыхал. В охотники обыкновенно нанимается самый беспутный народ. Наемщик бросает всю семью, часто жену с детьми без гроша денег, скудно оставляя им несколько рублей, пропивая сам сотни, а нередко и тысячи во время своей гульбы. Они обыкновенно при найме выговаривают, сколько времени гулять. Кроме условленной платы деньгами в это время хозяин, то есть нанимающий за свою семью, делается самым покорным слугой своего охотника; что бы тот ни потребовал — хозяин должен подавать, куда бы тот ни захотел ехать — хозяин должен везти, что бы тот ни истратил — хозяин должен заплатить.

Кто не видал, как этот беспутный люд, с криком и гамом, махая красным платком, обнявшись с дешевыми красавицами, окруженный не сродниками, не приятелями, а караульщиками, ездил по улицам? Раз только в Мценске увидали охотника, гуляющего с сродниками.

— Просто на всех ужас нагнал,— говорил один из очевидцев этого безобразия.— Пьяный сам, а тут сестра родная пляшет, а тут мать пьяная! Просто неподобно!

А должно быть, и между этими беспутными, безобразными бывали люди, да и хорошие люди.

— Надо охотника искать! — говорил мне *настоящий* мужик, мужик стоющий, то есть мужик зажиточный; а почетность в деревнях даром не достается, и ежели мужик пользуется почетностью, то эта почетность вполне заслуженная.

— Мне не случалось слышать, чтоб хороший человек пошел своей охотой за чужую семью наемщиком в солдаты.

— Бывает и хороший человек: не нанялся бы в солдаты, а нужда какая пришибет — не сам он нанимается, нанимает нужда его.

— А тебе и таких случалось видеть?

— Да не знаю, как тебе и сказать: и видел, и нет. Возили мы барскую рожь во Мценск; заехали ночевать, а у нашего хозяина гость, тоже мужик. Пир такой идет! Во! Вдвоем за ночь четверть выдули, послали в кабак взять четверть, а к утру хоть бы опохмелиться осталось! Хорошо! Только видим: с ними парень, так лет двадцати пяти, он-то и есть охотник. Что ж ты думаешь? Не только чтобы он за стол сел, а в избе-то почесть не сидел, все на дворе стоял, а водки хоть бы тебе каплю в рот взял! А лицо-то такое жалостливое, да такое смутливое... За этим и присмотру никакого. «Этот,— говорит хозяин,— не уйдет. Этот у меня не гуляет!» Стало быть, этот был и путный, а вот нанялся же охотником.

Вот единственный случай, в котором наемщик был *по подозрению* хорошим человеком. Повторяю, что о наемщиках я не знаю ни одной песни, но добрых молодцев народ провожает песней до гробовой доски.

Поймают молодца, скуют и станут чествовать. Никто на него не сердится, за ним нет никакой вины, а ежели и была — ему всякая вина отпустится; но куют не из сердцов, а из предосторожности, чтоб не убежал. Поэтому отдатчикам в обязанность становилось обычаем ублажать гожих: отдатчики должны хорошо кормить гожих и почти всегда поить водкой. Но эти люди не предавались такому развратному разгулу как наемщики, потому что не имели воли, а главное — у них оставалась семья, родина, от которых охотник добровольно отказывался.

Гожего, сковав, сажали на пару лошадей и везли к приему в город, в котором находится рекрутское присутствие. А на паре лошадей мужик ездит только в одном еще случае — на свадьбах. Это обстоятельство не упущено песнею:

Посадили меня, раздоброго молодца,
В козырные сани,
Повезли-то меня, только разудалого,
В город — во губернью,
Привозили меня, раздоброго молодца,
Меня ко приему.

Все, что поражает человека при приеме в рекруты, высказано в песне со всеми подробностями:

Привели меня, раздоброго молодца,
Меня ко приему,

Раздевали меня, раздоброго молодца
До белого тела,
. . . .
Ставили меня, сиротинушку,
В казенную меру,
Как и стали они меня, сиротинушку,
Они стричь и брити...
Ох, уж брейте вы мои кудерушки,
Брейте, не жалейте!
. . . .
Привезли-то меня, сиротинушку,
Меня ко приему,
Все приемщички ли на сиротинушку
Они вздивовались:
Да и где ж тот ли сиротинушка,
Где ж он уродился?

Забрили лоб — все еще не солдат, все еще он может убежать,— с беглеца взыску нету, пока присягу не принял на царскую службу. Народ думал, что рекрут принимал присягу на царскую службу только на двадцать пять лет, а что после двадцати пяти лет солдат волен идти на все четыре стороны.

Пока не пригоняли молодого рекрута к присяге, всякий крестьянин помогал ему, когда тот задумывал бежать.

Забрили лоб, пригнали к присяге, и вот гонят молодых солдат,

А за ними идут матушки родные,
Во слезах они пути-дороженьки не видят.
Как возговорят солдаты молодые:
— Эх вы матушки, вы матушки родные,
Не наполнить вам синя моря слезами,
Не исходить-то вам сырой земли за нами!

А более забубенные головы прощались со своими разлапушками-сударушками:

Прощай, бабы, прощай, девки!
Нам теперя не до вас —
Во солдаты везут нас!

Посмотрим, как народ смотрел на солдатское житье-бытье. Для этого я опять обращаюсь преимущественно к народным же песням. Но при этом я должен оговориться. Есть два рода солдатских песен: одни, даже при поверхностном взгляде, в самом деле оказываются поддельными под народные песни, другие — чисто народные.

Эти песни почти не поются народом, а ежели и поются, то как песни модные, и разумеется, более полированными людьми, например фабричными.

Есть и другие песни, в которых говорят совершенно другое.

Мужик, поступая в солдаты, начинал совершенно иную жизнь; все менялось: образ жизни, занятия, одежда, прическа. И надо сказать, что тогда многое было, как нам кажется, не только лишнее, но иногда и вредное.

— Нынче какая служба! — говорил мне отставной солдат еще до 1855 года. Нынче что за служба! Нет, послужили бы по-нашему! Это взять теперь хоть солдатскую одежду...

В эдакой-то одежде, да еще ученья, в которых рекрут не видел цели, да и как растолковать рекруту пользу учебного шага, пунктиков?

Песен мало, рассказов же про прежние учения вы можете много слышать, лишь бы была у вас охота. Старики солдаты, разумеется, отставные, порасскажут вам.

К войнам допетровского времени народ прилегал всей душой, простая цель тех войн была понятна народу. Надо бы было указать на самую старинную русскую военную песню, на песни про владимировых богатырей, и в особенности на песню о Полку Игореве, но я думаю, что и без этого можно обойтись. Мы возьмем лучше песни про войны Московского царства. Как видно по этим песням сердечное участие народа в этих войнах! По сборнику песен П. В. Киреевского, я полагаю, что самая старинная песня солдатская про Куликовскую битву. Но этой песни у меня нет под рукой, а ежели бы и была, я не имел бы права ее приводить. Не буду также ссылаться на песню, записанную Железновым про Рыжечку, хотя эти песни и помогли бы мне. Начнем с песен времен Иоанна Грозного. Песня про взятие Казани-города сохранилась в народе во многих вариантах, и по всем вариантам видно, что народ с участием смотрел на эту войну, да и видел народ достаточную причину самого гнева Грозного на Казань-город.

Они белому царю всякое грубиянство оказывают,
Уж и вот тебе, белый царь, Казань-город взять!
Оттого-то белый царь рассердился, распылился на Казань-город.

В других вариантах это обстоятельство рассказывает проза:

Что татары же по городу похаживали,
Что грозна — царя Ивана Васильевича поддразнивали*.
Что и тут-то наш грозен царь прикручинился.

Царь Грозный велел подкопы подкопать под казанские стены, велел пушкарям в те подкопы бочки зелья — пороху накласть и поставить две зажженные свечи, одну в порох, чтобы произвести взрыв, другую у царя, чтоб видеть, как скоро произойдет взрыв. Сгорела свечка, стоявшая перед царским шатром, а взрыва еще нет! Царь Грозный распалился на пушкарей:

Приказал Грозный царь тех пушкарей казнить.

На счастье, случился тут молодой пушкарь, что годами еще молод был, а разумом, может, и постарше всех.

Этот пушкарь сказал царю:

Не прикажи казнить, прикажи слово вымолвить!
В тиши, в погребу долго свечи теплятся,
На бую, на ветру скоро свечи горят.

Не успел молодой пушкарь слово вымолвить, как взорвало все стены Казань-города.

Этот песенный рассказ совершенно согласен с официальным рассказом летописей. Стало быть, все знали, как шла осада, за что понадобилось такое скорое наказание, все подробности этого дела. К самому царю, к Грозному, да еще в ту минуту, когда этот Грозный царь распалился, разгневался, обратился молодой пушкарь с советом. В этой песне видно участие, которое принимал в деле всяк, даже молодой пушкарь.

В песне про осаду Пскова Баторием рассказано все, с начала до конца: как началась война, отчего, какими путями шел король-собака на батюшку, на Опсков-город, одним словом, вся псковская кампания эта рассказана одною песнею.

Копил-то, копил король силушку,
Копил-то он, собака, двенадцать лет;
Накопил-то он силушки — сметы нет

---

* Этому стиху есть и еще вариант, неудобный для печати.

Мало, сметы нет, сорок тысяч полков.
Накопимши он силы — на Русь пошел;
Он на Русь пошел, на три города,
На три города, на три стольные:
На первый на город на Полоцкий,
На другой-то город — Велики Луки,
На третий, на батюшку на Опсков-град.
Он и Полоцкий город мимоходом взял,
А Велики Луки он насквозь прошел;
Подходит он под батюшку под Опсков-град.
Становился, собака, в зеленых лугах,
Садился он, собака, на золот стул,
Смекал-то он силушку по три дня,
По три дня и по четыре:
Много ли силушка убыла,
А много ли силушки прибыло?
Убыло силушки сорок рот,
А прибыло силушки сорок полков.
Тут же он, собака, возрадуется:
— Ох, вы гой еси, мои скорые хожатели,
Скорые хожатели и скорые поспешатели!
Мечитесь скоро в зеленые луга,
В зеленые луга государевы...*
Бери свово коня Бахмута,
Поезжай во батюшку во Опсков-град:
Во город въезжай — не спрашивай,
Ко двору подъезжай — не докладывай,
Во палаты входи — не бей челом;
Клади ярлыки на дубовы столы,
За столами сидит воевода царев
Карамышев Семен Константинович.
— Ох ты гой еси, воевода царев,
Карамышев Семен Константинович!
Отдай город Опсков без бою,
Без бою и без драки великия,
Без того уголовия смертного!
Я на первом часу возьму Опсков-град,
На другом часу стану чистити,
На третьем часу стану стол становить,
Стану пить, веселиться, прохладиться,
Князей твоих бояр всех в полон поберу,
Донских казаков всех под меч преклоню,
А тебя, воевода, казнить буду! —
Возговорит воевода царев
Карамышев Семен Константинович:
— Блуден сын король с королевичем,
С паном гетманом Ходкевичем,
И с воинским конем Вороновичем!
Не отдам я тебе города без боя,
Без боя и без драки великия,

* Здесь должен быть пропуск.

И без того уголовия смертного!
Как с вечера солдаты причащалися,
Со полуночи ружья чистили.
По белой зоре, как куры пропели,
Не туча с тучей соходилася,
Не зоря с зорей сомыкалася,
Соходилися два войска, два великия,
Белого царя с королевским.
Тут ездит, разъезжает удалой добрый молодец,
Еще то ли воевода царев,
Карамышев Семен Константинович:
Кому у нас на бою, братцы, божья помощь?
Помог бы воеводе Московскому,
Карамышеву Семену Константиновичу,
Побил силу королевскую:
Всех латничков, сиповщичков,
Кольчужничков, барабанщичков;
Насилу король сам-третей убежал.
Бегучи он, собака, заклинается:
— Не дай, боже, мне в Руси бывать!
Ни детям моим и ни внучатам!
И ни внучатам, и ни правнучатам!

Про песни времен самозванщины, про Скопина-Шуйского, должно то же сказать: и в этих песнях видно народное участие во всех делах, они всякому были известны, всяк стоял за ту сторону, где он видел по-своему сторону правую.

Теперь, как мной уже сказано в начале, военная служба совершенно изменила характер; лучшим доказательством тому служит добровольное поступление на службу многих охотников. В самом деле, народ уже хорошо сознает преимущества нынешней службы, но не может вдруг отделаться от прежних своих воззрений; ему все кажется еще, что это хорошее может случайно измениться. Но придет время, даже, может быть, скоро, когда он убедится, что улучшения в военной службе прочны и что доверять им он может вполне. Мне случалось слышать немало солдатских бесед, из которых видно, что сделанные в их быту улучшения они хорошо сознают.

Из рассказов о Крымской войне

Великая для России война с западом меня застала в Харьковской губернии, в богоспасаемом городе Богодухове; а город Богодухов стоит совсем в стороне, в такой глуши, что этому городу приходилось читать газеты по крайней мере недели две спустя после выхода их в Петербурге. Газеты, разумеется, получали сильные, ежели не всего мира, то всего Богодухова, как города, так и всего Богодуховского уезда. Знакомые с почтовою богодуховской конторою, желающие знать газетные новости, в день прихода почты приходили в почтовую контору и ждали с нетерпением прихода почты, а с этим и всех новостей. Другие же, не так высоко поставленные на ступенях административной иерархии, довольствовались слухами из вторых и третьих рук о действиях наших войск. В этих-то кружках часто приходилось слышать разговоры, рассказы, совершенно немыслимые ни в каком кружке ни в Москве, ни в Питере. И эти разговоры шли не в каком-нибудь мещанском или купеческом обществе, нет, так говорили в *благородных* обществах, в домах дворян.

Я раз был у одного помещика от десяти до двенадцати (по-старому) душ; там речь зашла о политике.

— Слышал, брат Федор Иваныч, как наши-то ребята, солдаты русского царя, работают?

— Слышать-то я слышал, да не знаю, как вам и сказать, Андрей Петрович, такие дела!

— А вы знаете, как дело было?

— Настоящего-то дела я не знаю...

— А вот: турченин выслал под нашего царя своего генерала Калафата, а наш русский царь своих против него генералов. Наши генералы станут из пушек палить в того генерала Калафата, а у генерала Калафата шаровары широкие... попадет ядро из пушки в те штаны, ядро и запутается: никакого вреда той турецкой армии и не сделает! Видит русский царь — дело плохо! «Дай пошлю,— говорит русский царь,— под того Калафата генерала Одесту!» Послал это русский царь Одесту, а Одеста генерал — человек хитрый-хитрый! Одест генерал стал в Калафата калеными ядрами палить: ядро попадет в штаны Калафату генералу, штаны загорятся... Дай бог штаны чинить, а куда уж тут об армии думать! А Одест-то все палит да палит! Так всю армию Одест Калафатову и побил! Так всю и побил!

В других кружках, читающих газеты, разговоры шли с большею сообразительностью.

— Вы знаете, зачем послали генерала Муравьева под Карс город?

— Нет, не знаю.

— А хотите, я вам скажу?

— Пожалуйста!

— А вот генерал Муравьев возьмет Карс, а после Эрзерум,— говорил мне богодуховский политик, показывая на карту Зуевского атласа,— а там возьмет Синоп, а там подойдет к Скутари! А Скутари у самого порога Константинополя! Вот тогда-то мы и запрем англичанина в Черном море! А запрем — никого и не выпустим... Константинополь возьмем: все выходы запрем!

В Харькове были хоть другие толки, но немногим чем отстающие от богодуховских. Через Харьков из Крыма в то время из-под Севастополя проезжало ежедневно по крайней мере четыре курьера в Петербург с донесениями, и для харьковцев в буквальном смысле сбывались слова сказки: «по усам текло, а в рот не попало»... Курьеры ездили, только в Харькове ни слова никому не говорили, и мы узнавали новости все-таки из газет, которые получали из Петербурга.

Стали в Харьков привозить раненых... Назначено было устроить больницы для двух, кажется, тысяч больных. Пересылка раненых в Харьков была больше чем неудов-

летворительна. Один только раз все были удивлены единогласною благодарностью распорядителю транспорта всех находящихся в этом транспорте больных, хотя в транспорте и было, кажется, несколько сотен, но никто из них без благодарности не вспоминал о начальнике последнего.

Слухи об этом дивном начальнике ходили в Харькове такие.

В один прекрасный день к генерал-губернатору приходит молодая девушка.

— Квитанцию пожалуйте, ваше превосходительство! — говорит она генерал-губернатору.

— Какую квитанцию? — спрашивает тот, никак не ожидая от этой особы такой просьбы.— Какую квитанцию?

— Я раненых из-под Севастополя привезла...

— Ты? Из-под Севастополя?

— Я, ваше превосходительство.

— Как так?

— Партия-то больных поручена была офицеру; с офицером этим я давно была знакома, ну и в Севастополь с ним поехала; из Севастополя его и послали в Харьков с ранеными. А на дороге... Такой грех случился! На дороге он заболел... Хорошо еще, что я тут случилась: не стоять же больным середь дороги! Взяла я у него все деньги... кому можно поверить деньги? Поверишь кому, тот истратит, отвечать придется! Вот я взяла деньги да сама и повезла транспорт.

— Что же, благополучно ты довезла? — спросил генерал-губернатор.

— Слава богу, ваше превосходительство! Кажется, ничего дурного во всю дорогу не было.

— Много денег истратила?

— Много, ваше превосходительство.

— И свои деньги тратила?

— Где своих взять? У меня еще и казенных много осталось: извольте получить,— сказала девушка, подавая деньги.

Генерал-губернатор взял деньги и ахнул! Он, зная *справочные* цены, никак не думал, чтобы так дешево можно было довезти больных до Харькова.

— Только, пожалуйста, ваше превосходительство, квитанцию прикажите поскорей выдать, а то мой-то, пожалуй, и без меня душу богу отдаст, при смерти лежит.

— Хорошо ли ты людей довольствовала?

— Кажись, всем довольствовала, ваше превосходительство: ни один из солдатиков во всю дорогу не печаловался.

— А в книжке у тебя расписывались?

— Какие там книги! Я неграмотная!

— Хорошо, ступай!

— А как же квитанция?

— Приди после.

— Да когда же?

— Хоть часа через три.

— Так я стану собираться назад, ваше превосходительство: мой-то при смерти лежит!

— Хорошо, хорошо, ступай!

Послали спросить солдат, довольны ли они распоряжениями этой девушки во время пути.

— Матери родной не надо! — отвечали те.— Во всю дорогу сама за всеми присматривала, сама за всеми ухаживала!

— Нет ли от кого на нее жалобы?

— Какая жалоба! Матери родной, и той бы так всем не угодить! Ундерам всем руки прижала.

— Как ундерам?

— А так: какой ундер не по ней: «Я тебя арестую,— говорит,— ты у меня не балуй!» Вот все ее и слушали, оттого и порядки были...

Пришла эта девушка к генерал-губернатору, тот дал ей, как слухи носились, двадцать пять рублей серебром за ее заслуги и отпустил. Славная, должно быть, была девушка! Передам я вам еще следующий рассказ ратника.

Живши в Харькове, трудно было не видать раненых, а ежели кто хотел поговорить с ними, то таких вещей наслышался бы, что долго и не позабыл бы...

Я любил с ними разговаривать, и меня всегда поражало добродушие солдат, а в особенности ратников. Как теперь вижу одного обоянского ратника, лежавшего за ранами в харьковском временном госпитале.

— Где ж тебя угораздило? — спросил я у него.

— Знамое дело, под самым Севастополем был, под Севастополем и хватило.

— Да что ты делал в Севастополе?

— Палил.

— Как палил?

— Из пушек палил!

— Ты ведь не умеешь палить?

— Нас, братец ты мой, учили палить из пушек,— отвечал ратник, строго посмотрев на меня.

— Учили?

— Целых, братец ты мой, три дня учили палить! Палить из пушки, не учимшись, совсем нельзя.

— И в три дня ты выучился?

— Как есть выучился!

— И стрелял?

— Мало того, палил; на карауле стоял, значит, службу справлял.

— Как так?

— А вот, примерно, поставят тебя караулить бомбу, ядро... Ты, как завидишь эту бомбу, и должон кричать: бомба!

— Да как же ее ты завидишь?

— Это все видно! Вот летит, ты и кричишь: бомба! А то: ядро!

— Как же тебя угораздило? — повторил я свой вопрос, желая узнать, при каких обстоятельствах был ранен этот знаток артиллерийского дела.

— Да как хватило бомбой в землю, в стену то есть: стенку ту обвалило, меня до половины той землей да камнями и засыпало! Спасибо еще добрым людям, скоро отрыли, а то бы пришлось и совсем пропадать!

Меня всегда поражало благодушие раненых рассказчиков об их подвигах, равнодушие или, лучше сказать, крайнее отсутствие самохвальства в рассказах людей, бывших в страшных опасностях. Ежели они не знали пунктиков, в настоящее время уничтоженных, ежели они не умели отвечать начальству, как требовалось, зато никто не умел так умирать, как умирал русский солдат или ратник.

Я вам расскажу несколько случаев из времен севастопольской бойни 1854—55 года.

Собрались ратники, их приехал смотреть начальник.

— За что идешь драться со врагами? — спрашивал начальник одного ратника.

— За веру, царя и отечество! — бойко отвечал ратник, наученный этому ответу своим начальством.

— А ты? — спрашивал он другого ратника.

— За веру, царя и отечество!

— А ты? — спросил он третьего.

Ратник сконфузился и молчал.

— Говори же, за что? — спрашивал начальник.

— Да так, за безделицу...

— Как за безделицу? — спросил озадаченный начальник.

— Да так, за безделицу: две мерки конопель украл...

— Что?!

— Украл две мерки конопель, барин в ратники и отдал.

И вот этот-то человек, так глупо отвечавший, рассказывал мне про свои подвиги, которые он и подвигами не признавал. Рассказывая про свои подвиги, он так же подсмеивался над собой, как и при рассказе об этом ответе.

— Бывал ты в сражениях? — спросили этого ратника, когда мы уже с ним вдвоем посмеялись над его ответом.

— Как же, бывал,— отвечал тот, как-то лукаво посмеиваясь.

— Где? В каком сражении?

— Да все там же, под Севастополем!

— В каком же сражении?

— Под самым Севастополем.

— Чья ж взяла?

— Чья? Знамо дело: их!

— Отчего же непременно их? — допытывался я, наперед предугадывая его ответ.

— Знамо отчего!

— Да отчего?

— Измена! Вот отчего!

— Какая же измена?

— Ну, сам рассуди,— заговорил мой ратник,— как не измена? Собрали всю силу, сколько ни было под Севастополем нашей силы, всю собрали, собрали и пустили на *него*. Хорошо! Бросились мы на *него*, взяли один порядок, взяли другой; как взяли другой, кинулись на третий, а взяли бы третий — лоск ему б, совсем лоск, как есть! А тут: Тру-ту-ту! Тру-ту-ту!

— Это что?

— А это в трубу заиграли! — отвечал ратник с видимым враждебным чувством.— В трубу заиграли, отступай, значит, назад! А зачем отступать? Два порядка взяли, остался только один третий, и вся наша! А тут отступай! Ну нет, думаем, ребята, постоим! Ступай вперед! А наш-то дружинный кричит: «Назад, ребята! Назад! Худо будет!» Знамо

дело, думаем, худо будет, коли начальник за измену взялся! Глядим назад, а наши-то все назад побежали. Видим, одним нам не справиться, ну и мы за ними бежать! А *он*-то как стал в нас палить, палить в нас! И сколько тут кровопролития было, и боже мой! А все измена!

— Почему же ты думаешь, что измена?

— Да ведь дружинный-то немец!

— Какой немец,— сказал я,— он и по-немецки ни одного слова не знает!

Я знал этого дружинного, он был чисто русский, и про него можно было сказать, что его дед был немец, да и тот ни слова не знал по-немецки, а во внуке, кроме фамилии, ничего не было немецкого.

— Ведь он сам ранен,— говорил я, желая разуверить подозрительного сподвижника.

— Как же, без обеих ног остался!

— А ты говоришь...

— Да что говорить! — прервал он меня, махнув рукой,— что говорить!

Мы помолчали.

— И сколько тут ратников было — начал опять ратник,— раненых одних, об убитых я не говорю, убитых — страсть! Один бог святой знает, сколько было убитых, а раненых сколько!

— Что же, их лечили?

— Лечить-то лечили...

— Так что же?

— Лежать плохо было.

— Кроватей, я знаю, не было, раненых было очень много, нельзя было кроватей напастись...

— Какие тебе кровати!

— Соломки подстелют — и то хорошо,— продолжал я.

— Куда тебе соломки! Собери со всего света солому, и той на эту силу не достало бы! Так лежали!

— И все так?

— Ну нет! Которые попадались к милосердым, тем хорошо было: лекарствами лечут, чаем тебя поют, мало того — и поплачут над тобой!

Я живо себе представляю, как должны были действовать женские слезы на солдат и ратников среди всех ужасов севастопольской войны.

— А страшно было?

— Как не страшно!

— Как же вы вперед все шли, и назад вернуться не хотели?

— Да ведь он пришел веру нашу рушить, порядки свои у нас заводить! Тут некогда, друг душевный, думать, что страшно, что не страшно!

Это мужество поразительное: это не дикая дерзость, не безумная храбрость, нет! Здесь человек сознавая всю опасность, признавал необходимость подвергать свою жизнь этой опасности, чтобы спасти свою веру и свои порядки.

Слышал я другой рассказ.

— Страшно было! — говорил один раненый ратник.

— Чего же страшно?

— Как не страшно?! Стоим мы эдак кучечкой... как хватит ядром — парню голову и отхватило! Смотрим, и не признать, кто лежит: не то Ванька Серых, не то Ванька Старостин! Без головы лежит — и не признаешь! После уже узнали, что Ивану Серых голову снесли.

— А все стояли?

— Все стояли, потому нельзя: он прорвет.

Мужицкий год

Степными губерниями, как известно, называют губернии: Воронежскую, Курскую, Тамбовскую, Тульскую и Орловскую; последние две не совсем степные, потому что в Тульской губернии лесов много, только к Новосилю их мало, а в Орловской губернии почти целые уезды: Брянский, Трубчевский, Севский, да больше чем наполовину Карачаевский, Дмитровский,— сплошь покрыты лесами, и эти-то места, а с ними и соседние, также лесистые, и называются Полесьем. В Полесье земля плохая, один песок; а по степи чернозем, да такой чернозем, что часто толще аршина слой этого чернозема. Казалось бы, что в степи и жить лучше, и мужик против полехи богаче, а на деле выходит не то: пoлеха — тот, кто живет в лесу, не в пример богаче того, кто живет на самом лучшем черноземе. А если еще и прибавим, что степняку приходится и работа труднее, то поневоле приходит в голову: отчего же это — один живет на лучшей земле, другой на худшей, один работает больше, другой меньше, а первому жить хуже другого?

Посмотрим, как живет мужик в самой степи, в хлебородном месте. Всю степную полосу можно разделить еще на две полосы: в южной полосе сеют коноплю, овес, гречу, рожь и пшеницу; пшеницы даже больше, чем ржи, а в северной — все эти хлеба, исключая пшеницы, которой почти не сеют — не родится; а как пшеница самый дорогой хлеб, а

на обработку ее идет столько же труда, как и на обработку ржи, то это делает большую разницу в барышах мужика, положим, курского и мужика тульского, хотя у последнего конопли и больше, чем у первого, да все-таки она не так выгодна, как пшеница: за коноплей хлопот больше, да и удобрения требует больше. Так посмотрим, как живет народ в северной — ржаной части, в которой, вероятно, и пословица сложилась: *матушка рожь всех дураков кормит, а пшеница по выбору.*

Если какой-нибудь господин изъездит на почтовых лошадях по шоссейной дороге Россию, то и тогда не заметит никакой разницы между одною местностью и другою: та же прямая дорога, те же станции, те же ямщики, смотрители; ехать на долгих, да по большой дороге, тоже мало заметного; те же дворники зазывают проезжих с овсом в руке, те же постоялые дворы с большими навесами по всему двору. Проехав от Москвы прямо к югу верст триста, свернем в сторону, хоть вправо, хоть влево — это все равно; ехать далеко от большой дороги не надо. Отъезжайте от большой дороги версты две-три, и довольно: здесь нет уже того однообразия, какое встречается на станциях и на постоялых дворах. Но если вы свернете на проселок — увидите большое различие в жизни мужиков, живущих в очень близких местностях.

Свернете вы в сторону на проселок, проехав версты две-три, нападете на какую-нибудь деревушку; в ней десяток-другой черных избенок об одном, двух окошках; избенки все не очень весело смотрят: которая еще стоит, а которая и совсем на боку... Деревушка эта стоит на каком-нибудь пригорочке, который только в этой степи называют горой, в другом месте его бы и не заметили. Под пригорочком стоит пруд с грязными берегами; этот пруд и запружон вчастую только для водопоя: надо же скотину напоить; запрудишь, гнилой ручей пересохнет, все лето без воды, а без воды жить нельзя; стало быть, немудрено, что берега грязны: скотина разбила. Случается, что пруд пригожается еще, иногда можно и мельницу поставить; хоть об одном камушке, а все-таки мельница. Бывают мельницы и большие, да те мельницы не мужицкие: либо барские, либо купеческие; а если они и общественные, толку от них тоже мало; мельницы эти отдают в наем купцам или кому другому, тому от мельницы и барыш, а миру от нее мало что перепадает.

В нашей же деревушке пруд без мельницы, пруд мутный; вода в этом пруде до того мутна, что и пить ту воду человеку нельзя; горю этому мужики, однако, помогли: нарыли колодцев, стали воду доставать бадейками. Кто просто опустит бадью из рук на веревочке, а глубок колодезь — приделали журавля, а еще глубже или на журавль слеги не хватило — то какое-то колесо, а чаще простой валик — тем колесом и достают воду. Зимой такую деревушку всю, и с прудом, до того заносит снегом, что и не видно, где избы стоят, где пруд; да до того заносит, что и ворот отворить нельзя; так скот и на водопой не гоняют, а то, если можно, через крыши переходят.

Въезжаем мы в эту деревню на восходе солнышка раннею весной: в оврагах снеговая вода бежит, пруд надувается, но снег еще не сошел, только на пригреве высохло. На сухом-то месте в конце деревни собрались крестьянские девушки, все разнаряженные, с чистыми полотенцами на голове, с лентами в косе, в белых льняных рубашках, в нарядных поневах, все обутые, правда, что обуты которые и в лапти, а то есть которые и в коты. Подъезжаете ближе и слышите: девки песни поют:

Весна красна,
На чем пришла,
На чем пришла,
Пришла, приехала?
— На кобыле вороной —
С сохою, с бороной!

— Что девки песни поют? — спросит какой-нибудь заезжий на ту пору в деревушку,— теперь великий пост, а здесь девки песни поют!

— Закон так велит! — ответили бы тому заезжему человеку,— ведь нонче благовещенье.

— Как, закон велит девкам великим постом песни петь? — будет допытываться тот,— да еще в такой большой праздник — благовещенье, до обедни!

— Девки те не песню поют.

— Как не песню?

— А так, не песню! — ответит тот, кого спрашивали,— не песню, это весну закликают.

Проезжий человек и из этого ничего не поймет, опять станет допытываться: как это весну закликают, для чего да почему? И будут ему толковать, а он все-таки ничего не

поймет, ничего здесь не скажет, только выехавши из той деревни, всех дураками обзовет.

— Дураки! — скажет он.— Великий пост, такой большой праздник, а тут девки во все горло песни дерут, какую-то весну закликают... Грех какой творят!

А тут и не понимать-то нечего: всякий, кто мало-мальски учился, знает, что давно-давно, вот уж скоро девятьсот лет будет, как русские прадеды наших прапрадедов православную веру приняли, а прежде этого были у них богами домовой, леший, водяной... вот хоть теперь и весна-красна. Этим-то они богам прежде и службу справляли, да и до сих пор простой народ трудно уверить, что этих домовых да леших и на свете-то никогда не было. Вот хоть бы и весна-красна — разве это живая весна? Хоть ты ей молись, хоть ты ее брани, весна все-таки придет; за весной — лето, а там зима, и закликать их нечего. Вот простой народ, не зная порядком ничего, домовых да леших ругает и весне красной по-прежнему молится так, как ей еще до православной веры молились; все еще весну закликают, и по-прежнему девки поют:

Весна-красна,
На чем пришла?

Напелись девки досыта и разошлись по домам, а дома уж обед собирают: накрыли стол чистым настольником, положили ложки, ковригу решетного хлеба, хоть и не чистого — этот год, пожалуй, до новины не дотянет, так еще с зимы стали бабы печь из муки с мякиною. Все помолились на иконы и всей семьей сели за стол. Старик накроил хлеба, старуха поставила большую чашку варева на стол; все взяли по ломтю хлеба, по ложке и перекрестились. Хлебнули по ложке, положили ложки на стол и заели хлебом; потом опять взяли по ложке варева, положат опять ложки, пока хлеб едят... и все так благочестиво, так истово...

— Не прибавить ли еще, родные? — спрашивает старуха-хозяйка, увидавши, что в чашке уж варева не стало.

— Подлей! — отвечает хозяин.

Съели еще чашку, испили квасу-сыровцу, встали, вышли из-за стола, и все опять стали богу молиться — за обед бога благодарить.

Что же такое они ели? Ведь нынче благовещенье — праздник, разрешение не только вина и елея, да и на рыбу

разрешение, стало быть, и рыбки было в вареве? Нет, рыбки-то у них не было — в своем пруде рыба не водится, а хоть бы и водилась, так не про какого-нибудь мужика, а про тех, кто побогаче мужика: отдали бы на откуп рыбную ловлю в пруде, а откупщик позволил бы разве взглянуть на рыбу, да и то еще если бы позволил, а то и взглянуть не дает — прогонит... Купить для праздника господня рыбки? Купил бы, да купила-то не хватило! Что же они ели? А вот что: сварила баба щей пустых, да забелила их конопляным соком: масла постного тоже не хватило...

На другой день все мужики стали собираться к работам, что летом идут: кто стал соху ладить, кто борону справлять, кто сбрую чинить. После благовещенья скоро за пахотьбу приниматься; недаром старики говорят, что о благовещенье и на санях неделю или переездишь или недоездишь, а снег сойдет, земля оттает, надо овес сеять: ведь овес сеять опаздывать нельзя; и пословица говорит: овес сей хоть в золу, да в пору, а в дождь сей рожь. Придет пора сеять овес, тут уж некогда ждать.

Вот и совсем весна наступила: земля отошла, мужики помолились богу, засеяли овес и только стали землю под рожь пахать — а у которого еще с озими пар поднимать, а там опять за пашню под озимое, гулять некогда — надо еще засеять гречиху; а в петровки другая работа — сенокос подойдет! Бабам тоже свое дело: пеньку мять, овес полоть, капусту сажать, а которая и картошку посадит — тоже дела не оберешься!

Рано утром едет мужик в поле, или пар поднимать, или в другом загоне овес ломать; лошаденка у него нельзя сказать, чтоб уж очень на вид-то хороша была, да зато лошадь, хоть и старая, да выносливая, а всего-то за нее дадено восемь рублей — только! Стало быть, и красоты от нее ждать большой нечего! Приехал на свой загон, соху поставил как надо, снял шапку, помолился на восток богу и принялся пахать; пашет, а сам песню какую-то замурлычет, то галку кнутом стебнет, а галок за ним штук семь перелетывает: он палицей поднимет землю, а с землей выворотит с сотню земляных червей; так галки как завидят, где мужик пашет, так за тем мужиком и перелетывают! Пахал мужик, лошаденка у мужика приустала, да и самому пожевать захотелось. Выпряг он свою лошаденку из сохи, спутал ей передние ноги и пустил на неподнятый еще пар; а сам

вытащил из какой-то тряпки круто посоленный кусок хлеба, перекрестился на восток, сел около сохи, съел свой кусок бережно: крошку хлебную ронять не годится, хлеб — дар божий; потом лег, заснул немножко, а там опять пахать! Выпахал мужик уже больше пол-осьминника, больше осьмой части сороковой десятины; теперь обедать пора. Выпряг он опять лошаденку, оставил соху на загоне, сел на нее верхом и трушком поехал домой; а к тому времени баба с работы вернулась, собрала обед; мужик пообедал, чем бог послал, отдохнул — и опять пахать до позднего вечера.

Бабы, девки тоже целый день, с раннего утра до позднего вечера на работе; мальчишка лет десяти, и тот помогает отцу в полевых его работах; мальчик десяти лет уж борноволок: прицепят борону к лошаденке, посадят верхом, он и пашню заборонует не хуже большого мужика, и лошадь напоит, и в ночное сгонит; тому тоже работа, положим, работа небольшая, работа веселая, а все-таки работа: не будь мальчугана, пришлось бы самому большому справлять ребячье дело! Всем дело, большое дело, трудное дело! И эту трудную работу принесла весна, которая:

Пришла, приехала
На кобыле вороной,
С сохою, с бороной.

Чего же обрадовался народ этой красной весне, которая выгнала поголовно весь народ из дому в поле? Почему наши прадеды радовались весне красной — я не скажу, а почему теперь народ радуется ей, я понять не могу: труды, работа неустанная, беспрерывные труды, часто и в праздники работа, которую и отложить нельзя — вот что значит весна в степной полосе России. И работает мужик безропотно, не скучая работой даже: видно, сама работа его занимает. И в самом деле, простой человек только и живет своей пашней, ее только одну и любит: что ему за дело, что какие-то два короля воюют, что какого-то генерала сменили? Эти мировые дела тогда только его интересуют, когда прямо его касаются; война с нашим царем — набор будет, пожалуй, достанется идти работнику, пахать некому будет, нанять надо, надо отстаивать свою землю-кормилицу. Послушайте, о чем толкуют старики, сидя вечерком по праздникам у какой-нибудь избы на завалинке — все об одних землях, о погоде, о дождях.

Работа несколько унялась, не кончилась совсем — рабо-

ты и ввек не кончить всей, а только что унялась, теперь можно и к соседу в другой приход на праздник поехать. Престольный праздник у мужиков празднуется по возможности хорошо; на этот праздник по-праздничному собираются все родные и приятели. Всяк сходит в церковь к обедне, а время нет, то зайдет в церковь богу свечку поставить и выйдет из церкви, набожно перекрестясь, а у церкви старцы с чашечкой в руке, и поют стих про Лазаря, Егория, Федора Тирона, да этих стихов много, а теперь поют и про вознесение Христово.

Пройдет мужик мимо старцев, подаст христову милостыню и пойдет на ярмарку: кому надо что купить, кому что продать. У мужика к этому времени пенька готова, а на ярмарку съезжаются из ближних городов купцы, которые скупают пеньку. Другому надо лошадь купить, а иной горемыка последнюю коровенку тащит, деньги нужны — дома соли даже нет.

Но когда войдешь в красный ряд, тут уже все смотрит празднично. По обеим сторонам стоят палатки из холста; самые ближние заняты, разумеется, барским товаром: конфетами, чаем, помадой, духами работы Мусатова или Ралле, шампанским домашнего приготовления и всем, чего требует из бакалеи какой-нибудь не очень прихотливый помещик или помещица. В других также красный товар барский: ситцы, сукна, канифасы, впрочем, и крестьянский товар здесь держат; а дальше пойдет уж один крестьянский: в одних дешевые пряники, которых никаким зубом простому человеку и не укусить, а которые есть и мягкие, да уж больно неприхотливы — на одном сусле замешаны. Здесь, кроме этих пряников, найдете рожки, чернослив, орехи разные: и простые каленые, и кедровые, найдете и подсолнечников. А там еще лавки с красным товаром, но с товаром уже простым: платки расписные, кушаки, шапки, шляпы.

На ярмарке всякого мужика, бабу чествуют купцы: как бы много покупщиков ни столпилось в лавке, торгаш всем успеет товар какой кому надо показать.

— Покажи-ка ситцу получше! — говорит одна баба купцу, приходя в лавку с красным товаром.

— А покажи платков! — приказывает другая.

— С нашим почтением,— отвечает купец первой бабе, выкладывая на прилавок несколько кусков ситцу.

— А платков-то?

— Каких тебе, лебедка, требуется? Для старухи какой или самой носить. Так и выбирать будем.

— Мне поцветней выбери.

— Самой, значит,— замечает купец.

— Ты дай мне ситцу показистей,— требует одна баба,— а то какие ты показываешь!

— Что ни на есть самые лучшие: все купчихи тот ситец носят!

— Рассказывай!

— Мне все равно! Я и других покажу... Кому что требуется. Не нравятся ли эти? — спрашивает купец, показывая другие ситцы.

— Нет ли получше платков? — говорит другая баба,— эти как будто уж не тово!

— Каких же лучше надо? Ты, молодка, взгляни хорошенько: это ли не товар? Какой тебе лучше?

Небывальщина

I

Никто столько не видывал видов, сколько наш брат — странник: чего только не увидишь, чего не услышишь? И все впечатления новы, встречи неожиданны. Оттого-то на Руси так много путешественников, или, как их народ называет, странников. Большинство, и огромное большинство, странников-богомольцев странствует по монастырям и церквам, прикрываясь только душеспасительною целию, а в самом деле их прельщает перемена впечатлений; а впоследствии эта жажда новизны доходит до какой-то нравственной распущенности: хочется место переменить, и только; как ни хорошо жить дома, а все куда-то хочется, просто на месте не сидится. Простой человек объясняет свое желание шляться тем, что он *«хочет богу трудиться»*, хочет этими трудами пользу душе принести, а странники, заподозренные в большей развитости, бродяжничество свое прикрывают пользой науке; они тоже объявляют, что хлопочут о науке. Как странники-богомольцы, так и странники с *ученой целью* совершенно не приготовлены для своих трудов. И в самом деле, я знаю *только одного* путешественника по России, приготовленного к своим работам,— г. Тарачкова, учителя естественных наук орловского кадетского корпуса, ездившего по средней полосе России, писавшего в «Орловских губернских ведомостях» и издавшего впоследствии свои заметки в Орле и, может быть, поэтому или по своей специальности не совсем известного читающей публике. Другие же странники и не думали себя готовить к чему бы то ни было. Возьмите вы хоть путешественников — собирателей наших народных песен (Киреевский умер), сказок

и тому подобного; думали ли они когда-нибудь заниматься своим делом? Собирателю песен, например, кроме уменья читать и писать, должно знать музыку; песня, записанная без голоса, теряет половину своего значения, а изо всех собирателей нет ни одного, который бы мог записать самый простой мотив. При издании песен необходимо сравнить их с другими, по крайней мере славянскими песнями, а из нас никто не знает ни одного славянского наречия... Впрочем, я должен оговориться: никто, кроме П. А. Бессонова... А впрочем, какой же он собиратель? Ведь он собирал песни по чужим сборникам, да по сочинениям Симеона Полоцкого[2], а при своей жадности к этому делу, голоса для этих песен подобрал из мотивов разных итальянских опер; странствия же его было немного: он странствовал только по Москве, да, кажется, раз съездил к кому-то в гости верст за сто, да там и записал от одной горничной *стих духовный*. Кто не верит мне в этом, того могу попросить посмотреть издание П. А. Бессонова — «Калик перехожих»; но ведь это удается одному г. Бессонову. Но о П. А. Бессонове — в другом месте, а теперь, повторивши, что из всех странников-наблюдателей один только г. Тарачков знает, зачем пошел в странствие, я скажу, что, если вы спросите каждого из странствующей братии, ученых ли наблюдателей над русской народностью или странников-богомольцев, вам расскажут много и много таких встреч и приключений, о которых человеку, не странствующему никогда, и в голову не может прийти.

Едва вы вышли из дому в путь, как вас ожидают встречи с простым людом и начальством. С простым людом встретиться не беда: от него отделаться было в прежнее крепостное время легко, несмотря на его любопытство.

Идете вы путем-дорогой в местах, в которых вас никто не знает, да и ближайший ваш знакомый живет верстах в двухстах, а то и больше. Попадается вам попутчик из ближайшей деревни.

— Здравствуй, почтеннейший! — заговариваете вы с ним.— Куда бог несет?

— А мы вот в ту деревню,— ответит вам мужик.— Мы тутошние...

— Тутошние? — спросите вы, чтобы как-нибудь вызвать его на разговоры.

— Тутошние, родимый! Мы исстари тутошние... А ты отколь идешь? Ты ведь не здешний?

— Не здешний, почтенный, не здешний.

— Отколь же идешь?

— Да я из-за Москвы.

— Из-за Москвы?.. Знаю... А по каким делам идешь? — спросит он не для того, чтобы узнать с полицейской целью, кто вы, зачем идете, а единственно из любопытства, если не для того только, чтоб не молчать дорогой, а поболтать от скуки.

— По каким таким делам идешь?

— А по своим, добрый человек.

— А? По своим! — скажет он, как будто совершенно понял откуда, куда и зачем вы идете, нимало не обидясь вашим в такой степени ясным ответом.

Потом вы с ним разговоритесь; он вам будет благодарен, если вы примете или хоть покажете участие в его горе, о котором русский человек любит потолковать со всяким; а если вы ему покажетесь и его изба будет по пути — зазовет вас к себе обедать или ночевать. Впрочем, это было сперва, еще до 19 февраля, теперь не то. В былые времена поймаешь бродягу, поведешь к начальству — самого затаскают по судам, станут спрашивать: как поймал, где поймал, да и сделают причастным к делу, не рад будешь, что и поймал недоброго человека; а теперь начальство — мировой посредник, а мировой посредник свой человек: приведешь к нему или хоть к сельскому старосте — тебе ничего не будет; сдал на руки — тебя сейчас же и отпустят. А потому встреча с простым мужиком кому бы то ни было, как бы кто ни был известен за нехорошего человека, ни для кого не опасна, тогда как в старые годы встретиться в деревенской глуши с начальствующим лицом иногда значило попасться в беду, а чем ниже было начальство, тем было хуже. Например, у меня была встреча с сотским... Но я должен сказать несколько слов о тогдашнем моем путешествии.

Я тогда был еще студентом Московского университета. В один прекрасный день купил рублей на десять разного товара, уложил в коробку и отправился в путь; и с этой коробкой — коробейником пришел в одно большое село одной из неблизких от Москвы губерний. В этом селе я и положил иметь свою главную квартиру. Познакомившись

с сыном моего хозяина, парнем лет двадцати, мы с ним не расставались недели две. Пообедавши с ним часу в девятом поутру, мы с ним отправились *торговать* по соседним деревням, и, надо правду сказать, песен собрали много, денег же наторговали один двугривенный, потому что мой товар был *бесценный*. Так, например, как вы определите цену этому товару: три пары серег стоили мне две копейки ассигнациями, по тогдашнему — грош; сколько я должен был брать за одну пару? Поэтому я за свой товар рассчитывался песнями и одной только неотвязчивой попадье за двугривенный продал платок; и по сю пору не знаю, дорого или дешево отдал этот платок.

Поторговавши таким образом часов до четырех, мы возвращались домой, где уже собирался веселый народ: парни, девки, старики, старухи... всех возрастов люд, кто только желал выпить сколько кому хотелось; все ждали, вероятно, с большим нетерпением моего возвращения, чтобы веселить и веселиться...

Повадился ко мне на мою главную квартиру какой-то сотский; правда, сидел он у меня недолго: придет, выпьет и уйдет. Но при этом благоразумии он оказывал мне страшную неприятность: люди, желающие выпить,— народ веселый, а этот народ веселый податей платить, разумеется, не совсем был охотник.

Придет, бывало, этот господин, все веселы, все радостны... а придет это начальство — всем неловко, все видят себя не так, как они должны себя про себя понимать, а как они должны себя держать перед начальством.

— Не ходи ты, брат, когда у меня поют и пляшут,— говорил я не раз,— а приходи один на один, я тебе сколько хочешь водки дам. Ведь ты видишь — ты мне мешаешь...

— Хорошо, хорошо! — обыкновенно говаривал он мне; а между тем прихаживал ко мне всякий раз на вечер, когда были у меня гости веселые, не забывая в то же время приходить ко мне и поутру.

Сижу я раз в избе за столом. Избранный на ту пору мой приятель сидел с правой руки и распоряжался штофом, стоявшим на столе, а песни певший — с левой, и, как теперь помню, левый мой сосед пел:

А и я-то, православный царь,
Не хочу мужиками ругатися,

А татарам потешатися!
Не добро татарам тешиться
Над русскими православными,
А тешиться ли не тешиться —
Мужику ли над татарами.

Едва успел кончить песню мой сосед, вошел сотский. Все замолчали...

— Здравствуй! — обратился ко мне сотский, взявшись за штоф, стоявший на столе.— Здравствуй, брат!

— Здорово! — отвечал я с большим и очень с большим неудовольствием: на ту пору этот сотский был до крайности лишним.

Сотский стал наливать из штофа в стакан водку, потихоньку, не торопясь.

— Зачем пьешь водку? — спросил я не совсем любезно сотского.

— А вот, Иваныч, водочки хочу пить,— отвечал тот, несколько смешавшись.

— А водка-то твоя?

— Молчи, человек любезный! — заговорил, еще более смешавшись, сотский.

— Молчать можно, а ты водки все-таки не трогай: водка не твоя, да тебя никто и не потчевал.

Представьте себе положение этого господина: он — сотский, все-таки начальство, хоть малое, а, как ни рассуждай, все начальство, и это начальство опозорено перед подначальственными людьми, самыми гуляками, за которыми накопилась пропасть недоимок и которых это начальство каждое утро за эти недоимки драло за вихор.

Начальство обиделось.

— Так водки не даешь? — спросил сотский.— Водки твоей и попробовать нельзя?

— И пробовать нельзя. Я тебе сколько раз говорил: приходи по утрам и пей сколько хочешь, а только по вечерам не мешай.

— Ну ладно! — заговорил, приосанясь, сотский.— А за каким таким делом, парень, ты здесь шатаешься?

— Да ведь ты знаешь, что я торгую?

— Какая, черт, торговля? Гроша медного ни от кого не брал.

— Ну уж это мое дело.

— А, пожалуй, и не совсем твое! Ты, на-первых, скажи: отколь ты сюда забрался?

— Это дело ты заговорил, господин сотский; на это можно отвечать.

— Да ты дело говори: отколева ты приехал.

— Из Москвы, господин сотский.

— А пашпорт есть?

— И пашпорт есть.

— А покажи!

Я достал свой вид и передал сотскому, тот взял, разложил его на столе и стал внимательно в него всматриваться; долго, очень долго глубокомысленно на него глядел, и только глядел, а не читал, потому что он был неграмотный, и потом заключил так:

— А пашпорт-то твой, парень, фальшивый!

— Это как ты узнал?

— Узнал!

— Ведь ты грамоте не знаешь, как же ты мог узнать, если бы и в самом деле пашпорт был фальшивый?

Сотский этим замечанием еще больше обиделся.

— Да что с тобой много толковать! — решил сотский.— Пойдем к становому, он тебя разберет.

Такого результата от моего отказа в водке от сотского я никак не ожидал, но, как дело уже было сделано и пардону просить было нельзя, сотский мог подумать и бог знает что, то я, собравши все свое имущество, отправился к становому. Сотский из моих же приятелей выбрал четверых конвоировать меня, но это было лишнее: за нами пошли все, кто только был в избе, более двадцати человек; а как вышли из избы, к нам стали приставать все встречные, так что мы вышли из деревни толпою человек во сто, и все ввалились в другую деревню, версты за четыре, в которой жил становой пристав. В этой деревне тоже всякий встречный приставал к нашей толпе.

Деревня, в которой жил становой, выстроена была в одну линию перед речкою, на полугоре. Почти середи деревни, в избе с крашеными окнами, квартировал становой, и перед этой избой мы и остановились.

— Береги ловчей! — приказывал сотский мужикам, меня конвоировавшим.— Я знаю этого парня: плут, как раз стречка даст! Поди после, лови!

Отдав это приказание, сотский пошел к становому, а меня, как по чину недостойного войти в комнату начальства, оставили со всей толпой у крыльца. Толпа хоть говорила и

вполголоса, но все-таки шумела; но, когда через четверть часа вышел становой, все замерло. Все скинули шапки; один только я, поклонившись становому, надел опять шапку. Становой вышел в халате, и заметно было, что он восстал от послеобеденного сна; и еще было заметнее, что он за обедом *время проводил не праздно,* другими словами сказать: за обедом господина станового выпито было немало.

— Что за человек? — спросил меня становой, благоразумно избегая местоимения: *«ты»* сказать, может быть, и неловко, а *«вы»*, может быть, и не стоит.— Что за человек?

— Императорского Московского университета университант,— отвечал я, желая придать себе более значения, а потому и не называясь студентом университета, думая, отчасти справедливо, что становой слыхал только о студентах семинарий, с которыми церемониться нечего.

— Что же вы здесь делаете? — спросил меня становой более благосклонным голосом.

— Собираю остатки нашей национальной поэзии,— ответил я.

— Как?

— Остатки нашей национальной поэзии,— опять отвечал я недоумевающему становому.

— Какой поэзии?

— Национальной.

— Да вы говорите просто: что такое вы делаете?

— Я вам сказал.

— Ну как вы собираете эту поэзию?

— Записываю.

— Что записываете?

— Песни, сказки...

— А ты откуда пришел? — вопросил, приосанившись, становой.

— Из Москвы.

— Из Москвы за песнями?

— Из Москвы за песнями.

— Как, такой-сякой! Пословица говорит: в Москву за песнями ездят, а ты из Москвы сюда за песнями приехал!

И пошел, и пошел мой становой. Обижаться мне было нечем: становой ругал, собственно говоря, не меня; я был в то время в качестве декорации, толпа вся без шапок,

один только человек стоит в шапке, и этого-то шапочного ругают нецензурными словами.

Бабы, мужики мне сочувствовали и гораздо более меня принимали к сердцу то оскорбление, которое мне делал своею бранью становой.

— Да за что же он над тобою так изругается, голубчик ты мой? — говорила одна баба, приложа правую руку к щеке, а левой поддерживая локоть правой.

— Ты, родненький, не горюй,— говорила другая,— он у нас добрый, только сердце свое сорвет, а то ничего... Отойдет сердце, сам и после жалеть тебя будет...

Так продолжалось около получаса. Вижу я: едет на беговых дрожках один *столичный* помещик (столичного помещика от деревенского легко отличить), лет двадцати пяти.

— Кто это едет? — спросил я у одного мужика, конвоировавшего меня.

— Да это князь Н-ский,— отвечал тот.

Князь Н-ский ехал крупной рысью, но, увидев большую толпу, поехал шагом.

— Князь! — крикнул я.— Князь, пожалуйте сюда.

Князь подъехал.

— Уверьте, пожалуйста, князь, господина станового пристава, что студенту Московского университета можно ходить собирать мужицкие песни.

Становой замолчал в ту же минуту, как подъехал князь Н-ский.

— А вы студент Московского университета? — спросил князь, вежливо мне поклонясь.

— Да, студент.

— Ваша фамилия?

— Якушкин.

— Не угодно ли вам будет отдохнуть у меня несколько времени?

— Сделайте одолжение!

— Так садитесь! — сказал он, подвигаясь ближе к передку дрожек.

Я, не торопясь, поставил на дрожки свою коробку с товаром, потом сам сел на дрожки; князь тронул лошадь, поклонился становому, я, в свою очередь, также поклонился, и мы поехали... Становой только улыбался.

Это было давно, по крайней мере лет двадцать тому

назад. С тех пор становые переменились; а чтобы не сказать голословно, я вам расскажу следующий казус.

У одного очень хорошего и образованного помещика соседние мужики хлеб лошадьми побивали, и он спустил раз, спустил другой... Наконец ему невтерпеж стало: послал за становым.

Приехал становой, разобрал дело и решил, что мужики точно виноваты.

— Прикажете наказать мужиков розгами? — спросил становой помещика.

— Нет! избави господи! — отвечал тот. А вы возьмите себе с них по полтиннику... или там сколько...

— Вам или себе?

— Да... разумеется... себе! Мне их денег совсем не надо! Возьмите для себя.

— Взял бы по полтиннику,— отвечал становой,— да полтинников-то у них у самих мало!.. Нет, уж в другой раз мне этого, батюшка, не говорите!

— Что ж, братец ты мой,— говорил мне этот помещик,— со стыда сгорел! Вот мы с тобой и учились, а ведь не умеем понять, что хорошо и что дурно...

Наученный опытом, я с начальством никогда не ссорился. Раз приходит ко мне сотский, с которым я уже завел большую дружбу.

— Павел Иваныч,— таинственно заговорил он,— Павел Иваныч!

— Что тебе?

— Тебя велено поймать!

— Это за что?

— А черт их знает, Павел Иваныч! Исправник говорит: поймать!

— Да за что же?

— Он, говорит исправник, не торгует, а товары так раздает; верно, недобрый человек!

— А ежели бы я и даром раздавал?

— Он, говорит исправник, или лавку обокрал, или от солдатчины бегает!

— С чего же это он взял? — спросил я не совсем покойным голосом.

— Он, говорит исправник, по всем деревням дебоширства делает.

— Какие же?

— А черт его знает.

— Что же теперь делать?

— И ума не приложу.

— Да ведь ты меня не будешь ловить? — спросил я, очень сомневаясь, что получу для себя выгодный ответ.— Не будешь меня ловить?

— Избави господи!

— Что же делать?

— Найми лошадь, я тебе в этом деле помогу,— ступай в губернию!

Сотский мне нанял лошадь, и я по его совету отправился в губернский город. В губернском городе жил мой приятель, у которого я и остановился.

После расспросов о моих успехах мы сели обедать. Едва начался обед, как к крыльцу нашей квартиры лётом подлетела тройка.

— Это мой дядя приехал,— сказал мне мой хозяин,— исправник, от которого ты только что так успешно убежал... но он добрый человек.

— А! Ко щам! Ко щам! — закричал дядя-исправник еще из передней.

— Милости просим, дядя, милости просим! — проговорил хозяин.

— Да как не просить милости? — отвечал на это приглашение дядя-исправник,— право, брат, голоден, как самая голодная собака!

Дядя-исправник сел за стол.

— Ну что ж, водки? — спросил дядя.

— Кушай, дядя, кушай! — приветливо отвечал хозяин,— водка на столе.— Он выпил рюмку водки и, не успев съесть нескольких ложек щей, остановился.

— Знаешь что? — обратился дядя к своему племяннику-хозяину.— Знаешь что?

— А что?

— Появился в нашем уезде мошенник, да ведь какой, когда б ты знал!

— Какой же?

— Просто, братец ты мой, поймать не могу: ускользает да ускользает!

— Да что же он такое сделал?

— Пока еще ничего!.. А ты подумай: целый месяц ходит по нашему уезду разносчиком, товаров хоть бы на грош

тебе продал, а так товар разбрасывает девкам да молодым бабам. Пить, говорят, пьет, а этим делом не занимается.

— А хочешь, дядя, я тебе покажу этого человека? — спросил смеясь хозяин, которому я уже успел рассказать про собиравшуюся надо мной грозу.

— Да как же?!!

— Да вот он самый! — смеясь отвечал хозяин своему дяде-исправнику.

Дядя-исправник даже вздрогнул.

— Ну, батюшка, Павел Иванович! — сказал дядя-исправник, когда ему рассказали в чем дело.— Ежели бы вас поймали, не знаю — заковал бы я вас или не заковал?.. Право, не знаю, но уж верно приехали бы вы сюда на казенный счет, а не нанимать бы вам лошадей, непременно прислал бы вас прямо к губернатору. Кто вас, теперешний народ, кто вас знает — зачем вы ходите?

II

Но не всегда бывают встречи, нашему брату опасные только для себя; бывают эти встречи, иногда кажущиеся опасными и для встретивших вас. Расскажу вам следующий со мною случай.

Пошел я из Москвы торговать в одну не из самых близких губерний от этой старой нашей столицы. По методе, мной тогда принятой, я остановился в одной деревенской избе и оттуда делал свои экскурсии. В один прекрасный день, часов в восемь поутру, я обедал — мужики обедают летом всегда около этого времени. И я никак не мог думать, что мой обед будет прекращен совершенно неожиданным для меня случаем.

— Здесь разносчик? — вопросил, входя в избу, лакей в ливрее, на которой было хоть не полное количество пуговиц, но этот недостаток выкупался бóльшим, сколько нужно, числом гербов на его изодранной ливрее.— Здесь разносчик?

— Здесь! — отвечал я нехотя; да и не отвечать-то мне нельзя было, по пословице: назвался груздем, полезай в кузов; так и мне, назвавшемуся торгашом, нельзя было отказаться от своего принятого звания.

— А! Здесь? — приказывал лакей.— Пойдем к господам, господа требуют.

Делать было нечего, волей-неволей я отправился к господам. Прихожу к господам, и, как по чину мне не полагалось идти дальше передней,— дальше меня и не пустили. Остановился я в передней; вдруг выбегают ко мне барышень девять или десять, хоть и не совсем в приличном наряде, но зато всех хоть сейчас под венец. В одну минуту вся моя коробка была на воздухе, или, точнее сказать, в руках барышень.

— Какой у тебя товар дурной! — говорила одна сестрица.

— Какой есть, барышни,— отвечал я им смиренно.

— Какой есть! — ворчали те брюзгливо и крайне ко мне не в расположительном тоне.

— Какой есть, барышни, какой есть! Не взыщите, пожалуйста! — опять отвечал я этим барышням, не желая показаться им тем, кем я в самом деле был.

— Это что у тебя? — вдруг радостно вскрикнула одна из барышень, отыскавши в моей коробке две банки, каждая немного поболее стакана, одна с белым порошком, другая с красным.— Это что такое?

— Это,— отвечал я,— в одной банке румяна, а в другой белила.

— И хорошие эти белила и румяна? Хорошие или дурные? Хорошие? Хорошие? — забормотали одна за другой мои барышни.

— Как кому покажутся.

— А можно посмотреть?

— Отчего же, можно.

Мои барышни развязали эти две банки, начали пробовать на руке: намочат руку, насыплют белилами, румянами, разотрут, подойдут к окну, посмотрят и уже потом вскрикнут:

— Ah! que c'est beau! Ah! Que c'est beau![1]

— А что стоют две эти банки? — спросила одна из барышень, плохо скрывая свой восторг при таком важном открытии.

— Дешевле двадцати пяти целковых взять нельзя,— проговорил я довольно серьезно.

— Как дорого! Как дорого! — закричали мои барышни. Да и в самом деле цена была неподходящая: обе эти

---

[1] Ах, как хорошо! Ах, как хорошо! *(франц.) — Сост.*

банки никак не дороже двадцати пяти копеек, а я запросил двадцать пять рублей; на это была следующая причина: этот товар был для меня необходим. В каждой деревне за песни белилами да румянами я только почти и рассчитывался; продай эти две банки — и я должен бы был отправиться в город затем только, чтобы купить опять эти дорогие две банки с белилами и румянами.

— Ah, que c'est beau! Ah! Que c'est beau! — услышавши такую баснословную цену, еще усиленнее кричали мои барышни, пачкая свои белые ручки белилами и румянами без всякого сожаления ни к своим рукам, ни к моему товару.

— Très joli![1] Да ты говори настоящую цену! — наконец обратились ко мне барышни.

— Меньше двадцати пяти рублей за эти две банки мне взять никак нельзя.

Барышни торговаться, я не уступаю ни копейки; барышни еще усиленнее мажут свои руки и торгуются. Я все стою на своем.

— Меньше двадцати пяти целковых мне взять никак нельзя,— твердил я.

— Хочешь целковый? — спросила меня одна из барышень.

— Как можно целковый! Я никогда не торгуюсь, объявляю настоящую цену.

Барышни еще больше торговаться.

— Donnons lui deux roubls![2] — стали барышни советоваться между собой.

— Возьми два рубля,— опять стали приставать ко мне барышни.

— Я вам уже сказал, что меньше двадцати пяти рублей взять никак не могу.

Барышни опять стали советоваться.

— Trois roubles on peut donner[3].

— Да я меньше двадцати пяти рублей не возьму; как можно отдать за какие-нибудь три рубля! — отвечал я, наскучив торгом, который продолжался более часа.

— Какие три рубля? — быстро спросила меня барышня.

— Вы вот советуетесь с вашими сестрицами дать мне за

[1] Очень хорошо *(франц.)* — *Сост.*
[2] Дадим ему два рубля! *(франц.)* — *Сост.*
[3] Три рубля можно дать. *(франц.)* — *Сост.*

банки три рубля, а за три рубля я отдать их никак не могу.

— А ты разве говоришь по-французски?

— Немного понимаю.

— Да где ты учился?

— Я и теперь учусь.

— Где?

— В Московском университете (я тогда был еще студентом Московского университета).

— Где?!!

— В Московском университете.

— Как?!!

— Обыкновенно как.

— В университете!! — взвизгнули барышни и все посыпали вон из комнаты, а я стал помаленьку убирать свой товар.

Дело приняло чрезвычайно курьезный вид.

— А-а!! а-а... что это — мистификация? — спросил меня, входя, почтенный старец, отец семейства. Старец этот был толстый, лысый, усатый и в халате, и по всему видно было, что этот почтенный господин, прослужив сколько ему было надо, ни о чем не думал.

— Это мистификация? А-а?

— Только невольная,— смиренно отвечал я, укладывая свой товар в коробку и ожидая сильной грозы и от этой грозы для себя сильной беды.

— Как невольная?

— Невольная.

— Это почему?

— Я хожу по деревням не продавать, а совершенно с другой целью.

— С какой целью?

— Собираю остатки народной поэзии.

Мой господин совсем посоловел, он об этих диковинках никогда и не слыхивал. Заметьте, что этому казусу прошло больше двадцати лет.

— Какие же остатки народной поэзии? — спросил меня барин более тихим голосом.

— Песни, сказки, поверья, обычаи,— отвечал я, закрывая свою коробку крышкой.

— И только? — уже совсем робким голосом спросил меня помещик.

— И только.

— Да вы где учились?

— Я и теперь учусь.

— Где?

— В Московском университете.

Это совершенно озадачило помещика.

— В университете?! — не то он еще спрашивал меня, не то воскликнул это от удивления. Этого простому смертному понять было совершенно нельзя.

— Да, в университете.

— И ходите за песнями, за сказками, и все только за одними мужицкими? Да?

— Только за мужицкими.

О, любезные читатели! Вы не можете понять, какую бурю произвели эти мои совершенно невинные слова в душе этого высокопочтенного господина! Посудите сами: поверить моим словам — черт знает что такое, дело совершенно им неслыханное; за такое дело, пожалуй, и под суд попадешь, коли не отправишь к становому собирателя... Да и не поверить-то тоже нельзя — дураком назовут! Что тут делать? Однако славянское гостеприимство одержало победу в мою пользу.

— Да ведь это трудно,— заговорил помещик, как-то смешавшись,— ведь это трудно... человеку воспитанному... несколько... так сказать... образованному... с мужиками?

— Этого я вам не скажу,— ответил я, с величайшим удовольствием заметивши, что мне от этой встречи большой беды ждать нечего.

— Да ведь все с мужиками?

— Нет, я иногда захожу отдохнуть и к помещикам, знакомым, ежели по пути.

Барин совсем растерялся.

— Да-а-с?!!

— Да-с.

Барин взглянул на меня более доверчивым, более ласковым взглядом.

— А... а не угодно ли вам, милостивый государь, будет и у меня сколько-нибудь отдохнуть, хоть неделю, хоть две — для меня все равно: мы по-деревенски.

— Нет, благодарю вас, не могу.

— Это почему?

— Не могу столько времени отдыхать; мне теперь время

дорого,— отвечал я, не желая столько времени убить в этом семействе, положим, хоть и очень почтенном, но все-таки мне этого не хотелось.

— Да мы вас не станем удерживать, пробудете несколько дней, и с богом!.. Христос с вами! — уж молил помещик.— И Христос с вами!

— И на несколько дней не могу!

— На один день...

— Право, мне время дорого.

— Хоть пообедайте с нами!..

— Очень вам благодарен, но только...

— А ежели только — то вы обедаете у меня! — радостно заговорил помещик, как будто и бог знает какую штуку сделал.

Я уже стал забрасывать свою коробку за плечи, но, услыша такого рода просьбу, снял с себя коробку, поставил ее на камин и снял с себя верхнее платье.

— И отлично!.. И отлично! — твердил помещик.

— Я не знаю, чем заслужил такое ваше ко мне расположение? — отвечал ему на это я.

— Как чем? Очень рад!

— Очень вам благодарен...

— Очень рад!.. Очень рад!

Кто не живал в русских деревнях, тот не поймет, чему так обрадовался этот господин; кто же хоть немного наблюдал за деревенскою жизнью помещиков (в давно прошедшее время, до 19 февраля), тот сразу вам скажет, что помещик этот *искренно* был рад видеть у себя *нового человека;* до того пуста была их обыденная жизнь, что они были рады всякому гостю, кто бы он ни был, будь этот гость хоть приходский поп или знакомый заезжий разносчик-володимирец, а еще лучше, ежели сосед-помещик; с тем можно и в преферансик по копейке передвинуть*. Помещикам между собою не о чем было говорить.

— Очень рад! Очень рад!

— Покорно вас благодарю...

Мы вошли в зал. Вы, верно, знаете, как трафаретно расположены помещичьи дома и в деревнях, и в городах: передняя, зал, гостиная, спальня, коридор, несколько комнат задних и девичья.

---

* Интересно бы было знать: насколько уменьшилась цифра сбыта карточных колод с многознаменательного 19 февраля?

Итак, мы вышли из передней в так называемый помещиками зал.

— Очень рад! — твердил помещик.

— Очень благодарен! — в свою очередь повторил и я.

— А как вас зовут? — спросил он меня, от радости забывши спросить об этом прежде.— Позвольте спросить: как вас зовут? — Я назвался.

— Ну, так, Павел Иванович, погостите у нас хоть немножко, хоть несколько деньков.

— Этого, к моему крайнему сожалению, решительно не могу.

— Это почему?

— Дела!

— Ну, хоть один день!

Я стал раздумывать: один день куда ни шел, да к тому же и ночь, может, не даром пройдет, свечку, верно, дадут, стало быть, можно заметки свои несколько в порядок привести.

— Один денечек!

— Мне, право, совестно!

— Э!.. Ну, полно!

— Извольте!..

— Вот и славно! — крикнул, обрадовавшись, мой новый хозяин.— А вот сейчас и мои барышни придут, чтоб вам не скучно было!

— Очень вам благодарен.

— Да! Вы пьете водку?

— Д-да!.. Немного!

— Эй!.. Человек! — крикнул еще более обрадовавшийся барин,— человек!

Вошел лакей.

— Водки!

Человек пошел за водкой.

— Как рад!.. Как рад! — в сотый раз твердил мой неожиданный хозяин.

— Очень благодарен,— я в свою очередь тоже в сотый раз повторял этому барину.

Принесли водку в двух, по обыкновению, графинах: в одном сладкая, в другом горькая. При этом, разумеется, на подносе были и грибы, и селедка, и копченая ветчина и так далее, что обыкновенно бывает для закуски при выпивании водки: так называемые *спохмельные кушанья.*

— Какую вы, Павел Иванович, изволите водку кушать? — ласково спросил меня хозяин.

— Горькую, Петр Семенович.

Мы выпили.

— Очень рад! — опять заговорил хозяин.

— Очень благодарен! — опять затвердил я.

— А можно по другой? — как-то заискивая, ласково смотря, спросил меня хозяин.

— И по другой можно!

Мы опять выпили.

— Да вы закусите хорошенько!

Мы и закусили.

Когда было выпито и закушено довольно, стали влетать к нам в зал барышни-дочери... Да все причесанные, да все приглаженные, да все опрятные — хоть сейчас в столицу!.. И куда девалось это прежнее неряшество! Я думаю, что они не имели никакого желания перед разносчиком очень чиниться, а для них самих их чистота и опрятность были делом совершенно лишним; но перед человеком их круга, за какового они, по-видимому, меня приняли, им неловко было явиться *неглиже,* а потому воротнички на них были безукоризненно чисты, а платья так и шурстели от крахмала.

— Пойдемте в гостиную,— сказала одна барышня после обычных приветствий.

Мы с барышнями пошли в гостиную, а барин куда-то скрылся.

— Ах, как вы нас удивили, Павел Иванович! — залепетали одна за другой барышни.

— Позвольте узнать, чем?

— Да как же, Павел Иванович!

И как эти барышни узнали, что меня зовут Павлом Ивановичем? Может быть, догадливый человек и скажет, как это они узнали, но для меня это осталось тайною или, как говорил блаженныя памяти Кайданов, покрыто мраком неизвестности.

— Удивили! Удивили!

— Чем же?

— Пришли разносчиком! — лепетала одна сестрица.

— Разносчиком! — визжала другая.

— Разносчиком! — подвизгивала третья.

— На это были причины, о которых я уже имел честь объявить вашему батюшке.

— Какие?.. Какие?.. Какие? — сыпалось на меня со всех сторон.

Я сказал.

— Что, Павел Иванович, в сухомятку с барышнями разговаривать? — закричал барин, входя в комнату.— Пойдемте-ка, выпьем по одной: скоро обедать!

Я глянул на барина, барин тоже преобразился: из сального халата он вылез и нарядился в сюртук, и был барин как барин, как быть должно.

— Пойдем-ка, выпьем!

— Пойдемте!

Мы в зале выпили, закусили и опять вернулись в гостиную к барышням, которые хотели мне что-то сказать, что ясно видно было, да не решались.

— А у вас, Павел Иванович, мои барышни белила да румяна, как слышно, покупали? — заговорил барин, садясь на диван и пережевывая закуску.

— Да, торговали...

— Ах, какой вы, папа!

И это «ах, какой вы, папа!» из десяти прекрасных уст повторялось по крайней мере раз тридцать, а может быть, и гораздо, гораздо больше...

— Ха-ха-ха! — ревел барин.

— Папа! папа! — пищали барышни.

— Белиться вздумали! Румяниться вздумали! — задыхаясь от смеха, кричал барин.

— Не верьте, не верьте папе, Павел Иванович, не верьте! — визжали несчастные барышни.

— Я и не верю!

— Нет? Ха-ха-ха! Не хотели белиться, не хотели румяниться; так вы скажите Павлу Ивановичу: за каким делом вам понадобились и белила и румяна! Ха-ха-ха, за каким делом? На что?

— Ведь вы знаете, папа!

— Ничего не знаю,— решительно отвечал папа, чтобы подзадорить дочек.

— Я вам скажу, Павел Иванович, для чего,— заговорила, потупившись, одна барышня.

— Ха-ха-ха! А ну, говори!

— У нас есть кормилица...

— Кормилица! Ха-ха-ха!

— Которую мы все любим,— лепетала барышня.

— Ври, ври! — бормотал барин.

— Видите, Павел Иванович, у нас есть кормилица, которую мы очень, очень любим,— заговорила другая барышня,— а теперь...

— Что теперь? — забормотал опять барин, захохотав во всю мочь.

— Теперь...

— Что теперь?

— Увидели у вас белила и румяна...

— Ну?

— Вот и хотели их купить для своей кормилицы, которую мы очень любим,— проговорила, зардевшись, барышня.— Это совершенная правда.

Я, как вежливый кавалер, совершенно с этим согласился; не согласиться было с этим совершенно невозможно: так убедительно она говорила.

— Поверьте, это для кормилицы, для кормилицы, Павел Иванович!

— Да тут нет ничего необыкновенного,— отвечал я.

— Ничего необыкновенного,— подтвердили почти в один голос все барышни.

— Врите! — крикнул папа.

— Какой вы, папа, право!

— Толкуй!

— Право, папа...

— Пойдемте, Павел Иванович, выпьем водочки, да вместе пообедаем,— провозгласил барин,— а то что с девками даром толковать!

— Пойдемте, пойдемте! — отвечал я, чтобы как-нибудь прекратить эту довольно оригинальную и тяжелую для всех сцену.— Пойдемте!

Мы пошли обедать. Пообедали; после обеда меня не пустили, оставили ночевать, на другой день обедать, и только после обеда я мог пуститься опять в дорогу.

На прощанье я предложил барышням для их «кормилицы, которую они так любят», по банке белил и румян.

— Сколько мы вам должны, Павел Иванович? — спросили меня барышни.

— Ничего вы мне не должны,— отвечал я, передавая свой товар.

— Как?!

— Да так — ничего.

— Ведь эти банки вам что-нибудь да стоют? — опять заговорили барышни.— Что они вам стоют?

— Двадцать копеек.

— Так, стало быть, мы вам должны все-таки десять копеек? — конфузясь отвечали барышни.

— Нет, уж позвольте мне их не получать.

Барышни еще больше сконфузились. Я простился и ушел.

III

Мне, право, жаль, что я не умею составить картину, имея под руками все: и содержание, и краски; и что у меня одного только недостает — как сгруппировать в одну картину все, что было у меня под рукой. Поэтому я буду продолжать свою небывальщину так, как начал.

Дело было на святой неделе во Владимирской губернии; а в этой губернии в это время часто бывает середина, или, лучше сказать, начало весны: везде в полях снег тает, прогалинки показываются, а в вершинах (по-орловски) или в оврагах зажоры* становятся.

Я уже говорил, что я в то время с *коробком* торговал; остановишься, бывало, в какой-нибудь деревне, а уже из этой деревни свои походы делаешь.

Вот пошел я в поход со своей стоянки, обходил несколько деревень и поздно вечером пошел на главную свою квартиру, только тут беда со мной случилась: надо было свернуть из деревни направо, а я пошел все прямо: шел, шел — все деревни нет, а в поле зги божией не видать! Прошел я верст пять-шесть... должно быть, и около десятка верст набралось, я все иду вперед... Вышел я на торную дорогу и обрадовался: должно быть, жилье близко. Только радость моя была недолгая: не успел я спуститься под горочку, ступить шагу, как очутился выше пояса в зажоре! Это меня озадачило! Вернуться назад, выскочить из зажора — опять придется идти столько же, да еще хорошо, ежели столько же, а то, пожалуй, и в ту деревню, из которой вышел, не попадешь... И, немного думавши, я пошел впе-

---

* Зажорами называется жидкий снег; вешняя вода в оврагах разжижает снег.

ред... Зажор все глубже, все глубже... прошел я зажором сажен пять, выбрался на твердую дорогу. День-то был теплый, а к ночи заморозило. Выскочил я из зажора, на мне все платье заледенело. Выбравшись на твердую дорогу, стал я подниматься на гору. Вдруг слышу лай собак. Э, думаю, деревня близко! Прохожу еще несколько шагов — кабак! Я к кабаку.

— Эй, хозяин, отопри! — крикнул я, постучавши кулаком в окно кабака.

— Кто там? — спросил меня целовальник из кабака, впрочем не показывая на деле, что он желает всякому отворить кабак и отпустить водки. Законом запрещено ночью водкой торговать: в беду попадешь.

— Отопри, пожалуйста!

— Да ты кто такой?

— Прохожий.

— Что ж тебе надо?

— Беда случилась.

— Какая беда?

— В зажоре чуть не утонул.

— В зажоре?

— Ну да, в зажоре.

— Это под горой?

— Ну да, под горой,— отвечал я, едва переводя дух от холода.

— Экой ты, братец!

С последним словом целовальник, не обуваясь, вскочил и проворно отворил мне двери в кабак.

— Иди сюда! Здесь темно, так ты по голосу иди! Иди за мной,— говорил целовальник.— Сюда, за мной! Я сейчас огонь выкрещу... вздую огонь...

Должно заметить, что это было около двадцати лет назад, а тогда фосфорные спички еще не входили во всеобщее употребление.

— Иди сюда!

Мы вошли в кабак.

— Сейчас огня достанем! — заговорил ободрительно целовальник и начал добывать огня.

В ту минуту мой богом посланный на ту пору хозяин и свечку зажег.

— Однако дело дрянь! — сказал мой хозяин.— Право, парень, дело как есть дрянь!

— Да как видишь,— отвечал я,— просто весь смерз; боюсь, не простудиться...

— Как же тебя угораздило так?

— Дорогой ошибся.

— А ты откуль шел?

Я сказал.

— А, знаю!

— Дай, пожалуйста, копеек на пять водки! — попросил я хозяина, который уже вертелся около полок, уставленных шкаликами, косушками, штофами, полуштофами.

— Как не дать? Теперь водка первое дело! Выпьешь — согреешься, не выпьешь — согренья ни от чего не получишь, потому не́ от чего...

— Потому-то и хочу выпить...

— На, пей! — сказал целовальник, откупорив косушку и наливая в стакан водку.

Я, зная кабацкие обычаи: надо сперва заплатить деньги за водку, а уж после пить,— стал доставать деньги.

— Да пей, парень! После заплатишь!

— Все равно, сейчас отдам.

— Пей, тебе говорят! — грозно уже крикнул на меня целовальник.

Я выпил, вынул пять копеек серебром, разумеется, медными деньгами и отдал целовальнику; только водка на меня не произвела решительно никакого действия, так я перезяб.

— Выпей еще стаканчик! — обратился ко мне целовальник, видя, что первый стакан не оказывает должного действия.

— Больше пить не могу!

— Денег, что ли, нет? — таинственно, вполголоса спросил меня целовальник.

— Нет, не то...

— Я тебе, парень, от себя поднесу,— еще таинственней проговорил целовальник.

— Деньги у меня есть...

— Это все едино, а ты выпей еще стаканчик.

— Да ей-богу, не могу!

— Эх ты, озорная голова! — крикнул на меня целовальник.— Говорю тебе: пей! так, стало быть, надо пить! Не стану я сдуру всякого поить водкой! А тебе подношу: надо христианскую душу от смерти спасти! Пойми ты!..

— Ну давай!..

Целовальник налил еще стакан, я выпил и вынул из кармана еще пять копеек и подал хозяину.

— Не надо, парень! — объявил тот, не принимая от меня денег.— Право, не надо!

— У меня же есть деньги...

— Ну и слава богу, держи про себя,— настаивал целовальник,— держи, парень, про себя... Деньги всегда, парень, нужны...

— Спасибо тебе, хозяин, на добром слове,— сказал я,— а деньги ты все-таки как хочешь, а возьми.

— Да тебе ж говорят...

— Как хочешь, а, пожалуйста, возьми! — и с этими словами положил деньги, пять копеек, на стойку.

Хозяин с видимым неудовольствием взял со стойки деньги и положил в ящик.

— А ты вот что, хозяин,— начал говорить я,— ежели хочешь для меня добро сделать, пусти меня переночевать у тебя. Дорог я не знаю, я не здешний...

— Ну нет, паренек, этого сделать нельзя!

— Отчего же?

— Заедет какой поверенный!

— Что ж за беда?

— Как, что за беда? Да тут такая беда — совсем пропадешь...

— Отчего ж пропадешь-то?

— Как отчего? У нас строго наказано: в кабак ни под каким тебе образом не пускать ночевать, а коли ты пустил кого ночевать к себе в кабак, то за это с тебя большой штраф и из кабака вон. Вон что! А то для чего не пустить?!

— Ну, стало быть, делать нечего, прощай! Спасибо за угощенье! — сказал я, собираясь уходить.

— Да куда ты? Постой!

Я остановился.

— Вот что я тебе скажу, паренек,— заговорил целовальник,— тут сейчас деревня, так ты ступай в деревню... до деревни каких-нибудь сажен двадцать будет.

— Да в эту пору в деревне-то, пожалуй, ночевать и не пустят,— отвечал я.

— Оно точно: пожалуй, и не пустят,— медленно проговорил целовальник.

— Вот видишь ты...

— Однако мы это дело поправим.

— Как же?

— Иван! — крикнул целовальник.

За перегородкой что-то зашумело.

— Иван мой батрак,— прибавил целовальник, обращаясь ко мне,— он тебя проводит, ему отопрут.

Вышел из-за перегородки Иван.

— Вот, брат Иван, проводит паренька хоть к Семену во двор,— приказывал Ивану хозяин,— видишь, как убрался!

— Где ты так отделался? — спросил меня Иван, позевывая и почесывая себе спину.

Я и Ивану рассказал.

— Ишь ты, грех какой! — ответил Иван.

В минуту Иван оделся.

— Прощай, хозяин! — сказал я, когда Иван был уже совсем готов провожать меня.— Спасибо за ласку, век твоего добра ко мне, хозяин, не забуду!

— Постой, погоди! — сказал целовальник.

— Продрог уж я очень...

— То-то! Выпей еще.

— Нет, не могу.

— Так вот что: возьми с собой шкалик — придешь в избу, может, и захочется выпить, в избе и выпьешь.

— Говорят тебе: денег твоих мне не надобно,— крикнул на меня целовальник.— Береги деньги!

— Да у меня есть...

— Ну и слава богу! Ступай!

По рекомендации Ивана меня пустили в Семенову избу. Я, весь мокрый, не переодеваясь, залез на теплую печку, заснул и поутру проснулся и сухой, и совершенно здоровый.

Этот случай не исключительный, стой этот факт отдельно, он бы не имел никакого значения, и я выбрал именно этот со мной случай единственно потому, что здесь замешан целовальник; а целовальник по мнению и народному, и всех людей, живших на Руси или хоть часто ее проезжающих,— человек отпетый, которому не дорога христианская душа, который только и бьется из-за того, как бы побольше денег набрать, как бы с миру христианского последнюю рубаху снять, а там хоть все пропадай...

Не буду указывать на множество подобных фактов, а

укажу только еще на один, по моему мнению, тоже очень замечательный.

Ходил я в Переяславском (Залесском) уезде; подвигался от Троицы и к Ростову, и потом опять назад, вправо и влево, а в Переяславле мне все как-то не удавалось побывать. Я был почти у самого Ростова, и хоть путь мой лежал в Ярославль, но все-таки вернулся в Переяславль; в переяславской почтовой конторе я ждал получки, то есть получения писем, посылок, денег, которые просил своих знакомых посылать ко мне в Переяславль. Кончивши свои дела на почте, я отправился в трактир обедать. Кто странствовал по России не только по проселочным дорогам, а хоть и по самому битому тракту, тот знает, как трудно человеку в обильной России быть сыту. Кто же не странствовал в качестве странника по великой и обильной России, тот решительно не может себе представить, чем насыщается православный люд. Вероятно, из моих читателей наполовину не знают, что такое пустые щи, поэтому я и берусь объяснить, как приготовляется это немудрое кушанье. Должно взять горшок, положить в него серой капусты (то есть самого дурного качества, не очищенной от верхних жестких и песочных листьев), налить воды; этот горшок с капустой и водой поставить на огонь или на вольный дух и кипятить до тех пор, пока вам не надоест. Когда вам наскучит смотреть, как кипят ваши щи,— эти щи готовы; вы должны вылить эти щи в большую чашку, поставить на стол, положить ложки и пригласить общество обедать; ежели вы достаточно богаты, когда все усядутся за стол, торжественно солите эти пустые щи, ежели вам достаток не позволяет такой роскоши, то вы каждому члену общества даете по маленькой щепоти соли, которую он может кушать с чем ему угодно; но ежели у вас есть корова да к тому же случится мясоед, то на всю семью вливают в эти пустые щи несколько ложек снятого молока, а иногда и цельного; к этому прибавляют по куску хлеба, который зачастую имеет способность гореть пламенем и который, разумеется, раздается непременно каждому. Хоть около Ростова и лучше крестьянский стол, но все-таки я обрадовался, войдя после долгого поста в европейский трактир.

— Что прикажете? — спросил меня засуетившийся половой, из вежливости сильно подергивая плечами, а отчасти и ногами, и всем телом.

— А что у вас есть? — спросил я, садясь за столик, который в ту же минуту был покрыт половым белой, но не совсем чистой салфеткой.

— Все, что прикажете...

— Что у вас готово?

— Все, что прикажете.

— Какой у вас суп?

— Сейчас узнаю.

— Узнай, пожалуйста!

Половой побежал и через минуту вернулся.

— Супу сегодня не готовили никакого,— объявил он мне.

— Не готовили?

— Не готовили.

— Отчего же не готовили?

— А так — не требуется.

— Как же ты говорил, что все у вас есть? Я спросил супу какого-нибудь, супу-то никакого и не оказалось у вас.

— Супу точно не оказалось! — почти с удивлением подтвердил мой половой.

— Нет ли котлет?

— Сейчас узнаю!

Убежал опять половой.

— Нет, такого кушанья у нас не готовят,— объявил опять мне, возвращаясь, половой.

— Что же у вас есть?

— Все, что прикажете,— опять забормотал половой.— Все, что прикажете: чай есть, водка есть...

— Чем же закусить?

— Закуска есть всякая...

— Да какая же? — спросил я, начиная уже терять всякое терпение.

— Какую прикажете... сельди есть... прикажете приготовить? В одну минуту...

— У вас сельди! Сжарь, пожалуйста, селедку,— сказал я, вспомнив, что Переяславль славится своими сельдями.

— Как сжарить? — спросил меня, разиня рот от удивления, половой.

— Прикажи, пожалуйста, сжарить в сметане.

— Да ведь этого нельзя! — замялся половой.— Этого нельзя... это выйдет не скусно...

— В Москве я едал переяславских сельдей, выходило

скусно,— сказал я, не понимая хорошенько причины упорного отказа полового мне в сельди.

— Вы кушали переяславские,— обрадовавшись, заговорил половой, а у нас ведь не переяславские; у нас, изволите видеть, седьди московские... мы прямо из Москвы голландские селедки получаем!

— Как из Москвы?

— Самые что ни на есть лучшие! Настоящие голландские, прямо из самой Москвы!

— Ты не готовь, а принеси сюда показать твои сельди,— сказал я половому.

— Для чего не показать!

Половой пошел в буфет, возвратился через несколько секунд, неся на тарелке ржавую селедку.

— Эта селедка не здешняя?

— Никак нет! Самая московская!

— Да мне хочется здешней, переяславской селедки,— все-таки настаивал я.

— Мы селедки получаем из самой Москвы,— твердил мне половой,— из самой Москвы...

— А мне нужно свежей переяславской!

— Такой мы не держим.

И тогда я понял, что в Москве надо искать Переяславля, а в Переяславле Москвы.

— Можно селянку сделать,— таинственно мне проговорил половой полушепотом.

— Давай хоть селянку!

— Постную?

— Нет, давай скоромную!

— Извольте.

Принес мне этот половой селянку, вычурно вертя руками, поставил сковороду на стол. Хлебнул раз, другой — плохо... а как *голод не тетка,* то я всю ее съел.

В переяславском уезде мне делать было нечего, я нанял вольных лошадей до Ростова; тогда еще дорога от Москвы до Ярославля не была передана в одни руки содержателя вольных почт. По дорогам, где существуют вольные почты, вы не имеете права, да почти и никакой возможности ехать иначе, как не на почтовых, а потому вы поневоле должны брать *вольную почту* и передвигаться с места на место с скоростию *двенадцать верст в восемнадцать часов,* тогда как эти двенадцать верст на вольных лошадях можно

было проехать минут в сорок и за гораздо меньшие прогоны.

Итак, я взял вольных лошадей и отправился в Ростов. Не успели мы отъехать несколько верст, как я почувствовал, что мне мое лакомство в переяславском трактире не проходит даром: сильные спазмы в желудке заставили меня вспомнить, что я ел трактирную, да еще в трактире уездного города, селянку.

— Остановись на минуту! — сказал я своему ямщику, который ехал так себе, и не хорошо и не дурно.

— Что тебе? — спросил ямщик.

— Да остановись!

Ямщик остановился. Я, охая и кряхтя, вылез из своей телеги.

— Что с тобой?

— Ничего,— отвечал я.

— Как ничего? — как-то не совсем приветливо отнесся ко мне ямщик,— на тебе лица человеческого нет!

— Так, что-то понездоровилось...

— Понездоровилось?!

— Ну да!

— Ах, дуй-те горой! — с большим уже озлоблением крикнул на меня мой ямщик.

— За что же ты сердишься?

— Чего не сказал, что болен?

— Я был здоров.

— То-то здоров! Теперь мне что делать прикажешь?

— Везти на станцию, а там сдашь другому...

— Кто же тебя со станции повезет?

— Отчего же?

— А как издохнешь! Кому охота за тебя перед судом в ответ идти? Кто захочет отвечать?

— За что же отвечать?

— Как не отвечать? Затягают по судам!

— Ну, приедешь на станцию, я останусь на той станции,— сказал я, чувствуя всю справедливость доводов ямщика.

— На какой станции?

— На которую приедем.

— Да разве мы едем на казенную станцию? Сам знаешь: мы едем не на казенную, едем на свою,— гневно пояснял мне ямщик.— А он говорит: на станцию!..

— Это все равно: какая бы ни была станция, на какую станцию приедем, я там и остановлюсь.

— Так тебя и пустят!

— Отчего же?

— А издохнешь! — крикнул на меня ямщик.— Мне неохота за тебя отвечать, а другой пойдет под суд! — уже не так грозно, как насмешливо наставлял меня ямщик.

— Что же делать? — спросил я ямщика.

— Что делать! — сказал ямщик и замолчал, сердито посматривая на меня.

— Вот что я придумал,— сказал я ямщику, немного помолчав,— я вот что вздумал...

— Что вздумал?

— Тебе отвечать за меня не след,— продолжал я,— другому тоже; так оставь меня здесь, а сам ступай домой: я как-нибудь перебьюсь до завтра, а завтра, ежели не полегчает, как-нибудь доберусь назад до Переславля.

— Долго думал, хорошо и выдумал! — с пренебрежением сказал ямщик.

— Почему же не дело?

— Дело! Как есть дело!

— Да ведь ты получил за станцию прогоны, мне они не нужны, я их не возьму назад; оставлю у тебя.

— Дело! Садись!

— Все равно я здесь останусь! — сказал я, не влезая в свою телегу.

— Что ты толкуешь! Где это видано, чтобы христианскую душу, при смерти, да еще глядя на ночь, покинуть в чистом поле?

При помощи ямщика я влез в телегу, мой ямщик тронул лошадей, и мы буквально понеслись; вероятно, не всякому курьеру удавалось так быстро ездить!

— Эх вы, миленькие! — крикнет ямщик и махнет на лошадей кнутом, и лошади еще быстрей помчатся.

— Издохнешь!.. Как есть издохнешь,— скажет он, глядя на меня, и опять: — Эх вы, миленькие!

Мы мчались, не разбирая ни рвов, ни оврагов, толчки были страшные, и эта езда была в то время для меня не совсем приятна. При каждом толчке я чувствовал страшные боли; но остановить ямщика я не хотел: ему, видно, хотелось меня сбыть с рук — боялся суда, а оставить на дороге

тоже нельзя: христианская душа в чистом поле ночью погибнет.

— Издохнешь! Как есть издохнешь! — скажет он, оглядываясь на меня, когда уже я сильно начну стонать.

— Да мне теперь лучше...

— Видно!

— Мне же лучше знать...

— Лучше! А посмотри-ка на себя!

И опять: «Эх вы, миленькие!» Опять мы мчались, что было силы у лошадей.

— Что я тебе скажу, хозяин! — ласково заговорил ямщик, немного приостанавливая свою тройку.— Послушай меня, пожалуйста, хозяин.

— Изволь говорить, буду слушать.

— Можешь ты на самое малое времечко, хозяин, можешь ты помолчать да не охать?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь? — отвечал я ямщику и в то же время охнул.

— Здесь охай, хозяин, здесь ничего...

— Где же не охать?

— А там, на селе... на самой той станции-то, хозяин, не охать... вот что, хозяин.

— Почему же там не охать?

— Не охай, пожалуйста, хозяин, на станции-то! Ведь всяк, хошь и имеет в себе христианскую душу, а и то сказать, всяк суда боится, всяк сам себя бережет! Будешь охать — кто тебя повезет? Повезти не повезут, ночевать тоже хворого человека не пустят, что мне тогда с тобой делать будет?!

— Постараюсь, братец, не охать...

— Чем стараться, ты просто не охай!

— Ежели смогу...

— Смоги немножко! — упрашивал меня совсем жалобным голосом ямщик,— сдам тебя единою минутою!

— Ну хорошо!

— Смотри ж: не охать! Теперь охай сколько хочешь, а приедешь на станцию — ни-ни!

— Хорошо, хорошо.

— Теперь, хозяин, сиди!

Ямщик подобрал вожжи, махнул кнутом, крикнул: «Эх вы, миленькие!» — и мы, промчавшись версты две во

весь дух, остановились у постоялого двора, где мой ямщик хотел сдать меня другому.

Кто ездил на вольных, тот знает, как идет перепряжка лошадей: пока выпрягут старых лошадей, пока сторгуется старый ямщик с новым, пока запрягут новых лошадей, проходит иногда более часу. На этот же раз не успели выпрячь лошадей из моей телеги, как из ворот постоялого двора выехала свежая тройка. Мой ямщик торопил всех, только и было слышно, как он уверял дворника и ямщика:

— Да я же тебе говорю: хозяин хороший, не обидит! Я же тебе говорю.

— Где вещи, хозяин? — спросил меня подъехавший ко мне новый ямщик.

— Какие тебе вещи? — вступился за меня старый ямщик,— говорят тебе: вещей никаких нет, один вот тебе мешочек, вот тебе и все...

— Семь рублей? — спросил новый ямщик старого, укладывая *мои вещи* в мешочек и оправляя в телеге, чтобы мне было лучше сидеть.

— Семь,— ответил старый ямщик, подсаживая меня в телегу.— Семь рублей в Ростове получишь с хозяина; хозяин добрый, не обидит! Я ж тебе говорю...

— Каких семь рублей? — спросил я, садясь в телегу,— разве ты не знаешь сколько?

— Да как же, хозяин?! — заговорил, оторопев, старый ямщик,— ведь так договор был...

— Я тебе по договору все деньги отдал,— отвечал я,— за мной теперь всего осталось только два рубля.

— Как два?

— Только два рубля и осталось,— настаивал я, думая, что мой ямщик хочет меня обмануть.

— Когда ж ты мне отдавал деньги? — спросил меня, озлобившись, ямщик; да и нельзя было не озлобиться: будь я здоровый человек, он бы нашел на меня расправу, а больного, да еще и при смерти больного, на какой ему суд вести?

— Когда ты мне деньги платил?

— В Переяславле тебе при выезде, а прежде, когда нанимал тебя ехать в Ростов,— отвечал я.

— Сколько же ты дал в Переяславле?

— Всего дал три целковых.

— А за тобой теперь сколько?

— Два.

— Чего два?

— Два целковых.

— Так об чем же ты толкуешь? — обрадовавшись, спросил ямщик,— я-то что же говорю: семь рублей — два целковых, разве не все едино? Экой голова!

Тогда я только понял, что я считал на серебро, по-новому, а мой ямщик на ассигнации, по-старому.

— Старому ямщику на водочку,— скинув шапку и склоняя голову не то вперед, не то набок, стал просить старый ямщик.

Я стал доставать из кармана деньги, как-то неловко повернулся, колики опять начались, я сильно охнул.

— Не надо, хозяин! Не надо! — заговорил ямщик, испугавшись, что своими стонами дам знать, что я болен, а когда узнают об этой проклятой болезни, никто и не повезет меня, и я останусь у него на руках.

— Трогай, брат! — крикнул он новому ямщику,— я хозяином и так много доволен! Останешься, брат, доволен и ты: будешь, брат, и меня, и хозяина после благодарить! С богом!

Мы тронулись, и тронулись во весь дух... Предоставляю читателю размыслить: что со мной тогда было?

— Нельзя ли, брат, потише,— сказал я ямщику, когда мы отъехали уже верст около пяти.

— А что? — спросил, оборачиваясь ко мне, ямщик.— Разве с телеги ты, хозяин, слезть хочешь?

— Нет, слезать не слезу, а ты все-таки, пожалуйста, брат, потише!

С версту мы проехали шагом, и я стал было хоть немного отдыхать и почти уже стал забываться...

— Эх вы, миленькие! — гаркнул на тройку ямщик, и мы опять понеслись; я очнулся и застонал...

— Тише, пожалуйста, тише!

— Да что с тобой?

— Живот, брат, болит...

— И больно болит?

— Просто мочи моей нету!

— Ах ты, голова ж моя горькая! — крикнул ямщик.— Ну, что я с тобой, хозяин, буду делать?

— Вези в Ростов.

— А как живой не доедешь?

— Доеду, ничего!

И мой ямщик погнал лошадей во весь дух и, не слушая моих просьб, скакал всю дорогу.

— А куда, хозяин, везть? — спросил меня ямщик, когда мы были уже близко Ростова.

— Вези на постоялый двор!

— Знакомых разве у тебя нет в Ростове?

— Нету.

— Ах ты, голова моя горькая!

Ямщик задумался и поехал шагом.

— Слушай, хозяин, что я тебе скажу,— стал упрашивать меня ямщик заискивающим голосом.— Не езди на постоялый двор.

— Где же я остановлюсь?

— Где хочешь!

— Я и хочу на постоялом дворе.

— На постоялом не пустят!

— Отчего?

— Кому мило, друг любезный, к себе в дом мертвое тело принять?

— Я еще пока не мертвый...

— А издохнешь? — с сердцем закричал на меня ямщик,— издохнешь, тогда мертвое тело?

— Ну, тогда...

— То-то, тогда!

— Что ж мне делать?

Ямщик задумался.

— А вот что, хозяин любезный,— ласково уже сказал ямщик.— Я с тебя, хозяин, и денег твоих за прогоны не возьму, только ты у заставы слезь да попросись у будочника в будку отдохнуть...

— Нет, слезть-то я слезу, а деньги, которые тебе за дорогу следуют, я все-таки тебе отдам.

Мы подъехали к шлагбауму, неизвестно для чего тогда стоявшему.

Я вылез из телеги и рассчитался с ямщиком.

— Правду сказал, хозяин, твой старый ямщик: буду доволен я твоей милостью и этим мошенником — твоим-то старым ямщиком!

— Какую же правду?

— Я было за дорогу-то эту чуть сам не издох! Вот какую сказал он правду! Сам чуть не издох!

— Это отчего?

— От страху! Ну, думаю, как до дому живого седока не довезу — пропала тогда моя бедная головушка!

— Ну, извини, пожалуйста...

— Ничего! Прощай, хозяин! Выздоравливай! Ох вы! — крикнул он на лошадей и в минуту скрылся из глаз.

Я вошел в будку. Было часа четыре утра, а потому часовой еще спал. Стражи сего города Ростова, да и всякого града стражи хорошо знали, что шлагбаум украсть не было никакой возможности; почему же этим стражам в ночное время, снявши с себя воинские доспехи, не отдаться морфею? Ростовский страж был в объятиях морфея, когда я вошел в будку.

— Кавалер, а кавалер! — стал я будить стража, слегка толкая его под бока,— кавалер!

Кавалер промычал.

— Да проснись же, кавалер!

Кавалер наконец открыл глаза.

— Пусти, пожалуйста, меня, кавалер, в будку немного отдохнуть.

— Что тебе надобно? — спросил меня кавалер, позевывая и лениво почесывая спину.

— Живот разболелся — позволь немножко у тебя, кавалер, хоть немножко в твоей будке полежать.

— Вот больницу нашел!

— Пожалуйста...

— Пошел вон! Разве здесь больница?

— Ну, если не хочешь пустить полежать, отведи меня куда знаешь...

— Нашел няньку!

— У меня билета нет, я беспаспортный,— с отчаянья решился я сказать стражу,— а безбилетных ты должен ловить...

— Ночью?! — насмешливо спросил меня страж.— Ночью тебя прикажешь ловить, что ли?

— И ночью надо ловить.

— Дождешься! Ободняет хорошенько, тогда тебя, ежели уж тебе так хочется, тогда и поймают.

Это решение меня озадачило: как в самом деле дожидаться, пока хорошенько ободняет и тогда меня арестуют, и то только ежели я сам этого захочу? Я тогда в этом ничего не понимал, теперь ничего не понимаю, да, думаю,

и читатель ничего не поймет; даже могу прибавить для большего вразумления, что происшествие это истинное, не вымышленное.

— Что же мне делать? — спросил я с отчаяньем стража, так хитро понимавшего свои обязанности.

— А что хочешь!

— Пусти хоть за деньги!

— А сколько дашь?

— Сколько тебе надо?

— Давай четвертак — пущу!

— Изволь, только пожалуйста, положи меня куда-нибудь, — сказал я обрадовавшись.— Пожалуйста, поскорее.

— Давай деньги!

Я отдал ему четвертак.

— Постой же, брат, я тебе соломки постелю,— сказал часовой, засовывая куда-то четвертак.

Он постлал мне соломки, и я завалился на эту, не очень хитрую постель, а мой хозяин, уложивши меня, опять лег и заснул.

В этой хоромине я пролежал почти целый день; хозяин-страж целый день провозился с шилом над каким-то сапогом; только временем добродушно потчевал меня то водкой с перцем, то квасом с солью, то обедом; и в этом мирном гражданине не заметно было никаких воинских, приличествующих стражу, качеств.

— Послушай-ка, брат,— заговорил часа в четыре будочник,— ты, я вижу, малый — простота! Теперь скоро придет квартальный, увидит тебя здесь — и тебе, и мне морду расквасит. Возьми назад свой четвертак и ступай себе с богом куда знаешь! Коли не будет места где переночевать, приходи в сумерках опять сюда.

Сознавая всю силу его доводов, а к тому же чувствуя себя гораздо лучше, я согласился с его мнением.

— Прощай, кавалер! — сказал я, выходя из будки.

— Прощай, брат, не поминай лихом! — отвечал кавалер.— Не приютишься нигде, милости просим опять к нам.

Колики мои унялись, и я, походя по Ростову около часа, направил свой путь к Угличу.

Не успел я отойти от города и полуверсты, как опять схватили меня колики, и до того сильные, что я упал на землю. Кое-как я добрался уже в сумерках до какой-то деревни, верстах в двух-трех от Ростова. У крайней избы

лежала колода, и я повалился на эту колоду. Около избы играли дети, чуть ли не со всей деревни туда собравшиеся.

— Э! Э! Четвероглазый, четвероглазый! — со всех сторон обступивши меня, закричали мальчишки.

Должно заметить, что я, собравшись осматривать Ростов, надел очки да и забыл их снять при входе в деревню.

— Четвероглазый! Четвероглазый! — сыпалось на меня.

— Скажите, братцы, кому постарше,— обратился я к детям с просьбой.— Скажите, что больной пришел; не пустит ли кто переночевать меня?

— Четвероглазый!.. Четвероглазый!

— Эх вы, ребятки! — сказала одна девочка лет одиннадцати — двенадцати.— Эх вы, ребятки! Грех, большой грех смеяться над больным человеком!

С этими словами девочка скрылась, и ребятки присмирели: перестали кричать и довольно дружелюбно на меня посматривали.

Через несколько минут эта девочка привела ко мне свою мать — женщину лет за тридцать.

— Что, друг, болен? — спросила меня женщина, дотронувшись слегка до моего плеча.

— Болен, матушка.

— Пойдем к нам в избу, у нас в избе ты и переночуешь...

— Спасибо, матушка!

— Не за что, пойдем!

Мать с дочерью помогли мне привстать, отвели к себе в избу, положили на постель и целую ночь то ставили мне горшки на живот, то прикладывали к животу горячую золу.

— Слушай, друг,— сказала мне хозяйка, когда уже взошло солнце,— ступай от нас куда знаешь!

— Это отчего же? — спросил я, никак не ожидая от этой радушной женщины такого предложения.

— Да так, ступай!

— Отчего же?

— Избави господи, умрешь у нас, придет мой хозяин домой, как собаку меня изобьет!

Делать было нечего, я отправился в путь, и на этот раз не останавливаясь; горшки, зола ли помогли, только я выздоровел.

IV

Шел я путем-дорогою, стороною незнакомою; попался я на свадьбу, на девичник. Свадьба была не ахти мне: мужик-хозяин был небогатый, а я, относительно, был богач. Само собою, безо всякой просьбы, купил я полведра водки и за каждую песню, которою величали меня девки, платил по пятаку (тогда деньги ходили на ассигнации). А потому меня считали за большого гостя. Помню, как теперь, девки величали меня так:

А и кто у нас
Большой — набольший?
Большой — набольший
Воеводою?
Воеводою
Да и Павлушка,
Большой — набольший
Да Иванович.
Приезжает он
В свою вотчину,
Он и в отчину
И во дедину.
Он и суд дает
Все по правде-то:
Он и с правого
Берет сто рублей,
С виноватого
Берет тысячу;
А с доносчика,—
Что и сметы нет!

Когда девушки нашли у меня такие *досуги*, то после меня спросили на голос:

Слышал ли, Павел-сударь?
Слышал ли, Иванович?
Про тебя мы песню пели,
Про твое ли про досужество!

Этот спрос, разумеется, сопровождался поднесением тарелки, на которую я положил опять-таки пятак.

— А уж мы тебя, Павел Иваныч, теперь величать не станем,— шепнула мне одна девушка.

— Отчего так?

— Нельзя, другие гости обидятся: тебя и так больше всех величали.

— Да Христос с вами! Величайте кого хотите, лишь бы весело всем было.

— Нет, мы гостей не станем величать, теперь надо жениха с невестою.

И запели, как матушка родная уговаривала свою доченьку посадить мила дружка на кроватушку,

Разговоры разговаривать,
Про его родню расспрашивать.

Добрый молодец (по песне), тряхнув кудрями, так отвечал:

У меня семья веселая!
У меня родня богатая:
По губерньям — губернаторы,
По уездам — все исправнички,
А по селам — славны головы!

Пропели, тогда стали отец-мать благословлять жениха-невесту иконой.

Пало перо,
Перо легкое!
То не перо,
То не легкое —
Пал Иван
Пал Иванович
Перед образом
Богородицей
Всепречистою,
Перед батюшкой
Да родименьким,
Перед матушкой
Да родимой-то!
А и всем им —
Слава поровну!..

Стало быть, конец и девичнику...

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго ли, коротко ли, а девичник справили, и надо искать ночлега. Мои собеседники кто вполпьяна, а кто и совсем пьян; как там ни разговаривай, а оставаться нельзя: надо было или целоваться, или драться; я же в то время не имел охоты ни к тому, ни к другому, а потому счел за лучшее уйти.

Опять пошел я стороною незнакомою... А ночь — хоть деньги считай!.. Вышел я из избы и пошел в город. Только что я вышел на дорогу — мне большой обоз порожняком по пути.

— Путь во боге! — крикнули мне из обоза.

— Путь во Христе! — ответил я, снявши шапку и поклонившись миру.

— Куда бог несет?

— В город.

— В город?

— Да, в город.

— Садись! Мало подвезем,— заговорили мужики.— Садись, садись, мало подвезем.

Я сел.

— Отколь, человек? — спросил меня мужик, с которым я сел на сани.

— Из-под Москвы.

— А! Из-под Москвы?

— Из-под Москвы?..

— Ну да, из-под Москвы.

— Гм... гм...

— А вы откуда?

— А мы из Жигаловки! — ответил тот с достоинством.

— Где эта Жигаловка?

Мужик посмотрел на меня не то с презрением, не то с недоумением.

— Где Жигаловка?

— Да, где Жигаловка?

— Жигаловка?

— Да, Жигаловка.

— Да разве в Москве не знают про Сергея Жигаловского?

— Может, и знают, только я не слыхал.

— А вот какой у нас Серега: дай ему целковый: «Поди за водкой!» — «Я водки не хочу!» А водку любит — во! «Душа! Да, пожалуйста, душа!» Слезет с печки: «Ну, дай пошлю...» Выйдет на крылечко, посмотрит: есть кто, пошлет, а нет — сам ни за какие тысячи не пойдет.

— Уж будто и совсем не пойдет? — спросил я, будто не доверяя его словам.

— Да ты знаешь, как он живет?

— Нет, не знаю.

— А вот как: живет он в лесу. Дрова, значит,— рукой подать... Палкой швырнуть — докинешь. Холодно в избе, деться некуда. Он пойдет, дров нарубит, печку стопит. Станет в избе холодно, он на печку влезет; на печке холодно, он в самую печку проползет! Вот какой! Станет холодно в печке, он опять дров охапку нарубит. Вот какой! А в Москве будто не знают Жигаловского Серегу?

— Должно быть, знают,— недоверчиво отвечал я,— только я не знаю.

— Верно слово говорю: знают.

Мы немножко помолчали.

— А вы куда едете? — спросил я моего спутника по дороге.

— А мы в лес едем, *любящий** человек, в казенный лес...

— Зачем?

— А дровец нарубить.

— Лес-то казенный?!

— Казенный, друг любящий!

— Братцы, дело плохо!

— А чем плохо?

— Лес-то казенный, а не твой?! По закону будет это кража.

— Вона, куда заехал!

— Да как же?

— Ворами нас не обзывай! Мы не воры! Спроси по околотку: был у нас вор?

— Да это хоть и так...

— А как же? Ведь лес-то казенный?

— А садил лес-то кто-нибудь? Твой лес-то садил кто?

— Да... ты...

— То-то и есть. Божья благодать — для всех, как есть для всех!

— Ты должон восчувствовать! — заговорил убедительно старик один из обоза.— Ты это восчувствуй: кто работает, тому за работу, за его пот, значит, и плата идет. Вот, к примеру, пахотьбу взять: ты вспахал, взборонил, засеял; опять запахал, ждешь целый год, что господь зародит. Зародит господь — не вот возьмешь! А ты ее в самое горячее времечко сожни, свяжи, да в копны положи... Вот ежели те копны взять — кража! За эту кражу перед богом ответ должон будешь держать! Для того должон будешь ответ держать, что здесь, на той копне, пот, кровь человеческая лежит... Я работал, трудился, ночей не досыпал, а ты взял ее, матушку, да и поднял! Мои слезы на тебе взыщутся! А лес, ты говоришь: кто его садил? Бог! Кто его берег-рóстил? Все-таки бог! Так ты не моги говорить, что твой лес: лес божий! Спроси у стариков: «Чей лес?» — «Лес въезжий!» — скажут тебе те старики.

---

* Эта форма глагола *любящий* мне встречалась несколько раз в Орловской, Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях, частию в Калужской, вообще в черноземной полосе. И мне кажется, что не может быть более комплимента, как сказать, что ты такой человек, который может любить.

— Как въезжий?

— А так, въезжий: кто, значит, въехал в лес, тот и руби.

— А поймают? — спросил я, удивляясь такого рода доводам.

— А поймают: знамо дело! Поймают хоть в казенном лесу, хоть в барском, под ответ попадешь для того, что не всем это понятно. Попадешься — судить станут...

— А когда попадешься? — возразил один из моих спутников, по-видимому, надеявшийся на себя.

— Все в *руце* божией,— отвечал рассказчик,— все в руце божией!

— Я тебе, парнюга, расскажу дело,— заговорил один торопливый мужичонко,— расскажу дело, так дело! Тридцать лет воровали всем миром; всему миру хорошо было; один из миру воровать не хотел — сколько муки от господ перетерпел, чуть в Сибирь не угодил!

— А как так?

— А вот как: был барин, а у того барина лесу — что и господи мой! Тот барин и объявляет: «Кто возьмет из лесу хворостинку, тому закачу сто хворостинок куда следует, а кто вырубит бревно — тому выну из бока ребро!» Ну, хорошо! Вот приезжает к тому барину один благоприятель. «Так и так,— говорит барину тому благоприятель,— ты за твоим лесом ночей не спишь, а лес твой твои же мужики как косой косят!» А тот благоприятель был тоже барин, сосед тому барину, и хотел он тайком попользоваться из соседского лесу, да мужики свои не допустили, «Наш,— говорят,— лес!» А сосед-то говорит: «Не ваш лес, а барский!» Сколько там ни говори, а мужики соседу лесу не дали! Вот соседний помещик озлился да и донес тому барину. Барин сейчас за старосту! «У тебя лес воруют!» — крикнул барин... Что уж было старосте — один бог ведает. «У тебя лес мой воруют!» — кричит барин. А староста одно твердит: «Никак нет-с! Ни одного прутика вывезти никто не смеет!» — «Поедем к лесу!» — кричит барин. А староста уж знает свое: «Поедемте,— говорит,— сударь!» — «Вели седлать мне лошадь!». Оседлали барину лошадь, поехал; староста за ним. Поехали к лесу. Только не доезжая до лесу с версту, а то, может, и меньше, барин остановился, смотрит: лес стеной стоит! Повернул лошадь назад. «Ступай за мной!» — крикнул он старосте, да во все лопатки домой, а староста за ним! Приезжают они домой.

«Я тебя, староста,— говорит барин,— истязал — вот тебе награждение» — и дает старосте целковый. Приезжает к барину другой сосед, начнет говорить про лес — тот же исход. Подумали соседи, подумали: из доносов толку нет, одна только с барином остуда — и бросили! Выбудет один староста, назначит барин другого, и тому наказ: «За лесом смотри, за хворостинку — сто хворостин, за бревно — ребро; а не будешь ты, староста, смотреть: тебя на поселение, всех твоих детей в солдаты, а двор твой весь разворочу!» Сменился один староста, сменился другой, нашло время быть старостой мужику степенному, Василием Петровичем звать. А Василий Петрович был мужик степенный: перед богом не соврет. Барин ему опять свои речи: «Береги лес, не то дом твой разорю, тебя в Сибирь пошлю, детей твоих в солдаты отдам!» Василий сперва-наперво барину в ноги: «Освободи, ваша милость, от начальства!» Только барин и слышать не хотел. «Ты,— говорит,— мне раб, а я тебе барин; что захочу, то из тебя и сделаю: захочу старостой — старостой и будешь! Захочу свинопасом — будешь и свиней пасти!» Что поделаешь?! А барин был нравный! «Коли так,— говорит новый староста,— так извольте,— говорит,— лес осмотреть, да и сдать мне».— «Я,— говорит барин,— лес осмотрел не так давно».— «А что в том лесу делается,— спрашивает староста,— что в том лесу вы видели?».— «Там, в лесу, благополучно»,— говорит барин. «Будь благополучно,— говорит староста,— всею душою взял бы беречь ваше барское добро, а слушая ваш грозный наказ, должен сказать, что лесу, почитай, что и нету!» — «Как!» — крикнул барин. Полетел к лесу, опять, не доезжая версты, видит: лес стоит. Вернулся домой — за нового старосту! «Цел лес?» — спросил барин старосту, расправившись с ним.— «Почесть, весь вырублен!» Опять за расправу! Староста все свое: «Вырублен да вырублен!» Сколько барин ни бился, староста все свое: «Вырублен лес; почесть, ничего не осталось!» Барина зло взяло... «Снарядить,— говорит,— подводчиков!» Снарядили подводчиков, посадили старосту, барин дал такую бумагу, чтоб старосту в Сибирь послать, и поехали в город. Только привозят Василия Петровича в город, старосту-то этого, к исправнику, а, на счастье Василия, исправник-то его знал: дела с ним по своему имению делывал, чаями Василия Петровича паивал. Как увидал исправник Василия-старосту в кан-

далах, так ажно ахнул! «Ты,— говорит,— как ко мне таким манером попался? За какую-такую вину?» Василий стоит, молчит. «За какую-такую вину? — допытывается исправник,— может, кто на тебя облыжно донес?» — «Нет,— говорит Василий Петрович,— я от мира не отказчик, на мир не доносчик, так и мир про меня дурного ничего не скажет».— «Так за что же?» — «Барин приказывает лес хранить-соблюдать».— «Да ведь лесу нет!» — говорит исправник; и уж всем было в округе известно, что лес изведен. «Я так и докладывал его милости».— «А он?..» — «Ну, того не вернешь! — сказал исправник,— а теперь поедем к твоему барину». Посадил исправник старосту с собой в сани, а все в кандалах, привез к помещику. «За какую такую вину,— спрашивает барина исправник,— чем провинился перед вами Василий Петров, что вы его посылаете в Сибирь?» — «А так и так,— говорит барин,— я сам вижу лес, а он говорит, что лес почесть весь вырублен!» — «Не напрасно ли наказываете?» — «Какое напрасно!..» — «А поедемте, посмотрите»,— говорит исправник. «Поедемте,— говорит барин,— да возьмем и «Ваську». Поехали, взяли и Ваську, то есть Василия Петровича. «Видите лес?» — спрашивает барин исправника, подъезжая к лесу. «Ничего не вижу!» — говорит исправник. «Как?» — «А так: въедемте в лес, там посмотрим». Въехали в лес, а лесу-то и нет! Только для виду одна опушка оставлена, чтоб барину лес был виден, а в лесу не то чтоб порубка воровски воровалась, а порубка на хозяйскую ногу пошла: срубы рубили, доски пилили! «Кто ж это?» — спросил барин исправника. «Да все ваши мужички»,— говорит исправник. «Кто именно?» — опять спросил барин уж у Василия Петровича. «Да все!» Поехали по деревне: у всякого мужичка в каждом дворе на продажу и доски напилены, и срубы порублены...

Тут только барин опомнился: простил Василия Петровича, поцеловал в голову и рубль серебряный дал, а все-таки старостой оставил.

— Вот видишь, правда свое взяла! — сказал я, когда рассказчик кончил.

— Взяла! — пробормотал один.

— А не болтал бы — лучше бы было,— проговорил другой.

— Нечего говорить,— подтвердил третий,— для обоих было бы лучше.

— Как для обоих?

— А так для обоих: и для барина было бы хорошо, и для Василия; а еще я скажу, что и для третьего — для барщины.

— Я что-то не пойму...

— А вот понимай: у барщины был бы лес; Василия того бы не мучили; а барину тот лес был не надобен, коли он потребен был ему на поглядку: смотри сколько душе угодно! Всем было добро!

— Барину-то какое же добро: ведь его же лес вырублен?

— Лес божий!

— Ну а ежели я его купил? — спросил я, желая во что бы то ни стало переспорить такое удивительное решение.

— А... купил, дело другое; там твоя кровь, ты свои кровные деньги заплатил, ты там караул поставишь! Там прутика не возьмешь!

Пока мы калякали, то поднимаясь пешком на гору, то садясь опять на одни из саней, прошло более часу: мои попутчики стали сворачивать с большой дороги на проселок.

— Дай бог вам час,— сказал я, раскланиваясь с ними.

— Тебе — путь-дорога! — из всей толпы робко отозвался один голос.

— Прощайте.

— Бог по пути! — промолвилось как будто по обычаю.

— А ты куда идешь? — решительно спросил меня один.

— Да я уже говорил, что иду в город,— отвечал я.

— А по скорому делу?

— Нет, спешить мне некуда,— опять отвечал я на тот спрос.

— А некуда, поедем с нами.

— Время, братцы, позднее; теперь пока до города дойду — спать можно.

— Как не можно.

— Время ночное,— гомонили мужики один за другим.

— А хоть и позднее время,— решительно объявил мне все тот же мужик, который стал первым меня допытывать,— время хоть и позднее, а ты пойдем с нами.

— Это зачем?

— А черт тебя знает, что у тебя на уме! Пойдешь в город да объявишь... Что тогда поделаешь!

— А ты, друг любезный, пойдем с нами; мы тебе вреды

никакой не сделаем, а мы будем, друг любезный, без опаски.

Делать было нечего, я поехал с ними.

— Тебе здесь делать нечего,— сказал мне один из добродушнейших воров,— так ты садись на пенышек, да трубочку покури.

Я так и сделал: сел на пень, закурил трубку и посмотрел, как воры возьмутся за свои промыслы.

— А ну с богом! — сказал один.

— С богом! — проговорили другие.

Мужики помолились на восток и принялись рубить лес.

— Какое древо ты валишь? — крикнул один из воров на другого.

— А разве не видишь!

— Да что видеть-то?

— Древо...

— Древо. А какое древо?

— Вот ты с ним и разговаривай! — заговорил со мной мужик,— дерево — дрянь! Как есть дрянь! Гниль, одна гниль! а он его с корня снимает!

— Да ну, ладно! По мне, все равно,— оправдывался виновный,— я думал, древо не годное...

— А тебе годное?

— Ну да, все равно.

И с этими словами он стал валить мачтовый дуб.

— Опомнился!

— Ну, полно, не пили ты меня: сам вижу, что оплошал.

— Оплошал. А тут дело спешное!

Только мой резонер стукнул раз топором, стукнул другой, и подошел ко мне.

— Ведь вот человек! Ему всякое древо под топор идет, а он выбирает что ни есть самое лядащее!

— Да на дрова ведь и то дерево, кажись, годилось бы...

— Как не годиться!

— Ну, так что ж?

— Да время дорого!

— В этом деле, пожалуй, я тебе и не поверю: было бы время дорого, ты бы рубил дрова, а то вот ты со мной калякаешь.

— А для чего не калякать?

— Время дорого.

— За нами не гонят!

Как бы то ни было, а дров не спеша нарубили сколько надобно. Нарубили дров, поклали на воза, увязали, стали собираться в город.

— А ты пойдешь с нами? — спросили меня, тронувши лошадей.

— Разумеется, с вами,— отвечал я.

— А куда ж идти, как не с нами? — заговорили мужики.

— Да ведь теперь вам бояться нечего,— сказал я им,— ведь теперь хоть доноси начальству, хоть нет, что вы рубили дрова, вам все равно...

— Нам все едино, все едино!

— Так для чего ж с вами-то?

— Да для тебя не так боязно.

— Тебя с нами никто не обидит!

Стали выезжать из лесу на большую дорогу, я пошел рядом с одним мужиком. Разговорились мы с ним, как кому живется, как у кого жизнь бывает.

— Моя, брат, жизнь — из жизни жизнь! Со мной делывались такие тоски-печали, что как станешь вспоминать — все нутро воротит!

— Коли так горько тебе вспоминать про бывалое,— сказал я,— так нечего об том и говорить: что старые раны разбереживать?

— А я вот какое слово тебе скажу, друг ты мой любезный... Добро уж ты мне как-то по душе пришелся: какое тебе скажешь слово, слово душевное, то слово у тебя в душе, в твоей душе то слово отзывается! Вот что я тебе скажу: вспомнишь про свою жизнь, я тебе сказал — нутро воротит, а все, кажется, только про то бы и толковал. А знаешь, отчего все это бывает?

— Да, брат...

— Нет, вот я тебя, брат, еще спрошу: любил ли ты свою прежнюю полюбовницу как сестру свою родную? Сестру родную от одного с тобой отца-матери?

— Что-то ты загадочно говоришь...

— То-то загадочно! Для тебя загадочно, а для меня быль... да такая быль, что вспомнишь и сам не знаешь, что на сердце делается: и жутко становится, и радостно-то!

Мы помолчали несколько минут, а может быть, и четверть часа.

— Ты знаешь, как я женился? — спросил он меня.

— Нет, не знаю.

— Не знаешь. Вот я тебе расскажу. В нашей деревне наш первый двор: и хлеба всегда вволю, и лошади, и скотина всегда против людей водилась, да и теперь пока бог грехами терпит, от людей не отстаем. А я и теперь, как видишь, все-таки вперед людей гляжу; а был молод: первое раз — из богатого дома, другое — из себя парень красовитый был; ну, и тоже, надо сказать, работа из рук не валилась: косить, что ли, там — всегда передом иду. Вот по этому-то самому случаю первым женихом по деревне, почитай, считался я: всякой девке хочется и во двор хороший пойти, хоть за какого ни на есть лядащего; а тебе я про себя уже рассказывал, стало, и болтать об том деле больше нечего. Вот было мне об ту пору лет восемнадцать... Нет, больше: двадцатый год пошел. Отец мне и говорит: «Пора, мол, тебе жениться». Раз он сказал то слово, и другой сказал, а я все думаю: как, милый, мне жениться? А потому я так думал, что была у меня полюбовница, девка из нашей же деревни, Анютой звали. Анна Петровна. то есть та-то Анюта, была девка из двора не так чтобы задорного: коли хлебушко есть — хорошо, а нет — не прогневайся! А только Анюта, Анна Петровна, была девка одно слово работница, а из себя, вот все равно как в песне поется:

Словно кралечка написанная,
Да из карточки вырезанная...

И спознался я с этой Анной Петровной, а и спознался с Анной, почитай, обманом. «Я тебя,— говорит,— всем сердцем, всей душой своей люблю; сколько силы-мочушки у меня есть, всю за тебя отдам! Бери меня, как есть я теперь девка... ни в чем тебе запрету нет; только не губи ты меня понапрасну, объяви: возьмешь замуж за себя?» Да так стала жалостно да любовно говорить... А сама-то все дрожит, что меня аж проняло... А я был на девок ходок... Как взглянула на меня — все бы так ей и отдал, так бы на ней и женился... Куда тут думать о другой девке... Я стал тут божиться, что во всю свою жизнь буду ее любить, что, коли батюшка-родитель не соизволит на ней жениться, ее за себя замуж взять, вовек ни на ком не женюсь; а будет неволить — в солдаты наймусь! А она опять свое: «Ты,— говорит,— не бойся мне правду сказать: мне все едино, кроме тебя, замуж ни за кого не пойду; кого любить, любить буду, я людей не постыжусь... Хоть на день, а ты меня по-

любишь...» Я опять ей клясться, божиться... Так мы с ней и спознались... И жили мы с ней перед людьми хоть и зазорно, а меж собой хорошо: ни я против нее слова, ни она супротив — ни господи боже мой! Вот и жили мы так-то до того самого слова батюшкина, до того слова батюшкина, что пора пришла время жениться. А батюшка спроведал про Анну: все на деревне уж знали, что я с этой Анной живу... Так батюшка так думал: Анна хоть и не из хорошего дома, да девка работящая, в дому будет помощница, а все уж знали, что она только и свету видела, что во мне; и батюшка про то знал. Так он от этой свадьбы и не прочь был, а еще для моей же души хлопотал, чтоб я с Анной не в грехе жил: законом бы весь грех порешил. Хорошо. Только сказал мне отец: женись — я стал думать: я из дому хорошего, за меня пойдет замуж не то что любая девка по нашей деревне, а по всему околотку — стоит только клич кликнуть! А про ту Анну стал я так думать: до суда божия, до венца еще она со мной спозналась, а женись на ней — все люди на смех поднимут: на распутной девке, скажут, женился! Только я так думал, думал и надумал, что Анна мне не жена. Отец больше приставать — женись! А я больше думать: Анютка мне не жена! Стал я присматриваться к другим девкам. И приглянулась мне девка, Марьей звать, теперь жена мне... Первое — из семьи богатой, родня тоже, девка работящая, из себя видовая... Отец говорит: «Женись! На ком хочешь, говорит, женись!» Он все думал, что я на Анну укажу. А я после своих дум и говорю: «Если поизволишь, посылай сватов за Марью!» Отец посмотрел на меня, посмотрел, да так нехорошо посмотрел. «Не будет ли, дитятко, греха на твоей душеньке?» — говорит отец, а я молчу. «Что ж, посылать сватов за Марью?» — «Посылай»,— говорю отцу... Послали сватов, там рады. Дело сразу поделали: порешили свадьбе быть на михайлов день — у нас престол. С той поры я к Анне ни ногой, а до свадьбы еще таки оставалось: Марью ту пропили за меня еще до покрова. И все то времечко я и сам не свой; жду не дождусь, как с Марьей под венец стану. Марья была девка смирная, тоже умная, да только как взглянет, бывало, на меня, так, бывало, вся и зардеет. Малый-то я уж очень из себя ловок был — вот оттого-то я и любил больше Марью. Анне, бывало, что скажешь про свое, она скажет, что дело, а что не дело, то как топором отрубит: ты, говорит, не дело говоришь.

Вот так и так это дело повести надо... А ты и стоишь дурак дураком, и при всем люде хоть песню пой:

Красна девица молодца
Поборола, поборола!
При всем честном люде
Осрамила, осрамила!

А ты стоишь! А после по ее сделаешь — и выйдет так! И не то чтобы она говорила как-нибудь это, хотя меня на разум навести, али с насмешкой какой. Нет. А так просто: добра мне ищучи! А мне перед ней как-то совестно... Марья не то: что скажешь ей — все хорошо; сама видит — плохо, а говорит — хорошо! Вот и теперь: что бы ты ни задумал сделать — все хорошо; пьян напьешься — и то хорошо: «После трудов повеселить себя надо!» А верное слово тебе скажу — допьяна я без дела не пью; престол когда у нас али на свадьбе у кого, на крестинах; а так чтобы — ни-ни! В одном только и поперечит: с детьми не мутить! Что хочешь делать делай, а детей своих не обижай! Так окрысится, хоть на кого, что поневоле от нее отойдешь! Вот какая! А не тронешь детей — что хочешь, то и делай, слова поперечного не услышишь! Вот за самое за это и полюбилась мне Марья. Как теперь помню: жду не дождусь того времечка, как с Марьей под венец стану суд божий принять. Только пришло и то времечко... вовек мне его не забыть! Стали свадьбу играть — я был радостен. Все справили, как закон велит; поехали к венцу в божью церковь... А надо ехать мимо двора Петрова, того двора, где Анна-то Петровна жила. Как поехали мы мимо Аннина двора, а Анна-то стоит на крылечке, схватилась за столбы точеные,— так бы ей и на ногах не устоять: вся дрожма дрожит! Как увидела меня радостного да веселого, мимо ее двора с другой к венцу едучи, да как вздрогнет, да как крикнет: «Прощай, друг! На тебя, душа, мой прежний полюбовничек, не сержуся!» Так меня от этих речей словно варом окатило! И сказала те самые речи при всем при народе: сам знаешь, со свадьбой сколько народу едет, а она никого не постыдилась, сама покаялась — была полюбовницей! «Была полюбовницей!» — так и стоит в ушах у меня... А как глянул на Машку, на невесту на свою,— дух замер. Допреж этих слов в Машке своей души не слышал, а теперь рыло свое поворотить к ней — просто мочи нет! Как пришли в церковь божию, как нас поп-батюшка перевенчал, как заставил

целоваться — хоть убей! — по сю пору не помню. Повезли нас домой, поехали мы мимо Аннина двора — хоть бы тебе собака тявкнула: ничего не видно, ничего не слышно! Привезли нас домой, посадили за стол, пошел тот стол, а я на жену свою на новобрачную и смотреть не могу! Гости по обычаю, как закон велит, приговаривают: «Горько!» Целоваться с женой надо, а у меня с души прет!

Не помню, как нас из-за стола вывели, как спать положили — ничего не помню! Там, по закону сколько время спустя, пришел дружко, сваха поднимать нас, молодых... Дружко-то и затрясся, а сваха совсем-таки присела! Смотрят они, а я на свою новобрачную зверем гляжу! Сваха взвизгнула, а дружко: «Дело плохо,— говорит,— свадьба испорчена!»

Как кинулся я — не в избу, где родители, родственники радости дожидались, а кинулся я куда глаза глядят! Не день прошел так, не два, а сколько недель,— сил моих не стало! Пришел я опять к Анне Петровне. «Сил моих нет, Анна Петровна, без тебя прожить; давай еще с тобой в любви поживем!» — «Нет,— говорит,— друг, ты теперь закон принял, в законе и живи, а я твоему закону не нарушница!!» Сколько к ней ни приставал, одно слово: «Я твоему закону не нарушница!..» Да так мне тошно пришлось, что хоть на себя руки поднимай! Семья видит, дело плохо. Собралась вся родня, стали думать, как делу помочь, и порешили позвать Аннину тетку. А Аннина тетка: родит ли кто — ее зовут, горшок на брюхо накинуть — ее зовут, знахаркой слыла. Позвали ту тетку, стали всей родней ее чествовать. Почествовали ее сколько надобно и стали говорить, что так и так — свадьба испорчена; помоги горю, приворожи мужа опять к своей жене! «Нет,— говорит тетка,— я ворожить не умею, николи не ворожила... (она не хотела только признаться, а была всем заведомо знахарка), николи не ворожила, а по мере сил на пользу ближнего, как Христос велит, тружусь. Вот и теперь такое слово скажу: пусть молодожены оба вместе пойдут к Анюте, да и спросят у ней христианского прощения; у Анюты душа ангельская; простит, даст господь бог и помилует!» Что ж ты думаешь? Ведь отворожила всю эту порчу свадебную! «Ступай, говорю жене,— снаряжайся, пойдем,— говорю,— *ты* со мной!» А мне жену-то свою, богом данную, и по имени-то

назвать было противно! Подходим мы с женой к Аннину двору — боязно; входим в избу, смотрим, а она, моя голубушка, сидит за столом, не в переднем углу, а так поодаль, за оконичком, правой рученькой головушку подперла, а сама-то вся такая болезная да сиротливая... Как взглянул я на нее, аж дух во мне замер! А Анюта сидит и не слышит, как мы в избу вошли. Мы стоим перед нею, а она не видит... Марья, жена моя, как взвизгнет, да прямо в ноги ей кинулась! Я за женою — тоже Анне в ноги! Анна как взглянула на нас, что снег вся побелела, да как бросится на шею к Марье, да как стала ее целовать! «Любила,— говорит,— я друга: всю бы душу за него отдала бы. Теперь ты его люби... А я вашему закону не нарушница!» А я стою как ни при чем. Только смотрю: Анна Петровна такая стала веселая... «Садитесь,— говорит,— за стол, вы у меня гости дорогие!» Сели мы за стол, стала нас потчевать. Сама налила себе стаканчик водки, да и говорит: «Горько!» Как я посмотрел на свою жену: впервой мне жена за жену показалась. И так мне на душе показалось радостно! Анна говорит: «Горько!» Я Марью целую, и не то чтобы по нужде, а так, как надо жену мужу целовать! Смотрю на Анну, на Марью — радуюсь! Марья мне жена, а Анна ровно сестра мне родная! Пошел я с Марьей домой. «Пойдем, Маша,— говорю,— задворками». Так Маша аж вся замлела: впервые от меня после венца ласковое слово услыхала! После того Анна Петровна к Маше понаведываться стала; стала Маша родить, а родины трудные были, трое суток бедная мучилась. Так Анна три ночи глаз с глазом не смыкала! А как родился мальчишка, так ей радости было, почитай, больше, чем родному отцу с матерью. Вот она какая! Теперь у нас живет она в деревне бобылкою, и только у ней радости и есть, как бы моих с Марьею детей чем ни на есть утешить: одному рубашку сошьет, другому шапочку какую приладит. Живет она бобылкою, про бобылок ты знаешь довольно; а спроси ты кого хочешь про Анну Петровну, никто дурного слова не скажет; а за прежнюю ее гульбу со мной не то чтобы в укор что сказать или дурным словом обозвать, а и так никто не промолвится.

Этот рассказ сократил мне дорогу, мы подъехали к самому городу.

— Вы где будете ночевать, братцы? — спросил я у городской заставы.

— А где ночевать? Скоро базар начнется, так мы прямо на площади, тамотко и обождем.

— Ну так прощайте, братцы! Я пойду где-нибудь в тепле отдохну.

— Прощай, брат! — сказал один.

— Послушай, брат,— прибавил другой,— после ранней обедни выходи на базар; продадим дрова, станем магарычи запивать, тебе поднесем.

Много спустя после ранней обедни я вышел на базар.

— Эй! Парень, ступай сюда! Ступай!

Я вошел в кабак.

— Забыл, что ли,— заговорили мужики, мои ночные товарищи,— что мы обещались тебе поднести?

— Нет, не забыл, да мне не надо: я и сам могу вас попотчевать.

— А ты этого говорить не моги: мы обещались, мы и поднесем, а твоего не хотим!

Я с ними выпил и распрощался, кажется, навсегда.

V

Я приехал в Орел, остановился в гостинице; на другой день ко мне входит коридорный.

— Вас спрашивает какой-то господин.

— Кто такой?

— Не знаю-с.

— Зачем? Проси.

Входит ко мне в нумер барин невысокого росту, прилизанный, в пальто с меховым воротником, в калошах; шапку, правда, при входе снял.

— Здравствуйте,— сказал он, входя в комнату и подавая мне руку.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Мне до вас есть дело.

— Прошу садиться.

Он сел.

— Чем могу вам служить? — спросил я пришедшего господина.

— Я к вам с просьбою,— отвечал барин.

— Позвольте узнать?

— Вот извольте видеть: у меня мельница; я отдал эту мельницу в арендное содержание, на моей попрудке; сперва мне попрудка ничего не стоила: вышлю лишь мужи-

ков, они и запрудят; а теперь не пошлешь мужика — шалишь... Я и говорю мельнику: твоя попрудка — бери мельницу, а не хочешь — другому отдам. Тот не захотел взять на себя попрудку, я сдал другому; а старый мельник к губернатору. Губернатор посмотрел на контракт и велел согнать нового мельника, а держать по-прежнему старому мельнику.

— А и контракт был у вас заключен с прежним мельником?

— Был! Быть-то был! — отвечал барин, лукаво, очень лукаво улыбаясь.

— Так как же?

— Да какой контракт?

— Как какой?

— Да я там закорючку ввернул.

— Закорючку?

— А губернатор не обратил вовсе внимания на этот пункт; это, говорит, мошенницкая штука, да и водворил старого мельника.

— Скажите!

— А у меня дети, я для них должен хлопотать! Я хлопочу не для себя: мне, собственно мне — ровнешенько ничего не нужно!

— Чем же я вам могу быть полезным? — спросил я, никак не понимая, для чего мне было знать об этих мельниках, об мельнице, губернаторе и даже о существовании самого помещика.

— Разве не понимаете?

— Решительно не понимаю.

— Решительно? — допытывался, улыбаясь, мой собеседник.

— Решительно.

— Да вы напишите на этот сюжетец какую-нибудь хорошенькую повесть.

— Из этого сюжетца никакой повести не выйдет,— отвечал я.

— Неужто?

— Никакой повести не выйдет.

— Ну *так* напечатайте.

— Какая же из этого будет польза для вас? — спросил я.

— Будет! — отвечал барин с твердым убеждением в пользе для него гласности в этом деле.

— Пожалуй! — отвечал я.

Через неделю я был в Малоархангельске; ко мне пришел знакомый священник, разговорились мы с ним; входит дворник и говорит, что меня кто-то спрашивает.

— Проси.

Человек вышел и через минуту вернулся.

— Просит барин вас вызвать на крыльцо,— объявил мне дворник.

— Что ему нужно?

— Не объявляет.

— Скажи ему, что выйти к нему не могу,— сказал я,— а ежели ему угодно меня видеть, проси его прийти сюда ко мне.

Через минуту входит ко мне барин лет за пятьдесят, с усами, с первого разу видно было, что этот господин — военная косточка.

— Я к вам по делу! — закричал он, входя ко мне и подавая развязно мне руку.

— Что прикажете?

— По секрету,— таинственно проговорил вошедший,— по секрету, милостивый государь!

— Позвольте, батюшка, вас просить выйти на минуту в другую комнату,— попросил я священика.

Священник вышел.

— Видите, в чем дело: напишите мне статью...

— Какую?

— Я послал к становому людей наказать...

— Батюшка! пожалуйте сюда,— позвал я священника,— секрет, кажется, небольшой!

— Да, небольшой,— подтвердил господин,— можно и при батюшке.

— Что же вам угодно? — спросил я.

— Так изволите видеть: послал я людей к становому наказать хорошенько.

— За что?

— А так, фантазия пришла!

— Фантазия?

— Ну да, фантазия! Я управляю имением с полною от помещика доверенностию...

— Что же становой?

— А что становой? Не стал наказывать, а мне велел сказать, что наказал! Каково?

— Вы почему же узнали?

— Как не узнать! Я привел их в комнату, двери на замок: «Раздевайся»!

Смотрю: ни одного рубчика на теле! Ну, скажите, порол становой этих людей?

— Что же вам от меня нужно?

— Напечатайте этот казус!

Никак не понимая пользы гласности для этих господ в этих делах, я обратился за толкованием к некоторым помещикам.

— Да что ваша гласность? — запальчиво заговорил один помещик,— ваша гласность выеденного яйца не стоит! Пишут, пишут, а какая польза! Да что пользы! Хоть волоском кто тряхнул ли от этой вашей гласности? Голоси сколько хочешь!

Другой господин еще энергичнее выразился.

— По мне, пожалуй, голоси обо мне что хочешь! Обо мне голосили, голосили — а я все свое делаю! Уж обо мне писали во всех журналах и газетах! Всем полным именем, отчеством и фамилией величали, а я все-таки буду свою линию тянуть!

Третий господин, более понимающий россиян, совершенно отвергал пользу гласности, но совершенно по другим причинам.

— Какою гласностию, каким красноречием проберешь нашего брата! — говорил он.— Нас и немым красноречием — дубиной не вдруг ошибешь, а вы суетесь с вашею гласностью!

Да и о чем голосить, в самом деле? Посмотрите вы губернские ведомости, там вы найдете во многих отделы под названием «Наша общественная жизнь», «N-ские заметки» и прочее. Что ж вы там найдете? «Г-ну Б. за его добрые дела поднесли жители картину и кубок». Ну слава богу,— думаете вы, — г. Б. на картину посмотрит, из кубка выпьет, после и закусить может. Берете другую газету и читаете, что «благодетельная барыня для бедных благотворительный спектакль устроила и что бедные никогда не забудут...» Думаете вы, да нам-то какое до этого дело?

В некоторых газетах в «местном отделе» извещают, что с 1865 года будут издаваться «в Петербурге и Москве разные издания», а своих происшествий не имеется; но некоторые редакции объявляют, что «Иван Петров, крестьянин,

скоропостижно умер, Петр Иванов — скоропостижно умер». Царство небесное,— думаете вы. К чему тут гласность? Да что говорить, если уж после 19 февраля, во втором номере «Псковских ведомостей» за 1865 год:

«Псковское Губернское Правление объявляет, не окажется ли *кому принадлежащим* арестант, бродяга Иван Андреев, приметами он: 35 лет, вероисповедания православного (примета!) росту... и прочее... особых примет нет».

Может быть, найдется и теперь барин у этого арестанта, которому он принадлежит.

Какая у нас гласность!



Бунты на Руси

Очерк первый

От недоразумений часто из ничтожного случая вырастает страшное дело, от непонимания дела часто важное кажется ничтожным.

Мы с народом в настоящее время живем так, как в повести «Гайка» Людмила с матерью: мы очень любим народ, только не хотим изучать его нужд, а, сидя в кабинете, сочиняем его истинные потребности; народ, в свою очередь, не понимая наших гуманных начал, смотрит на нас недоверчиво. Еще надо прибавить, что мы даем всему вид таинственности и все скрываем от народа, даже то, что напечатано в газетах, поэтому народ верит всему, что ему скажет какой-нибудь пройдоха подьячий, беглый солдат, и ничему не верит, что ему скажет помещик или какой-нибудь начальник*. Он подозревает, что по большей части бывает и справедливо, что ему не все сказано и что самая суть дела не объявлена; за толкованиями дело не станет: найдется проезжий, прохожий из ихнего же брата, которому, равно как и далевскому матросу, объясняющему причину ветров, совестно чего бы то ни было не знать, и тот ему толкует, как ему хочется. В особенности народ туго верит во все улучшения, придуманные образованными людьми. Вот случай, из которого видно, как смотрит народ на придуманные улучшения.

---

* Разумеется, когда начальник скажет, что объявлен набор, как не поверить!

Приезжает один господин, сделавший улучшения в своих деревнях, в одну из своих улучшенных деревень. Была собрана сходка.

— Ну, братцы, каково поживаете? — спросил господин у собравшейся сходки.

— Спасибо, батюшка! По твоей милости живем — слава богу! — отвечали из сходки.

— А когда, старики, было лучше жить, теперь или прежде? При мне или до меня?

— До тебя, батюшка, какие порядки были? Никаких порядков не было! Как пошли новые порядки, пошла и жизнь новая — не в пример лучше прежней! Спасибо твоей милости за порядки!

— Живите, братцы, хорошенько; теперь жить хорошо; будете жить хорошо — сделаю еще лучше!

Вдруг все в ноги.

— Батюшка! Не делай лучше, и теперь так хорошо, что жизнь коротка, сделаешь лучше — просто жить нельзя будет!

Господин, как видно, старался сделать *лучше* и сознавал, что он сделал *лучше*, а на деле вышло, что для лучшего — жизнь коротка!

Мужик решительно не верит ни во что, что выдумано образованными, на все смотрит с недоверием; не верит даже в самое, по-видимому, неважное, например в переименование. В Курской губернии лет десять тому назад было ужасное происшествие: государственные крестьяне захотели быть по-прежнему однодворцами, а как на Руси нет просто однодворцев, а есть, как они от кого-то слышали, западные однодворцы, то и они захотели быть западными однодворцами. На их беду в то время в Курской губернии был петербургский барин, который поехал усмирить *бунт*. Что это был за бунт, можно понять из того, что ремонтер, проезжавший с ремонтными лошадьми чрез бунтующее село, взял там овса, сена, подводы, за что от него никто не хотел брать ни копейки, и только в городе он узнал, что он ночевал у бунтовщиков.

Петербургский барин приехал для усмирения к бунтовщикам, приказал священнику отслужить обедню, после которой сказать приличную речь, а после обедни велел у церкви собраться сходке. Священник отслужил обедню, сказал речь, и петербургский барин стал на паперти рассуждать

о чем-то с бабами — мужиков в церкви не было, они все были на сходке.

— Знать дело с бабами толковать! — крикнули из сходки, собравшейся по приказу у церкви.— Ты иди на мир да и толкуй!

Господин этот растерялся. Народ захохотал, господин еще больше сконфузился — народ еще больше хохотать; господин, не сказав ни одного слова, уехал и приказал прислать солдат *для усмирения бунта.*

Приехали солдаты и приехал губернатор.

— Что вы буяните? — крикнул губернатор на собравшийся народ, стоявший без шапок.

— Нет, батюшка, буянства за нами никакого нет! — отвечали из толпы.

— Как не буяните! Чем вы хотите быть?

— Западными однодворцами, батюшка!

— А знаете, что такое западные однодворцы?

— Нет, не знаем, батюшка...

— Так я вам расскажу: сперва были все однодворцы, на западе однодворцы и взбунтовались. Царь захотел отметить небунтовщиков и назвал их своими крестьянами, государственными крестьянами, а бунтовщикам сказал: «Оставайтесь вы западными однодворцами!» Так вы хотите называться бунтовщиками?

— Нет, батюшка, не хотим!

— Так вы согласны, братцы, называться государственными крестьянами?

— Нет, не согласны,— отвечал один крестьянин из толпы.

— Высечь его! — крикнул губернатор. Его наказали.

— А вы согласны? — спросил опять губернатор, когда кончилось наказание.

— Все согласны!

— Попа!

Пришел поп, привел всех к присяге, бунт был усмирен, но тем не менее экзекуция, или, как мужики называют, секуция, была поставлена.

Еще надо прибавить, что при всех начинаниях, в которых народ видит свою прямую выгоду, он не верит в хороший конец; так, в настоящее время, когда решается великий крестьянский вопрос, мужики, решительно ничего не зная, что делается, по-своему рассуждают: «Толковали, тол-

ковали, что слобода будет; а теперь говорят, в сипацу загоняют!» Сипаца, по-нашему, нехорошее слово, а эмансипация — настоящее дело!

Кроме недоверия к образованному классу, поводом к так называемым бунтам часто служит непонимание, незнание своих прав в настоящее время. Прочитайте в «Русской беседе» статью Иванищева: вы увидите, как была сильна сходка очень недавно. Сходки никаким указом никаких прав не лишали; напротив, народ всячески хотят уверить, что права их расширены. Почему же народ должен знать, что мир не может теперь делать того, что делал прежде? Часто мир делает постановление, по его мнению, совершенно законное, а оно признается противозаконным, а постановившие — бунтовщиками. П. И. Мельников мне рассказывал, что крестьяне одной деревни раз послали своему барину донос на своего старосту, который был назначен не от мира, а помещиком. Помещик, получая хороший оброк с крестьян и постоянно исправно, не обратил никакого внимания на этот донос. Как только узнали об этом крестьяне, собрали сходку, на которой было положено сосчитать старосту и донести барину, сколько он украл, то есть сколько лишнего перебрал и утаил от барина; а что он воровал — в этом не могло быть для крестьян никакого сомнения. Но бодливой корове бог рог не дает, так и этим мужикам не удалось ничего сделать; староста написал, что мужики *бунтуют*, а барин просил начальство усмирить *бунт;* ну, разумеется, усмирили...

Но, по моему мнению, если приговоры сходки не ладят иногда с существующими ныне законами, то не следует забывать, что простой человек и теперь еще не отвык смотреть на сходку так, как смотрел на нее в старину. Расскажу еще один подобный случай.

Это было в Нижегородской губернии лет сорок назад, еще до основания министерства государственных имуществ. В то время несколько десятков тысяч душ было приписано к казенному конному заводу, и над этими крестьянами был поставлен офицер-начальник, и крестьяне его очень любили: он их не притеснял и по судам не волочил (а второе, по мнению крестьян, еще лучше первого). Один раз к нему привели крестьяне мужика той же деревни, в которой жили и сами, и объявили, что приведенный мужик украл у одного из них лошадь. Тот, по обыкновению,

отвечал: «Знать не знаю, ведать не ведаю». Но улики были так сильны, что начальник ему прямо сказал: «Признаешься, за лошадь заплатишь, я тебя высеку; а как большая вина, то и больно высеку; а не признаешься — отдам под суд; изо всего видно, что ты украл лошадь, тебя под плети подведут. Теперь я все сказал, как знаешь, так и делай».

Тот, подумавши, повинился, заплатил за лошадь и был наказан. Деревня была зажиточная, и ни у кого из крестьян ни воров, ни плутов в роду не было, а потому все стали упрекать в глаза этого мужика вором. А как есть еще и пословица «не пойман — не вор», то он захотел избавиться от нарекания доносом. Вскоре после этого происшествия приехал из Петербурга, по словам крестьян, какой-то генерал-ревизор. Когда по принятому правилу начальник был удален со сходки и уехал, ревизор спросил:

— Нет ли недовольных начальником?

— Есть! — отвечал крестьянин, укравший у соседа лошадь.

— Какая твоя претензия?

— Начальник меня высек.

— За что?

— А так; ни дай, ни вынеси!

— Это правда?

— Правда, как перед богом...

— Правда, старики? — спросил начальник у крестьян сходки.

— Врет, ваше благородие! Обманывает тебя, батюшка! — загалдела вся сходка.

— Да высек он его? — спросил начальник, видя всеобщее негодование.

— Высек, что правда — то правда!

— За что?

— А вот за что...

И было рассказано все дело как было.

— Мало тебя пороли, — сказал ревизор-генерал и пошел обедать к начальнику.

Ревизор уехал, не сказав ни слова начальнику; тем бы дело должно было, казалось, и кончиться, но оно едва не имело ужасных последствий.

Наши крестьянские семейства хвалятся:

Что у нас в роду воров не было,
Ни воров, ни плутов, ни разбойников!

Целые общества хвалятся тем, что у них воров от веку не было, а также ябедников и доносчиков. Мне случалось слышать несколько раз: «Ступай куда хочешь, спроси про нашу деревню: никто дурного слова не скажет; это не то что вот взять Гора-Липовица: те еще за наших дедов конокрадами слывут». В числе других и это село, об котором идет речь, славилось тем, что в нем еще за дедов не было ни ябедников, ни доносчиков, а потому крестьяне были возмущены доносом, да еще неправым, своего сочлена.

Перед вечером крестьяне позвали на суд доносчика в мирскую избу.

— У нас отродясь доносчиков не было,— стали они говорить,— а вот он стал ябедником; а для того на расправу!

Мужики придумали следующую казнь: привязать доносчика за ноги к перемету и зажженными лучинами колоть его, пока умрет! Сказано — сделано.

Когда стала совершаться казнь, преступник закричал благим матом, и, на его счастье, староста услыхал его крики, прибежал в избу и перерубил веревку, которой был привязан доносчик, и немедля поехал за начальником.

— Что вы, братцы, хотите делать? — спрашивал прискакавший испугавшийся начальник.— Беда будет!

— За тебя, батюшка, ваше благородие! — отвечали мужики,— ведь на тебя доносил!

— За любовь спасибо, братцы, только киньте это дело: всем, и вам, и мне, будет беда...

— Какая тут беда? Мир приговорил — стало, по правде; без вины не стали бы с ним такого дела делать...

И начальнику больших трудов стоило убедить крестьян, что они подобным образом не имеют права наказывать.

Ничего нет хуже для народа, как совершенное незнание, что с ним делают или хотят делать; он верит всем нелепостям, которые ему расскажет какой-нибудь пройдоха, в особенности когда это подтверждается словами какого-нибудь известного лица. Так, в прошлом году в рабочую пору управляющий одним имением, заставляя крестья, усиленно работать, говорил: «Теперь работайте! К первому сентября будете вольные, тогда вас сам черт не заставит работать на барина!» Поэтому не удивителен следующий случай.

В Псковской губернии одна помещица жила постоянно в очень хороших отношениях со своими крестьянами, и никогда ни она на мужиков, ни мужики на нее не жалова-

лись; только в один прекрасный день они собрали сходку, порешили, что они вольные, и послали четырех выборных к барыне с этим известием. Барыне сказали об их приходе, и она вышла к ним.

— Что вам надо? — спросила она.

— Да к твоей милости,— отвечали те.

— Что же надо?

— Мир прислал.

— Зачем же?

— Да объявить твоей милости, что мы стали теперь вольные.

— Как так?

— Да так: становому указ пришел сказать нам волю.

— Что ж он, сказал вам волю?

— Нет, не сказывал.

— Отчего же?

— Да так! Господа закупили, не во гнев тебе будь сказано, ведь ты не такая, господа закупили, становой-то и держит указ под сукном, а нам воли не сказывает.

— От кого же вы это слышали?

— Солдатик приходил, так сказывал.

— Вы сами говорите, что я не из таких, которые становых подкупают, я сама подписала бумагу об воле; так и теперь не хочу мешать вам: соберите сходку, позовите станового, и пусть он вам скажет волю, коли указ у него есть.

— Благодарим покорно, матушка!

Выборные пришли на сходку, объявили, что им сказала барыня, и сейчас же послали за становым. Становому, верно, сказали, зачем его зовут, он немедленно приехал прямо к сходке, не заходя к помещице.

— Что надо, ребята? — спросил он,— зачем меня звали?

— Да вот, батюшка, твое благородие, повести нам волю, окажи твою милость!

— Как же я это сделаю?

— Да у тебя указ есть про волю, ты этот-то указ-то и прочитай нам.

— Такого указа, братцы, нет у меня, и читать, стало быть, нечего!

— Как нету, ваше благородие, есть: мы верно знаем,— отвечал один из толпы.

— Я же тебе говорю, что нет! Был бы указ, как же бы я его вам не прочел, я не о двух головах!

— Да я ж тебе говорю, ваше благородие, верно: есть,— отвечал тот же мужик.

— Так ты мне не веришь?

— Да как верить-то?

— Ну отойди, брат, в сторону!

Мужик, не понимая зачем, однако отошел.

— Ну а ты веришь? — спросил становой другого мужика.

— Воля твоя, ваше благородие, указ есть!

— Отойди и ты!

Отошел и этот мужик и стал рядом с первым.

— И ты веришь? — спросил он третьего.

— Есть, батюшка, указ!

— Отойди в сторону! Розог! — крикнул становой.— Я вас никогда не обманывал, а вы мне не верите!

Принесли розог, становой приказал высечь троих неверующих и уехал домой, не разговаривая с прочими. Должно заметить, что он наказывал не за бунт, а за то только, что ему не поверили и что он ни до усмирения бунта, ни после не заезжал к барыне; крестьяне видели, что между ними стачки никакой не было.

Уехал становой; сходка послала к барыне четырех выборных: двух поротых, двух непоротых.

— Что скажете? — спросила их барыня.

— Был становой, указа-то нет!

— Как нет?

— Да нету! Вот Алешка да Митька,— объяснял выборный, указывая на двух товарищей,— да еще Сережка не поверили ему, становому-то, так тот их выпорол!

— За то, что не поверили? И больно?

— Нет! Коли б они какую грубость сделали, а то только не поверили!

— Не больно: только блох попугал!

— Как же теперь жить станем? — спросила выборных барыня.

— Да как жить? Надо по-старому.

И опять зажили по-старому.

Если бы становой стал наказывать мужиков за бунт — едва ли б могло так кончиться. Да еще это вопрос: наказал ли бы он? Пожалуй, мир и не выдал бы...

А вот еще был какой казус. К одному моему приятелю в декабре или в конце ноября приходит раз мужик, его крестьянин, с такой речью:

— Знаешь, Иван Васильевич, ведь к новому году будем все вольные, вот что!

— Дай бог,— отвечал Иван Васильич,— да почему же ты это знаешь?

— Слушай,— стал он говорить полушепотом,— из Питера пришел указ за семью золотыми печатями, и тот указ не велено вскрывать до нового года, а как новый год придет, указ вскроют, вот и объявят тогда всем волю.

— А ежели указа такого не было да, может, и не будет?

— Постой, Иван Васильич! Золотые печати не ломают, указ не вскрывают, оттого и зима не ложится, а все паводки.

— Ну это хорошо, а пока такого указа не вскроют, живите смирно по-прежнему.

— Чего буянить на последях-то?

Этого мужикам не мог рассказать ни один образованный человек, это или сочинил, или, может быть, видел во сне человек, близкий к природе, которому кажется, что в его даже обыденных делах сама природа принимает участие. Этот разговор не имел никаких дурных последствий; мужики ждали спокойно нового года, а с новым годом и зимы; новый год прошел, зимы все не дождались: все одни паводки.

Но другой случай чуть не заставил его поплатиться, и поступи он не так, не скоро мог бы справиться. Он приказал насыпать обоз, хотел продавать хлеб; мужики объявили, что они не хотят продавать хлеба...

— Отчего, братцы, вы не везете хлеб в город? — спросил он мужиков.

— Хлеб-то наш будет весь! — отвечали ему,— так мы продавать не желаем!

— Не может быть, чтоб весь хлеб был ваш!

— Будет, Иван Васильич.

— Нет, не будет, и вот почему: кто больше хлеба продает: мужик или барин?

— Знамое дело, барин! У мужика какой хлеб: что сработал, то и съел.

— И этот хлеб, коли поделить, будете продавать или нет?

— Какая неволя продавать! Поделим, да и разберем по домам.

— Так. Стало быть, у господ хлеба не будет, им и продавать нечего; чем же города питаться будут, чем солдат кормить, из чего водку гнать?

— А что, ребята, пустяки наболтали; вправду, из чего водку гнать, чем города кормить? Прости, Иван Васильич, за нашу глупость! Хлеб отвезем в город.

Запрягли лошадей и повезли в город *барский* хлеб.

Но так не всегда оканчивается, иногда от тупоумия некоторых господ эти происшествия принимают грозный размер, и дело самое пустое часто ведет за собою разорение целых сел и деревень. Я знаю одно такое происшествие, которое едва не имело самых страшных последствий.

Несколько лет тому назад проезжал один господин через Рязанскую губернию, где у него было большое имение, в котором ни он, ни отец его никогда не бывали. В селе его носились только темные слухи, что барин их проживает то в Питере, то в чужих землях, то на теплых водах, и никто во всей деревне не мог думать, чтоб барин их когда-нибудь завернул в свою вотчину, в чем они были отчасти правы: этот господин и не завернул бы к ним и на этот раз, когда б ему не пришлось ехать к кому-то в гости и в ближнем городе не сказали бы ему чиновники, что под городом есть большое село, принадлежащее ему. Господин этот объявил желание ехать в свое имение, надел какой-то шитый мундир, сел на предложенные чиновниками дрожки и поехал.

Должно сказать, что большая часть имений, управляемых своим выборным старостой, живут очень хорошо, и в таких имениях редко бывают случаи воровства или тем более убийства; ежели там не бывает установленной полиции, зато весь мир смотрит за человеком предосудительного поведения и при первой возможности избавляется от него, например отдадут в солдаты, следовательно, земской полиции там решительно нет никакого дела, и никто, как бы притязателен ни был, не решится ехать в такую деревню для неправых поборов; они по большей части принадлежат барину, живущему в Петербурге, а это, как известно, для некоторых провинциалов имеет ужасающую силу. К числу таких сел принадлежало и имение петербургско-

го господина. Исправник там никогда не бывал, и его никто не видывал; дел не было, а без дела кому охота таскаться по судам. Станового и совсем не было (кажется, был болен), а его должность исправлял какой-то молодой человек веселого нрава: приедет, сыграет на гитаре, споет песенку и уедет, а за ним повезут сена или овса, муки... но эта дань приносилась не становому, а артисту; мужики его очень любили и звали его *миленьким*. День был праздничный, часов пять после обеда; народу около кабака уже много толпилось, когда барин приехал в свою вотчину.

— Здесь староста? — спросил барин, подъезжая к собравшимся мужикам.

— Здесь! — отвечал, выходя из толпы, староста,— что тебе надо?

— Я ваш барин!

— Что, что? — зашумела толпа.

— Говорят вам,— стал толковать барин,— вы мои, а я ваш барин.

— Наш барин живет в Питере!

— Я из Питера и приехал.

— Какой ты барин, ты шут!

— Какой шут? — спросил барин озадаченный этим, немного резким, суждением.

— Я вам говорю, друзья мои, я ваш барин,— уверял барин, в воображении которого рисовался уже бунт... Он всячески старался вначале погасить его.

— Полно врать,— отвечали из толпы,— езжали и мы в город, видали всяких господ, а пока бог не приводил видеть такого, как ты... Ты, брат, лучше, чем болтать пустяки, какую ни на есть штуку покажи, девок позабавь; останешься и сам, братец, нами доволен, отблагодарим.

Барин хотел опять что-то говорить, но мужики заулюлюкали на него, и тот должен был уехать от возмутившихся крестьян. Дело, кажется, ясно; все произошло от недоразумений. Когда б мужики узнали в барине своего барина, тогда б... Но об этом после.

Барин прискакал в город.

— У меня в деревне бунт, возмущение,— объявил он встретившим его чиновникам.

— Как бунт?

— Да, бунт! — подтверждал барин,— меня там не узнали

или, вернее, не хотели узнать. Я их стал уговаривать, но они решительно не дали мне одного слова сказать, и я принужден был уехать!

— Скажите пожалуйста! — говорили чиновники,— а ведь мужики какие были смирные...

— Что будем делать, господа?

— Что прикажете, то и сделаем,— отвечали почти в один голос чиновники.

— Съездите, пожалуйста, в мою деревню,— сказал барин одному из них.— Меня могут *не узнать*, а вас как их начальника не могут, должны *узнать*.

— Должны, должны,— отвечал чиновник-начальник, уверенный, что его узнают по обычаю и приемам, хоть до этих пор он лично ни с кем не был знаком в той деревне,— сей же час еду.

Чиновник, ревнуя заявить себя в глазах петербургского барина, прискакал в бунтующее село прямо к толпе, собравшейся у кабака.

— Где староста? — крикнул он.

— Здесь! Что надо?

Едва чиновник увидел старосту, вцепился ему в бороду и замер. В это время баба вышла из кабака, она вынесла в большой деревянной чашке соленых огурцов на закуску.

— Что дерешься, шальной? — крикнула она на чиновника и, вероятно, чтоб слова ее имели вес, довольно сильно толкнула его чашкой по лбу. Чиновник воротился к барину с явными признаками усердия к службе: это усердие выражалось довольно большой шишкой на лбу.

— Как! Вас били?! — закричал барин, увидав возвратившегося чиновника.

— Что ж делать — служба!

— Да,— сказал, помолчав, барин,— нечего делать, зло надо в начале прекратить; напишите в Рязань, чтоб там распорядились присылкою войск для усмирения деревни, а я напишу в Петербург.

И стали писать: один в Рязань за войсками, другой в Петербург, никому не известно зачем.

— Зачем это пишете, Антон Антонович? — сказал вицестановой «миленький», подходя к Антону Антоновичу,— не пишите, право, не пишите, для вас самих лучше будет.

— Да ведь вон, приказал! — отвечал с горем Антон

Антонович, указывая на другую комнату, в которой что-то сочинял петербургский барин.

— И ему скажите «не пишите», так, мол, уладится еще лучше.

— А как уладится?

— Я улажу.

— Попробую, пойду скажу ему, навряд только согласится, очень уж его мужики обидели!

Антон Антонович пошел к петербургскому барину и доложил ему, что исправляющий должность станового берется убедить крестьян-бунтовщиков один, без военной помощи. Барин приказал сейчас же позвать к нему такого хитреца.

— Вы хотите ехать в мое имение, усмирить там бунт? — спросил петербургский барин входящего «миленького».

— Ежели позволите, я отправлюсь сейчас же,— отвечал тот.

— Вы знаете, бунт в начале легче прекратить, после трудней будет.

— Знаю-с.

— Поэтому, я думаю, должно как можно скорее донести и требовать помощи.

— Вы извольте писать в Петербург, а вот они в Рязань, а я пока съезжу в ваше имение; ежели я не успею вернуться скоро, то час-другой можно обождать, не посылать.

— Вы жизнь свою подвергаете опасности, на что вы надеетесь?

— На единого бога... для пользы.

— Ежели так — с богом!

Эти писаки стали писать, а «миленький» поскакал к бунтовщикам.

— Что вы наделали, братцы! — крикнул «миленький», влетая на тройке в самую толпу.

— Как «что наделали»? Ничего за собой не знаем! — отвечали из толпы.

— Ничего не знаете? Барин ваш приезжал к вам, а вы его не хлебом-солью встретили, а прогнали!

— Когда был барин?

— Нынче приезжал, а вы его шутом обозвали, так он и уехал.

— Что ты, миленький!..

— Слушай — это раз; а вот будет два: ваш барин присылал к вам чиновника, и тому морду подправили...

— Это, что старосту за бороду трёс,— чиновник?

— Теперь делайте что знаете! Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте.

Мужики переполошились.

— Это Фенька, дура, его чашкой в морду ткнула, пусто б ей было!

— Прощайте, братцы,— сказал «миленький», садясь опять в свой экипаж.

— Постой, миленький, куда бежишь! Научи, что нам делать?

— Я не знаю, что вам делать; что хотите, то и делайте.

— Э, какой! Будто нас не знаешь! Научи, сами тебя уважим, отблагодарим.

— Ну коли так, отходите, старики, в сторону! — крикнул «миленький».

Старики отошли в сторону, и «миленький» отобрал из них человек пятьдесят попредставительнее; он на это дело мастер был: он даже раз участвовал в благородном спектакле.

— Слушай, старики! — стал учить их «миленький»,— сейчас ступайте во двор к барину; как во двор — все поклон в землю и не вставай; выйдет к вам барин — все лежи, и до тех пор лежать, пока не простит; простит — поднесите хлеб-соль и опять в землю и не вставать, пока не примет той хлеба-соли; примет хлеб-соль — встать, да в третий раз в землю — зовите в его барскую вотчину, в ваше село пожаловать и все-таки лежать, пока не скажет, что приедет к вам!

— Хорошо, батюшка, хорошо, родимой! Сделаем все по твоим словам!

«Миленький» поскакал в город, а старики-артисты пошли вслед за ним. Едва успел «миленький» войти в квартиру барина, как сам барин его встретил: он опасался за его жизнь и все время просмотрел в окошко, поджидая его, а потому не успел окончить своего послания в Петербург.

— Ну что бог дал? — спросил барин входящего «миленького».

— При помощи божией привел в повиновение все село!

— Неужели? Так скоро?

— Почетные мужики идут за мной следом просить у вас прощения.

В самом деле, спустя несколько времени мужики ввалились во двор и растянулись на земле, как учил «миленький». Барин опять надел свой загадочный костюм и вышел на крыльцо.

— Что вам надо?

— Милости пришли просить; прости нас, что не признали твоей милости! — завопили мужики, не вставая с земли. Барин стал говорить речь, говорил более получасу, и должно быть очень хорошую, потому что мужики не поняли ни одного слова. Наконец простил. Мужики встали, один стал подносить барину хлеб-соль, а все опять (по программе «миленького») повалились в ноги. Барин опять прочитал речь не короче и не хуже первой и изволил принять хлеб-соль. Мужики встали.

— Батюшка-барин! Осчастливь нас, людишек твоих: пожалуй в свою вотчину, на наше село! — закричали и опять в ноги. Барин опять-таки прочитал подобную же речь и обещал побывать в своей вотчине, на ихнем селе. Мужики тогда только окончательно встали; барин, довольный своим красноречием, пошел в дом, а мужики пошли на свое село. На другой день чиновник, так неудачно ездивший усмирять бунт, предложил барину проводить его по уезду; но барин, поблагодаря его, просил проводить себя «миленького». «Миленький» сразу смекнул, с кем имеет дело.

— Позвольте мне прежде съездить,— сказал он барину,— не ровен случай: не было бы какой неприятности вам.

Барин, разумеется, согласился, и «миленький» полетел на село.

— Собирайся и стар и мал! — крикнул он, приехав в село,— сейчас барин будет; чтоб все были на площади, а как барин подъедет, вались на землю и кричи «ура!».

«Миленький» вернулся в город.

— Ну что, почтеннейший,— спросил его барин,— как идут дела?

— Слава богу, все благополучно; мужики ваши хотели приготовить вам угощение, только извините мою дерзость, я не приказал.

— И прекрасно сделали! Поедемте.

Едва барин въехал в село, как все мужики, бабы, девки, девчонки, ребятишки упали в ноги и закричали «ура!». Ба-

рин стал что-то говорить, а мужики, не получа наказа от «миленького», все лежали на земле и кричали свое «ура!». Наконец «миленький» подошел к одному и толкнул; тот поднялся, а за ним и вся толпа встала и кончила «уру». Барин опять сказал речь, после которой он приказал купить на два целковых водки и приказал поднести крестьянам из своей рюмки. Об этой рюмке крестьяне долго толковали, для чего она сделана: верно, не для водки, из такой крохотной невиданное дело пить водку, а должно быть, из нее пьют что-нибудь да забористое.

После этого барин уехал и на прощанье подарил «миленькому» серебряный портсигар, в котором было положено тридцать папирос (но то были не папиросы, а пятидесятирублевые бумажки, свернутые на подобие папирос). Потом обещал определить детей на казенный или на свой счет в петербургские заведения. «Миленький», простившись с барином, прямо поехал в усмиренную деревню, где, говорят, тоже не без удовольствия простился.

Замечательно что образованные люди стараются всему дать особый толк; недоразумение, жалоба — у них все бунт! Другого слова и нет в их словаре.

Я сидел с покойным Михаилом Александровичем Стаховичем у него в деревне. Часа в два ночи прискакал нарочный из Ельца*. Мы вышли на крыльцо.

— Зачем приехал?

— Бунт!

— Где?

— Целое село взбунтовалось!

— Где бунтовщики?

— В Ельце.

— Что они делают?

— Снят на дворе земского суда.

— Ну хорошо, ступай спать!

На другой день бунтовщики в земском суде на коленях принесли жалобу Стаховичу; тот им сказал, что они тем виноваты, что *все* пришли, бросивши работу; что можно было бы прийти одному, а потому он приказал им из себя выбрать троих и друг друга наказать розгами. Толпа зашумела:

— Иди, Ванька!

* Стахович был уездным предводителем.

— Ладно!

— Да ты, Андрюшка! Да вот еще хоть Антошку возьмите.

— Ну ладно, ладно!

Пошли Ванька да Андрюшка, да Антошку с собой взяли, друг друга перепороли, тем и бунт кончился!

А то есть такие господа, которые отыскивают бунты и ужасно сердятся, когда не находят их, а видят одну тишину. Так, лет двенадцать тому назад в Полтавской губернии один чиновник вызвался *узнавать дух народа.* Запасся каким-то фальшивым паспортом, переоделся и отправился. Отъехав верст сто от Полтавы, пошел в шинок, там было много народу.

— Здравствуйте! — сказал чиновник.

— Здравствуй и ты! — получил в ответ.

— Я поляк.

— Ага!

— Вот и билет у меня!

— Да не надо!

— Да ты посмотри.

— А ну, посмотрю,— сказал бывший здесь писарь, к которому подступил чиновник.

— Ну, что?

— Билет,— отвечал писарь, возвращая билет,— билет как билет!

— Я пришел бунтовать!

— Против кого?

— Против царя!

В это время чиновник получил от писаря довольно сильный удар кулаком в зубы.

— Как ты смеешь драться? Я чиновник!

— Как чиновник?

— На, читай! — и чиновник показал писарю настоящий свой чиновничий вид.

— Как же это так: у тебя два вида?

— Два, вот этот настоящий!

— А может быть, и этот фальшивый?

— Нет, этот настоящий!

— У нас вот как: руки скрутить да и в город!

— Ты этого сделать не смеешь!

— А вот посмотрим! Народ бунтовать пришел, так, может, и смею!

Связали этого господина и представили в город. Как вы думаете, что сделал этот господин? Казалось бы, он как ревнитель общественного покоя должен был быть доволен таким состоянием *духа* народа; нет, он объявил, что мужики бунтуют, и его поколотили!

Некоторые господа непременно видят во всех подобных случаях бунты и не хотят видеть, что все желания бунтовщиков ограничиваются тем, чтобы довести свои жалобы до царя. Страшный новгородский бунт, по мнению народа, не был бунтом, а карою царских будто бы изменников, и единственною их целию было показать царю изменников, которых будто бы набольшие покрывали. В это время ехал из Старой Руссы офицер из немцев и вез с собою какое-то лекарство; вдруг на него напали бунтовщики.

— Стой! Что везешь?

— Яд! — отвечал тот.

— Как яд?

— Да, яд — вас отравливать!

— А! К царю его и с ядом!

Нарядили тройку, четверых караульных и повезли хитрого господина в Петербург. Впрочем, я видел один только раз и одного очень опасного заговорщика в одном губернском городе. Лежал я после обеда с книжкой на диване, и ко мне пришел один гарнизонный юнкер.

— У меня голова болит, хочу заснуть — не пройдет ли? — сказал я, желая его выпроводить.

— Спите,— отвечал тот,— а я сяду, поговорю!

Я стал читать, он стал говорить.

— Знаете, я заговор делаю! — сказал он через полчаса.

— Как так? — спросил я.

— Да, заговор!

— Где?

— Здесь, в городе.

— Против кого же?

— Разумеется, против правительства.

— С кем же вы делаете заговор?

— Один.

— Ну дай бог час!

Очерк второй

I

Я живу в Енотаевске Астраханской губернии. 27 ноября в 1870 году поутру я, Богодушин и мировой посредник Воробьев были у Грибановского. Мирно беседуя, мы никак не думали, что близ нас народ бушует и мир, того и гляди, обрушится. Вдруг влетает исправник В. И. Грудницкий, а за ним и Хитун.

— А я вас ищу! — обратился исправник к мировому посреднику Воробьеву, впопыхах не успевши со всеми поздороваться.— Я вас везде ищу! Был у вас дома.

— Что такое?

— В Никольском бунт!

Не знаю, что сделалось с моими собеседниками, а я вздрогнул.

— Как бунт? — крикнул Воробьев.

— Да, бунт! И вы причиной этого бунта!

— Скажите, пожалуйста, в чем дело?

— В Никольском бунт: стряпчему, становому есть ничего не дают! И вы все это сделали... Сейчас же поезжайте в Никольское, а я не поеду. Вас еще, может, и послушают а меня выгонят... Понадобятся военные силы. Губернатор останется недоволен... Сейчас же поезжайте... Вы причиной этого бунта.

— Да скажите, пожалуйста, я здесь при чем? — добивался посредник.

— Вы приказали не давать есть полицейским чиновникам!

— Как! Что такое?

— Да, вы приказали, чтобы мужики ничего не давали чиновникам полиции,— повторил исправник.

— Нет, я этого не говорил крестьянам,— сказал посредник,— а на вопрос крестьян: должны ли крестьяне даром кормить чиновников, я сказал, что безденежно не обязаны, но за деньги, чтобы непременно приносили что потребуют.

— Мужики ничего не приносят на земскую квартиру,— заявил исправник Грудницкий.

— И не понесут! — вмешался в разговор Грибановский, наш хозяин.

— Вот видите! — заявил исправник, слыша подтверждение своих слов.

— Да, не понесут,— продолжал Грибановский, потому что некоторые чиновники мужикам денег не платят, а что принесено на земскую квартиру — берут и предлагают продавцам возвратиться по домам своим с миром.

— Этого быть не может!

— Вот какой со мной был случай: в этом же селе Никольском я хотел купить яблоков сотни две; десятский мне принес для образчика два яблока, объявил цену, я и велел принести яблоки на земскую квартиру. Через несколько минут возвращается десятский без яблоков.

— Яблоков не дают,— объявил мне десятский.

— Это почему?

— Без денег не дают.

— Я без денег и не хочу брать; пусть принесут, я сейчас же и деньги отдам.

— Не верят.

— Почему?

— Учены, говорят; на земскую квартиру что ни принеси — конец. Нечего делать; послал деньги — мне и яблоки принесли, и цена была настоящая, и счет верен.

— Это могло,— заметил исправник,— какому-нибудь дураку взбрести в голову, что чиновник ему денег не отдаст.

— Со мной то же случилось,— стал рассказывать Хитун.— Пригласил нас становой пристав Эпиктетов на охоту; и лошади, говорит, будут вам готовы, и поужинаем вместе на земской квартире. Поехали — точно: лошади были готовы, и поужинали на земской квартире. Рано поутру мы, охотники, отправились на охоту, а гостеприимный наш хозяин еще спал. Возвратились с охоты — хозяин уехал. Мы попросили что-нибудь закусить... Каково же было наше удивление, когда мы получили такой ответ: «Вчера ели-ели, пили-пили — денег не заплатили, нынче опять за то же?» — «Как не платили денег?» — «Кто же платил?» — «Эпиктетов, пристав заплатил».— «Как же, заплатил! Разве он платит когда!» Нечего делать! Мы заплатили за вчерашний ужин, отдали вперед деньги — нам, разумеется, уже и веры не было,— нам пообедать дали; после мы узнали, что и за лошадей деньги не отданы, и за лошадей тоже мы сами заплатили! Разумеется, мы случайно узнали о таком безобразном для хозяина гостеприимстве, а то могло случить-

ся, что уехали бы, не рассчитавшись ни за ужин, ни за лошадей.

— Как бы то ни было,— сказал исправник посреднику,— вы причиной этого бунта, вы и поезжайте; устройте как знаете, а я боюсь — я не поеду.

Чего исправник боялся? Вечером я пошел к мировому посреднику, мне хотелось узнать более подробно о вновь открытом бунте. Вести получил совсем не отрадные: требовались уже военные силы.

— Нет ли еще чего нового из Никольского? — спросил я у озадаченного мирового посредника.

— Письмо получил от исправника.

— По этому же делу?

— Да, по этому.

— Что же он пишет?

— Да вот, прочитайте,— отвечал он, подавая мне письмо.

Я прочитал; письмо это меня озадачило: исправник прямо писал, что в селе Никольском бунт и что бунт этот возбужден мировым посредником, что нужна военная сила, и тому подобное.

— Исправник пишет, что вы взбунтовали Никольское,— сказал я мировому посреднику, подавая ему письмо.

— Как видите!

— Поедете в Никольское?

— Завтра еду.

На другой день мировой посредник, а почти вслед за ним и исправник уехали в бунтующее село. Вечером я пошел к уездному стряпчему И. Г. Кобякову, ездившему в село Никольское продавать описанное у крестьян имущество; он только что приехал оттуда, и мне хотелось узнать, как и по какому поводу начался этот грозный бунт, требующий для усмирения военной силы.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я Кобякова,— в Никольском бунт?

— Бунт, бунт!

— С чего же он поднялся?

— А так,— со смехом отвечал он,— оттого и бунт, что мужик у нас пока еще очень глуп.

— Так только сдуру начал народ бунтовать?

— Почти что так.

— Как, вы говорите «почти»; стало быть, кроме дурости народа, была и еще какая другая причина?

— Разумеется, была. Да все это так мужики повели глупо!

— Скажите, пожалуйста, в чем дело?

— Дело началось так,— начал свой рассказ судебный стряпчий.— Поповицкий подрядил никольских мужиков вывозить соль с озера; сделал контракт, где было написано: вывозить соль мужикам с такого-то озера, корм скоту и достаточный водопой должен быть от Поповицкого; мужики получают задатку столько-то, а в случае неисправности платят за круговой порукой неустойки столько-то. Хорошо. Мужики приезжают на озеро, а на этом озере у Поповицкого соль не готова — вывозить нечего! Смешно, право! Мужикам бы заявить кому следует, и делу бы конец! Не так ли?

— Кажется, что так.

— Нет, слушайте, как дело пошло! — весело продолжал свой рассказ стряпчий.— Поповицкий повез тех мужиков на другое озеро, а на этом озере соль-то есть, да корму мало и водопою совсем недостаточно. Мужики, я говорю, народ глупый: им бы сейчас заявить и тут бы хоть кончить, а они сдуру стали соль вывозить! Да еще как. Уговор был вывозить трехпудовыми мешками, а у Поповицкого — врешь! — вывози пятипудовыми, а счет выводи трехпудовыми. Мужики не соглашаются вывозить соль с озера на пристань и требуют примерно четыре копейки с пуда. Пуды же считают мешками: несколько мешков с солью свешают, а как мешки одинаковой меры, то по вывешенным мешкам высчитывать количество соли и в других мешках. Обман может заключаться в том, что вместо вывешенных мерных небольших мешков солепромышленники отпускают с озера соль солевозчикам большими, а расчет идет по числу мешков малого веса. Хорошо! Могли мужики на этом кончить?

— Я думаю,— могли.

— Слушайте же. Наступили жары; воды, корму мало, а тут вместо трехпудовых пятипудовые мешки, скот стал дохнуть. Что делать? Мужики сдуру все-таки соль вывозят; на задатки почти всю вывезли. Мужикам стало, сказать вам по-мужицки, невмоготу. Заявили. Да кому, вы думаете, заявили?

— Право не знаю.

— Заявили мужики акцизному надсмотрщику. Что

сделает надсмотрщик? Заявили они ему: корму, воды нет, мешки не трехпудовые, как по уговору следует, а пятипудовые, скот дохнет — и уехали домой. Виноваты мужики?

— Нет, правы.

— Кто должен неустойку платить?

— Как кто?

— Мужики ли не исполнили своих условий или Поповицкий?

— Поповицкий.

— Как же Поповицкий?

— Неужели мужики?

— Разумеется, мужики.

— За что же?

— А за то, что мужик глуп!

— Что же они сделали в этом деле глупого?

— Мужики заявили надсмотрщику?

— Надсмотрщику.

— А надо было заявить полиции.

— Что же дальше?

— А дальше вот что: Поповицкий подал иск, требует с мужиков неустойки... Мужикам бы следовало требовать с Поповицкого неустойки, а тут с мужиков... Да еще какую штуку выкинул! Мужики взяли сколько там мешков, хотели жаловаться: расчет, мол, был на трехпудовые мешки, а мы возили-де вот какие! Поповицкий свое: мужики захват сделали, мешки захватили... Прислали те мешки у мужиков отобрать... Мужики-то, дураки, и ответа дать не умеют, и мешков-то дать не хотят: улика, покажем мешки — правы будем! Вздумали хитрить! Тут им шепнул кто-то, кому надо было: «Говорите, что мешки мыши поели!» Мужики и стали на том: мешки мыши поели! А не знают, что за благоприятель их надоумил. Пошло следствие; тот, кому надо, подставил мужикам ходока, ну и вышло так, что мужики виноваты, с мужиков неустойка! Мужики денег не платят — описывать у мужиков имущество! А какое там имущество?! Поехал в Никольское Эпиктетов, становой... А Эпиктетов свое дело знает. Надо было описывать у пятидесяти с лишком хозяев, а он хорошего человека мимо... Этого мимо, другого мимо, нашлось только двое, у которых описывать надо, ну и описал... У одного Денисова мужика нашлось всего имущества:

зеркало, кошма (войлок), таган да ружье... Только и всего! Просто смех.

— Из-за этого смеху и бунт пошел? — спросил я веселого собеседника, так добродушно рассказывавшего мне эту историю.

— Из-за этого, — ответил он, шутливо сморщив брови и кивнув головой, — из-за этого! А кажись, и дело пустое...

— Как же начался этот бунт?

— Как чем? Ну известно, бунт... Все мужики бунтуют. Всех должников более пятидесяти человек... Все и бунтуют...

— Что же они делают?

— Нам есть ничего не дают.

— Совсем не давали?

— За курицу просили восемьдесят копек! За одну только курицу восемьдесят копеек серебром!

— В этом и бунт?

— Нет, описанного имущества не давали, у других должников описывать не дают, с кольями... как войско какое, кольями отстаивают скот, лошадей — начальства не послушались!

— В чем ослушались?

— Да во всем... Сперва мужики думали, что мы не чиновники, а покупщики, приехали покупать.

— Стало быть, они и не виноваты?

— А черт их знает! Стал Александр Андреич брать зеркало, а баба кричит: «Мое зеркало! В приданое принесла!» Зеркало, точно, бабье, на какого черта старику зеркало! Александр Андреич велел лошадь привести, а мужики с кольями, с дубинами... Мужиков-должников больше пятидесяти человек, да и прочие их руку держат; что тут сделают десятские? Я сам, сам к ним вышел и сам им говорил... Вы знаете, как я говорю?

— Знаю.

— Ну а они не слушаются!

— Что же вы говорили?

— Да я хорошо говорил! Я им говорил: «Вы меня знаете... Вы меня видите... Вы мужики... Вы должны законов слушаться... Мы — закон ваш! Где ваш закон? Мы ваш закон... Вы знаете...»

— Мужики же что?

— Мужики все свое орут: «Нас, должников, больше пя-

тидесяти человек за общей порукой, а продают только двух! Какая,— говорят мужики,— тут правда?» Я им свое, а они свое... Двух арестовали, велели в город доставить; в острог засадить надо.

— Только двух?

— Двух только... А послушай они меня — ничего бы и не было, и продажа не состоялась бы.

— Почему?

— Покупщиков не было! — лукаво улыбаясь, полушепотом, как бы по секрету сказал стряпчий.

— Для чего же вы всю эту суматоху подняли?

— Страху задать! Попугать было надо.

— Положим, страху надо было задать, а тут не только страху задали, но и в острог двоих засадили.

— Надо, чтобы мужики начальство знали.

— Я не знаю: стряпчий и становой пристав — начальство над мужиками?

— А как же!

В это время вошел в переднюю молодой парень.

— Что тебе надо? — спросил хозяин.

— Из села Никольского.

— Что же надо?

— Стариков привез.

— А, это арестантов... Где они?

— Сдали в полицию.

— Завтра в острог засажу! — строго заметил стряпчий,— а нынче пусть в тигулевке* переночуют.

— В вашей тигулевке рам нет,— заметил я,— теперь холодно.

— Ничего, переночуют! Ты — десятский?

— Нет, не десятский.

— Кто же ты?

— Брат десятского.

— Ну ступай!

— Совсем домой?

— Совсем.

— Как же так неосторожно посылают таких ужасных преступников, зачинщиков бунта с одним только человеком, и то совершенно посторонним для полиции? — спросил я.

---

* Арестантская.

— Что же тут удивительного?
— Бунтовщики могли уйти.
— Куда?
— Как куда? Просто бежать от наказания.
— Куда им бежать?
— Могли не послушаться этого парня...
— Я приказал.
— Парня могли бы не послушаться...
— Меня бы послушались,— решил стряпчий.
— А ежели бы и вас не послушали?
— Меня?!
— На то они и бунтовщики, чтоб не повиноваться начальству.
— Мне не повиноваться?!
— Хотя бы и вам.
— Посмотрел бы я!

III

В Енотаевске публика по вечерам собирается на горе, откуда вид на Енотаевку (так называют проток Волги, на котором стоит город) довольно хороший, да к тому же поставлены две лавочки для отдыха гуляющим, на одной из них, устроенной вроде беседки, собирается аристократическая здешняя публика. Здесь-то через несколько дней после ареста бунтовщиков я встретил стряпчего.

— Что ваши бунтовщики? — спросил я его.
— Сидят в остроге.
— А бунт что?
— Василий Игнатьич, исправник, усмирил... Ну, разумеется, приехал сам, растолковал, убедил... Донес обо всем и просит назначить комиссию для следствия над бунтовщиками, в особенности над зачинщиками.
— Дело, видно, плохо.
— Как плохо?
— Пожалуй, мужиков и в Сибирь сошлют.
— Может, и сошлют.
— А вы хотели мужикам только страху задать.
— Поделом им!
— По каким же?
— А как хорошо исправник донесение написал! — не отвечая на мой вопрос, заговорил стряпчий.

— Во, батюшка, слог! Не мешало бы и вам у него поучиться,— подсмеивался надо мною стряпчий.

— Что же он донес?

— Да написал: «Я приехал, убедил, мои убеждения сильно подействовали на бунтующих крестьян; одною энергией, не прибегая к насильственным мерам, убедил, так что в вооруженной военной силе не предстоит надобности». Я думаю, Василию Игнатьевичу что-нибудь да будет.

— Чего же может ожидать Василий Игнатьевич?

— Как чего?! — почти с ужасом вскрикнул стряпчий,— первое дело,— и он состроил очень серьезную физиономию,— бунт; во-вторых, полицейская власть требует военной силы, еще лица — прокурорского надзора... А тут самолично! Самолично бунт уничтожил! В этих случаях требуют войск для усмирения, а тут вдруг, единым, так сказать, словом все, весь бунт уничтожен! Непременно Василию Игнатьевичу что-нибудь да будет. Об этом губернатор донесет министру, а министр, того и гляди,— вон куда! — при этом он показал головой куда-то очень высоко.— Исправник просил уже назначить комиссию для следствия над этим бунтом, а в особенности над зачинщиками. Этих надо допечь!

— А ежели комиссия отыщет, что этот бунт был не так опасен, как об нем писали начальству, тогда что?

— Ни один благородный человек не согласится променять своего брата чиновника на какого-нибудь сиволапого мужика.

— Но если правда на стороне сиволапых?

— Все равно,— решительно и утвердительно сказал стряпчий,— ежели и были такие недосмотры со стороны полиции, комиссия все покроет.

Только видевший усмирение и усмирителей крестьянских бунтов может судить о том, что в то время выносят горемычные головы бунтовщиков, и я никак не могу понять, как хватает духу у некоторых начальников поднимать бунты для того только, чтобы после усмирять? Поднимает бунты большею частию ближайшее к крестьянам начальство; изредка отставной приказный или прохожий солдатик. Прокламации, раскидываемые в народе, как было в начале 60-х годов, не могли иметь на народ ни малейшего влияния и не имели: писаны были эти прокламации людь-

ми, не знавшими народа, писаны для безграмотного народа и часто так бестолково, бессмысленно, что и более образованному человеку в этих прокламациях трудно было хоть что-нибудь понять. Начальство же действует для крестьян вразумительно. Возьмите хоть этот бунт: по мнению мужиков и самого стряпчего, мужики могли требовать неустойку, суд приговорил мужиков заплатить Поповицкому; для уплаты неустойки должно было описать с лишком пятьдесят хозяйств, оно описано только у двух... Как тут ни разбирай, а мужики имели сильный повод не верить в безгрешность полиции, и бунт мог подняться и по донесению Знаменского*. По рассказам очевидца, стряпчего Кобякова, бунт начался, требуется военная сила; двое уже сидят в остроге... Исправник хотя и усмирял энергическими мерами этот бунт, но все-таки надо было ожидать для крестьян много дурного: пойдет розыск зачинщиков, ссылка в Сибирь, для менее виноватых — усмирение...

Через несколько дней в Енотаевске стали носиться более утешительные слухи: заговорили, что бунт не имел больших размеров. 23 ноября приехал в Никольское мировой посредник Воробьев и нашел Знаменского, спокойно и мирно сидящего на земской квартире.

— Что вы здесь делаете? — спросил его после обычных приветствий мировой посредник.

— Скот у мужиков описываю.

— Как дела идут?

— Да так себе... Половину дела сделал.

— Стало быть, скоро и кончите?

— Сейчас же. У меня и донесение к исправнику готово.

— У вас здесь бунт был?

— Какой бунт? — с удивлением спросил исправляющий должность станового пристава.

— Как «какой бунт»? — возразил Воробьев, в свою очередь удивившийся этому вопросу.

— Никакого бунта у нас не было, у нас все тихо,— отвечал Знаменский,— завтра кончу опись и уеду.

К Воробьеву как к мировому посреднику явились старшина и старосты.

---

* А. А. Знаменский, заседатель полицейского управления, в то время исправлял должность станового пристава.

— Что у вас здесь было? — спросил он их. Ни старшина, ни старосты не могли понять, чего допытывается от них мировой посредник.

— У вас бунт был?

— Никакого бунта не было.

— Как не было?

— Мы ни об каком бунте и не слыхали.

На другой день Воробьев собрал мужиков-должников.

— Что вы, старики, здесь поделываете? — обратился он к ним. Бунтовщики не поняли, в чем дело.

— Вы полицейских чиновников не слушаетесь.

— Как не слушаемся?

— Ведь вы не послушались станового пристава?

— Да становой нам ничего и не приказывал; он с нами ни одного слова не сказал.

— Как ни слова не сказал?

— Разговор у него точно был с Колесниковым да с Денисовым, так тех в город повезли.

— Те, что ли, бунтовали?

— Да и те не бунтовали, а только разговор был,— бунта никакого не было.

29 ноября часов около девяти вечера, когда описи были уже написаны и подписаны, приехал в Никольское исправник В. И. Грудницкий. Поговорив с А. А. Знаменским, становым, собрал сотских и десятских и держал к ним речь. Стенографа на ту пору в селе Никольском не случилось, а потому и речь эта с должною точностию не записана; но в утешение читателей я скажу, что речь Грудницкого, обращенная к подвластным ему сотским и десятским, хоть и отличалась силою, но напечатана быть не могла, так как в энергической речи Василия Игнатьевича состояло наполовину слов, не получивших, к несчастию, в печати прав гражданства. А потому я речь привожу в сокращенном виде.

Должно быть, Знаменский был недоволен действиями этих полицейских чинов и сказал об этом исправнику, а потому и неудивительно, что исправник, при своей энергии, обратился к ним с такой речью:

— Вы, сукины дети, перед начальством стоять не умеете! Я вас выучу! Руки по швам, сукины дети! Куда смотришь? Смотри прямо мне в глаза! Я вас всех в

Сибирь сошлю!.. Не увидите вы своего Никольского! Не увидите, сукины дети!

Сказав сию речь, исправник часов около двенадцати уехал из Никольского, не видав ни одного из мятежников, хотя и пробыл в селе около трех часов. На другой день уехал из Никольского и Знаменский.

Из Енотаевска исправник послал в Астрахань донесение, которое хотя, как надо полагать, и отличалось красотою слога и энергией, но погрешало тем, что в него вкрались многие, разумеется, мелкие неточности. Так, он доносил, что хотя и могла предстоять необходимость в вооруженной военной силе, но что он, исправник, своею энергией, не прибегая к жестоким мерам, бунт уничтожил. Точнее было бы выразиться так: «Я, исправник, никакого бунта не видал, а, при своей энергии, десятских и сотских разругал, и разругал их непечатным словом, и, поругав их довольно, из села Никольского уехал!..» Но это такая мелкая неточность, о которой и говорить не следует. Все же прочее совершенно верно: он доносил, что был в селе Никольском. Это, повторяю, совершенно верно. Далее в своем донесении исправник просил составить комиссию для производства следствия над бунтовщиками.

— Бунт, бунт! В селе Никольском бунт! — со всех сторон слышалось по всем городу Енотаевску.

Долго ждали, но дождались; комиссия для производства следствия над бунтовщиками, для отыскания зачинщиков и поджигателей, была наряжена. В состав этой комиссии вошли: енотаевский судебный следователь П. И. Шестоперов, помощник енотаевского исправника М. И. Пензенский и заседатель Черноярского уездного суда О. В. Стишевский.

Шестоперов сейчас же по назначении в эту комиссию отнесся к енотаевскому полицейскому управлению с предложением отдать на поруки арестованных бунтовщиков. Вероятно, он, рассмотрев дело, не считал их очень опасными для общества. Полицейское управление бунтовщиков не выпустило, и послало их за крепким караулом в Никольское и приказало держать там строго, чтобы они не могли сговориться с другими бунтовщиками, еще пока не арестованными. Шестоперову же послали бумагу, да такую бумагу, что пришлось ахнуть. Полицейское управление предъявило такие требования, которые превзошли требования и самого

Пия IX, папы римского. Пий IX собрал вселенский католический собор и хотел, чтобы этот собор признал непогрешимость его, папы. Енотаевское же полицейское управление без всякого собора само признало свою непогрешимость и требовало, чтобы и мысли не иметь, что оно погрешимо.

Наконец 15 февраля в Никольском открылась комиссия... И, о ужас! Бунта не оказалось! Усмирять было некого! Для чего исправник тратил свою энергию — неизвестно! На что требовалась вооруженная военная сила — неведомо!..

Донесения этой комиссии я не читал; рассказов же про этот бунт в Никольском я столько слышал, что утвердительно могу сказать: я этот бунт знаю во всех подробностях. Вот как он происходил на самом деле.

IV

25 ноября 1870 года в село Никольское приехал Знаменский за станового пристава и Кобяков, как уездный стряпчий, для продажи описанного имущества крестьян Денисова и Колесникова за долг Поповицкому. Долг этот до тысячи восьмисот рублей лежал более чем на пятидесяти хозяевах за круговой порукой. Хотя и было только описано у двух, разверстки между должниками не сделано и покупщиков не было, тем не менее Знаменский и Кобяков энергически принялись за порученное им дело, что и послужило началом бунта.

Сперва Знаменский и Кобяков, предводительствуя сотскими, десятскими и понятыми, отправились открывать бунт к крестьянину Денисову. Открытие бунта происходило так.

Знаменский с своим войском пришел к Денисову и потребовал для продажи описанное имущество, а именно: зеркало (крестьянское, дешевое), кошму, два тагана калмыцких и ружье.

— Ружья, ваше благородие, нет дома, виноват — на хуторе,— объявил крестьянин Денисов.

— Как на хуторе? — крикнул Знаменский.

— Виноват, ваше благородие! Сейчас нет дома, пошлю за этим ружьем на хутор,— извинялся Денисов.

— Таганы где?

— Таганы не мои, таганы калмыцкие, ваше благородие, калмыку и отдал. Я тогда же говорил их благородию, что опись делал (Эпиктетов), что таганы калмыцкие.

— А кошма, зеркало?

В это время приняла участие в бунте баба, сноха Денисова.

— Зеркало и кошма мои! — заявила она.

— Как твои?

— Я их в приданое принесла.

— Чем ты докажешь?

— Что тут доказывать! Известное дело: женина постель, всегда жена мужу приносит постель в приданое... Вот я и принесла ту кошму — на ней и спим! И зеркало мое; на что оно старику?

В самом деле, мужику, старику лет за семьдесят, не предвиделось крайней необходимости в бабьем зеркале.

— Это зеркало? — спросил Знаменский, подойдя к зеркальцу и взявши его за уголышек.

— Это,— отвечала бунтовщица-баба и сама взялась за зеркало с другого уголышка. Подержался Знаменский за уголышек зеркала, подержалась и баба; подержались и отошли.

— Здесь морду побьют! — из чего-то заключил Знаменский.

Все промолчали.

— Надо акт составить!

Знаменский составил акт и повел свое войско во двор к крестьянину Колесникову. Так кончил он первое действие этой трагедии, и, должно заключить, постыдно кончил, ибо удалился с поля бунта без всяких трофеев!

Во дворе Колесникова бунт был открыт так. У Колесникова была описана лошадь. Когда вошел во двор к нему со своим войском Знаменский, Колесников эту, много вреда наделавшую, лошадь вел в поводу.

— Где описанная для продажи лошадь? — спросил Колесникова Знаменский, стоявший, по воинскому обычаю, во главе войска.

— Вот она, ваше благородие! — отвечал бунтовщик.

— Давай лошадь! — приказывал Знаменский.

— Нельзя мне давать этой лошади.

— Как нельзя?

— Я, ваше благородие, контрактом обязался возить земскую почту, эта лошадь почтовая.

— Давай лошадь! — прикрикнул Знаменский, подскочил к лошади и схватил ее за узду.

— Возьмите деньги, ваше благородие,— отвечал Колесников, держа лошадь за повод.

— Давай лошадь!

— Моих денег, ваше благородие, за волостным правлением больше ста рублей.

— Давай лошадь! — кричал Знаменский.

— Лошадь ста рублей не стоит, ваше благородие! Возьмите все деньги в волостном правлении: волостное правление мне должно за езду на земских лошадях...

— Давай лошадь!

— На чем же почту повезу, ваше благородие? — продолжал бунтовать Колесников.

— Давай лошадь!

В войске Знаменского состоял сельский староста, тоже в некотором роде власть. Усматривая, что действия главноначальствующего смех могут произвести в толпе понятых и посторонних зевак, которых собралось немало, и тем унизить высшую власть, а его, старосты, тем паче, он предложил суд скорый и правый: «Да что с ним долго вожжаться, ваше благородие,— сказал он Знаменскому,— посадить его в холодную!» — «Его благородие его и послушал» — как выражался после этот скоро и право решающий староста.

— Посадить его в холодную! — приказал десятнику Знаменский.

Колесникова повели в холодную, и когда он бросил повод, Знаменский выпустил из рук узду, и лошадь — причина всему злу — была оставлена для грядущих бедствий, для сильнейшего развития бунта!

В донесении Знаменского было сказано, что Колесников «схватил лошадь ту и потащил ее за узду». Выражение это, тоже, как видно, из рассказа об этом эпизоде бунта, неточное; я полагаю, что фраза эта, как очень складная, будто рифмованная, употреблена для украшения и усиления стиля автора.

Возвратившись из похода против бунтовщика Колесникова, Знаменский придумал посадить в холодную и бунтовщика Денисова. Сейчас же послан был отряд к Денисову с строгим приказанием взять его в плен. Денисов оказался до того малодушным, что сдался в плен победоносному врагу без всякого сопротивления; по взятии же в плен он бунтовал немного, да и что может сделать несчастный пленник? Бунтовал же Денисов так:

— Ваше благородие, отпустите! — сказал пленник, когда его представили грозному усмирителю.

— В холодную! — решил Знаменский. Ему, должно быть, очень понравился суд правый и скорый, придуманный для Колесникова старостой.

— В холодную!

— Я, ваше благородие, деньги отдам.

— В холодную!

— Ружье, ваше благородие, привезли с хутора.

— Отвести его в холодную!

Денисова и отвели в холодную.

Знаменский, упоенный таким быстрым успехом, придумал взять в плен и лошадь, описанную для продажи у Колесникова. Немедленно было послано войско взять ее. Сам Знаменский, считая этот поход маловажным, не предводительствовал сотскими, десятскими и понятыми людьми, толпою зевак, и эта ошибка главнокомандующего была причиною поражения его войска. Ко двору Колесникова войско двинулось не стройными рядами, как бы надлежало хорошо дисциплинированной армии, а беспорядочными толпами, что не обещало счастливого окончания похода; последствия оправдали эти предположения.

Хотя во дворе Колесникова гарнизон его был малочислен и плохо вооружен, но его энергия и дисциплина были выше всякой похвалы. Весь гарнизон состоял из следующих частей: а) молодуха, б) солдатка, в) старуха. Эта последняя часть гарнизона хотя и могла действовать только одною рукою (на другой руке у ней был ногтоед), но обладала энергиею и красноречием. Она-то и была виновницею поражения неприятельской армии. Молодуха с ребенком на руках, солдатка и обреченная в плен лошадь были во дворе, когда приближалось нестройными толпами войско.

Едва гарнизон заметил приближение неприятеля, сейчас же, предугадывая его намерения, принял решительные меры. Молодуха заперла ворота, солдатка схватила хворостинку и загнала в хлев лошадь и, не покидая своего оружия, прибежала на помощь к молодухе, оберегавшей ворота.

Прибывший неприятель требовал немедленной сдачи крепости; молодуха с ребенком на руках попросила объявить ей причину неприязненных действий.

— Отворяй ворота! — крикнул неприятель.

— Для чего? — спросил гарнизон.

— Давай лошадь! — крикнул неприятель.

В ответ последовало презрительное молчание.

В лагере осаждавших тоже были герои. Так, один сотский выказал неимоверную храбрость: один, без всякого оружия, перелез через забор, отворил ворота и впустил осаждавших в осажденную крепость. Казалось, что победа и слава останется за осаждавшими. Но часто враг, в начале битвы победитель, оказывается при ее окончании побежденным и постыдно бежит с поля сражения. Так случилось и теперь.

Когда молодуха и солдатка допустили неприятеля ворваться в крепость и он торжествовал уже свою победу, явилась старуха, обладавшая хотя и одной рукою, но и геройским духом.

— Что вы с бабами воюете? — спросила она вторгнувшегося во двор неприятеля.

— Лошадь давай! — отвечал неприятель.

— Дурак! — заметила благоразумная женщина,— разве баба без хозяина может отдать со двора лошадь?

— Вы мужика моего взяли,— объявила героиня,— приведите его, и пусть он вам дает, что хочет, а я без хозяина лошади не отдам!

Неприятельское войско, услышавши такую разумную речь героини, устыдилось и, понурив головы, удалилось, не сделав осажденным никакого зла. Лошадь, за которою приходило целое войско, осталась во владении старухи!

Знаменский, получив донесение о поражении своего войска, распалился гневом великим. Он видел, что войско его деморализовано, что с этим войском бунт, как надо, не устроишь, а ежели устроишь, то не усмиришь! Что делать? Не всякий бы тут нашелся. Александр же Андреевич Знаменский нашелся! Надо требовать регулярного войска, вооруженной военной силы! — решил он. Напиши Знаменский начальству, что ему хочется бунт устроить и после этот бунт усмирить и что для этой цели ему необходимы регулярные войска, начальство не прислало бы ему вооруженной военной силы, и никакой потехи не было бы. Он это-то знал, а потому прямо донес, что бунт уже бунтует и что надо прислать вооруженную силу.

— Бунт бунтует,— спросит начальство,— как же он бунтует?

Нашелся и здесь Знаменский. Призвали грамотного му-

жика, заставили его написать со слов Ястребова (поверенный Поповицкого) рапорт от имени сотских Знаменскому. В этом рапорте доносилось, что они, сотские, пошли за лошадью к Колесникову, а там их встретила толпа более чем в пятьдесят человек, вооруженных палками, чуть не картечницами и ружьями, и что они, сотские, без вооруженной силы усмирить бунта никак не могут. Призвали сотских.

— Подписывай рапорт! — приказывал Знаменский.

Сотские, не знавши, какой рапорт подписывать, смотрели во все глаза на своего начальника.

— Есть у вас грамотный? — спросил Знаменский.

— Я грамотный,— отозвался сотский Петров.

— Подписывайся за всех!

Петров прочитал рапорт.

— Да ведь этого, ваше благородие, не было,— сказал он.

— Как не было?! — крикнул Знаменский.

— Мы этого ничего не видали, ваше благородие.

— Подписывай рапорт!

— Мы об этом вашему благородию и не говорили никогда,— твердили сотские.

— Подписывай рапорт!

— Как же подписывать, коли мы про это ничего не знаем?

— Не подпишете — я вас при бумаге в город пошлю! — прикрикнул на мятежных сотских Знаменский.

Сотские, думая, что из-за подписи ничего не будет, и не желая совершить путешествия при бумаге в город, подписали рапорт.

Донесение о бунте пошло куда следует; бунтовщики Денисов и Колесников отосланы в острог, и Знаменский стал описывать хозяйства всех должников. Когда опись уже была окончена и Знаменский собирался выехать в Енотаевск, в Никольское приехал исправник, укротил вышеозначенным способом бунт и донес, что в военной силе надобности не предстоит, потому что он усмирил бунт своей энергией, не прибегая к жестоким мерам, и просил только назначить комиссию для производства следствия над бунтовщиками.

Комиссия открыла, что бунта никакого не было, что крестьяне Колесников и Денисов совершенно невинны, и они 19 февраля 1871 года были выпущены из-под ареста.

Колесников и Денисов пробыли в остроге с 26 ноября, 1870 года по 19 февраля 1871 года, включая время, употребленное на проезд из Никольского в Енотаевск и обратно.

Крестьяне найдены невинными, бунта никакого не оказалось, и они освобождены. Следственная комиссия донесла об сочинителях-усмирителях этого бунта, и, вероятно, эти господа никаких орденов не удостоились. Казалось бы и делу конец. Что, в самом деле, много толковать о сиволапых мужиках! Правда, что Колесников и Денисов сиволапые только в глазах Кобякова и некоторых других господ, совершенно посторонних их обществу, а потому в крестьянском быту мало обращают внимания, хорошо или дурно эти господа думают об ком бы то ни было из них. Между своими же они люди почетные, а почет в простом народе даром не дается. Почет Колесникова и Денисова вполне заслуженный их честною, трудовою семидесятилетнею жизнью. И вдруг нашла гроза, бессмысленная стихийная сила и все разбила!.. Я не говорю, сколько страдали и физически, и морально эти несчастные, пробывши в остроге почти три месяца. Но что им предстояло испытать по выходе из острога, об этом, вероятно, никто и не подумал! На почетном пиру кто-нибудь, поглаживая бороду, с усмешкой проговорит: «Разумеется, мы дураки: по острогам не сиживали!» Или какой-нибудь пьянчужка, которому несчастный отказал когда-то в шальной рюмке, крикнет на улице: «Почтенный! Каково тебе в остроге жилось?» Мальчишки, и те при малейшей детской злобе на несчастного, будут, бегая около, кричать на него: «Острожный!.. Острожный!»

И все это в последние дни их честной и трудной жизни будет им напоминать, что они не те люди почетные, какими были прежде, а люди шельмованные — острожные!

Чисти зубы, а то мужиком назовут!

Солнце приближалось к западу; прекрасный осенний день близился к окончанию; в воздухе была тишина невозмутимая; груди дышалось легко. Но, впрочем, вечера я описывать не стану, а желающие могут прочитать описание этого вечера в «Усладе» Жуковского; я скажу кратко: солнце приближалось к западу, а я приближался к деревне и догнал мальчика лет десяти, в худом армячишке.

— Как деревня прозывается? — спросил я мальчугана, чтоб как-нибудь разговор завести.

— Назиловка, дядюшка,— бойко отвечал тот.

— А ты сам откуда?

— Да из назиловских.

— Где ж ты был?

— А я был в Порхомовке; там у нас училище, так я из училища; учитель нас распустил, которые подальше,— вот я и иду домой в Назиловку.

— Давно ты в училище?

— Да вот третью осень хожу.

— Что ж, все слова в азбучке знаешь?

— Эвона! Да я тебе, дяденька, все слова наизусть скажу!

— Что ты!

— А вот слушай: аз, буки, веди, глаголь, добро...— зачастил мой новый знакомый.

— Постой, постой! А читать умеешь?

— И читать азбучку умею!

— Ну а другие книжки?

— Те, дядя, не пробовал.

— А прочитай что-нибудь из азбучки.

Мальчик мой порылся в своей азбучке, нашел место, где читать можно, и стал читать:

— «Будь-благочестив-уповай-на-Бога».

— Постой!

— А что?

— Что ты прочитал?

— Будь благочестив, уповай на Бога.

— Что ж это значит?

Мальчик призадумался; думал-думал, но никак не мог придумать, что такое значит: «будь благочестив и уповай на бога»? Я, по крайнему своему разумению, растолковал ему эту премудрость.

— Э! Понял, дядя! — радостно крикнул мальчик,— это значит: работай честно, никому худа не делай, подати справляй сам и на мирскую шею не лезь. Это и значит: благочестив! А худо пришлось — молись богу, бог тебя помилует, значит, уповай! Уповай, значит, надейся.

— Да ты, малый, умный.

— «Почитай родителей, уважай начальников...»

— Ну, а это что сказано?

Мальчик призадумался, мне не хотелось ему подсказывать, пусть сам догадывается.

— Знаю! — крикнул мальчик,— понял.

— Ну расскажи.

— Почитай — значит: вот тебе родитель — знай, что он тебе родитель, вот тебе сосед — знай, все равно что считай его за соседа.

— Уважай начальников? — стал я подбивать мальчика.

— *Уважай* — значит: как увидишь начальника, прямо ему шапку снимай, а нужно — и в ножки поклонись!

— Как так?! — спросил я, немного озадаченный таким толкованием.

— Да так, дядя.

— Нет, не так: *почитай* и *уважай* почти все равно.

— Нет, не все равно! — бойко заговорил мальчуган,— разбойника, вора я и должен почитать за вора, а старшину, голову, будь самые разбойники, встретишь — изволь шапочку снять!

— Что ты врешь?

— Нет, не вру! Зубы чистить будут!

— Для чего же?

— А чтоб мужиком не назвали.

— Что?

— Не будешь чистить никому зубы, тебя сейчас же мужиком обзовут.

— Где же ты этой мудрости набрался?

— А вот в азбучке.

— Где же, покажи?

Мальчик пробежал несколько строк и стал читать:

— «Чисти зубы, не то мужиком назовут», ведь так?

— Покажи твою книжку,— оторопело я проговорил.

Мальчик, злорадостно улыбаясь, подал книжку. Прочитал: «Чисти зубы — мужиком назовут...» Посмотрел на обертку, вижу — азбука стоит три копейки, стало быть, издана для народа.

Как ни мудры-хитры были наши образователи народа в начале 50-х годов, но я все-таки не думал, что *мужика* можно ругать *мужиком*.

— Ты, брат, не так толкуешь,— робко заговорил я,— *Зубы чистить* — значит зубы мыть.

— А для чего мыть? Они и так белы!

— А для того...

— Эй, дядя! — закричал мой собеседник мимо идущему мужику,— подойди-ко сюда!

Мужик подошел к нам.

— Что, парень, ныньче выучился? — ласково спросил он у мальчика.

— Теперь выучился! — радостно заговорил мальчик.—А вот этот дядя,— прибавил он, смеясь и указывая на меня,— не знает, что такое зубы чистить, говорит «мой зубы», а для чего их мыть, они и так белые!

— Что? — спросил мужик.

— Вот и наш учитель нам зубы чистит, а сам ведь тоже не из больших бояр: сперва и сам был мужиком.

— А теперь?

— Теперь до ундеров дослужился.

— За что же он зубы чистит?

— А чтобы мужиком не обзывали! Он колотушку в макушку даст: ты мужик-мужиком, скажет, завсегда мужиком и останешься.

— За что же он бьет учеников? — спросил я подошедшего мужика-дядю.

— А для порядку,— отвечал мужик-дядя,— чтоб к нему почтение, значит, всяк имел.

— Да зуботычиной, пожалуй, уважения и не добудешь?

— Разговаривай!

— А без зуботычины нельзя разве уже и совсем?

— Да ты пойми только,— убедительно стал пояснять мне дядя-мужик,— станет учитель парнишку бить; я сам, знаешь, мужик — это дело понимаю, без этого ученья не бывает; ну а мать его или тетка — дело бабье, в толк того не возьмут, а мальчишку жаль: сейчас к учителю со своим почтением.

— Да вы бы переменили учителя.

— А для чего?

— Да как же, он только для одного почтения дерется...

— Без этого ученья не бывает: учителя — знай за учителя!

— А то мужиком назовут? — перебил я.

— Как есть мужиком обзовут! — убедительно подтвердил дядя-мужик.

— Да разве мужик бранное слово? — спросил я у мужика.

— Бранное не бранное, а все нехорошо! — серьезно отвечал тот.

Я засмеялся.

— Да что же ты смеешься? — с сердцем спросил меня дядя-мужик.

— Да как же не смеяться: зубы надо другому чистить, а то мужиком мужика назовут! Ведь ундер, ваш учитель, такой же мужик, как и ты.

— Э, нет! Обзови его мужиком не то, что мальчишка какой, а хоть тебе сто лет будь — прямо в бороду и вцепится.

— Это, по-твоему, и значит, как в азбучке написано: «Зубы чисти, а то мужиком назовут?»

— Это так и значит: бей всякого в рыло — почтение всяк к тебе будет иметь!

— Навряд!

— Да я вот что тебе, брат, скажу,— заговорил дядя, подсаживаясь к нам,— вот какое дело теперь у нас идет... Оповестил это нам окружной: сход собрать, старшину выбирать. Хорошо. Собрали мы этот сход, да и мекаем: кому старшиной быть? Один старик объявляет Петру быть,

другой — Сидору, третий еще кому! Только кто-то и скажи: «Не быть ни Петру, не быть ни Сидору, а быть не быть Ваньке Силагину!» так все со смеху и померли! У Ваньки того Силагина избенка развалилась, двора, почитай, что и совсем нет, хлеба никогда не бывало своего: свою землю внаем отдал; возьмет денежки, пропьет, а сам по миру пойдет — тем и питался!

— Какой же он старшина? — спросил я.

— Стой; слушай!

— Да чем же дело кончилось?

— А вот чем: старички загомонили, а тот все свое: «Ваньку Силагина да Ваньку Силагина, больше быть некому, некому!» — «Да для чего некому?» — «А вот для чего: выберем мы мужика степенного, он нам — вот как в книжке сказано — зубы чистить будет, захочет барином быть! А Ваньку возьмем себе старшиной, Ванька мир уважать будет, против мира не пойдет: мы будем хозяева, а Ванька мирской слуга будет...» Старики посмеялись, посмеялись... «Быть Ваньке старшиной!» — порешил мир. И стал Ванька старшиной! Знаешь ли, друг любезный, что от Ваньки этого вышло?

— А что?

— Ну как ты думаешь?

— Право, не знаю.

— А вот что: сидит это Ванька в своей избенке под окошечком, идет там какой человек мимо по улице. Ну, сам знаешь, шапку долой, поклониться надо... А Ванька: «Эй, поди,— крикнет,— мужик, сюда!» Мужик, шапку под мышку, к нему в избенку... бывало, а теперь посмотри, какие хоромы... мужик в избу, а Ванька прямо его лясь в зубы: «Ах ты мужик! Я тебя вон откуда завидел, а ты шапку только теперь изволил снять! Да разве ты думаешь, что я равный тебе? Да разве ты не знаешь, что я твой начальник!» А сам в зубы — лясь да лясь! Вот те, думаем, и уважение! Вот те и миру слуга! Уж если Ванька Силагин не мужик, уж если Ванька Силагин лезет вон из мужиков, значит, мужиком плохо называться! А за делом каким — просто к нему не ходи: водка водкой, дружба дружбой, а денежки на стол. Да и с деньгами придешь, коли зубы не вычистит — молебен отслужи! Это все правда! Какой теперь двор завел себе! Просто палаты! А чем взял? Зубы всякому чистил, все и поняли, что не Ванька, а,

изволишь видеть, Иван Петрович тебе начальник. И не Силагиным стал прозываться, а как-то по-благородному.

— Как по-благородному?

— Да мы и не скажем, по-нашему оно уж оченно плохо выходит; при бабах и сказать нельзя! — сказал мужик-дядя, засмеялся и рукой махнул.

— Да как же? — допытывал я мужика, желая узнать прозвище благородное, которого при бабах и сказать нельзя.

— И не спрашивай! — мужик-дядя еще больше захохотал.

— Да как же?

— Спроси у племянника! — отвечал тот, во всю мочь заливаясь смехом.

— А как?

— Благомудров! — улыбаясь отвечал как-то лукаво мальчик,— только мужики его не так называют.

— Кто ж ему придумал такое мудреное прозвище? — спросил я.

— Писарь! Писарь! — захлебываясь смехом, отвечал дядя-мужик,— писарь-то у нас пьяница... ученый!

— Да для чего же ему надо было переменять свое прозвище на другое?

— А писарь говорит: Иван Петрович Силагин —это по-мужицки,— продолжая смеяться отвечал дядя,— а я вам, Иван Петрович, а я вам скажу по-благородному...

— Ну и назвал?

— Э-хе! Назвал! Э-хе-хе!.. Право, так и назвал... Э-хе-хе... Как, как, парнишко?

— Благомудров,— отвечал мальчик.

— А ты вот, брат, говоришь,— прибавил мужик-дядя: - «Мой зубы!» Нет, брат: чисти зубы! Вот тебе мой наказ! Мой себе Ванька Силагин зубы сколько хочешь, все бы Ванькой Силагиным и остался, а стал Ванька всем зубы чистить, стал Ванька Иваном Петровичем! Да и не Силагин... А-ха-ха!.. Как, племяшка? Ох!.. грех!..

— Благомудров! — отвечал, смеясь, племяшка дяди-мужика.

— Зачем же вы такого себе старшину выбирали? спросил я.

— А черт его знал, что он такой выйдет! Думали все выбрать хорошего...

— Ну спасибо на беседе,— сказал я, вставая.

— Тебе на том же!

— Прощайте, братцы!

— Прощай! — отвечал дядя-мужик,— только знай, как надо зубы чистить!

Пошел я опять в путь, а сам думаю: мужик-дядя, кажется, правду сказал: надо всем зубы чистить, чтобы мужиком не обозвали, и по-видимому, мы об одном только и хлопочем: кому можно зубы чистить.

Вот Ваньке Силагину зубы чистили все, кто только мог; теперь Иван Петрович делает то же.

Не помню, читал ли или слышал я следующую историю.

Перед выборами приезжает к предводителю один влиятельный помещик. Хозяин, разумеется, и жареным и печеным потчует, ухаживает, бегает за ним, чуть язык не высунет. Показывает свое хозяйство, а как и хозяин и гость были охотники, то зашли на псарный двор.

— Ванька! — крикнул хозяин,— змейкиных щенят!

Ванька побежал за змейкиными щенятами. Принесли змейкиных щенят.

— Скажите, пожалуйста,— спросил предводитель своего гостя,— которых надо оставить, а которых закинуть, которые, по-вашему мнению, лучше?

Гость призадумался.

— Которые?

— Право, не знаю.

— Которые лучше?

— Этого отгадать нельзя.

— Однако ж?

— Этого отгадать нельзя,— решил влиятельный помещик.— Ведь вот и мы на выборах выбираем вашего брата; думаешь, хорошего человека выбираем, а выберешь... Такая дрянь! Так вот все равно и щенят выбирать...

Мир выбирает предводителя, Ваньку Силагина — предводителя; Ваньке Силагину всяк по-своему зубы чистит. А войдет он в силу — мир не назовет его мужиком.

С такими думами я зашел в какую-то деревню.

— Где здесь переночевать? — спросил я встретившегося мне мужика.

— Да где хочешь!

— А у тебя можно?

— Можно.

— Сделай одолжение. А водки можно?

— Можно.

— Пойдем в кабак.

— Можно.

Мы вошли в кабак, подошли к прилавочку, спросили водки.

— Да дайте три стаканчика,— сказал я, подавая целовальнику пятирублевую ассигнацию,— в то время еще ассигнации ходили.

— С нашим величайшим удовольствием! — отвечал целовальник. В то время еще и целовальники процветали; теперь они называются шинкарями.

— Кому прикажете поднести? — развязно, точно московский половой, спросил целовальник.

— Надо с хозяина начинать,— отвечал я.— Пожалуйста!

— Нет-с... увольте.

— Ну так поднесите ему,— сказал я, указывая на будущего своего хозяина.

Таким порядком я познакомился с целовальником, и у нас начались разговоры.

— Вы из каких таких местов? — спросил меня целовальник.

Я сказал.

— Так-с!

— Вот я толковал сейчас с одним мужиком: в книжке написано: «Чисти зубы, не то мужиком назовут»,— и рассказал ему наши разговоры и как мужик это объяснил.

— Чудное, право, дело! — ухмыляясь, сказал целовальник.

— Как чудное?

— Мужик прав.

— Как так?

— Ей-богу, прав!

— Да как же прав-то?

— Да я вам лучше историю скажу.

— Пожалуйста.

— Был у нас мужичонка; набор пришел, очередь за ним была, пошел в солдаты. А малый был ловкий: без мыла в вас влезет! Послуживши там сколько времени, пожалован в ундера. Ундеру, сами знаете, двенадцать лет отслужил, коли грамоте знаешь — офицер. А он грамоте знал, стало быть, и офицерство получил. Получимши, сударь

ты мой, это он офицерство, из полковых вон, да в становые произошел. Как же в становых он поступал? А?

— А как?

— А вот, я вам скажу, как... Дело было при мне, почитай... Заведется в селе кляуза; ее, эту кляузу, не скоро и выведешь! Суды пойдут и боже мой! И пословица говорит: *поссорь, бог, народ, накорми воевод.* У нас поссорились два соседа; едут судиться. Сперва, как надо, бросят жеребьи: чья лошадь, а чья телега; запрягут лошадь, сядут оба в ту телегу, только не рядушком, а зад с задом! Право, так.

Я засмеялся.

— Да что вы смеетесь! Я еще вам вот что скажу: едут они, дорогой один станет нюхать табак и толкает другова локтем: «Сердит, а сердит,— не назовет Иваном там или Петром, а *сердит,* — сердит, хочешь понюхать?» Тот молча понюхает, и во всю дорогу больше никаких разговоров не бывает. Так и эти соседи доехали до станового. Все знали станового повадку: как только явится к нему мужик — прямо в бороду! Оттаскает, оттаскает как должно, только тогда станет об деле толковать.

Приехали наши соседи к становому.

— Что вам надо? — спрашивает у них писарь станового.

— А так и так,— говорят ему,— судиться приехали к его благородию.

Разумеется, сейчас писарю в ручку: один четвертак, другой полтинник. Писарь-то с полтинника прежде пустил. Становой по двое к себе никогда не допущал: все в одиночку.

Входит первый — с полтинника.

Становой его раз-два, в морду хватил, а после и спрашивает:

— Что тебе надо? По какому делу?

Мужик-то этот знает, как дело повести: сейчас целковенькой становому на столик.

— Ну, рассказывай!

— Да это, ваше благородие, дело-то такое, что Сибирью самою пахнет.

— Рассказывай!

— Купил, значит, я себе, ваше благородие, бревнушек, хотел себе еще клетушечку поставить новую, а та уж стара стала...

— Дело рассказывай!

— А сусед курей-то, курей развел!

— Тебе-то какое дело?

— Мои-то бревнушки все измарали: просто в руки взять нельзя...

— А-а! Ступай!

Первый сосед вошел, вошел другой.

— Кур развел! — закричал становой, и давай лупить мужика. Уж он лупил его, лупил; бросил... — Ступай вон, пока цел!

Мужик выбежал, а там писарь дожидается.

— Ну, что? — спрашивает писарь, — как твои дела пошли?

— Что дела?

— А что?

— Обидел!

— Как?

— Исколотил... и слова не дал сказать! Вошел, прямо в морду!

— Плохо!

— Уж знамое дело, что плохо!

— Постой: я к самому схожу.

Писарь пошел к становому.

— Как же тебя не бить, — объявил писарь, воротившись от станового, — сосед-то твой дал становому целковый, а ты ему что поднес?

— Да я два дам!

— Дашь два целковых — на два целковых и поколотит, наш барин на это хорош — правдою живет!

— Как же дать?

— Ступай к нему.

Мужик пошел к становому, дал два целковых; становой кликнул сам первого соседа и таску задал на два целковых. Тот к писарю.

— Как же так? Я же его благородию заплатил, а он же меня и поколотил, да еще и больней: уж его благородие надо мною маился-маился...

— Нельзя, друг! Ты сколько дал?

— Целковый.

— А тот два!

— Да я три дам.

— А дашь, и того откатает! Да откатает не на два рубля — на три!

Этот понес три рубля; а как становой правдой жил, то врага его откатал не на два, а на три рубли.

Опять к писарю; писарь объявляет, что тот дал три рубли; дают четыре, пять... их по переменку бьют...

— Ох, уморился! Черти! — наконец закричал становой.— Черти, оба сюда!

Подсудимые явились.

— Запорю! до смерти! — крикнул становой,— миритесь! Миритесь сейчас! Запорю!

— Я... я готов, ваше благородие! Я... да вот не знаю, как Федор Алексеич.

— Ну!..

— Ежели... Алексей Федорович согласен, я от миру не прочь...

— Кланяйтесь мне в ноги за правый суд! — приказал становой.

Те поклонились.

— Хорошо рассудил?

— Уму научил! — заговорили оба*.

— Так видите,— заключил целовальник,— не почисти он им зубы, что бы вышло? Теперь по полусотенной с брата сошло — и конец; а судись они по судам — больше б вышло! За то станового этого и уважают, и мужичье ему же спасибо сказывают.

— Да вы смеетесь,— спросил я целовальника,— за что этого станового уважают?

— Именно за это!

— Странно.

— Да вот я вам скажу: у нас исправник, придет к нему баба на бабу ж с жалобой... Уж он их судит, судит: как да как? Бабы... разумеется, бабье дело... одна станет говорить что, другая не даст слова той сказать. Крик, гам такой поднимут! Чуть не подерутся... А исправник все слушает! Слушает, слушает, да и скажет: «Помиритесь!» Так зачем же к нему и ходить: захотели б помириться — сами б помирились! И никто его не уважает!

— Не любят?

— Смеются над ним!

— Как смеются?

— А так, соберутся две бабы. «Пойдем,— скажут,— к

* Факт, одна должность переменена.

исправнику судиться».— «Пойдем». Ну и пойдут, а исправник их и судит!

— А к становому бабы ходят судиться? — спросил я целовальника.

— Э-э! — махнул рукой целовальник и на такой глупый вопрос ответа не дал, только рукой махнул.

Я стал сомневаться в моем толковании слов азбуки «чисти зубы». Припомнил я, что в Белгороде один чиновник, совершенно постороннего ведомства, приказал отлупить фухтелями (зубы чистить — не надо понимать в буквальном смысле) почтмейстера за то, что по закону на станции не полагалось столько лошадей, сколько ему было нужно; как этот же доблестный муж в Сурже (по географиям Судже) на улице выпорол градского голову за грязные улицы...

Стал я молиться богу: господи, дай мне понимания! Как же мне, положим, большой генерал, как же мне будет зубы чистить, положим, полковнику: ведь полковник от телесного наказания избавлен?! Помолясь богу, я лег спать. Я не успел еще заснуть — передо мною явился некий муж.

— О, беспутный муж! — стал он говорить,— ты не знаешь, что устами младенца тебе правда объявляется? И ты думаешь, что какому-нибудь полковнику нельзя зубы чистить? О!

— Не знаю.

— Верь!

— Как, отче...

— Был твоим наставником благочестивый муж Иван Иванович Давыдов?

— Был, отче.

— Что он тебе говорил?

— Много, отче, Иван Иваныч говорил нам хороших словес.

— А лучше?

— Все хороши.

— А я тебе скажу, беспутный муж, что лучшее им сказано: «НЕ НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРИТЬ, А НАДО ВЕРИТЬ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ!»

— Говорил и это.

— Верь! — сказал муж,— устами младенца тебе истина открывается! Гряди в сей губернский град; войдешь в сей град, налево будет дом, а в том доме и кабак и харчевня. Гряди и уверуешь!

Видение скрылось.

Поутру я посмеялся своему сну и отправился в путь; прошел верст пять — губернский город! Прошел шагов двадцать — налево дом, а в том доме кабак и харчевня! Муж правду говорил... Дай зайду!

И зашел.

Харчевня, в которую я вошел, по вывеске была «Европой», но по наружности была только Европой Восточною, нам известно, что по географиям Арсеньева и К° Европа есть Восточная, есть и Западная. Мне на этот раз пришлось быть в Европе Восточной. Входишь в первую комнату: буфетчик (слово западное) в будто бы белой рубашке стоит за прилавком, сзади его на неичислимом ряду полок — чашки, чайники... Половые бегали и суетились (оптический обман), все равно как мой приятель Кузьма, бывший в «Британии», но волею судеб переселенный в «Московский».

Буфетчик, по обыкновению с полуулыбкой, полукланяясь, указывал рукой, приветствовал меня словами: «Пожалуйте, господин».

Я на ту пору был господин в донельзя загрязненной свите с котомкой за плечами.

Вхожу в другую комнату: за несколькими столами сидят мужики, а за одним — человека четыре чиновников. С мужиками я натолкался, дай послушаю чиновничьей беседы.

— Приходит это он в присутствие,— рассказывал один из чиновников, человек, по-видимому, испытавший волны морские на житейском море,— приходит в присутствие: «Есть исходящий? Есть входящий?» — да таково грозно. Стал смотреть, видим: ни рожна не понимает. Что спросит: «Есть?» — «Как же-с, есть!» Видим, что барину хочется на кого-нибудь покричать, а кричать не на кого! Да выручил Студенков, писарь! И парнишка так: лет восемнадцати-девятнадцати! Лет пять тому назад квартальный взял у Ефимовны козу; у квартального жена была больна, так ей и велено было пить козье молоко, потому что у козы молоко теплее коровьего: у козы хвост короткий, а у коровы длинный, от того и тепло... Только случай такой вышел: у квартального жена померла и та, Ефимовнина, коза издохла... Вот Студенков к Ефимовне: «Проси на квартального за козу с приплодом за пять лет».— «Да как же?» — «Ты только визжи,— говорит Студенков,—

а я сам буду рассказывать». Мы этого ничего не знаем, слышим писк, визг в приемной! Признаться сказать, все перепугались.

— Это что? — крикнул *сам*.

Все молчат, только ногами семенят.

— Узнать!

Побежали.

— Толку не добьешься,— доносят самому,— какая-то баба плачет.

— Какая баба плачет?

— Не знаем-с.

Выбежал *сам* в переднюю.

— Что ты?

— Ох! Коза!.. Коза!.. Батюшка мой, многомилостивый! — завопила баба.

— Какая коза?

— Ой! Коза!.. коза...

— Да какая коза?

— Что вы со мной делаете? — закричал на нас *сам*,— все хорошо, одной козы нету! Да что вы думаете! Да что вы делаете?.. На кого вы надеетесь?

И пошел, и пошел... Ну, думаем, бог пронес тучу!

Хотелось *самому* поругаться (разумей *зубы чистить)*, ему это удовольствие и сделали — и он ублаготворен, и мы ни при чем.

Примечания

Текстологическая подготовка и комментирование произведений П. И. Якушкина затруднены тем обстоятельством, что рукописи их почти не сохранились, первые прижизненные публикации не всегда были удовлетворительны не только потому, что подвергались цензурным сокращениям и разного рода изъятиям, но и потому, что постоянно странствовавший автор далеко не всегда мог сам читать корректуру, поручал ее своим друзьям, иногда менее или вовсе не сведущим в фольклорно-этнографическом материале. В первых публикациях поэтому имеют место опечатки, искажения фраз, слов. Посмертное и единственное издание сочинений П. И. Якушкина было предпринято через 12 лет после смерти писателя. Издатель его В. О. Михневич сообщал в предисловии, что не только рукописей не удалось найти, но и многие важные обстоятельства деятельности П. И. Якушкина остались невыясненными «за скудостью биографических данных. Якушкин не оставил после себя никаких бумаг, никаких документальных материалов; даже писем его, по справке, ни у кого из родных и друзей его не оказалось почти ни клочка, и мы едва могли добыть его факсимиле для портрета».

В посмертном издании текст отдельных очерков и путевых писем произвольно сокращался и редактировался, но принципы такого редактирования никак не оговорены. В настоящем издании сокращения восстановлены по первым прижизненным публикациям, устранены явные опечатки (р. Цна — Цан, частиковая рыба — чистяковая и др.).

В ряде случаев названия одного и того же населенного пункта даны писателем по-разному: Иванцово — Иванцево, Милёславьсько — Милославьско. Мы их унифицируем. Различное написание одних и тех же слов (празднинский — праздницкий. Тихий Дон — тихий Дон и др.) оставлено без изменения.

Орфография и пунктуация в текстах приведены в соответствие с существующими грамматическими нормами, при этом сохранялись особенности говоров, тщательно передаваемые писателем в песнях и разговорной речи.

В примечаниях пояснены упоминаемые автором лица, малоизвестные или вовсе неизвестные современным читателям. Некоторых из них писатель обозначал инициалами. В тех случаях, когда нет достаточно достоверных данных для раскрытия инициалов, они в примечаниях не указаны. Пояснены также некоторые географические названия в соответствии со Списком населенных мест Российской империи 1860-х гг., а также по состоянию на 1850—1870-е гг. Если упомянутые П. И. Якушкиным названия населенных пунктов в Списке и других источниках (Статистическо-географическом словаре Российской империи, изданном под редакцией П. П. Семенова-Тян-Шанского, Памятных книжках и другой краеведческой

литературе) отсутствуют, они в примечаниях не поясняются, но внесены в указатель географических названий. Следует заметить, что в большинстве случаев названия населенных пунктов сообщались писателем с абсолютной точностью, что подтверждает достоверность приведенных им сведений и в тех случаях, когда сведений о названных им деревнях найти не удалось.

Поясняются устаревшие и забытые названия военных и гражданских чинов, звания духовных лиц, вышедшие из употребления названия государственных учреждений, предметов быта, слова и выражения областных говоров, опущенные в авторских примечаниях и считавшиеся в его время общеизвестными.

Примечания, данные в тексте под строкой, принадлежат автору. Дополнения к ним, сделанные составителем, отмечены сокращенно: *«Сост.»*.

В указатель имен включены не только имена государственных, исторических, церковных деятелей, представителей науки, литературы и искусства, но и всех упомянутых писателем лиц, существовавших в действительности, с которыми он встречался во время своих путешествий.

В указатель географических названий включены все упоминаемые в произведениях понятия, от частей света до мелких населенных пунктов: названия не только деревень, но и улиц, башен, ворот, поскольку сведения о них имеют определенное историко-познавательное значение. Пояснений к названиям частей света, стран, столиц и губернских городов не дается, поскольку эти сведения общеизвестны. Поясняются названия уездных городов, сел, деревень. В тех случаях, когда автором не назван тип населенного пункта, а дано лишь название, употреблено слово «селение», общеупотребительное в XIX в. до 1860-х гг. Если губерния названа при упоминании уездного города или уезда, второй раз при этом же названии она не упоминается.

Цифры в каждом указателе обозначают порядковый номер страницы.

ПУТЕВЫЕ ПИСЬМА

Из Новгородской губернии

Впервые: Русская беседа, 1859, кн. 4, Смесь, с. 1—76.

Стр. 26. *Тяжелый поезд* — здесь в значении: идущий медленно; с таким поездом обычно отправляли тяжелую почту: тюки, ящики, разные посылки и пр.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889) — известный откупщик-миллионер, разбогатевший на винных откупах; участвовал в строительстве железных дорог, имел доходные дома, опубликовал ряд статей по вопросам экономики, торговли и пр.

Ундер — сокращенное унтер-офицер, чаще употреблялось по отношению к вышедшим в отставку.

Варна — город в Болгарии, где был военный лагерь и квартира главнокомандующего во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

Преображенский полк — один из старейших полков русской армии, был сформирован Петром I в 1687 г. из потешных войск с. Преображенского, по имени которого и назван; за бои под Нарвой наименован лейб-гвардейским, отличился в Полтавской битве; за бои при Кульме награжден Георгиевским знаменем. По образцу Преображенского и Семеновского полков при Петре I была обучена и организована вся русская армия.

Стр. 27. *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — историк и публи-

цист, профессор Московского университета, один из наставников Якушкина в студенческие годы, издатель журнала «Москвитянин».

Открытие чугунки, т. е. Петербургско-Московской железной дороги (бывшей Николаевской), состоялось в 1851 г. Она была двухколейной, самой совершенной в техническом отношении и одной из крупнейших по тому времени в мире.

Стр. 28. *Рж.*— Ржевский Дмитрий Семенович, директор Тверской губернской мужской гимназии; *Р.*— Рубцов Николай Иванович, секретарь Тверского губернского правления.

Красный товар — сукна, ткани, тóчи (материя ручного тканья: холсты, рядна, скатертное полотно и пр.).

Ассигнация — бумажный денежный знак, разменивался на монеты. Один рубль ассигнациями был (в среднем) в три с половиной раза меньше рубля серебром. Отсюда двойной счет на серебро и на ассигнации.

Чуйка — долгий суконный кафтан или армяк халатного покроя с косым воротом, иногда украшался черными шнурами и кистями.

Архиерей (греч.) — старший священник в епархии по управлению духовными делами (страна была разделена на особые ведомства по духовным делам, называемые епархиями и управляемые архиереями).

Архимандрит (греч.) — настоятель монастыря.

Стр. 29. *Т. Б.*— по предположению В. И. Безъязычного, Большаков Тимофей Федорович, книготорговец, привлекался к следствию по «Процессу 32-х» «за связь с лондонскими пропагандистами», умер в процессе следствия в 1864 г.

Стр. 30. *Знаменская церковь* — точнее Знамения Богородицы, каменная с приделом, была построена в 1763 г. тверскими купцами. После пожара 1763 г. перестроен главный вход по типу портала церкви с. Екатерины на Невском проспекте в Петербурге, построенной по проекту архитектора Ж.-Б. Деламота.

Иверская икона Божией матери — чудотворная икона Иверского монастыря на горе Афон, по преданию, приплыла к монастырю морем. В 1648 г. копия ее сделана для Москвы, где она хранилась в специально для нее построенной часовне Никольского греческого монастыря.

Стр. 31. *Кокорев* Иван Тимофеевич (1826—1853) — талантливый писатель-разночинец, автор повестей и рассказов из быта городской бедноты и ремесленников, секретарь редакции журнала «Москвитянин».

Стр. 32. *Княгиня Б.*— вероятно, Белосельская-Белозерская Анна Федоровна, урожденная Наумова, вдова камергера Андрея Михайловича, получала значительные доходы от торговли лесом, железом и пр.

Стр. 33. *Уделы* — земельные владения русских князей в период феодальной раздробленности («удельный период»), т. е. до XVI в.

Кантонист (нем.) — военнообязанный. Это звание дано в 1805 г. солдатским сыновьям, обучавшимся с 7 до 15 лет в специальных школах и причисленным к военному ведомству со дня рождения. Наиболее способных оставляли в школах для продолжения обучения, остальных распределяли в войска для дальнейшей военной службы. В 1856 г. категория кантонистов ликвидирована.

Коллежский асессор — чиновник восьмого класса, что соответствовало майорскому чину.

Стр. 34. *Вышневолоцкий канал и шлюз* — искусственный водный путь, открыт в 1709 г., соединял Волгу с Балтийским морем. После соз-

дания Мариинской системы в конце XIX в. потерял прежнее значение.

Стр. 35. *Граф Г.*— возможно, Гурьев Александр Дмитриевич (1786—1865), председатель департамента экономии в Государственном совете. Отец его, Дмитрий Александрович (1751—1825), был одним из основателей первого в России частного акционерного общества по содержанию дилижансов. Казенные дилижансы появились лишь в 1840-х гг.

Частные дилижансы появились в России в 1820-х гг. до развития железнодорожного сообщения и применялись для перевозки пассажиров, почты и багажа по определенным маршрутам.

Стр. 36. *Комитеты по крестьянскому делу* — совещательные собрания, созданные в 1856 г. в каждой губернии для выработки проекта освобождения крестьян с учетом местных условий. В 1858 г. был создан Главный комитет по крестьянскому делу и при нем комиссия для рассмотрения проектов губернских комитетов.

Рацея — нравоучение, назидание, наставление.

Стр. 37. *Нерессорный экипаж* — карета без рессор (пружины для устранения тряски, смягчающие толчки при езде по неровной дороге).

Ямская изба — помещение, где останавливались проезжающие, пока происходила смена лошадей; позднее стала называться станцией. Дилижанс отправлялся в путь в строго установленный час, не ожидая опоздавших. Им предоставлялось право догонять его до первой станции.

Стр. 39. *Куприянов* Иван Куприянович — старший учитель Новгородской мужской гимназии, краевед, публицист и историк, печатался в различных повременных изданиях: «Известия Академии наук», «Москвитянин», «Русский педагогический вестник» и др.

Отто Николай Карлович — учитель Новгородской мужской гимназии, автор работ по истории учебных заведений в России и путевых заметок «Прогулка в Старую Руссу и ее окрестности», (Русский дневник, 1859), «Поездка в Псков и его окрестности» (Северная пчела, 1861, № 162—175), передал Якушкину свои записи духовных стихов. Они вошли в сборник «Русские песни, собранные Якушкиным» (Спб., 1860), где по недосмотру ссылка на собирателя была пропущена.

Кремль новгородский был построен в XI в. как главная русская крепость на северо-западных границах; перестроен в XV в. при Иване III.

Святая София — Софийский собор, древнейший архитектурный памятник Новгорода, построен в XI в., был политическим и религиозным центром и служил местом захоронения новгородских князей и владык.

Грановитая палата существовала с XII в., в 1433 г. построена как отдельное трехэтажное здание на территории новгородского кремля. Никольский (Николо-Дворищенский) собор находится на Ярославовом дворище, построен в 1113 г. Художественно исполненная икона с образом Николая Чудотворца, один из замечательных памятников иконографии XII в., находилась в нижнем тябле направо от царских врат.

Печать консисторская — т. е. принадлежащая к консистории, главному учреждению в епархии, возглавляемому архиереем.

Стр. 40. *Спасо-Пископец* (Спасоепископец) — село на р. Варяже Ракомской волости Новгородского уезда.

Светец — железный треножник с приспособлением для горящей лучины и корытцем с водой для падающих углей; иногда представлял собой также деревянный столбик с железными ушками и вилкой для лучины, укрепленный в железном донце.

Стр. 41. *Личинка* («донце с личинкой») — прялка без гребня, состояла из донца и прикрепленного к нему шестика с плоским верхним концом — «личинкой», к которой привязывалась куделя или шерсть для ручного прядения.

Стр. 43. *Стахович* Михаил Александрович (1819—1858) — писатель, драматург, поэт, музыкант и певец, большой ценитель, собиратель и издатель народных песен, которые сам аранжировал для игры на гитаре и фортепьяно, близкий друг П. В. Киреевского и П. И. Якушкина.

Стр. 46. *Вата́ман* — главный распорядитель в рыболовной артели.

Дво́йник — здесь: рыболовная артель, использующая двойные неводы («дво́йники», «балому́ты») при зимнем лове.

Стр. 47. *Кие́я* — обычная рыбо́ловная сеть, невод.

Мотня́, ма́тка — мешок посредине невода.

Рель — тонкое бревно или жердь, с помощью которой ведут подо льдом невод.

Рельщик — ловец, ведущий рель подо льдом.

Пе́харь — ловец с пешней, пробивающий отверстие во льду.

Каза́к — наемный работник.

Стр. 48. *То́ня* — место, где ловят рыбу и хранят рыболовную снасть.

Стр. 49. *Мокря́к* — один из ловцов, которому поручено продавать улов.

Распра́ва — раздел денег, вырученных за определенный период рыбной ловли.

Стр. 52. *Пятиалты́нный* — монета в пять алтын.

Алтын (татар.) — монета достоинством в три копейки.

Стр. 55. *Про́лубь* (прорубь, *за́дорок, подда́вка, вы́сох*) — различной величины отверстия, пробитые во льду озера или реки.

Стр. 58. *Осташковские сапоги* — изготовленные в г. Осташкове, где издавна существовало сапожное ремесло среди населения; до 200 000 пар ежегодно продавалось в Риге, Дерпте, Ревеле, Варшаве, Пскове, Петербурге. Сапоги славились прочностью и хорошей выделкой.

Стр. 64. *Юнкер* — унтер-офицер из дворян, младший офицерский чин.

Ужи́н (Ужи́ны) — село с пристанью на берегу о. Ильмень Старорусского уезда.

Па́дора (падера) — буря с сильным ветром и снегом.

Стр. 66. *Старая Русса* — уездный город Новгородской губернии, одно из древнейших русских поселений, известное с XI в.

Голубятница, сами́на — очень большая плоскодонная лодка для перевозки грузов.

Холм — уездный город Псковской губернии при впадении р. Куньи в р. Ловать, упоминается в Новгородской летописи под 1144 г.

Стр. 67. *Изгрёба* (изгребь, изгребье и др.) — вычески, очёски, льняные грубые волокна, остающиеся при вычесывании льна.

Стр. 68. *Бронницы* — древнейшее село Новгородской губернии при р. Мсте, упоминается в летописи под 1268 г. Остров — уездный город Псковской губернии, существует с XIV в. как крепость на границе с Литвой. С утратой пограничного значения крепостные сооружения разрушались.

Порхов — уездный город Псковской губернии, расположен по обоим берегам р. Шелони, известен с XIV в. как город-крепость в пограничном районе с Литвой.

А. А. С. — Севериков А. А., краевед, почетный гражданин Старой Руссы, его исторические записки в печати неизвестны.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — всесильный временщик при императорах Павле и Александре I; с 1808 г. военный министр, с 1817 г. организатор военных поселений, проводил реакционную политику в вопросах внутреннего устройства России.

Стр. 69. *Михаил Федорович* (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых, был избран в 1613 г. Земским собором после изгнания поляков.

Алексей Михайлович (1629—1676) — его сын, отец Петра I, прозванный «тишайшим».

Иван III — великий князь московский, в 1471 г. предпринял поход на Новгород, нарушавший договорные обязательства по отношению к Москве. Его передовой отряд в 10 000 человек под начальством князя Даниила Дмитриевича Холмского 23 июня сжег г. Руссу и разбил отряд новгородцев на берегу о. Ильмень.

Стр. 70. *Чичероне* (итал.) — проводник, экскурсовод.

Фон З.— вероятно, Карл фон Зонн, полковник, упоминается в «Новгородских губернских ведомостях» за 1860-е гг.

Стр. 71. *Шелонская битва* произошла 14 июня 1471 г. на берегу р. Шелонь между новгородскими полками и войском Ивана III. Новгородцы потерпели поражение и потеряли 12 000 убитыми и 1700 тяжелоранеными.

Стр. 73. *Булыня* — торговец, перекупщик скота, льна, зерна. См. рассказ В. И. Даля «Булыня», в котором подробно описаны особенности и тонкости его ремесла.

Чернец — порог на р. Мсте в Боровичском уезде в 300 сажен длиной с падением в 9 с лишним футов. Дер. Чернец, названная так же, расположена недалеко от порога и в 33 верстах от г. Боровичи.

Стр. 74. *Шимской перевоз* находился на р. Шелонь в 46 верстах от с. Шимское, где находилось волостное правление.

Стр. 75. *Окрутники* — ряженые. Обычно ходят из дома в дом с песнями и плясками во время святок. Интересен отмеченный Якушкиным обычай езды по улицам ряжеными.

Стр. 76. — Имеется в виду труд писателя-историка Н. М. Карамзина *«История государства Российского»* в 12 томах (Спб., 1816—1829), первый свод огромного фактического материала по русской истории.

Энциклопедический лексикон был издан А. А. Плюшаром в 17 томах под редакцией Н. И. Греча и О. И. Сенковского в 1835—1841 гг.

Стр. 77. *Сольцы* — посад в Псковской губернии при р. Шелонь, упоминается в летописи под 1391 г. В древности там добывали соль из специальных соляных колодцев.

Становой пристав — выборная полицейская должность, учреждена в 1837 г. «Положением о земской полиции». Каждый уезд был разделен на станы, за которые становой пристав отвечал перед губернским начальством по хозяйственным, судебно-полицейским и прочим делам.

Литке Федор Петрович (1797—1882) — выдающийся русский мореплаватель и географ, президент Академии наук в 1864—1882 гг., один из основателей Русского географического общества и первый его президент.

Стр. 78. *Ч.* — видимо, князь Владимир Александрович Черкасский, член редакции журнала «Русская беседа», с которым Якушкин был знаком по кружку А. А. Григорьева и А. Н. Островского.

Стр. 80. *Торговая сторона* и *Софийская сторона* — названия старых районов древнего Новгорода.

Стр. 81. *Яти* и *ести* — названия букв старого церковнославянского алфавита.

Стр. 83. *Орловы* Григорий, Алексей, Федор и Владимир — сыновья новгородского губернатора Григория Ивановича, содействовавшие личным участием восшествию на престол Екатерины II и получившие графский титул. *Григорий* (1734—1783) сыграл видную роль в перевороте, стал любимцем императрицы, имел решающее влияние в государственных делах в первые 12 лет царствования. *Алексей* (1737—1808) был главнокомандующим флотом в 1770 г., истребил под Чесмою турецкий флот и получил название Чесменский; выйдя в отставку, способствовал выведению особой породы рысаков, названной орловской. Дочь его *Анна* (1785—1848), фрейлина двора, после смерти отца жила затворницей в Юрьевском монастыре. *Федор* (1741—1796) отличился в бою под Чесмою, был обер-прокурором сената до 1875 г. *Владимир* (1743—1831) окончил Лейпцигский университет, был директором Академии наук, организовал экспедицию Палласа, написал ряд статей и мемуары исторического, политического и литературного характера.

Фотий (Петр Никитич Спасский) (1792—1838) — церковный деятель, архимандрит Юрьевского монастыря, с 1822 г.— Александро-Невской лавры, пользовался доверием и покровительством графини А. А. Орловой.

Стр. 85. *Отпускные билеты на желтой бумаге* выдавались нижним чинам русской армии, увольняемым в продолжительный отпуск на срок не свыше года за беспорочную службу не менее 10 лет.

Стр. 88. *Сотский* — низший чиновник сельской полиции, имел в своем ведении от 100 до 200 крестьянских хозяйств, следил за исполнением распоряжений станового пристава. Название «сотский» — от слова «сотня»: стан делился на участки, которые назывались сотнями по количеству крестьянских хозяйств и, в свою очередь, делились на более мелкие участки (около 30 хозяйств), за которые отвечали десятские, выборные от крестьян.

Стр. 92. *Перюньский скит* (Перынский) находился в 4 верстах к югу от Новгорода при истоке р. Волхов; основан в 1822 г. на месте Перынь-Богородицкого монастыря, построенного, по преданию, на том месте, где было капище древнерусского языческого бога Перуна и стояла его статуя, сброшенная в 998 г. в р. Волхов при крещении новгородцев.

Володимер-князь — Владимир Святославич (умер в 1015 г.) — великий киевский князь; усилил единство и мощь Киевской Руси военными походами и строительством крепостей на южных рубежах, укреплением и украшением Киева, принял христианство и энергично насаждал его в народе, что способствовало укреплению культурных связей с Византией и развитию культуры Киевской Руси.

Стр. 94. *По насердкам* — в отместку, нарочно.

Вершник — верховой ездок, всадник, человек, едущий верхом на коне.

Митрополит — высший сан в среде русского духовенства.

Стр. 95. *Хутынский монастырь* — Спасо-Преображенский мужской монастырь, расположен в Новгородском уезде, основан в 1192 г. монахом Варлаамом, который и был его первым игуменом. В 1812 г. в Хутынском монастыре погребен Г. Р. Державин.

Из Псковской губернии

Впервые: Русская беседа, 1859, кн. 6, Смесь, с. 1—49. Письмо к редактору «Проницательность и усердие губернской полиции».— Там же, кн. 5, с. 109—122.

Стр. 95. *Подключников* Николай Иванович (1813—1877) — живописец и реставратор.

Всеволод Мстиславич (в крещении Гавриил) — князь новгородский и псковский в XII в., сын Мстислава Владимировича Мономашича (внук Мономаха).

Довмонт (в крещении Тимофей) — князь литовский, затем псковский, пришел в Псков с дружиной, верно и доблестно служил Руси: совершал победоносные походы с 1266—1268, 1275 гг., вел упорную борьбу с ливонским орденом, одержав блестящую победу в 1298 г., умер в 1299 г.

Стр. 96. *Бударa, бударка* — в Псковской губернии грузовая лодка, поднимающая до 25 пудов груза.

Поро́зня — пустая.

Стр. 98. *Окружной* — начальник округа, которые были созданы при устройстве военных поселений.

Стр. 103. *Пяда́* (пядь, пядень) — мера в четверть аршина, расстояние между большим и указательным пальцами.

Талабско славилось снетками.

Стр. 106. *Четверик* — мера веса сыпучих тел, равная $^1/_8$ четверти (от 12 пудов).

Стр. 107. *Гарнец* — старинная мера вместимости, в XVIII и начале XIX века равная 3,28 литра; употреблялся как мера сыпучих тел.

Хохлики — так назывались в Псковской губернии мелкие ерши.

Стр. 113. *Ольга* (в крещении Елена) — жена киевского князя Игоря, княжила после его смерти, упорядочила получение дани, установила административно-хозяйственные пункты — погосты, в 957 г. посетила с большим посольством Константинополь, умерла в 969 г.

Стефан Баторий (1533—1586) — польский король с 1576 по 1586 г., в 1581 г. вошел в пределы Московской Руси, взял Полоцк и Великие Луки, осадил Псков, оказавший упорное сопротивление.

Стр. 115. *Корнилий* (1529—1570) — игумен Псково-Печерского монастыря, заботился о его украшении и укреплении. Оклеветанный перед Грозным, погиб от его руки. По преданию, царь отсек ему голову, когда тот вышел за монастырские ворота ему навстречу.

Стр. 116. *Нейгаузен* — городок, расположенный в живописной местности, с развалинами кирпичной крепости XIII в., отвоеван Иваном IV Грозным у Ливонии в 1558 г.

Стр. 118. *Содом и Гоморра* — города древней Палестины, по библейской легенде, были разрушены землетрясением за беззакония и грехи жителей.

Стр. 120. *Изборск* (Избореск, Сборск и др.) — один из древнейших русских городов, известный с XI в., расположен в 29 километрах от Пскова на р. Орловке. В нем, по преданию, княжил и похоронен варяжский князь Трувор. С XIII по XVI в. Изборская крепость служила оплотом Новгороду и Пскову в борьбе с ливонскими рыцарями; построенная на горе Жераве в 1330 г., она имела шесть башен и крепкую стену из известняковых плит.

Стр. 122. *Рюрик* — по летописной легенде, варяжский князь, пришед-

ший в 862 г. в Новгород с братьями Синеусом и Трувором. Следующих за Рюриком русских князей (по родственной линии) условно называют Рюриковичами.

Стр. 125. *Псково-Печерский монастырь* основан в XIV в., служил оплотом от нападений с северо-запада; при игумене Корнилии был окружен каменной оградой с девятью башнями; в 1591 г. отразил осаду Стефана Батория; в 1592 г. разорен ливонскими рыцарями; в 1701 г. хорошо укреплен Петром I, что помогло отбить нападение шведов в 1703 г. Сохраняет культурно-историческое значение.

Стр. 127. *Пастолы* (постолы) — обувь без голенищ, ступни из сырой кожи или шкур, сшитые мехом внутрь.

Бутурлин Борис Васильевич — окольничий при дворе царя Алексея Михайловича.

Стр. 128. *Фунт* — старинная русская мера веса, равная 409,51 грамма.

Юрий Иванович — сын Ивана III, великого московского князя, княжил в XIV в.

Макарий (1482—1563) — новгородский епископ с 1526 по 1541 г., много заботился об украшении Софийского собора; став митрополитом, организовал собирание церковных книг, издание Четьих-Миней и Степенной книги, инициатор трех церковных соборов: 1547, 1549 и 1551 гг. (последний известен под названием Стоглавого).

Борис Еремеевич — псковский посадник начала XIV в.

Густав-Адольф (1594—1632) правил с 1611 г., участник 30-летней войны 1618—1648 гг., во время которой был убит; официально назывался Густав II.

Золотник — старинная мера веса, равная $^1/_{96}$ фунта, или 4,266 грамма.

Захарьина-Кошкина Анастасия Романовна — первая жена Ивана Грозного с 1547 г., умерла в 1560 г.

Евгений (Андрей Казанцев) (1778—1871) с 1822 по 1825 г. был псковским архиепископом, позднее — всероссийский митрополит.

Стр. 129. *Витгенштейн* Петр Христианович (1768—1842) — граф, фельдмаршал русской армии, после смерти М. И. Кутузова в 1813 г. был назначен главнокомандующим, в 1812 г. командовал корпусом, прикрывавшим Петербург.

Стр. 131. *Перовский* Василий Алексеевич (1794—1857) — генерал-адъютант, военный губернатор Оренбургского края, участник Отечественной войны 1812 г. Восемнадцати лет был взят в плен во время Бородинской битвы и освобожден после взятия русской армией Парижа.

Стр. 133. *Корсунская Богородица* — икона византийского письма, которая наряду с другими называлась корсунской (древний русский город, расположен при впадении р. Корсунка в р. Рось, теперь — г. Корсунь-Шевченковский).

Стр. 134. Шоссейная *дорога из Петербурга в Варшаву* была построена в начале 1840-х гг. на каменном основании. Шоссейные дороги такого типа назывались также *каменными*.

Стр. 141. Письмо Якушкина, озаглавленное И. С. Аксаковым «Проницательность и усердие губернской полиции» (Русская беседа, 1859, кн. 5, с. 109—122), вызвало широкое обсуждение в газетах. Наиболее существенные отклики на него: Якушкин П. И. Ответ псковскому полицмейстеру.— Московские ведомости, 1859, № 239; Лебедев П. Г. Якуш-

кин и псковская полиция.— Русский инвалид, 1859, № 239; Последняя страница в деле г. Якушкина с псковской полицией.— Русская беседа, 1859, кн. 6, с. 101—136.

Квартальный надзиратель — полицейский чиновник, отвечающий за порядок в пределах порученного ему квартала.

Частный пристав — полицейский чиновник, отвечающий за порядок в той или иной части города, состоящей из нескольких кварталов; подчинялся *полицмейстеру*, начальнику всей городской полиции.

Вид — документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о рождении, происхождении и социальном положении. До распространения фотографий в документах, выдаваемых людям незнатного происхождения, перечислялись также внешние приметы. Так, в свидетельстве, выданном Якушкину для поступления в университет, говорилось: «Росту двух аршин четырех вершков с половиною, волосы на голове русые, бровях темно-русые, глаза серые, нос прям, средственныи подбородок округл, лицо белочистое, особые приметы: на правой щеке родинка» (Баландин А. И. П. И. Якушкин. М., 1969, с. 14).

Стр. 143. *«Русский дневник»* — газета, издаваемая в 1859 г. П. И. Мельниковым-Печерским, где публиковались сведения из народной жизни.

Стр. 145. *Ветхий завет* — часть Библии, повествующая, по религиозным преданиям, об истории еврейского народа до рождения Христа; содержит законоучение (заветы) Моисея.

Иосиф Прекрасный — герой библейской легенды, сын патриарха Иакова, проданный братьями за 20 сребреников и достигший положения верховного правителя при египетском фараоне, от которого получил землю для всего своего рода, в том числе и для отца с братьями; жил 110 лет.

Питейный дом — то же, что кабак, имел больше разнообразия в напитках и закусках.

Из Устюжского уезда

Впервые: газета «Северная пчела», 1860, № 257, 17 ноября, с. 1067 — 1068; № 258, 18 ноября, с. 1071—1072; № 260, 22 ноября, с. 1081 — 1082.

Стр. 154. *Харчевня* — сельский трактир, дешевая столовая типа закусочной.

Пономарь — прислужник в церкви, обязанный читать вслух, зажигать свечи, звонить и пр.

Стр. 155. *Дрань* — колотые сосновые дощечки (дранка), используются как покрытие для кровли, более прочное и дешевое, нежели тес.

Стр. 156. *Стоять на стойку́* — дежурить при запряженной лошади на случай какой-либо казенной необходимости.

Ледина — участок мелкого леса, предназначенный для распашки.

Устюжна — уездный город Новгородской губернии при р. Мологе. В XVI в. называлась также Железнопольской, так как в окрестностях добывали болотную железную руду; в 1609 г. выдержала осаду поляков.

Стр. 157. *Величко* Самуил — украинский историограф, был секретарем гетмана Мазепы, написал «Летопись событий в юго-западной России в XVII веке» (известна как «Летопись Велички», обнаружена М. П. Погодиным и многократно издавалась: в 1848, 1851, 1854, 1864-м гг. в Киеве).

Стр. 159 *Игнатьев* Руф Гаврилович (1819- 1886) известный знаток музыки и церковного пения, помощник регента в московском Успенском соборе, с конца 1840-х гг. увлекся археологией, занялся раскопками, написал более 500 статей, член Московского Археологического общества и др.

Стр. 160. *Знаменское* - село Устюжинского уезда в 35 верстах от г Устюжны

Стр. 161 *Пестово* деревня Устюжинского уезда в 52 верстах от р. Меглина.

Стр. 162. *Елагин* Николай Алексеевич (1822—1876) - историк и публицист, сводный брат Ивана и Петра Васильевичей Киреевских, известных московских славянофилов, сын Авдотьи Петровны Елагиной, хозяйки известного литературного салона в Москве.

«Известная песня» - имеется в виду популярная плясовая песня «Во лузях»

Стр. 164. Крестьяне в России до отмены крепостного права делились на государственных, крепостных и удельных. *Государственными* назывались крестьяне незакрепощенных сел Северного Поморья, Сибири, нерусские народности Поволжья и Приуралья, позднее присоединенных Крыма, Закавказья, Правобережной Украины, Прибалтики. Они были лично свободны, могли торговать, заниматься ремеслами и пр., управлялись государственными чиновниками и платили денежный оброк от 7 до 10 рублей в год. *Удельные* - крестьяне, жившие на удельных землях, принадлежавших императорской семье; пользовались большей свободой, чем крепостные, платили денежный оброк, управлял ими департамент уделов через местные удельные конторы. *Крепостные* составляли около 45% населения, являлись собственностью помещиков, были либо дворовыми (не имели собственного земельного надела и состояли в услужении), барщинными (выполняли все работы на барской земле), либо оброчными (платили оброк деньгами или натурой)

Стр. 166. *Ободье, обод* — гнутое дерево, образующее окружность колеса, в которую заклинены концы спиц, для крепости обтягивалось металлической шиной.

Ступица основная часть колеса (матица) обточенный брусок дерева, просверленный для оси, с долблеными гнездами посредине для спиц.

Стр. 167 *Скородить* — боронить пашню, очищая от травы и кореньев.

Стр. 170. *Сидеть деготь* - гнать или курить из березы смолу в специально оборудованных ямах, на дне их устанавливалась бочка, а под ней поленья, обложенные щепой. Деготь вытапливается и стекает в бочку

Корчажный деготь, по объяснению В. И. Даля, черный, второсортный, а *ямный* наиболее чистый, образующийся от первого тока березовой смолы.

Стр. 171 *Богуслав* помещичья деревня в 126 верстах от Весьегонска с населением около 40 человек (См: Список населенных мест Тверской губернии Спб., 1864)

Весьегонск уездный город Тверской губернии на правом берегу р. Мологи в 89 верстах от Бежецка с известной на всю губернию Богоявленской ярмаркой.

Стр. 174. *Мусин-Пушкин* Алексей Иванович, «палёный» (1741 1817) граф, известный археограф, сенатор, обер-прокурор синода и президент Академии художеств, пользовался большим влиянием при дворе Екатерины II и Павла

Стр. 175. *Пугачев* Емельян Иванович (около 1742—1775) — известный руководитель крупнейшего крестьянского восстания, донской казак по происхождению, был участником Семилетней войны с Пруссией, походов в Польшу 1764 г. и русско-турецкой войны 1768 г.

Стр. 176. *Нефедьево* — деревня Весьегонского уезда в 65 верстах от уездного города Весьегонска близ р. Мологи.

Стр. 177. *Сушигорицы* — деревня Весьегонского уезда в 70 верстах от Весьегонска с населением около 300 чел.

Сивера — северный ветер.

Из Орловской губернии

Впервые: Современник, 1861, № 5, отд. I, с. 187—208; № 8, отд. I, с. 209—280.

Стр. 179. *Отрепьев* Григорий — монах Чудова монастыря, захватил в 1605—1606 гг. русский престол под именем Дмитрия-царевича, сына Ивана IV; известен в истории под именем Лжедмитрия I, был убит в 1606 г.

Стр. 180. *Болотников* Иван Исаевич — организатор и вождь крестьянского восстания, был сослан в г. Каргополь, где ослеплен и утоплен.

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1614) — князь, один из руководителей освободительной борьбы против польско-шведского нашествия в начале XVII в.

Минин (Сухорук Козьма Захарьевич) — организатор и руководитель народного ополчения 1611—1612 гг.

Патриарх Филарет Никитич (Федор Никитич Романов, 1554 — 1633) — политический деятель, отец первого царя из династии Романовых, фактический правитель страны с 1619 г.

Стр. 181. *Кудеяр* — разбойник, предания и легенды о нем широко распространены были в среднерусских и юго-западных губерниях. Н. А. Некрасов обработал некоторые мотивы этих легенд в «Сказе о двух великих грешниках» (поэма «Кому на Руси жить хорошо»), сказ в сокращенном виде стал в конце XIX в. народной песней. Об исторической основе легенд см.: К р у п п А. А. К вопросу об историческом прототипе Кудеяра-разбойника.— Русский фольклор: Ежегодник, вып. 14. Л., 1975.

Сирота — Якушкин цитирует собственную запись песни о сироте, сохранившуюся в архиве П. В. Киреевского до нашего времени.

Засорин — Якушкин записал уникальную песню про вора Яшку Засорина в 1846 г. в с. Андроновском Лихвинского уезда.

Стр. 198. *Торбан* — украинский народный музыкальный инструмент, имеющий до 25 и более струн.

Стр. 199. *Павел Петрович* (1754—1801) — российский император с 1796 г.

Павел-исповедник — коломенский епископ, единственный из облеченных высоким саном духовных лиц принял сторону старообрядцев при образовании раскола в русской церкви, о чем открыто заявил на Московском соборе 1654 г. Он был лишен епископства и заточен в новгородский Хутынский монастырь, где, по одним данным, был убит, по другим — сожжен в Новгороде, что подтверждал известный вождь старообрядцев протопоп Аввакум.

Стр. 200. *Кеньги* — теплая валяная обувь или меховая с подбоем, наподобие галош, без голенищ.

Поярковая — валяная из шерсти молодой овцы, ярки.

Стр. 201. *Тамбурная рубашка* — вышитая тамбуром на пяльцах, то есть швом из петли в петлю.

Позумент — шитая золотом или серебром тесьма для оторочки одежды.

Стр. 206. *Соломон премудрый* — царь объединенного государства Израиля и Иудеи, жил около 960—935 гг. до н. э. По преданию, ему принадлежат многие произведения библейской литературы, в их числе известная «Песнь песней».

Стр. 207. *Мазепа* Иван Степанович (1644—1709) — гетман Украины с 1687 г., заключивший изменнический союз со шведами против Петра I и потерпевший поражение под Полтавой вместе с шведским королем Карлом XII.

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — великий русский полководец.

Стр. 210. *Кокоревка* (Залесье) — деревня Карачевского уезда Орловской губернии в 18 верстах от уездного города, ее население составляло около 150 человек.

Усох — село Трубчевского уезда, расположено при р. Посоле, имело около 2 000 жителей, школу и волостное правление.

Трубчевск — уездный город Орловской губернии, расположен на правом высоком берегу Десны; в XII в. был стольным городом «буй-тура» Всеволода, брата Игоря Северского; был разгромлен татарами, захвачен Литвой, в 1503 г. возвращен и служил вотчиной князей Трубецких.

Острая Лука — селение при р. Десне с пристанью и населением около 1 000 человек.

Стр. 212. *На красной бумаге* выдавался билет на бессрочный отпуск солдатам, от 15 до 20 и более лет прослужившим в пехоте, кавалерии и артиллерии; *на желтой бумаге* — билет на временный отпуск за беспорочную службу не менее 10 лет.

Стр. 215. *Стародуб* — уездный город Черниговской губернии при р. Бабинец и Вабля, известен с XI в. в составе Черниговского княжества; был разорен татарами, захвачен Литвой, входил в состав Польши. В XIX в. сохранял следы крепости, валов и рвов.

Стр. 222. *Малоархангельск* — уездный город Орловской губернии при р. Куликов Ржавец в 45 верстах от г. Орла. Значительную часть населения составляло купечество.

Сабурово — имение Якушкиных, по свидетельству С. В. Максимова, было приобретено путем обмена смоленского поместья, пожалованного деду писателя — лейб-гвардии прапорщику Андрею Якушкину вместе с грамотой на дворянское достоинство.

Стр. 227. Мировым посредником был брат Павла Ивановича Николай Иванович Якушкин.

Из Черниговской губернии

Впервые: журнал «Основа», 1861, № 11—12, с 88—121; 1862, № 1, с. 11—37

Стр. 233. *Челнский* (по другим источникам — Чёлнский, Чонский) *монастырь* официально назывался Новопечерский Спасский Преображенский мужской и был основан в XVI в. одним из трубчевских князей на

правом берегу Десны; привлекал окрестное население иконой Челнской богоматери, якобы приплывшей на челне и считавшейся чудотворной.

Тёмная — деревня в четырех верстах от Челнского монастыря к юго-западу от Трубчевска с пристанью и населением около 1500 человек.

Трубецкой Алексей Никитич (ум. в 1680 г.) — замечательный дипломат XVII в., сыграл существенную роль в присоединении Украины к России, отличился в войнах, был пожалован г. Трубчевском с титулом «Трубчевского державца». Умер иноком, завещав Трубчевск Петру I, которому приходился крестным отцом.

Стр. 243. *Ктитор* — церковный староста. Название это употреблялось в крупных городах с большими церквами.

Алимпий преподобный — знаменитый киевский живописец, занимался также мозаикой, учился иконописи у греческих мастеров, расписывавших Печерский монастырь в Киеве.

Стр. 244. *Погар* (в древности Радогощ, Радогостье) — один из древнейших городов Черниговского княжества. Сожжен татарами в XIII в., стал после восстановления называться Погар. В 1618 г. отходил к Польше и получал «магдебургское право»: город освобождался от власти наместников, воевод, панов и старост, имел собственный суд; жители освобождались от воинской повинности, но поставляли обоз для войска.

Стр. 249. *Понёва (панёва)* — женская шерстяная юбка яркой расцветки, надевалась на рубашку.

Стр. 255. *Шинок* — питейный дом, где продавались чарками различные напитки, а также холодные и горячие закуски.

Вольница, хорошая вольная водка: в Малороссии крепостное право было полностью отменено, крестьяне, сразу заплатив выкуп, стали вольными, тогда как в России они платили выкуп и выполняли барщину в течение 20 лет после объявления реформы. Улучшившееся положение украинских крестьян отразилось и на качестве торговли.

Стр. 263. *Жемигульный* — себе на уме.

Стр. 264. *Гринев* — ранее село Гринево, в XVIII в. находилось во владении князя Ильи Андреевича Безбородко, который построил в нем каменный дом и церковь по проекту Джакомо Кваренги, в которой четыре иконы были написаны О. А. Кипренским. Рассказчик, видимо, путал его с братом.

Круковский Осип Антонович — преподаватель Погарского уездного училища, имел чин коллежского асессора.

Стр. 265. *Богодухов* — уездный город Харьковской губернии.

Валуйки и *Нижнедевицк* — уездные города Воронежской губернии.

Новый Оскол — уездный город Курской губернии с 1647 г., ранее сторожевой острог, построенный для защиты от набегов степных кочевников.

Частный — от названия *части* — участок города в несколько кварталов. Здесь в значении: полицейский участок, где находился частный пристав.

Стр. 266. *Арсеньев* Константин Иванович (1789—1865) — историк, географ, статистик, воспитатель Николая I.

Ободовский Александр Григорьевич (1796—1852) — педагог, профессор Главного педагогического института в Петербурге. Его «Краткая всеобщая география» (Спб., 1818—1849) выдержала 20 изданий.

Стр. 268. *Безбородко* Александр Андреевич (1746—1799) — участник войны с Турцией, занимал крупные государственные посты, пользовал-

ся неограниченным доверием Екатерины II и Павла, получил земли в Белоруссии и на Украине и более 6 000 душ крестьян.

Стр. 269. *Берковец* — старинная мера веса, равная 10 пудам, применялась при взвешивании пеньки, льна, конопли и пр.

Мефедов Семен Алексеевич — учитель Погарского уездного училища, имел чин титулярного советника. Его записи народных песен в печати неизвестны.

Преподобный Нестор (1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря, известный как первый русский летописец, составитель «Повести временных лет».

Стр. 272. *Кичка* — женский головной убор, разновидность повойника с рогами.

Стр. 273. *Ходаковский* Зориан Доленга (Адам Чарноцкий) (1784 — 1825) — историк и археолог, собиратель и исследователь «живой старины», первый указал на необходимость описания и изучения древних городищ.

Стр. 275. *Паляница* — круглый хлеб, пшеничный.

Стр. 276. *Галецкий* Семен Гаврилович имел чин генерального бунчужного, убит в Крымском походе 1738 г.

Из Курской губернии

Впервые: Иллюстрация, 1861, № 190, 12 октября, с. 231—234; № 192, 26 октября, с. 264—266.

Стр. 289. *Коренная ярмарка* существовала с XIX в. и имела для Центральной России такое же значение, как Макарьевская для Поволжья; название получила от соседства с монастырем Коренная пу́стынь, расположенным на живописном обрывистом, с меловыми утесами берегу р. Тускорь. Монастырь окружал огромный парк, стены соборной церкви и проходы в воротах были покрыты старинной фресковой живописью. Пустынь возникла в 1295 г. возле целебного ключа, где на корне старого дерева был вырезан образ Богоматери. Прилив богомольцев вызвал появление базара, который к XVI в. превратился в огромное торжище. В начале XIX в. торговые обороты ярмарки исчислялись миллионами рублей, с 1850-х гг. значение ярмарки падает, она переведена в Курск и как Коренная перестала существовать.

Макарьевская — старинное название Нижегородской ярмарки, данное по имени обители св. Макария (открывалась в день св. Макария 25 июля); возникла в XVI в. и благодаря удобному положению — на Средней Волге — собирала купцов со всей России и азиатских пограничных областей. После пожара 1816 г. перенесена на берег Волги в слободу Кунавино против Нижнего Новгорода и длилась месяц: с 15 июля по 15 августа; с 1864 г. продолжалась до 8 сентября.

Стр. 291. *Уколово* — село Щигровского уезда Курской губернии, расположено вблизи от р. Тускори на торговом тракте из Курска в г. Ливны.

Сучок — герой рассказа И. С. Тургенева «Льгов» («Записки охотника»).

Стр. 302. *Ремонтеры* — офицеры, отправленные из полка для закупки лошадей.

Стр. 303. *Горбунов* Иван Федорович (1831—1895) — актер и рассказчик, автор бытовых сцен из жизни городских мещан, крестьян, купцов.

Из Астраханской губернии

Впервые: Отечественные записки, 1868, т. 180, № 10, Современное обозрение, с. 125—167; 1870, т. 188, № 1. Современное обозрение, с. 1—17.

Стр. 304. Слово «губерния» заимствовано из шведского языка при Петре I, когда Россия в 1708 г. была разделена на восемь губерний.

Стр. 308. *Циммерман* Эдуард Романович (1822—1890) — известный русский путешественник, ровесник и товарищ Якушкина по математическому факультету Московского университета, в 1857 г. совершил вместе с князем М. И. Хилковым свое первое путешествие по Соединенным Штатам Северной Америки. Описание его было опубликовано в журнале «Русский вестник» за 1858—1859 гг.

Стр. 309. *Давыдов* Иван Иванович (1794—1863) — сенатор, академик, директор Главного педагогического института в Петербурге, был профессором Московского университета в годы учения Якушкина и известен как рутинер. См. статью Н. А. Добролюбова «Описание Главного пединститута» (Собр. соч. в 5-ти т. М., 1961, т. 1, с. 176—181).

Стр. 313. *Тарань* — рыба семейства карповых, разновидность плотвы, употребляемая в вяленом виде.

Стр. 314. *Ермак Тимофеевич* (ум. в 1584 г.) — казачий атаман, сыгравший выдающуюся роль в присоединении Сибири к России, прославлен в народных песнях, русской исторической и художественной литературе как покоритель Сибири.

Стр. 317. *Разин* Степан Тимофеевич (казнен в 1671 г.) — известный вождь народного восстания, превратившегося в крестьянскую войну 1667—1671 гг., донской казак по происхождению, прославлен в народных песнях, легендах и преданиях, в исторической и художественной литературе.

Стр. 319. *Астраханский митрополит Иосиф* был казнен 11 мая 1671 г., когда Разина уже не было в Астрахани.

Астраханским наместником и воеводой был князь Иван Семенович Прозоровский; раненный в бою с казаками копьем, брошен с раската после взятия Астрахани. Другой астраханский воевода — князь Семен Иванович Львов побратался с Разиным после его возвращения из Персии и убит одновременно с митрополитом Иосифом 11 мая 1671 г.

Стр. 349. *«Ходит спесь надуваючись»* — первая строка стихотворения А. К. Толстого, опубликованного в журнале «Современник», 1856, № 2.

Стр. 350. *Гурьев* — город в устье р. Урал, основан в XVII в. рыбопромышленником Гурием, представлял крепость с башнями; разрушена в 1810 г.

Стр. 352. *Князь Тюмень* (Тюменев) — калмыцкий князек, выстроил в 1840-х гг. сельцо Тюменевку в 40 верстах от Астрахани на правом берегу Волги. Здесь находилась главная ставка Хошеутовского улуса и в 1860-х гг. насчитывалось около 300 жителей.

Стр. 353. *Садовский* Пров Михайлович (по отцу Ермилов, 1818—1872) — известный русский актер, один из друзей Якушкина по кружку А. Н. Островского и А. А. Григорьева, был автором юмористических сцен и рассказов из купеческого быта. Они не были напечатаны и «вряд ли были когда и написаны, а просто сначала импровизировались, потом запоминались и рассказывались»,— писал один из биографов Садовского (См.: Русский вестник, 1872, № 7, с. 427—464).

Стр. 359. *Берщ* — рыба, сходная с окунем. Берщовиком называется также крупный судак, «от головы до красного пера не менее семи вершков».

Стр. 365. *Чигирь* — конная водоподъемная машина для поливки садов и бахчей, состоит из вращающегося вала с колесом, через который перекинута цепь с ковшами в виде бадеек. Вода из них выливается в желоб, а из него отводится по канавкам.

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

Велик бог земли русской

Впервые: Современник, 1863, № 1—2, с. 5—54. Отрывки из рассказов «Велик бог земли русской», «До воли», «Воля», «Порубка», «Сходка», «Трехденка» опубликованы также при жизни писателя в сборнике «Бывалое и небывальщина» (Спб., 1865).

Стр. 372. *Рескрипт* императора Александра II от 20 ноября 1857 г. виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову. В нем впервые официально сказано об уничтожении крепостной зависимости крестьян. Появление рескрипта вызвало многочисленные толки о «воле» и волнения среди крестьян.

Экономические крестьяне — бывшие монастырские, переданные в управление Коллегии экономии в 1764 г. (около 2 миллионов), платили подушный денежный оброк (без барщины и натурального оброка), с 1786 г. объединены с государственными крестьянами (см. ранее).

Стр. 382. *Петров* Антон (1824—1861) — руководитель крестьянского восстания в с. Бездна, происшедшего в апреле 1861 г., расстрелян 19 апреля по приговору военного суда.

Имеется в виду *Павлов* Иван Васильевич (1823—1904) — мценский помещик, врач, общественный деятель, журналист и публицист.

Уставные грамоты — акты, определяющие отношения между крестьянами и помещиками до совершения выкупа, составлялись самими помещиками и утверждались мировыми посредниками, которых назначал губернатор из среды помещиков.

Стр. 392. Эпизод о поголовном наказании крестьян — подлинное событие, произошло в Орловской губернии через три месяца после объявления «воли». Якушкин писал П. С. Усову: «Граф Тонин (Толь) приехал мужиков сечь. Работники были на поле, услыхали, что Тонин мир порет, отпрягли лошадей, сели на всех верхом да в деревню. «Куда вы едете?» — «Сечься, мир порют». Приехали, их перепороли, они поклонились, сказали спасибо и поехали опять на работу» (Архив ИРЛИ, ф. 319, № 57).

Стр. 395. *Палата государственных имуществ* — местный орган министерства земледелия и государственных имуществ в дореволюционной России. В 1866 г. преобразованы в «Управления государственными имуществами» (существовало 47 палат).

Ильин день праздновался 20 июля по старому стилю.

Стр. 396—397. *Иже, Твердо, Покой* — названия букв старославянского алфавита. Намек на обличительные выступления А. И. Герцена в «Колоколе», направленные против крепостников, жестоко обращавшихся со своими крестьянами.

Стр. 406. *Тягло* — крестьянское хозяйство, представляющее единицу обложения налогами и повинностями внутри помещичьего владения.

Стр. 407. *Пеночкин* Аркадий Павлович — персонаж из рассказа И. С. Тургенева «Бурмистр» («Записки охотника»).

Прежняя рекрутчина и солдатская жизнь
По песням

Впервые: Прибавления к «Русскому инвалиду», 1864, № 8. Перепечатано в сб. «Бывалое и небывальщина» (Спб., 1867).

Стр. 422. *Ревизская сказка* — список, именная роспись всех жителей населенного пункта.

Стр. 424. *Рекрутское присутствие* — учреждение, ведавшее делами по исполнению рекрутской повинности, имело характер исполнительного органа. В каждой губернии было четыре рекрутских присутствия: одно губернское, три уездных. В состав его входили губернатор или городничий, предводитель дворянства, военный приемщик и медицинский чиновник.

Стр. 426. *Киреевский* Петр Васильевич (1808—1856) — собиратель народных песен, историк, славянофил.

Песня про Куликовскую битву науке неизвестна. Якушкин имел в виду запрещение Елагиных публиковать в журналах отдельные тексты из Собрания Киреевского.

Железнов Иоасаф Игнатьевич (1824—1863) — исследователь истории и быта уральских казаков, собиратель песен, преданий и социально-этнографических сведений о них. Песня про Рыжечку опубликована в его сборнике «Очерки быта уральских казаков» (Спб., 1859).

Стр. 429. *Скопин-Шуйский* Михаил Васильевич (1586—1610) — видный полководец XVII в., отличился в сражениях с войсками Лжедмитрия II.

С воцарением Александра II срок солдатской службы был сокращен сначала до 15 лет, затем до 10; в 1860-е гг. произошло дальнейшее сокращение срока службы до 7 и 5 лет (см.: Рекрутский устав 1862 г.)

Из рассказов о Крымской войне

Впервые: Современник, 1864, № 11—12, с. 499—506, под названием: «Из путевых заметок. О Крымской войне (Из Богодухова)». Перепечатано в сб. «Бывалое и небывальщина».

Стр. 431. *Муравьев* Николай Николаевич (1794—1866) — брат декабриста Муравьева, один из передовых и образованных русских генералов, в 1854 г. был наместником Кавказа и главнокомандующим кавказских войск; за взятие крепости Карс в 1855 г. получил почетное звание — Карский, был членом Государственного совета.

Карс — крепость и древний город на северо-востоке Турции, ее опорный пункт с XVI в. Подвергался штурму русских войск в 1807, 1828, 1855, 1878 гг., трижды был взят, в 1921 г. вошел в состав Турции.

Эрзурум (Эрзерум, Арзерум, Арзрум) — город в северо-восточной Турции, в древности был армянским, затем византийским, с 1514 г. в составе Османской империи; в июле 1829 г. во время русско-турецкой войны

занят русскими войсками. Именно тогда его посетил А. С. Пушкин, описавший эту поездку в своем «Путешествии в Арзрум». По Адрианопольскому миру в сентябре 1829 г. возвращен Турции.

Зуев Никита Иванович (1822—1890) — педагог и картограф, автор «Иллюстрированной географии Российской империи» (Спб., 1887) и многих работ по географии, естествознанию, этнографии и истории культуры, издатель атласов и карт, основатель журналов «Живописное обозрение» и «Северная звезда». Якушкин имеет в виду первый из его атласов, изданный в 1853 г.— Географический.

Синоп — портовый город на южном берегу Черного моря, основан греками, с XIV в. входил в состав Османской империи. Во время Крымской войны в Синопской бухте произошло сражение между турецкой и русской (под командованием П. С. Нахимова) эскадрами, закончившееся победой русского флота.

Скутари — город на Босфоре, в XIX в. считался предместьем Константинополя; в нем султанский дворец, восемь императорских мечетей, кладбище в кипарисовой роще для «благочестивых» магометан (Скутари также город и целый район в Албании).

Мужицкий год

Впервые: Искра, 1864, № 40, с. 512—525. Очерк, видимо, остался незаконченным, возможно, потому, что осенью 1864 г. Якушкин был болен, а в начале 1865 г. сослан.

Стр. 440. *Бадейка, бадья́* — деревянное ведро или ушат с крепкой оковкой для подъема воды из колодцев, а также в шахтах — для поднимания руды.

Сле́га — длинная жердь; *коты́* — род женской обуви в виде полусапожек или башмаков с невысокими голенищами, иногда отороченными алым сукном.

Стр. 441. *Новина́* — свежий хлеб, хлеб нового урожая.

Квас-сырове́ц — напиток из квашеной ржаной муки.

Петро́вки — пост перед Петровым днем, праздником апостолов Петра и Павла, который приходился на 29 июня по старому стилю.

Стр. 442. *Загон* — участок пахотной земли или луга, иногда огороженный.

Осьминник — мера земли, восьмая часть сороковой, или казенной, десятины («сороковка»), равной 2 400 квадратных саженей, обычно 60 саженей в длину, 40 в ширину.

Стихи про Лазаря, Егория, Федора Тирона Якушкин сам записывал в 1840-х гг. в Орловской, Тульской и Рязанской губерниях для Киреевского, в архиве которого и хранятся его записи.

Стр. 444. *Мусатов, Ралле и К°* — лучшие русские фирмы по продаже духов. Торговый дом Ралле и К° был поставщиком императорского двора, имел магазины на Кузнецком мосту и Красной площади.

Небывальщина

Впервые: Искра, 1864, № 1, с. 9—12; № 5, с. 79—83; № 16, с. 242—244; № 17, с. 255—259; Современник, 1865, № 11—12, с. 1—21.

Стр. 446. *Тарачков* Александр Степанович (1819—1870) - естествоиспытатель, статистик и экономист, секретарь Орловского губернского статистического комитета, редактор неофициальной части «Орловских губернских ведомостей», участник ряда экспедиций по обследованию Московской, Тульской, Владимирской, Курской, Рязанской и Орловской губерний по поручению Русского географического и Вольно-Экономического обществ, автор книг о садах и садоводстве, почве, климате и лесах Орловской губернии.

Стр. 447. *Бессонов* Петр Алексеевич (1828 - 1898) славист, историк литературы, издатель «Песен, собранных П. В Киреевским» в 10 выпусках (М., 1860—1874) и собрания духовных стихов - «Калики перехожие» в 6 выпусках (М., 1861—1864), - которое издавалось по подписке и почти полностью состояло из материалов Собрания П. В. Киреевского, хотя издатель и заявлял в обращении к подписчикам, что имеет собственное собрание духовных стихов, значительно превышающее собрание Киреевского.

Полоцкий Симеон (Самуил Емельянович Петровский-Ситниано) (1629—1680) - уроженец Белоруссии, писатель, ученый, поэт, монах, содействовал распространению светского образования.

Стр. 450. Цитируемый отрывок исторической песни о женитьбе Ивана IV Грозного «Кострюк» в известных вариантах этой песни отсутствует, запись Якушкина не сохранилась.

Бунты на Руси

Впервые: очерк первый - Современник, 1866, № 3, отд. 1, с 73 91; очерк второй под названием «Из прошлого Бунт в селе Никольском Астраханской губернии» - газета «Новое время», 1880, № 1626 1628 с примечанием: «Автор настоящего очерка покойный П. Якушкин, известный знаток и наблюдатель народного быта. Очерк этот остался в бумагах покойного; он живо обрисовывает порядки недавнего прошлого и очень поучителен во многих отношениях»

Стр. 503. *Повесть «Гайка»* написана Н С. Сохановской (псевдоним Кохановская), опубликована в журнале «Пантеон» в 1856 г

В рассказе «Ветер» В. И. Даля матрос так объяснял своему земляку происхождение ветра: «Сверху-то небо, снизу-то вода либо земля, а с боков ничего нет – ну, оно и продувает» (Матросские досуги Спб., 1853).

Стр. 504. *Однодворцы* - поселенцы, вышедшие из военного сословия и наделенные за службу небольшими участками земли В XVII в. имели по сравнению с государственными крестьянами некоторые привилегии.

Стр. 506. *Иванищев Н. Д.* О древних сельских общинах в юго-западной России. - Русская беседа, 1857, № 3, Науки, с. 1 57

П. И. Мельников - известный писатель Павел Иванович Мельников-Печерский (1819 - 1883).

Министерство земледелия и государственных имуществ было создано в 1837 г. в составе трех департаментов и с целью заботы о государственных крестьянах, для развития и усовершенствования различных отраслей земледелия, лесоводства, кустарных промыслов и т д.

Стр. 511. *Иван Васильевич* — видимо, Павлов.

Стр. 532. *Шестоперов* Петр Иванович — енотаевский судебный следователь — реальное лицо. В письме к Н. А. Некрасову от 20 августа 1871 г. Якушкин сообщал: «Комиссия под председательством Петра Ивановича Шестоперова, который передаст Вам эту цидулу, открыла, что бунта *буквально* не было, все рапорты фальшивые и ложные» (Лит. наследство. М., 1949, т. 51—52, с. 564—568).

Стр. 533. *Пий IX* (граф Джованни Мария Мастаи-Феррети, 1792—1878) в 1870 г. провозгласил догмат о «непогрешимости папы». Якушкин узнал об этом в ссылке, следовательно, следил за литературой, находясь в Енотаевске.

Таганы — металлические треножники с отверстием для чугуна или ведра, приспособление для варки пищи.

Чисти зубы, а то мужиком назовут!

Впервые: Отечественные записки, 1868, № 1, с. 213—226. Автограф с пометкой: «В заточении. Октябрь 1867 г.» (ИРЛИ, ф. 266, № 528).

Стр. 551. *Фухтель* — шпага, палаш (немецкое), в XVIII и начале XIX в. в кавалерии применялось наказание фухтелями (удары наносились плашмя). С 1839 г. заменено наказанием розгами. В разговорном и литературном языке XIX в. сохранились выражения: «дать фухтеля», «фухтельнуть», «нафухтелять».

Суджа — уездный город Курской губернии, возник в XVII в., был укреплен валом и рвом во время пребывания в нем Сумского казачьего полка.

Стр. 552. П. И. Якушкин имеет в виду московские трактиры. «Московский», или «Большой Московский», находился на Воскресенской площади. Половые его отличались особой ловкостью. «Британия» упоминается во многих воспоминаниях бывших студентов Московского университета 1840-х г. (А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева и др.), в письмах И. В. Павлова к И. С. Тургеневу. Она находилась на Моховой улице напротив Московского университета.

Указатель имен

Указатель географических названий[1]

[1] При названиях частей света, стран, столиц и губернских городов определяющее слово не дается, поскольку эти сведения общеизвестны.

Оглавление

Павел Иванович
Якушкин

СОЧИНЕНИЯ

Редактор
Л. Кулешова

Художник
Б. Лавров

Художественный редактор
Г. Саленков

Технический редактор
Н. Децко

Корректор
В. Лыкова

ИБ № 3559

Сдано в набор 26.03.85. Подписано к печати 11.12.85. А13240. Формат 84×108/32. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 31,19. Усл. кр.-отт. 31,19. Уч.-изд. л. 35,7. Тираж 100 000 экз. Заказ 294. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Калининский ордена Трудового Красного знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

